

НА ЗАРЕ ЖИЗНИ


ACADEMIA

РУССКИЕ МЕМУАРЫ, ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА И МАТЕРИАЛЫ

под общей редакцией В. И. Невского

Е. Н. ВОДОВОЗОВА

(1844 — 1923)

ACADEMIA

Москва — Ленинград

Е. Н. ВОДОВОЗОВА

НА ЗАРЕ ЖИЗНИ

И ДРУГИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

*Редакция,
вступительная статья и примечания
Б. П. Козьмина*

ТОМ I

ACADEMIA
1934

Переплет и супер-обложка
А. Толоконникова



Е. Н. Водовозова

С фото 70-х годов.

МЕМУАРЫ Е. Н. ВОДОВОЗОВОЙ

Автор настоящей книги, Елизавета Николаевна Водовозова, по второму мужу Семевская, мало известна современному читателю. А между тем в свое время она пользовалась весьма значительной популярностью и как писательница для детей и юношества, и как мемуаристка, и как автор ряда ценных работ по педагогическим вопросам.

Литературная деятельность Е. Н. Водовозовой[1] была весьма продолжительной. Она началась в 1863 г., когда Водовозова, в то время еще совсем молоденькая женщина (ей было всего 19 лет), напечатала в журнале «Библиотека для чтения» (№ 9) статью «Что мешает женщине быть самостоятельной?» (подписано: Е. Ц-ская). Статья эта была написана по поводу знаменитого романа Чернышевского «Что делать?». Начатая так рано литературная деятельность Водовозовой продолжалась в течение шестидесяти лет: в 1923 г., незадолго до ее смерти, на страницах «Голоса минувшего» (№ 1) появились новая глава из мемуаров Е. Н. Водовозовой — «Житейские невзгоды».

Выше упомянуто, что Водовозова много писала для детей и юношества. Такие ее работы, как трехтомная «Жизнь европейских народов» или «Из русской жизни и природы»

[1] О Е. Н. Водовозовой см. воспоминания Н. И. Кареева, «Голос минувшего» 1923 г., № 2, и В. Ольнем-Цеховской, там же, 1923 г., № 3.

и др., выдерживали по нескольку изданий и имели громадный круг читателей. Не меньшим успехом пользовались и ее педагогические работы. Достаточно указать хотя бы на то, что ее «Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста», явившееся результатом личных наблюдений автора за постановкой дошкольного воспитания и обучения детей в Германии и Швейцарии, выдержало шесть изданий (1-е вышло в 1871 году, 6-е — в 1907 году).

Хотя эти работы Е. Н. Водовозовой для своего времени представляли большой интерес, теперь они сохранили, конечно, исключительно историческое значение. Совершенно иное можно сказать о других произведениях Водовозовой — о ее мемуарах. Их автор, бесспорно, обладал большой наблюдательностью и умел с художественной изобразительностью передавать наблюдаемое. А наблюдать ей было за чем. Дочь помещика средней руки, Е. Н. Водовозова все свое детство провела в захолустной деревне в ту интереснейшую эпоху, когда развитие производительных сил страны пробило широкую брешь в крепостническом строе. Молоденькой девушкой она в начале 60-х годов очутилась в самой гуще новой, разночинной интеллигенции, пришедшей на смену дворянской, внимательно наблюдала за тем, как отразилось на русском обществе падение крепостного права, жадно впитывала в себя новые идеи, столь отличные от тех, которые господствовали в крепостную эпоху, и на всю жизнь сохранила в своей психоидеологии отпечаток, сделавший ее представительницей того типа, который принято было называть «людьми шестидесятых годов».

В этом отношении она была многим обязана своему первому мужу, Василию Ивановичу Водовозову, который являлся для нее не только товарищем на жизненном пути, но и воспитателем: недаром он был почти на два десятка лет старше своей жены. Известный педагог, пользовавшийся большой любовью своих учеников и учениц по различным петербургским учебным заведениям, в которых он преподавал «словесность», В. И. Водовозов рано был вынужден прекратить свою педагогическую работу.

Когда после выстрела Каракозова во главе русского «просвещения» стал заядлый обскурант и реакционер гр. Д. А. Толстой, Водовозов оказался выброшенным из всех тех школ, в которых он преподавал. В этом не было ничего неожиданного: человек, смотревший на свою педагогическую работу, как на общественное служение, заботившийся о том, чтобы развить в умственном и нравственном отношении своих учеников и вследствие этого мало стеснявшийся официально утвержденными «программами преподавания», Водовозов, естественно, не мог найти себе места в той школе, задачей которой было поставлено «воспитание юношества в духе истин религии, уважения к правам собственности и соблюдения начал общественного порядка».

Выходец из разорившегося купеческого рода, с детства привыкший к материальным лишениям и к добыванию собственным трудом средств существования, Водовозов, хотя по возрасту и не принадлежал к «поколению 60-х годов», во многих отношениях являлся типичным представителем разночинной интеллигенции того времени. По своим общественно-политическим взглядам он был и на всю жизнь остался убежденным демократом, считавшим интересы и нужды «народа» руководящим принципом, на основе которого должна строиться вся общественно-политическая жизнь России. Другой характерной чертой миросозерцания Водовозова являлось его «западничество». Он был убежден в том, что, какие бы недостатки ни были свойственны западноевропейскому буржуазному строю, этот строй имеет громадные преимущества по сравнению с русским.

У этого миролюбивого и весьма добродушного человека были враги, которых он ненавидел со всем пылом своей души. Этими врагами являлись, с одной стороны, эпигоны славянофильства, с другой — Ф. М. Достоевский.

В особенное негодование привела его знаменитая речь Достоевского на Пушкинском торжестве в Москве в 1880 году. Водовозов не мог простить великому писателю, как и славянофилам типа И. С. Аксакова, идеализацию рабских инстинктов и преклонение перед свойственными якобы русскому народу смирением и покорностью судьбе.

«Сумасшедшее ликование, с каким принята была речь Достоевского,— писал Водовозов своему ученику и другу В. И. Семевскому под непосредственным впечатлением от Пушкинского праздника,— право, заставляет сильно опасаться за санитарное состояние общества. Говорят, что у него искренность убеждения. Какой же маниак не искренен?» [1].

В стихотворении, написанном после смерти Достоевского [2], особенно ярко проявилось негодование Водовозова на ренегатство автора «Бесов», на его отказ

Люду темному словом служить,
Угнетенных защитником быть.

«Смиренную песню рабов», слышанную от каторжников Мертвого дома, Достоевский, по мнению Водовозова, принял за песнь всего русского народа и на этом основании пришел к убеждению,

Что покорно страдать он привык
И смиренцем этим велик.

«Западничество» Водовозова сказалось и на отношении его к его современникам из народнического лагеря. Несмотря на то, что он был очень близок со многими из них, Водовозов к народничеству, как к теории, относился, по свидетельству В. И. Семевского, скептически и «добродушно подтрунивал» над той идеализацией народа, которая была распространена среди народников. Не разделял Водовозов и их веры в то, что русская крестьянская община является зародышем лучшего, более справедливого, чем западноевропейское, общественного устройства. Он понимал, что «эта форма народной жизни отлично уживалась рядом со всякой эксплоатацией народа, что сами эксплоататоры находили ее столь удобной для себя, что даже всячески содействовали ее распростра-

[1] В. И. Семевский, Василий Иванович Водовозов. Биографический очерк. Спб., 1888 г., стр. 154.

[2] Стихотворения Водовозова собраны в книге «Переводы в стихах и оригинальные стихотворения В. И. Водовозова». Спб., 1883 г.

нению»[1]. От революционного крыла народников, верившего в близость в России крестьянской революции, Водовозова отделяло его убеждение в том, что русское крестьянство далеко еще не подготовлено к выступлению в качестве активной политической силы.

Не веря в революцию, Водовозов все надежды свои и упования возлагал на распространение знаний, на поднятие культурного уровня народной массы. В одном из стихотворений он писал:

Пусть во тьме лицемер и невежда
На науку со злобой шипят,—
В ней в одной лучшей доли надежда,
Без нее нищета и разврат.

Эта вера в силу знания, в спасительную роль науки роднила Водовозова с просветителями 60-х годов.

Водовозов имел широкое знакомство среди петербургской интеллигенции и учащейся молодежи. Его вечера, которые он начал устраивать вскоре после того, как женился на Елизавете Николаевне, отличались большим оживлением и многолюдством. В течение длинного ряда лет еженедельно по вторникам маленькая квартирка Водовозовых на Васильевском острове наполнялась посетителями, которые не покидали ее раньше глубокой ночи. Литературные выступления сменялись на этих вечерах пением и танцами. В качестве чтецов выступали такие популярные писатели, как В. А. Слепцов, братья В. С. и Н. С. Курочкины, И. И. Якушкин и другие. Кого только не перевидала у себя на этих вечерах Елизавета Николаевна! Покойный Н. И. Кареев вспоминал, что, когда он в середине 80-х годов приехал в Петербург, кто-то из знакомых, перечисляя различные «достопримечательности» Петербурга, указал, как на одну из них, на журфиксы Водовозовых.

В 1886 г. Елизавета Николаевна овдовела. Вскоре она вторично вышла замуж за ученика и друга своего первого мужа — В. И. Семевского. «Вторники» Елизаветы Николаевны

[1] В. И. Семевский, Названное сочинение, стр. 152.

продолжались. К этому времени дети ее от первого брака стали уже юношами, и молодежь не переставала тесниться в ее квартире.

Имя второго мужа Елизаветы Николаевны пользуется гораздо большей известностью, чем первого. Его многочисленные работы по истории крестьянского вопроса в России, о рабочих на сибирских золотых приисках, о декабристах и петрашевцах и другие, несмотря на несколько наивный идеализм их автора, по богатству собранного в них фактического материала сохраняют до сих пор большое значение. По своим воззрениям второй муж Е. Н. Водовозовой, в отличие от первого, был типичным народником правого крыла. С виднейшими представителями легального народничества, начиная с его признанного вождя, Н. К. Михайловского, Семевского соединяло близкое личное знакомство, а иногда и дружба. Несмотря на то, что педагогическая карьера В. И. Семевского не удалась, так как в мрачную эпоху реакции 80-х годов, когда развернулась его научная деятельность, ему не нашлось места в русских университетах, В. И. Семевский имел большие связи в научном мире. Недаром М. Н. Покровский однажды назвал его «общим деканом всех историков, не принадлежащих ни к какому факультету».

Таким образом, Е. Н. Водовозова всю свою жизнь, начиная с выхода из института, провела среди петербургской народнической интеллигенции и была близка к виднейшим ее представителям. При таких условиях и при несомненном литературном таланте Водовозовой ее воспоминания могли бы представлять чрезвычайный интерес для характеристики тех общественных кругов, в которых она вращалась. К сожалению, мемуары Елизаветы Николаевны прерываются на очень раннем времени — на конце 60-х годов. Событий более поздней эпохи она касалась лишь мимоходом, в отдельных своих произведениях мемуарного характера. Однако для того времени, которому посвящены воспоминания Водовозовой, они дают чрезвычайно много и вследствие этого должны занять весьма почетное место в русской мемуарной литературе.

Перед читателями воспоминаний Водовозовой развертываются три большие исторические картины.

Первая из них изображает деревенскую жизнь в эпоху разложения крепостничества,— конец 40-х и первая половина 50-х годов. Картина помещичьей жизни этой эпохи, нарисованная Е. Н. Водовозовой, представляет чрезвычайный интерес, и Елизавета Николаевна была вполне права, когда в предисловии к отдельному изданию «На заре жизни» указывала, что ее воспоминания широко использованы многими исследователями, писавшими о русской дореформенной деревне.

Действительно, историк может многое заимствовать из воспоминаний Водовозовой и тогда, когда он исследует положение крестьян в крепостную эпоху, и тогда, когда он изучает помещичье хозяйство того времени, и тогда, когда его внимание привлекает вопрос о диференциации самого господствующего сословия: достаточно вспомнить яркое изображение жизни и быта мелкопоместных дворян, которое дает Е. Н. Водовозова. Ее воспоминания показывают, что крепостное право было страшно не только вследствие того, что оно ставило личность крестьян в полную зависимость от произвола и прихотей их владельцев и создавало почву, благоприятную для появления таких нравственных уродов, как знаменитая в свое время Салтычиха, но также и вследствие того, что оно уродовало душу даже свободных людей, развивая в них рабские инстинкты и навыки. Ярким образцом в этом отношении является няня автора. Эта свободная женщина, добровольно превратившаяся в «неотъемлемую собственность» родителей автора, вполне сжилась со своим зависимым положением и сделалась убежденной крепостницей без крепостных. Крепостное право накладывало свой отпечаток на психологию не только рабов, но и их господ. Мать автора, столь правдиво изображенная им,— лучшее доказательство этого. Знакомясь с воспоминаниями Водовозовой, читатель вполне убеждается, насколько прав их автор, когда говорит, что яд и смрад крепостничества проникали в нравы и обычаи, во все сферы деятельности и мысли «даже лучших и наиболее развитых в умственном и нравственном отношении» людей крепостнической эпохи.

Вторая картина, которая развертывается перед читателем воспоминаний Водовозовой, изображает жизнь воспитанниц

Смольного института как в дореформенную эпоху, так и в момент начавшейся перестройки русской жизни. Читатель должен помнить, что те порядки, которые господствовали в Смольном, не были особенностью только одного этого института: они господствовали повсеместно, во всех женских учебных заведениях того времени. Воспитанница Патриотического института дореформенного времени А. Лазарева, описывая жизнь своего института, была вполне права, когда вспомнила о мемуарах Водовозовой и указала, что картины, изображенные в них, «так жизненно правдивы, так верно рисуют действительность того времени, что почти все сказанное о Смольном можно повторить и о Патриотическом институте» [1].

«Дети,— говорит Водовозова,— были такими же бесправными существами, как и крепостные». Это сказывалось на положении их и в семье, и в учебных заведениях. Да иначе и быть не могло, ибо вся система воспитания того времени была приноровлена к потребностям общества, проникнутого крепостнической психологией. О сколько-нибудь серьезном образовании в институтах того времени и речи не могло быть.

Скажу на вечере с улыбкой
Плохой французский комплимент,
Сыграю с легкою ошибкой
К романсу аккомпанимент...
И без труда всегда в собраньи
Медведя отличу от льва, —

писала одна из окончивших институт того времени в своем альбоме, подводя итог полученному ею образованию [2]. Но большего от женщины привилегированного класса в то время и не требовалось. Гораздо хуже и гнуснее было то разлагающее влияние, которое институтская жизнь оказывала на

[1] А. Лазарева, Воспоминания воспитанницы Патриотического института дореформенного времени. «Русская старина» 1914 г., № 8, стр. 229.

[2] В. Водовозов, Секретные воспоминания пансионерки. «Отечественные записки» 1863 г., № 8, стр. 516.

воспитанниц и которое так ярко показано в воспоминаниях Водовозовой. При чтении их становится ясно, почему девушкам, попавшим в Смольный институт в дореформенное время и продолжавшим оставаться в его стенах при появлении в них К. Д. Ушинского, реформировавшего постановку преподавания в Смольном, его реформы должны были казаться целой революцией, не оставляющей камня на камне в порядках прежнего времени. От воспитанниц, переживших переход от этих порядков к новой системе воспитания, введенной Ушинским, трудно требовать полной объективности по отношению к Ушинскому. Для них реформа Ушинского была своего рода раскрепощением. Отсюда естественно, что Е. Н. Водовозова не могла избежать некоторой идеализации этого педагогического деятеля.

Бесспорно, что реформа Ушинского имела громадное значение не только для Смольного института, но и вообще для постановки женского образования в России. Однако в характеристику Ушинского, данную автором, необходимо ввести весьма существенные поправки. Читатель, знакомящийся с деятельностью Ушинского только по воспоминаниям Водовозовой, может принять его за человека, стоявшего вполне на высоте наиболее передовых педагогических идей своего времени и являвшегося вследствие этого одним из представителей тех «новых людей», с которыми Е. Н. Водовозовой пришлось познакомиться по выходе из Смольного. Однако в действительности это далеко не так.

Здесь не место излагать более или менее подробно педагогические идеи и взгляды К. Д. Ушинского[1]. Для того чтобы внести необходимый корректив в характеристику, данную ему его восторженной ученицей и почитательницей, Е. Н. Водовозовой, достаточно указать на то отношение, какое идеи и деятельность Ушинского встречали со стороны людей, стоявших на левом фланге русского общества того времени. Ушинский сам сознавал, насколько далек он от

[1] О педагогических взглядах Ушинского см. подробнее А. П. Пинкевич, Краткий очерк истории педагогики. Харьков, 1927 г., и Е. Н. Медынский, История педагогики в связи с экономическим развитием общества, т. III, М., 1929 г.

современной ему радикальной интеллигенции. Недаром его отказ от сотрудничества в «Современнике» совпал с появлением в этом журнале действительных представителей «новых людей» в лице Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова.

Конечно, в практической деятельности Ушинского и в тех идеях, которые он развивал в своих педагогических сочинениях, было много прогрессивного. Однако в них имелись и такие стороны, которые не могли не вызывать отрицательного отношения со стороны молодой мелкобуржуазной интеллигенции. Для нее Ушинский во многих отношениях оставался человеком, органически связанным со старым, отрицаемым ею миром.

Когда Ушинский разрушал старую педагогическую систему, обвиняя ее в том, что она уродует человеческую личность, он действовал прогрессивно. Когда Ушинский, вслед за Н. И. Пироговым, выдвигал в качестве основной задачи воспитания всестороннее развитие человеческой личности, образование не узкого профессионала-специалиста, а человека в полном смысле этого слова, его точка зрения не вызывала возражений слева. Когда Ушинский выступал пламенным проповедником труда, когда он доказывал, что «труд есть единственно доступное человеку на земле и единственно достойное его счастье» [1], когда он говорил о безнравственности тунеядства, его взгляды в значительной мере совпадали со взглядами левого крыла его современников. Когда Ушинский призывал своих учеников и учениц нести свои знания в народ и этим искупить «долг перед народом», лежащий на дворянской интеллигенции, эти призывы были созвучны его эпохе.

Однако наряду с этим во взглядах Ушинского мы встречаем много такого, что вызывало самый резкий отпор со стороны учеников и последователей Чернышевского и Добролюбова. В их среде материализм, как известно, был господствующим философским направлением. В нем они видели

[1] К. Д. Ушинский, Собрание педагогических сочинений, изд. 2-е, Спб., 1905 г., стр. 102.

могущественное орудие борьбы с убеждениями и верованиями «старого мира», обреченного на гибель. Ушинский же был типичный эклектик, ставивший себе в заслугу то, что он «брал верную мысль, где бы он ее ни находил»: и у Гегеля, и у Бекона, и у Декарта, и у Локка, и у Канта, и у материалистов [1]. Этот беспринципный эклектизм приводил Ушинского к тому, что на вопрос: «какова его собственная теория?» он откровенно отвечал: «У нас нет никакой теории» [2]. Ушинский не скрывал своей антипатии к материализму; в 1860 г. он скорбел о том, что «философия уступила свое место безобразному учению материалистов, силящихся создать систему, в которой мог бы найти успокоение человек, позабывший в промышленных хлопотах, что у него есть душа» [3]. Монизму материалистов он противопоставляет дуализм, отрицавший зависимость духовной природы человека от его материи. «Дуализм,— писал он,— есть непосредственное чувство человека; это одна из тех скал, о которые бьется человеческое сознание, стремящееся все привести к единству, но которая до сих пор остается непобедимою» [4]. Критика левого лагеря вполне справедливо указывала на то, что теория Ушинского «разрывает человеческую природу на две друг на друга не похожие половинки, при изучении которых требуются совершенно особые приемы и которые подчиняются в своем развитии особым законам» [5].

Идеалист Ушинский считал, что человеку от природы врождены наряду с даром слова «чувства»: нравственное, художественное и религиозное [6]. Задачи воспитания — общественного и семейного — развить в человеке те зародыши

[1] К. Д. Ушинский, Человек как предмет воспитания ,т. I, Спб., 1868 г., стр. XXXIII—XXXIV, XXXVII—XXXVIII.

[2] Там же, стр. XXXVIII.

[3] К. Д. Ушинский, Собрание педагогических сочинений, стр. 104.

[4] К. Д. Ушинский, Человек как предмет воспитания, т. I, стр. 538.

[5] П. Н. Ткачев, Рецензия на книгу Ушинского «Человек как предмет воспитания». «Дело» 1868 г., № 2, стр. 52.

[6] См. «Программу педагогики» Ушинского в сборнике «Памяти К. Д. Ушинского». Спб., 1896 г., стр. 146—148.

нравственного чувства, которые заложены в него природою [1]. «Но на чем,— спрашивает Ушинский,— может опираться нравственное развитие, если не на христианстве?» [2]. «Дело народного воспитания,— писал он в 1860 г.,— должно быть освящено церковью, а школа должна быть преддверием церкви» [3].

Ушинский был не только идеалистом и религиозным человеком, он был также и националистом. Общей системы народного воспитания для всех народов, по его мнению, не существует. «У каждого народа своя собственная национальная система воспитания»,— говорит он, ибо каждый народ, по его мнению, «играет в истории свою особую роль». Но есть один «идеал совершенства», пред которым должны преклоняться все народности: «это идеал, представляемый нам христианством». «Все, чем человек как человек может и должен быть,— писал Ушинский в 1857 г.,— выражено вполне в божественном учении, и воспитанию остается только, прежде всего и в основу всего, вкоренить вечные истины христианства» [4].

Из этого видно, как далеко отходил Ушинский в основных элементах своего миросозерцания от лагеря «Современника». После этого нам будет понятно, почему молодой сотрудник «Современника» И. Пиотровский счел возможным сопоставить имя новатора и реформатора педагогического дела Ушинского с именем пресловутого мракобеса и обскуранта Аскоченского. «Ушинскому,— писал Пиотровский,— сродна мысль г. Аскоченского, что народу прежде нужно раздать евангелие, а потом уже приняться учить его грамоте» [5].

Ушинский, как мы уже упоминали, много говорил о необходимости служения народу. «Государственное благосостояние,— писал он в 1861 г.,— преимущественно покоится у нас

[1] К. Д. Ушинский, Собрание педагогических сочинений, стр. 138, статья «О нравственном элементе в русском воспитании».
[2] Там же, стр. 150.
[3] Там же, стр. 158.
[4] Там же, стр. 68—70, статья «О народности в общественном воспитании».
[5] И. Пиотровский, Погоня за лучшим. «Современник» 1861 г., № 5, стр. 133.

на благосостоянии сельского класса, до которого пока еще весьма мало касалось преобразование Петра Великого, действовавшее только преимущественно в верхних слоях общества» [1]. Но современники Ушинского умели хорошо разбираться в цене и истинном смысле всех этих слов о народе. Недаром тот же И. Пиотровский сравнивал Ушинского с людьми, любящими

В роскошно убранной палате
Потолковать о бедном брате,
Погорячиться о добре [2].

Надо признать, что в конечном счете Пиотровский в своей оценке Ушинского был прав. Что привлекало Ушинского в крестьянстве? Он ценил в нем патриархальную нравственность, проникающую весь крестьянский быт. Ушинский скорбит о том, что эта старая нравственность разлагается под влиянием проникающей в деревню «цивилизации». К развивающемуся промышленному капитализму он относится с нескрываемой враждебностью. Ему претит «меркантильное направление нашего века». Он горюет о том, что «науки философские и исторические заметно уступают свое место наукам промышленным». «Наука,— жалуется он,— старается подделаться под жизнь и становится рабою промышленности, которой прежде бросала только крупицы со своего пышного стола» [3].

Все симпатии Ушинского на стороне старой, дворянской, а не новой, разночинной интеллигенции. Он убежден в том, что именно из дворянства выходит «несравненно бо́льшая часть лиц, на нравственное достоинство которых преимущественно опирается наша государственная служба, наша литература и наше общественное образование... Именно этому классу... обя-

[1] К. Д. Ушинский, Собрание педагогических сочинений, т. II, изд. 2-е, Спб., 1913 г., стр. 131, статья «Вопросы о народных школах».

[2] И. Пиотровский, Названная статья. «Современник» 1861 г., № 6, стр. 312.

[3] К. Д. Ушинский, Собрание педагогических сочинений. Изд. 2-е, Спб., 1905 г., стр. 104.

зана Россия большею частью лучших деятелей ее цивилизации во всех отраслях общественной жизни».

Националист и умеренный либерал, Ушинский относится отрицательно не только к деятельности Чернышевского и его политических друзей, но и к пропаганде Герцена. «Эта газета,— пишет он про герценовский «Колокол» в марте 1863 г. Л. Модзалевскому,— становится враждебною не одному правительству, но всякому, в ком не умерло еще русское чувство и кто не выродился в безличное существо мадзиниевского легиона» [1].

Думается, что все сказанное выше доказывает, насколько прав современный нам историк педагогики, когда он характеризует Ушинского как «выразителя интересов среднего дворянства, не порвавшего с землей и намеревающегося вести свое хозяйство, опираясь на «свободный» труд крестьянства» [2].

Немудрено, что далеко не всех современников, с которыми он встречался, Ушинский приводил в такое восторженное состояние, как Е. Н. Водовозову. Ее характеристике Ушинского можно противопоставить хотя бы отзыв о нем известного педагога-народника Н. Ф. Бунакова.

«Личность Ушинского,— пишет Бунаков в своих воспоминаниях,— говоря откровенно, для меня была не особенно симпатична. Я видел в нем (может быть, и ошибочно) странную и не симпатичную мне смесь умеренного либерализма с благонамеренным генеральством, приниженного народничанья с заносчивым самомнением, реформаторских замашек с наклонностью примирять непримиримое» [3].

Того, что мы говорили об Ушинском выше, достаточно, чтобы признать такую оценку его личности, какую дает Бунаков, в общем вполне правильной.

Думается, что Е. Н. Водовозова сама должна была бы внести в свою характеристику Ушинского весьма существен-

[1] К биографии К. Д. Ушинского. «Русская школа» 1893 г., № 7—8, стр. 62.

[2] А. П. Пинкевич, Названное сочинение, стр. 293.

[3] Записки Н. Ф. Бунакова, Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественно провинциальной. 1837—1905. Спб., 1909 г., стр. 62—63.

ные поправки, если бы ей было известно отношение Ушинского к ее мужу в самую тяжелую для последнего минуту его жизни. В 1866 г., в разгул реакции после выстрела Каракозова, В. И. Водовозов, как мы уже знаем, был грубо и жестоко выброшен из всех учебных заведений, в которых он преподавал. Е. Н. Водовозова ярко описывает в своих воспоминаниях ту тяжелую, близкую к нищете жизнь, которую ей с мужем пришлось вести в это время.

Как же отнесся Ушинский к оставшемуся без средств к жизни Водовозову?

«Что Водовозов? — запрашивает он Модзалевского в письме от 9 декабря 1866 г.— Жаль мне его очень, но *сам виноват*» [1].

Как видим, Ушинский был весьма далек от «новых людей» 60-х годов, и его жалобы в одном из писем к тому же Модзалевскому на «гонения некрасовцев» не были лишены основания. Для «некрасовцев» он действительно был не союзником, а врагом [2].

То же самое можно сказать и про многих преподавателей, привлеченных им в Смольный институт. Вспомним хотя бы рецензию Добролюбова на книжку одного из соратников Ушинского, М. И. Семевского, «Великие Луки и Великолуцкий уезд», в которой рецензент отмечал «ограниченность понятий и знаний» ее автора и высмеивал его поверхностный либерализм, «деланное сочувствие к современному направлению» [3]. Вспомним другой отзыв,— гораздо более суровый,— который встретила со стороны того же Добролюбова книга другого соратника Ушинского по Смольному, О. Ф. Миллера, «О нравственной стихии в поэзии». Вспомним, что Добролюбов признал эту книгу «образцом обскурантских, молчалинских понятий» и «пошлой бездарностью» [4]. Вспомним, что не менее резко, чем Добролюбов, отозвался о диссертации Миллера другой рецен-

[1] К биографии К. Д. Ушинского, «Русская школа» 1893 г., № 7—8, стр. 79.

[2] Там же, стр. 81.

[3] Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений под ред. М. К. Лемке, т. I, Спб., 1912 г., стр. 603—608.

[4] Там же, т. IV, стр. 257.

зент, близкий к революционному подполью того времени, А. А. Котляревский, упрекавший Миллера в «принижении личности», «защите квиетизма» и «поощрении рутины и отжившего обычая»[1]. Миллер сам удостоверяет, что после выхода в свет его диссертации и после рецензии на нее Добролюбова он «сделался на несколько лет притчею во языцех»[2]. Не означало ли при таких условиях приглашение Ушинским Миллера и М. Семевского в Смольный того, что Ушинский очень мало считался с мнением «новых людей», к которым старается его приблизить Е. Н. Водовозова.

На вопросе об Ушинском мы остановились так подробно потому, что здесь можно очень легко и очень ярко вскрыть один немаловажный недостаток воспоминаний Е. Н. Водовозовой — ее зависимость от «либеральной легенды», окружившей ореолом личность Ушинского и превратившей его в выдающегося реформатора, пролагавшего новые пути в русской педагогике.

Та же самая «либеральная легенда» сильно сказалась на третьей картине, которую мы находим в «На заре жизни» Е. Н. Водовозовой, на той части ее воспоминаний, которая посвящена изображению русского общества 60-х годов.

Надо признать, что и эта часть воспоминаний Водовозовой представляет не меньший интерес и не меньшую историческую ценность, чем две первые. Жизнь, быт, нравы и убеждения разночинной интеллигенции 60-х годов нашли в Е. Н. Водовозовой очень тонкого и вдумчивого наблюдателя и правдивого изобразителя. Тому, кто хочет составить себе представление о взглядах этой интеллигенции на любовь, брак, на значение и роль искусства, об отношении ее к народу, с одной стороны, и к старому дворянскому крепостническому обществу, с другой, воспоминания Е. Н. Водовозовой дадут очень много ценного и весьма показательного материала. Вполне правильно и очень ярко изображено Водовозовой отношение интеллигенции к труду и к знанию, в распро-

[1] Б. Глинский, Орест Федорович Миллер. Биографический очерк. Спб., 1896 г., стр. 23.

[2] «Знакомые». Альбом М. И. Семевского. Спб., 1888 г., стр. 34.

странении которого люди того времени были склонны видеть средство, исцеляющее от всех социальных болезней. Ярко изображено впечатление, произведенное на тогдашнее общество романами Тургенева «Отцы и дети» и Чернышевского «Что делать?», появление которых в печати было событиями не только литературного, но и общественно-политического значения,— хотя и разнородного и разноценного. Много дают мемуары Водовозовой для истории женского движения 60-х годов и начавшегося тогда в русском обществе увлечения артельными начинаниями. Интересны характеристики ряда исторических лиц, с которыми Водовозовой приходилось в то время встречаться: В. А. Слепцова, П. Л. Лаврова, П. И. Якушкина и других. Большой интерес в третьей части воспоминаний Водовозовой представляет и та глава, в которой она описывает свое пребывание на родине, в Смоленской губернии, и рассказывает об отношении к реформе 19 февраля 1861 г. помещиков, с одной стороны, и крестьян, с другой.

Однако в отношении Е. Н. Водовозовой к крестьянской реформе вновь сказывается та же «либеральная легенда», которую мы нашли в ее характеристике К. Д. Ушинского. К реформам 60-х годов она относится приблизительно так же, как те либерально-буржуазные историки, которые прозвали эпоху 60-х годов «эпохой великих реформ». Отмена крепостного права, по мнению Водовозовой, была «реформой демократической».

Читателю нашего времени, конечно, нет нужды доказывать, насколько далека от исторической действительности такая оценка реформы 19 февраля. Современный читатель и без пояснений знает, что в реформе, в силу которой свыше пятой части крестьянской земли отошло к помещикам, а за остальную часть своей земли крестьяне должны были платить помещикам выкуп, не было ничего демократического. Он понимает, что та ужасающая нищета, во власти которой оказалось «освобожденное» крестьянство, была прямым результатом крестьянской реформы,— результатом, который заранее предвидели и предсказывали многие современники этой реформы, принадлежавшие к революционному лагерю. Читатель нашего времени понимает, что реформа 19 февраля не только

не была, но и не могла быть реформой демократической, ибо как выработка, так и проведение ее находились всецело в руках господствующих классов. Знает он и то, что призванные осуществлять эту реформу на местах мировые посредники вовсе не были ни такими бескорыстными друзьями народа, какими изображает их «либеральная легенда», ни такими ненавистниками дворянства, какими они казались заядлым крепостникам, не хотевшим примириться ни с какими уступками в пользу своих вчерашних рабов.

«Либеральная легенда» о значении реформы 1861 г. и о ее влиянии на дальнейшее развитие русской жизни была широко распространена и весьма живуча вследствие того, что она поддерживалась не только либерально-буржуазной частью русского общества, но и некоторыми кругами народников,— той их частью, которая занимала правое крыло в народническом движении и упорно тянула к отказу от революционных методов борьбы с правительством и к тесному союзу с либеральной буржуазией. Именно к этому крылу народнической интеллигенции принадлежала Е. Н. Водовозова. Это сказалось на многих оценках, которые она дает различным событиям и явлениям изображаемой ею эпохи.

В связи с этим же стоит частое употребление Е. Н. Водовозовой весьма неопределенного по содержанию термина «люди 60-х годов».

Этим термином часто назывались люди самых различных политических взглядов, начиная от революционеров и кончая либеральствующими бюрократами. Этот термин одинаково прилагался и к Н. Г. Чернышевскому, считавшему реформу 19 февраля «мерзостью», и к Н. А. Милютину, принимавшему деятельное участие в ее подготовке и выработке. Оба они — «люди 60-х годов». Такое употребление этого термина объяснялось непониманием резкой противоположности классовых интересов того времени или же желанием затушевать эту противоположность.

В одном месте своих воспоминаний Е. Н. Водовозова утверждает, что русское общество 60-х годов представляло собою две диаметрально противоположные группы — прогрессивную и консервативную.

К первой из этих групп Е. Н. Водовозова относит людей, «державшихся старых порядков и отрицавших необходимость изменения чего бы то ни было в наших нравах», т. е. крепостников; ко второй — «все наиболее живое, чуткое, образованное в обществе». Создается впечатление, что в русском обществе того времени образовался «единый фронт» против крепостников из представителей самых разнообразных классов тогдашнего общества.

К счастью, Е. Н. Водовозова — бытописатель настолько правдивый и добросовестный, что читателю из ее же собственных воспоминаний становится ясным, насколько далека от исторической действительности такая характеристика соотношения общественных сил 60-х годов. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о двух персонажах, выведенных ею в третьей части «На заре жизни» под фамилиями Ваховского и Очковской. Они — ни в коем случае не крепостники. Они, несомненно, по мнению самого автора, должны быть отнесены ко «всему наиболее живому, чуткому, образованному». А между тем читатель видит, как резко расходились мнения, убеждения, вкусы этих людей с мнениями, убеждениями и вкусами наиболее левой части общества и какое непримиримо враждебное отношение вызывали они со стороны наиболее последовательных и законченных «новых людей». Именно такое отношение вызывали к себе,— и не могли не вызывать,— люди, подобные Ушинскому. Мелкобуржуазная интеллигенция 60-х годов относилась как к врагам не только к заядлым крепостникам и обскурантам, но и к либералам, кичившимся своею приверженностью «прогрессу». Вспомним литературную деятельность Чернышевского и Добролюбова. Вспомним их разрыв не только с либеральной дворянской интеллигенцией, но и с людьми типа Герцена. Вспомним, как ненавидел и как презирал этих людей Чернышевский, в глазах которого они были «лгунами» и «болтунами». Конечно, Е. Н. Водовозова хорошо знала обо всем этом. Однако, в силу того, что она сама принадлежала не к тому общественному кругу, к которому принадлежали люди типа Чернышевского, в силу того, что многие нити связывали ее с людьми, которые для Чернышевского были врагами, она

не могла дать ясной формулировки тех глубоких расхождений, которые наблюдались среди противников крепостников. В действительности же «люди 60-х годов» типа Милютина, несмотря на жгучую ненависть к ним со стороны крепостников, стояли ближе к лагерю этих последних, чем к лагерю «людей 60-х годов» типа Чернышевского. Одновременно с этим не мало было и таких людей, которые в большей или меньшей степени приближались к лагерю Чернышевского, но не вошли окончательно в него. Мелкобуржуазную интеллигенцию того времени нельзя рассматривать как вполне однородное целое. В ней существовали различные направления и течения. Наряду с левым крылом, безоговорочно ушедшим в революцию и не видевшим другого приемлемого для нее выхода, кроме насильственного ниспровержения существующего порядка, среди «разночинцев» мы находим и другое крыло — правое, более или менее оппортунистическое, не отказавшееся от надежды на мирный исход и вследствие этого не порывавшее окончательно со «старым миром». К этому-то именно крылу интеллигенции того времени и принадлежала Е. Н. Водовозова. И это, конечно, не могло, как мы уже убедились, не отразиться на ее воспоминаниях, обусловив неправильные оценки, которые автор дает упоминаемым им событиям и людям. Однако это обстоятельство не может лишить воспоминания Е. Н. Водовозовой того большого интереса и той значительной исторической ценности, которые они несомненно представляют. Е. Н. Водовозовой удалось дать исключительное по яркости и рельефности изображение русской жизни в одну из наиболее важных эпох ее исторического развития.

В заключение — несколько слов еще об одном историческом лице, упоминаемом Е. Н. Водовозовой в ее воспоминаниях,— о ее дяде, генерале Иване Степановиче Гонецком, в доме которого она прожила некоторое время по окончании Смольного института. Подробной характеристики Гонецкого Водовозова не дала; умолчала она и о его в своем роде блестящей карьере. Только мимоходом она упоминает однажды о «заслугах» этого генерала (а также и его брата Николая) перед царским престолом. По отзыву Водовозовой, И. С. Гонецкий был боевым генералом, страстно преданным самодержавному

строю. Она отмечает «доброе солдатское сердце» Гонецкого, говорит о том, что он был «безукоризненно честным по натуре» человеком, с «честными взглядами относительно всего, что он мог понять своим недальновидным умом, но что подсказывало ему его сострадательное сердце».

Для того чтобы у читателя не создалось неправильного и одностороннего представления о Гонецком, необходимо пополнить рассказ Е. Н. Водовозовой краткими сведениями о карьере этого генерала и об его «заслугах» перед престолом [1]. Заслуги эти действительно были не маленькими. И. Гонецкий принадлежал к редкой в царской армии разновидности генералов, к тем, которые по праву могли называться «боевыми», которые выделялись и получали повышения не по связям в правительственных верхах, а по действительной пользе, приносимой ими тем, кому они беззаветно и преданно служили. В числе своих «заслуг» Гонецкий имел две весьма важные: в 1863 г. во время польского восстания Гонецкий разбил отряд повстанцев, предводительствуемый знаменитым Сигизмундом Сераковским, и взял в плен самого предводителя отряда, казненного вслед за этим Муравьевым-вешателем в Вильне; в 1877 г. Гонецкий принимал участие в осаде Плевны, и именно ему был вынужден сдаться в плен главнокомандующий турецкой армией Осман-паша. Была у Гонецкого и еще одна заслуга, высоко ценившаяся царским престолом: в 1881 году, после 1 марта, когда правительство усилило репрессии против своих политических врагов, Гонецкий был назначен комендантом «русской Бастилии» — Петропавловской крепости в Петербурге. Правительство не ошиблось в своем выборе: Гонецкий ввел для политических заключенных суровейший режим [2].

Один из узников Алексеевского равелина, испытавший на себе «доброту» и «сострадательность» Гонецкого, писал о нем:

[1] Подробнее о карьере И. С. Гонецкого см. в примечании 3-м.

[2] О режиме, введенном Гонецким для политических заключенных, см. в книге П. Е. Щеголева, Алексеевский равелин. М., 1929 г., стр. 284 и сл., в статье Д. Венедиктова-Безюка «Сухая гильотина» в № 8—9 «Каторги и ссылки» за 1932 г.

«Свойственны ли гуманные чувства генералу Гонецкому, я не знаю, но, судя по тому, что он посещал равелин только за тем, чтобы по часу стоять у дверей каземата и любоваться в щель на отягченное им положение узников, судя по этому, следует думать, что созерцание чужих страданий доставляет ему удовольствие, которое человеческим назвать нельзя. Не надеется ли он довести меня до отчаяния, чтобы видеть слезы и муки бессильного бешенства, чтобы слышать безумные крики ярости, подобные тем, которые доносятся из каземата моего несчастного соседа по тюрьме, доведенного долговременным заключением до сумасшествия. О, нет! Я не доставлю Гонецкому такого удовольствия. Я желаю ему сохранить хоть сотую долю моего спокойствия и самообладания, когда его самого поведут на эшафот[1].

Так отзывался о Гонецком в письме к Александру III, не дошедшем по назначению, С. Г. Нечаев, который, как известно, и со стороны предшественников Гонецкого поблажек не испытывал.

Пусть же его слова будут маленькой «фактической поправкой» к тем страницам воспоминаний Е. Н. Водовозовой, на которых она говорит о «добром солдатском сердце» и о сострадательности своего заслуженного родственника.

Воспоминания Е. Н. Водовозовой «На заре жизни» первоначально печатались в различных журналах, а в 1911 г. вышли отдельным изданием, по тексту которого, сверенному с журнальным, они и печатаются нами. К 23 главам, имевшимся в издании 1911 г., прибавлена 24-я — «Житейские невзгоды», опубликованная в № 1 «Голоса минувшего» за 1923 год. Этой главой, написанной уже после выхода в свет «На заре жизни», Е. Н. Водовозова имела в виду «закончить» свою книгу. Кроме того в настоящем издании мы воспроизводим ряд других произведений Е. Н. Водовозовой, имеющих мемуарный характер, отчасти дополняющих «На заре жизни», отчасти же относящихся к более позднему времени, чем то, которое описывается в «На заре жизни». Это — небольшой

[1] П. Щеголев, Названное сочинение, стр. 288.

отрывок «Из давно прошедшего» («Голос минувшего» 1915 г., № 10), воспоминание о В. И. Водовозове («Русская старина» 1887 г., № 2), о В. А. Слепцове («Голос минувшего» 1915 г., № 12), о В. И. Семевском (там же, 1917 г., № 9—10) и, наконец, статья «Из недавнего прошлого» (там же, 1915 г., №№ 1 и 2), посвященная событиям и переживаниям автора эпохи конца 80-х и начала 90-х годов прошлого века.

Исчерпывается ли тем, что собрано в настоящей книге, мемуарное наследство Е. Н. Водовозовой? Трудно дать на этот вопрос вполне определенный ответ. В литературе имеется указание, что еще задолго до смерти Водовозова написала воспоминания о Н. К. Михайловском, но не хотела печатать их при своей жизни [1]. Проверить справедливость этого указания нам не удалось, так как неизвестно, куда девались после смерти Е. Н. ее рукописи, переписка и другие части ее архива.

Кроме «На заре жизни» Водовозовой была издана еще одна книга, имеющая отчасти мемуарный характер. Это — «Грезы и действительность» [2]. В книге этой соединены два очерка: «К свету» и «В чем счастье?»; первый — «из жизни людей 60-х годов», второй — «из жизни людей 70-х годов». Несмотря на то, что в первом из этих очерков эпизодически выведен ряд исторических лиц: Г. З. Елисеев, К. Д. Ушинский и другие, очерк этот носит преимущественно беллетристический, а не мемуарный характер. То же самое, еще в большей мере, относится и ко второму очерку. В виду этого мы не сочли нужным включать эти очерки в наше издание. К тому же эти очерки отнюдь не представляют такой исторической ценности, как «На заре жизни».

Ряд лиц, упоминаемых Е. Н. Водовозовой в ее воспоминаниях, выведен под выдуманными, а не настоящими фамилиями или же под инициалами. Там, где представлялось возможным, редакция старалась раскрыть эти инициалы, но это далеко не всегда удавалось сделать. То же самое приходится повторить и относительно лиц, выведенных под вымышлен-

[1] В. Ольнем-Цеховская, Е. Н. Водовозова-Семевская. «Голос минувшего» 1923 г., № 3, стр. 151.

[2] Издано книгоиздательством «Задруга», М., 1918 г.

ными фамилиями. Трудно даже определить, действительно ли всегда под этими вымышленными фамилиями выведены вполне реальные люди. Такие именно сомнения вызывает «словесник» Ваховский, фигурирующий в третьей части «На заре жизни». Некоторые данные, сообщаемые автором об этом лице, заставляют предполагать, что под фамилией Ваховского выведен К. Д. Ушинский. Те взгляды, которые высказывает по различным вопросам Ваховский, в значительной мере совпадают с известными нам уже высказываниями Ушинского. Враждебное отношение к Ваховскому со стороны части передовой молодежи вполне сходится с тем отношением, какое действительно встречал в этой среде Ушинский. Однако некоторые данные, сообщаемые автором о Ваховском, не совпадают с биографией Ушинского. Возможно, что в образе Ваховского наряду с некоторыми чертами Ушинского соединены некоторые черты В. И. Водовозова, который также, но в значительно меньшей степени, чем Ушинский, был не вполне своим человеком в среде радикальной молодежи 60-х годов. Водовозов по сравнению с нею был, как и Ваховский, человеком старшего поколения. Как и Ваховский, он сохранял в своем миросозерцании некоторые черты, роднившие его с «людьми 40-х годов».

Б. П. Козьмин

НА ЗАРЕ ЖИЗНИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первая часть «Воспоминаний» посвящена годам детства, которые я провела в глухом уездном городишке среди членов моей семьи, а потому в этот период жизни я говорю только о них. Но с переселением в деревню я близко сталкиваюсь с соседями, и это дает мне возможность описать деревенскую жизнь захолустного уголка, в котором я жила перед падением крепостного права

Нравы, обычаи, воспитание детей, отношения между ними и родителями,— одним словом, вся жизнь русских дворян того времени,— складывались на основе крепостного права. Лишь весьма немногим из них, благодаря исключительно благоприятным условиям, удавалось стать, если не во всех, то во многих отношениях, выше окружающей среды. Так, в умственном развитии моего отца огромную роль сыграли заграничные походы 1813—1815 гг., в которых он участвовал; они повлияли, как известно, и на целое поколение военной молодежи, дали могучий толчок распространению среди нее либеральных идей. Большое значение в жизни отца имели и пребывание его в Царстве польском в конституционный период, и польская литература и культура. Но такие люди, как мой отец, с его широкими умственными запросами, с его гуманным отношением к семье и к

своим крепостным, были редкими исключениями. Правда, и в помещичьей среде того времени мне встречались не только жестокосердые люди, помышлявшие лишь о том, как бы повыгоднее для себя эксплоатировать своих рабов, но и добрые по натуре, даже великодушные, в большинстве случаев, однако, нравственно опустившиеся помещики или такие, которые отдавались какой-нибудь невинной забаве вроде пристрастия к голубям, изготовления для себя гробов, а всю заботу о крепостных предоставляли произволу своих управляющих и старост. Наконец, те из помещиков нашего медвежьего угла, которые потерпели серьезную аварию в личной жизни, оказывались или беззастенчивыми сластолюбцами, или женоненавистниками.

Благодаря местным историческим условиям моей родины в ней было значительное количество мелкопоместных дворян, и я могла близко наблюдать их нравственное и умственное убожество; так как о них до сих пор было мало сведений в литературе русских мемуаров, я решила представить несколько знакомых мне типов и из этой среды.

Всем, конечно, известно, какое гибельное влияние имело крепостное право на помещичьих крестьян и особенно дворовых: даже там, где к ним относились сравнительно человеколюбиво, оно обыкновенно отражалось весьма печально на их судьбе, и чаще всего тех из них, которые отличались исключительною талантливостью. Вот потому-то я нашла небесполезным представить положение таких дворовых людей, как Васька-музыкант.

Жестокое право распоряжаться судьбою ближнего по своему произволу тлетворно влияло не только на тех, кто владел крепостными или сам принадлежал к их числу, но и на свободных людей, очутившихся в этой крепостнической среде, заставляя проникаться рабскими чувствами даже одаренных от природы высоконравственными качествами. Иллюстрациею того и другого может служить вся первая часть моего труда.

Из глухого деревенского захолустья я попала в институт, который был в ту пору закрытым интернатом, отделенным высокими стенами от всего человеческого, где одно женское поколение за другим, изолированное от всего живого, воспитывалось, как будто нарочно, для того, чтобы не понимать требований действительности и своих обязанностей, и оканчивало курс образования, не приобретая ни самых элементарных знаний, ни мало-мальски правильных воззрений на жизнь и людей, что я и описываю во второй части «Воспоминаний».

Я воспитывалась в Смольном не только тогда, когда в него не проникала ни одна человеческая мысль, когда в него не долетал ни один стон, вызываемый человеческими страданиями: при мне в его стенах, в качестве инспектора, появился К. Д. Ушинский, что и дало мне возможность представить, как этот величайший русский педагог, вместе с введенными им новыми учителями, начал подрывать гнилые устои института и водворять в нем новые порядки, всколыхнувшие весь строй стоячего институтского болота, перевернувшие вверх дном все установившиеся в нем понятия о воспитании и образовании. В очерках об институте за это время я описываю, как, под влиянием реформ Ушинского, его замечательной личности и выдающегося ума, постепенно начали меняться мировоззрения, стремления и мечты институток.

После умственной и нравственной встряски, произведенной Ушинским, когда голова моя шла кругом от нахлынувших новых взглядов и когда они далеко еще не перебродили в ней, я была брошена в самый кипучий водоворот жизни 60-х годов. В очерках под названием «Среди петербургской молодежи 60-х годов» я старалась представить жизнь молодых людей того времени, их отношения друг к другу, их взгляды, споры, стремления, излюбленные занятия, уменье скрасить трудовую жизнь безудержным весельем, наконец, раздоры отцов с детьми и фиктивные браки.

Мои первые знакомства с людьми молодого поколения, совместные занятия с ними, посещение лекций, воскресных школ, кружков и вечеринок, разговоры, споры и речи я, под живым впечатлением, подробно описывала моей любимой сестре, жившей в то время в провинции. После ее смерти я нашла у нее мои письма и воспользовалась ими для очерков о молодежи 60-х годов.

Затем, после продолжительной разлуки с близкими родными, я ненадолго попадаю под родительский кров и описываю все то, что встретила на моей родине, как реагировали на новые общественные течения и крестьянскую реформу члены моей семьи, а также помещики и крестьяне, которых я тогда встретила.

В мои «Воспоминания» я вношу только то, что видела, перечувствовала, чему была свидетельницею или что слышала от окружающих. Хорошо запомнить события деревенской жизни и характеры моих старых знакомых, помещиков дореформенного времени, мне очень помогло то, что, имея уже собственную семью, я нередко отправлялась на родину к матери, куда съезжались и мои братья и сестры. Члены моей семьи чрезвычайно любили вспоминать прошлое. Более всего способствовали этому уединенная однообразная деревенская жизнь нашего захолустья, недостаток книг для чтения, часто даже отсутствие газет, следовательно, скудость тем для разговора.

В неделю-другую после приезда перескажем, бывало, друг другу все, что накопилось за год разлуки,— и материал исчерпан. И вот, достаточно было самого ничтожного повода — появления бабы, пришедшей из дальней деревни за лекарством, получения от соседа деловой записки, и один из присутствующих начинает вспоминать о людях и событиях той местности, другой переходит на соответствующие эпизоды из прошлого нашей семейной жизни, третий поправляет и дополняет рассказываемое всевозможными подробностями, так как все присутствующие в продолжение многих лет были

свидетелями одних и тех же событий, жили одною и тою же жизнью. Подобные рассказы повторялись при мне много раз, и в моих воспоминаниях о событиях раннего детства я не всегда могу дать себе отчет в том, что наблюдала сама и что узнала из рассказов лиц, меня окружавших. Еще более оживляло прошлое в моей памяти следующее обстоятельство: когда я летом приезжала в деревню к матери, она то и дело просила меня читать дневник ее преждевременно умершей дочери, а моей любимой сестры, найденный после ее смерти. Таким образом он был весь прочитан несколько раз от начала до конца. Читать одно и то же приходилось потому, что это доставляло матушке бесконечное удовольствие и будило воспоминания о прошлом; она то и дело сообщала подробности или факты, на которые покойная сестра не обратила внимания или описывала их слишком кратко. Вот почему многие события деревенской жизни я помню очень живо.

Отдельное издание моих воспоминаний «На заре жизни» составилось из очерков, напечатанных в следующих журналах: 1) «Русская старина» 1887 г., № 2, под псевдонимом Н. Титовой, 2) «Минувшие годы» 1908 г. в десяти книжках, 3) «Русское богатство» 1908 г. в пяти книжках, 4) «Русское богатство» 1911 г., № 2, 5) «Современник» 1911 г. в трех номерах. Во вторую, а еще более в третью часть «Воспоминаний» вошло несколько новых очерков и эпизодов, нигде не появлявшихся в печати.

Моими «Воспоминаниями» о помещичьей и крестьянской жизни, напечатанными в журналах, уже воспользовались некоторые исследователи истории крепостного права в царствование императора Николая и собиратели материалов для этой истории. Если и другие мои очерки окажутся небесполезными для ознакомления с теми сторонами нашей прошлой жизни, которые я описываю, я буду вполне вознаграждена за свой труд.

Когда в этой книге я упоминаю о литературных и общественных деятелях, я обыкновенно не нахожу нужным утаивать их имена, но когда дело идет о моих родных и знакомых, имеющих значение только для общей характеристики того времени или представляющих, как мне кажется, интерес лишь для педагога и психолога, я не считаю нужным называть их настоящие имена.

Е. Водовозова.

ЧАСТЬ I

ЖИЗНЬ В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ГЛУШИ ПЕРЕД ПАДЕНИЕМ КРЕПОСТНОГО ПРАВА

ГЛАВА I

Неожиданная встреча на станции и сватовство.— Мой дед и его жена.—Ее изгнание в ссылку.—Свадьба моей матери *.

Моя мать, урожденная Гонецкая [1], очень рано вышла замуж. Вот что она рассказывала по этому поводу нам, своим детям, когда мы были уже взрослыми.

По окончании курса в петербургском Екатерининском институте в 1828 г., будучи тогда 16-летней девушкою, она возвращалась весною со своим отцом в его имение, деревню Бухоново, П[ореч]ского уезда, С[молен]ской губернии [2]. Подъезжая к одной из почтовых станций, недалеко от своего поместья, они встретили господина лет тридцати семи, который только что приехал туда же. Оба путешественника, т. е. мой дед (отец моей матери) и господин, отрекомендовавший себя Николаем Григорьевичем Цевловским, тотчас разговорились между собою. Оказалось, что оба они не только уроженцы С[молен]ской губернии, но что дедушка прекрасно был знаком с покойными родителями Николая Григорьевича, нередко бывал у них в доме и знал его, когда он был еще ребенком. Но с тех пор много воды утекло: мой дед

* Многие действующие лица в моих «Воспоминаниях» названы вымышленными именами; изменены и названия местностей.

во время этой встречи был уже стариком, а Николай Григорьевич только что оставил военную службу и отправлялся в свое имение Погорелое, находившееся недалеко от Бухонова.

Не только в ту отдаленную пору, о которой я говорю, но еще совсем недавно, когда уроженцы С[молен]ской губернии встречались друг с другом, они немедленно задавались вопросом, не состоят ли они в родстве между собою. В конце концов обыкновенно выходило так, что они действительно оказывались хотя отдаленными, но все же родственниками.

— Позвольте,— говорил кто-нибудь из них,— как же мы-то с вами друг другу приходимся? Не знавали ли вы Анну Петровну Скарятину, двоюродную тетку моей жены?

— Боже мой,— отвечал ему другой с радостным волнением,— действительно мы с вами родня!.. Скарятина — троюродная сестра моего двоюродного племянника.

Так было и в данном случае с дедушкою и Николаем Григорьевичем: только после этих счетов и пересчетов родни они приступили к другим темам разговора.

Когда мужчины поболтали между собою и напились чаю, дедушка выразил желание «соснуть». Матушка, до дикости конфузливая институтка, испугалась, что она останется с глазу на глаз с незнакомым человеком, с которым она ни одного слова не проронила во время чая, схватила ломоть хлеба и отправилась на крыльцо кормить кур. За нею скоро последовал и молодой помещик.

«Господи, боже мой! — рассказывала мать.— Сколько времени прошло с тех пор, а я все помню, что было сказано тогда между нами, помню каждое слово Николая Григорьевича, каждый его жест, точно все это случилось только вчера. Вышел он на крыльцо и начинает расспрашивать меня. А я в ответ только «да» и «нет», да и это-то насилу могу выдавить из горла, продолжаю крошки курам бросать, пошевельнуться боюсь, обернуться в его сторону не смею,— такими мы потешными

дикарками из институтов выходили. Верите ли, конфузливость в большом обществе у меня нередко доходила просто до потери сознания, а между тем по натуре я была очень живая и даже пребойкая.

«— Да что же это, mademoiselle Alexandrine, вы меня так дичитесь? Ведь тут нет ваших классных дам! Скажите же что-нибудь!.. Ну... любите ли вы танцы или нет?

«— Да, очень,— отвечала я, не оборачиваясь.

«— Ах вы, бедная, бедная девочка! Ведь ваше имение Бухоново — настоящий медвежий уголок! Редко кто туда заглядывает! Потанцовать-то вам вряд ли когда придется! В ваших краях образованной молодежи совсем нет. Помещики и их супруги говорят «нетути», «надысь», «намеднись», а их сынки лазят по голубятням, бегают с борзыми по лесу, ну, а танцуют они, если только танцуют, пожалуй, не лучше медведей, на которых они охотятся... Да, обидно за вас!.. И как вы будете резко выделяться среди всего этого общества!.. Точно распустившийся розанчик среди чертополоха!

«Мне очень понравились эти слова. Думаю, верно поэт, попросить бы его стишки почитать, может быть, он даже сам их пишет... Да куда тут! Ведь я в первый раз в жизни с посторонним мужчиною разговаривала! Вот я и стою, как пень, продолжаю курам крошки бросать и с ужасом думаю: ломоть кончается, куда же я тогда свои руки дену?

«— Да бросьте вы кур кормить! Это-то занятие от вас не уйдет! Ах, сказал бы я вам один секрет... Только боюсь доверить! Еще, пожалуй, папеньке все разболтаете... Уж и не знаю... умеете ли вы тайны хранить?

«Это меня сразу задело за живое,— я обернулся к нему и говорю: «Если вы меня такой «мовешкой» считаете, нам нечего и разговаривать!..»

«— «Мовешкой»! Ха, ха, ха... ха, ха, ха...— хохотал он,— что это значит? Это, вероятно, у вас в институте так называли тех, кто не умел себя держать?

«— Что вы, что вы! Это гораздо хуже! Мовешками у нас называют безнравственных девиц, которые доносят на подруг начальству или не умеют беречь серьезных секретов... А я никогда, понимаете, во всю свою жизнь, ни одного секрета не выдала! — Попал он на институтскую тему, вот и конфузливость свою я забыла, стала стрекотать, как сорока.— А знаете ли вы,— говорю ему,— как трудно не выдать секрет, когда подруги знают, что именно тебе его доверили? Они ведь просто тогда осаждают, умоляют назвать хотя первую букву, с которой секрет начинается! Иная долго, долго крепится, но наконец скажет первую букву, а у нее мало-по-малу догадками и хитростями вымотают и все остальное. Но со мной этого, слава богу, никогда не случалось... Я во всю свою жизнь ни одного секрета не выдала!

«— Верю, верю! И чтобы вам доказать, что я вас не считаю ни мовешкой, ни безнравственной, я вам, пожалуй, открою мой секрет...

«Хотя он все говорил с шутками и прибаутками, с хохотом и улыбками, потешаясь над моею институтскою наивностью, но все это я поняла гораздо позже, а в ту пору я была совсем глупой,— мне казалось, что он ведет со мною серьезный разговор, а его шутки я приписывала тому, что светскому человеку так и подобает говорить с молодою девушкою.

«— Мой секрет вот в чем: так как вы любите танцовать, а в вашей трущобе вам это никогда не удастся, я и задумал устроить для вас бал... Понимаете, настоящий блестящий бал! На этом балу будет греметь великолепнейший оркестр музыки... Приглашены будут настоящие танцоры — кавалеры со шпорами... Не только дамы будут в цветах, но стены залы и музыкальные инструменты будут украшены ими!.. И среди этих цветов, среди самых хорошеньких женщин и девушек нашей губернии вы будете царицею бала, красивейшим цветком, лучшим украшением!.. А я перед вами... на коленях с гитарою в руках буду воспевать вас, прелестное создание, дивная красота которой, как пышная

роза, цветет в нашем убогом захолустье!.. Так вот все это я устрою для вас, но с одним условием.

«— С каким? Говорите! Пожалуйста, скажите! — Я с таким наслаждением слушала, как он меня воспевал, так он меня раззадорил предстоящим балом, и мне страшно досадно стало, что он вдруг остановился,— сам смотрит на меня и улыбается, а не продолжает. Я ему и говорю: — Если вы действительно, устроите для меня такой бал, то я наперед согласна на все ваши условия...

«— Видите ли в чем дело: ведь не могу же я приехать к вашим родителям и сказать: «Я хочу устроить бал для вашей дочери». Вы понимаете, что так никто не посмеет сказать... Ваши родители могли бы принять такое предложение за личное оскорбление, могли бы просто выпроводить меня из своего дома с великим скандалом.

«— Если такого бала нельзя устроить,— прервала я его, вспыхнув от досады,— зачем же вы мне все это расписывали? Значит, вы хотели только посмеяться надо мной?

«— Боже мой! Что вы говорите? Я слишком уважаю вас, чтобы смеяться над вами!.. Подождите сердиться... Я ведь хотел только объяснить вам, что в такой форме нельзя сказать вашим родителям о бале... А как устроить такой бал,— у меня есть мысль... Не знаю, согласитесь ли вы?.. Как бы это сказать... боюсь, что вы опять на меня рассердитесь!..

«— Даю вам слово, что не рассержусь, только говорите скорее, не мучьте меня! — Тут уж я смело-пресмело стала разговаривать с ним, точно с институтской подругой.

«— Так вот в чем дело... Однако, знаете ли, mademoiselle Alexandrine... мне трудненько сказать вам это! Очень я боюсь вас... Уверяю... Ну, будь, что будет! Слушайте же... Приеду я в ваш дом... так через недельку-другую,— ваш батюшка, вероятно, пригласит меня. Побываю у вас несколько раз, а потом... потом...

сделаю вам предложение... буду просить у вашего батюшки позволения жениться на вас... И вот тогда на нашей свадьбе я и буду иметь возможность устроить блестящий бал. Я так его устрою, так устрою чудесно... только согласитесь быть моей женой.

«— А вы, наверно, наверно устроите тогда блестящий бал?

«— Если вы умеете хранить секреты, то я умею держать свое слово... А в этом случае сдержать слово я буду считать своею святейшею и приятнейшею обязанностью...

«И вдруг я, как дура, начала хлопать в ладоши, скакать, хохотать... А он, вероятно, не мог даже сообразить в первую минуту, что это во мне глупое институтство брызжет изо всех пор, и совсем оторопел от моего хохота, подумал, что я издеваюсь над его скоропалительным предложением, и говорит:

«— Что же вы смеетесь? Почему вы так странно принимаете мое предложение?

«— Да ведь «наши»-то, т. е. мои институтские подруги, тогда совсем провалятся со своим пророчеством... поймите... У нас в каждом классе подруги сообща решали, кто первый, кто второй по красоте... Я числилась только девятой. Вот они и были уверены, что первая по красоте выйдет замуж раньше других, затем вторая и т. д., следовательно, я должна была выйти замуж девятой,— и вдруг я первая.

«— Как! Они вас ставили только девятой по красоте? Это служит лучшим доказательством того, что женщина не может судить о красоте другой женщины... Вы всегда и везде будете первой красавицей!

«— Вы не можете этого знать!.. Вы не видали моих подруг!

«— Нет, я знаю... Вы самая лучшая, самая красивая, самая прелестная на всем земном шаре!

«— Вы просто льстите мне! — говорю я ему, а сама до смерти рада, что он так расхваливает меня, что он говорит мне такие приятные комплименты.

«— А теперь прошу вас об одном,— сказал Николай Григорьевич.— Ни одного слова не говорите вашим родителям и решительно никому о моем предложении. Скажу вам только одно: что я очень, очень счастлив... в высшей степени доволен, что вы согласились на мое условие. Не раздумаете? Нет? Ну, так по рукам.

«Я и тут, ни о чем не думая, подала ему руку, точно соглашалась итти с ним на тур вальса.

«— Теперь вы моя невеста! Настоящая невеста, хотя и *тайная.* Помните,— нужно крепко держать слово... хранить тайну до гробовой доски.

«— Я прекрасно это понимаю, только и вы помните, что должны устроить блестящий бал с настоящими кавалерами, а то мне до смерти надоели танцы «шерочки с машерочкой»,— ведь у нас в институте подруга с подругой танцуют... Пусть бы скорее наступал этот бал,— говорила я ему, уже совершенно не конфузясь его, не понимая всей наивности, всего непроходимого легкомыслия своего тогдашнего поведения. Только уже после замужества я начала сознавать все это и, бывало, спрашивала мужа, как он посмотрел тогда на то, что я не только тотчас же согласилась на его предложение, но даже торопила его свадьбой... Не показалась ли я ему слишком наглой, не подумал ли он тогда обо мне, что я слишком нетерпеливо стремилась к замужеству? Но он в таких случаях всегда отвечал мне...»

Но матушка не передала нам ответа отца; она вдруг сразу сконфузилась, опустила голову и, улыбаясь счастливой улыбкой, густо покраснела. Несмотря на то, что в то время, когда она нам рассказывала этот эпизод своей жизни, ей было уже под пятьдесят лет, она вполне сохранила какую-то целомудренную девичью застенчивость, и при ней никогда никто не смел рассказывать ни о чем двусмысленном и игриво-пошлом, не выносила она и разговоров об адюльтерах с пикантными приключениями,— даже намеки на эти вещи до глубокой старости вызывали густую краску стыда на ее щеки.

— Конечно,— кричали мы со всех сторон,— на ваши вопросы отец отвечал вам, что он не мог подумать о вас ничего дурного, так как вы были чисты, как ангел, божественно прекрасны, прелестно наивны, что относительно вас у него и в голове, и на языке был только один восторг... Ведь так?

— Да, ну, отстаньте! — махала она на нас рукой, желая заставить нас прекратить перечисление эпитетов, будто бы даваемых ей отцом...

— Да,— говорила она, помолчав,— невероятно наивны и глупы были мы, выходя из института... Просто преступно и жестоко было в таком виде бросать девушку в житейский водоворот! Но все же были и хорошие стороны в этом отсутствии знания жизни: теперешняя барышня сейчас замечает, если она кому-нибудь нравится, и давай кокетничать и глазками стрелять, и штучки разные откалывать, чтобы еще больше обворожить,— ну, а мы по выходе из института были совсем неопытны в кокетстве.

Семья моей матери в тот период ее жизни, когда она только что кончила курс в Екатерининском институте, состояла из ее отца, Степана Михайловича, мачехи и двух братьев: Ивана и Николая[3]. Родной матери матушка лишилась очень рано, а мачехи своей, когда она возвращалась из института, она еще никогда не видала. Ее отец, уже будучи в весьма преклонных летах, женился вторым браком на очень молоденькой девушке в то время, когда его дочь Александра (моя мать) была еще в институте. Вторая жена дедушки была лишь на четыре года старше своей падчерицы. Своих братьев, Ивана и Николая, моя мать не видала давным-давно: их отдали в корпус еще до поступления ее в институт, так как она была младшею в семье. В эпоху, описываемую мною, они были офицерами и написали отцу, что приедут летом в деревню. Таким образом, вторая жена дедушки, Марья Федоровна, урожденная Кочановская, совсем не была знакома с детьми своего мужа, своих же собственных детей у нее не было.

Когда дедушка написал своей дочери в институт о том, что он вторично женился, моя матушка, тогда еще девочка-подросток, страшно испугалась, что у нее будет мачеха. Когда она ехала с отцом в деревню, чем ближе подъезжала она к дому, тем тяжелее становилось у нее на душе при мысли, что ее встретит не родная мать, а мачеха, которую она представляла себе не иначе, как в виде злой, сварливой, старой классной дамы, которой ничем нельзя угодить, с ненавистью относящейся к своей падчерице. Отец не говорил ей даже о том, каких лет была ее мачеха, не говорил, как она догадалась потом, вероятно, потому, что его жена была гораздо более чем вдвое моложе его; к тому же он был человеком властолюбивым, старозаветным и весьма крутого права. Он и для того времени слишком строго расправлялся со своими крестьянами и сурово относился к домочадцам.

За все время воспитания в институте моей матери он не только ни разу не навестил ее, но, будучи человеком весьма зажиточным, не посылал ей даже ни гостинцев, ни денег, хотя по натуре вовсе не был скупым. Он не выказывал ни жене, ни дочери никаких чувств, так как находил, вероятно, что простые человеческие отношения к близким могут уронить в их глазах его авторитет главы семейства,— идеи Домостроя еще не совсем исчезли в русском обществе в первой половине XIX столетия. Хотя дедушка не видал своей дочери за все время ее воспитания, но как только он отправился с нею в дорогу, так сейчас же начал обрывать ее каждый раз, когда она живо заговаривала с ним о чем-нибудь, наставительно и торжественно внушая ей, что она обязана видеть в нем *только* отца, а не свою «подружку-милушку», и что потому-то для нее неприлично трещать с ним, как трещотка: она должна лишь почтительно и благопристойно обращаться к нему. Ни малейшего спора не только с дочерью, но и с женою он не допускал, усматривая в этом унизительную для себя фамильярность. Уже сам по себе

его наставительный тон отталкивал от него ту и другую и мешал им просто, по-человечески относиться к нему.

До возвращения моей матери под родительский кров отношения между ее отцом, Степаном Михайловичем, и его женою, Мариею Федоровною, были более или менее миролюбивые,— по крайней мере, у них не выходило между собою никаких ссор и недоразумений. Да и не могло быть иначе: Марья Федоровна, существо замечательно кроткое, беспрекословно выполняла все требования мужа. Несмотря на живость своего темперамента, она скоро приучила себя отвечать ему только на его вопросы, а если ей изредка и приходилось разговаривать с ним, то в «меру» и «благопристойно»,— как он этого требовал. Но как только в доме появились его дети от первого брака, так отношения между мужем и женою совершенно испортились.

Матушка рассказывала, что, когда она впервые увидала свою мачеху, ее так поразили ее молодость и красота, удивительная стройность ее стана, грация ее симпатичной фигуры, ее живые и естественные манеры, ее привлекательная улыбка, что она с словами: «Мамашечка, какая вы чудная красавица!» бросилась душить ее в своих объятиях. Но отец тотчас же строго заметил дочери, что она должна целовать у матери только руку, а не вешаться ей на шею, как на «подружку-милушку», говорить ей всегда «вы» и твердо помнить, что она для нее прежде всего мать.

После этого мачеха в присутствии мужа разговаривала со своею падчерицею очень сдержанно. Но, когда кончился обед и Степан Михайлович отправился отдохнуть в свою комнату, мачеха бросилась целовать падчерицу. Она рассказала ей, как мечтала о ее приезде, как изнывает в тоске в захолустье. Гости редко бывают, а если и приезжают в торжественные дни, то обыкновенно садятся за карты. И это еще самое лучшее, так как Марья Федоровна, приготовив все, что следует для их угощения, могла уходить к себе. Гораздо неприятнее для нее разговоры гостей: один похваляется

перед другим, как ему удалось надуть приятеля, взяв за негодную лошадь дорогую цену, другой объясняет, какую «штуку» он придумал, чтобы мужики и бабы не ленились. Но Марья Федоровна не стала на первых порах рассказывать падчерице, в чем состоят эти «штуки», говоря, что она сама скоро все увидит и узнает. Теперь им вдвоем будет весело: они будут гулять, читать и работать вместе... Она конфузливо прибавила, что для этого, конечно, нужно будет улучать время, когда Степана Михайловича не будет дома, так как он, видимо, желает, чтобы она (Марья Федоровна) разыгрывала роль почтенной матери семейства, а она этого не умеет...

Падчерица с мачехою быстро сблизились между собою и с тех пор на всю жизнь сделались сердечными друзьями.

Требования дедушки, предъявляемые им к дочери и жене, были так несложны, что обе они скоро приноровились к ним, и старику не за что было журить ни жену, ни дочь: обе женщины чинно разговаривали между собою в его присутствии и с почтительным смирением относились к нему. Но как только Степан Михайлович уходил со двора, они начинали болтать, петь и возиться между собой. Чуть кто-нибудь из них заслышит его шаги, они моментально разбегались в разные стороны и садились за свою работу.

Но вдруг на них посыпались напасти. Дедушка то и дело заставал их на месте преступления: то он неожиданно входил в комнату в ту минуту, когда они, схватив друг друга за талию, носились по комнате в каком-нибудь танце, то ловил их на том, как они с хохотом бегали вперегонку по аллее сада. Он тут же резко бранил дочь за то, что она осмеливается за панибрата обращаться с матерью, а жену — за то, что она забывает свое почтенное положение матери семейства и ребячится с девчонкой, как равная с равной.

Судя по тому, как Степан Михайлович радовался гостям, как усердно зазывал их к себе, как оживленно

беседовал и шутил с ними, видно было, что и его по временам одолевали скука и однообразие деревенской жизни, но его домостроевские взгляды и деспотический нрав не давали ему возможности установить человеческие отношения с своими домашними. И вот, вероятно, вследствие этого, он стал враждебно относиться к тому, что обе женщины так весело проводили время без него.

Чем ближе матушка узнавала свою мачеху, тем более удивлялась ее уму, благородству ее характера, ее природной деликатности и доброте. Она не только с горячею любовью, но с истинным восторгом до конца своих дней вспоминала ее, говорила, что редко родная мать относится с такою нежною лаской и вниманием к своему дитяти, как относилась она к ней, что и ее братья, т. е. пасынки Марьи Федоровны, тоже искренно привязались к ней. Несмотря на это, падчерица всегда называла ее «мамочкою» и «вы», а та ее — «Шурочкою» и «ты».

Моей матери так нравилась мачеха, она с таким обожанием смотрела на нее, что порой, бросаясь душить ее в своих объятиях, с энтузиазмом и с оттенком горечи восклицала: «Ах, мамочка, отчего я не могу родиться во второй раз? Ведь тогда вы были бы моей настоящей, родной матерью!» На это Марья Федоровна неизменно отвечала что-нибудь в таком роде: «Не понимаю, Шурочка, почему так хочется тебе этого? Видит бог, что и тогда я не могла бы больше любить тебя».

За выражение подобных чувств им обеим однажды порядком досталось. Когда злополучная фраза моей матери как-то долетела до слуха дедушки, он вошел в комнату мрачнее тучи и начал распекать свою дочь за то, что ее язык, «язык такой молодой девушки, почти ребенка, поворачивается произносить такие непристойности, которые не позволит себе последняя девка из крепостных». Ошеломленная этим упреком и искренно не понимая, в чем она провинилась, ма-

тушка забыла предупреждение мачехи никогда не возражать отцу, и очень вежливо просила его объяснить ей, в чем заключалась непристойность в ее словах. Но отец грозно затопал на нее, кричал, что если она не понимает этого сама, то не поймет и его объяснений. К тому же не он, ее отец, должен ей объяснять подобные вещи, а особа, которая заменяет ей родную мать... Но обе они негодницы, не понимают ни женской скромности, ни женской чести.

Когда после этого мачеха с падчерицею выбежали из дому, моя мать, обнимая Марью Федоровну, сказала ей: «Видно, ему ничем нельзя угодить!.. Господи, какой тяжелый характер у папеньки!»

— Как тебе не стыдно, Шурочка! — возразила с упреком мачеха.— Вместо того чтобы пожалеть отца, ты его же осуждаешь. Подумай, как ему должно быть тяжело жить с таким характером, видя, как от него бегут самые близкие, и не уметь совладать с собою!.. Ведь это мука-мученическая!..

Такая доброта и кротость так поразили мою мать, что она бросилась обнимать свою мачеху, называя ее «святой» и «ангелом доброты».

— Шурочка, дорогая, милая... никогда не называй меня так!..— заливаясь слезами, говорила Марья Федоровна.— Твои слова — острый нож в сердце. Ты превозносишь мою доброту, а на душе моей великий грех, и никогда мне не замолить его!.. Ведь я дала обет перед святым алтарем делить с мужем горе и радость, нести ему любовь, совет и ласку!.. А что я делаю? Чуть его завижу — бегу, чтобы только не попадаться ему на глаза, чтобы было себе полегче, поспокойнее... Если бы я выждала минуту-другую, когда он подобрее, да попыталась бы представить ему, как необходимо для него иной раз подойти к тебе с лаской, хотя изредка дать тебе возможность поболтать с ним о пустячках девичьих, ведь ты бы ему всю душу отдала. Конечно, человек он суровый, сразу бы это не удалось, иной раз мне, быть может, и сильно бы досталось... Так ведь если

бы я была такою хорошею, какою ты меня представляешь, разве бы думала я только о себе? Неужели ты не понимаешь, что это тяжкое прегрешение?

— За меня-то, мамочка, вы, пожалуйста, не обвиняйте себя!.. Когда мы возвращались с папенькой из института, я то и дело заговаривала с ним... мне даже трудно было молчать, но он каждый раз так резко обрывал меня, что мне волей-неволей пришлось совсем замолчать...

— Я не обвиняю тебя, что ты не сумела к нему подойти: ты — дитя, характеров людей не знаешь, жизни еще не могла обдумать... А я его побольше тебя знаю, и жизнь лучше понимаю... Я должна была, я обязана была сблизить тебя с отцом и самой стоять поближе к сердцу мужа, переломить себя... Так не расхваливай меня, не превозноси: я этого не заслуживаю.

Отношения между мужем и женою вконец испортились, когда в деревню приехали сыновья Степана Михайловича, молодые офицеры. Но в первое время их приезда все шло довольно гладко.

Степану Михайловичу не приходилось давать наставлений своим сыновьям, как обращаться с мачехою,— они были вполне вышколены: почтительно расшаркивались перед нею, подходили к ее ручке, называли ее chère maman, умели вести беседу с отцом без излишней живости,— одним словом, в точности исполняли все требования светской вежливости и сыновнего почтения по этикету того времени. Однако, после нескольких дней своего приезда, увлеченные привлекательностью и добротою мачехи, молодые люди стали все чаще искать ее общества. Этому сближению помогало и то, что усадьба Бухоново лежала в стороне от большой дороги и еще далее от какого бы то ни было, хотя бы даже маленького, уездного городишки; соседей было мало, да и те летом редко заглядывали в поместье деда. И вот оба брата, Иван и Николай, их сестра Саша (моя мать) и их мачеха, без предварительного соглашения между собою, стали вместе со-

бираться каждый раз, когда хозяин дома уезжал по делам. Тогда они весело проводили время вчетвером и точно так же прерывали оживленный разговор на полуфразе и разбегались по разным комнатам, когда раздавались шаги деда или еще издали звенел колокольчик, напоминавший о его возвращении.

Но это невинное времяпрепровождение было внезапно грубо нарушено. В доме был орган; когда однажды хозяин куда-то уехал, Марья Федоровна приказала горничной вертеть ручку органа, и молодые люди так увлеклись танцами, что не заметили его возвращения. Разыгралась отвратительная сцена: муж в неистовстве топал ногами на жену, кричал, что «она отняла у него родных детей, что она обольщает пасынков», и уже бросился к ней с поднятыми кулаками, но сыновья загородили ее от него, упали перед отцом на колени, целовали его руки, умоляли пощадить ее. Но это только вызвало в дедушке неистовый взрыв ревности и негодования, и он начал осыпать непечатною бранью и сыновей, и жену. И бог знает, чем бы все это кончилось, если бы в эту минуту не раздался под окнами звон бубенцов и колокольчика. Приехавшим гостем оказался Николай Григорьевич Цевловский.

Дед был до крайности любезен с моим покойным отцом и упросил его подольше погостить; рады этому были и остальные, так как понимали, что отвратительные семейные сцены при нем не могут возобновиться.

Николай Григорьевич, только что поселившийся в имении своих покойных родителей, в селе Погорелом, оказался самым близким соседом дедушки. После первого своего визита в Бухоново Цевловский посетил еще несколько раз дедушку и очень скоро сделал формальное предложение его дочери. Получив согласие, он стал торопиться со свадьбой, говоря, что он желает, чтобы на ней присутствовали братья невесты, которые уже начали поговаривать о своем отъезде. Спешка со свадьбой вполне совпадала и с желаниями дедушки, ве-

роятно, потому, что он хотел поскорее сбыть с рук всех своих детей, нарушивших заведенный в доме порядок.

— Ну, что же, мамашечка, блестящий бал был на вашей свадьбе? Все так происходило, как вам было обещано? — спросила я матушку.— И «он» с гитарою в руках и на коленях перед вами воспевал вашу красоту?

— Ах ты дрянь — закричала на меня мать, хотя у меня уже были в то время свои дети.— Как ты смеешь говорить «он», когда дело идет о твоем покойном отце!

Хотя из воспоминаний матушки о старине видно было совершенно ясно, что она весьма не одобряла поведения дедушки и отношения его к детям и жене, хотя она впоследствии сильно прониклась идеалами 60-х годов, но она до конца жизни сохраняла многое из старинных понятий и взглядов. Одно из главных житейских правил, которым она всегда руководилась, состояло в том, чтобы немедленно «обрывать» своих детей, когда кто-нибудь из них, по ее понятию, «забывался», т. е. говорил и делал не так, как она находила это нужным. При этом она ни малейшего внимания не обращала на то, были ли ее дети малолетними или совсем немолодыми людьми, происходило ли это в кругу домашних или в большом обществе. Матушка была убеждена в том, что такое зло нужно пресекать немедленно. Но, резко оборвав кого-нибудь из нас, она после этого не дулась на нас, не ворчала, а продолжала разговаривать с нами как ни в чем не бывало в самом благодушном тоне. И мы, ее дети, совершенно привыкли к этому вздергиванию нас от времени до времени. Будучи взрослыми и сказав что-нибудь не так, как у нас это допускалось домашними обычаями, кто-нибудь говорил ей: «Ну, мамашечка, а разнос?.. Вы и забыли? Раскатайте-ка его хорошенько!..». Если матушка была в веселом настроении, это сходило с рук, а если в дурном, то за этим следовали нотации продолжительнее обыкновенного, и тогда уже доставалось не только тому, кто провинился, но еще более тому, кто осмеливался учить ее, как поступать с провинившимся.

— Дорогая, не сердитесь... расскажите же про вашу свадьбу,— приставали мы к ней.

— Что же, свадьба была богатая! За неделю верховые разосланы были с приглашениями. Но не было ни гитары, ни танцоров со шпорами, кроме моих братьев-офицеров. Мы с Марьей Федоровной много танцовали и веселились, но только все почти в своей компании, т. е. с моими братьями и Николаем Григорьевичем. Когда наехали гости, я просто была поражена: увальни какие-то, медведи! Свадьба моя дорого обошлась моему отцу и принесла ему только одни неприятности: огорчали его гости, огорчали жена и сыновья, да и мы с Николаем Григорьевичем не доставили ему особенного удовольствия... Ах, детушки, не понравились бы и вам помещики того времени! Конечно, вы не стали бы, может быть, винить их за то, что они были совсем какими-то неотесанными... А я просто не могла смотреть на них без смеха. Но они поражали меня не только своею неуклюжестью. Хотя я до своей свадьбы совсем не бывала в обществе, но все же поняла, что бо̀льшая часть их были люди грубые, необразованные, а шутки, остроты и намеки их были до невероятности неделикатны и даже грязны. Николай Григорьевич резко выделялся среди них и манерами, и разговорами. Нужно вам сказать, что, несмотря на свою застенчивость, я уже до свадьбы перестала дичиться своего жениха и разболтала ему обо всех институтских делишках. Потом-то я, конечно, поняла, что он выказывал интерес к моим россказням только для того, чтобы возбудить мое доверие к нему,— ведь ни о чем другом я и говорить-то тогда не могла. Он знал фамилии моих любимых подруг, каждой классной дамы, знал характеристику и прозвище каждой из них, запомнил, в чем различие между «мовешками» и «парфетками», «подлипалами» и «славнушками», «отвратками» и «подхалимками».

— Смотрите, смотрите,— говорил он мне, указывая на помещицу очень непрезентабельного вида, видимо желавшую к нам подойти,— к нам приближается «змея

подколодная» (прозвище одной моей классной дамы),— скорей убежим от нее на другой конец...— И он, не прекращая танца, несся со мной на другой конец залы. Я хохотала до упаду... Подходит мой отец и, обращаясь к Николаю Григорьевичу, спрашивает его, чему мы так смеемся. Тот был в таком веселом настроении, что, не меняя тона, отвечал ему: «Да за нами неслась целая стая «мовешек», «фурий» и «змей»...

— Что же это значит?

— Это все Шурочкины институтские приятельницы.— И, не обращая внимания на моего отца, он продолжал шутить в таком же роде.

Я от удовольствия прыгала, смеялась и тоже забыла о батюшке. Сердито пожимая плечами, он уходил от нас недовольный и подходил к другой группе, где его жена, оживленно болтая, танцовала с одним из его сыновей или отдыхала после танца, окруженная гостями, которые засыпали ее своими глупыми комплиментами. Но вот пробирается он к наиболее почтенным гостям, а кто-нибудь из них кричит ему: «Ишь ты, старый греховодник, какую себе кралю подцепил!» или: «Ах ты, старый хрен, поди, как у тебя сердце-то подкатывает, что все около твоей молодухи увиваются!»... А то вдруг кто-нибудь его окликнет, точно за делом, а сам закричит ему на всю залу: «А ведь женка-то от тебя, старого, сбежит, как пить даст, сбежит!».

Когда мы потом с мачехой вспоминали о свадьбе, мы много толковали о том, как все это было тяжело для отца. Недаром после этого он так круто изменился к своей жене.

— Мамашечка! — вдруг спросила матушку одна из моих сестер.— Ко времени вашей свадьбы вы уже, конечно, успели влюбиться в отца?

— Никогда в жизни я не задавала себе таких глупых вопросов! Все эти ваши слова о страстной любви, о неземных увлечениях—только одни пошлости и больше ничего... Начитались вы глупых романов, вот такие фразы и сыплются у вас, как горох из мешка. Вы

считаете даже, что счастливый брак не может быть без страстной любви, а я нахожу ее только помехою. Достаточно я видала браков по страсти... Вот хотя бы взять Марью Васильевну (наша дальняя родственница). Родители отказали ее жениху. Она отчаянно убивалась и в конце концов обвенчалась тайком. А через полтора года муженек уехал по делам, да и был таков, она же с ребенком осталась без куска хлеба и возвратилась в родительский дом. Я очень глупо вышла замуж, сознаюсь, вышла замуж только из-за бала, и что же? Прожила с мужем двадцать лет душа в душу, до самой его смерти... Нас чуть не вся губерния знала, и все говорили, что другую, более счастливую пару, чем мы с Николаем Григорьевичем, трудно найти в нашей местности.

Это было вполне справедливо: помещики и помещицы, хорошо знавшие моих родителей, вспоминая прошлое, а следовательно, и тот разврат, который повсеместно царил среди них во время господства крепостного права, указывали, как на совершенное исключение, на моих родителей.

Лично я не знала ни дедушки, ни его второй жены,— оба они умерли гораздо раньше моего появления на свет. Все, что я описываю здесь о них, я узнала от близких мне лиц, и более всего из постоянных рассказов о них моей матери.

Дедушка Степан Михайлович был помещиком средней руки: он имел два имения и, кроме того, владел еще маленьким фольварком, Васильковом, находившимся верстах в восемнадцати от Бухонова; крепостных у него было более ста душ. Жил он в большом доме, но так плохо поддерживал постройку, что она после его смерти совсем развалилась, а скоро затем была растаскана по бревнам. Несмотря на это, он вел хозяйство на широкую ногу, держал огромный штат прислуги: «девок», лакеев, казачков, кучеров, имел и выездных лошадей и несколько экипажей, но свободных денег, как это было тогда и с другими помещиками, у него никогда не

было. Как только в них являлась необходимость, приходилось экстренно продавать что-нибудь из имения: какой-нибудь лесок, нескольких лошадей или коров и крестьян целыми семьями. За второю женою дедушка не взял почти никакого приданого, кроме домашней обстановки.

Марья Федоровна лишилась матери в самом раннем детстве. Когда ей исполнилось лет восемь-девять, отец отдал ее в интернат одного из самых модных московских пансионов. Он и раньше вел беспутный образ жизни, а сделавшись вдовцом, стал так кутить, что привел в полное расстройство свое, когда-то хорошее, имение. После его внезапной смерти опекуном Марьи Федоровны, в то время еще не кончившей пансионского курса, назначен был муж ее двоюродной сестры. Он гораздо более заботился о себе, чем об опекаемой им сироте. Ко времени окончания воспитания Марьи Федоровны у нее уже не было ни имения, ни даже дома: все было продано с молотка, все вырученные деньги, по словам опекуна, пошли как на покрытие громадных долгов ее отца, так и на необходимые траты по ее воспитанию. Впоследствии, однако, оказалось, что имение и дом были проданы подставному лицу и через несколько лет сделались собственностью опекуна.

По выходе из пансиона Марьи Федоровны ее, как бы из милости, взял к себе опекун. Как на величайшую свою заслугу он указывал на то, что сохранил для сироты прекрасную, по тем временам, обстановку ее родительского дома и платья ее матери. Степан Михайлович Гонецкий, встретив несколько раз молодую девушку, сделал ей предложение, но она отказала ему.

Местные обыватели упорно говорили, что после того, как Гонецкий получил отказ от Марьи Федоровны, он вошел с опекуном в такую сделку: если тот постарается склонить молодую девушку на брак с ним, он, Гонецкий, не потребует от него отчета по опеке, за который ему приходилось сильно побаиваться, не поднимет дела о незаконной продаже имения Марьи Федоровны.

Состоялось ли такое соглашение между дедушкою и опекуном, осталось неизвестным даже для Марьи Федоровны, но она рассказывала моей матери, что с тех пор, как она отказала дедушке в своей руке, жизнь в доме опекуна сделалась для нее невыносимой. Его жена, т. е. двоюродная сестра, их взрослые дочери и сам опекун чуть не ежедневно настойчиво убеждали ее принять предложение дедушки. Так как она не соглашалась на это, то они стали возмутительно обращаться с нею и попрекали ее каждым куском. Наконец, опекун объявил ей, что он нашел место в губернском городе и не может взять ее со своею семьею, так как находится в стесненном материальном положении. Впоследствии оказалось, что он никуда не собирался уезжать, но молодая девушка пришла в отчаяние, не зная, что ей делать с собой. Кроме двоюродной сестры, жены опекуна, у Марьи Федоровны не было на свете ни одного близкого лица, с кем бы она могла посоветоваться, и она не нашла никакого другого выхода из своего положения, как принять предложение Гонецкого, когда тот повторил его.

Рассказывая моей матери о своей двухлетней брачной жизни, Марья Федоровна говорила ей, что Степан Михайлович, до приезда его детей, никогда не был с нею ни жесток, ни груб; напротив, он старался окружить ее полным довольством, а когда отлучался в город, привозил ей щедрые подарки. Но, несмотря на это, жизнь с мужем становилась для нее все невыносимее. Пока она ожидала ребенка, она кое-как еще мирилась с своим положением, но когда она потеряла и эту надежду, она решилась уйти в монастырь. Однако она боялась приступить с этой просьбой к мужу, и ее стала душить тоска, которую она не могла скрыть даже от него. Степан Михайлович стал часто заставать ее в слезах и журил ее, говоря, что каждая на ее месте только радовалась бы, живя в таком довольстве, что пусть она скажет ему, чего она еще хочет, и он все сделает, лишь бы она не тосковала. Эти уте-

шения совсем не утешали ее, и всю надежду она возлагала на приезд из института мужниной дочери Александры, на то, что она будет жить вместе с ними, и ее жизнь таким образом скрасится присутствием молодой падчерицы, которой она постарается быть родною матерью. Но и эти мечты несчастной женщины не осуществились.

Поспешные приготовления к свадьбе моей матери, частые посещения Бухонова моим отцом в качестве жениха — все это сдерживало домашние сцены между мужем и женою. Впрочем, они не могли происходить и потому, что дедушка в это время редко бывал дома. Чтобы дать хотя самое скромное приданое дочери и сыграть свадьбу, соответствующую его положению, ему часто приходилось ездить как в город, так и в свое другое имение. Это дало возможность молодежи по целым дням оставаться вместе. Хотя дедушка теперь мало сидел дома, но он не мог не заметить, что и мой отец, сам по себе не будучи уже в то время очень молодым человеком, примкнул к кругу молодежи и что все они одинаково относились к Марье Федоровне с большим вниманием. Матушка, рассказывая о Марье Федоровне, обыкновенно прибавляла, что каждый, кто хотя несколько сближался с нею, проникался к ней необыкновенною симпатиею. Так относились к ней и помещики, и крестьяне, и близкие, и дальние, и свои, и чужие. Ее привлекательная внешность вполне гармонировала с ее нравственными и умственными качествами. Будучи по натуре чрезвычайно кроткою, но живою, она в то же время была умна, находчива и внимательна к каждому.

После свадьбы моей матери крутой и властный нрав дедушки настолько обострился, что он начал уже не только придираться ко всякому пустяку, но и давать волю рукам. Жизнь молодой женщины сделалась настоящей каторгой, и она однажды бросилась на колени перед своим мужем, умоляя его отпустить ее в монастырь. Но это-то окончательно и взбесило дедушку.

Его ненависть к монастырям была всем известна: в разговорах с соседями он обыкновенно приравнивал их к «непотребным домам». Просьба жены показалась ему неслыханною дерзостью, презрением к его взглядам. Он тут же избил ее до полусмерти и объявил, что, вместо монастыря, он на другой же день отправит ее в Васильково.

В фольварк Васильково дедушка ссылал всех чем-нибудь провинившихся перед ним крестьян, которые должны были, смотря по времени года, заниматься рубкою дров или выкорчевыванием корней деревьев, а также косьбою лугов, лежащих за болотами, непосредственно примыкавшими к этому жалкому поселку. Простой народ называл Васильково «Выселками» или «Ссыльным поселком». Над опальными крестьянами, которые в наказание поселены были здесь без своих семейств, надзирал особый староста, тоже простой крестьянин, единственный неопальный человек среди васильковского люда, а потому и живший здесь с своею семьею. Этот поселок состоял из сенных сараев и построек для лошадей, нескольких изб, в которых жили опальные крестьяне, и из конторы — тоже простой хаты, только несколько побольше остальных,— которая служила жилищем старосты и его семьи. Болота, бесконечные болота и топкие лужайки тянулись вокруг. Дедушка приказал поселить свою молодую жену в конторе этого поселка.

Итак, жена зажиточного помещика, жившая до тех пор в довольстве и холе, должна была поселиться в болотистой местности и жить без всяких средств, так как муж ни при ее отъезде, ни впоследствии не давал ей ни денег, ни провизии, ни скота, ни прислуги. Чтобы сделать для жены это изгнание еще более унизительным и чувствительным, дедушка в день ее отъезда встал с рассветом и, увидав на дворе телегу, в которой обыкновенно вывозили навоз, закричал на весь двор так, чтобы его могли услышать все крестьяне, находившиеся там: «В этой телеге вы вывозите навоз

из хлевов, а сегодня будете вывозить навоз из моего дома!». И он приказал запречь в навозную телегу рабочую лошадь и везти свою жену в Васильково. Затем, подозвав к крыльцу двух дворовых, которые должны были везти Марью Федоровну, он, под угрозою строгого наказания, запретил им класть на подводу какие бы то ни было вещи, кроме ее двух сундуков с одеждою. Когда одна из «девок» пробежала мимо него с подушками, не зная, что и это запрещено класть на воз, дедушка ударил ее по щеке со всей силы, вырвал у нее подушки и бросил их на землю.

Только что этот печальный кортеж, т. е. Марья Федоровна, сидящая на сене в навозной телеге с крестьянином вместо кучера, и сзади подвода с ее сундуками, сделал несколько верст по скверной осенней дороге, как их догнал верховой с приказанием от барина немедленно вернуться назад. Это известие было принято за знак того, что барин положил гнев на милость и позволяет своей ни в чем неповинной жене возвратиться снова к нему. Оба крестьянина, сопровождавшие Марью Федоровну, соскочили с телег и бросились целовать ее руки. Выходили из хат и крестьяне навстречу своей госпоже, плакали от радости и крестились, приговаривая: «слава богу, слава богу». Но, когда Марья Федоровна подъехала к дому, дедушка вышел на крыльцо и закричал жене, чтобы она не смела ни на шаг никуда отлучаться из Василькова, чтобы она безвыездно проживала там, что, если она осмелится нарушить его приказание, он отправит ее туда, куда Макар телят не гоняет.

Вторичный отъезд Марьи Федоровны, видимо, вызвал в крестьянах душевное сокрушение о своей бывшей барыне, которая была с ними всегда приветлива и добра: они выходили из своих хат с образами, крестили и благословляли ее, рыдая навзрыд, целовали ее руки, кланялись земно. Бабы связывали ноги и крылья куриц и совали их в телегу, ставили туда лукошки с яйцами, узелки с ковригами хлеба. Одна баба выбежала с по-

душкою в руке и, подсовывая ее под голову полуживой Марьи Федоровны, сказала: «Она у меня чистенькая, барынька, не побрезгуй... Дочке в приданое готовила...» А старуха, сняв с шеи кипарисовый крестик на шнурке и надевая его Марье Федоровне, проговорила, обливаясь слезами: «Не обессудь, болезная... Ничего нетути у самой... от покойного сынишки, младенца Ванюши... он тебя сохранит своими чистыми молитвами».

Помещичий дом в Бухонове стоял на невысокой горе, внизу которой расстилалось прекрасное озеро на десять верст в длину. На противоположном его берегу, наискось, но еще на более возвышенном месте, стоял дом моих родителей Цевловских. Из Бухонова в Погорелое нужно было сухим путем ехать в объезд верст пятнадцать, а по озеру крестьяне в своих душегубках переезжали из одного имения в другое часа в полтора. Мещанин, бывший по своим делам в Бухонове в момент изгнания Марьи Федоровны, возвращался в свою лавку, находившуюся недалеко от Погорелого, и завернул к моей матери, чтобы рассказать ей все, что только что произошло с ее мачехою. Таким образом мои родители очень скоро узнали о случившемся в Бухонове. Мой отец стал сейчас же торопить людей, чтобы они запрягали бричку и приготовляли подводы под вещи, а матушку просил, как можно скорее укладывать вещи и провизию для Марьи Федоровны, необходимые в хозяйстве на первых порах. Но вдруг, в самый разгар этих сборов, матушке пришло в голову, что родной отец может проклясть ее за помощь мачехе. Тогда эти родительские проклятия были в большом ходу, и каждый боялся пуще смерти накликать их на себя. Она бросилась к мужу и передала ему свою мысль. Но он начал стыдить ее за то, что она в такую тяжелую для Марьи Федоровны минуту более думает о себе и о проклятиях взбалмошного старика, чем о невинно погибающей женщине, которая выказала ей столько ласки и любви.

— Да,— говорила нам при этом матушка,— хотя я во многих взглядах расходилась с вашим отцом при его

жизни, но всегда понимала, особенно же ясно сознаю это теперь, что я и в умственном, и в нравственном отношении была ниже его. Вам трудно поверить, но клянусь вам всеми святыми, что ваш отец уже в 30-х и 40-х годах, следовательно в эпоху злейшего крепостничества, проводил те же гуманные идеи, какие разделяете и вы. Когда я что-нибудь начинаю делать, я всегда думаю: а как бы Николай Григорьевич взглянул на это, что бы он сказал?.. Да, он был лучший из людей, которых я знала!

И вот матушка с отцом торопили людей, чтобы они скорее клали на подводы все, что было приказано: посуду, перины, подушки, провизию, и сами немедленно отправлялись в дорогу. Из Погорелого в Васильково дорога была короче и лучше, чем из Бухонова; к тому же мои родители ехали быстро и не останавливались, а Марью Федоровну везли шагом, и ее приходилось выносить из телеги и класть на лавку в нескольких попадавшихся по дороге хатах,— так плохо чувствовала она себя. Вследствие этого, когда тележонка Марьи Федоровны въехала во двор Василькова с одной стороны, с противоположной внеслась туда же бричка моих родителей, запряженная тройкой.

Марью Федоровну перенесли на руках в экипаж родителей, пока на скорую руку приготовляли для нее комнаты, точнее сказать — избу или контору, перегороженную на три клетушки.

Ссылка на болото потрясла молодую женщину своею неожиданностью, проводы же крестьян тронули ее до глубины души, и ей стали приходить мысли, которые раньше не посещали ее. Она горько упрекала себя за то, что никогда не думала хотя чем-нибудь облегчить жалкое положение крестьян, и, по ее словам, выходило, что она «задаром приняла их ласку, жалость и любовь к себе». «Правда, я не могла много сделать для них, но должна была пытаться хоть защищать их. Конечно, Степан Михайлович — человек суровый,— рассуждала она,— но до последнего времени он любил меня

по-своему... Может быть, если бы я стала просить его за ссыльных в минуты, когда проходили его вспышки, он, пожалуй, и не разлучал бы их с семьями либо прощал бы их через месяц-другой. Если бы он даже обругал меня за то, что я суюсь не в свое дело, все же у меня на сердце не было бы так тяжело... А я думала только об одном: чтобы не перечить ему, чтобы лишний раз не слышать его наставительного тона, значит делала только то, чтобы мне самой было спокойнее».

Мысль, что к ней, ничего не сделавшей хорошего крестьянам, они отнеслись с таким сочувствием,— жила в ней всю жизнь. На свое изгнание она стала смотреть, как на перст провидения, указывавший ей быть матерью, утешительницею и помощницею ссыльных крестьян, с которыми судьба ее столкнула. Будучи женщиной религиозной, она придавала чудотворное значение кипарисовому крестику, который надела ей на шею старуха, когда ее отправляли в ссылку; она верила, что покойный младенец Ванюша перед престолом всевышнего действительно будет ходатайствовать за нее. Как на явный признак такого заступничества, она указывала на то, что мои родители, мало знавшие ее до этого несчастия и которым она собственно и родней-то настоящей не приходилась, явились ее истинными благодетелями и друзьями.

— Вы знаете, детушки,— говорила нам мать,— я в павлиньи перья наряжаться не люблю, представлять себя лучше, чем я была и есть,— не в моем характере, а потому и скажу вам, что нередко, когда ваш отец заводил разговоры с Марьей Федоровной на серьезные темы, я не все понимала, а когда они говорили о помещиках, о крепостных, о воспитании детей, мне не все было понутру. Мачеха в ту пору как-то больше, чем я, подходила к его взглядам. Я же все эти идеи воспринимала мало-по-малу, медленно, многие из них усвоила только после его смерти, а кое-что мне стало ясно уже из споров и разговоров с вами и вашими знакомыми, когда вы повыросли. При жизни же вашего

отца я частенько огорчала его непониманием многого, оскорбляла его чистые помыслы, его великую душу.— И при этом воспоминании матушка залилась слезами.

— Мамашечка, ведь вы же хорошая! — утешали мы ее, тронутые ее искренностью.— Ведь если вас всю жизнь любил такой человек, как отец, значит он видел, что вы по натуре — человек очень хороший, только у вас были некоторые привычки того времени...

— Вот именно, привычки... Да, привычки были дурные, по нынешним временам даже постыдные,—говорила она, утешенная нашими словами, зная, что мы говорим искренно и можем быть даже грубоватыми с нею, но неспособны льстить в угоду ей.

— Расскажите же, голубчик, в чем и как выражались у вас идейные размолвки с отцом.

— А вот, бывало, Марья Федоровна говорит ему что-нибудь в таком роде: «Как это обидно, что для нас, помещиков, нужно какое-нибудь тяжелое горе для того, чтобы мы сделались людьми»...

— Да не всех этому и горе научает,— отвечает ей Николай Григорьевич,— наши помещики глубоко убеждены в том, что только они одни люди, а крестьяне — скоты, и что с ними как со скотами и поступать надо.

Подобные рассуждения их обоих меня всегда злили, и я начинала доказывать им, что крестьяне действительно часто поступают, как скоты, приводила примеры, как они зверски убили того или другого помещика [4], как надули, обокрали и т. д.

— А от кого ты все это слышишь? — возражал муж.— От тех же помещиков! Но тебе не безызвестно, как они до смерти засекают крестьян, до какой нищеты доводят их! Что же удивительного, что крестьяне зверски убивают своих тиранов?

А то, бывало, с сердцем прибавит:

— Удивительно, Шурочка, что в тебе, именно в тебе, так крепко засела крепостная закваска! С раннего возраста ты воспитывалась в институте, крестьяне лично не сделали тебе ничего дурного, ты еще и теперь

ребенок, жизни совсем не знаешь, а рассуждаешь, как заправская помещица!

Перед отъездом из Василькова мои родители обещали часто навещать Марью Федоровну и ее умоляли приезжать к ним в Погорелое. Но она испугалась даже этой мысли, утверждая, что Степан Михайлович не запретил и не может запретить моим родителям бывать у нее (хотя они могут уже и этим навлечь его гнев на себя), а ей он прямо приказал безвыездно жить в Василькове, объявил, что, если она нарушит его волю, он еще более ухудшит ее положение.

Все эти разговоры шли в крошечных комнатах, в которых с утра до вечера толкались люди, занятые отделкою и чисткою жилища Марьи Федоровны; следовательно, они слышали все, о чем говорили господа. В день отъезда, когда уже был подан экипаж моих родителей, все «ссыльные», а также семья старосты и люди отца, привезенные им для услуг, собрались во дворе и, при появлении моих родителей, бросились на колени перед ними, упрашивая их, чтобы они приезжали к Марье Федоровне и чтобы она навещала их; при этом они клялись, что никто из них никогда не проговорится об этом «старому барину».

Хотя Марья Федоровна была уверена в том, что крестьяне свято сдержат свое слово, но она не сомневалась, что ее муж, по крайней мере впоследствии, когда она стала часто ездить в Погорелое, знал об этом, но не показывал вида, что это ему известно, и держал себя так, точно жены его никогда не существовало на свете: он никогда не писал ей, не делал относительно ее никаких распоряжений, ничего не посылал ей. Но о своем несчастном фольварке он не забывал: он попрежнему ссылал туда провинившихся крестьян, а некоторых из раньше сосланных приказывал возвратить. Вообще дедушка с момента изгнания своей жены ни разу не видал ее вплоть до самой ее кончины.

До первых родов моей матери мои родители часто посещали Марью Федоровну, но она долго не решалась

навещать их. Когда они приезжали в Васильково, большая часть времени проходила у них в совместном чтении. Отец читал вслух Пушкина, а также сочинения Руссо и Вольтера в подлиннике, так как все трое прекрасно знали французский язык.

Рассказывая нам о совместном чтении втроем, матушка при этом чистосердечно сознавалась, что как это чтение, так и рассуждения отца по поводу прочитанного несравненно более живо воспринимались ее мачехою, чем ею, может быть потому, что она была еще очень молода. К тому же институтское воспитание того времени, не давая ни знаний, ни малейшего умственного развития, в то же время притупляло наблюдательность, а Марья Федоровна была и старше ее на четыре года, и воспитывалась не в закрытом заведении, а в хорошем пансионе и имела возможность думать и наблюдать все ее окружающее.

Марья Федоровна, по словам моей матери, была в неописанном восторге от этих чтений, которые открыли ей, как она говорила, новый мир. Когда отец уезжал, она на время удерживала у себя книги, переписывала то, что ей особенно нравилось, и, обладая замечательною памятью, произносила наизусть с необыкновенным выражением большие отрывки из названных писателей. Она вела в Василькове деятельный образ жизни: серьезно занималась своим маленьким хозяйством, желая извлечь из него наибольшую выгоду, в то же время постоянно посещала ссыльных крепостных, с которыми сроднилась душою, прекрасно ознакомившись с нуждами каждого из них, шила им рубахи, лечила их, делилась с нуждающимися всем, чем могла, призывала всех их к себе каждое воскресенье, зажигала восковые свечи у образов и лампадку и читала им вслух молитвы и евангелие.

Не прошло и нескольких недель после водворения на новом месте Марьи Федоровны, как она стала убеждать моих родителей навестить ее мужа. Отправляясь к дедушке, мои родители думали, что он или не примет их за участие их к его жене, или что после этого

визита им уже не придется более навещать его. Но дедушка встретил их чрезвычайно радушно и в продолжение всего дня, который они пробыли у него, не проронил ни слова о своей жене.

Матушка на другой же день отправилась к мачехе, поджидавшей ее с особенным нетерпением. Когда она на этот раз вошла в горницу к мачехе, она, к крайнему своему удивлению, застала у нее местного священника, весьма доброго и умного человека. Этот визит бедного деревенского попа, находившегося в материальной зависимости от местных помещиков, был смелым и благородным поступком с его стороны, а потому Марья Федоровна сказала падчерице, чтобы она не стеснялась присутствием батюшки и рассказала при нем все, как было. Когда матушка уверяла ее, что о ней не было произнесено ни слова, Марья Федоровна вытащила свой заветный крестик, перекрестилась, поцеловала его с благоговением и произнесла: «Это меня защищает покойный младенец Ванюша своими чистыми молитвами». Священник заметил при этом: «Степану Михайловичу не безызвестно, что порядочные люди нашей округи полюбили Марью Федоровну за ее кроткое обхождение со всеми; он знает и то, что Николай Григорьевич — не последний человек: хотя он и очень недавно поселился у нас, но зарекомендовал себя, как образованный помещик; к тому же он состоит в большой дружбе с предводителем дворянства и с живущим за границею князем Г., богатейшим человеком с большими связями. Вот Степан Михайлович и принимает все это в расчет: боится еще более теснить свою супругу, чтобы не нажить себе «истории».

С появлением в доме моих родителей маленького существа жизнь получила для Марьи Федоровны новый интерес. Как только ей дали знать о наступивших родах падчерицы, она уже не могла более думать об угрозах своего мужа и в первый раз отправилась в Погорелое. К тому же, на ее счастье, Степан Михайлович наотрез отказался быть крестным отцом своего

первого внука. Его обязанность должен был взять на себя кто-то другой, но зато Марья Федоровна могла быть крестною матерью.

Своего крестника она стала обожать с момента его появления на свет божий. Она не отходила от него, была в восторге, когда ей приходилось спать с ним в одной комнате, и подбегала к нему каждый раз, когда тот начинал пищать, хотя в детской находилась кормилица новорожденного. С тех пор Марья Федоровна стала часто бывать у родителей и гостила у них по неделям, так как страстно привязалась к новорожденному, а когда тот впервые произнес «баба» (бабушке в это время шел двадцать первый или двадцать второй год), ее восторгам не было пределов.

После родов первого ребенка матушка скоро опять забеременела, и Марья Федоровна стала умолять моих родителей отдать ей на воспитание их первенца. Но отец не согласился на это, прежде всего потому, что находил болотный воздух Василькова вредным для здоровья ребенка. Число внуков Марьи Федоровны увеличивалось с каждым годом, и она всех их обожала, няньчила, обшивала, забавляла.

Марья Федоровна умерла очень молодою, а именно — двадцати семи-двадцати восьми лет, прожив в Василькове лишь шесть лет. Случилась ли эта преждевременная смерть от болотного воздуха поселка, или от того, что неудачный брак истерзал ее душу, от того ли, что, посещая Погорелое, она не разбирала погоды, но скорее всего от всех этих причин вместе она уж через три-четыре года после своей ссылки стала заметно хиреть, кашель все усиливался, и она таяла, как свечка.

Еще в то время, когда Марья Федоровна только что разошлась со своим мужем, мой отец известил об этом ее пасынков, Ивана и Николая Гонецких. Они немедленно, тот и другой, стали писать ей нежные письма, посылали ей подарки и деньги, и эти добрые отношения к ней с их стороны не прекращались до ее смерти. Мало того: года через два после разрыва мачехи с

мужем они приехали летом в Бухоново и, прежде чем отправиться к отцу, заехали к ней. Не желая, вероятно, чтобы отец узнал об этом от других, они сами сказали ему, что заезжали в Василькове. Они передавали сестре (т. е. моей матери), что отец с удивлением взглянул на них, ничего не сказал и сейчас же перевел разговор на другую тему. А когда моя мать написала своим братьям, что на выздоровление Марьи Федоровны нет никакой надежды, они, несмотря на обязанности по службе, на ужасающую осеннюю распутицу, несмотря на отсутствие тогда железных дорог, выхлопотали себе короткий отпуск и приехали навестить свою мачеху, но застали ее уже в гробу.

Перед своей кончиной Марья Федоровна подозвала к себе матушку и просила ее после смерти не снимать с ее шеи кипарисового крестика, говоря, что он принес ей большое счастье: дал ей возможность сродниться с семьею моих родителей, прожить человеческою жизнью последние годы. Когда она скончалась, мой отец отправил верхового к Степану Михайловичу с известием о кончине его жены, но лишь только успели «обрядить» покойницу, как приехали ее пасынки, прискакавшие в Васильково на перекладных. Скоро после них в комнату усопшей вошел и дедушка. Первое, что он увидел,—всех своих троих детей, стоявших на коленях вокруг покойной и горько рыдавших, а ссыльные крестьяне окружали ее маленький домик снаружи и набожно молились. Дедушка подошел к гробу, сделал земной поклон, поцеловал руку усопшей и, ни с кем не разговаривая, ничего не расспрашивая, не здороваясь и не прощаясь, тотчас же вышел из комнаты. Он не был на похоронах и перестал куда бы то ни было выезжать из своего поместья. Очень скоро после смерти Марьи Федоровны пожар уничтожил все постройки Василькова; ссыльные крестьяне были возвращены на свои места, и больше туда никого не ссылали.

Дедушка пережил свою вторую жену лишь на несколько месяцев.

ГЛАВА II

Мой отец, его военная служба.— Влияние на его умственное развитие заграничных походов, жизни в Варшаве и любви к чтению.— Жизнь моих родителей в уездном городе.— Няня и ее значение в нашей семье.— Холера 1848 года.— Появление чужого ребенка.—Смерть отца.— Разорение семьи и ее несчастья.— Окончательный переезд в деревню.— «Чортов мост» и дорожные приключения.

Когда моя мать, Александра Степановна Гонецкая, в 1828 г. вышла замуж, ей было шестнадцать лет, а мой отец, Николай Григорьевич Цевловский, был более чем вдвое старше ее — ему шел тридцать восьмой год.

Члены моей семьи — мать, няня, мои старшие братья и сестры — вспоминали покойного отца не иначе, как с чувством глубочайшего благоговения и с горячею любовью, вторая же моя сестра Саша (во время смерти отца она была еще подростком) чуть не умерла от горя, лишившись его. Это благоговение перед памятью отца крайне удивляло многих наших родственников, а тем более соседей по имению, так как факт разорения отцом своего семейства был у всех налицо. Из всей нашей семьи только самый младший ее член, т. е. я одна, долго скептически относилась к восторгам,

с которыми у нас говорили о покойном отце. Это происходило отчасти от того, что после смерти отца я осталась четырехлетним ребенком, совсем его не помнила и лишь смутно представляла себе даже его внешний облик, а отчасти и потому, что, когда я стала доискиваться причин культа его памяти, я была еще очень молодой девушкой. Я только что кончила тогда свое образование и, после долгой разлуки с семьей, приехала домой. Это было в освободительную эпоху 60-х годов, когда молодежь особенно критически относилась к людям крепостнического периода. С юным жаром и задором, вся погруженная в стремления и идеи этой кратковременной, но лучезарной эпохи, не зная еще ни жизни, ни людей, не получив достаточно солидного образования, а следовательно, и не имея возможности выработать правильное понимание исторической перспективы, я недоверчиво спрашивала себя и других: где и как мог отец приобрести и сохранить лучшие идеалы своего времени, как это особенно настойчиво утверждала моя любимая сестра Саша. Ведь он с ранней юности до женитьбы был военным, военная же среда того времени едва ли могла этому содействовать. Я высказывала даже уверенность (редко кто в молодости лишен самонадеянности), что жизнь в полку должна была наталкивать отца лишь на кутежи и попойки или, по крайней мере, сделать его светским человеком, чему могли содействовать его представительная наружность (это было видно по его дагерротипу) и хорошие материальные средства за все то время, пока он был холостым. Но более всего мой скептический взгляд на отца поддерживался тем, что он владел крепостными: в освободительную эпоху мы, молодежь, с ужасом и отвращением смотрели на всех, так или иначе мирившихся с рабством и лишь по воле правительства порвавших с ним. Истинно идейный и гуманный человек, по нашему мнению, должен был освободить крестьян по собственной инициативе, а не по приказанию правительства.

Как-то однажды сестра Саша попросила меня пересмотреть с нею старый сундук, наполненный книгами, оставшимися после отца и испещренными на полях его замечаниями, и тетрадями, исписанными его рукою, которые она свято хранила и перечитывала. Когда я пересмотрела все это, я могла задавать относительно отца уже более определенные вопросы своим близким. Собранные мною сведения вполне совпадали с тем, что я нашла в его набросках и рассуждениях по поводу того или другого явления жизни, а также и с его служебным формуляром, сохранившимся у меня до настоящей минуты.

Мой отец был православный, как и его отец, но его мать была католичка и истая полька. Овдовев уже в ранней молодости, она вложила всю душу в воспитание трех сыновей: Максима (прозванного Максом), Андрея и младшего Николая (моего отца). Под ее бдительным надзором с ними занимались гувернеры-иностранцы. Оба старшие сына не обнаруживали любви к занятиям, и она отдала их в корпус, младшего же, своего любимца Николая, она оставила дома и дала ему блестящее, по понятиям того времени, первоначальное образование, для чего на первом плане требовалось усвоение нескольких иностранных языков. Сама же лично она более всего старалась привить ему страстную любовь ко всему польскому и к чтению книг. Она вполне достигла своей цели [5].

Мой отец, родившийся в 1790 г., лишился матери, когда ему было четырнадцать лет, после чего он вступил юнкером в петербургский уланский полк; лишь через несколько лет он был произведен в офицеры и нес военную службу почти до женитьбы. Хотя его служебный формуляр испещрен упоминаниями о походах и войнах, в которых он участвовал в продолжение всей своей двадцатичетырехлетней военной карьеры, но это не мешало ему много читать и тратить не мало денег на покупку лучших произведений польской, французской и русской литератур. Его рассуждения и заметки,

которые мне удалось прочесть на русском и французском языках (бо̀льшая их часть была набросана на польском языке, которого я не знала), вполне убедили меня в том, что он не только усвоил лучшие идеи французских энциклопедистов XVIII и писателей XIX вв. вроде Мицкевича (который, судя по восторженным отзывам отца, оказывался его любимым поэтом), но что он был страстным поклонником гуманных идей и по своему образованию стоял целою головою выше того общества, среди которого вращался. В его отзывах о только что прочитанных им книгах меня поражали не только его вдумчивость, но для того времени даже оригинальность мысли, живость впечатлений и наблюдательность, которые особенно сказывались в его рассуждениях по поводу общественных и политических явлений западноевропейской жизни, а нередко остроумное сопоставление их с фактами русской действительности. Его широкий кругозор и живой интерес к общественным вопросам были результатом не только чтения серьезных сочинений, но и его преисполненной разнообразия военной службы, которая, на протяжении почти четверти века бросала его то в одну, то в другую европейскую страну. Он посетил не только Турцию и Молдавию, но и Пруссию, Саксонию, Австрию, Францию, два раза в продолжение некоторого времени жил в Париже и еще гораздо больше времени провел в Польше.

Мой отец начинает участвовать в походах и битвах с ранней молодости. Уже в 1805 г., т. е. пятнадцатилетним юношею, он был в битве под Аустерлищем в Моравии, а через два года — в двух сражениях: при Прейсиш-Эйлау и при Фридланде. С 1809 по 1811 г. включительно он участвовал в кампании против турок и находился при осаде Браилова, Шумлы, Рущука и при взятии в плен войск турецкого визиря. В 1812 г. преследовал полчища Наполеона при их отступлении, а затем совершил поход через Пруссию и Саксонию и участвовал в знаменитой четырехдневной битве при

Лейпциге против Наполеона; в 1814 г., после нескольких сражений с французами, он, вместе с русскими войсками, вступил в Париж, где и пережил низложение Наполеона и восстановление Бурбонов на правах конституционных монархов. Обратный поход отец совершил через Германию в Польшу, но вследствие того что в 1815 г. Наполеон бежал с острова Эльбы и появился во Франции, отец должен был снова совершить поход с русскими войсками через Германию в Париж. Во время обратного похода отцу пришлось побывать в Варшаве в то время, когда уже были объявлены сначала основы польской конституции, а затем подписана и самая конституция Царства польского[6]. Но и после этого, раньше чем выйти в отставку, он жил в Варшаве около двух лет.

Особенное значение в его умственном развитии, без сомнения, сыграли походы 1813—1815 гг., а также позднейшая жизнь в Варшаве: на его глазах, с одной стороны, совершилось обращение наполеоновской Франции в государство конституционное, с другой — развитие конституционной жизни в Царстве польском.

Прекрасно владея польским и французским языками, мой отец был принят в средние кружки польского общества, где он встречал писателей, художников и вообще, как показывали его заметки, вел знакомство не только с весьма образованными мужчинами, но и с женщинами, высоко развитыми в умственном отношении, попадавшимися тогда среди полек. Его наброски и рассуждения за этот период его жизни говорят о том, с каким живым интересом он относился к общественным вопросам и политике.

В то время когда жизнь в России была в полном застое, поляки Царства польского имели уже конституцию. Хотя она была неудовлетворительна во многих отношениях, но все же польское общество было оживлено выборами в сейм и разговорами о них.

«В польском обществе,— говорится у отца в одном из его набросков,— постоянно обсуждают речь импера-

тора Александра, сказанную им при открытии сейма в 1818 г., а также речи депутатов, ведут политические и философические споры, а у нас можно слышать разве, как Никифор Сидорович подкузьмил своего приятеля при продаже ему коня, либо как помещик именитого рода, знатный своими связями и богатыми маетностями[7], растлевает своих крепостных девок, либо как некий почтенный муж, отец многочисленного семейства, дабы оттягать поемный лужок, во всех присутственных местах позорит родную сестру, возводя одну клевету срамнее другой. И уже во всех гостиных непрестанно раздаются россказни о том, как такой-то помещик за проступок одного крестьянина выдрал всех мужиков и баб своего фольварка от старика-деда до пятилетней внучки. Почтенные гости внимают сему не с омерзением, а с веселием детской души, с апробацией, точно им повествуют о подвигах древних героев».

Сильное влияние оказал на моего отца и варшавский театр. Нужно помнить, что он был в то время для поляков не только любимым развлечением, но и искусством, имеющим громадное образовательное значение, одним из наиполезнейших средств для их служения страстно любимой отчизне. Варшавский театр был лучше обставлен и поставлен, чем русский столичный театр, и имел огромное влияние на всю жизнь моего отца. Будучи женатым и имея большую семью, он всегда проводил мысль, что из всех просветительных влияний наибольшее имеет театр, как первейшее средство для воспитания в молодежи благородных чувств. Эта мысль, всецело овладевшая им, заставляла его впоследствии, несмотря на свои скромные средства, устроить свой собственный театр. Хотя он не построил для него особого здания, и представления происходили в квартире, занимаемой его семьей, хотя все было устроено так просто, как теперь редко устраивают в домашних спектаклях, а артистами являлись прежде всего собственные дети и крепостные, но все же этот театр в конце концов помог окончательному разорению моего отца.

Театральная обстановка и доспехи наших доморощенных артистов (из одиннадцати человек крепостных, исключительно предназначенных для театра, шесть человек были актерами, а пять — музыкантами) оказывались крайне незамысловатыми: короны были склеены из золоченой бумаги и украшены фольгою и цветными бусами; шпаги, латы, сабли и т. п. сделаны из папки и дерева, раскрашены или обклеены разноцветной бумагой; туалеты артисток смастерены из самой дешевой материи с бумажными блестками,— одним словом, все было приготовлено домашним способом, руками моих сестер и горничных.

Если бы кто-нибудь теперь взглянул на эти театральные принадлежности, то наверно бы подумал, что таким театром могли забавляться лишь дети в небогатой семье, никто бы не поверил, что образованный, серьезный человек мог отдавать ему все свои силы, душевные и материальные. Конечно, причиною полного разорения моей семьи был не только театр, а вообще беспечность отца, который жил на более широкую ногу, чем позволяли ему его скромные средства, но сильно помогали этому и наши театральные представления. Особенно обременительны были приемы гостей, съезжавшихся на них иногда издалека, и не только с членами своей семьи, но и с своими гувернантками, горничными и лакеями,— всех их приходилось угощать ужинами, а некоторых содержать с лошадьми и челядью в продолжение нескольких дней. И то еще хорошо, что не все оставались гостить: театральные представления были устроены в уездном городе (где тогда жили мои родители), и на них являлись не только городские знакомые, но и знакомые семьи, живущие в своих деревенских поместьях. Гости, приехавшие издалека, за верст тридцать-сорок, не могли пуститься ночью в обратный путь при тогдашних ужасающих дорогах. Да и чего им было торопиться? Спешной, обязательной работы у помещиков не бывало. Раз приехали из своего захолустья, нужно воспользоваться слу-

чаем! На другой день после спектакля одни из гостей садились за карты, другие предпринимали увеселительное катанье куда-нибудь за город или отправлялись на охоту за несколько верст, а вечером молодежь устраивала танцы, игры, пение.

Несмотря на то, что моя мать после смерти своего мужа осталась в крайне тяжелом материальном положении, она свято чтила его память и вспоминала о нем не иначе, как с трогательным благоговением.

Когда кто-то из близких однажды при нас, уже взрослых ее детях, выразил ей свое удивление, как она, при большой семье, могла допускать жизнь не по средствам, вот как она оправдывала себя и мужа, вот что рассказывала она по этому поводу нам, своим детям:

«После нашего брака Николай Григорьевич точно обозначил роли в хозяйстве каждого из нас: я должна была заботиться о детях, заведывать домашним хозяйством, скотным двором, прислугою, а в его распоряжения относительно крепостных и сельского хозяйства я не имела права вмешиваться. Я была очень молода, доверяла ему во всем, думала, что он лучше меня знает, как это должно быть, а потому и не обращала внимания на остальное. Конечно, с годами я все более сознавала, что, при нашей громадной семье, следовало бы жить поскромнее, не вводить у себя таких затей, как театр... Но ведь муж устроил его не для своей забавы, а для пользы детей. Ему самому ничего не нужно было: ему хотелось только, чтобы его дети, как пчелы, жужжали вокруг него, чтобы их интересы были чище и выше интересов окружающей среды. Подумайте только, что мы видели в то время кругом! Бесшабашный разгул, грязь, разврат, взяточничество, истязания крестьян, отчаянный картеж!.. Совсем другое было у нас. Бывало, муж только что прибежит из должности, сейчас начнет учить детей или устраивать репетицию, а то сидит и переводит Мольера для своего театра, много переводил с польского, ставил пьесы Фонвизина и Грибо-

едова. Многие помещики нашего уезда впервые из представлений нашего театра познакомились с произведениями русских писателей, даже с комедиею «Горе от ума». Никогда, ни в одной семье не встречала я человека, который бы так страстно любил своих детей, как ваш отец: он всю свою жизнь готов был отдать на то, чтобы сделать вас людьми более просвещенными и гуманными. Он то и дело открывал какие-нибудь способности то у одного, то у другого из вас и находил, что нет больше преступления, как зарыть в землю талант, не постараться развить его. Узнает, бывало, что кто-нибудь из знакомых хорошо рисует, и попросит его обучать дочь или сына, да при этом зорко следит за тем, делает ли ребенок успехи. Вторая дочурка наша, покойница Манюня, любила в саду копаться. Он приискал ей хорошего садовника, который ее садоводству обучил. И какие она стала разводить георгины, шток-розы, гиацинты, научилась прививать фруктовые деревья, сажать и сеять всевозможные цветы, ухаживать за ними! На вечеринке увидит барышню, которая хорошо протанцует характерный танец, он сейчас же подсядет к ней и попросит ее обучить этому танцу ту или другую из своих дочерей.

«Во время наших театральных спектаклей, в антрактах (ведь он сам всему учил актеров и всем распоряжался) муж выйдет к публике, посадит к себе на плечи Петюню (забавный был такой мальчишечка) и заставит его говорить с жестами какое-нибудь стихотворение или басенку. А после окончания спектакля дочери должны были протанцовать качучу или выйти к публике в русских нарядах. Вот и явятся они, мои доченьки, в сарафанах, кокошниках или в девичьих повязках со множеством разноцветных лент, падающих на спину вместе с косой, с нитками разноцветных бус на шее, и отхватывают весело-превесело русскую с своими братьями, которые тоже одеты в кумачовые рубахи и черные плисовые штаны. А после разудалой русской пляски муж прикажет оркестру играть «По

улице мостовой», и старшие дочки наши, помахивая белыми платочками, плывут, как лебедушки...

«— Счастливые, счастливые! — криком кричат посторонние барышни моим дочерям.— Как вам хорошо, весело живется при таком отце!

«Но эти представления вызывали и зависть: завидовали тому, что к нам все стремились, что у нас было так весело, как нигде. Иная барыня, бывало, вся исстрадается, что ни я, ни мои дочери не обращаем внимания на пересуды, и уж как-нибудь ввернет мне: «А как вас Анна Павловна осуждает за ваш театр! Говорит, что при таком небольшом имении, какое у вас, это должно быть крайне разорительно». А я, бывало, сейчас и перебью ее просьбою передать этой самой Анне Павловне, что я больше ее на свои спектакли не позову. И как этого боялись! После нескольких сплетней, переданных мне, уже никто ни гу-гу... Сама знала я, что эта затея не по нашему карману, но настоять на том, чтобы муж уничтожил ее, не могла... Как сравню, бывало, свою семью с другими, подумаю, какая у меня семейная жизнь и какая у других, какие разговоры ведут мои дети и какие у них интересы,— и скажу себе: нет, трогать нельзя, а то, пожалуй, изломаешь и все хорошее.

«Особенно укреплялась я в этой мысли потому, что видела любовь детей к отцу... Бывало, кто-нибудь из моих девочек во время вечера отойдет в сторонку и надует губы... «Чего еще тебе нехватает?» — спрошу ее. «Мамашечка, попросите папеньку, чтобы он со мной потанцовал, а то он со всеми уже по два раза прошелся, а со мной только раз». Им ничего не нужно было, только бы отец был с ними, и Николай Григорьевич без них нигде не бывал, никуда не ходил... Что же, думаю, бывало, если, по холодности характера, я сама не могу внушить детям горячей любви, пусть любят отца,— он более меня достоин этого...»

Если отец не был на службе, он занимался с детьми или поднимал с ними возню, которою сам увлекался,

как ребенок. Матушка, выведенная из терпения шумом и визгом, выскакивала тогда из своей комнаты, где она занималась счетами или хозяйственными распоряжениями, и расталкивала в разные стороны детей и расшалившегося мужа. Чтобы задобрить ее, отец целовал ее ручки или хватал ее за талию и начинал бешено вальсировать. И матушка моментально смягчалась.

Отец с матушкой, несмотря на диаметрально противоположные вкусы, характеры и умственное развитие, относились друг к другу с полным уважением, доверием и любовью. Но это не исключало маленьких домашних сцен и ссор, происходивших в большинстве случаев из-за воспитания детей, за то, что он не умеет соблюдать с ними отцовского авторитета, а отцу не нравилась ее холодность в обращении с ними. Матушка оправдывалась тем, что женщина, которая, как она, носит каждый год ребенка под сердцем, не может быть страстною матерью.

Однако из слышанного об отце я не все находила прекрасным в его системе воспитания. Будучи для своего времени человеком передовым и сознавая весь вред предрассудков, господствовавших тогда в русском обществе, он всеми силами старался искоренять их в своих детях. Он строго запрещал стращать их мертвецами, оборотнями, вообще говорить им что бы то ни было несообразное с здравым смыслом. К числу предрассудков он относил боязнь темной комнаты и грома,— страх перед тем и другим он старался уничтожить не свойственными его мягкой натуре суровыми мерами, от которых сам страдал и которые иной раз приносили его детям не менее вреда, чем самые предрассудки. Одна из моих сестер, десяти-одиннадцатилетняя девочка, особенно болезненно относилась к грому и грозе. Когда небо заволакивалось свинцовыми тучами, она бросалась в постель и накидывала на голову что попадало под руку. Но отец насильно тянул ее на двор: девочка билась у него в руках, кричала, плакала... У отца при этом текли слезы из глаз, он нежно укутывал ее в пла-

ток, но крепко держал и оставлял под открытым небом. Однажды он вытащил ее во время сильной грозы. Сестра умоляла пустить ее в комнаты, кричала, тряслась, вдруг упала на землю, и с ней сделался припадок, вроде падучей. Отец был в отчаянии, но в первый же раз, когда снова разразилась гроза, опять начал уговаривать ее и тащить с собой, пока этой педагогической мере не положила конец матушка. Ее здравый смысл восторжествовал: она вырвала у мужа трепещущую девочку и резко накричала, что она ни за что более не позволит ему сводить с ума детей.

Мой отец старался и в своей жене развить любовь к серьезному чтению и ко всему польскому. Хотя матушка, за множеством домашних обязанностей, не часто располагала свободным временем, но она все-таки выучилась этому языку, что давало возможность отцу читать ей вслух польские книги. Мало того: он сам учил старших детей по-польски и разговаривал с ними не иначе, как на этом языке. Но, как только умер отец, все в доме стали говорить исключительно по-русски. Мои братья и сестры, не имея практики в польском языке, начали постепенно его забывать; я же, оставшись после смерти отца маленьким ребенком, когда у нас воцарился исключительно русский язык, не запомнила от раннего детства ни одного польского слова.

После брака мои родители лишь несколько лет прожили в деревне, в своем имении Погорелом, а затем переселились в П[оречье], уездный город С[молен]ской губ., переезжая в деревню только на летнее время. Итак, моя семья большую часть года проводила в городе для того, как говорил матери покойный отец, «чтобы не погрязнуть в захолустных дебрях, среди людей звериного образа».

Но едва ли такой жалкий уездный городишко, как П[оречье], был в то время более приспособлен для жизни культурного человека, чем наше захолустное поместье. Судя по некоторым фактам, я думаю, что к переселению в город отца побудило прежде всего жела-

ние увеличить средства своей многочисленной семьи,— он получил в нем место уездного судьи,— а затем желание устроить собственный театр, что, конечно, удобнее было осуществить в городе, чем в деревне. Окончательному решению переселиться в город содействовало более всего то, что моему отцу неожиданно представился случай купить в городе П[оречье] большой деревянный дом со службами, надлежащими пристройками и хорошим садом чуть не задаром, а именно за 900 рублей ассигнациями [8].

Семья наша увеличивалась с каждым годом. Довольно сказать, что матушка, прожив с отцом 20 лет (от 1828 до 1848 г.) имела, по ее *собственному счету*, 16 человек детей. Я указываю на ее *собственный счет* потому, что он не согласовался со счетом соседей. У матушки была какая-то болезненная ненависть к точному определению количества своих детей. Однажды она сказала при соседке-помещице что-то в таком роде: «Когда у женщины было так много детей, как у меня...» Собеседница перебила ее словами: «Да, порядочная была у вас семья! Вы-то считаете, что у вас было 16 деток, а все кругом говорят, что их у вас было 19: вы ни выкидышечков, ни мертворожденненьких в счет не берете...». Матушка, крайне вспыльчивая по натуре, вышла из себя при этих словах и наговорила резкостей соседке, которая не переставала подзадоривать ее словами: «Чего же стыдиться этого? Ведь это же благодать божья! К тому же у вас, уж по совести можно сказать, они не от заезжих молодцов, как у многих других, а от богом данного законного супруга».

Однако, если остановиться и на матушкиной статистике, т. е. на том, что у нее было 16 человек детей, то в 1848 г., т. е. перед холерою, их осталось уже 12, так как четверо из них умерли еще до этого злосчастного года: двое из умерших были моложе меня, так что я перед смертью отца была самою младшею в семье.

В жизни моего семейства няня играла выдающуюся роль. Мы, дети, были крепко привязаны к ней, а я и

моя сестра Саша любили ее даже больше матери. Вот потому-то я и считаю необходимым объяснить, как она у нас появилась. Все служащие у нас люди были нашими крепостными, кроме няни, которая была из мещанского сословия, следовательно могла свободно располагать собою. Но в то время как у низшего, так и у высшего класса русского общества понятия были чисто крепостнические, рабские. Няня до глубины души оскорблялась каждый раз, когда кто-нибудь из домашних напоминал ей о том, что она человек свободный. Она считала себя настоящей рабой моих родителей и членов нашего семейства.

— Нянюшечка,— кричал иногда кто-нибудь из моих братьев, чтобы посердить ее,— ты не наша крепостная! Если ты убежишь от нас, становой не будет тебя разыскивать...

— Что я тебе сделала, Заринька (Захар)?— отвечала она с горечью.— Чем не угодила, что ты меня так обижаешь?

Но тут со всех сторон поднимались возмущенные голоса детей:

— Зарька! как ты смеешь обижать няню! — И все мы, как по мановению волшебного жезла, бросались к ней со словами: — Няня наша, наша собственная! Она не смеет уйти от нас!

— Конечно, не смею! — отвечала она, уже совершенно успокоенная.

Вот как эта совершенно свободная женщина сделалась нашею, по ее мнению, неотъемлемою собственностью. Родители няни были зажиточными мещанами. Ее отец держал постоялый двор, и вся его семья, состоявшая из жены и дочери Маши (впоследствии нашей няни), должна была работать не покладая рук. Он был человек крутого нрава и за ничтожную оплошность жестоко расправлялся с женою и дочерью.

Маша и в детстве не отличалась крепким здоровьем, а когда мать ее внезапно умерла, это так потрясло

девочку, которой в то время было четырнадцать лет, что она захворала после похорон, а когда встала с постели, очень долго не могла оправиться. Отец ее нанял на время работницу, но скоро объявил дочери, что ей уже время работать, а так как она взрослая, то обязана все делать сама. Но Маша плохо справлялась с хозяйством, за что тяжелая рука отца обрушивалась на нее с такой силою, что нередко оставляла кровавый след. Так прожила она с полгода после смерти матери, как вдруг узнала, что отец ее собирается жениться во второй раз, да еще на сварливой бабе. Тогда Маша решила, что положение ее в доме при мачехе еще ухудшится, и задумала бежать раньше, чем отец женится. Случай помог этому.

Как-то весной она вышла из дому и села на завалинку. Мимо нее прошли нищие и недалеко от ее дома сделали привал. Их пение и рассказы так прельстили девочку, что она открыла свою тайну одной из нищенок, которая и пригласила ее странствовать вместе с ними, питаться подаянием, «прославляя имя господне и вымаливая у всевышнего прощение людям их грехов». И девочка сделалась нищенкою.

Но бродячая жизнь в холод и непогоду, ночевки на сырой земле под открытым небом очень скоро подорвали ее здоровье. К ее все большему недомоганию и жестоким лишениям, которые ей пришлось выносить, присоединилось еще отвращение к нищим, с которыми столкнула ее судьба. Приближаясь к деревне, они обыкновенно ловко загоняли в сторонку кур с цыплятами и уток и сворачивали им головы, вытаскивали узелок у спящего на дороге человека, вообще оказывались опасными товарищами.

До города Владимира, куда нищие направлялись, оставалось уже несколько верст, когда они заметили деревенскую избу, а на изгороди, в некотором расстоянии от нее, развешенное белье. Старшой нищих решил тут сделать привал, а Маше приказал осторожно стащить все с изгороди. Девочка стала умолять его не

давать ей этого поручения. Нищий уже поднял свою клюку, чтобы ее ударить, как вдруг издали раздался стук колес и звон колокольчика, и он успел только толкнуть ее изо всей силы и грозно закричал ей, что он убьет ее, если она попадется ему на дороге.

Долго пришлось Маше бродить по городу, не получая подаяния. Мой отец, который по своим делам находился в это время во Владимире, случайно натолкнулся на девочку, упавшую без чувств от голода, утомления и слабости, и свез ее в больницу; когда она пришла в сознание, он узнал от нее всю ее историю; затем зашел ее навестить и, когда она оправилась, дал ей денег и отправил с письмом к своему знакомому, управлявшему поблизости фабрикою. Но, прежде чем расстаться с девочкой, мой отец дал ей адрес своего поместья и сказал ей, что, если она через год-другой забредет туда, он непременно устроит ее.

Плохое здоровье Маши не дало ей возможности долго прожить на фабрике. Поработав несколько месяцев, она отправилась искать места, но, прежде чем найти его, ей долго пришлось перебиваться поденной работой, то и дело впадая в жестокую нищету. Наконец она нашла место няни во Владимире, в доме богатого купца Сидорова, где ее полюбили не только дети и хозяйка, но и жестокосердый хозяин, у которого до нее никто не уживался. Она прожила у них более пяти лет, могла бы прожить и всю жизнь, так как Сидоровы ни за что не хотели расстаться с нею. Но из благодарности за участие, которое выказал ей мой отец, Маша решила, что она обязана всю свою жизнь, все свои силы отдать на служение ему. И это стремление во что бы то ни стало отыскать моего отца никогда не покидало ее. Если она не явилась к нему раньше, то только потому, что ей не с чем было двинуться в дальний путь.

Прежде чем окончательно уйти от Сидоровых, она объявила им, что желает оставить их, но те всячески задерживали ее.

Вот как она передавала это нам сама:

— Вы, детушки, часто спрашиваете, отчего я такая дряхлая да старая, а мамашечка ваша одних со мною лет, а выглядит куда моложе меня... А от того, сердечные мои, что жизнь моя, почитай, с самых ребячьих лет, больно тяжкая была. А как я убежала из родительского дома, так у меня сразу и вся молодость пропала!.. Проживу год,— точно десять лет прошло, из лица на десять лет постарею... От горького ли одиночества, от жизни ли моей скитальческой, только все, что людей в молодости радует, у меня точно огнем выжгло: ни о нарядах я не помышляла, ни о женихах на уме у меня не было... Втемяшилась в меня одна думка: к благодетелю моему, к вашему батюшке добраться, в ноги ему броситься, послужить ему за доброту его ко мне, что меня, злосчастную, из грязи вытянул. И ничего другого в голове у меня не было. Как только моим господам, купцам Сидоровым, надоело меня улещать еще маленько пожить у них, так я скорехонько уж и у вас объявилась. Мамашеньке-то вашей я ровесницей пришлась: ей было тогда, как и мне, 23 года. Сколько лет с тех пор прошло, а я и о ту пору немногим моложе выглядела: старая-престарая точно черносливина сморщенная, а мамашенька-то ваша, что маков цвет цвела: белая, румяная, полная, на вид еще моложе своих лет. У нее уже пятеро деток было, да все крошки-погодки,— вот я и стала их няньчить. Так с тех пор и живу у вас, даст бог, у вас и кости сложу.

Всю любовь, всю преданность своего доброго сердца няня отдала нашей семье. У нее не было своей жизни: ее радость и горе были исключительно связаны с нашею жизнью. За то только, что отец когда-то свез ее в больницу, навестил ее во время болезни, дал несколько рублей на то, чтобы она могла переменить нищенские лохмотья на обычную деревенскую одежду, душа этой молоденькой девушки преисполнилась к нему безграничною благодарностью, благоговением, доходившим до поклонения. Она дала слово богу отдать свою

жизнь на служение моему отцу и его близким и, несмотря на все превратности судьбы, сдержала свое слово. Детей своего «благодетеля», как называла она отца, она любила, как может только любить нежно любящая мать. Несмотря на бесконечную массу дела в доме, она не только с утра до ночи зорко следила за нами, но и по нескольку раз ночью подходила к каждому дому из нас, закрывала того, кто разметался на постели, внимательно осматривала, крестила. Во время еды она тщательно наблюдала за наиболее болтливыми, чтобы они не остались голодными. Она совсем отбивалась от еды и сна, когда заболевал кто-нибудь из нас, но если больной начинал поправляться, она, еще изнуренная уходом и бессонными ночами, от радости не знала, что делать: показывала выздоравливающему всякие фокусы, рассказывала сказки и приключения из своей жизни, пела, даже плясала.

Мать считала няню своею главною помощницею и всегда говорила, что без нее она ни за что не могла бы справиться со своею огромною семьею и со сложным хозяйством. Что же касается того времени, когда она осталась одна после смерти мужа, она признавалась, что без няни совсем бы пропала. Мои братья и сестры, поступавшие в учебные заведения, обыкновенно писали ей письма, которые были для нее предметом восторга, ее гордостью и величайшим счастьем. Она, как святыню, бережно складывала их в шкатулку и в свободное время перечитывала их, но чаще поручала это нам. Хотя она умела читать (для ведения дел на постоялом дворе, который держал ее отец, требовалась грамотность, что и заставило отца обучить ее читать и кое-как писать; еще более подучилась она от своих питомцев), но она любила наслаждаться чтением писем в обществе детей, оставшихся дома. Читает ей, бывало, сестра то одно, то другое письмо чуть не в сотый раз, она набожно крестится, при нежных же эпитетах, вроде следующих: «дорогая, золотая, бриллиантовая, любимая нянюшечка» и т. п., проливает потоки слез. При этом

она обыкновенно приговаривала: «Ах, голубчик мой дорогой, да разве я это заслужила?»...

Для нас, детей, она положительно была ангелом-хранителем, и мы все обожали ее. Матушка была с нами скорее сурова, чем нежна, няня же обращалась с нами удивительно ласково, употребляя все усилия, чтобы предупреждать вспышки матушкиного гнева. Но в те крепостнические времена ни одно чувство не выражалось по-человечески: господа и рабы, свободные и крепостные выражали свои чувства по-холопски, вытравляя и в детях все зародыши истинно честных и свободных инстинктов.

— Нянюшечка,— и при этих словах моя сестра Саша так трясет за рукав няню, что ее вязальные спицы разлетаются в стороны.— Слушай, нянюшечка, я тебе на ушко секрет скажу...

— Ах ты шалунья! Видишь, все спицы на полу! — И няня нагибается их поднять, но сестра предупреждает ее.— Петлю-то в чулке подними,— говорит ей няня наставительно и строго, не давая ей нагибаться за вязальными спицами,— а по полу ерзать не твое дело. Ты — барышня и так себя понимать должна,— значит, для холопки своей не смеешь спину гнуть! Вот если бы я очень больна была, с постели не могла подняться, ну, тогда другое дело, ты бы, значит, милосердие свое оказала. А делать это без надобности для тебя должно быть довольно стыдно!.. Ну, теперь, Шурочка, говори свой секрет.

— Нянюша! Очень моя славная, дорогая, любимая!.. Я тебя люблю больше всех, всех, всех!.. Даже больше маменьки!

— Никогда не смей этого говорить, Шурочка,— ни при мамашеньке, ни без нее,— сердито выговаривает она сестре.— Разве можно кого-нибудь любить больше матушки родимой? Грех это, деточка, ух какой грех!

— Грех, говоришь? А что же мне делать, нянюша, если я тебя люблю больше мамашеньки? Отчего же это грех?

— Ну, Шурочка, ты не малолетка!.. Могла бы уж понимать, что родную матушку бог велит больше всех любить!.. Да опять же ты настоящего дворянского рода, а я твоя раба,— как же ты можешь меня к матушке приравнивать?.. Большой грех, дитятко, так говорить!

— Но если это такой грех, как ты говоришь, так скажи же, нянечка, должна я это на исповеди сказать? — допытывалась сестра совершенно серьезно.

Няня в первую минуту, видимо, растерялась, но тотчас же нашлась.

— Какие пустяки, Шурочка, спрашиваешь! Ведь этого нет, и ты этого вовсе не думаешь! Это только сейчас и в головенку-то твою взбрело! Пустяки это все, и незачем этого батюшке на духу сказывать! Нечего его глупостями утруждать! И как это у тебя язык поворачивается так про матушку говорить? Ведь она деньденской как рыба об лед бьется! Подумай сама, сколько вас-то всех! Она вас и обшивает, она и по хозяйству, она вас и наукам обучает,— где ж ей время взять, чтоб еще с вами забавляться? Мамашенька-то у нас первая голова во всей округе, чай, не пристало ей с вами телелёшиться[9], сказки сказывать да глупости всякие нести, как я!

Наиболее яркое впечатление из моего отдаленного детства во время нашей городской жизни оставили дни доставки провизии из деревни.

— Возы, возы приехали! — вдруг раздавался крик братьев и сестер.

При этих криках мы, детишки, стремглав бросались к окнам, и нам было видно, что узенькая уличка, на которой стоял наш дом, вся запружена нашими деревенскими возами. Если была мало-мальски сносная погода, мы второпях надевали наши пальтишки, гурьбой высыпали на улицу и начинали шмыгать между возами, выхватывая узелки и ящики поменьше, чтобы вносить их в дом. Для нас, малышей, это была одна из счастливейших минут жизни, но далеко не без шипов, и требовала от нас большой выдержки и силы воли.

Если во время этой суматохи мы как-нибудь неловко подвертывались под руку старшим или, боже упаси, роняли какой-нибудь горшок, нас бесцеремонно толкали и колотили чем попало, и не только матушка, но даже горничные и лакеи считали эту минуту самою удобною, чтобы сводить с нами различные счеты. Иная горничная и не решалась дернуть или толкнуть, но умела отомстить еще чувствительнее: ей стоило только закричать так, чтобы услышала матушка.

— Да что вы, барышня, так кидаетесь? Чуть с ног не сшибли! Банку бы с вареньем выронила! — И этого было достаточно: матушка, как ястреб, бросалась на оговоренную и за руку, а то и за уши тащила несчастную в дом, вталкивала в первую попавшуюся комнату и замыкала на ключ. То же самое было с тою из моих сестер, которая, не стерпев обиды, вскрикивала от толчка горничной или лакея: не разбирая, в чем дело, матушка наказывала ее, как и предыдущую. Такие оговоры горничных и лакеев во время суматохи всегда оставались нерасследованными, потому что доставка провизии вносила много работы на несколько дней для всех служащих, и матушка не имела времени думать о чем бы то ни было, кроме как о приведении в порядок своего деревенского добра. Для детей же просидеть взаперти, в отдельной комнате, в столь оживленное и любимое время было величайшим несчастьем, и каждый из нас готов был проглотить всякие обиды, лишь бы не быть исключенным из всеобщей суматохи. Но этим наказаниям мы подвергались редко: наш ангел-хранитель, няня, зная настроение матушки в такое время, выбегала вместе с нами на улицу, если только это было для нее возможно, и, как наседка относительно своих цыплят, зорко наблюдала, чтобы во-время охранить нас от толчков и пинков старших и чтобы не дать нам что-нибудь уронить. Но тот, кто во время этой суматохи ускользал от ее бдительного надзора и получал трепку от матушки, молча утирал слезы, боясь проронить хотя один звук.

Шумно и торжественно вносили крестьяне в дом кадки, бочки и боченки с квашеной капустой, с солониной, маслом, творогом, сметаной, с замороженными сливками. Наконец все расставлено по полу во всех комнатах, которые принимают вид беспорядочного базара самой разнообразной снеди. Выходные двери закрывают, и начинается распаковка: ящики взламывают, узлы и мешки развязывают, рогожи разрезают и оттуда извлекают банки с вареньем, горшки с маринадами, мочеными яблоками, соленою рыбою, с медовыми сотами; с солеными и маринованными грибами и огурцами, вытаскивают мороженых кур, поросят, индеек, гусей и всякую дичину. Затем постепенно начинают все это сортировать, что относят в погреб, что в кладовушки и боковушки, вспарывают мешки с орехами, с сушеною малиною, земляникою, с яблоками и всякою всячиной. При этом всех нас щедро оделяют деревенскими гостинцами,— и мы целый день грызем, сосем, жуем — одним словом, наслаждаемся.

Если бы наша семья не могла получать из деревни провизии, холста и кож, если бы крепостные не обшивали нас с головы до ног, если бы мы не жили в деревне по нескольку месяцев в году, мы не могли бы существовать, а тем более жить на барскую ногу, как это было при отце.

Мои личные воспоминания делаются несколько более отчетливыми и рельефными с 1848 г., но и тут, вероятно, я могла бы вспомнить лишь некоторые факты нашей семейной жизни, да и то без всякой логической связи. Но различные события этого невыразимо злосчастного года, который таким роковым образом отозвался на нашей судьбе, так часто и с такими подробностями вспоминали близкие мне люди — мать, братья, сестры, няня и наша прислуга,— что я уже и сама не знаю, что из происшедшего за это время я запомнила по личным наблюдениям, что узнала от других.

Раннею весною 1848 года мы часто стали слышать, как взрослые разговаривали о том, что у нас на Руси

много народа умирает от холеры[10]. Вследствие этого мои родители решили переехать в деревню раньше обыкновенного. Но вышло наоборот: какие-то дела задержали их, и мы в первый раз встретили пасху в городе. Вдруг в конце страстной недели разнеслась весть о том, что холера появилась и в нашем городе. Решено было собраться в деревню после первых дней пасхи. Между тем как раз в это время прислуга то и дело вбегала в столовую и сообщала, что в том или другом доме кто-нибудь заболел или умер. Но нас, детей, это нисколько не заботило: мы были поглощены куличами, пасхами, но более всего разноцветными яйцами, которые мы весело катали по полу, примостив в уголок или к стене свои лубки. На третий день пасхи стояла теплая прекрасная погода: выбежав с утра веселою гурьбой на крыльцо, мы увидали незнакомую нам девочку лет трех-четырех, одетую, как одевались тогда дети среднего помещичьего достатка. Незнакомка, нисколько не стесняясь тем, что находилась в чужом доме, спокойно возила по крыльцу нашу игрушечную тележку. Мы сейчас же подбежали к ней, спрашивали, как ее зовут, откуда и зачем она пришла к нам. Она ответила, что ее зовут Лелею, но на дальнейшие вопросы не обращала ни малейшего внимания, выхватывая из наших рук лубки и яйца и бросая все в тележку. Мы, вероятно, тоже нашли дальнейшие вопросы излишними и стали помогать ей тащить нагруженный воз, затем все вместе побежали в сад, где мы с нею бегали, играли и катали яйца, как со старой знакомой. Когда нас позвали к обеду, родители наши очень удивились появлению незнакомого ребенка, а когда отец, схватив ее на руки, просил ее показать, откуда она пришла, она неопределенным жестом махнула куда-то рукой и нетерпеливо закричала: «Есть хочу, скорее есть». После обеда няня взяла девочку за руку, чтобы вместе с нею прогуляться и, может быть, таким образом узнать, откуда она, но Леля стала плакать и кричать, вырвалась из ее рук и побежала с нами в сад.

Тогда матушка отправила горничную справиться по соседним домам, не ищет ли кто своего пропавшего ребенка. Но поиски оказались напрасными, и Леля осталась у нас ночевать. На другой день отец с утра отправился в город за теми же сведениями, но, возвратившись домой, высказал только предположение, что девочка, должно быть, прибежала из противоположного конца города, из одного дома, стоявшего несколько в стороне от города, так с версту от него, и в котором в несколько дней вымерла вся семья. Он говорил, что дошел до этого дома, но двери его и двор оказались заколоченными; полиция обещала ему немедленно навести справки и доставить необходимые сведения. При этом отец подтвердил, что в городе за последние дни заболевает и умирает очень много народу.

Леля играла с нами и во второй день, и мы вместе с нею отправились спать в детскую, где с маленькими детьми спала и наша няня. Вдруг, уже под утро, проснулась Саша и с криком стала звать няню, которая не откликалась. Этим криком она разбудила нас всех; когда она зажгла свечу, мы увидели, что кровать няни не была даже смята. В то же время мы услыхали какой-то шум, беготню и суету в доме. Тогда Саша открыла дверь и громко стала звать няню, которая тотчас вбежала к нам. Но, боже мой, какой у нее был ужасный вид! Руки тряслись, из глаз текли слезы, она растерянно смотрела на нас, но ничего не говорила. Мы вскочили с кроваток и бросились ее обнимать.

— Нянюшечка, что с тобой, отчего ты плачешь?

— Папашенька захворал, папашенька...— говорила она, рыдая и отчаянно ломая руки.— Молитесь богу, чтоб он вас пожалел, не оставил сиротами.— И мы вместе с нею, в одних рубашонках, бросились на колени и, ошеломленные внезапной новостью, повторяли за нею то, что она произносила, рыдая: «Боже, пожалей нас, боже, не оставь нас сиротами!».

В эту минуту в коридоре раздался голос матери, которая звала няню.

— Ложитесь в кроватки и лежите смирно,— и с этими словами няня выбежала из комнаты.

Но Леля сейчас же привстала и, закрыв ручонками лицо, начала плакать, все сильнее и громче с каждой минутой. Как мы ни уговаривали ее, как ни утешали, как ни расспрашивали, о чем она плачет, она ничего не отвечала, но продолжала рыдать и вздрагивать всем телом. Ее рыдания перешли в крики, раздирающие душу. Тут вбежала моя старшая сестра, взрослая молодая девушка, которая тоже не раздевалась в эту ночь, схватила на руки ребенка, помочила ей голову холодной водой, дала ей напиться и стала носить ее на руках по комнате. Может быть, сообщение о болезни дало толчок для пробуждения грустных воспоминаний и в ее детском мозгу, и она, вероятно, только при этом вспомнила, что не видит своих родителей,— но она ничего не говорила. Когда же сестра положила ее в постель и, гладя по головке, несколько минут посидела у ее кровати, она быстро заснула. Мы же спать не могли: как только рассвело, сестра приказала вставать и как можно тише сидеть в комнате, противоположной той, в которой находился больной отец. Через некоторое время сестра ввела к нам Лелю: она была очень весела, и ее тяжелое настроение после сна совсем рассеялось. Да и все мы, малыши, быстро забыли о том, что у нас делалось в доме: мы скоро так расшумелись и развозились, что к нам вбежала старшая сестра и резко стала бранить нас.

Положение отца быстро ухудшалось: доктор приходил через каждые два-три часа. Когда няня внесла нам обед, она была так измучена, что не могла даже раскладывать кушаний по тарелкам, присела на стул и попросила кого-то из сестер сделать это за нее. Несколько успокоившись, она сказала, что отцу теперь гораздо легче, и что он крепко заснул. Заснула и матушка, так как в предыдущую ночь никто из старших не раздевался.

Мы, дети, на этот раз легли спать очень рано. Чуть стало светать, как Саша опять вскочила с кровати и

стала громко кричать: «Вставайте, вставайте!». Мы быстро приподнялись с постелей и стали спрашивать у нее, зачем она нас разбудила. «Тише... Тише... Слушайте!..» — зашикала она на нас. Мы стали прислушиваться и были поражены еще более ужасным шумом и переполохом, чем в предыдущую ночь: дверями комнат хлопали то и дело, в коридоре шла ужасная беготня, что-то беспрерывно вносили и выносили, громко звали по имени то одного, то другого из служащих; с противоположного конца дома доносились крики, рыдания... Но вот на минуту все стихло, затем послышался топот многих людей сразу, точно выносивших что-то громоздкое. Когда шум несколько стих, Саша сказала нам, что она потихоньку посмотрит, что все это значит.

— Я ни за что не останусь без тебя! — кричали мы на все лады, вскочили с кроватей и кинулись к ней в полутемноте.

Толкая друг друга, падая и вновь вставая, мы, наконец, поприцепились, кто за Сашину рубашку, кто за ее руку, и босые, в одних рубашках, выбежали в коридор. Дверь залы была закрыта, но снизу из-под нее блестела полоска света. Саша распахнула дверь настежь, мы вошли и остолбенели: посреди комнаты, на столе, уже одетый, лежал усопший отец, окруженный зажженными восковыми свечами. Кто-то из нас пронзительно вскрикнул, а за ним и все остальные.

Трудно поверить, что уже более полустолетия прошло с тех пор, а эта сцена так врезалась в моей памяти, что стоит перед моими глазами, точно это было несколько дней тому назад! Мы, босые, в одних рубашонках, сбились в кучу около сестры Саши, кричим, рыдаем. В ту же минуту к нам вбежала няня и, увидав нас, всплеснула руками; стараясь захватить всех нас в свои распростертые объятия, она стала рыдать вместе с нами, причитая: «Несчастные вы мои... Сиротки... Горемычные вы крошки... Молитесь богу!..». И, падая на колени, она увлекла и нас за собою. «Ах ты, господи,

да ведь вы в рубашонках, босые!.. Идите к себе, идите скорее!..»—спохватилась она и повела нас к двери.

Возвращусь немного назад и расскажу о последних минутах жизни отца. Когда, на другой день после начала болезни, у него снова появилась рвота со всеми другими признаками холеры, что непрерывно продолжалось несколько часов сряду и с ужасающею силою потрясло весь организм больного, доктор нашел необходимым объявить матери о его крайне опасном положении. Однако после продолжительных приступов болезни наступило успокоение: отец сразу почувствовал себя лучше и пожелал уснуть. До самого вечера он спал крепко и спокойно, как здоровый человек, так что у матери явилась надежда, что доктор ошибся. Отец проснулся часов в десять вечера, объявил, что должен иметь серьезный разговор с матушкою и нянею и что он имеет для этого достаточно силы. Он говорил, что чувствует себя теперь вполне хорошо, и если бы не видел сна, то подумал бы, что болезнь приняла благоприятный оборот. Но он видел сон, предвещающий ему немедленную кончину; следовательно, матушка не должна питать несбыточных надежд на его выздоровление.

Предсмертный разговор отца няня много раз передавала нам и всегда кончала его горькими рыданиями, с гордостью и умилением прибавляя, что он ее благодарил за ее любовь и преданность к нему и его семейству. Затем он просил «не терзать его попами», так как часы его жизни сочтены, и он обязан матушке выяснить ее положение.

Отец был человек в высшей степени деликатный: будучи неверующим, он никому не говорил об этом, кроме матери, и особенно скрывал это от няни, зная ее глубокую религиозность, а потому, вероятно, и в последнюю минуту, не желая призывать к себе священников, объяснил это недостатком времени. Затем он обратился к матушке и стал благодарить ее за счастье, которое она ему дала в продолжение двадцати лет.

В эту минуту, по словам няни, матушка стала рыдать и, осыпая его руки поцелуями, умоляла его сказать ей, почему он думает о смерти теперь, когда подкрепился сном, когда прекратились все болезненные явления. Тогда он рассказал ей свой пророческий сон: он, в виде птицы, летал по кладбищам, посетил могилы близких ему людей, а когда опустился на могилу своей матери, оттуда раздался ее голос: «Не успеет петух прокричать трижды, как мы уже свидимся с тобой, мой любимый сын! Приготовь свою жену на горе и лишения, все расскажи ей откровенно и выпроси у нее прощенье». Тут уже и матушка не могла более сомневаться в том, что ее любимый муж уходит от нее навсегда, и, рыдая, упала перед ним на колени.

Нечего удивляться тому, что виденный отцом сон поколебал последнюю надежду матушки на его выздоровление. Если отец, человек весьма образованный для своего времени, верил в сны, то тем более такая вера понятна в матушке, которая хотя и была женщиною с большим природным умом, но получила лишь институтское воспитание.

Отец, потрясенный отчаянием матушки, долго не мог говорить. Но когда ее раздирающие душу вопли стихли, он, наконец, изложил то, что считал необходимым, т. е. раскрыл перед нею картину ее настоящего материального положения. Оно оказалось крайне плохим и запутанным: несколько отдельных фольварков с наиболее плодородною землею, наилучшие части леса, несколько десятков крестьянских семейств — все пришлось отцу продать, чтобы покрыть долги. Таким образом, состояние наше, которое никогда не было значительным, уменьшилось теперь более чем вдвое. Кроме того, после него оставались долги, матушка должна была уплатить их,— следовательно, ей и впредь предстояло продавать по частям имение, чтобы удовлетворить кредиторов. Отец объяснил, что после этого у матушки останется лишь имение Погорелое — усадьба с семьюстами десятин земли и приблизительно семьдесят —

восемьдесят душ крестьян. Он не забыл указать матушке и на то, что тяжелое материальное положение, в котором она очутится, не даст ей возможности нанять опытного управляющего: такому необходимо платить изрядное жалование, а денег у нее совсем не будет. Следовательно, с этих пор всем хозяйством матушка должна управлять сама с помощью старосты из крестьян. Обращаясь к няне, отец сказал, что он рассчитывает на то, что она будет ангелом-хранителем не только его детей, но и его жены, что она сделается ее первою помощницею. В эту предсмертную минуту отец вполне ясно сознавал, какое тяжкое бремя он оставляет в наследство своей семье, но уверял матушку, что, как только она примется за управление поместьем, ее практический ум и деловитость подскажут ей что делать, и она, наверно, лучше поведет хозяйство, чем он, который растратил детское достояние.

Его собственные слова так потрясли его, что он долго не мог говорить и, наконец, обратился к матушке с последнею просьбой:

— Дай детям образование, дай даже в том случае, если бы для этого тебе пришлось продать все имущество, а другой мой предсмертный завет — будь милостива к крестьянам, не унижай своего человеческого достоинства до экзекуций и жестоких расправ с ними, никому не позволяй обижать их,— пусть среди них из-за тебя не раздаются стоны и проклятия!

Чем дальше, тем менее внятно говорил отец, останавливался, повторяя сказанное, наконец, помолчав довольно долго, точно прислушиваясь к чему-то, он вдруг приподнял руку и, бледнея, с ужасом прошептал: «Петух, петух кричит!». Няня с матушкою стояли подле кровати, боясь пошевелиться, а когда они наклонились над умирающим, он уже не дышал.

Если бы я писала повесть или роман, я бы остановилась здесь, а не описывала бы других ужасов и несчастий, последовавших за смертью моего отца, так как уже одна эта смерть внесла много горя и лишений

в жизнь моей семьи. Чувство меры, такта и художественного чутья помешали бы мне изобразить те жестокие удары судьбы, которые, как из рога изобилия, один за другим, без всякой пощады, даже почти без передышки, посыпались на голову моей матери. Но моя задача не повесть писать, а дать правдивое описание жизни моей семьи, а потому я не буду смягчать жестокой действительности.

Еще усопший отец лежал на столе, когда холера уложила в постель двух моих старших сестер, из которых одной было девятнадцать, а другой — восемнадцать лет, и их хоронили одну за другою. Затем в три последующие недели холера унесла еще четырех детей из нашей семьи. Итак, в продолжение месяца с небольшим у нас было семь покойников. Впоследствии многие спрашивали матушку, почему после смерти отца она не уехала тотчас же в свое имение: таким отъездом она, вероятно, прервала бы жестокую холерную эпидемию. На это, конечно, был один ответ: с момента болезни отца во весь последующий период не проходило и недели без похорон и тяжелых больных, которых немыслимо было везти по тряской деревенской дороге.

Очень вероятно, что развитию холеры в нашем доме и тому, что она приняла у нас такой угрожающий характер, помогало то, что за детьми в те времена был вообще весьма плохой уход, а в тот период времени, который я описываю, в нашей семье господствовал такой невыразимый беспорядок, который сделался причиною воровства и еще нового величайшего несчастья для матушки, но о том и другом расскажу несколько ниже.

Старшие члены моей семьи были совершенно поглощены уходом за больными и хлопотами о похоронах, а потому на нас, здоровых детей, никто не обращал ни малейшего внимания. Мы свободно сообщались с заболевавшими, вбегали в их комнаты, входили к покойникам. До чего присмотр за нами был плох,

видно уже из того, что Леля, этот вестник смерти в нашей семье, так внезапно появившийся у нас, так же внезапно и навсегда исчезла с нашего горизонта. В последний раз ее видели в момент выноса тела покойного отца, а затем у нас хватились ее только вечером, когда ложились спать. Нужно помнить, что в эту минуту холерою заболели две мои старшие сестры. Вероятно, потому-то и об исчезновении Лели дали знать полиции лишь через несколько дней после того, как это было обнаружено. Какие сведения были получены по этому поводу,— у нас, кажется, об этом никто в доме не справлялся. Тяжкие невзгоды и жестокие сюрпризы, которые судьба преподносила матушке, могут служить оправданием ее индиферентизма к ребенку, так неожиданно посланному ей судьбою и относительно которого она должна была бы быть особенно заботливою.

Кратковременная, но мучительная болезнь то одного, то другого члена нашей семьи, смерть и похороны одного за другим не только ошеломили всех домашних своею неожиданностью, но физически и морально истерзали их. За все эти четыре-пять недель никто в доме не проспал как следует ни одной ночи; матушка и няня еле передвигали ноги от усталости и отчаяния, и все служащие в доме, истомленные хроническими бессонницами, беготнею с утра до вечера и напряженным уходом за больными, бродили измученные и сонные до невероятности.

До чего матушка была потрясена горем и отчаянием, до чего растеряна и убита, видно из следующего эпизода. Только уже после последних похорон матушка подозвала няню и спросила ее, откуда доставала она деньги на лекарство для больных и на похороны. Она только тут вспомнила, что в ее кармане, еще перед началом болезни мужа, было очень немного денег. Няня сказала ей, что после смерти Николая Григорьевича она пришла к ней просить денег, необходимых, чтобы заказать могилу, купить гроб и пригласить духовных лиц. Матушка вытащила из кармана кошелек с несколь-

кими десятками рублей и, подавая ей, сказала: «Делай, как знаешь, у меня больше решительно ничего нет!». После этого никто ничего не мог добиться от матушки, которая временами не могла даже хорошенько сообразить, о чем ее спрашивают. Вследствие этого за всеми сведениями и распоряжениями обращались к няне, которая волею-неволею все взяла в свои руки.

Хотя няне удалось упросить поставщиков отпускать нам все в кредит до отъезда в деревню, но оказалось так много расходов, за которые необходимо было платить немедленно, что ей скоро пришлось подумать о займе. Она побежала было просить в долг у кого-то из наших знакомых, но хозяйка дома, заметив в открытое окно ее приближение, закричала ей на всю улицу, чтобы она не смела близко подходить к ней, так как все боятся заразы от членов нашей семьи. «Точно прокаженные какие-то сделались! Даже на базаре сторонятся наших людей!..» — жаловалась няня. Когда она потеряла надежду занять деньги у знакомых, она решила отправиться к священнику и просить его одолжить хотя небольшую сумму, но уверена была в его отказе, так как он и без того обещал ждать платы за свои услуги, пока матушка сама не найдет возможным уплатить ему. Но вдруг на улице она неожиданно столкнулась с сыном купца Сидорова, в доме которого она служила до поступления к нам и няньчила его младших братьев и сестер. Хотя он был тогда еще подростком и с тех пор прошло уже много лет, но они тотчас узнали друг друга. Молодой Сидоров зазвал ее в лавку своей жены. Няня узнала от него, что он женился на дочери одного из наших городских купцов, получил за женою лавку в нашем городе, куда только что и переехал. Жил он пока у родственников жены, но решил купить здесь дом для себя. Ему уже говорили о том, что матушка будет продавать свой дом, он хотел начать переговоры с нею по этому поводу, но, в виду холеры в нашей семье, его уговорили подождать. Таким образом, прежде даже, чем моей матери могла

притти мысль о продаже собственного дома, обыватели города уже решили за нее, что это будет ею сделано. Няня подтвердила, что, вероятно, это так и будет, но пока просила его ссудить ей небольшую сумму, уверив его, что, если он не сойдется с матушкою в цене, он все-таки сполна получит свои деньги, так как в таком случае на уплату долгов будет продано что-нибудь из имения. За честность матушки ему поручились в лавках, где мы забирали провизию, и он дал денег взаймы, рассчитывая, что матушка из-за этого будет уступчивее при продаже ему дома.

Рассказывая все это, няня не упустила случая, чтобы, по своему обыкновению, не указать на милосердие господа бога, «который все же не оставил нас в такую тяжелую минуту». Но матушка при этом пришла в такое негодование, разразилась таким потоком богохульств и проклятий судьбе, что няня, успокаивая ее всем, чем только могла, наконец начала стращать ее тем, что она накличет новую беду. И причину нового несчастия, разразившегося над моею семьей через несколько часов, няня, хотя и не высказывала этого в глаза матушке, очевидно приписывала ей, как тяжко провинившейся перед богом своими богохульствами и проклятиями.

— Чем пугать меня такими страстями, поди-ка лучше поспи,— ведь ты на ногах еле держишься!..— сказала матушка совершенно измученной няне, на долю которой выпадало всегда больше, чем другим, напряженной работы за больными, бдения по ночам, беготни, забот и хлопот.

Шел третий или четвертый день после последних похорон; больных в доме не было, и старшие решили отдохнуть, чтобы немедленно начать укладку для окончательного переезда в деревню.

В Погорелое уже был отправлен верховой, чтобы дать знать крестьянам о приезде с телегами для перевозки всего нашего городского имущества. Няня, прежде чем уйти в свою комнату, распорядилась, чтобы горничная затопила все печи. Несмотря на то, что наступил

уже июнь, в этот день было очень холодно. Горничная получила приказание не выходить ни на минуту из комнат, не бегать в людскую и присматривать за младшими детьми; то же должны были делать и мои старшие сестры. Двое моих братьев ушли из дому, а мы, девочки, уселись в одной комнате. Но мои сестры, Аня тринадцати и Саша двенадцати лет, прилегли на постель и скоро уснули. Тогда я и моя семилетняя сестра Нина стали бегать по незанятым комнатам. Когда горничная увидала, что матушка и няня спят, что заснули и мои старшие сестры, она, несмотря на приказание, преспокойно ушла в людскую. Мы с Ниной надумали делать стирку белья для наших кукол: достали чашку, налили в нее воды и принялись за дело. Но вот Нина объявила, что уже кончила мытье белья и будет его сушить. Придерживая руками свои мокрые тряпочки, она стала сушить их у открытой печки, пылавшей в ту минуту ярким огнем. Вдруг она отчаянно закричала. Когда я подняла голову от своей работы, легкое бумажное платье сестры пылало на ней, и она с пронзительным криком понеслась в другую комнату. Я побежала за ней и упала без чувств. В сознание я пришла уже на кровати, как мне казалось тогда от страшной боли в желудке, которая сводила все мои члены. Затем последовала рвота и появились другие признаки холеры. Ускорил ли появление злостной эпидемии испуг, или она уже раньше таилась в моем организме и проявилась сама собой, не съела ли я чего-нибудь неудобоваримого в ту минуту, когда мы с сестрой оставались без присмотра,— неизвестно; только с этой минуты я сильно занемогла. Отчаянно заболевшая Нина лежала в другой комнате.

По рассказам матушки и няни, когда они, пробужденные нашими криками, вбежали в залу, мы с сестрой лежали на полу: одна у одной, другая у противоположной двери; я была без чувств, а Нина захлебывалась от рыданий, но была в сознании,— платье на ней продолжало тлеть, а кое-где и вспыхивало

искорками. Хотя доктор явился немедленно, но Нина получила такие тяжелые ожоги, а испуг так потряс ее организм, что она в конце того же дня уже стала бредить и не приходила в сознание до самой смерти, наступившей через несколько дней.

После похорон Нины, этих уже восьмых похорон в нашем семействе меньше чем за полтора месяца, я продолжала лежать опасно больная.

Не знаю, как в то время лечили от холеры в других домах, но наш доктор, между прочим, практиковал у нас такой способ: из постели вынимали перины и подушки, и больного, обернутого в одну простыню, клали на раму кровати, затянутую грубым полотном. Сверху больного укрывали множеством нагретых одеял и перин, в ноги и по бокам его клали бутылки с кипятком, крепко закупоренные и обернутые в тряпки, а под кроватью, т. е. под полотном рамы кровати, в огромном медном тазу, лежал раскаленный кирпич, который то и дело поливали кипящею водою с уксусом. Таким образом больной вдыхал горячий уксусный пар, который вместе с теплыми покрышками должен был согревать его холодеющее тело[11].

Не помню, как долго продолжалась моя болезнь, забыла и то, мучительны или нет были мои страдания, но у меня остался в памяти только вот какой момент: на меня вдруг напало какое-то оцепенение, так что я не могла пошевельнуться, не могла отвечать на вопросы няни. Вдруг я почувствовала, что она растирает мне то ноги, то руки, беспрестанно наливает на раскаленный кирпич кипяток с уксусом, и ее горячие слезы падают мне на лицо. Она умоляет меня сказать хотя одно слово, умоляет кивнуть головой, если я ее слышу, а я все слышу, что она говорит, все вижу, что она делает, но остаюсь неподвижною, немою и равнодушною. Не помню, молчала ли я потому, что не могла исполнить ее просьбу, или не хотела этого сделать по упрямству. Тогда она, не отходя от меня, громко позвала матушку, которая быстро вошла в комнату, присела

к моей кровати, положила руку на мой лоб и проговорила: «Умирает!».

— Боже упаси! — закричала няня в каком-то исступлении. — Мы ее ототрем... Как же так? Непременно ототрем!.. Зовите, зовите доктора, зовите же, матушка-барыня, поскорее!

— Ах, не кричи ты, пожалуйста! — с досадой проговорила матушка и затем в каком-то раздумье, покачивая головой, несколько раз повторила: — Девятый покойник! Девятый покойник! Что же... Пусть умирает! И оставшихся нечем кормить!

О, зачем, зачем были произнесены слова: «Пусть умирает!» Зачем они дошли до моего слуха? Они надолго остались выгравированными в моем мозгу и, как раскаленные уголья, жгли мое сердце. Во все моменты не только моей детской, но даже отроческой жизни, как только случалась со мной какая-нибудь невзгода, я припоминала их и еще более чувствовала себя несчастною. Эти слова, до глубины значения которых я так долго не могла додуматься, то и дело приходили мне на память, окрашивали все обстоятельства моей жизни в еще более мрачный цвет, заставляли меня отыскивать индиферентизм матери ко мне даже там, где его не было и следа, порождали в моей душе настоящую зависть к окружавшим меня детям наших соседей: мне всегда казалось, что каждого из них любят больше, чем меня, и это заставляло меня мучительно страдать. Чем более я подрастала, тем чаще с невыразимою тоскою в сердце, точно жалуясь кому-то на величайшую несправедливость, на незаслуженное горе, мои уста шептали помимо моей воли: «Моя мать, моя родная мать желает моей смерти! Моя мать, моя родная мать меня не любит!».

Мое детство вообще роковым образом сложилось в высшей степени печально, а эти неосторожные слова лишь усиливали его горечь, толкали мою детскую фантазию на изобретение неимоверно нелепых историй, что причинило не только мне, но и матери не мало огор-

чений. Я придала словам «пусть умирает» несравненно более узкий, жестокий смысл относительно меня, чем они имели в действительности. И это натурально: я была в то время слишком мала и совсем еще не понимала того, что они могут вырваться и из материнского сердца, переполненного любовью... Очень возможно, что у матушки эти слова сорвались от страха за новую утрату, но я не понимала и не могла понять в то время этого. Не могла я понять и всей глубины горя, постигшего мою мать, всего ужаса ее положения.

Доказательство неосновательности моей обиды я могла бы найти хотя в том, что во время моей болезни ко мне постоянно ходил доктор, между тем в то время для матушки был дорог каждый грош; что для моего спасения были приняты всевозможные меры... Но я ни в ту минуту, ни гораздо позже ничего не хотела слышать, ни о чем не хотела думать, кроме тех роковых слов, и даже из них брала только одну фразу: «Пусть умирает», а последующую: «Мне их нечем кормить!» я опускала, не понимая ее значения, да она и не нужна была мне для моих горьких размышлений и душевных терзаний, для моих гневных чувств, для злобных вспышек против матери, разрывавших на части мое сердце. Своими неосторожными словами матушка нанесла мне смертельную обиду, которая во времена моего злополучного детства нередко не только давила мне грудь, но плодила между нами множество недоразумений, которые проявлялись бы в еще более безобразной форме, если бы бесконечно добрая няня не употребляла всевозможных средств, чтобы смягчить наши взаимные отношения.

Однако пора возвратиться к изложению семейных событий.

Наконец доктор объявил, что моя болезнь не представляет более опасности для жизни, но я была еще очень слаба и не могла ходить: меня выносили в другую комнату и усаживали на диван среди подушек. Делали это, вероятно, для того, чтобы я не скучала

одна, без няни; в доме у нас началась лихорадочная укладка для окончательного переезда в деревню.

Когда в первый раз меня перенесли в залу и усадили, меня поразили монотонные звуки, раздававшиеся из кабинета покойного отца. Няня объяснила мне, что «божественное» читают по «дорогим нашим покойничкам», что на-днях будет уже 6 недель после смерти моей старшей сестры, и что тогда чтица будет отпущена. Она сообщила, что у нас не одна, а две сестры-чтицы для того, чтобы сменять одна другую; когда одна уставала, спала или обедала,—ее заменяла другая, чтобы чтение по усопшим продолжалось непрерывно день и ночь. Няня говорила все это отрывочно, так как постоянно выбегала из комнаты, чтобы внести для укладки ту или другую вещь. Вдруг несколько наших слуг с криком: «Воровство! воровство!» вбежали в залу, а за ними то и дело входили другие. Когда матушка, привлеченная шумом, вошла к нам, они заявили, что, прежде чем укладывать вещи, они стали кое-что проверять. Оказалось, что раскрадена не только огромная часть серебра и золотых вещей, но нехватало много из белья и верхней одежды. Наши служащие высказали подозрение на чтиц, двух молодых девушек, дочерей пономаря, приглашенных для чтения по усопшим. Когда в доме поднялась суматоха, одна из чтиц читала, а другая в это время у нас же спала в людской. Люди сами распорядились устроить за ними такой надзор, чтобы они как-нибудь не вышли из дому, а няня немедленно отправилась доложить об этом полицмейстеру, который, чтобы доказать свою готовность помочь матушке, пригласив с собою няню и полицейских, отправился в дом пономаря. Очень скоро кое-что из украденного было найдено в сундуке молодых девушек, а когда туда же с полицейским привели и двух сестер, они немедленно сознались во всем и объяснили, что ежедневно уносили что-нибудь из нашего добра, но что бо́льшую часть украденных вещей они уже сбыли на базаре, на который в то время съезжался всякий

люд: и крестьяне, и мелкие торговцы. Родители девушек прибежали к матушке и бросились перед нею на колени, умоляя ее не губить семью. Матушке не было даже смысла преследовать их, так как украденное в то время очень редко находилось. Матушка во всем обвиняла только себя: отец ни во что не верил, следовательно, ни для него, ни для усопших ее детей незачем было выполнять обряд чтения по покойникам.

Наконец злой рок, казалось, утомился вырывать из нашей семьи то одну, то другую жертву, и все несчастия на время прекратились. Дом был продан купцу Сидорову, и продан без убытка, т. е. за ту же цену, за которую его приобрел покойный отец. Если бы не деньги, полученные за него, нам немыслимо было бы выехать из города,— столько у нас накопилось долгов за это время болезней и смертей. За уплатою городских долгов у матушки оставалось лишь несколько десятков рублей, с которыми она должна была начать новое хозяйство. Укладка вещей продолжалась несколько дней, и при этом все были заняты с утра до позднего вечера;— приходилось все забирать с собою, так как мы навсегда расставались с городом.

Наше поместье Погорелое находилось в семидесяти пяти верстах от города, в котором мы проживали. Чтобы перевезти наших лакеев, поваров, кучеров, горничных, прачек, а также нас самих, все наше добро и городскую обстановку, нам прислано было множество телег с лошадьми. Хотя штат нашей прислуги, как мне говорили, всегда был меньше, чем у других, но, по сравнению с нынешним временем, он все-таки был чрезвычайно многолюден. Лошадей и людей было много прислано и оттого, что дороги в то время вообще были крайне плохи; вследствие этого нельзя было слишком тяжело нагружать возы, да и лошади сами по себе отличались в нашей местности малорослостью и слабосилием.

Для путешествия «господской семьи» был прислан из деревни дормез, представлявший нечто вроде гро-

маднейшей первобытной кареты: на огромных высоких колесах стоял неуклюжий ящик чуть не исполинских размеров. Снаружи он был обтянут побуревшею и растрескавшеюся кожею, прибитою к доскам простыми гвоздями, проржавевшими от времени, а по бокам дормеза, или, как мы его называли, «Ноева ковчега», были сделаны отверстия. В дурную погоду эти отверстия, или окна, закрывались сукном, а в хорошую погоду тяжелые суконные полосы прикреплялись над отверстиями. Внутри этот экипаж был обит (конечно, руками доморощенных обойщиков из крестьян) серою материею, положенною на вату и простеганною в пяльцах руками крепостных девушек.

Каких только мешочков, кармашков и отделений не было прикреплено к обивке этого экипажа внутри! В нем были устроены карманы для полотенец личных и чайных, помещения для бутылок с квасом и молоком, для кружек, для спичечницы, мыльницы, гребешков, щеток; большие мешки предназначались для провизии. Несмотря на то, что объемистые бока дормеза были унизаны помещениями для дорожных принадлежностей и провизии, во всех углах еще стояли ящики с провизией, а узелки и мешочки с разнообразным жарким и печеньем подвешивались к потолку экипажа. Там, где дорога была убийственно плоха, этот экипаж встряхивало до основания, и тогда с верха и боков дормеза срывались с своих мест бутылки и узлы, и все это летело на головы путешественников. Низ экипажа внутри был устлан сеном, а сверху лежали перины и подушки. Лежать в этом экипаже было удобнее, чем сидеть, так как даже взрослый мужчина мог вытянуться в нем во весь рост. Но не каждому удавалось вылежать всю дорогу. Когда чувствовалась потребность посидеть, приходилось изобретать новый порядок: узлы, ящики и картонки отодвигались в сторону, а сиденье устраивалось из подушек и одеял.

К невообразимой суматохе, господствовавшей в нашем доме во время сборов в деревню, присоединились

еще хлопоты по заготовке провизии на дорогу: семьдесят пять верст до деревни мы должны были сделать в два дня, но для этого заготовляли целые вороха всякой снеди, предназначенной как будто для прокормления огромного полка, выступавшего в поход. Накануне, уже с раннего утра, то повар вносил в залу готовые бисквиты в бумажных коробках, и по комнатам проносился запах жженой бумаги, то горничная входила с блюдом булочек разнообразной формы или с жареными гусями, курами, цыплятами. А каких только пирожков ни заготовляли для этого случая! Тут были и пирожки с морковью, картофелем, фаршем, и пирожки, в которых запекалось по целому маленькому цыпленку.

Несомненно, что в прежние времена «господа» ели гораздо больше и гораздо чаще, но даже если и это принять в расчет, все же непонятно, зачем все это делалось в таких поразительных размерах, особенно в нашей семье, в то время, когда в доме был такой недостаток в деньгах. Матушка разрешала этот вопрос очень просто: «все так делали», к тому же, кроме еды, и делать-то в прежнее время помещикам нечего было, а главное — нужно помнить и то, что в то время деревенские сбережения или не имели сбыта, или ценились так дешево, что их не стоило продавать.

Наступил и день отъезда. Все запаковано и уложено; вся улица перед нашим домом запружена подводами с сидящими уже на них людьми и с возами наших вещей; дормез у крыльца. Городская квартира совершенно пуста; торопливо ставят в угол нарочно принесенный откуда-то столик, покрывают его чистою салфеткою, в угол прилаживают образ, прикрепляют к нему восковую свечу, и няня подводит нас, детей, к нему со словами: «Помолитесь боженьке, помолитесь на дорожку!». В эту минуту вошла матушка, встала позади нас и вдруг со стоном упала на колени.

— Боже! за что же, за что все это? — отчаянно рыдая, вскричала она, ломая руки, затем быстро поднялась и направилась в кабинет мужа, перешла в ком-

нату только что умерших дочерей и сыновей, и отовсюду раздавались ее разрывающие душу не то вопли, не то отчаянные крики, вылетавшие из глубины сердца, возмущенного несправедливостью судьбы. Мы, дети, прижались к няне и плакали вместе с нею. Но вот безумные рыдания матушки стихли, она вошла к нам с лицом, искаженным душевною мукою, покрытым багровыми пятнами, с глазами, опухшими от слез и рассеянно блуждавшими; ее грудь судорожно подымалась от внутреннего волнения, и она прислонилась к стене, но вдруг схватилась рукою за сердце, нечеловеческий крик вырвался из ее груди, и она рухнула на пол без чувств.

Жгучая, страстная любовь к матери обожгла мое детское сердце, я хотела было броситься к ней, чтобы целовать ее ноги, просить у нее прощения за то, что еще так недавно я не любила ее, ее — такую несчастную, но мои слабые от болезни ноги покачнулись, и няня еле подхватила меня. О, отчего я не могла тогда рыдать на груди моей несчастной матери! Эти слезы, может быть, заставили бы меня забыть навсегда те роковые слова, я скорее поняла бы всю глубину ее несчастья, поняла бы, что, будучи еще молодою, здоровою, красивою женщиною тридцати шести лет, она уже навеки прощалась со счастьем всей своей личной жизни, и моя бы обида против нее скорее улеглась!.. Но этого не случилось: я была слишком слаба, чтобы подойти к ней, да и около нее уже суетилось несколько человек. Откуда-то достали кровать, уложили на нее матушку, давали ей что-то нюхать, обливали ее водою, но не могли привести в чувство, и няня послала за доктором. Но и его старания оказались также безуспешными, и матушка не приходила в себя. Тогда доктор послал к себе за креслом, усадил в него, с помощью людей, бесчувственную матушку, обнажил ее руку и пустил ей кровь. Матушка открыла глаза и пришла в себя. Когда кровопускание было окончено и рука забинтована, доктор приказал положить ее в постель

и присел к ее кровати. Он объявил ей, что она не должна предпринимать путешествие в деревню ранее нескольких дней, в продолжение которых он должен следить за ее здоровьем, и посоветовал ей, во избежание подобных обмороков, ежегодно пускать себе кровь.

К несчастью, матушка послушалась этого совета и стала ежегодно пускать себе кровь сначала раз в год, а потом и два. Нужно заметить, что она, несмотря на свой тридцатишестилетний возраст, несмотря на множество рожденных ею детей, неизменно отличалась превосходным здоровьем. Она не только никогда не хворала, но даже каждый раз после родов, как она нам сказывала, не лежала в постели более двух-трех часов, и в тот же день продолжала прерванную деятельность, т. е. шила для детей или учила кого-нибудь из них,— одним словом, делала все то, что и в обыкновенное время. Этот обморок случился с нею в первый и последний раз в жизни, но, как только она стала прибегать к кровопусканиям, она, несмотря на в высшей степени деятельную жизнь в деревне и большой моцион, стала чрезмерно толстеть. Через лет десять она уже выглядела старухою и стала чрезвычайно толстою, так что расхаживать по полям и лугам, как делала это в первые годы своей самостоятельной жизни в деревне, уже не могла и ездила в карафашке. Когда приближался срок кровопускания, у ней начинались приливы крови к голове, и она чувствовала недомогание. Только после многих лет такого способа лечения один доктор убедительно доказал ей вред для нее кровопускания, и она, наконец, решилась покончить с ним.

Продолжаю прерванный рассказ. Как только доктор удалился, матушка не позволила распрягать лошадей, а, полежав очень недолго, приказала всем выходить на крыльцо, чтобы отправляться в дорогу.

Наш переезд в деревню скорее походил на «великое переселение народов», чем на переселение семьи в деревню за семьдесят пять верст. До двадцати телег,

нагруженных нашим имуществом, были расставлены друг за другом. Последние из них были заняты служащими с привязанными позади городскими коровами. Лошади дормеза были увешаны бубенцами, а к дуге коренника подвесили большой и звонкий колокол; три лошади этого экипажа были запряжены кряду, тройкой, и ими управлял кучер; но едва ли одна тройка могла бы стащить такую махину, как «Ноев ковчег», а потому в него были впряжены еще две лошади впереди, и ими управлял крестьянин, сидевший верхом на одной из них. Можно себе представить, какой раздался шум, визг, треск, звон колокольчиков и бубенцов, когда все лошади тронулись в путь.

Низ нашего первобытного экипажа был устлан перинами, подушками и покрыт одеялами. Матушка улеглась с одного края; подле нее положили меня, возле примостилась няня, а против нас усадили двух братьев и двух сестер. Моему старшему брату Андрюше было в то время четырнадцать лет,— он был кадетом полоцкого корпуса и приехал домой на летние каникулы; сестре Анне было тринадцать лет, Саше — двенадцать, Заре (Захару) — девять лет, я была самою младшею. Таким образом, у матушки было теперь всего пять человек детей.

Вначале дорога шла весьма сносная, и мы подвигались довольно быстро. Няня всех оделила орехами: братья и сестры щелкали и перегрызали их собственными зубами, выбрасывая шелуху за оконца, открытые по случаю прекрасной летней погоды. Но вот кочки и выбоины стали чаще попадаться по дороге, и нас то и дело встряхивало. Матушка, только что перенесшая внезапный обморок и кровопускание, вероятно сильно страдала, так как у нее от времени до времени вырывались тяжелые стоны. Няня беспрестанно останавливала старших детей, громко болтавших между собою. Но это не действовало на Андрюшу, который стал уверять, что тряска экипажа помогает ему разгрызать орехи. В эту минуту экипаж стал сотрясаться без пе-

редышки. Андрюша, желая на деле показать справедливость своих слов, вскочил с своего места, продолжая щелкать орехи. Вдруг «Ноев ковчег» встряхнулся до основания, Андрюша схватился рукой за тесьму, придерживавшую бутылку с квасом, нечаянно сорвал ее с места, она разбилась, и квас выплеснулся на наши ноги. Матушка гневно приподнялась с своего места, приказала кучеру остановиться и вкатила брату тяжеловесную оплеуху со словами: «Болван! Разучился благопристойно держать себя в присутствии матери! Марш на телегу с людьми!».

Возвратившись из корпуса на каникулы, брат Андрей старался держать себя уже взрослым. Помогло этому то, что, вследствие смерти старших братьев и сестер, он оказывался теперь старшим членом семьи, а может быть, уже такой возраст пришел, когда подростки любят казаться более взрослыми, чем они есть на самом деле. Как бы то ни было, но он начал покрикивать на людей, командовать ими, давать свои приказания более авторитетно, чем это делали у нас взрослые, и тоном, не допускающим возражений, что так ненавидела матушка. Очень возможно, что она замечала это уже в городе, и ее неудовольствие на поведение сына все росло, но ей было не до того, чтобы каждый раз резко обрывать его, хотя это было главным правилом ее воспитания. Я только этим и могу объяснить матушкину пощечину и изгнание на людскую телегу четырнадцатилетнего юноши: то и другое даже для нее было слишком бесцеремонно и до сих пор не практиковалось в нашем доме.

Однако оплеуха сама по себе, как много раз после этого вспоминал брат, еще не была для него особенно оскорбительною, так как она нанесена была в присутствии только членов своего семейства: ужаснее для него было приказание ехать в одной телеге с крепостными. У кого в то время с ранних лет не было дворянского гонора? Брат много раз впоследствии вспоминал об этой неприятности, полученной им в дороге,

и всегда удивлялся себе, что он, в то время заносчивый и задорный, мог выполнить такое приказание. Но матушка была натурой в высшей степени властной, и едва ли возможно было даже Андрюше, который был ее первым любимцем, не повиноваться ей.

Когда экипаж, уже без брата, пустился в путь, мы поехали рысцой. Однако кучер скоро слез с козел, подбежал к окошечку, около которого лежала матушка, и просил позволения сменить двух уставших лошадей на привязанных сзади к одной из телег.

Наконец день стал склоняться к вечеру, и мы, чтобы не платить денег за ночлег на постоялом дворе, остановились при въезде в одну деревню и вышли из экипажа. Люди вынесли из хаты скамейки и стол, отправились ставить самовар, который мы везли с собою, развязывали провизию и расставляли на столе. Когда мы покончили с чаем и закусками, в виду теплого вечера матушка приказала отыскать для братьев сеновал для ночлега, а мы все с матушкою и нянею улеглись в дормезе. Люди, бывшие с нами, устроили между собою смену: одни из них оберегали лошадей и нас, другие спали в это время, а затем вставали и дежурили в свою очередь. Как только рассвело, нас разбудили, мы вылезли из экипажа, началось чаепитие,— и снова отправились в путь. Хотя мы выехали очень рано, и всей дороги оставалось верст тридцать, но на этот раз предполагалось кормить лошадей в пути, и нас ожидал знаменитый «Дедов мост», который многие совершенно правильно называли «Чортовым мостом». Он никогда не был мостом или, может быть, был им в давнопрошедшие времена, так как не только в то время, которое я описываю, но и через лет тринадцать после этого, когда я проезжала здесь, он был мало чем лучше. «Чортовым мостом» называли известную часть дороги или, точнее сказать, совершенное ее отсутствие на пространстве 3—4 верст.

Когда мы рано утром тронулись в путь, верст через пять-шесть, справа и слева дороги потянулись топкие

болотистые местности, поросшие жалким кустарником; дорога становилась все хуже, и, наконец, перед нами, во всем своем ужасающем величии, предстал «Чортов мост». Его нельзя было назвать ни мостом, ни дорогою,— это просто был какой-то непостижимый хаос. Иначе трудно определить эту невыразимую путаницу кое-как набросанных и переломанных засохших ветвей, щебня, самого разнообразного мусора, камней, всевозможных обрубков, дранок, палок и грязи, грязи без конца. Здесь и там на этой дороге, называемой «Чортовым мостом», появлялись то углубления, то огромные топкие лужи, в которые проваливались лошади по самое брюхо и вязли колеса экипажа. Здесь торчком высовывались тонкие обрубленные стволы деревьев, там на выдающихся грязных кочках торчали камни, а тут же подле зияла мутная колдобина, блестя на солнце своею зеленоватою грязью.

Эта невообразимая путаница луж, трясин и гниющих древесных масс образовалась потому, что в этой сырой, топкой и низкой местности никогда не устраивали надлежащей дороги, а подле не было даже канав для стока болотной грязи. Когда становой узнавал, что тут скоро придется проезжать архиерею или какому-нибудь важному чиновнику, он сгонял крестьян тех землевладельцев, которым принадлежали эти болота, и тогда наскоро чинили «Чортов мост». Но вся починка состояла в том, что крестьяне привозили к означенному месту возы хвороста, песку, камней, щебня, наваливали все это по всему пространству и несколько утрамбовывали сваливаемое. И при проезде важного лица эта дорога была очень плоха, но все же лошади не вязли здесь по брюхо, и, хотя с грехом пополам, тут можно было проехать. Но через месяц-другой после починки, особенно после ливней или зимних оттепелей, «Чортов мост» принимал свой обычный вид. К тому же по нашим дебрям и захолустьям важные лица проезжали чрезвычайно редко; чаще это случалось в зимнее время, когда замерзали все лужи, когда массы снега заметали

все ухабы и выбоины,— тогда снежный покров выравнивал всю эту адскую местность; только в такое время года и можно было проезжать по «Чортову мосту», не опасаясь вытрясти все внутренности или погубить лошадей и экипаж.

Прежде чем наш дормез вступил в область «Чортова моста», кучер остановил лошадей и подошел к окошечку, у которого лежала матушка. Он отрапортовал, что лошадь с первою телегою, которую он отправил вперед, чтобы испробовать дорогу, уже завязла, что нам, вероятно, долго придется простоять на одном месте, так как он должен вместе с другими людьми вытаскивать телеги и поправлять дорогу для проезда нашего экипажа. Все бывшие с нами люди выскочили из телег, схватили палки и начали вымерять ими глубину болотных луж и провалов, по которым предстояло проезжать. При этом несколько человек уже обрубали топорами кустарники и тонкие деревца по бокам дороги и наваливали их в колдобины и лужи; затем еще несколько человек, взяв длинный брус и став с двух сторон увязнувшего воза, запускали его под провалившуюся телегу, вытаскивая ее из грязи, а другие тащили увязнувшую лошадь. Когда это было окончено, то, прежде чем тащиться дальше, решено было пустить вперед все возы, один за другим: как только одному из них приходилось двинуться вперед по особенно опасному месту, к нему подбегали двое людей и тянули лошадь под уздцы, направляя ее то вправо, то влево. Сами люди все это время оставались в топкой грязи, беспрестанно проваливались по колено и даже по пояс. Так как перед нашим экипажем друг за другом продефилировало до 20 наших возов, то все это продолжалось очень долго. Наконец тронулись и мы. И вот заскрипел, завизжал и отчаянно застонал наш «Ноев ковчег»!.. Впереди нас люди насыпали хворост в углубления, так как предыдущие телеги при своем проезде уже несколько испортили только что произведенную поправку. Каждую из пяти лошадей дормеза дер-

жал под уздцы особый человек, который вытаскивал ее при первой попытке увязнуть. А другие крестьяне, чтобы облегчить тяжесть труда лошадей, схватились за брусья, на которых укреплен был экипаж, и тащили его вперед. Общие усилия крестьян не остались тщетными, и мы, наконец, выпутались из первого затруднения. Но вся эта «чортова дорога» была убийственно дурна, а таких мест, на которых приходилось набрасывать хворост и вытаскивать лошадей, было несколько.

Боже мой! чего только не было с «Ноевым ковчегом» во время особенно тяжелых переездов: он вдруг то выкидывал удивительное сальто-мортале и при высоком для себя скачке вверх трясся, точно живое существо от страха перед чем-то страшным, то накренялся в одну сторону или в другую, то начинал трещать и скрипеть в такой степени, что, казалось, мы вместе с ним будем разбиты вдребезги. При этом мы ударялись о бесчисленные металлические скрепы и гвозди с внутренних его боков. Сильно разбили мы себе спины о его брусья сзади, исколотили головы, перебудоражили все внутренности от жестокой тряски. Дорожные вещи, укрепленные по внутренней обшивке экипажа, беспрестанно срывались со своих мест и падали на головы сидящих.

Наконец адская дорога кончилась: лошади и люди были измучены до последней степени, а матушка, чтобы дать возможность отдохнуть после этого ада, приказала остановиться у первой деревни, хотя до Погорелова нам оставалось не более десяти-двенадцати верст.

Мы въезжали в наше поместье уже под вечер. Я совсем забыла деревню, вероятно потому, что год тому назад была еще слишком мала, чтобы удерживать что-нибудь в памяти. Как только показались наше огромное, чудное озеро у подножия горы и наш, в то время еще красивый, большой деревенский дом, няня приподняла меня с моего ложа.

— Смотри, смотри, вот и наше озеро! А наш-то дом ишь как блестит на солнышке,— сущий дворец!

Когда меня вынесли из дормеза, я встала на ноги и уже больше не ложилась. На крыльце стояли несколько баб и крестьян с приношениями и с своими ребятами: крестьяне подносили матушке хлеб-соль, бабы — яйца, их дети подавали сестрам и мне букеты полевых цветов, живых зайчиков, чуть оперившихся птичек.

Матушка, несмотря на свою деятельную натуру и на то, что в первый день приезда у каждой хозяйки много хлопот, расхаживала без дела по комнатам, точно в первый раз рассматривала их, и слезы градом катились по ее щекам. Щемило ли ее душу сознание, что она впервые, и уже навсегда, вошла в этот дом одна, без мужа, которого она так любила, ужасала ли ее перспектива того, что теперь исключительно на одни ее плечи свалились и тяжесть воспитания детей, и обязанность привести в порядок совершенно расстроенное хозяйство, или и еще что тревожило ее, но она рассеянно давала распоряжения и отправилась в «боковушку» — маленькую комнату дома в одно окно, а затем стала звать туда меня и няню. Когда мы вошли, она схватила меня на руки и начала осыпать меня поцелуями, между тем как неудержимые слезы падали из ее глаз на мои руки и голову. Она сказала нам, что предназначает эту комнату для меня с нянею: так как я теперь самая младшая в семье и хворая, то няня нужна для меня больше, чем для других, и приказала перенести сюда только наши две кровати.

Как я была счастлива при мысли, что я буду теперь всегда с моею милою нянею! Я поняла слова матушки так, что она дарила мне няню в мою полную и неотъемлемую собственность и что няня с этих пор должна была принадлежать только мне и мне одной.

ГЛАВА III

Жизнь в деревне (1848–1855 гг.)

Отсутствие семейной жизни в нашем доме.— Отчаянная тоска сестры Саши и ее страстное стремление к образованию.— Ее дневник.— Хозяйственные реформы матушки.— Материальное положение старосты и его значение.— Недовольство дворовых переменами в хозяйстве.— Васька-музыкант и Минодора, их злосчастное положение.— Загадочная болезнь сестры и ее отъезд в пансион.— Продажа Васьки и его жены.

В то давнопрошедшее время, т. е. в конце сороковых и в пятидесятых годах XIX столетия, дворяне нашей местности, по крайней мере те из них, которых я знавала, не были избалованы комфортом: вели они совсем простой образ жизни, и их домашняя обстановка не отличалась ни роскошью, ни изяществом. В детстве мне не приходилось видеть даже, как жили богатейшие и знатнейшие люди того времени. Может быть, вследствие этого мы, дети, с величайшим интересом слушали рассказы старших о том, с каким царским великолепием жили те или другие помещики, как роскошно были обставлены их громадные дома, походившие на дворцы, какие блестящие пиры задавали они, как

устраивали охоты с громадными сворами собак, когда за ними двигались целые полчища псарей, доезжачих и т. п. Ничего подобного не было в поместьях, по крайней мере верст на 200 кругом. Не говоря уже о мелкопоместных дворянах, которых было особенно много в нашем соседстве, но и помещики, владевшие 75—100 душами мужского пола, жили в небольших деревянных домах, лишенных каких бы то ни было элементарных удобств и необходимых приспособлений. Помещичий дом чаще всего разделялся простыми перегородками на несколько комнат, или, точнее сказать, клетушек, и в таких четырех-пяти комнатюрках, с прибавкою иногда флигеля в одну-две комнаты, ютилась громаднейшая семья, в которой не только было шесть-семь человек детей, но помещались нянюшки, кормилица, горничные, приживалки, гувернантка и разного рода родственницы: незамужние сестры хозяина или хозяйки, тетушки, оставшиеся без куска хлеба вследствие разорения их мужьями. Приедешь, бывало, в гости, и как начнут выползать домочадцы,— просто диву даешься, как и где могут все они помещаться в крошечных комнатках маленького дома.

Совсем не то было у нас, в нашем имении Погорелом: сравнительно с соседями у нас был большой, высокий, светлый и уютный дом, с двумя входами, с семью большими комнатами, с боковушками, коридором, с девичьей, людскою и с особым флигелем во дворе. Но и наш дом поражал своими размерами только сравнительно с очень скромными домами наших соседей. Он был построен моим отцом вскоре после его женитьбы и, как все, что он устраивал, свидетельствовал о том, что он любил жить на более широкую ногу, чем позволяли ему его средства.

Можно было удивляться тому, что из нашей громадной семьи умерло лишь четверо детей в первые годы своей жизни, и только холера сразу сократила число ее членов более чем наполовину: в других же помещичьих семьях множество детей умирало и без холеры.

И теперь существует громадная смертность детей в первые годы их жизни, но в ту отдаленную эпоху их умирало несравненно больше. Я знавала не мало многочисленных семей среди дворян, и лишь незначительный процент детей достигал совершеннолетия. Иначе и быть не могло: в то время среди помещиков совершенно отсутствовали какие бы то ни было понятия о гигиене и физическом уходе за детьми. Форточек, даже в зажиточных помещичьих домах, не существовало, и спертый воздух комнат зимой очищался только топкой печей. Детям приходилось дышать испорченным воздухом бо́льшую часть года, так как в то время никто не имел понятия о том, что ежедневное гулянье на чистом воздухе — необходимое условие правильного их физического развития. Под спальни детей даже богатые помещики назначали наиболее темные и невзрачные комнаты, в которых уже ничего нельзя было устроить для взрослых членов семьи. Спали дети на высоко взбитых перинах, никогда не проветриваемых и не просушиваемых: бок, на котором лежал ребенок, страшно нагревался от пуха перины, а другой в это время оставался холодным, особенно если сползало одеяло. Духота в детских была невыразимая: всех маленьких детей старались поместить обыкновенно в одной-двух комнатах, и тут же вместе с ними на лежанке, сундуках или просто на полу, подкинув под себя что попало из своего хлама, спали мамки, няньки, горничные.

Предрассудки и суеверия шли рука об руку с недостатком чистоплотности. Во многих семьях, где были барышни-невесты, существовало поверье, что черные тараканы предвещают счастье и быстрое замужество, а потому очень многие помещицы нарочно разводили их: за нижний плинтус внутренней обшивки стены они клали куски сахара и черного хлеба. И в таких семьях черные тараканы по ночам, как камешки, падали со стен и балок на спящих детей. Что же касается других паразитов, вроде прусаков, клопов и блох, то

они так искусывали детей, что лица очень многих из них были всегда покрыты какою-то сыпью.

Питание так же мало соответствовало требованиям детского организма: младенцу давали грудь при первом крике, даже и в том случае, если он только что сосал. Если ребенок не унимался и сам уже не брал груди, его до одурения качали в люльке или походя на руках. Качание еще более мешало детскому организму усвоить только что принятую пищу, и ребенок ее отрыгивал. Рвота и для взрослого сопровождается недомоганием, тем более тяжела она для неокрепшего организма ребенка. Вследствие всех этих причин покойный сон маленьких детей был редким явлением в помещичьих домах: обыкновенно всю ночь напролет раздавался их плач под аккомпанемент скрипа и визга люльки (зыбки) или колыбели.

Глубоко безнравственный помещичий обычай, при котором даже здоровая мать сама не кормила грудью своего ребенка, а поручала его кормилице из крепостных, тоже очень вредно отзывался на физическом развитии. Еще более своей барыни неаккуратная, грязная и невежественная мамка, чтобы спокойно спать, клала ребенка к себе на всю ночь. Она прекрасно знала, что в такое время ее не будут контролировать, к тому же для ребенка спать на одной кровати с мамкою, не выпуская груди, в то время не считалось вредным. Если младенец все же кричал, мамка давала ему соску из хлеба, иногда размоченного в водке, или прибавляла к нему тертый мак. Детей в большинстве случаев кормили грудью по два, а то и по три года. Женщину выбирали в кормилицы не потому, что она была молода, здорова и не страдала болезнями, опасными для дитяти, но вследствие различных домашних соображений: ревнивые помещицы избегали брать в кормилицы молодых и красивых женщин, чтобы не давать своим мужьям повода к соблазну.

Вредное влияние имел и общераспространенный обычай пеленать ребенка: крепко-накрепко забинтован-

ный свивальниками от шеи по самые пятки, несчастный младенец неподвижно лежал по нескольку часов кряду, вытянутый в струнку, лежал до онемения всех членов. Такое положение мешало правильному кровообращению и пищеварению. К тому же постоянное трение пеленок о нежную кожу дитяти производило обильную испарину, которая заставляла ребенка легко схватывать простуду, как только его распеленывали.

При таком же отсутствии каких бы то ни было здравых понятий ребенок переходил в последующую стадию своего развития. Подрастая, он более всего стремился попасть в людскую,— в ней было веселее, чем в детской: тут горничные, лакеи, кучера, кухонные мужики, обедая, сообщали друг другу новости о только что слышанных происшествиях в семьях других помещиков, о романических приключениях его родителей. Притягивала ребенка к себе людская и потому, что она в то же время служила кухнею для господ. Тут обыкновенно валялись остатки от брюквы, репы, а осенью множество кочерыжек, так как в это время года шинковали капусту, заготовляя ее на зиму в громадном количестве. Этою сырою снедью помещичьи дети объедались даже и тогда, когда в окрестных деревнях свирепствовала дизентерия.

Главное педагогическое правило, которым руководились как в семьях высших классов общества, так и в низших дворянских, состояло в том, что на все лучшее в доме — на удобную комнату, на более спокойное место в экипаже, на более вкусный кусок — могли претендовать лишь сильнейшие, т. е. родители и старшие. Дети были такими же бесправными существами, как и крепостные. Отношения родителей к детям были определены довольно точно: они подходили к ручке родителей поутру, когда те здоровались с ними, благодарили их за обед и ужин и прощались с ними перед сном. Задача каждой гувернантки прежде всего заключалась в таком присмотре за детьми, чтобы те как можно менее докучали родителям. Во время общей

трапезы дети в порядочных семействах не должны были вмешиваться в разговоры старших, которые, не стесняясь, рассуждали при них о вещах, совсем не подходящих для детских ушей: о необходимости «выдрать» тех или других крепостных, которых они обзывали «мерзавцами», «негодяями» и еще похуже, рассказывали самые скабрезные анекдоты о своих соседях. Детей, точно так же как и крепостных, наказывали за каждый проступок: давали подзатыльника, драли за волосы, за уши, толкали, колотили, стегали плеткой, секли розгами, а в очень многих семьях секли и драли беспощадно.

Благодаря моему покойному отцу, страстно любившему своих детей, благодаря его природной мягкости, в нашей семье не были в ходу ни розги, ни другие педагогические воздействия крепостнического характера. Правда, матушка непрочь была дать подзатыльника, толкнуть в спину и дернуть за волосенки, но даже и после смерти отца прибегала к этому довольно редко. Во всяком случае я могу сказать, что члены моей семьи почти не страдали от телесных наказаний, кроме тех случаев, когда матушке приходилось обучать кого-нибудь из нас: тогда она уже совсем не могла обуздывать своего вспыльчивого и нетерпеливого характера.

Как бы то ни было, но семья наша резко выделялась среди помещичьих семейств нашей местности как своим большим умственным и нравственным развитием, так и гуманным отношением к крепостным и окружающим, к близким и дальним. Даже и после смерти отца до меня никогда не доносились стоны засекаемых крестьян, и в нашем доме не раздавались ни оплеухи, ни зуботычины горничным, но я не хочу сказать этим, что крепостническая зараза совсем не коснулась моей матери. Напротив, как это ни странно, но, несмотря на двадцатилетнее супружеское сожительство с человеком, которого матушка горячо любила и глубоко уважала, яд крепостничества сильно отравил и ее кровь и от времени до времени давал себя чувствовать

проявлением крепостнического произвола, в особенности же произвола ее родительской власти.

В период нашего полного обнищания никто из детей никогда не подумал попросить у матушки купить чего-либо сладкого. Матушка так экономничала при покупке даже самого необходимого, что подобная просьба с нашей стороны могла бы возбудить в ней лишь бурное негодование, но «сладкие воспоминания» о прошлом не давали нам покоя. Вечером «сумерничали», т. е. не зажигали огня, пока не наступала полная темнота. Хотя единственным освещением у нас были сальные свечи, которые приготовлялись в нашем доме из сала собственных животных, но так как главным принципом нашей жизни сделалась теперь экономия решительно во всем, то у нас крайне бережливо относились даже и к свечам: по вечерам во всем нашем деревенском доме обыкновенно горели лишь две свечи: одна на столе в столовой, за которым должны были сидеть все мы с матушкой и няней, а другая в девичьей. Все это нам, детям, привыкшим к жизни на широкую ногу в городе, очень не нравилось, но с особенным соболезнованием рассуждали мы о сладком (конечно, в отсутствие матушки), которого теперь нам совсем не давали. «Господин кадет» (так матушка всердцах называла брата Андрея), а за ним и остальные начинали забрасывать няню вопросами такого рода: «Отчего у нас не делают теперь ни битых сливок, ни бисквитов,— ведь сливки и яйца у нас свои, а не покупные?». Получался ответ: «Оттого, что нам нужно с сахаром и крупчаткой экономить, да и некогда нам теперь с этим хороводиться... И не докучайте вы этим мамашеньке... Ради христа не раздражайте ее...».

Однако мы не совсем лишены были сладкого. Из меда и патоки у нас заготовляли на зиму варенье из местных ягод, делали маринады и сиропы, приготовляли немного и сахарного варенья, но часть заготовок, особенно из патоки, обыкновенно портилась. Каждый горшок испорченного варенья или маринада няня пока-

зывала матушке, которая, отведав принесенное ей, говорила что-нибудь в таком роде: «Какое несчастие! Действительно, никуда не годится! Что же, давай детям!». При этом она позволяла давать нам испорченный маринад или варенье ежедневно, но не более как по маленькому блюдечку, однако не потому, что при большем количестве мы могли заболеть, а чтобы растянуть наше удовольствие на более продолжительный срок. И вот по целым неделям и месяцам мы ежедневно после обеда ели паточное или медовое варенье, прокисшее до такой степени, что от него шел по комнате запах кислятины. То же самое было и относительно всех других домашних заготовлений: все, что покрывалось уже плесенью, особенно если это было съестное, отдавали дворовым, менее испорченное и сладкое получали мы, дети. Мы с аппетитом ели порченное, благословляя неудачи в хозяйстве, но все же были непрочь полакомиться и кой-чем получше, особенно тем, чего нам не только не давали, но что от нас тщательно прятали.

Мы, дети, с особенным нетерпением ожидали времени, когда у нас вырезывали соты из пчелиных ульев. Это происходило в жаркие летние дни. Мы все выбегали тогда на крыльцо; с него видно было, как старый Мирон шел к пчелиным ульям, в особом наряде по этому случаю: на его голове надето было что-то вроде маски из грубой домашней кожи с дырками, вырезанными для глаз, рта и носа, а на его руках натянуты были длинные неуклюжие доморощенные перчатки; он держал чистенький деревянный лоток, на котором лежали ложка, нож и лопаточка. Когда вырезанные соты приносили в залу, матушка с нянею укладывала их в особые горшки, внизу которых была просверлена дырочка, заткнутая деревянной втулкой. Положив соты в такой горшок, его ставили на высокую табуретку; к ней подставляли табуретку пониже и ставили на нее пустой горшок без дырки; затем втулку из верхнего горшка вынимали, и чистый мед стекал вниз, во второй горшок. Эта операция производилась по праздникам,

т. е. в такие дни, когда матушка была дома, а на случай ее отлучки комната, в которой это происходило, замыкалась на ключ. Если матушка в такое время случайно куда-нибудь отлучалась, наш «кадет» из палисадника отворял в зало окно, шпингалеты которого были испорчены, и не только сам влезал в замкнутую комнату, но уговаривал и остальных детей сделать то же; меня общими усилиями подымали на руках. Очутившись в зале, мы подбегали к горшкам, подставляли под текущий мед наши ладони, облизывали их и снова совали руки в сладкую струю. Няня тотчас догадывалась о нашей проделке и, подбежав к окну из палисадника, начинала выкрикивать: «Мамашенька идет... вот ужо все ей расскажу!..». Мы в ужасе выскакивали из окна один за другим. Няня вся тряслась от страха: если матушка сама не увидит нашей проделки, то о ней ей может сообщить кто-нибудь из прислуги. И вот няня начинала обыкновенно особенно бранить брата: «Экий ты бессовестный озорник, Андрюша! Перекрещусь, когда в корпус уедешь! Хорошему сестер-братьев обучаешь!».

Нас, детей, было в это время пять человек, но наше присутствие в летнее время в больших комнатах совсем было незаметно. Мой старший брат Андрюша, приехавший из корпуса только на каникулы, редко сидел дома: он отправлялся в гости то к кому-нибудь из соседей, то с кем-нибудь из них шел на охоту,— одним словом, никто не знал, куда он уходил, с кем водил дружбу, и, что всего удивительнее, никто в доме этим и не интересовался. Если матушка не находила нужным следить за старшим сыном, которому в то время кончалось четырнадцать лет, то она так же мало обращала внимания и на Зарю (Захар), которому исполнилось лишь девять лет.

Когда наступало время обеда или ужина, няня выбегала на крыльцо и громко звала отсутствующих или посылала людей разыскивать их. Являлись они или не являлись, за стол принято было садиться в строго

определенный час. Если опоздавший возвращался ко второму или третьему кушанью, он ел его с другими, но ни первого, ни второго ему уже не подавали. Матушка находила, что опоздавший не мог быть особенно голоден, если он сам не думал о еде, и не дозволяла предпринимать ради него лишних хлопот. Это правило она объявила нам скоро после нашего переселения в деревню, и его с тех пор строго придерживались в нашей семье. В матушкином характере не было и тени злобы или мстительности, совсем не отличалась она и ворчливостью: правило о времени наших обедов и ужинов она точно установила потому, что считала это необходимым для сбережения своего времени, которое она очень ценила, и для порядка в хозяйстве; но она никогда не упрекала опоздавших, не ворчала на них за опаздывание. Нисколько не пугало и опоздавших то, что они могут лишиться какого-нибудь кушанья или даже всего обеда: на няне лежала обязанность сохранять и распределять остатки от общей трапезы, и она откладывала опоздавшему всего, чего тот не получил. Когда вставали из-за стола, она тихонько дергала опоздавшего, и тот немедленно отправлялся за нею в кладеньку или боковушку, где он нередко после ягод с молоком ел холодные щи или борщ. Но это не смущало моих братьев,— они находили такой порядок еще более заманчивым, чем обычный: опоздавший получал в прибавку пару яиц, кусок ветчины или что-нибудь в этом роде, так как няня всегда боялась, чтобы кто-нибудь из нас не остался голодным. Подозревала ли матушка, что ее инструкция относительно обедов выполнялась чисто формально — неизвестно,— скорее всего, что, кроме своего хозяйства, она в то время решительно ни о чем не думала. Она редко, да и то совершенно рассеянно, спрашивала у возвратившихся, где они были и что делали; видимо, и эти вопросы она задавала, чтобы что-нибудь сказать с своими детьми, которых она так редко и мало видела, с которыми ей почти совсем не удавалось поболтать.

Матушка, кроме праздничных дней, ежедневно с рассветом выходила из дому на поля, и мы первый раз видели ее только перед обедом, когда она возвращалась крайне утомленной. Друг за другом подходили мы целовать ее руку, при этом она торопливо возвращала нам наши поцелуи и задавала одни и те же вопросы: «Ну, что, здорова? Нагулялась?». На эти стереотипные вопросы мои сестры часто просто молчали, так как нередко в тот день они не могли даже выходить со двора вследствие дурной погоды, но матушка не замечала или не придавала значения их молчанию. Она вся отдалась хозяйству, вся ушла в новое для нее дело, и у нее в первые годы нашей деревенской жизни не оставалось свободной минуты, чтобы думать даже о родных детях. Отсутствие заботы о нас отчасти, может быть, происходило и оттого, что она прекрасно знала страстную любовь и преданность к нам нашей няни и была покойна, что мы будем одеты и накормлены. Как бы то ни было, но отсутствие внимания к нам со стороны матери быстро уничтожило семейный элемент в нашем доме, столь сильно дававший себя чувствовать при покойном отце, который всегда был окружен детьми. Теперь каждый член нашей семьи мало-по-малу начал жить своею особою жизнью; только горячая преданность к нам няни и наша общая любовь к ней поддерживали связь между нами. Она одна в доме знала, что занимает в данную минуту каждого из нас, наши характеры и желания, наши достоинства и недостатки и отдавала нам всю свою душу.

Если мои братья никогда не сидели дома, то мои сестры почти не выходили из него. Что же касается меня, то я ни на шаг не отпускала от себя няню: она шла в амбар выдавать муку, крупу или зерно, и я, накинув большой платок, тащилась за нею. Моя старшая сестра Нюта постоянно вышивала гладью оборочки и воротнички (самая распространенная работа того времени), переснимала различные рисунки, соста-

вляла узоры для женских рукоделий, забегала в кухню постряпать какое-нибудь кушанье или копалась в саду и палисаднике, сажая цветы, окапывая кусты; сестра Саша, не поднимая головы, сидела за книгами.

Когда впоследствии, уже будучи взрослой, я, после долгой разлукой с моим семейством, близко сошлась с сестрою Сашей, а также когда после ее трагической кончины я перечитала ее письма ко мне и ее дневник, я была поражена ее обширными сведениями, ее феноменальной любознательностью, ее страстным стремлением к знанию, ее привычкою думать и рассуждать о разнообразных сложных нравственных и умственных вопросах и явлениях. В то беспросветное время, когда умственное развитие русского общества было так слабо, когда женщины и девушки не думали ни о чем, кроме замужества, тряпок и хозяйства, сестра Саша поразительно выделялась между всеми своим развитием и образованием. Очевидно, природа щедро одарила ее умственными способностями, но несомненно и то, что покойный отец сумел дать сильный толчок их развитию. И вот, после его смерти, Саша, как и остальные члены моей семьи, была брошена на произвол судьбы. Нюту, хотя она была старшею из сестер, это не тревожило, только одна Саша вполне сознательно почувствовала весь ужас остаться без дальнейшего образования. После смерти отца она начала перечитывать книги, оставшиеся после него, но его библиотека была сильно растеряна при нашем переселении, да к тому же большую часть его книг сестра не могла еще понимать в то время. Вследствие этого она бросилась на изучение корпусных учебников брата Андрея, но тут она еще чаще становилась втупик. Так как у Андрюши явился обычай незаметно исчезать из дому, Саша с утра садилась в комнату подле окна, выходившего во двор, чтобы задержать его, когда он будет уходить. Как только он показывался, она бежала к нему, умоляя его объяснить ей то или другое непонятное для нее место. Но он редко исполнял ее просьбу;

чаще всего с деланным ужасом он вскрикивал: «Несчастная, тебя прозовут синим чулком!» или: «Убирайся к чорту,— я сам ничего не знаю!».

Покойный отец всегда говорил матери, что Саша в высшей степени талантливая девочка, что она проявляет необыкновенную понятливость и делает блестящие успехи в учении и музыке. В период нашей городской жизни она училась у отца и учительницы и, кроме родного языка, свободно читала, писала и порядочно говорила по-польски и по-французски; кроме того, у хорошей музыкантши брала уроки музыки, к которой чувствовала сильное влечение. После нашего переселения в деревню она не только не могла продолжать своего образования, но ей не к кому было обратиться и с каким-нибудь вопросом: матушка была до невероятности завалена делами по сельскому хозяйству; к тому же Саша, по своему умственному развитию в то время, вероятно, далеко опередила ее. Под руководством отца она уже прочла на трех языках очень многие произведения классиков и усердно упражнялась в письменных сочинениях на этих языках. Матушка же получила поверхностное институтское образование и не могла много воспользоваться знаниями отца, так как у нее почти каждый год увеличивалась семья.

Потеряв отца, которого Саша страстно любила, и оставшись без руководителя в занятиях, к которым она чувствовала такое влечение, она, еще недавно такая оживленная и веселая, сделалась мрачною, нервною и раздражительною: от своих книг она то и дело бежала к фортепьяно, долго и упорно разбирала какую-нибудь пьеску, но вдруг разражалась истерическими рыданиями и бросалась на постель. Матушки никогда не было дома, и если кто приходил утешать ее, то это была только няня.

— Деточка, деточка! Что это ты так надрываешься? Ведь ты еще не очень большая,— всему ужо успеешь научиться...

— Да... если бы папа был жив!.. Маменька и не думает обо мне...— Тут рыдания снова начинали ее душить.

В этот период нашей жизни, следовательно, когда Саше было лишь тринадцать лет, она начала вести дневник и не оставляла его почти до самой смерти; он состоял более чем из сорока толстых тетрадей в четверку, но она часто по месяцам не дотрагивалась до него. В продолжение всей ее жизни никто никогда не знал о том, что она ведет дневник. Все привыкли видеть ее за книгами или с пером в руке, и никто в доме не интересовался тем, что она читает и пишет. Обыкновенно говорят, что в провинции каждому известно все о другом. Это совершенно верно, но в то же время человек неболтливый и желающий что-нибудь скрыть прекрасно мог это сделать. Вероятно, Саша никогда не скрывала того, что она ведет дневник, но и не болтала об этом уже потому, что занималась им исключительно для себя, по совету покойного отца, которого она восторженно обожала, память которого боготворила до последних дней своей жизни. Как бы то ни было, но ее дневник нашли только после ее смерти, да и то совершенно случайно.

Хотя Саша в первых своих дневниках прибегала к высокопарным и искусственным выражениям, но они постепенно исчезают. В них даже в ранний период ее жизни ясно отразилась ее душа. То в наивном, то в сентиментальном, а порою и в глубоко трогательном лепете этой девочки-подростка рано начали сказываться незаурядные способности, значительное, преждевременное для ее лет умственное развитие, необыкновенная пытливость ума и любознательность, страстное стремление к знанию. Нужно помнить, что этот дневник она вела в то отдаленное время, когда на образование женщины совсем не обращали внимания. В дневнике со всею силою выступает и ее любящая натура, ее глубокая тоска о потере обожаемого отца, но, вследствие невозможности найти удовлетворение высшим запросам

ума и сердца, очень рано начинает сказываться какая-то меланхолия. С годами пессимистическое настроение все усиливается. Она описывает некоторые события нашей деревенской жизни, свое вступление в пансион, воспитание в нем, свои знакомства и разговоры с различными людьми; изложены в нем и ее рассуждения по поводу прочитанных ею книг и романов, посещение деревни во время каникул, окончание курса, ее мечты и надежды, гувернантство, затем вступление в качестве учительницы в только что основанную тогда гимназию в городе С[молен]ске, частные уроки, которые она давала в громадном количестве.

Саша начала вести дневник приблизительно в тринадцать лет; я говорю «приблизительно» потому, что многие из ее записей не имеют ни числа, ни года, но о времени их можно судить по изложению тех или других событий нашей семейной жизни в деревне. Вот начало ее дневника:

«Почему я должна, непременно должна писать дневник, и буду это делать до самой смерти, если я проживу сто лет и даже более? А потому, что недели за полторы до кончины незабвенного моего родителя он взял с меня слово, что я буду это делать. Все, что он говорил тогда, я сейчас же записала, показала ему, а он не только кое-что мне поправил, но и добавил новые мысли. С благоговением наклеиваю эти странички с собственноручными его поправками, дабы осветить мой дневник, дабы всегда носить в моем печальном сердце все, что он говорил, помнить и исполнять все, что он желал.

«Вот что он сказал мне тогда: «Шурок, начинай-ка ты вести свой дневник; писать в такое время, когда ты притомишься от занятий,— нет резона; садись за него в свободное время, записывай все, что с тобой случилось, что ты делала, что слышала, что думала, кого встречала, с кем разговаривала,— одним словом, заноси в свою тетрадь все, что тебя порадует, удивит, опечалит или наведет на резиньяцию. Но если жизнь твоя за протекшие дни не даст ничего ни для эмоций, ни для

резиньяции, то ты кратко изложи все, что удалось тебе прочесть, к сему присовокупи свое собственное суждение. Все сие, дорогое мое дитя, очень пользительно для тебя: самой любопытно будет узнать, что с тобою было прежде, с кем зналась, что видела, какое обо всем суждение имела, что читала. Оное научит тебя излагать мысли, а к сему у тебя натуральная склонность, всякое же дарование необходимо совершенствовать, а не зарывать в землю. Сие будет приучать тебя, дитя мое драгоценное, внимательнее к людям приглядываться, к разговорам их прислушиваться, хорошему в них подражать, а за худое не осуждать, не пускать ходить по людям для злословия подмеченное тобою, а крепко про себя держать. Писание дневника еще должно приучать тебя все глубже погружаться в недра своей души, дабы отыскивать причины причин — не только дурных поступков своих, но и недобропорядочных побуждений. Познав без пристрастия самое себя и своего ближнего, ты будешь строга к себе, незлобива и великодушна к другим, и отринется сердце твое и помыслы твои от бабьей суетности, мелочности и пустяшного времяпрепровождения вроде сплетен и злословия вообще, от всего того, к чему столь привержен женский пол. Ты пристрастие имеешь к серьезному мышлению, к серьезной книге: постарайся превратить сие пристрастие в потребность твоей природы, вроде как к еде и к другим потребностям человеческого организма. Изложение прочитанного останется лучше в памяти, но все сие, однако, не должно служить поводом к пренебрежению женскою прелестью, т. е. скромностью и душевной мягкостью, одним словом, тем, что называется женственностью, при утрате коей девице дают наименование «синего чулка». Таковая особа воистину жалка: прочитав несколько страниц знаменитого творения и не углубившись в его сущность, она с легкостью сердца трактует о нем и даже мнит себя великою ученой, ставит себя превыше облаков ходячих, дерзновенно записывает себя на одну доску с великими учеными и поэтами, а сердце ее остается каменным,

не трогается состраданием к людям, не имеет привязанности, внешний же облик и манеры становятся резкими, грубыми и возбуждают во всех насмешку и отвращение».

«Родитель мой бесценный, свет очей моих! Твоя воля для меня священна, не забуду ее до конца живота моего! Но почему ты возложил на меня столь легкий завет, наклонный для одной моей пользы, веселию души и преуспеянию? Я бы хотела, чтобы исполнение твоего завета было для меня тяжко, чтобы я выполняла его с стенанием, с телесною болью и страданиями, как христианские мученики и подвижники, бо я люблю отца моего больше жизни моей. (Сестра в первых своих дневниках вместо слов «потому что» или «так как» нередко употребляла «бо», вероятно потому, что она говорила и читала с отцом не только по-русски, но еще чаще по-польски; однако постепенно это выражение исчезает.) Обожаемый мой папашечка, фиал души моей, самый большой мой благодетель! Почто, почто нет больше тебя? Почто я столь несчастна в жизни сей, и без оного печальной? Почто я лишена тебя, моего руководителя? Ушел ты туда, где нет ни слез, ни воздыханий, и моя жизнь, пролетавшая, как сладкий сон, сделалась одним несчастием. Ты оставил нас, детей своих, сиротами злосчастными,— и, увы, увы, я не буду более наслаждаться сладостью твоих речей! Ты все унес с собою — мое сердце, мои упования, мои надежды,— бо вместе с тобой исчез свет моих очей! Ты, как красное солнышко, согревал, оживлял, освещал жизнь твоей семьи! Закатилось оно,— и на меня отовсюду веет смрадом и хладом сырой могилы... Но, хотя тебя и нет со мною, всем сердцем любимый отец, я вижу, слышу, чувствую тебя всегда и везде со мной, в каждом биении моего сердца, в каждой мимолетной моей думке: к тебе летит мой первый вздох, когда я пробуждаюсь, на тебе останавливается мое помышление, когда я засыпаю... Как явственно порой раздается твой голос: «Шурок, почитай мне Мицкевича!», «Шурок, напиши на память сценку из «Тартюфа», «Шурок, подучи свою роль!». О, на-

пашечка! с твоею смертью все для меня погибло: и науки, и театр, и музыка, и всякое учение!.. Злой рок на своих скрижалях огненными буквами начертал для меня одно слово: «Погибни!». Да, мне суждено погибнуть, и как жалко, безвестно погибну я,— погибну, как ничтожная придорожная былинка! Иначе и быть не может! Кто без тебя в этой глуши поможет мне своим советом, кто без тебя будет руководить моими занятиями? Мне и в городе помещики в голос твердили: «Зачем девушке учиться!». Но мой отец, который был самый образованный, самый умный, самый лучший в мире человек, всегда говорил, что учиться необходимо всем без исключения. Папашечка не раз рассказывал мне, что уже в древности были ученейшие женщины, и все их уважали. Если бы он, мой обожаемый отец, был жив, и я, может быть, сделалась бы ученою. Все знать, все понимать — какое счастье! Но что я буду делать теперь одна? Папашечка объяснял мне каждый день что-нибудь новое, и мои познания умножались. А теперь? Кого буду вопрошать? Мысли производят в моей голове неистовый ураган и приносят не усладу моему уму и несчастному сердцу, а горечь и боль мученическую... На-днях расчесываю волосы в темноте, и вдруг какие-то искры сыпятся!.. Отчего они происходят? Андрюша как-то показывал нам фокус: взял бумажную коробку, налил в нее воды, поставил на проволочную решетку и стал согревать воду в бумажной коробке над свечкой... Отчего не загорелась бумага? Но еще гораздо более мучает меня религия, я даже не знаю, не грешно ли иметь о ней такие дерзновенные мысли, какие мне приходят в голову? О, боже, если это грех, прости мое согрешение! С тех пор как моя семья лишилась своего защитника и покровителя, обожаемого отца, я постоянно вопрошаю себя: отчего, если бог всеблагий, всемилостивый, всеправедный, он наслал на нас такое страшное горе, как смерть отца? Если его благость, справедливость и милосердие велики, то как же он оставил нас без отца? Няня твердит, что несча-

стия ниспосылаются нам для испытания, но разве можно испытывать таких детей, как моя маленькая сестра и мой брат? Они не будут роптать на это несчастье только потому, что разумом не постигли всего ужаса нашего несчастия, не понимают, какое великое значение имеет образование ума, не смыслят, сколь это сладостно и отрадно для сердца! Сей кощунственный, богохульный вопрос, как отравленная стрела, порождает в моей голове множество других ропотов сердца и дерзновенных дум. «Если бог всемогущий,— сказываю я самой себе,— зачем он допустил ропот сердца моего, зачем он вселяет в меня неверие, зачем он сделал меня такою, что я до безумства желаю образованности, получить коей не могу, почему только в книгах я почерпаю отраду, а сестра моя Анна вполне счастлива, когда может рисовать цветы, вышивать, стряпать? Если такие вопросы преступны, зачем милосердный, справедливый бог не заставит их умолкнуть в моем сердце? О, неужли я и за это буду наказана уже в сей жизни?».

«Сегодня воскресенье,— пишет сестра в одной из последующих частей дневника.— Перед обедом к нам пришел в гости батюшка. Вдруг слышу из соседней комнаты, как он говорит про папашечку: «Известно, что покойный Николай Григорьевич в церковь, почитай, совсем не хаживал, не выполнял он и наших православных обычаев. Эта, можно сказать, преступная склонность покойного проистекала из того, что родная его матушка была не нашей, а католической веры, не могла она привлечь его сердце к православию, а может, и злоумышленно отвращала его от усердия к нашей вере». А как мамашечка прелестно ему ответила,— я так гордилась ею в ту минуту: «Обрядов мой покойный муж не выполнял, но зато он по духу был настоящий христианин и самые христианские чувства внушал своей семье даже к рабам».

«Только что услыхала я мамашечкин ответ, как стала себя вопрошать, был ли папашечка мой религиозным, верил ли он в бога? Вдруг мне вспомнилось, как

в последнюю пасху он сказал мамашечке: «Дай мне того кулича, который не святили». Но тут мои родители увидали, что я вошла в комнату, и замяли разговор, верно поразмыслив про себя, что он не подходящий для моего младого возраста. Очень бы мне хотелось знать, почему папашечка никогда не ходил в церковь? Почему избегал куличей, окропленных водою, освященною нашею православною церковью? Почему он учил нас всему, а только закону божьему обучала матушка? Почему, когда священники служили у нас молебен, он уходил из дому? Если ты, мой родитель, умнейший человек во всем мире, не верил, значит, ты умом своим великим постиг, что в вере нет премудрости, что она — удел слабых голов, которые без оной не знают, что худо, что хорошо. Но может статься, что на сии вопросы ты дал бы мне совсем иные пояснения? Если я, по младости лет, глупое рассуждение имею, если неверие охватывает мою душу по неразумию, боже великий, боже милосердный, сделай мое мышление правильным, не допускай меня до греха и богохульных умствований.

«У нас сегодня знаменательное происшествие, всколыхнувшее мое несчастное, печальное сердце до глубины его дна. Только что мы кончили обедать, как приехал верховой от наших соседей Воиновых и подал матушке письмо от Натальи Александровны, в котором она писала, что завтра уезжает в Н[оречье], а так как в ее тарантасе много свободного места, то она приглашает с собою матушку или просит отпустить с нею одну из ее дочерей. Матушка уже взяла бумагу, чтобы написать отказ. Вдруг я, не помня себя, бросилась к ней, стала целовать ее руки и умолять ее отпустить меня в город, чтобы посетить могилку папашечки, моего возлюбленного, убрать ее цветами. Как только я проговорила это, у бедной мамашечки сразу потекли слезы ручьями, она ничего не могла ответить, а быстро встала из-за стола и ушла в свою комнату. Няня пошла за нею и, возвратившись, сказала, что мамашечка отпускает меня с Воиновой.

«Отец, почитаемый всею моею душою, всем моим помышлением, каждым дыханием моего сердца! Я припаду, наконец, к твоей могилке, которую освятил твой священный прах! Родной мой, кровный батюшка, молю тебя, исполни просьбу твоей несчастной сиротки: когда я паду ниц на твоей священной могиле, дай мне весточку, пошли какую-нибудь примету, либо самое ничтожное знамение... Сие оповещение пришли мне либо через птичку-певунью, либо через свист ветра буйного, либо через кукушечку-вещунью... Через самое маленькое знамение я узнаю, что ты советуешь мне делать с собой. О, отец мой драгоценный! шепни своими священными устами, хотя так тихо, как дуновение легкого зефира,— я все услышу, я пойму, что ты хочешь мне сказать: ведь ты всегда хвалил и мой тонкий слух, и мое быстрое понимание! Только от тебя я жду ответа, остаться ли мне навеки в Погорелом и пропадать без всякого образования или лучше уж заключиться мне в монастырь, чтобы в стенах обители священной отмаливать мои прегрешения и мои преступные, богохульные, дерзновенные мысли, мой ропот, который в недрах сердца моего все усиливается на господа бога за то, что он отнял тебя у нас, сделал нас горемычными сиротами?».

Недели через полторы после отъезда Саши в город к нашему крыльцу подъехал тарантас Воиновых. Матушка, возвращавшаяся с поля, первая подошла к нему, но скоро и мы все выбежали на крыльцо. Саша с рыданиями бросилась к матери и переходила из одних объятий в другие, точно она передавала поклоны и переносила весточку каждому из нас от дорогого покойника. Все плакали, плакала и я, потому что плакали другие. Наталья Александровна Воинова говорила матушке, что она до сих пор не видала, чтобы девочка таких лет, как Саша, могла так убиваться о покойном отце. По ее рассказам, сестру ничем нельзя было развлечь в городе, и она с утра бежала на кладбище, где и оставалась до тех пор, пока силой не уводили ее

оттуда. Ее каждый раз заставали распростертою на земле или коленопреклоненною и всю в слезах.

Саша рассчитывала посещением могилы облегчить свое горе, а между тем ее то и дело заставали теперь в слезах; она заметно худела и ходила какая-то растерянная.

Грусть Саши раздирала сердце няни: благоговейно сохраняя в памяти просьбу отца быть нам второю матерью и любя нас, его детей, как своих собственных, она ломала голову, как и чем помочь сестре. Хотя на образование она смотрела так же, как и помещицы того времени, что если «девушка не приспособлена к царской службе», то ей незачем и учиться, но при этом няне приходила в голову мысль, что если этого желал покойник, значит, так и должно быть. «Ведь он хотя и обожал всех своих детей, но Шурочку выделял из всех,— значит, находил, что она перстом божиим для науки отмечена, так ее и следует по этой линии вести. А как же быть-то? Ведь матушку Александру Степановну хозяйство задавило, вот о Сашеньке и подумать-то некому...»

Ничего не понимая в деле образования, не зная даже, в каких заведениях обучают дворянок, няня старалась добиться этого от самой Саши. Затем, в один из воскресных дней, она, под каким-то предлогом, отправилась к Наталье Александровне Воиновой, так как она и моя матушка считались в нашей местности самыми образованными дамами, и к тому же ей очень нравилась гувернантка Воиновых. Чтобы набрать побольше сведений относительно образования сестры, она не ограничивалась только расспросами Воиновых, но обращалась ко всем, к кому могла. Так как она прославилась своею трогательною преданностью нашей семье и считалась после матушки одним из главных ее членов, и к тому же сама по себе внушала доверие и знала, как к кому подойти, с нею рассуждали весьма охотно. Из этих разговоров она поняла, что плата в существующие пансионы настолько велика, что не по карману

матушке, а попасть на казенный счет в институт трудно, да и Саша, пожалуй, уже вышла из лет. Вот она и надумала написать прошение царю-батюшке. Ей казалось, как она впоследствии передавала нам, если с толком расписать все как следует, рассказать царю, сколько бедствий претерпела матушка, оставшись вдовой, указать ему на то, что она не имеет никаких средств и выбивается из сил, чтобы добыть кусок хлеба для сирот из своего маленького хозяйства, умолять его взять Сашу на казенный счет или на свое иждивение в учебное заведение и при этом указать ему на то, что сам покойник говаривал, что у нее на редкость богатые способности (а всему миру известно, что покойник был ума — палата), то такая просьба непременно будет уважена. На исполнение этой просьбы она надеялась и потому, что «Саша — настоящая столбовая дворянка и к тому же, как только царь-батюшка сам увидит ее (она не понимала, что государь и без этого может принять ее на свой счет), то так поразится ее умом, что приблизит ее еще к своим детям». Она долго никому не говорила о своем плане и не приступала к его выполнению только потому, что не умела письменно изложить своих мыслей и писала каракулями. Наконец она решилась, как на духу, во всем признаться священнику нашего прихода и просить его написать такое прошение. Хотя няня считала его человеком обходительным, но так как в то время ни одна услуга не оставалась без вознаграждения, то и она считала невозможным притти с пустыми руками. Но что могла она предложить? Жалованья она не брала, кроме гривенников на заздравные и заупокойные просфоры, а теперь она даже и этим не тревожила матушку, находя ее положение и без того чрезвычайно тяжелым. Ей, однако, удалось выйти из этого затруднения: одна из ее многочисленных деревенских кумушек как-то подарила ей вышитое полотенце, — вот она и решила отнести его батюшке, но находила, что этого еще маловато для такого почтенного лица, и упросила нас подарить ей

по цыпленку, не расспрашивая ее о том, что она с ними сделает.

Нужно заметить, что, когда в хозяйстве появлялся жеребенок, теленок, цыплята и другие домашние животные, кто-нибудь из нас, детей, очарованный новым пришельцем в мир, упрашивал матушку подарить ему его. Она охотно исполняла такую просьбу, так как знала, что этот подарок не только останется в неприкосновенности в ее хозяйстве, но получивший его в дар будет особенно заботиться о нем. У нас с Сашей было по наседке с цыплятами. Когда после обеда принимали со стола кушанья, мы осторожно снимали скатерть, стряхивали с нее крошки, подбирали в кухне шелуху от картофеля и яичную скорлупу и все это несли своим курам. Мы с Сашею были в восторге, что могли что-нибудь подарить няне.

Каково же было ее удивление, когда священник стал доказывать ей, что такое прошение не будет иметь никакого значения, что наш покойный отец имел маленький чин и что царь не имел о нем ни малейшего представления. При этом он выразил крайнее удивление, что матушка не попросит своих братьев о том, чтобы они как-нибудь похлопотали устроить Сашу в какое-нибудь учебное заведение. Как ни странно, но такая простая мысль до тех пор никому из домашних не приходила в голову, и совершенно посторонний человек первый ее подал.

Будучи уже взрослой и слушая рассказ матушки о том, как няня придумывала всевозможные планы для того, чтобы избавить Сашу от отчаянной тоски из-за невозможности получить образование, мне так и хотелось ее спросить: «Как это вы, женщина все же образованная, двадцать лет прожившая душа в душу с человеком, горячо любимым вами, который придавал огромное значение образованию, в такой степени ушли в свое хозяйство, что всю заботу о ваших детях свалили на плечи няни, правда идеально честной и любящей, но совершенно необразованной?». Но если бы в то время

я так просто спросила ее об этом, это могло бы ее уязвить. А потому мне и пришлось задать тот же вопрос, но приблизительно в такой форме:

— Ах, бедная мамашечка, до чего вы должны были страдать из-за того, что хозяйство не оставляло вам времени подумать о Саше!

— Вот в том-то и странность,— отвечала матушка, просто и легко сознававшаяся во всех своих недостатках,— что я от этого даже и не страдала... Я так ушла в хозяйство, что так-таки ни о чем другом и не думала. Когда няня пришла от священника и стала говорить мне о том, что следует братьям написать о Саше, что она худеет и бледнеет от тоски,— она точно хлопнула меня по башке!.. Взглянула я на Сашу и пришла в ужас от того, как она изменилась!.. А ведь я каждый день видела ее, да как-то не останавливалась на этом... Я и сама много раз думала о том, чтобы написать братьям, да все как-то откладывала... К тому же и гордыни большой я была преисполнена. Ну, а тут уж думаю: «Что за спесь, когда нечего есть!». К тому же я решила не о вспомоществовании их просить, а только о том, чтобы они дали мне совет насчет образования Саши и, если можно, похлопотали бы устроить ее куда-нибудь на казенный счет.

Потеряв всякую надежду на продолжение своего образования, Саша все более становилась грустною и раздражительною. Однажды няня посоветовала обратиться ей со своими недоразумениями к священнику, предлагая ей проводить ее к нему. Саша оживилась, взяла с собою несколько книг, переложенных закладками, и мы втроем отправились в село.

Священник принял радушно, нас усердно угощали, а затем попадья привела целую ораву ребят, чтобы играть со мной. Но меня трудно было оторвать от няниной юбки, и я вышла на двор только тогда, когда она пошла туда со мной. Саша осталась вдвоем со священником. Когда она затем вышла с ним на крыльцо, она была мрачнее тучи. Няня стала торопливо прощаться с хозяевами.

Мы долго шли молча: няня ни о чем не расспрашивала Сашу, вероятно боясь вызвать ее слезы, но когда мы у дороги присели отдохнуть и няня положила руку на ее голову, она горько разрыдалась. В ту же минуту вблизи послышался стук колес и показалась карафашка (так называли у нас простую тележку, несколько приноровленную к матушкиной езде). Возвращаясь с поля домой и заметив нас, матушка приказала кучеру остановиться и взяла нас с собою. Несмотря на полное отсутствие наблюдательности относительно своих детей, матушка заметила, однако, заплаканные глаза сестры. Няня тотчас объяснила причину нашего посещения священника. Саша на этот раз была, должно быть, в нервном состоянии, так как стала более резко, чем это было в ее натуре, указывать на то, что со смертью отца никто не думает об ее учении, что вследствие этого она и обратилась к священнику; он растолковал ей лишь несколько арифметических задач, которые она не могла решить самостоятельно, но когда она стала просить его объяснить ей кое-что другое, отмеченное ею в книгах, он отвечал ей, что девочке вовсе не требуется иметь столько познаний, что она знает больше, чем необходимо знать взрослой девушке, что над учеными женщинами все смеются. При этом она добавила, что и Андрюша смеется над ее учением, называет ее «синим чулком».

— Андрюша — шалопай, а поп — дурак...—перебила ее матушка, наклонная к кратким и сжатым характеристикам.— Чем больше будешь знать, тем больше будешь денег получать... Ведь тебе весь век придется ходить по гувернанткам!

В то время матушка на все смотрела с утилитарной точки зрения: «учись — больше денег заработаешь», и нотации вроде следующих раздавались у нас то и дело: «Ведь ты несчастнее деревенского пастуха: тот пасет свиней и за это его кормят... А когда вы повырастите, у нас и свиней не останется... Должны хорошо учиться, чтобы самим заработать свой хлеб». Если кто-нибудь

из нас высказывал за обедом, что ему не понравилось то или другое кушанье или просил о том, что матушка находила лишним, ее гневу не было предела, и она резко бросала нам: «нищая», «нищие», «нечего нос задирать».

Мы слишком боялись матушки, чтобы когда-нибудь протестовать против ее эпитетов, которые нас страшно раздражали в детстве. Андрюша, хотя и был ее любимцем, но, более сестер проникнутый духом непокорности и задора, часто в глаза говорил ей с подчеркиванием: «Мы в этом не виноваты!». А за ее спиной выкрикивал и более резко: «Чего это она нас вечно нищенством попрекает? Ведь она же сама с отцом наше состояние профершпилила, а мы виновными оказываемся!». Саша никогда не спускала ему этой дерзости и с раздражением кричала на него: «Не смей так говорить про отца! Наш отец был чудный человек, лучше всех, всех на свете!». Но матушку и она не брала под свою защиту.

Будучи взрослыми, мы с иронией вспоминали при ней о многих ее педагогических приемах и, между прочим, спрашивали ее, почему она так часто с бранью называла нас нищими, говорили ей, что это нас крайне оскорбляло. Но она и впоследствии находила этот прием целесообразным, объясняя, что делала это для того, чтобы заставить нас не стыдиться бедности, которую бедняки того времени скрывали, как позор и преступление, что таким напоминанием она хотела нас заставить учиться и работать как можно прилежнее, чтобы выйти на самостоятельную дорогу. «И была права,— прибавляла она.— Вот вы и вышли работящими и самостоятельными...» Но мы никогда не могли согласиться с этим: ее упреки лишь без нужды раздражали нас и, вместе с другими неблагоприятными условиями нашей жизни, делали наши отношения к ней в детстве все более холодными, все более ослабляли семейный элемент.

Матушка, как было уже сказано, не требовала от сыновей, чтобы они не опаздывали к общей трапезе.

И мои братья скоро стали злоупотреблять этим: они часто не шли на зов к обеду даже тогда, когда слышали, что их звали, и куда-нибудь прятались, чтобы их нельзя было найти. Они признавались впоследствии, что обедать и ужинать в семье в первые годы после смерти отца было для них настоящей пыткой: матушка приходила с поля усталая и сонная и выражала большое нетерпение к проявлению живости детей за едой. А если они начинали еще спорить между собой, дразнить друг друга, ссориться, она гневным окриком выгоняла из-за стола провинившегося.

Оправданием матушки в отсутствии материнской нежности и отчасти даже заботы о детях могли служить ее чрезмерная работа по хозяйству и ежедневная крайняя усталость. Она, как и крестьяне, вставала с рассветом и отправлялась наблюдать за полевыми работами, переходила с одного поля на другое, с одного луга на другой, а осенью шла в овин, где происходила молотьба, из овина направлялась на скотный двор. В то же время она присматривала и за мельницею, и за постройкою, если она производилась, ходила даже в лес, если там рубили дрова. Она возвращалась домой обедать в такое же время, как и крестьяне; как и они, она ложилась отдыхать после обеда, и ее должны были будить в тот же час, когда рабочие опять отправлялись на работы. И так она проводила свое время изо дня в день, оставаясь дома только по праздникам, когда она занималась «канцелярскою работою». Наблюдая с утра до вечера за всеми сельскохозяйственными работами, она, присев где-нибудь у поля, заносила в свою тетрадку всевозможные наблюдения и о том, сколько возов сена свезено с такого-то луга, сколько копён ржи сжато с поля, кто и как работает из крестьян, т. е. скоро или медленно, добросовестно или небрежно. Тут же, узнав от крестьянина о его семейном и материальном положении, она записывала и это сведение, а затем проверяла показаниями других крестьян и сама заходила в избу. Собранные за неделю сведения она

в праздники разносила по рубрикам и эту работу называла «канцелярскою».

В высшей степени тщательное ежедневное наблюдение над работою крестьян, знакомство с каждым из них, точные записи хозяйственных сведений и соображений дали ей возможность основательно ознакомиться с сельским хозяйством и хорошо узнать не только материальное положение своих подданных, но отчасти их характер или, точнее сказать, работоспособность каждого, что для матушки важнее всего было в человеке: работящему крестьянину она старалась помочь, внимательно и сочувственно относилась к его тяжелому положению; зато к пьяницам и нерадивым она выказывала полное презрение, как к существам, только напрасно бременящим землю, приносящим вред ее хозяйству и лично оскорблявшим ее своим существованием.

Домашним редко приходилось разговаривать с матушкой по будням, и второстепенные дела она откладывала до воскресенья: когда к обеду в этот день она кончала свои «канцелярские» занятия, она была вполне свободна, и няня с нетерпением ждала этого времени, чтобы обсудить вместе с нею различные вопросы по домашнему хозяйству. Чаепитие, во время которого в других семьях члены семьи болтают между собой, у нас, после переселения в деревню, было уничтожено за неимением средств тратить деньги на покупку чаю. Вместо него у нас пили молоко, но для этого не собирались к столу, а каждый садился где попало, мог пить его сколько угодно и когда угодно. Что же касается обедов и ужинов, то они проходили у нас очень быстро, и во время их няне немыслимо было разговаривать о делах: ей часто приходилось вставать из-за стола, чтобы принести то одно, то другое из кладовой или погреба, а по окончании еды матушка торопилась отправиться спать.

Как только наступало свободное воскресное время, няня прежде всего докладывала матушке о том, чего

нехватает в хозяйстве, что подходит к концу, или чего «маловато», что необходимо купить сейчас же и с чем можно «обождать». Совместное всестороннее обсуждение чуть не каждой статьи домашних запасов всегда кончалось вопросом со стороны матушки, нельзя ли упразднить из домашнего употребления или, по крайней мере, сократить то или это. После смерти отца наши расходы были доведены до minimum'а: чай, кофе, варенье, пирожное, сладкое — все это было изгнано с нашего стола. Чай, кофе, варенье подавали только гостям, но матушка не скрывала своей бедности, не старалась показывать кому бы то ни было, что мы-де всегда так пьем и едим. Напротив, она напрямик заявляла: «Я ведь теперь не большая помещица, не важная барыня: ежедневно не приходится распивать чаи и кофеи,— держу их только для дорогих гостей».

В те жестокие времена, когда бедных так открыто презирали, когда каждый бедняк старался казаться богатым, или, по крайней мере, не столь обездоленным, каким он был в действительности, когда каждый давал почувствовать другому и выставлял свое дворянство, когда труд для дворянина считался позором и был достоянием только рабов, матушка, будучи столбовою дворянкой по мужу и отцу, особа «с языками и манерами», как говорили про нее, не только не конфузилась своей бедности, но всегда проводила мысль, всегда говорила своим детям и посторонним, что каждый должен трудиться, выказывала презрение к шалым затеям помещиков и к их ничегонеделанию. Вот это-то качество, а также и то, что к старости она становилась все более гуманною и не на словах, а на деле искренно полюбила простой народ, резко выделяли ее из той среды, в которой она вращалась. Все это в конце концов снискало ей глубокое уважение ее детей, которые в детстве, лишенные материнских ласк и забот, нередко испытывая на себе последствия ее властного, вспыльчивого характера, относились к ней с полным

индиферентизмом, а подчас с обидой и раздражением. Те же качества снискали ей впоследствии любовь и уважение наших молодых друзей, которых мы привозили гостить к ней и с которыми она любила вести споры и разговоры. Когда она приобрела опытность в хозяйстве и заботы о нем уменьшились, она начала много читать. Это дало ей возможность поддерживать серьезный разговор, что крайне поражало наших знакомых, встречавших в такой захолустной деревне, как наша, образованную женщину. Демократизацию ее идей не трудно объяснить: она была слишком деловита по натуре, чтобы бросить на произвол судьбы расстроенное хозяйство, оставшееся на ее плечах после смерти горячо любимого мужа. Один только труд давал ей забвение в годы тяжких бедствий и лишений, и потому она становилась все более страстною его поклонницей. Но в тот период жизни, о котором я говорю, она исключительно думала о том, как бы что-нибудь выгадать из своего жалкого и запущенного хозяйства, как бы уменьшить домашние расходы.

— Уж как у нас сахарного песочку маловато,— говорила няня, когда она, наконец, получала возможность переговорить с матушкою о домашних делах.— Давно ли из города пять фунтиков привезли, а ведь осталось не больше двух стаканов...

— Так, верно, сама же ты все на детей скормила?

— Как же это, матушка! — обиженно восклицала няня.— Я и серенки (спички, которые употреблялись в то время) даром не растрачу: стараюсь с уголька зажигать... И вдруг сахарный песок...

— Да, ты все бережешь, ну, а сладкое то и дело суешь детям: ни пирожных, ни конфект в доме нет, вот ты и всыпаешь им в кушанье больше, чем нужно, сахарного песку. А я вот что тебе скажу: к простокваше, пожалуй, подавай его попрежнему, ну а к ягодам больше ни-ни,— они и без того сладкие.

— Барыня-матушка, ну хоть для праздничков позвольте оставить... Ведь наши-то дети еще такие крошки!

— Да... трудно с тобой что-нибудь сокращать в хозяйстве,— с сердцем возражала матушка.— Продолжай... много ли у нас крупчатки?

— Только что перевесила: всего десять фунтов осталось.

— Десять фунтов! Но ведь это же ужасно! В прошлый месяц два пуда вышло, и в этот, значит, будет то же!

— Да ведь крупчатка-то она всюду: она и на булки, она и на пироги, и на клецки, и в сосус ее же подсыпешь...

— Ладно, ладно... так вот что: конец белым булкам, да и все тут! С этих пор мы все будем есть только черный хлеб. И это пречудесно: у нас хлеб хорошо пекут!

— А как же...— только воскликнула няня, но уже остальных слов она не могла выговорить: крупные слезы текли по ее щекам.

— Стыдно тебе, няня, очень стыдно! Почему ты думаешь, что наших детей необходимо нежить да к барским затеям приучать? Лучше благодари бога, что богатство и баловство не сделают их лоботрясами!..

Несмотря, однако, на изгнание с нашего стола почти всего, что более или менее зажиточные дворяне находили необходимым, мы, дети, вспоминали только об отсутствии у нас сладкого, которого так много подавалось при отце. Матушка не была скупа на домашние сбережения; у нас всегда был сытный и хороший стол, но она строго придерживалась одного,— чтобы все, что мы пьем и едим, было по возможности добыто из собственного хозяйства: прежде чем что-либо купить для дома, хотя бы буквально на грош, это долго и серьезно обсуждалось как матушкою, так и нянею.

— Ну, про какую корову ты хотела со мной поговорить? — спрашивала матушка, и разговор переходил на другую тему, более для нее интересную, т. е. на сельское хозяйство, которому она придавала огромное значение, а домоводство было на руках няни, и она

вмешивалась в ее дела в самых крайних случаях. Няня просила дать корову Игнату и излагала причины, почему это необходимо: его собственная корова пала от бескормицы прошлого года, а в семье его несколько молодух, и у каждой дети. Затем она просила дать леску Пахому для починки его хаты: у него сгнила крыша и давно протекает. Матушка знала всю основательность няниных просьб и сама считала необходимым улучшать положение своих подданных, так как она прекрасно понимала, что ее хозяйство находится в полной зависимости от благосостояния крестьян, а потому почти всегда исполняла подобные просьбы, справившись предварительно со своею записной книжкою. Она отказывала только тогда, если в ее записях значилось, что крестьянин не особенно ретив на работу и, боже упаси, запивает. В тот период времени матушка еще не успела разобраться в том, что леность, нерадивость и пьянство были результатом вековой беспросветной жизни крестьян, что, наказывая несчастного, она совершала большую несправедливость, особенно по отношению к членам его семьи.

Матушкино хозяйство приходило все в бо́льший порядок, и этому содействовали не только ее неустанные хлопоты, но и заботы няни. Ее сердечная доброта и искренняя жалостливость ко всем несчастным уже давно снискали ей доверие и уважение крестьян. Зная, что матушка стремится к улучшению их положения, но не в состоянии сразу помогать многим, няня употребляла все силы, чтобы указывать ей на более несчастных. В продолжение всего времени, которое она прожила у нас, она каждое лето приезжала в деревню с нашим семейством, и каждое лето число ее крестников среди крестьян, а следовательно — кумовей и кумушек, увеличивалось. Не отказывалась она и от крестьянских свадеб, ходила к больным и носила им лекарства или гостинцы, вроде куска белой булки, а крестникам — рубашонки, которые она перешивала из нашего старья. В этих случаях она повсюду таскала и меня с собой:

после смерти Нины она не решалась доверять меня кому бы то ни было, да и я сама ни за что бы не осталась без нее. Без няни матушке, вероятно, не удалось бы узнать всей подноготной каждой крестьянской семьи: несмотря на ее простое отношение к крестьянам, несмотря на то, что она сама нередко заходила в избы, несмотря на отсутствие какой бы то ни были заносчивости и чванства, с нею, как с барынею, крестьяне все-таки стеснялись. Совсем иначе относились они к няне: в каждой крестьянской семье она была своим человеком. Хотя крестьянам было известно, что она бережет барское добро пуще своего глаза, тем не менее они были вполне уверены в том, что из-за нее никогда не выйдет никакой неприятности, что она первая усердно похлопочет за каждого из них. Но, как бы няня ни была добра к крестьянам, интересы моей семьи стояли у нее на первом плане.

— А что скажете,— спрашивала она после того, когда хозяева избы, в которую она входила, успели ее усадить на лавку в красный угол,— если бы Степана да на оброк пустить? Ведь на него, кажись, положиться можно? И господам в аккуратности представил бы что полагается, и свою копейку не растрясет... Или: — А как староста Тимофей — не очень вас обижает? Сказывают, больно зашибать стал, да и на руку не чист? Правда это али враки? — Или: — Ну, а кто же, по-вашему, ныне самый работящий, самый справедливый крестьянин в Погорелом? — Вот с какого рода вопросами обращалась няня к крестьянам. Не обходились они с ее стороны и без наставлений в таком роде: — Старайтесь, милые, христа-ради старайтесь... Ведь у него-то, у покойника Николая Григорьевича, большая забота была о своих крепостных. Даже перед смертушкой думушку эту про вас крепко держал. Да и барыня вас не обидит, как перед господом говорю, свято будет блюсти завет покойника.

— Васильевна! — говорил однажды молодой крестьянин, напряженно прислушивавшийся к ее словам. При

этом он подошел к ней вплотную, как будто желая показать и строгим взглядом своих глаз, и наступательным движением, что она должна говорить правду, только сущую правду.— Говори ты нам, Васильевна, по всей чистой совести, как, значит, барин-то наш помирал... что он сказал? Наши-то бают, что он женку-то свою, барыню нашу, дюже стращал: «Не забиждай, грит, своих христьян, чтоб они, значит, не прокляли и осиновым колом твою могилу не проткнули».

— Насчет осинового кола не поминал... Вот вам христос — этих слов его не было! Мы с барыней безотходно при его кончине у постели стояли. Все словечки его предсмертные, как молитву, затвердила... Про вас он вот что сказывал барыне: «Не позволяй, говорит, никому крестьян твоих обижать, чтобы, говорит, жестокостей с ними не делать, пусть, говорит, из-за тебя не раздаются их стоны и проклятия!..». Вот как перед истинным, правду вам сказываю! — При этом она крестилась на образа.

— О, господи! — со вздохом произнес крестьянин.— Царствие небесное покойнику!.. Пущай ему земля легка буде! Что ж насчет нашей барыни можно сказать,— она не обиждает... ну усё же тяготы большие несем... Бедность лютая нас одолела! Почитай, кажинный год от страстной до казанской хлеб с мякиной едим да окромя щей с крапивой али щавеля до конца лета другого приварка не знаем... А таперича и его забелить нечем,— последняя коровенка околела.

— Да что, Васильевна: ты ведь к ейному семейству привержена, так все хочешь обелить!..— заметила хозяйка.— Хоть покойник наставлял, чтобы мы слез не лили, а нам-то супротив суседских хрестьян разве в малостях полегче буде... Усё та же жратва, что блевотина! Барыня-то наша получше других тем, что не драчлива... Во только, почитай, ефто в ей и есть, а свайво добра не упустит!.. Ох, не упустит!.. Не таковска! Ведь она-то день-денской торчит на косовице али на жнитве, усё коло тебя топчется, да так во все

глазыньки глядит тебе, чтобы ты, значит, попусту трошку времени без работы не осталась! Ведь дохнуть тебе не даст! Намедни как зачнет меня кликать, да раз за разом... Подхожу, а она мне: «Что, грит, Анушка, куда ты усё бегаешь? Почто серп бросаешь?» — «Матушка-барыня, ребенок туточка, у кустов положен... кормить его бегаю».— «А сколько яму?» — «Пятый месяц, матушка, только окромя груди ничего не примает, как соску, али что ему суну, так усё и сблюет...»—«Что же, грит, надо кормить — так корми, а забавляться с им — не забавляйся,— мне со своими тоже забавляться не приходится»...

— И правду говорит, вот те христос, правду,— утверждает няня.— Ей не до забавы! Чуть свет-то забрезжит, она уж на ногах! Так насчет коровы не сумлевайтесь, православные,— говорит няня, прощаясь с хозяевами,— выпрошу, как пить дать, выпрошу.

Няня обладала большим житейским тактом: она прекрасно знала, что она могла сообщить матушке и о чем не должна была заикаться. После одного из таких посещений она заявила ей, что староста Тимофей начинает запивать, а что самый работящий и надежный крестьянин — Лука. В первое же воскресенье его призвали к матушке: она долго с ним беседовала, а затем назначила его старостой, вместо Тимофея.

Не знаю, каково было положение старосты в других поместьях, но у нас эта обязанность по количеству труда, по разнообразным заботам и ответственности была самая тяжелая сравнительно с обязанностями остальных крестьян. Староста должен был вставать раньше всех и быть первым в поле и на всякой сельской работе; он должен был зорко наблюдать, чтобы рабочие работали не покладая рук, обязан был подавать пример другим опытностью и усердием в работе. Когда рабочие возвращались домой к обеду и затем ложились отдыхать, староста освобождался позже других: он должен был осмотреть работы во дворе, исполненные в его отсутствие стариками и подростками, которым он по-

ручал в это время рубить дрова, вывозить навоз или кирпич,— одним словом, за тем, кого он почему-либо не пустил на полевые работы. Точно так и после ужина он не мог тотчас завалиться на печку или покалякать на завалинке: почти каждый день в это время его звали в горницу, и у него с полчаса проходило в разговорах с матушкою о том, что делать на другой день, и в его отчетах о том, где, что и сколько было сработано; тотчас же при нем все эти сведения матушка заносила в свою тетрадь.

Несмотря на обременительные труды старосты, эта должность среди крестьян считалась весьма почетной, и почти каждый из них принимал ее с величайшею благодарностью. Материальное положение старосты, пока он занимал эту должность, было несравненно более обеспеченным, чем у остальных крестьян. В то время у нас почти все крестьяне ходили в лаптях; хотя староста продолжал в них работать, но непременно должен был иметь сапоги, которые ему, при вступлении его в должность, немедленно заказывали сапожнику сшить из домашней кожи. Домашнему же портному приказывали приготовить старосте на зиму овчинный тулуп, а на лето нечто вроде балахона, на который матушка выдавала холстину. Эту праздничную одежду он должен был надевать каждый раз, когда его отправляли в волость или в город по каким-либо делам или к городским и сельским властям.

В виду того что староста был на господской работе шесть дней в неделю, его земельный участок обрабатывали матушкины крепостные совершенно так же, как и ее собственные поля и луга, хотя все полученное с его надела шло попрежнему в его пользу. Кроме того, он ежемесячно получал известное количество ржи, ячменя и гречихи. При вступлении в должность, староста приводил домой с господского двора корову и несколько овец. Когда его изба и хозяйственные постройки требовали основательного ремонта, их поправляли матушкины рабочие, но смотреть за домашними животными,

обрабатывать землю под огород, картофель и горох, сажать капусту и овощи, прясть лен и ткать одежду — все это должна была делать собственная семья старосты; по крайней мере так было с Лукою, у которого была жена и четыре дочери. Но зато его семья была избавлена не только от барщины, но и от каких бы то ни было помещичьих поборов. Нужно заметить, что в деревнях, принадлежащих матушке, кроме трехдневной барщины (три дня в неделю крестьяне, как мужчины, так и женщины, занимались работами на свою госпожу [13]), крестьянки несли еще разные тяготы. Каждая крестьянская семья, смотря по числу в ней женщин, обязана была доставлять летом своей госпоже определенное количество яиц, ягод, орехов, грибов, зимою — пряжу и холст. От всех этих поборов избавлена была семья старосты. Крестьяне говорили про него, что хотя он действительно работает на барыню больше других, но зато и не боится голодного года, и что он со своею семьею единственные из крепостных матушки, которые, как в урожай, так и в неурожай, могут круглый год есть хлеб без мякины и забелить свой приварок.

Лука оказался одним из трудолюбивейших и расторопнейших крестьян и обнаружил большие административные способности.

Однако матушка не думала ограничиваться только переменою старосты: она решила внести существенные изменения во все отрасли своего хозяйства, а главное — раз навсегда уничтожить «все барские затеи», из-за которых, по ее мнению, и произошло разорение. Она бы с радостью продала всю домашнюю обстановку, тем более что «шифоньеры» и «секретеры» возмущали ее теперь даже своими названиями, как вещи, неподходящие в хозяйстве при ее жалком материальном положении, но на них не находилось покупателей. Зато немедленно были проданы все наши экипажи, кроме карафашки и простых саней; продан был и наш знаменитый дормез, прозванный «Ноевым ковчегом», в который мы, дети, любили забираться, когда он стоял

в сарае, осматривали его многочисленные карманы и приходили в восторг, если находили в одном из них забытый сухарь или орех. Вместе с экипажами проданы были и наши выездные лошади: мы ездили теперь, что случалось, впрочем, крайне редко, на рабочих лошадях. Довольно многочисленная дворня и слишком большой теперь для нас штат прислуги подверглись сильному сокращению: для домашней услуги матушка оставила только кухарку и горничную. Большинство дворовых, знавших какое-нибудь ремесло, были отпущены на оброк, другим дана была земля, и они обращены были в обычных крестьян-хлебопашцев. При этих переменах матушка принимала в расчет способности дворовых и до известной степени их желания: кто просился на оброк, тому она назначала его «по-божески», т. е. на более льготных условиях, чем у других помещиков в наших краях, а того, кто от него отказывался, она наделяла землею, давала лес и время на устройство нового хозяйства.

Эти реформы все же прививались далеко не так быстро и не так легко, как на это рассчитывала матушка, и, пока все не вошло так или иначе в колею, они причиняли ей множество неприятностей. Многие из прежних наших служащих — кучер, повар, лакей и некоторые другие — не желали итти ни на оброк, ни брать землю и умоляли оставить их при прежней должности: они опасались, что, не имея в городах родных и знакомых, долго останутся без занятий, а то и совсем не найдут подходящего дела. Не желали они брать и землю, так как, издавна выполняя домашние обязанности при господах, отвыкли от землепашества, а в большинстве случаев не только они, но и отцы их никогда им не занимались. Матушка на все лады объясняла им, что она, вследствие уменьшения семьи более чем вдвое и полного разорения, не имеет ни средств, ни необходимости держать такую «ораву» челяди для домашних услуг, что она не может их кормить даром, что каждый из них обязан приносить ей пользу,

но, когда никакие доводы не могли убедить дворовых, она тут же записывала их имена в особую графу своей тетради, решив продать их при первой возможности. Матушка в начале ведения своего хозяйства страшно нуждалась в деньгах и находила, что без продажи нескольких душ дворовых ей не обойтись,— она и решила сбыть с рук наименее для нее полезных. К тому же она боялась, что, не пристроившись основательно ни к земледелию, ни к отхожим промыслам или где-нибудь в услужении, они явятся элементом опасным для деревенской жизни, т. е. «смутьянами», как их тогда называли. Особенно ее смущало положение Васьки-музыканта.

Лет за двенадцать-тринадцать до описываемого времени мой покойный отец стал приглядываться к одному восемнадцати-девятнадцатилетнему парню, Ваське, к имени которого крестьяне прибавляли — музыкант. Где бы в праздник ни собирался народ петь и плясать, Васька был тут как тут. Играть на свадьбах его приглашали даже крестьяне из чужих деревень; он всюду играл, пел и плясал. Мой отец, большой меломан, стал прислушиваться к его игре и однажды приказал ему принести в кабинет свои музыкальные инструменты и сыграть на каждом из них. Васька играл на скрипке, балалайке, гармонике, на разных дудочках и свисточках, играл как веселые плясовые, так и заунывные. В музыкальном отношении у него все выходило более осмысленно и своеобразно, чем у кого бы то ни было из деревенских музыкантов. Но, когда отец добыл для него на время настоящую хорошую скрипку и заставил его сыграть ему на ней, Васька просто поразил его: он долго настраивал ее, долго подбирал то одно, то другое и вдруг заиграл знакомый отцу ноктюрн Шопена. На вопрос изумленного отца, откуда он взял то, что играет, Васька объяснил, что, когда в нашей усадьбе в прошлое лето гостила одна барыня, она часто играла это у нас на фортепиано; он нередко слушал ее, стоя под окном, и с тех пор эта «песня» (он так называл

ноктюрн) не давала ему покоя, но ему не удавалось подобрать ее на своей простяцкой скрипке.

Это обстоятельство решило судьбу Васьки. Отец написал о нем князю Г., одному из богатейших помещиков средней полосы России. С этим князем Г. отец когда-то служил в одном полку и даже очень дружил: любовь к музыке и чтению более всего поддерживала взаимную дружбу этих двух людей. С выходом их в отставку они лишь изредка переписывались, и отец знал, что князь только что вернулся из-за границы, где он женился на знаменитой иностранной пианистке, делавшей артистическое турнэ по Западной Европе и приобревшей известность. Поселившись с женой в своем великолепном поместье, князь решил устроить домашний театр и свой собственный оркестр. Для обучения крепостных артистов он выписал нескольких иностранных учителей и музыкантов.

Князь охотно принял Ваську в свой оркестр, а через года два предлагал уже за него моему отцу большие, по тогдашнему времени, деньги. Он писал, что Васька, как по мнению его жены-артистки, так и по мнению проживающих у него иноземных учителей музыки, обладает феноменальными музыкальными способностями, что он на память, по слуху удивительно верно передает сложные в музыкальном отношении вещи из репертуара его жены и что вообще он оказался человеком даровитым: быстро, между делом, научился грамоте, имеет большую склонность к чтению и еще легче усваивает музыкальную грамотность и преодолевает технические затруднения.

Но мой отец уже давно сам мечтал устроить у себя театр и оркестр (конечно, в неизмеримо более скромных размерах, чем это было у князя) с тем, чтобы на подмостках его домашнего, более чем скромного театра прежде всего подвизались его собственные дети. Он был глубоко убежден в том, что такие театральные представления помогут развитию в них любви к искусству, что он считал главным основанием серьезного образо-

вания и воспитания гуманных чувств. С этою целью отец и отдал в обучение Ваську, а вовсе не для того, чтобы устроить музыкальную карьеру своего крепостного: даже такой гуманнейший для того времени человек, каким был мой отец, не дорос до этой идеи, а еще вероятнее то, что духовное развитие собственных детей он ставил выше всего. Как бы то ни было, но он наотрез отказался от предложения князя продать ему Ваську. Продержав его у князя еще некоторое время, отец взял его обратно к себе и устроил с его помощью собственный театр, при котором тот и состоял все время.

И вот теперь матушка приказывает ему выбирать одно из двух: итти на оброк или взять участок земли и поступить в один разряд с крестьянами-землепашцами. В то время Ваське уже перевалило за 30 лет; он был женат, но на его счастье у него не было детей. Хотя он, конечно, знал о перемене судьбы многих дворовых, но, когда дело коснулось его лично, он просто потерял голову: он то и дело бегал из людской в господский дом, о чем-то шептался со своею женою Минодорою, то приходил к матушке упрашивать ее дать ему землю, то отказывался от нее и от того, чтобы перейти на оброк. Хотя ему хотелось поступить в какой-нибудь столичный оркестр при театре, но он боялся, что недостаточно для этого подготовлен да многое и забыл с тех пор, как учился музыке, к тому же его пугала мысль, что он не найдет места ни в одной из столиц, так как никого там не знает.

Васька, человек высокого роста, чрезвычайно сухопарый и сутуловатый, в ту пору, о которой я говорю, ни своим говором, ни своим обликом не напоминал крестьянина. Его длинное худое с выдавшимися скулами лицо хотя не было красиво и носило следы оспы, но освещалось умными большими серыми вдумчивыми глазами; его манеры не были ни грубыми, ни мужиковатыми и скорее напоминали интеллигентного человека. И это понятно: он был грамотный, кое-чему поучился, кое-что узнал и повидал во время своей, если

можно про него сказать, артистической деятельности у князя, а отчасти и у моего отца, у которого он был не только главным музыкантом в его маленьком оркестре: он должен был вместе с ним приноравливать пьесы к данной обстановке, подымать и опускать занавес, нередко был суфлером, еще чаще выступал на театральных подмостках в качестве актера и солистом-музыкантом во время антрактов. Вследствие столь разнообразных обязанностей он получал одежду с барского плеча. Отец был плотный, широкоплечий, среднего роста мужчина, а Васька — длинный, как жердь, и худой; все барские обноски перешивались ему руками доморощенных портных, но теперь он донашивал обноски прежних обносков. Вследствие этого трудно было определить, что на нем одето, так как одежда не соответствовала его фигуре и была для него слишком коротка. Особенно бросались в глаза широкие штаны, не прикрытые кафтаном от самого седалища, и казалось, что его длинные-длинные ноги, точно палки, всунуты в них. Так как после смерти отца ему уже почти ничего не перешивалось, то он имел теперь совершенно обтрепанный вид. Одним словом, при первом взгляде на него, он производил впечатление человека свободной профессии, но истерзанного и измученного житейскими бурями и невзгодами.

Его жена Минодора, которую он, видимо, горячо любил и которую даже в ту пору всеобщего дранья он никогда не трогал пальцем, была ему совершенно под пару. Говорили, что она была плодом любви несчастной одного нашего родственника и красавицы-коровницы на нашем скотном дворе. Как бы то ни было, но Минодора осталась круглой сиротой в самом раннем детстве и была взята в комнаты. Она училась вместе с моими старшими сестрами (умершими во время холеры), была вполне грамотною, даже читала и понимала по-французски, вместе с сестрами подвизалась на театральных подмостках, но была горничною, хотя и очень любимою в доме. Театральная деятельность Минодоры

сблизила ее с Ваською,— они поженились, так как для их брака не было никаких препятствий со стороны моих родителей. По поводу браков наших крестьян я хочу сказать несколько слов.

Мои родители, как только взяли хозяйство в свои руки, твердо решили никогда не вмешиваться в браки крепостных, не заставлять их насильно вступать в нежелательные для них брачные союзы. Это правило отца очень не понравилось многим соседям, которые придерживались совершенно обратного образа действия. Кто бы ни приезжал к нам в гости в первые годы после замужества матушки, сейчас начинал разговоры о том, какой вред распространяет нововведение моих родителей относительно браков, и старался убедить их в том, что свобода брачных союзов вредна для самих же крепостных, так как они не что иное, как глупые, неразумные дети, и что помещики, будучи их истинными отцами и благожелателями, лучше их знают, кто к кому из них наиболее подходит для брачного союза. Но на все рассуждения отец всегда отвечал одним и тем же: поступать иначе ему не позволяет совесть. Тогда со стороны помещиков начались жалобы и доносы на отца, который будто бы своими действиями возмущает крестьян против помещичьей власти. Эти обвинения, по утверждению моей матери, чуть не кончились для отца очень дурно.

В те отдаленные времена становые и мелкие чиновники полицейского и судебного ведомства были обычными гостями помещиков. Хотя на людей подобной категории они смотрели свысока и полицейских называли «крапивным семенем», а судейских — «крючкотворами», но это не мешало им водить с ними дружбу. Делалось это для того, чтобы люди той и другой категории старались замять, когда это понадобится, их грязные делишки, покрывали их произвол над крестьянами, очень часто переходивший дозволенное даже в те жестокие времена. Как это ни странно, но этих «крючкотворов» и это «крапивное семя» принимали

у себя даже те помещики, которые не боялись судебных преследований, так как ничем противозаконным не занимались и не пятнали себя возмутительною жестокостью относительно крестьян. И вот эти немногие порядочные помещики тоже находили, что они, несмотря на свое презрение к людям подобного рода, не могут обходиться без них. Приедет, бывало, становой к помещику и говорит: «Вы должны в таком-то месте устроить мост» или: «Вы обязаны уплатить такую-то недоимку». Правильно ли такое требование или нет, помещик очень часто не имел об этом ни малейшего представления, а наводить по этому поводу справки, съездить куда-нибудь для этого — лень. Вот он и находил, что дружба с полицейскими и с мелкотою из судебного ведомства может избавить его от лишних хлопот, даст ему возможность не нарушать своей «обломовщины», а потому-то как хорошие, так и дурные помещики приглашали на свои обеды и вечера этих мелких чиновников, давали им время от времени взятки хлебом и разными сельскими произведениями, а то и деньгами. Мой же отец, живя по зимам в городе, всецело погруженный в интересы своей семьи и в свои книги, приглашал на свои спектакли и вечера людей, наиболее ему симпатичных и образованных, а становых и мелких чиновников он просто игнорировал. Помещики знали, что за гордое отношение моего отца к чинам полиции и судебного ведомства последние его недолюбливают, и с помощью их пустили в ход доносы на отца: их серьезно тревожили свободные браки между крестьянами, им казалось, что даже подобные мысли подкапывают устои крепостного права. Но дружба моего отца с предводителем дворянства расстроила их козни. Когда помещики, писавшие доносы на отца, увидали, что из этого ничего не вышло, они первые приехали в наш дом с распростертыми объятиями, выражали отцу свою приязнь и высказывали порицание кляузникам.

После этого отступления опять перехожу к прерванному рассказу. Положение Минодоры, жены Васьки-

музыканта, можно было назвать весьма сносным для крепостной; в то время, когда при жизни отца моя семья жила на широкую ногу, ее работа, в качестве горничной моих старших сестер, была совсем не трудная, и никакой обиды она не испытывала. Элегантная Минодора, не только чисто, но даже со вкусом одетая, кроткая по натуре, толковая и исполнительная, пользовалась общею привязанностью в доме, но особенно моих сестер, и покровительством няни, к которой она относилась, как к родной матери. Но то, что у нас ценили в ней прежде — ее прекрасные манеры и элегантность, необходимые для атрисы и для горничной в хорошем доме,— было теперь, по мнению матушки, нам не ко двору. Прежде Минодора только шила и убирала комнаты, но никогда не делала никакой грязной работы; теперь ей приходилось все делать, и ее хрупкий, болезненный организм был для этого помехою: побежит через двор кого-нибудь позвать — кашель одолеет, принесет дров печку истопить — руки себе занозит, и они у нее распухнут. У матушки это все более вызывало пренебрежение к ней: все сильнее проникаясь демократическими и спартанскими вкусами, она все с бо́льшим раздражением смотрела на элегантную Минодору. К тому же нужно заметить, что матушка вообще недолюбливала тонких, хрупких, бледнолицых созданий и предпочитала им краснощеких, здоровых и крепких женщин. Хотя Минодора пока еще оставалась у нас в доме, но участь ее висела на волоске. Правда, няня при всяком удобном случае упрашивала матушку окончательно оставить ее в горничных, резонно указывая ей, что всю грязную работу может исполнять кухарка, что у Минодоры при нашей семье и в таком большом доме, как наш, при множестве швейных работ, не будет даже хватать времени, но матушка не давала окончательного ответа: вероятно, раздражение против мужа Минодоры усиливало ее нерасположение и к его жене. В этой резкой перемене матушки к необыкновенно кроткой Минодоре, ничем не провинившейся перед нею,

наверно не малую роль играла вся ее внешность «воздушного создания». К тому же, как только изменилось наше материальное положение, матушка желала видеть всех,— и детей своих, а тем более прислугу,— за самой простой работой, которую безропотно исполняли бы все с утра до поздней ночи.

И вот положение Минодоры в нашем доме становилось все более неприглядным. Страх, что она будет вынуждена взяться за земледельческую работу, если ее мужу навяжут землю, боязнь за него и вечные простуды ухудшали ее слабое здоровье: она все сильнее кашляла, худела и бледнела. Выбегая на улицу по поручениям и в дождь и в холод, она опасалась накинуть даже платок, чтобы не подвергнуться попрекам за «барство». Насмешки окружающих над ее мужем и ею также вливали свой яд в жизнь этой несчастной четы.

— Эй, Васька, покажь «киякиры» (так называли крестьяне наш театр)!— кричал дворовый зубоскал, распиливавший во дворе доски вместе с другими крестьянами и заметивший проходившего Ваську.— Покажь, ну, что тебе?

Не дождавшись ответа от Васьки, он продолжал свои издевательства, обращаясь к остальным рабочим:

— Кузьма-то в город с домашностью езжал к панам, так сказывал, что ён видал эвти ихние киякиры. Поставят, грит, Ваську головой униз, а ногами-то ён уверх, а евойную-то женку Минодору яму на ноги-то и плюхнут... Он с ей ползет, а сам во всю глотку орет: «Сударыня-барыня, пожалуйте ручку!»

— На голове-то ходить — беда не велика: воля барская... Похуже того с им было: тринкать обучался два с половиной года...

С тех пор, конечно, много воды утекло... Вследствие освобождения крестьян, увеличения числа грамотных и множества других перемен в жизни народа, его мировоззрение на многие явления сильно изменилось. Не знаю, как теперь отнесся бы народ к человеку из своей среды, который специально учился бы

музыке, но в те отдаленные времена Ваську особенно осуждали за это, хотя всем, конечно, было известно, что никто не спрашивал его, желает ли он обучаться музыке. Мне самой, уже через несколько лет после объявления воли, пришлось разговаривать со многими крестьянами по поводу судьбы Васьки-музыканта, и они еще тогда сильно порицали его за учение музыке. Когда я спросила: «Что же, значит, и грамоте учиться не хорошо?» — один из крестьян заметил мне с иронией: «Ишь, что приравняла! известно, ученье — свет, а неученье — тьма; обучаться грамоте пользительно для человека, ну, а учиться тринкать-бринкать да пиликать на скрипке, терять на это время для крестьянина зазорно и перед людьми и перед богом.

— Как зазорно?— удивилась я.— Ведь на обучение Васьки была воля барская! Чем же он-то был виноват?

— Вестимо, баре, что, бывало, вздумают, то и делают с человеком... А ведь ежели что неподобное, непереносное паны затевали с крепостными,— веревку и о ту пору всегда можно было добыть.

. Несмотря, однако, на презрение крестьян к обучению музыке, самую музыку они очень любили и с любовью относились к музыкантам из своей среды: когда Васька еще парнем хаживал на свадьбы и праздники, его усердно угощали, одаривали, и если бы в то время над ним стряслась беда, т. е. если бы он впал в нищету от какого-нибудь стихийного бедствия, каждый постарался бы поделиться с ним последним куском хлеба: «Он-де старается, и для него надо постараться». Но с тех пор как Васька поучился у князя, он совсем перестал играть для крестьян плясовые, а вечером уходил в сарай. «И пиликает, да таково нудное, что моченьки нет слухать»,— говорили крестьяне.

Это обстоятельство тоже, видимо, приписывали дурному влиянию обучения музыке. И вот за то, что Васька перестал играть плясовые для удовольствия крестьян, за то, что он перестал ходить к ним на праздники и свадьбы, за то, что он вынес такой позор,

как обучение музыке, за представление «князиров», за то, что он женился на «барышне» (за женитьбу на горничной крестьяне не упрекали друг друга, но Минодора имела вид заправской барышни), за то, что он не трогал ее пальцем, за то, что он отвык от крестьянской работы,—за все это его презирали, издевались над ним и над его женой.

Васька вполне равнодушно относился к насмешкам дворовых, но, когда на дворе появлялась Минодора и какой-нибудь зубоскал подбегал к ней и проделывал неприличные жесты и телодвижения, Васька, с глазами, налитыми кровью, бросался на оскорбителя; начиналась потасовка, и можно было ожидать, что вот-вот произойдет уголовщина,—тогда все бросались разнимать противников. Но это бывало не часто: когда Минодоре приходилось итти во двор, чтобы выносить посуду или позвать кого-нибудь, и она замечала там рабочих, она тряслась и плакала. Заметив это, няня, ни слова не говоря, хватала у нее посуду или сама бежала звать, кого следует.

Как ни было плохо Минодоре, но положение ее мужа было еще хуже: она имела двух защитников — в лице мужа и доброй няни, а к Василию все относились или насмешливо, или недружелюбно; даже няня, которая со всеми была в самых наилучших отношениях, не могла выносить его, и это был единственный человек, которого она не любила. Так же как и крестьяне, она порицала его за то, что он отшатнулся от своего брата крестьянина, странным и диким находила она и его теперешнее пристрастие к музыке; не любила она его за то, что он выказывал отвращение к крестьянскому труду, не нравились ей и его высокопарные выражения и слова, звучащие для нее насмешкой.

Как-то после ужина матушке докладывают, что Васька просит дозволения переговорить с нею. Она догадывается, в чем дело, и приказывает позвать старосту Луку: она не делает никаких перемен в хозяйстве без его совета, что очень льстит ему. Этот честный

и работящий крестьянин служил верою и правдою своей госпоже, а уважение и почет, который она ему оказывает, заставляют его стараться еще более.

— Ну, что скажешь?— сурово обращается матушка к Ваське.

Тот объясняет ей, что теперь он уже окончательно решил не брать земли.

— Да ведь ты еще на-днях сам просил меня отрезать тебе кусок земли у полянки... Я не могу каждый день менять своего распоряжения только из-за того, что ты сума переметная! Я уже приказала Луке отпустить тебе лесу на постройку,— отпущу и твою жену: мне она не нужна. Устроитесь и будете хозяйничать, как остальные...

— Милостивая госпожа! Богом данная наша матушка! Высокая наша покровительница! Будьте великодушны, рассудите сами,— начал было Васька, наклонный к декламации и ораторству. Покойный отец прекрасно знал эту его привычку и не обращал на нее ни малейшего внимания, а матушку, далеко не лишенную в то время крепостнических взглядов и замашек, каждый раз такое вступление Васьки просто бесило, и она находила, что слова вроде «высокая, покровительница» или «богом данная матушка», а также его выражение «пораздумайте» вовсе не должны быть в лексиконе крепостного, тем блоее что, по ее словам, она никогда не могла даже разобрать, дает ли он ей эти эпитеты в насмешку или у него просто такая скверная повадка. А потому она резко перебивала его уже в самом начале речи.

— Изволь говорить со мной без фокусов и ужимок, а не то я тебя сейчас выставлю... Не хочешь итти по сельскому хозяйству,— на оброк переведу. В последний раз выбирай, что хочешь.

Василий со слезами бросился перед матушкой на колени, умоляя выслушать его.

— Не могу, видит бог, не могу, сударыня, ни с землею орудовать, ни оброк вам выплачивать... Ведь

когда я простым деревенским парнем состоял, я косил и пахал, все делал, от земли не отлынивал. Покойный барин изволили приказать по музыке итти... По музыке пошел, ведь этому уже теперь тринадцать годов, как я от земли оторвался... Как же мне к ней теперь приспособиться? То же и насчет музыки. Два с половиной года обучался,— но ведь я же от сохи попал в княжеский оркестр, значит пока обломался, пока что,— время-то и прошло. Разбирать-то ноты я научился, да ведь если в оркестр проситься, не то что в столицу, а даже в большой город, так сказывают — читка нот без запинки требуется, быстрота, легкость игры... Куда же мне! Ведь у покойного барина я в музыке дальше не пошел,— они ведь приказывали мне других обучать или играть то, что знаю. А разве я виноват, что барин не дозволяли мне дольше учиться? Может, о ту пору я из-за этого самого по ночам слезы кулаками утирал! А пикнуть, поперечить не посмел!.. Как же я посмею обещать выплачивать вам оброк своей скрипкой? Матушка! будьте благодетельницей, позвольте мне с женой остаться при вашей милости, мы, как перед богом, заслужим вам!

— Ты с ума сошел! Да что же ты наигрывать, что ли, мне собираешься «По улице мостовой», когда я с поля возвращаюсь? Если ты сам находишь, что у князя ты по музыке настолько не научился, чтобы ею теперь хлеб зарабатывать, так ты просто лентяй и болван! Два с половиною года от тебя не было никакой прибыли в хозяйстве, два с половиною года ты был предоставлен дурацкому ученью, а теперь извольте радоваться — из этого ничего не вышло!.. Тринкать-то «Ванька Таньку полюбил» ты мог и без учения, и без ущерба для господского хозяйства! Но если ты ничего не знаешь и ничем не можешь зарабатывать денег, я тебя, конечно, не могу пустить на оброк,— никаких денег от тебя не дождешься... Только знай — я тебя даром с женой хлебом кормить не буду! Ты у меня научишься крестьянской работе!..

Будешь у меня и косить, и пахать, и молотить! А теперь пошел вон!

— Ну, что ты скажешь?— обратилась матушка к старосте после ухода Василия.

Почесывая затылок, староста начал:

— Да что же, матушка-барыня... не извольте гневаться! Ведь толку-то из евойной работы не буде... Что из того, что ён ефту работу допреж справлял!.. не... к земле ему не присноровиться!..

— Это еще что за глупости! Покажешь толком, побьешься над ним первое время, он и научится! Возьми его на косовицу, пройди вместе полосу-другую, покажи, как косу держать, или на пахоте, как с сохой и с бороной управляться... Первое время ставь его на работу с хорошими рабочими... Всему можно научиться,— была бы охота за дело взяться да нашелся бы кто показать как надо...

— Воля ваша, сударыня, только я с им из силушки намедни выбился. Вечор вы изволили приказать за огородом лужок скосить,— я его с Петроком поставил! Так во как Петрок его выправлял, во как бился с им!.. Да ежели ён как есть человек никчемный, так что же с им поделаешь? Петрок — мужик степенный, а как поглядит на Ваську, как ён за косу примается, так евойно брюхо так ходуном и заходит. И потом же, барыня-матушка, ежели от вашей милости какое взыскание за мои недоглядки,— дескать, как я смел за тем не доглядеть да за эфтим,— так когда уж мне с им, с Васькой, значит, вожжаться? Окажите божескую милость, сударыня, ослобоните от Васьки, чтобы, значит, его прочь с моих рук... потому, как перед богом, сударыня, слободного времячка нетути.

— Ах, боже мой! — вскричала матушка в отчаянии.— Да пожалейте же вы меня! Значит, я его с женой даром хлебом кормить должна?

— Зачем, сударыня, задарма кормить! Можно на что другое переставить: на скотный, на починку построек, али там на рубку дров... А ежели, значит, ни

на что не загодится, так и тут же опять... есть средствие...

— Какое средство?.. Говори, в чем дело?

— Такое, сударыня, какое у всех суседей... Значит, как знатно отпороть на конюшне, так дурь-то евойная уся и соскочит!..

Хотя матушка думала, что действительно ничего другого не остается делать с «таким мерзавцем, как Васька», но не решалась пообещать старосте применить это средство, а сказала только, что сама теперь возьмется за него. И вот, кроме всевозможных хозяйственных хлопот, у матушки появилась теперь новая забота: она каждый день заставляла себя подумать о том, «что сегодня будет делать Васька?», и из-за того, чтобы он даром не ел ее хлеба, она стала следить за каждым его шагом. Отправляются на молотьбу, и Васька за ней. «Болван!» — резко раздается ее окрик в овине, когда он ударами цепа вместо соломы околачивает ноги рабочих. А когда он на косовице, будучи поставлен в ряд с лучшими косцами, зазубрил одну за другой две косы, она в исступлении затопала на него ногами. Не более прибыли приносил он матушке и при постройках. Раз как-то приказали ему стругать доски, и сейчас же староста пришел донести, что Васька испортил рубанок. После каждой неудачи Ваську призывали в горницу, и матушка на чем свет распекала его. Во время одной из таких распеканций она объявила ему, что через месяц-другой, если от него попрежнему не будет никакого толку, она отправит его в воинское присутствие и получит за него рекрутскую квитанцию.

— За что же так, сударыня! — совершенно испуганный и оскорбленный, заметил Васька.— Может, еще сбудете меня с рук? Может, еще найдутся люди и настоящие деньги вам за меня предоставят?

— Как ты осмеливаешься еще вздор такой болтать! Таких дураков на свете больше нет, которым нужна твоя дурацкая музыка!

Ненависть к Ваське росла у матушки вместе с его неудачами. По натуре замечательно деловитая и работящая, матушка не могла выносить, чтобы кто-нибудь из ее подданных не содействовал восстановлению ее расстроенного хозяйства. Если человек не мог или не умел делать всего, что необходимо было в хозяйстве, она считала его уже вполне негодным, даром бременящим собою землю. Матушка не могла понять, что высшие способности Васьки к искусству мешают его успешной работе в сельском хозяйстве, что развитию их помог тот же барский произвол, вследствие чего он и потерял способность к простому труду.

Нечего и говорить, что в промежутки между экспериментами над Васькиными способностями к сельской работе он никогда не оставался без дела: то носил воду на скотный двор и в дом, то привозил кирпич, то приводил в порядок что-то в саду или около дома, то рубил дрова. Хотя все это было крайне необходимо в хозяйстве, но почему-то у нас все это считалось не настоящим делом, а «поделками», что мог исполнить даже подросток.

Однако мало-по-малу матушка все реже начала сокрушаться о том, что она не может получать от Васьки всей той выгоды, на которую она считала себя в праве, как помещица. Произошло это от того, что жалобы на Васькино бездельничество, очевидно, становились все менее основательными. Будучи по натуре толковым, трезвым, безукоризненно честным и грамотным, он был точно создан для того, чтобы выполнять в хозяйстве наиболее сложные поручения. Хозяйство, пущенное в ход энергичною рукою матушки, все усложнялось, все настойчивее требовало особого человека для выполнения чрезвычайно разнообразных поручений; староста чуть не каждый день просил у матушки позволения отправить Ваську то в кузницу — «справить порченый струмент», то ковать лошадей, то на мельницу. По домашним делам тоже часто приходилось его посылать: то в волость с письмами, то за по-

купками, то по делам в город. В виду того что все это Васька выполнял вполне хорошо, матушка, все более развивавшая свою необыкновенную практичность, стала подумывать о том, как бы еще с большею выгодою утилизировать проявившиеся у него способности. Кроме очень немногого, что у нас покупалось для дома, мы главным образом существовали продуктами нашего деревенского хозяйства, и все-таки у нас оставались хозяйственные сбережения вроде масла, телят, поросят и разной живности, а также ржи, овса и т. п. Матушка, окончательно поселившись в деревне, несколько раз пробовала посылать на продажу эти сбережения в близлежащие города, а также и на постоялые дворы, но выручка от продажи была так ничтожна, что она не находила это для себя выгодным. И вот она решилась сделать попытку — отправить Ваську с сельскими сбережениями. Каково же было ее изумление, когда он по возвращении выложил ей на стол сумму, в четыре раза бо́льшую, чем его предшественники. При этом, чтобы дать возможность себя проверить, он аккуратнейшим образом записал, где и что продал, сколько и за что выручил. Матушка была поражена. Она тотчас позвала крестьян, раньше его отправляемых продавать хозяйственные сбережения, и объявила им, что они «мошенники» и «воры», так как многое прикарманивали из выручки. Это возбудило еще бо́льшую ненависть крестьян к Ваське: они прекрасно знали, что полная проверка продажи была немыслима, и не находили нужным так щепетильно относиться к барскому добру. Они оправдывались перед барынею тем, что такая огромная выручка говорит только о том, что Васька—«цыган, умеет маклачить». Теперь вместо насмешливых вопросов: «Эй, Васька, что твои киякиры?» ему кричали: «Ну, цыган, барам маклачить умеешь, скоро ли себе богачество добудешь?..».

Хотя Васька в конце концов был так завален поручениями, что у него иногда нехватало времени выполнить все, что требовалось, хотя он продажею

хозяйственных сбережений начал приносить весьма осязательную выгоду, но он с ужасом думал о матушкиной угрозе: «Ну, а как вдруг да забреют лоб?». Но зато положение его жены Минодоры в качестве нашей горничной совершенно упрочилось. Нельзя было не полюбить это безответное существо, всегда готовое делать все, что приказывают. Кроме уборки большого дома, было много починки и шитья, и матушка как будто убедилась, что и это нужно делать кому-нибудь. Хотя она не говорила о том, что Минодора и Василий навсегда останутся в нашем доме, но мы, ее дети, очень любившие эту пару, успокоились насчет ее судьбы.

Трудно представить, как радовалась моя сестра Саша тому, что Васька проявил способности к торговле: она очень любила его за доброту и внимание к ней, но более всего за его музыкальный талант. К тому же в его несчастной судьбе она находила некоторое сходство со своею собственною судьбою, что заставляло ее как-то особенно горячо сочувствовать ему, как-то болезненно жалеть его. Она смотрела на него, как на чрезвычайно даровитого человека, которого загубил жестокий рок.

В теплые летние вечера, когда на скотном дворе, в хатах дворовых и в господском доме гасили огни, Василий пробирался на сеновал и начинал играть на скрипке, держа в губах что-то вроде маленького свисточка, в который он посвистывал во время игры,— выходило, точно он сам себе аккомпанировал.

— Нянюшечка, дорогая, золотая!— кричала Саша, вбегая в нашу спальню, когда мы с няней готовились ко сну.— Васька играет! пойдем его послушать!..— И мы отправлялись в сарай, откуда уже раздавались звуки его скрипки. Мы взбирались на сено, а Васька не переставая продолжал играть.

— Как хорошо! Играй, пожалуйста, играй!— умоляла Саша.

— Барышня вы моя драгоценная! Очень я вами доволен: ведь вы одна здесь можете оценить! От одной

вас я не слыхал попреков, а то ведь только и есть «дармоед» да «цыган»... И вот извольте рассудить: в другой бы стране... если бы, значит, я вышел на эстраду да заиграл... Может, цветами забросали, а тут только и жди, что в награду тебе лоб забреют...

— А вот, чтобы этого не было,— прервала его няня наставительно,— ты исподволь к сохе да к косе приловчайся. Может, помаленьку дело-то и пойдет! Тогда уж наверное, барыня смиловалась бы, потому что ты теперь насчет поручениев очень хорош, а тогда бы уж окончательно в доме упрочился. А то барыне все боязно, что, как эти поручения прикончатся, ты опять без дела останешься. А с пиликаньем своим, Василий, не очень ты заносись из-за того, что Шурочка тебя так выхваляет!.. Она ведь не совсем еще взрослая!.. В твое положение вникнуть не может! Ты ведь не барин какой,— должен сам понимать, что все это одна забава...

— Домоправительница вы наша бесподобная! Бесценная вы раба! У вас много понятиев насчет барского добра, готовы вы глотку перервать всякому, кто до него докоснется... А вот насчет того, что касательство имеет до моего дела, так вы ровно ничего не смыслите...

— Опомнись ты, Василий! Вот хоть бы и насчет твоих слов... Ведь как ты ими барыню гневишь! Я уж последний человек, а как ты зачнешь их выкидывать, так и меня всю передергивает!.. Ну, скажи по совести, Шурочка, разве он может своей мужицкой головой понимать все свои словечки?

— Ах, нянюшечка, отчего же нет? Он и Пушкина, и Лермонтова читал, хорошие пьесы на память заучивал...

— А оттого я думаю так, что мужицкая голова всегда останется мужицкой головой! Я побольше его с господами живу... Вы, деточки, то и дело слова мои выправляете, и покойный барин тоже... А покойная твоя сестрица, красавица моя Манюшечка, пальчиком мне,

бывало, то и дело грозит, а сама приговаривает: «нянюшечка, *«непременно»,* нянюшечка, *«начну»,* нянюшечка, *«теперь»*,— я это все себе на ус наматываю, да тут же и брякну: «беспременно», «зачну» да свое «таперича»... так я-то знаю, как слова разные говорить надо, только забываю, а ведь у Васьки куда больше слов в его разговоре, и он так и сыпит ими, как горох из мешка...

— Что же, я сам знаю, что многое на мужицкий лад переворачиваю... Так ведь я теперь только и разговариваю с мужиками... Но все же, почтеннейшая Марья Васильевна, я побольше вас понятиев имею! Ведь в голове-то у вас только барское добро да думки о том, как его блюсти, а моя голова приспособлена к божественному искусству!

— Ах, Василий, Василий! — перебила его няня с сокрушением,— злосчастный ты человек! Какие святые слова ты к глупостям припутываешь! — И няня с сердцем встает и ведет нас домой. Но Саша не унимается, толкует по дороге о том, что к Ваське несправедлива даже и она, что он — талант, что его судьба такая же несчастная, как и ее.

— Ах, Шурочка, Шурочка! Вот нашла, кого к себе приравнять! Ты — столбовая дворянка, помещичья дочка, настоящая барышня,— и вдруг — смерд,— и на одну доску с собой!

Август на дворе. Наступает время отправки Андрюши в полоцкий корпус; его должен отвозить Васька и на месте сдать начальству с рук на руки. По вечерам няня нет-нет да и скажет матушке, что хорошо-де, что есть у нас такой человек, как Васька, на которого вполне можно положиться, что он в дороге ни одной копеечки «задаром» не потратит, и «хотя до смерти любит наших детей, но и не даст мальчику баловать». Со стороны беспредельно жалостливой няни было вполне естественно кстати замолвить перед матушкой доброе слово за всякого несчастного, но в этом случае это ее особенно хорошо рекомендовало, так как она Василия недолюбливала.

Матушка была печальна и молчалива: ее крепко печалила разлука с Андрюшею.

Несмотря на то, что он был самый непокорный из ее детей и чаще кого бы то ни было из нас позволял себе говорить ей дерзости, несмотря на то, что ее огорчала его наклонность к пустому времяпрепровождению и к барским замашкам, он все-таки был самым любимым ее детищем.

Вот и его отъезд. Обнимая и целуя его в момент расставания, матушка молчит, только сквозь слезы, которые градом катятся по ее щекам, она как-то просительно-умоляюще вглядывается в его глаза... Наконец она дрожащим голосом произносит: «Дурь-то соскочит с тебя! Соскочит!.. Я уверена! Ведь ты весь в отца! Помни это!..»— И она, захлебываясь слезами, отвертывается в сторону.

На нас, детей, отъезд Андрюши не произвел никакого впечатления,— мы так мало видели его дома. Правда, Саша очень плакала при разлуке с ним, но она, видимо, оплакивала при этом свою судьбу, так как все приговаривала: «Все учатся, только я одна... Весь век просижу в этой трущобе!..».

Наконец возвратился Василий. Проезжая мимо нашей волости, он захватил денежную повестку. Матушка пришла в совершенное изумление: ей кто-то посылал триста рублей!..

— Да ведь это вам, матушка-барыня, от ваших братцев! Вы им писали насчет Шурочкиного ученья, вот они вам и посылают денежки... Только, матушка-барыня, ни слова не скажем Шурочке,— такая она у нас стала слабенькая, худенькая, раздражительная!.. Поди радости этой своей сразу-то она не перенесет! А когда удостоверимся, что денежки для Шурочки, тогда исподволь и подготовим ее к такой большущей для нее радости.

Матушка нашла эту мысль совершенно правильной, тем более, что она не хотела верить тому, что эти деньги для Шурочки: думала, что старший брат посы-

лает их ей на какие-нибудь нужды по своему имению для передачи управляющему.

— Шурочка... дорогая моя... стань-ка ты на колени перед образами да помолись поусерднее, чтобы исполнилось то, что я во сне видела... А видела я намедни, что ты отправляешься в пансион для настоящей учебы,— так начала няня подготовлять сестру уже с вечера, хотя письмо еще не было получено.

— Не хочу я молиться! Не хочу и не буду!.. Слышишь... никогда не буду! — закричала Саша вспыльчиво и раздражительно и вдруг упала на пол в корчах и в истерическом припадке.

Когда на другой день письмо с деньгами было получено, оказалось, что оно от петербургских дядюшек, посылавших деньги для взноса платы вперед за полугодие на образование Саши в пансионе m-me Котто в Витебске, пользовавшемся тогда громкою известностью. Няня с матушкою долго шептались между собой о том, как объявить об этом сестре: после вчерашнего припадка она выглядела так, точно встала после продолжительной болезни,— утомленною и разбитою. Тем не менее матушка позвала Сашу и, боясь сразу испугать ее неожиданным известием, начала говорить ей о том, что она напрасно приходит в такое отчаяние, что ее братья — очень добрые люди и просят передать ей, что она может питать надежду на образование, так как они употребят для этого все силы.

— А я знаю, что из этого ничего не выйдет,— резко перебила она, быстро выбежала из комнаты, бросилась среди белого дня на кровать и крепко заснула; проснулась она только на другой день утром вместе с нами. Когда она вошла в нашу комнату, няня стала говорить, обращаясь ко мне: «Ну вот, Шурочка-то наша поедет учиться... ученая будет и тебя, дитятко, всему обучит... Вот поди ж ты! Ведь она не верит! А мамашенька и письмо оставила... «Пусть, говорит, сама прочтет!» Мы-то не все сказали ей: деньги-то уж получены, в руках у нас! Ну что же, Шурочка, молчишь? Бери письмо!».

Саша, не проявляя ни малейшей радости, точно дело шло не о ней, как-то машинально взяла письмо и неторопливо вышла из комнаты.

— Господи! да что же это с ней? — с испугом спрашивала няня.— И такую-то весточку без радости встретила! Боже ты мой! Спаси нас грешных!.. А быть беде!

— Нянечка! — закричала старшая сестра Нюта, вбегая к нам,— с Шурочкой что-то творится! Я так обрадовалась, что ее желание сбылось... Хотела поболтать с нею... А она молчит,— точно столбняк на нее нашел.

Мы бросились к Саше и застали ее сидящею на кровати: бледная, с осунувшимся лицом, с помутившимися, точно оловянными глазами, она сидела с опущенной вниз головой, совсем сонная, передергивая плечами, точно для того, чтобы не заснуть.

— Шурочка! да что это с тобой? Скажи ты мне, голубка, хоть одно словечко! Головка у тебя болит, что ли?

— Спать хочу... Оставьте вы меня в покое!..— проговорила Саша утомленным голосом.

— Как спать? Полтора дня проспала, теперь утро, только встала и опять спать? Нюточка,— обратилась она к старшей сестре,— неси скорее нашатырный спирт! Давай ей нюхать, а я буду ноги ей растирать...— Но так как Саша продолжала умолять оставить ее в покое, няня выбежала в девичью и приказала Ваське как можно скорее ехать за матушкой.

— Ну что? — злобно и иронически спрашивала матушка няню, выбежавшую к ней навстречу.— Видно, богу-то твоему досадно стало, что мы несколько месяцев без несчастья прожили!

Бедная няня! Когда судьба посылала какое-нибудь горе матушке, она корила няню богом, точно он был близким для нее существом, за действия которого она была ответственна. Люди экспансивные чувствуют неутолимую потребность изливать перед кем-нибудь свое горе, а при вспыльчивости непрочь причинить и неприятность близкому человеку: это доставляет им ка-

кое-то облегчение. У матушки среди взрослых окружающих людей не было никого ближе няни, вот ей и попадало чаще других.

— Матушка-барыня! Разве можно такое говорить? Смириться нужно...

— Убирайся ты с своим смирением! — кричала матушка и в страшном волнении начала срывать с себя пальто.— Я довольно смирялась!.. Смирялась до того, что отупела! Не видела, что девочка, точно свечка восковая, тает от горя! — И она порывисто вбежала в комнату Саши, бросилась перед нею на колени, целовала ее руки и с раздирающими душу воплями выкрикивала: «Прости... прости меня, дочурка моя дорогая!».

Саша приподнялась, но голова ее бессильно упала на подушки.

— Ах, оставьте меня! Я спать хочу!..— с усилием выговорила она.

— Боже мой! — кричала матушка, в отчаянии ломая руки.— Зачем мне жить, если они все умирают! Нет, этого горя я не перенесу!

Это отчаяние матушки и ее страх за жизнь Саши вдруг напомнили мне мою тяжелую болезнь, и мне опять пришли в голову ее злосчастные слова: «Пусть умирает»...

Злоба и ревность обожгли мое сердце, и я вдруг, неожиданно для себя самой, стремглав выбежала из комнаты и бросилась на свою постель. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания, но, когда няня наклонилась надо мной, я металась по постели и злобно шипела: «Саша только спать захотела, и «она» так убивается над нею!.. А меня не жалела, когда я умирала!».

— Как тебе не стыдно!..— заговорила няня, но я оттолкнула ее от себя, вскочила с постели и бросилась в комнату Саши, где попрежнему у ее изголовья сидела матушка. Я быстро подбежала к ней, нагнулась и со всей силы укусила ее руку.

— Господи, да что это с ней? Что это за змееныш? Что за волчонок растет?..

Но я опять бросилась вон из комнаты...

Все эти подробности о болезни сестры и о всех домашних происшествиях в это время мне впоследствии много раз рассказывали близкие.

Хотя Саша попрежнему продолжала спать весь день, но матушка несколько успокоилась. На домашнем совете было решено закрыть ставни в ее комнате и дать ей вволю выспаться. Но когда наступили сумерки, а она все не просыпалась, к ней внесли свечку и стали ее будить, предлагая съесть то одно, то другое. Саша проснулась и совершенно сознательно стала просить оставить ее в покое, выпила стакан молока и опять тотчас заснула. Совершенно то же повторилось и в следующие дни: когда к ней входили, ее находили спокойно спящей, но, как только начинали ее тормошить, она просыпалась и просила не мешать ей спать. Матушка высказала мысль, не летаргия ли у нее начинается.

Несмотря на то, что случаи заболевания этою болезнью были крайне редки, о ней в помещичьих домах чрезвычайно много говорили. Чуть ли не все дамы того времени видели и уж наверное слышали из «самых достоверных источников» о подобных случаях и передавали друг другу целые трагедии по этому поводу. В этих россказнях, сильно пополнявших недостаток легкого чтения, фигурировал обыкновенно молодой красавец, впавший в летаргию: его приняли за умершего и похоронили. Но кладбищенский сторож, услышав стоны, исходившие из могилы, откопал погребенного, и тот внезапно возвратился в свой дом. Между тем его ближайшие родственники уже производили дележ его наследства и страшно ссорились между собой.

Еще чаще эту болезнь приурочивали к красавицам-невестам. Случайно освобожденная из могилы, она тихонько пробирается к окну своего милого в то время, когда тот падает, пораженный пулею, которую он пустил в свое сердце, не будучи в состоянии перенести горечь утраты. Большинство же рассказов кончалось тем, что

кто-нибудь, заслышав стоны погребенного, раскапывал могилу, но было уже поздно: крышка гроба оказывалась сдвинутой с места, а мнимо умерший окончательно умер в страшных мучениях... Разорванное платье, искусанные и исцарапанные лицо и руки — все доказывало адские мучения в тот момент, когда несчастный проснулся от летаргии и не мог высвободиться из могилы. Несмотря на массу явных несообразностей и нелепиц, рассказывавшихся по этому поводу, эти россказни производили сильное впечатление. Я много встречала людей, говоривших мне, что они смертельно боятся быть заживо погребенными, и сознавались, что такой страх — результат рассказов, слышанных ими в детстве о случаях с людьми, впавшими в летаргию.

Как только было произнесено слово «летаргия», у нас начались бесконечные рассказы, которыми взрослые сами себя и детей так наэлектризовали, что всех нас вдруг охватил страх за Сашу, и мы, точно по уговору, друг за другом выскакивали из-за стола, чтобы взглянуть на нее.

— Ничего такого у нее нет,— заговорила няня с сердцем, подходя к ее кровати.— От горя бедненькая притомилась... От страха замучилась, что не будет ученая.

И действительно, Саша спала совершенно покойно. Она открыла глаза, прежде чем начали ее будить.

— Девочка моя милая,— заговорила матушка, нежно целуя ее,— мы тебе больше не дадим спать!.. Нельзя, Шурочка,— ведь ты почти сплошь трое суток проспала...

— А то знаешь, Шура...— выпалил Заря,— у тебя сделается летаргия, и тебя живою в могилу закопают!

— Неужели это правда, мамашечка? — испуганно спрашивала Саша, приподнимаясь с постели.— Я теперь не хочу умирать! Я боюсь летаргии! — И она расплакалась.

— Мы тебя сейчас окатим холодной водой, и твой сон сразу соскочит!

Поддерживая со всех сторон больную, которая так ослабела, что не могла сама итти, ее вывели в зал, окатили с ног до головы целым ушатом колодезной воды, вытерли, на руках вынесли в столовую и положили на диван. Нам же приказано было садиться за стол, хотя мы уже отобедали. Скоро после этого к нам внесли поднос, уставленный тарелками с печеньями, кофейником, из которого несся запах кофе, и сливочниками разных размеров; в одном из них были кипяченые сливки, в другом — только подрумянившиеся пенки. При этом матушка объявила нам, что сегодня у нас праздник по случаю Сашиного выздоровления и вступления ее в пансион.

— Что это? Тебя, кажется, опять клонит ко сну? — со страхом спрашивает матушка, подбегая к сестре.

— Нет... нет! — отвечает Саша, а у самой слезы катятся по щекам. Она начала целовать руки матери. Была ли она тронута праздником, который давали в честь ее, или это были слезы радости, что наконец исполнилось ее желание,— она ничего не сказала.

Мы все очень любили кофе, но со времени нашего разорения у нас смотрели на этот напиток, как на недосягаемое блаженство, а потому мы с жадностью набросились на него.

— Нам по одной или по две чашки дадут? — спрашивал Заря, с ужасом замечая, что он уже кончил первую чашку.

— По две, по две...— добродушно улыбаясь, отвечала матушка.

— Да мы сами себя так ли еще употчеваем!.. А то гостям да гостям! Вот и мы дожили...— бормотала няня, больше всех блаженствуя за то, что нам, детям, доставлено, наконец, такое удовольствие. При этом она из своей чашки подливала кофе то в мою, то в Зарину чашку.

— Ты что же это такие пустяки делаешь? Тебе мало, что ты для них вверх ногами переворачиваешься? Сказано, чтобы вся семья сегодня праздновала!.. Ведь два кофейника сварено! Кажется, всем будет довольно! —

сердито бросила матушка в сторону няни, заметив ее маневр с кофеем.

— Да я так, матушка-барыня... очень уж сыта... ведь сейчас только обедали.

— Не одна ты обедала, и они вместе с тобой...

Но и этот окрик не нарушил нашего восторга: мы наслаждались вполне; даже в моем ревнивом сердце не было и тени тревоги за то, что празднуют Сашино выздоровление,— а когда я выздоравливала после холеры, на это не было обращено ни малейшего внимания. Мы еще не кончили кофе, когда Минодора начала размещать на столе бисквиты со сбитыми сливками, пирожки с вареньем, яблоки, только что снятые с яблонь в нашем саду, огурцы с медом. Заря не то захохотал, не то заржал от удовольствия, а я стала ерзать на стуле. Няня подталкивала нас под столом, напоминая, что неровен час и что даже сегодня мы можем вызвать грозу.

— Мамашенька! — вдруг умоляюще проговорила Саша,— позвольте мне чуточку-чуточку вздремнуть.

— Дочурочка моя милая!.. но ведь это ужасно! Постарайся еще хотя часика два не спать... Скушай что-нибудь...

— Есть ничего не хочу... Подарите мне два-три пирожка... Но чтоб это были мои пирожки,— кому хочу, тому и отдам.

— Сколько тебе угодно, моя девочка! Но как нам тебя развлечь, чтобы ты не спала?

— Я бы вам сказала... мамашенька... да боюсь, вы рассердитесь.— И Саша долго не говорила, несмотря на просьбы матери сказать ей, в чем дело. Наконец призналась, что если Васька поиграет на скрипке, она, может быть, и не заснет.

Няня прекрасно понимала, что матушка ничего не имеет против того, чтобы Саша слушала музыку Василия с крыльца или где-нибудь во дворе, но совсем иначе она посмотрит на то, когда он явится со своей скрипкой в «хоромы», где находилась сама барыня.

В этих случаях няня всегда умела выходить из житейских затруднений: она подала мысль приготовить Саше постель в незанятой и пристроенной к дому горнице: там-де Васька может «разливаться» сколько душе угодно и не помешает матушке хорошенько выспаться.

— Правда... я плохо спала эти ночи, но ведь ты-то, вероятно, и глаз не закрывала: когда я входила взглянуть на Сашу, ты всегда там торчала. Иди непременно отдохнуть. Детей можно доверить Василию.

— А ведь я знаю,— сказала няня сестре, когда та по уходе матушки начала заворачивать в бумажку бисквиты и пирожки.— Все это ты Василию заготовила!

Мы втроем в пристройке: Саша уже уложена в постель, я шью на кукол у столика, Василий кладет на стул свою скрипку и бросается на колени перед сестрой.

— Барышничка вы моя бриллиантовая! — и Василий в экстазе целует руки сестры.— Видит бог... Ежели бы я да на эстраду попал... и меня бы стали осыпать цветами... Если бы, значит, я это своей скрипкой заслужил... я бы так гаркнул публике: «Все это ангелу нашему... разбесценной нашей Александре Николаевне!.. Все ей...»

— Бери, Василий, ешь, а потом сыграй...— говорила Саша, протягивая к нему пирожки и бисквиты.

— Вы настоящий ангел, Александра Николаевна! Будьте великодушны: позвольте это жене оставить. Простите, что я осмелюсь вам сказать: ведь в других господских домах горничная иной раз, когда блюдо несет, что-нибудь и урвет, а у нас это никак невозможно!.. При достопочтенной нянюшке вашей Марии Васильевне у нас ни синь-порохом не воспользуешься... Она умеет охранять всякую крошку барского добра!..

— Ты знаешь, Василий, ведь я еду учиться... Все случилось так неожиданно!.. Может быть, и тебя ждет счастье?.. Ты не отчаивайся!..— утешает сестра нашего музыканта.

— Нет, чудная барышничка!.. Теперь уж я потерял последнюю надежду! По секрету вам вот что доложу:

о ту пору, когда маменька ваша пригрозила меня в рекруты сдать, я хотя и очень привержен к вашему семейству, но тут совсем испугался... сейчас князю отписал: так и так, дескать, как вы, значит, допрежде изволили желать купить меня, а на это отказ от моего барина получили, а как теперь, значит, все в нашем доме переменилось, и уже барыня решила лоб мне забрить за то, что я никак не могу приспоровиться к крестьянской работе, то не будете ли вы столь великодушны купить меня? Вполне-де полагаю, что ныне отказа на это не получите: времена для нашей барыни очень тяжелые по смерти супруга настали... Опять же я и насчет Минодоры отписал... Могу, говорю, поручиться животом моим, что жена моя княгине угодит: большие способности для своего дела имеет, и судьба наделила ее вполне подходящим видом для горничной в великолепных княжеских хоромах... И что же вы думаете, барышничка моя? Вот уже два месяца никакого ответа... Нет, уж пропадать мне. Под сердитую руку барыне попадусь, так и лоб забреют! А теперь извольте обратить внимание, какие унижения выношу: поручения выполняю в самом лучшем виде, а когда чуть свободное времечко выпадет, староста сейчас приказ отдает то хлев чистить, то навоз вывозить... Это все, чтобы унизить мою личность! А у меня, барышничка, звуки, всюду и везде звуки! Видит бог, нет, так сказать, в моей конструкции ни одного местечка без них! Изводят они меня! В голове они у меня... в сердце... так и выбивают всяческие фирьетуры... А тут, извольте видеть,—навоз! Вот к примеру сегодня: только заслышал, что вам полегче стало, что вы уезжаете, у меня эти звуки так и забарабанили, так и отбивают марш в честь вашего выздоровления... А ведь к скрипке и не посмей притронуться! Вот извольте прислушаться, хочу попробовать... еще не знаю, что выйдет...

Васька играл, а сам от времени до времени объяснял то, что играет. И, обращаясь ко мне, говорил: «И вы, маленькая барышничка, прислушайтесь... Вот

это, значит, всякая божия тварь радуется выздоровлению вашей сестрицы. А вот теперь птички защебечут... может, отличите и кукушечку...». И мне казалось, что в игре Васьки и птички щебетали, и кукушечка куковала. «А вот это ручеек журчит!.. Ну, а это уже торжественная фуга,— благодарность господу богу за выздоровление, за исполнение барышничкиных желаний...» Он кончил и несколько минут не произносил ни звука и не играл, а потом, точно собравшись с силами, дрожащим голосом сказал: «Ну, а в этом уж я судьбу свою злосчастную изобразил...». И он начал выводить что-то в высшей степени печальное, вероятно то, что наши крестьяне называли «нудным».

Саша горько рыдала.

— Боже! Васька, неужели ты это сам сочинил? Ты два с половиной года учился, а я четыре!.. А ведь я и подобрать бы этого не сумела! О, боже, боже! зачем я такая былинка?.. Ничего не могу сделать, для тебя!.. Ведь ты гений, Васька, настоящий гений! Отчего же мне не дано помочь тебе, вывести тебя на дорогу?

Через несколько дней Саша совсем оправилась, и ее сразу захватила мысль о предстоящем вступлении в пансион. Множество вопросов по этому поводу приходило ей в голову, и она то и дело прибегала к няне для совместного обсуждения: матушки, по обыкновению, не было дома, к тому же с нянею она была более откровенна.

— Няня, няня! — кричала она, вбегая в нашу комнату,— а вдруг окажется, что я ничего не знаю для поступления в средний класс? Ведь мне четырнадцать лет, не могу же я поступить в самый маленький класс? Было бы неделикатно все шесть-семь лет просидеть на шее дядюшек! Какое счастье, что Ольга Петровна (гувернантка Воиновых) из того же пансиона!.. Она многое мне объяснит. Нянюшечка, поезжай к ней, попроси, чтобы она хотя немножко занялась со мной.

Матушка отправила няню с письмами к Воиновой и ее гувернантке: она просила, чтобы последняя

проэкзаменовала Сашу, а если нужно, и занялась с нею, а Воиновой,— чтобы та дозволила это своей гувернантке. Получились самые благоприятные ответы: Воинова звала Сашу погостить у себя, а гувернантка охотно соглашалась заниматься по вечерам, когда дети ложатся спать. На вопрос о вознаграждении она вот что передала няне: при найме ее в гувернантки Воинов обещал ежегодно давать ей отпуск в Витебск на 6 недель, где в пансионе m-me Котто была учительницею ее родная сестра и где она сама воспитывалась. В Витебске же жила ее старуха-мать. Несмотря, однако, на то, что ей обещано было давать для этих поездок лошадей, она в течение двухлетнего пребывания в доме Воиновых еще ни разу не получала отпуска. Теперь она решила нанять лошадей на свой счет, но ей страшно ехать одной с незнакомым извозчиком. Она просила матушку, вместо платы за занятие, отвезти ее с Сашею в Витебск, а затем через 6 недель опять прислать за нею лошадей. Все эти 6 недель Ольга Петровна постарается ежедневно видеть Сашу и отрекомендует ее всему учительскому персоналу пансиона, с которым хорошо знакома, а по возвращении она доставит матушке самые подробные сведения относительно положения ее дочери.

Это известие привело в восторг не только Сашу, которая совсем опьянела от счастья и бегала всех обнимать, но и матушку. Она долго ломала голову, как устроить эту поездку: она не считала возможным поручить дочь только Василию и горничной, а ехать самой — значило потерять много времени, да еще в Витебске нанимать номер в гостинице и много тратиться; теперь же это прекрасно улаживалось. Матушка с нянею порешили не только отправить Ольгу Петровну на свой счет и привезти ее обратно, но и сделать ей еще подарок — купить на платье. Матушка даже надеялась, что посылка лошадей за Ольгой Петровной во второй раз не будет для нее обременительною: можно поручить Ваське продать в городе кое-что из живности и домаш-

них сбережений. Одним словом, у нас нашли, что все складывается чрезвычайно благоприятно, а потому решено было, что в первое же воскресенье вся семья отправится в церковь и будет заказан благодарственный молебен.

Критическое, а то даже и язвительное отношение к господу богу, какое матушка проявляла в момент бедствий и несчастий, при первой же удаче как рукой сняло. «Вот теперь необходимо бога поблагодарить: деньги точно с неба свалились, и все так хорошо устраивается! По правде сказать, и попу за молебен рублишко не пожалею заплатить»,— говорила она при детях, нисколько не стесняясь и простодушно посмеиваясь над собою. Этим наивно-утилитарным отношением к господу богу и мы проникались в раннем детстве. Теперь это полуязыческое отношение матушки к религии живо напоминает мне неаполитанцев: когда Везувий угрожает им опасностью, они украшают изображения святых, с страстною мольбою преклоняют пред ними колена; но гроза надвигается, извержение приближается, и они с негодованием срывают свои украшения со статуй святых, с проклятием бросают в них камнями, глумятся над ними.

В первый раз после жестоких бедствий в нашем доме слышны были смех и шутки. В ближайшее воскресенье мы должны были ехать в церковь. Между тем наши туалеты пришли в полное расстройство: у каждой из нас было по одному траурному платью, теперь уже сильно потертому; а потому Минодору и Нюту посадили вплотную за шитье.

Васька, кроме выполнения бесконечного числа поручений, был окончательно возведен в должность кучера,— он возил матушку в отдаленные поля имения,— и ему приказано было все приготовить к поездке. Это была нелегкая задача: после нашего краха все экипажи были распроданы, и оставалась только карафашка, в которую свободно могли сесть два человека, но кое-как можно было всунуть, как няня говорила, и «еще

одного щупленького»; отправиться же в церковь должны были 7 человек. Вот на Ваське и лежала обязанность устроить из простой телеги что-нибудь вроде экипажа. В доме шла невообразимая суматоха: все наши ожили и повеселели. Мы, детвора, то и дело бегали к Ваське смотреть, что он делает с огромной телегой, которая раз навсегда должна была остаться нашим экипажем при выездах всей семьи. Васька и тут вполне оправдал доверие. Он устроил в телеге сидение, вроде двух скамеек, одну против другой, но не из досок, а из натянутых веревок. Поверх сидений он положил сено, простегал его, затем обил еще старыми ватными одеялами, собрал в амбаре куски изношенных ковров, которыми и покрыл их. При этом он преследовал не только утилитарные цели, но добивался внести в свою работу и красоту: от старых ковров у него осталось много бахромы, и он обил ею телегу кругом. Мало того: он нашел хорошие расписные колеса, которыми и заменил старые, и таким образом вышел экипаж хоть куда. Но это еще не все: зная, что мы, дети, любили наш старый дормез, прозванный «Ноевым ковчегом», более всего за то, что в нем было множество карманов, он ухитрился и здесь сделать по бокам, внизу, карманы, но устроил их утром в тот день, когда мы должны были отправиться в церковь. Чтобы окончательно поразить нас сюрпризом, он заранее сходил в лес, нарвал орехов, наполнил ими карманы и в каждый из них положил по дощечке и по небольшому гладкому камешку,— клади дощечку на дно телеги (то бишь чудного господского экипажа) и разбивай орехи.

В карафашке уселись матушка с Нютою и Минодорою, которая специально взята была для того, чтобы отворять ворота, то и дело попадавшиеся по дороге: кучером у них был староста Лука. В новом экипаже, с Ваською в роли кучера, поместились няня, Саша, Заря и я.

Заре первому принадлежала честь открытия сюрприза. Горячий по натуре, вспыльчивый, как спичка,

до неистовства увлекавшийся в ту пору открытиями вроде Васькиного сюрприза, он, как только вытащил из кармана орехи, камешек и дощечку, так сразу и был потрясен гениальностью этой затеи. Красный, как рак, вскочил он с своего места и начал орать во все горло: «Стойте, да остановитесь же!..». Этот крик раздался для всех так неожиданно, что оба экипажа сразу остановились. «Васька — самый лучший, а вы все напрасно на него нападаете!» — кричал он, глядя на матушку и покачивая своей маленькой головенкой на тонкой шее. «Что случилось, в чем дело?» — спрашивала озабоченно матушка, наклоняясь к нашей телеге и ничего не понимая. Саша старалась объяснить, конечно, так, чтобы Заре не досталось, но матушка все-таки, грозя ему гневно пальцем, закричала: «Ах ты мерзавец, погоди, ужо я тебе покажу!.. А тебе, няня, не стыдно так распускать детей?.. Пошел!..» — закричала она кучерам, и экипажи двинулись.

— Вот, Заринька,— обратилась огорченная няня к брату,— из-за тебя и на меня прогневались! А чем я виновата, что ты с утра до ночи собак гоняешь?.. Точно мужицкое дите!

— Какой ты противный, Зарька! Хотя бы нам слово сказал, что хочешь лошадей остановить! Всем нам праздник испортишь, а самому еще достанется!..— выговаривала ему Саша сердито.

— Я всегда правду говорю!.. Ничего не достанется! Если б я с «нею» сидел, так «она» бы славного подзатыльника дала, а теперь все забудет, пока приедем.

— Ты не смеешь про мамашеньку так непочтительно говорить,— нашла нужным заметить няня.

— А я «ей» еще не то скажу: «она» Ваську ненавидит, а когда мы вырастем с Андрюшей и начнем поделять наши имения, я Ваську себе возьму, чтоб «она» его не пилила.

— Ты просто с ума сошел!.. Если посмеешь сказать что-нибудь в этом роде, так я тебя сама за уши выдеру! — запальчиво закричала на него Саша.

— А, разозлилась! Знаю... знаю, из-за чего! Из-за того, что тебе, как девчонке, при разделе имения ничего не достанется!.. Мы с Андрюшею будем помещиками! А ты будешь у нас приживалкой!..— И в ту же минуту он схватил дощечку и камень и стал бить орехи на дне телеги.

Но вот показалась церковь, и мы моментально были окружены целою толпою наших крестьян, пришедших «поблагодарить бога за барышню Александру Николаевну». Весть об инциденте с деньгами и о предстоящем отъезде сестры уже разнеслась по нашим деревням. Крестьянские ребята и девушки подносили Саше цветы в таком количестве, что она не могла их всех захватить и просила потом отдать их ей. Она вошла в церковь, держа в руках несколько букетов,— веселая, розовая, оживленная, улыбающаяся.

В церкви наша семья резко выделялась из всех молящихся: помещицы и их дети были в разноцветных платьях, а мы черной тучей стояли в сторонке. Черные платья наши по тогдашней моде были обшиты плерезами, т. е. широкими полосами белого коленкора; наши шляпы тоже носили печать глубокого траура. Матушка и няня все время простояли на коленях в слезах. В нашей семье, видимо, наступил период полного примирения с господом богом, даже Саша с цветами в руках стояла на коленях в молитвенном экстазе, но, когда она заметила гувернантку Воиновых, она сразу вскочила на ноги и стала подвигаться к ней.

После окончания службы Ольга Петровна от имени Воиновой пригласила наше семейство к обеду. Это было нам наруку: лошади и люди в этот день не были заняты работой, а между тем необходимо было скорее свозить Сашу к Воиновым. Так как в то время у большинства помещиков были ранние обеды — между часом и двумя,— то мы немедленно и отправились к ним.

Воиновы были люди весьма зажиточные: у них было два имения в двух губерниях, многочисленный штат

прислуги, хороший дом с множеством пристроек; при доме был разбит небольшой, но красивый сад с аллейками, цветочными клумбами и прудами. У них было двое детей: Ольга восьми и Митя семи лет. Когда мы приехали к ним, дети повели нас с Зарею в детскую, и нас поразило разнообразие и великолепие их игрушек. И немудрено: матушка, после нашего разорения, считала чуть ли не преступлением потратить хотя бы грош на наши игрушки. Дети Воиновых еще не успели показать нам всех своих сокровищ, как нас позвали к обеду. Тут уже я окончательно остолбенела,— но меня поразило не богатство старинного серебра, о котором много говорили, а сам хозяин Петр Петрович Воинов. Одни называли его «обезьяной», другие — «совой». И действительно, он совмещал в себе некоторые свойства этих двух животных. На тщедушном теле его сидела маленькая, круглая, как шарик, головенка, представлявшая поразительное сходство с совою: рыжеватые волосы его были подстрижены под гребенку и торчали вверх; рыжеватыми же волосами, только покороче и пореже, было покрыто все лицо; но ужаснее всего был взгляд его хищных глаз — взглянет, точно гвоздь в тебя вобьет. И ходишь ты с этим гвоздем долго, долго, думаешь, как бы только не попасться ему на глаза, как бы он опять снова не запустил его в тебя. Я, должно быть, разинула рот от удивления или проделала что-нибудь в этом роде, так как матушка сердито дернула меня за руку и повела к столу.

После обеда решено было, что дети отправятся с нянею в сад, матушка с Нютою и Наталиею Александровною будет сидеть в беседке, а Ольга Петровна проэкзаменует Сашу в детской. Когда через несколько часов мы уже пили чай (на этот раз, слава богу, без хозяина), к нам вошла Ольга Петровна с Сашею. Няня, стоявшая за моим стулом, прежде чем услышать что бы то ни было, угадала по сияющему лицу сестры, что все идет благополучно, повернулась к образам и стала креститься, проговорив как бы неожиданно для себя: «Бла-

годарю тебя, боже мой, что услышал молитву рабы твоей недостойной». Все расхохотались.

— Да, нянюшка,— сказала Ольга Петровна,— вы, действительно, можете радоваться и благодарить бога. Ваша Саша — изумительно хорошо подготовленная девочка. Способности у нее просто необыкновенные... Какая начитанность, какая память! Подумайте только, Александра Степановна: множество отрывков из Корнеля, Расина, Мольера знает наизусть! Прекрасно переводит и хорошо передает прочитанное. Ручаюсь: она будет не только первой ученицей, но навсегда останется звездой пансиона m-me Котто. Ее можно было бы через месяц-другой подготовить в старший класс, но не советую этого делать, потому что Александрин, прекрасно зная французский язык,— а ведь это главное в жизни (Воинова и матушка вполне согласились с этим),— не совсем свободно еще говорит на нем. Но в пансионе — чудная парижанка, и если она полюбит Александрин, то быстро научит ее болтать по-французски. О, тогда Александрин будет отбивать у меня места!..— шутила она.

Ольга Петровна предложила Саше все свои пансионские учебники и записки, советовала ей почитать их и назначила время, когда будет с нею заниматься. Между прочим, она сообщила, что матушка должна отправить Сашу в пансион с своею горничною, которую ей придется оставить там до окончания курса сестры. Как ни странно представить себе это теперь, но в то время, по крайней мере в пансионе m-me Котто, дочь дворянина должна была иметь при себе свою собственную горничную, на которую родители ученицы должны были выдавать содержание натурою или деньгами, смотря по условию. Эта повинность была возложена на бывшую нашу горничную Дуняшу, которая была бездетною вдовою. Отвезти отправлявшихся в Витебск должен был все тот же Василий, которому кстати поручено было завязать торговые сношения с купцами города. В виду того что решено было брать

сестру домой на лето, таким случаем нужно было пользоваться. Матушка мечтала продажею сельских произведений покрывать расходы по приездам и отъездам Саши.

Несколько недель шли у нас приготовления: все наши бывшие горничные посажены были в девичью за шитье белья и платьев для Саши (в этом пансионе воспитанницы должны были иметь не только свою одежду, но и все белье, даже постельное), только одна виновница этих хлопот не принимала в них ни малейшего участия, а сидела, не поднимая головы от книг и записок. Позанявшись с нею недели две, Ольга Петровна объявила ей, что она не нуждается больше в ее помощи и произведет фурор на экзамене.

Наше семейство все уменьшалось. С отъездом Саши в доме уже не раздавались ни ее вопли, ни звуки фортепьяно и водворилась полная тишина. Но вот однажды она была внезапно нарушена: Заря в слезах вбежал в столовую, весь оборванный и исцарапанный до крови. Оказалось, что он долго дразнил какую-то собаку, а когда та бросилась на него, он вскарабкался на дерево, но оборвался и упал. Его, наверно, сильно искусала бы собака, если бы в ту минуту случайно не проходил Лука, который с топором бросился на защиту мальчика. Как только это дошло до сведения матушки, она прежде всего выдрала сына за уши и надавала ему пинков. Затем она решила, что на этот раз это не должно ограничиться для него одним лишь наказанием: если ему попрежнему давать свободу, его может постичь трагическая судьба Нины; к тому же его давно пора учить. Матушка сейчас же написала священнику и просила его приезжать к нам для занятий с ее сыном. Условия были таковы: священник должен был являться три раза в неделю учить закону божьему, русскому языку и арифметике, за что она предлагала ежемесячно полчетверти ржи и четверть овса. Священник принял эти условия с величайшим удовольствием. Кроме назначенной платы, в большие праздники матушка по-

сылала ему в подарок то полпуда масла, то теленка, то овцу или пару индеек.

Кроме священника, с братом ежедневно должна была заниматься Нюта; сама же матушка взялась за обучение его французскому языку по вечерам, так как другого свободного времени у нее не было. Таким образом, Заре с этих пор строго запрещено было выходить из дому: он должен был сидеть за книгами почти целый день, приблизительно 7—8 часов.

И вот с момента водворения Зари в комнатах нашего дома у нас начался плач и скрежет зубовный. За полгода, в продолжение которого брат был предоставлен себе, когда решительно никто не знал о том, что он делает, даже где находится, этот по натуре добрый, весьма неглупый мальчик, но крайне вспыльчивый и необузданный, одичал в буквальном смысле слова. Как только Нюта после ухода матери засаживала его за занятия, он швырял ей книгу в лицо и выскакивал на улицу. Она приказывала людям водворять его на место, а он начинал все ломать и бросать на пол, браниться такими словами, которые еще не раздавались в стенах нашего дома. Как ни упрашивала его сестра и няня, он дерзил им напропалую, бранился, плевал на них, высовывал им язык.

У всех членов нашей семьи, как у наших родителей, так и у нас, детей, издавна выработался в отношении няни истинный пиэтет. Это, конечно, происходило более всего оттого, что она всегда выказывала нам только ласку и любовь и никогда не раздражалась. Относительно матери дело обстояло не совсем так: несмотря на то, что мы ее страшно боялись, все мы, хотя и очень редко, но все же иногда грубили ей. Матушка немедленно давала за это пинка, драла за уши, но наказанный грубиян не подвергался никакому презрению со стороны остальных членов семьи. Сделать же малейшую грубость кроткой до святости няне значило возбудить негодование всех нас. И вдруг теперь Заря то и дело, без всякой причины и повода, грубо дергал ее

за передник, толкал, выхватывал у нее чулок и забрасывал его за печку. Матушка, как-то возвратившаяся домой раньше обыкновенного, сделалась свидетельницей подобной сцены. Прежде чем она успела покарать своим обычным в таких случаях способом, Заря выскользнул у нее из-под рук.

В те времена дурное поведение ребенка обыкновенно сваливали на его «каторжный» характер. Никому и в голову не приходило, что тут прежде всего следует винить родителей, но переворот в характере брата, вследствие полной заброшенности и отсутствия надзора за ним, до такой степени был очевиден для всех, что матушка на этот раз ограничилась в отношении его только тем, что прокричала ему вслед какую-то угрозу,— вероятно, обычную в этих случаях,— что за все-де его непристойное поведение его следует отодрать на конюшне, как сидорову козу, но что она ужо прикажет это сделать Луке, сама же не желает пачкать рук из-за такого сквернавца. С этих пор она стала внимательнее следить за его занятиями: священник занимался с ним по утрам, а все остальное свободное время сестра должна была заставлять его читать вслух, переписывать с прописей или при себе заставлять долбить заданное к предстоящему уроку. Общими силами Зарю удалось сильно подтянуть. Он начал как будто несколько привыкать к новому режиму, только на уроках с матушкой он нередко поднимал рев на всю комнату. Да иначе и быть не могло. Матушка во время занятий всегда что-нибудь шила, и, когда брат не понимал чего-нибудь, она, чтобы придать быстроту его соображению, щелкала его в лоб пальцем, на котором был надет наперсток. Лоб Зари весь был в синяках и шишках; не щадила она и пинков для него, нередко запускала руки и в его густые волосы. Все это, конечно, не способствовало развитию нежных отношений к матери, и вне урока он не разговаривал с нею, а как только до его слуха долетал ее голос, убегал куда глаза глядят. Я давно проделывала то же самое. Матушка, кроме исключительных случаев, не об-

ращала на нас ни малейшего внимания, как будто в ней не было потребности в детской ласке и нежности, как будто ее материнское самолюбие не страдало от нашей холодности и отчуждения.

Присутствие Зари в доме не сблизило меня с братом: он постоянно учился, а когда освобождался от своих бесконечных занятий, что было лишь за час-другой до ужина, он был всегда крайне раздражен, а потому наши игры кончались отчаянной потасовкой. Нервное состояние брата было, конечно, результатом крайнего умственного переутомления, но в то время воспитатели не имели об этом ни малейшего представления. Матушка считала настоящими занятиями лишь диктант, обучение грамматике и арифметике, а чтение, пересказ, переписывание — совершенными пустяками, за которыми ребенок может сидеть хотя целый день.

Воспитатели не сознавали тогда и необходимости смягчать отношения между членами семьи и развивать взаимную симпатию, дружелюбие и благожелательность. Если ребенок не совсем был вежлив, предупредителен и деликатен к кому-нибудь из гостей, его строго наказывали, а между тем самая величайшая грубость его братьям и сестрам не останавливала внимания старших. В детстве я любила только Сашу, к братьям же относилась даже враждебно. Никому в голову не приходила мысль пробуждать в нас добрые, справедливые чувства друг к другу. Напротив, старшие только подсмеивались над враждебными действиями между нами, что еще более ожесточало одних против других. Я была страшно брезглива: ни до чего, бывало, не дотронусь, что упадет на пол, ничего не выпью, если мне покажется, что посуда не чисто вымыта. Когда мы разорились, матушка, желая привить нам спартанские привычки и вкусы, сильно нападала на меня за мою брезгливость и в насмешку называла меня герцогиней Орлеанской. Братья пользовались и этим эпитетом, и моею брезгливостью: раздадут нам, бывало, пирожки, яблоки или что-нибудь в этом роде,— они быстро спра-

вятся со своею порциею и начнут меня толкать под локти, чтобы заставить уронить на пол мои гостинцы, затем быстро подбирают их с пола и уписывают. Положат мне на блюдечко варенья (т. е. нашего прокислого, порченого варенья),— они бросят в него муху или песку, и, когда я отодвину поданное, они хватают и уносят к себе свою добычу. Если это происходило при матушке, она только хохотала над этим, ей казалось даже, что это поможет уничтожить во мне барство, а меня все сильнее раздражало это против нее, так как я инстинктивно сознавала, что она должна защищать меня. Грубость братьев, их озорство, шутки — все было полною противоположностью обращения со мною сестер. И вот это-то мало-по-малу укрепляло меня в мысли, что мои братья, как и все мальчики вообще, самый постылый народ, и я всеми силами старалась избегать их общества.

Как я обрадовалась, когда недели через полторы после отъезда Саши зазвенели колокольчики и прислуга закричала: «Васька возвратился!».

Саша всем посылала подарки: матушке — почтовой бумаги, Нюте — шерсть и красную бумагу для вышивания, мне — головку для куклы и огромный раскрашенный пряник, няне — образок и платочек, Заре — леденцы. Няня целовала то ее письмо, то подарки и обливала их слезами; по ее расчету, сестра истратила на них все свои карманные деньги, которые были даны ей на всю зиму.

Васька подробно рассказывал о порядках в пансионе, о том, как Саша всем довольна. Он дал и полный отчет своим издержкам, которые были даже более скромны, чем матушка могла ожидать. Еще менее могла она рассчитывать на ту сумму, которую он выручил от продажи домашних сбережений: их было взято немного, так как экипаж был занят вещами отъезжавших. Но Васька все продал очень выгодно.

— Теперь матушка-барыня,— говорил он,— когда изволите отправить меня за Ольгой Петровной, потрудитесь приготовить товару побольше... Экипаж пойдет

туда пустым, так много можно будет положить в него... Как перед богом,— все распродам: со многими купцами в Витебске снюхался...

— Что же, Васька! Что хорошо, то хорошо! Я тобою очень довольна! — И матушка благосклонно протянула ему руку для поцелуя, а Васька, в восторге, что его заслуги, наконец, признаны, бросился на колени и облобызал руку своей госпожи. Когда же он во второй раз возвратился из Витебска и выручил от продажи домашних сбережений еще больше, чем в первый раз, матушка пришла в восторг. Она решила теперь так вести свое хозяйство, чтобы побольше получать для продажи ржи, овса, гречи, живности, масла и т. п. Забывая о недавнем еще презрении к Ваське и о своих жалобах на его дармоедство, она теперь перед всеми выставляла его неподкупную честность и ту пользу, которую он приносит в хозяйстве. «И воды натаскает, и дров наколет — все успевает сделать; ну, а насчет исполнения поручений и продажи, так уж на это у него настоящий талант, даже больше, чем к этой дурацкой музыке!» — так говорила матушка, не предчувствуя, что и с этой стороны она получит огромную выгоду.

Во всяком случае матушка стала благоволить к Василию и его жене и осыпать их своими милостями: приказано было ему сшить на зиму шубу из шкур домашних овец и сапоги, а верхнее платье заказано было такое, как у всех крестьян, что очень его радовало, так как он не имел в нем комичного вида; ему и жене его выдано было холста для белья и, что привело их в особенный восторг, им дозволено было занять «боковушку» — комнату, особо пристроенную к дому, которая давно пустовала; получили они и еще какие-то милости и права в том же роде,— одним словом, положение и жизнь этих злосчастных существ сильно улучшились как материально, так и нравственно. Однако этим благосостоянием они пользовались очень недолго.

Во второй половине зимы следующего года матушке доложили, что к ней явился человек с письмом

княгини Г., муж которой держал Ваську у себя для обучения музыке. Княгиня сообщила, что ее покойный муж всегда имел желание купить Василия. В виду огромных музыкальных способностей этого человека он решил подарить ему свободу. Отказ бывшего владельца (т. е. моего отца) продать ему этого крепостного причинил князю искреннее сокрушение. Овдовев и решив свято выполнить желание дорогого покойника, княгиня обращается к моей матери и возобновляет просьбу о продаже Василия вместе с его женою. Так же, как и ее покойный муж, она решила приобрести Василия не для того, чтоб сделать его своим крепостным, а исключительно с целью дать ему полную свободу и помочь развитию его блестящих музыкальных дарований. При этом княгиня просит мою мать сообщить ей, может ли состояться такая продажа и на каких условиях.

Моя мать, которая в 60-х годах, несмотря на свой уже преклонный возраст, сделалась истинною защитницею народа, последовательницею не на словах, а на деле просветительных идей освободительной эпохи, за лет десять до этого совсем не понимала, как такая богатая и знатная женщина, как княгиня Г., может желать купить крепостного не для себя, а для того, чтобы дать ему свободу. Она слыхала, что тот или другой богатый помещик отпускал на волю кого-нибудь из своих крепостных, но за те или иные услуги себе или своему семейству,— это она понимала... Но купить крепостного исключительно для того, чтобы дать ему возможность развивать свои способности, да еще музыкальные, тогда это было выше ее понимания. Она много раз рассказывала нам впоследствии об этом, удивляясь своему тогдашнему непониманию таких элементарных вещей. Поэтому поступок княгини она отнесла к разряду «барских затей».

Хотя моя мать в конце концов оценила заслуги Васьки, но от времени до времени ей все же приходила в голову мысль, что не сегодня-завтра ее соседи явятся ее конкурентами по части продажи домашних сбере-

жений, и тогда, несмотря на гениальные способности Васьки в этом отношении, ее торговля будет сведена нанет. Тем не менее ей очень не хотелось, очень жалко было расставаться с Ваською и его женою, к которым она сильно привязалась в последнее время. Все эти причины заставили ее назначить за эту супружескую чету 1500 рублей, в расчете, что княгиня никак не даст такой суммы [11].

Каково же было ее изумление, когда через несколько недель после этого к крыльцу подкатила пустая, запряженная парою бричка, кучер которой подал матушке пакет с деньгами и письмо от княгини: она не только посылала всю затребованную от нее сумму, но прибавляла еще несколько десятков рублей на хлопоты для того, чтобы все бумаги о продаже их были как можно скорее оформлены и доставлены ей.

Это событие поразило не только нашу семью, но и всех крестьян. Весть об этом быстро разнеслась по деревням. На другой день (это было воскресенье) весь наш огромный двор был запружен мужиками, бабами и крестьянскими ребятами. Несмотря на насмешки над этой четой, все пришли с нею проститься и посмотреть на невиданное до тех пор у нас зрелище. Взгляд крестьян на этот инцидент был почти такой же, как и у их барыни: они допускали, что княгиня могла купить Ваську и Минодору за неслыханно высокую цену,— «ведь паны даже за собак платили тысячи»,— но они не могли переварить того, что Ваську покупают, дарят ему свободу, оказывают ему барскую честь — посылают за ним не простую мужицкую телегу, а панский экипаж с кучером на козлах, и все это за его «трынканье на скрипке». Это было для них чем-то головокружительным.

Многие из крестьян полагали, что виновники торжества «задерут теперь нос» перед ними, будут корить их за насмешки... Никто из них не ожидал того, что пришлось увидеть: Минодора и особенно Васька оказались совершенно убитыми, последний даже еле держался на ногах.

Мы все высыпали на парадное крыльцо. Сразу водворилось какое-то торжественное молчание. Васька рыдал так отчаянно, что весь его сутуловатый высокий стан судорожно сотрясался. Пошатываясь из стороны в сторону, он подошел к матушке и бухнул ей в ноги. Она тоже плакала, дрожащими руками поднимала над ним образ и благословляла его. Но Васька уже не мог встать: двое парней подскочили к нему с той и с другой стороны и помогли ему подняться. После этого он упал на колени перед нянею, а затем и перед каждым из нас; парни каждый раз поднимали его под руки; земно кланялся он и толпе собравшихся крестьян. Но тут поднялся такой общий плач, вой и рыдания, что мы все бросились в комнаты.

Слезы крестьян были вполне искренними и не противоречили их прежнему отношению к уезжавшим. Они смеялись над Ваською и его женою потому, что, будучи такими же крепостными, как и остальные, они сторонились их. Теперь же они тронули крестьян тем, что, хотя их купили «за такие деньжищи» и везут с почетом, они не только не возгордились, но все приняли со смирением, земно кланялись народу.

— Ах, господи! — говорила няня, вытирая слезы и входя в комнаты, где мы ее ожидали. — Уж так-то жалостливо Васька прощался, так жалостливо!.. Всю душеньку вымотал!.. Ведь его еле живого усадили. Тяжко ему, бедненькому, с гнездышком родименьким расставаться!.. Видно, боязно ему к княгинюшке ехать...

— Да что ему княгиня! Теперь он вольный казак! — перебила ее матушка.

— Вот он из-за того-то так и убивался, сердечный!

— Как из-за того?

— Известно, матушка-барыня, из-за этой самой воли! Я вот как рассуждаю: был он крепостной, значит, подначальный, и весь предел ему твердо был обозначен. С утра до поздней ноченьки знал он что делать: дров поди наколи, а теперь марш в кузницу, али там на мельницу, и так всякий часок... Значит, нечего тебе голову

думкой ломать али какой заботой сердце сушить... И ешь ты свой хлебушко беспрепятственно... известно, как полагается простому человеку, без барских затеев, без соусов... Но ведь на то ты и простой мужик, раб, крепостной человек! Ну, а теперь на воле, без старшого изволь сам все удумать... Каждое дельце свое, каждое словцо сам обмозгуй...

— Ах, няня: и не глупый ты человек, а ведь какой вздор ты городишь! Разве можно сравнивать положение крепостного с свободным человеком! Разве ты не видишь, что творится кругом? Какое тиранство, бесчеловечье повсюду!

— Так ведь я, матушка-барыня, про нашего Ваську вспоминаю! Как ему, значит, было жить у нас. А как вы изволите сказывать насчет бесчеловечных помещиков, так я вам осмелюсь доложить, что у таких-то еще лучше крепостному: если со смирением крест свой принять, так к лику святых угодников сопричтен будешь.

— Ну, уж ты насильно даже в рай собираешься гнать! Да мы эти рассуждения оставим. Нам с тобой, как говоришь, «удумать» да «обмозговать» вот что нужно: кто нам заменит теперь Ваську и Минодору? Чтобы что-нибудь продавать из хозяйства, теперь нечего и думать: только этим к воровству мужиков приучать будешь. Но ведь без человека для поручений не обойтись!.. Кого же мы посылать будем? Кто будет у нас горничной?

И они сообща долго перебирали по именам дворовых женщин и девушек; наконец остановились на Домне, бывшей у нас горничной в городе. Как ей, так и мужу ее Ивану был поручен надзор за скотом; она к тому же состояла и коровницею. Когда решено было взять в качестве горничной Домну, наши говорили, что она никогда не заменит Минодору: она далеко не так хорошо исполняет чистую работу, не такая честная и услужливая. Тем не менее оказалось, что Домна — единственная возможная кандидатка на должность горничной: все остальные подходили еще менее ее. А для

исполнения поручений никто не мог заменить Василия,— приходилось посылать то одного, то другого. При этом то и дело выходили «истории»: то посланный по безграмотности покупал не то, что следовало, то по беспамятности забывал о том, что было крайне необходимо, то, получив деньги, где-то «обронил» их, то покупка обошлась слишком дорого, то потратил на постоялом более, чем рассчитывала матушка, то возвращался пьяным и в известной сумме не мог дать отчета.

Матушка с сокрушением вспоминала Ваську. Когда эти сетования происходили при Заре, он не пропускал случая попрекнуть матушку ее переменчивым мнением относительно Василия, и хотя он оканчивал это своей обычной фразой: «Вы злитесь на меня за то, что я говорю правду»,— он получал в награду свою порцию трепки, но его, как истинного проповедника правды, это не смущало.

Чтобы покончить с Васькой, скажу только, что полученные нами сведения о его судьбе были крайне скудны. Через полгода после его отъезда он написал Саше о том, что он и его жена живут с княгинею в Москве, что жена его исполняет роль горничной, но на жалованье, а он служит в оркестре при одном из московских театров. Затем он известил сестру о том, что княгиня Г. ликвидирует все свои дела в России и уезжает навсегда за границу, куда с нею отправятся он и его жена. Но уже из-за границы Василий не писал никому из нас, и мы никогда ничего не узнали о дальнейшей судьбе этих двух наших бывших крепостных.

ГЛАВА IV

Помещичьи нравы перед эпохою реформ

Управляющий-немец «Карла»: его похождения и управление крестьянами. — Представление с ученым медведем.— Цыгане.— Цыганка Маша.— Мелкопоместные дворяне.— «Селезень - вральман» и его россказни. — Соседка Макрина, ее дочь Женичка и двое их крепостных. — Дядя Макс: его женоненавистничество. — Барышни Тончевы: Милочка, Дия и Ляля. — Месть их крепостных. — «Духовитый барин». — Семья Воиновых.

Скоро после нашего переселения в деревню к моей матери то и дело начали ходить крестьяне из Бухонова с жалобами на своего управляющего. Это поместье принадлежало старшему брату моей матери, Н. С. Гонецкому, и им в то время, о котором я говорю, распоряжался немец-управляющий Карл Карлович; по фамилии его никто никогда не называл, а крестьяне прозвали его «Карлою».

Прежде чем явиться к матушке, мужики и бабы вызывали няню и умоляли ее упросить «барыню» заступиться за них, «обуздать» «Карлу». Но матушка строго запретила ей пускать их к себе. Она говорила, что верит в основательность их жалоб, так как все

кругом подтверждают их, но что она лично ничего не может сделать: она не имеет права вмешиваться в дела по имению своего брата, который поручил его управляющему и дал ему законную доверенность.

Но вот однажды весною, в праздничный день, у нашего крыльца собралась огромная толпа бухоновских крепостных. Несмотря на дождь, они стали на колени перед крыльцом, обнажили головы и объявили, что не тронутся с места, пока «барыня» не выслушает их. Матушка вышла рассерженная и подтвердила то, что уже много раз посылала им сказать. Но выделившийся из толпы седой старик сумел заставить ее иначе отнестись к ним. Он напомнил ей о том, «что милосердие к своим крестьянам покойного батюшки Николая Григорьевича известно во всей округе, что он, наверное, пожалел бы крестьян своего сродственника», что единственно, о чем они просят барыню, это то, чтобы она выслушала их, затем сама бы приехала в Бухоново, убедилась в справедливости их слов и все бы это описала своему братцу — их барину. Матушка смягчилась, приказала им встать с колен, пойти на скотный просушиться, выбрать несколько человек, которые бы и явились к ней в переднюю, но чтобы эти выборные «враки не несли и пустого не мололи»: иначе, чуть что не подтвердится, она писать брату откажется.

В прежние времена совсем не думали о том, что детям не следует слушать многого из того, о чем старшие говорят между собою, и выгоняли их из комнаты только тогда, когда они досаждали своими вопросами или беготней, а если сидели где-нибудь в сторонке тихо и смирно, то о их существовании забывали, и они могли слушать самые неподходящие для их возраста вещи, — так, по крайней мере, было в нашей семье. Я не только присутствовала в то время, когда бухоновские крестьяне рассказывали матушке об истязаниях, учиняемых над ними «Карлою», но и когда они сообщали ей о его грязном поведении. Мало того:

я ездила с матушкою и нянею в Бухоново, когда они отправлялись туда, чтобы расследовать на месте жалобы крестьян. Няня могла пригодиться матушке для различных услуг, на мое же путешествие смотрели, как на маленькое развлечение для меня. Но мои воспоминания не были бы так отчетливы, если бы старшие, вследствие полного отсутствия в прежнее время каких бы то ни было общественных и политических интересов, не вспоминали так часто о наших захолустных «историях» и «происшествиях».

В Бухоново мы отправились в один из воскресных дней. Матушка распорядилась, чтобы для нас была приготовлена собственная провизия: «Карла будет звать нас к себе,— говорила она,— но я не желаю даже входить к нему: есть у него хлеб-соль, а потом на него же жаловаться,— это не в моих правилах». Кроме няни и меня, она брала с собою трех крестьян: Лука должен был править в корме лодки, а двое были гребцами.

Помещичий дом в Бухонове, как и в Погорелом, стоял на небольшой горке, но на другой стороне нашего озера. Из одного именья в другое летом можно было проехать в лодке по озеру; еще быстрее переезжали его зимой, когда лед замерзал, и оно представляло, как паркет, гладкую поверхность.

Каждый раз, когда мы отправлялись в лодке на другую сторону, мы брали с собою очень упрощенный снаряд для ловли рыбы, который одни называли «ёса», другие «лиса»,— дескать, так же хитро подкрадывается к рыбе, как лиса к курам. Этот снаряд просто-напросто представлял огромный клубок пеньковой веревки, на конце которой прикреплен был металлический толстый короткий крючок; на него надевали небольшую рыбу, обыкновенно маленького карася. Когда мы садились в лодку, чтобы ехать на другую сторону, мы забрасывали в воду «лесу» и, отъезжали от берега, постепенно разматывали клубок, опуская веревку в озеро; тот же, кто сидел в корме, наматывал на руку конец этой веревки. На крючок «лесы» попадалась

только крупная рыба, но случалось, что переедут на другую сторону, а веревку ни разу не дернет. Когда удавалось вытащить огромную рыбу, ее бросали на дно лодки, и она, бывало, так скачет, что крестьяне, сидящие в веслах, тут же прирезывают ее, чтобы она не выскочила в озеро.

Прежде чем лодка окончательно причаливала к берегу, ее уже видно было из окон бухоновского дома. Когда нашу лодку стали притягивать к берегу, управляющий Карл Карлыч уже стоял, ожидая нас на берегу. Это был среднего роста, коренастый мужчина, наклонный к толстоте, с небольшим брюшком, с очень белым, одутловатым лицом, с ярким румянцем на щеках, с голубыми, детски наивными глазами. В его физиономии бросались в глаза замечательно красные, отвислые толстые губы, которые напоминали две только что насосавшиеся кровью пиявки; они были так пухлы и толсты, что рот в углах никогда не был плотно прикрыт.

Подходя к матушке, «Карла» улыбался так весело и радостно, точно встречал давно ожидаемую родную мать, и засыпал ее любезностями, комплиментами и приветствиями. Он говорил по-русски хотя и не совсем правильно и с иностранным акцентом, но так, что все можно было разобрать. Он заявил, между прочим, что все время собирался ее посетить и очень обрадовался, когда увидел ее, а между тем он встречал мою мать в первый раз в жизни. «Самовар и закуска,— добавил он,— уже на столе».

Матушка была человек прямодушный, ненавидящий подходы и извороты, а потому прямо заявила ему, что не может принять его угощения, что приехала она не к нему, а с целью осмотреть житье-бытье крестьян, принадлежащих ее родному брату, чтобы потом описать ему все, что она увидит. «Карла» сейчас же переменил тон и из заискивающего сделался наглым. Он крайне запальчиво и резко отвечал, что матушка не имеет права устраивать подобных ревизий, которые могут породить лишь смуту среди крестьян, что она не смеет

устраивать подобных вещей даже с разрешения своего брата, который сам выдал ему формальную доверенность на управление его имением, что в силу этого он здесь единственный полновластный хозяин. При этом он как-то грозно подошел к матушке. Няня в ужасе всплеснула руками со словами: «Ах ты немецкая колбаса!.. Да как ты смеешь с нашей-то барыней так разговаривать?» — «Берегись, старая ведьма!» — закричал он, поднимая палку на няню.

Я разревелась, но матушка была совсем не из трусливого десятка. Она гордо подняла голову и с презрением крикнула: «Смейте только прикоснуться к кому-нибудь из моего семейства или из моих крестьян! Прочь с дороги!.. Можете сейчас же послать верхового за становым и за кем угодно,— я буду делать то, что мне надо». И она смело двинулась вперед в сопровождении нас, приказав трем нашим крестьянам следовать за нею. Управляющий несколько попятился назад, но долго выкрикивал нам какие-то угрозы.

Матушка входила в каждую избу с нами, а если она не вмещала всех нас, то только с Лукою. Она расспрашивала каждого хозяина, есть ли в его хозяйстве лошадь, корова и другие домашние животные, о том, много ли дней работает он на барина и какие повинности уплачивает, когда и за что был наказан, приказывала подать ей хлеба и приварок, пробовала то и другое, осматривала детей, заходила в хлев и другие постройки, если они были, и все свои наблюдения заносила в свою записную книжку. Показания крестьян одной избы она проверяла показаниями других крестьян. Весь день она употребила на осмотр изб бухоновских крестьян.

Матушка имела привычку писать свои письма сначала начерно. Все свои черновики она аккуратно складывала вместе с ответами, полученными ею. Вот ее письмо по этому поводу:

«Драгоценнейший и всею душою и сердцем почитаемый братец мой Иван Степанович!

«Испытав на себе всю братскую доброту Вашего нежного сердца, Вашу заботу обо мне, как о младшей единокровной и единоутробной сестре Вашей, я решаюсь довести до Вашего сведения обо всем, что делается в Ваших маетностях — поместье Вашем Бухонове. Поверьте, братец, честному слову Вашей сестры, почитающей Вас всем своим помышлением, что не из бабьего любопытства, не по женской привычке совать свой нос в чужие дела решилась я ехать в принадлежащее Вам поместье и своими глазами посмотреть, оправдаются ли горькие жалобы Ваших подданных на их управителя. К сему неприятному действию понудили меня долг совести, обязанность христианки и желание моего покойного мужа, Вашего друга, сколь возможно блюсти интересы крепостных, дабы они не имели права жаловаться на несправедливость помещиков... От себя еще прибавлю, что собственный наш помещичий интерес должен заставлять, елико возможно, пещись о них.

«Жалобы на мучительства, причиняемые им их управителем, поступали ко мне уже более года, но, не имея Вашей конфиденции на сей предмет, я боялась вмешательства в сие щекотливое дело, пока вопли Ваших подданных не понудили меня выступить их заступницей перед Вами, но не иначе, как после самоличного строгого расследования их жалоб. И вот, братец, считаю долгом довести до Вашего сведения обо всем, что видели мои глаза, что слышали мои уши.

«Все Ваши крестьяне совершенно разорены, изнурены, вконец замучены и искалечены ни кем другим, как Вашим управителем, немцем Карлом, прозванным у нас «Карлою», который есть лютый зверь, мучитель, столь жестоковыйный и развращенный человек, что если бы ненароком проезжал по нашей захолустной местности знаменитый сочинитель, чего, конечно, не может случиться, он бы на страницах своего творения описал «Карлу», как изверга человеческого рода. Извольте сами рассудить, бесценный братец: в наших местах «барщи-

на» состоит в том, что крестьянин работает на барина три и не более четырех дней в неделю. У «Карлы» же барщину отбывают шесть дней, с утра до вечера, а на обработку крестьянской земли он дает Вашим подданным только ночи и праздники. Ночью и рабочий скот отдыхает,— может ли человек работать без отдыха? В одни же праздники, если бы даже никогда не мешали дожди, крестьянин не мог бы управиться со своим наделом. А потому и произошло то, что гораздо более половины Ваших крестьян оставляют землю без обработки. Как хозяйка уже с некоторым опытом, я могу сказать Вам, мой братец любимый, что из сего выйдет то, что Вы, когда кончится контракт с «Карлою», потеряете весь профит, который можете получить, как помещик, от своей земли, и оная обратится в настоящий пустырь, на котором будут произрастать разве сорные травы. Сие происходит от того, что немец свел на-нет хозяйство крестьян: во дворах и хлевах огромного числа Ваших подданных хоть шаром покати,— ни коровы, ни лошаденки, ни куренка, ни поросенка, ни овцы. Нет домашних животных — нет и навоза, а без оного бесплодная земля нашей местности не может родить ни хлеба, ни даже подстилки для скотины. Как ни убога наша местность, но нигде крестьяне не выглядят такими жалкими, заморенными, слабосильными и искалеченными, нигде не едят так плохо, как в деревнях, принадлежащих Вам, милый братец. Должна сказать по совести, и у меня крестьяне — не богатеи: половину года подмешивают мякину в ржаную муку, но Вы знаете, ото всей души почитаемый братец, что теперь только год с небольшим, как я взяла хозяйство в свои руки и всеми силами стараюсь устроить их получше. Это имеет большое значение для нашего же помещичьего расчета: если требовать, чтоб лошадь скорее бежала, чтоб корова давала надлежащий удой, скотину необходимо кормить,— так и человека. Может ли он работать, когда голодает и ест хуже пса? Ваши крестьяне почти круглый год пекут хлеб из мякины, иногда подмешивая

в нее даже древесную кору и только горсточку-другую подбрасывая в тесто гороховой или ржаной муки. Варево их пустое: щи из серой капусты, а весной и летом щи из крапивы и щавеля или болтушка из той же муки, что и хлеб; в варево нечего бросить: в избе нет ни куска сала, ни солонины, ни молока, чтобы забелить. Дети крестьян — настоящие страшилы: с гнойными глазами, с облезлыми волосами, с кривыми ногами, кто из них и на печи кричит, потому что «брюхо дюже дерет», как сказывают их родители, или из-за того, что брюхо, как котел, черное. Мор детей ужасающий, и это, по словам мужиков, потому, что «почитай кажинного ребенка хлещет на девятый венец». Того из ребят, который может передвигать ногами, родители посылают «в кусочки», т. е. милостыньку собирать; нищенствует и множество взрослых. Если на дороге попадается нищий, так и знай, что он из Ваших, братец, деревень. Когда «Карла» встретит кого с сумой, он нещадно бьет плетью и палкой, но это не помогает, и люди выходят на дорогу, ибо дома нечего есть. «Карла» бьет не только за нищенство,— бьет он смертным боем, мучительно истязает Ваших подданных, ежели рабочий опоздает на работу, либо покажется «Карле», что он работает медленно, а, боже храни, ежели крестьянин пожалуется на свою хворь, а хуже того на свои недостатки,— на такого налагается бесчеловечная расправа плетью, а в придачу удары толстой палкой. Сзади «Карлы» всюду, как его тень, ходит горбун Митрошка, у которого давно отсечена кисть правой руки. Так как он калека, то «Карла» приноровил его своим заплечных дел мастером. Куда идет «Карла», туда и горбун тащится с плетью через плечо, а у самого-то «Карлы» в руках всегда толстая-претолстая палка с медным набалдашником. Чуть кто провинится, будь то на току, на жнитве, либо на косовице,— «Карла» махнет рукой, а уж Митрошка знает, что делать: сейчас срывает с провинившегося одежду догола, валит на землю, садится на него, а сам «Карла», непременно сам, на-

чинает полосовать плетью. Так он наказывает и женщин, и мужчин. Несколько месяцев тому назад двух женщин запорол насмерть: одна умерла через два дня, а другая — через две недели. Было и следствие,— отвертелся большими взятками; крючкотворы судейские и полицейские обелили его на таком основании, что обе бабы умерли не от его немецкой лютости и не во время экзекуции, а что они были хворые.

«Немец учиняет над Вашими крепостными и более мерзкие истязания, о которых я, как женщина, не должна была бы и писать вам, дорогой братец... Но, имея в виду то, что Вам, может быть, придется сие мое письмо присовокупить к какому-нибудь формецному заявлению, я решаюсь и на сии беззакония раскрыть Вам глаза и подтверждаю, что готова под присягой показывать все, о чем упоминаю Вам. Сие нечистое животное, именуемое у нас «Карлою», растлил всех девок Ваших деревень и требует к себе каждую смазливую невесту на первую ночь. Если же сие не понравится самой девке, либо ее матери или жениху, и они осмелятся умолять его не трогать ее, то их всех, по заведенному порядку, наказывают плетью, а девке-невесте на неделю, а то и на две надевают на шею для помехи спанью рогатку. Рогатка замыкается, а ключ «Карла» прячет в свой карман. Мужику же, молодому мужу, выказавшему сопротивление тому, чтобы Карла растлил только что повенчанную с ним девку, обматывают вокруг шеи собачью цепь и укрепляют ее у ворот дома, того самого дома, в котором мы, единокровный и единоутробный братец мой, родились с Вами. В первый раз в жизни слышу о таком безобразии.

«Многие помещики наши — весьма изрядные развратники: кроме законных жен, имеют наложниц из крепостных, устраивают у себя грязные дебоши, частенько порют своих крестьян, но во всяком случае не калечат их, не злобствуют на них в такой мере, не требуют от них шестидневной барщины, не разоряют вконец их хозяйства, не до такой грязи развращают их жен и

детей. Касательно же рогаток на шею бабам и сажания человека, как настоящего пса, на цепь,— этого по нашим местам никто никогда не слыхивал даже из старых людей; не слышно было до него и пакости насчет невест крестьян. Улики насчет последнего налицо: сама видала нескольких крестьянских ребят с толстой, отвислой губой злодея, и мужики так и называют их «карлятами».

«Скольких работников Вы, братец, лишились из-за «Карлы»: одни из Ваших крестьян в бегах, другие утопились и повесились, третьи вечными калеками поделались, остальные с виду жалки, слабосильны и едва ли могут хорошо исполнять настоящую крестьянскую работу, а те, что подрастают, еще хуже. Я каждый день жду, что крестьяне что-нибудь учинят над своим лиходеем,— ведь на каторге им жить, почитай, легче будет, чем у немца.

«Полагаю, что для Вас, дорогой братец, не будет очень затруднительно развязаться с Вашим управителем: его ненавидят не только крестьяне, но и судейские, и полицейские чины, обелявшие его во время производства последнего следствия: по алчности своей «Карла» не отдал всей взятки, которую посулил, поднадул многих из них,— вот они и злы на него.

«Дорогой братец! Зная Ваше благородное сердце, я льщу себя надеждой, что Вы не оставите без возмездия злодеяний «Карлы» и положите конец его управлению, вредному для Ваших интересов: я могу доказать, что он обесценил и разорил Ваше достояние и даже, решаюсь сказать, обесчестил наше родительское гнездо».

Когда я впоследствии лично узнала своего дядюшку И. С. Гонецкого, он был диким консерватором и быстро шел по дороге повышений. Тем не менее он всегда был человеком, с презрением относящимся к лихоимству и взяточничеству, в высшей степени прямым, с простою душою, с человеколюбивыми инстинктами во всем, что не касалось политики, с честными взглядами отно-

сительно всего, что он мог понять своим недальновидным умом, но что подсказывало ему его сострадательное сердце.

Гонецкий был человек очень наивный: он искренно думал, что россказни об истязании крестьян и о разврате помещиков — плод досужей фантазии, что если что-нибудь подобное и случается, то как исключительное явление, а потому в поведении «Карлы» он прежде всего усмотрел, что тот своими безобразиями губит авторитет помещичьей власти. Пугало его, как он впоследствии рассказывал, и то, что управляющий бросил грязную тень на его незапятнанное имя. К тому же бесчеловечное и безнравственное поведение «Карлы» возмущало его доброе солдатское сердце. Его ответ на матушкино письмо был сплошной крик негодования; он даже резко укорял свою сестру, что она давно не довела до его сведения о безобразиях его управляющего, умолял ее взять имение в свои руки, написал по этому поводу несколько писем: немцу о том, чтобы тот немедленно убирался из его имения, а предводителю дворянства, исправнику и становому — чтобы те постарались как можно скорее выгнать его из Бухонова. Имея связи в высших сферах, он посетил всех, кого мог, с целью довести до их сведения о безобразиях своего управляющего-немца, читал всем письмо сестры и в конце концов добился того, что в Бухоново был отправлен особый чиновник для расследования. Но в то время «Карлы» уже и след простыл.

Спустя некоторое время после «ревизии» (так стали называть помещики посещение матушкою крестьянских изб в Бухонове) до нас дошел слух, что «Карла» внезапно куда-то уехал. Вдруг однажды в нашу столовую вошел горбун Митрошка и подал матушке ящичек, зашитый в холст и запечатанный. При этом он сообщил следующее: немец объявил ему, что отправляется с ним на почтовую станцию, что оттуда он поедет на почтовых лошадях в губернский город, а Митрошка с лошадьми и экипажем возвратится домой, что он, «Карла», про-

будет в отлучке не более десяти дней, а что Митрошка через неделю после его отъезда должен отвезти этот ящичек и собственноручно вручить его моей матушке.

Каково же было ее удивление, когда она нашла в нем доверенность, выданную ему Гонецким на управление имением, документы по делам, ключи от амбаров с зерновым хлебом и коротенькую записку! В ней «Карла» извещал, что он возвращает ей доверенное ему хозяйство Гонецкого, а вместе с этим и амбары, наполненные хлебным зерном; указывал он и на то, что оставляет домашнего скота и земледельческих орудий гораздо больше, чем обязан был сдать.

Матушка так испугалась какого-нибудь подвоха с его стороны, что немедленно отправила лошадь за становым, упрашивая его поехать с нею для проверки того, что «Карла» оставил в хозяйстве.

Вот что становой рассказывал по этому поводу. Недели полторы тому назад он нарочно приехал к немцу, чтобы переговорить с ним о его положении, которое час от часу становилось для него все более опасным. Но «Карла» еле успел с ним поздороваться, как тотчас начал на чем свет бранить мою мать. Он рассказал о ее посещении и клялся, что он этого так не оставит, да и не может уже потому, что крестьяне стали ему грубить, как никогда прежде. Но тут становой заявил, что ему теперь нужно забыть обо всем на свете, а думать только о том, как бы скорее спасти себя: только что получена бумага из канцелярии губернатора с запросом о том, как он, становой, смел не доносить своевременно о безобразиях, учиняемых управляющим над крепостными Гонецкого, и об изнасиловании им крестьянских невест, и что он, становой, только и ждет предписания о задержании его. Была ли получена становым такая бумага или он только пугал ею немца,— неизвестно. Очевидно,— говорил становой,— что немец совсем удрал за границу... Что же удивительного в том, что он бросил все хозяйство в том виде, как оно было в ту минуту, когда он решил бежать без

оглядки? Начни он рожь и овес продавать, он задержался бы на несколько дней, а это могло быть для него опасным.

В присутствии станового матушка объявила крестьянам, что она, по воле брата, является теперь их управительницею, что с этого дня, в продолжение трех лет, она назначает им отбывать барщину лишь два дня в неделю. Зерновой хлеб в господских закромах, назначенный «Карлою» исключительно для продажи, матушка поровну разделила между всеми крестьянскими семьями, которые в это время голодали почти поголовно. Нескольким несчастным, обремененным наиболее значительными семьями, она дала по корове с господского двора, а тем, у которых избы пришли в полный упадок, приказала отпустить лесу. Когда мы садились в лодку, чтобы ехать домой, крестьяне собрались у берега, бросились перед матушкою на колени, целовали ее руки, и, отплывая, мы долго еще видели, как они стояли на коленях без шапок. В первое воскресенье все крестьяне Гонецкого, старые и малые, собрались в церковь и отслужили молебен за здоровье матушки и своего помещика.

В Бухоново матушка назначила особого старосту: он должен был еженедельно приезжать к ней с отчетом о ходе хозяйства, но и сама она то и дело отправлялась туда. Итак, у матушки на руках очутилась новая обуза, новая забота — управление имением брата. Теперь она была еще больше занята, еще меньше обращала внимания на родных детей и на все то, что делалось в ее доме. Она написала дяде о всех своих распоряжениях по его имению. Он сердечно благодарил сестру за все, а особенно за то, что она раздала хлеб его голодающим крестьянам. Он совершенно согласился и с тем пунктом ее письма, в котором она говорила, что в продолжение нескольких лет не будет иметь возможности посылать ему с имения какие бы то ни было доходы, а все деньги, которые будут оставаться от продажи зернового хлеба, она будет употреблять

на улучшение хозяйства, для того чтобы поднять ценность его имения. Для этого, по ее мнению, нужно было: 1) унаваживать и обрабатывать как можно лучше землю, доведенную до полного истощения, 2) держать побольше скота для навоза, 3) выкорчевывать деревья, чтобы увеличивать запашку, 4) произвести фундаментальный ремонт старых сельскохозяйственных зданий и построить несколько новых. Это был совершенно разумный взгляд на хозяйство, если принять во внимание, конечно, те первобытные способы ведения его, которые тогда практиковались в нашей местности. Благодаря тому что дядя на слово поверил своей сестре и вполне подчинился ее требованиям, она хотя и не очень скоро, но в конце концов довела имение брата до весьма порядочного состояния. Если бы на месте дяди был в то время другой помещик, он никогда не согласился бы на предложение моей матери ничего не получать с имения, а все доходы в продолжение многих лет употреблять на его улучшение. Тем более не согласился бы на это помещик, ничего не понимавший в хозяйстве, каким был мой дядя. Вероятно, почти каждый в то время посмотрел бы на такое предложение, как на простое мошенничество. Но дядя, безукоризненно честный по натуре и совсем не жадный до денег, неспособный кого-нибудь провести и надуть, не допускал и мысли, конечно, что его родная сестра, которую он всегда горячо любил и уважал, могла посоветовать ему что-нибудь, клонящееся к ущербу его интересов,— впрочем, так же доверчиво он относился всю жизнь и к другим. Несмотря на то, что в то время он еще нуждался в деньгах, он написал матушке, что не будет требовать от нее никаких денег с имения, так как и доход с немца, который он получал, оказывался невероятно мизерным, да и тот был сокращен в последние два года: немец жаловался на неурожай, а ему, Гонецкому, казалось бесчестным прижимать в такое время человека, и управляющий уменьшил присылку ему доходов наполовину. А теперь, как он писал,

его совесть будет покойна, что его крестьян никто не будет истязать, что они не будут ходить «в кусочки».

И тогда, и позже дядя всегда говорил, что он не смотрит на имение, как на статью дохода (оно действительно было очень небольшое, а теперь к тому же окончательно разоренное) и не продает его только потому, что «считает себя обязанным охранять священный прах и гробы своих отцов». Нужно заметить, что, несмотря на страсть ко всему военному, несмотря на свой воинственный пыл, Гонецкий очень был непрочь посентиментальничать и не упускал случая в шутку и серьезно щегольнуть высокопарными фразами вроде следующих: «всеблагое провидение внушило мне», «легкий зефир освежил мою голову», «седая старина», «она прекрасна, как роза Востока», «когда мы имели несчастье прорубить окно на Запад» и т. п. Все эти громкие фразы он обыкновенно говорил с торжественным выражением лица, зажмуривая глаза и для большей внушительности помахивая перед собеседником двумя пальцами.

Однообразие нашей деревенской жизни редко чем нарушалось. Когда наступали теплые дни, в помещичьих усадьбах появлялся медведь, которого сопровождали два-три цыгана: один из них тащил его за цепь, другой шел с барабаном, прикрепленным к ремню, перекинутому через плечо, третий — со скрипкой. Представление с ученым медведем было в то время единственным народным театром. Хотя оно служило развлечением для народа, но, как и многое другое в то время, представление это было крайне грубым, вредным и даже опасным. Рассвирепевший зверь зачастую поднимался на дыбы, оскаливал свои страшные зубы и издавал потрясающий рев. Ужас охватывал тогда домашних животных, и на скотном дворе поднимался страшный переполох: лошади ржали, а нередко срывались с привязи, коровы мычали, овцы блеяли все жалостливее и жалостливее. Детей же этот медвежий рев доводил иногда до смертельных испугов и нервного

припадка, называемого в то время «родимчиком». Так же грубо и плоско было самое представление: медведя заставляли показывать, как деревенские ребята горох воруют, как парни водку пьют, как «молодцы» лениво на жнитво идут и т. п.

Весною или летом появлялся также цыганский табор и располагался близ той или другой помещичьей усадьбы. С наступлением сумерек цыгане зажигали костры и готовили себе ужин, после которого раздавались звуки музыки и пения. Смотреть на них народ стекался со всех деревень, а в сторонке от их веселья и пляски цыганки предсказывали будущее бабам, девушкам и барышням.

Прежде чем расположиться у нашей усадьбы, табор посылал к матушке цыганку Машу, которая просила разрешения сделать на ее земле привал на недельку-другую. Матушка давала согласие, но с условием, что цыгане раскинут табор на том месте, на котором им будет указано; но если во время их пребывания в ее поместье будет украдена хотя завалящая тряпка, а не только лошадь, она даст знать об этом становому, чтобы их всех заарестовали и посадили в тюрьму. Цыганка Маша от имени своих собратьев принимала условия и давала слово точно их выполнить; затем няня приказывала притти мужчинам из табора и получить «цыганское».

Когда наступали весенние дни, матушка приказывала осмотреть домашние заготовки. Все, что оказывалось испорченным до такой степени, что этого не стали бы есть и в людской, сбрасывали в огромный деревянный ушат, называемый «цыганским», нисколько не стесняясь тем, что порченый творог смешивался с гнилой рыбой и перегнившими мясными фаршами. Никто не знал точно, когда придут цыгане, и этот ушат со смесью съестного иногда подолгу стоял на крыльце какого-нибудь амбара; выброшенная масса издавала отвратительный запах. Когда матушку, проходившую по двору, он раздражал, она приказывала закрыть ушат

досками. Несмотря на это, цыгане были в восторге от подношения, и никогда ничего не крали в нашей усадьбе, а между тем с другими у них то и дело выходили «истории».

В то время когда цыгане раскидывали табор, цыганка Маша, то одна, то с несколькими подругами, почти ежедневно прибегала к нам. Им каждый раз давали хлеб, молоко и старое тряпье, а они гадали сестре по руке, пели, плясали. Иногда они приводили с собою и цыгана со скрипкою, и тогда у нас начиналось настоящее веселье. Цыганские нашествия служили для нас большим развлечением. И действительно, никто из членов моей семьи, даже матушка и няня, не могли оставаться равнодушными к их разудалому веселью. Меня особенно привлекала к себе Маша — красивая смуглая краснощекая цыганка с черными глазами, горевшими огнем, с волнистыми черными, как смоль, волосами, завитки и кудряшки которых сплошь покрывали ее лоб, с черными густыми бровями дугой. Ее обычный цыганский наряд — красная шаль через плечо, бусы и монеты вокруг шеи, свешивавшиеся на грудь и бряцавшие при каждом ее движении, пестрый головной убор из фольги, монет и разноцветных бус,— одним словом, все нравилось мне в ней, все выделяло ее из толпы и удивительно гармонировало с ее дикой, броской красотой. Во время пляски она то прищелкивала пальцами, то потрясала бубнами, все звонче взвизгивая, все нервнее передергивая плечами. Чем сильнее она увлекалась, тем живее и нервнее становился ее танец, тем звонче побрякивали украшения ее убора на голове и шее. Кончая свой страстно-задорный танец, она хватала меня на руки даже и тогда, когда я была уже большой девочкой, кружилась со мной, притопывая ногами и покрывая меня порывистыми поцелуями. Мне долго потом грезились эти огненные поцелуи. Я была слишком мала для того, чтобы разобраться в том, просто ли она дурачится со мной или желает этим подделаться к старшим, чтобы те давали ей побольше всякой вся-

чины, или я лично нравилась ей, как ребенок. Я начинала думать о ней все чаще и решила, что она меня любит так же крепко, как и целует. Она стала мне грезиться и наяву и во сне: часто я не могла понять, приснилось мне или то было в действительности, что она бежала со мной в табор, а наши крестьяне, под предводительством няни, вырывали меня из ее рук. Передо мной постоянно сверкали то ее чудные белые зубы, то огненные глаза, то раздавался в ушах ее громкий раскатистый смех.

В то время, когда цыгане жили близ нашей усадьбы, я под вечер все с большим нетерпением поджидала Машу: она должна была притти, моя чудная красавица, и я так жаждала ее жгучих поцелуев, так громко хохотала тогда,— я любила хохотать, но имела так мало случаев для этого. Впечатление от забав Маши со мной особенно усиливалось тем, что она, целуя меня, наклонялась надо мной как-то таинственно и, точно заколдовывая меня, произносила: «Кровушка у тебя-то наша — горячая, цыганская! И на щечках-то у тебя наш алый румянчик!.. И волосья твои, что ночь черная... закудрявились — счастье сулят. Наша ты, наша цыганочка... Дочка моя милая!».

Из своих странствий Маша всегда приносила мне гостинцы: то каких-то особенно крупных лесных орехов, то подсолнухов, то черных стручков, то глиняного петушка, то какой-нибудь крошечный глиняный горшочек. Я была в восторге и от всех ее подарков, и еще более от ее прихода. В свою очередь я тоже приготовляла ей подарок: как только весною начинались у нас разговоры об их приходе, я прятала в одну из своих многочисленных коробочек кусочки сахара, сухарики, лоскутки, которые мне давали для кукол, и потихоньку совала ей все это, когда она приходила к нам. Она ловко прятала полученное под свою красную шаль, и даже няня ничего не замечала. О, как я была счастлива, что у меня с нею был секрет, которого никто не знал! Но вот как-то няня, в один из

приходов цыганки, неотступно стояла при мне, и я никак не могла всунуть ей своего подарка. Цыганка простилась со всеми и быстро пошла по двору; я побежала за нею. Няня, увидав это из окна, закричала во все горло, бросилась за мной, схватила меня за руку и так резко, как никогда этого не случалось прежде, толкнула меня к матушке со словами: «Хорошенько побраните Лизушу, чтобы она никогда не смела бегать за цыганкой. Как перед истинным говорю,— заколдовала, приворожила она к себе ребенка! Быть горю,—чует мое сердце! Украдет, беспременно украдет она нашу девочку!».

— Еще что выдумала! — говорила матушка со смехом.— Это все старые сказки. Теперь детей подбрасывают, а не крадут!

Мою привязанность знали и наши соседи: каждый раз та или другая помещица находила нужным сказать мне при встрече что-нибудь в таком роде: «Здравствуй, цыганочка!» и затем, обращаясь к моей матери: «А ведь по правде, Александра Степановна, она у вас настоящая цыганка: волосы черные, кудрявые. Все ваши дети белолицы, а это — смуглая. Уж признайтесь: ведь цыганка Маша вам подбросила Лизу? Вам теперь жалко ее отправить в табор, а вот, когда она будет капризничать...» и т. п. Все это, конечно, были глупые шутки, но мне казалось, что в них есть намек на то, что я совсем не дочь той, которую я считаю своею матерью. И вот я, ломая над этим голову, пришла к убеждению, что цыганка Маша — моя родная мать, что та, которая считается моею матерью, вследствие этого и не может любить меня так, как родная. Я не могла долго носиться с своею тайной и под величайшим секретом передала ее няне. Та пришла в ужас и, разуверяя меня, клялась и божилась, что это вздор, что я родилась при ней, что с той минуты она никогда не отлучалась от меня.

В нашей местности было много крайне бедных, мелкопоместных дворян [15], особенно на противоположной стороне нашего озера, в деревне Коровиной. Одни из

них имели по две-три, а у более счастливых было по десяти-пятнадцати крепостных. Некоторые домишки этих мелкопоместных дворян стояли в близком расстоянии друг от друга, разделенные между собою огородами, а то и чем-то вроде мусорного пространства, на котором пышно произрастал бурьян, стояли кое-какие хозяйственные постройки и возвышалось иногда несколько деревьев. Впоследствии пожары, а более всего продажа, после крестьянской реформы, многими мелкопоместными дворянами своей земельной собственности, изменили внешний вид Коровина, а вместе с этим жизнь, отчасти и обычаи его обитателей, но в то время, которое я описываю, оно представляло деревню, на значительное пространство растянувшуюся в длину. Перед жалкими домишками мелкопоместных дворян (небольшие пространства луговой и пахотной земли находились обыкновенно позади их жилищ) тянулась длинная грязная улица с топкими, вонючими лужами, по которой всегда бегало бесконечное множество собак (которыми более всего славилась эта деревня), разгуливали свиньи, проходил с поля домашний скот. Только во время сильных морозов, когда все отбросы, выкидываемые на улицу, покрывались снегом, она принимала более приличный вид и не душила своим смрадом.

Большая часть жилищ мелкопоместных дворян была построена в то время почти по одному образцу — в две комнаты, разделенные между собой сенями, оканчивавшимися кухнею против входной двери. Таким образом, домик, в котором было всего две комнаты, представлял две половины, но каждая из них была в свою очередь поделена перегородкою, а то и двумя. Домики были разной величины, но бо́льшая часть их — маленькие, ветхие и полуразвалившиеся. По правую руку от входа из сеней жили «господа», с левой стороны — их «крепостные». Лишь у немногих мелкопоместных помещиков были отстроены особые избы для крестьян,— у остальных они ютились в одном и том же доме с «панами», но на другой его половине, назы-

ваемой «людскою», в свою очередь обыкновенно разделенной перегородкой на две части. Иной раз первая комната людской была больше, иной раз — вторая. Я перечислю только главные вещи, которые можно было найти в каждой людской: кросны для тканья[16], занимавшие большую часть комнаты, ручной жернов, на котором мололи муку, два-три стола, ушаты, ведра и сундуки, лавки по всем свободным стенам, а под ними корзины с птицею на яйцах или с выводками. В каждом загончике или клетушке людской были «зыбки»[17] для детей и полати для спанья взрослых,— но спали на всех лавках, на печи и на полу: нужно помнить, что там, где было четыре-пять взрослых крепостных, население людской, если считать не только жен и сестер, но и детей, простиралось до двенадцати-пятнадцати душ. Здесь и там в этих клетушках грудами навалены были лучины, бросался в глаза и высокий светец *; по избе бегали куры, собаки, кошки, песцы ** и другие животные.

* В то время вместо керосина крестьяне по вечерам жгли лучину, защемленную в светец. Он представлял собою высокую толстую деревянную палку с широкой подножкой; наверху ее была прикреплена железная полоса, раздвоенная в концах. В раздвоенную часть железной полосы всовывали зажженную лучину. Палка светца была очень высока, а потому горящая лучина освещала всю избу. Это опоэтизированное многими освещение с его треском и внезапным блеском в действительности было отвратительно и легко могло причинить пожар: лучина трещала, отбрасывала на деревянный пол горящие искры, быстро сгорала, и ее то и дело приходилось заменять новою.

** Эти прелестные, грациозные зверьки из породы грызунов с огненными глазами, напоминали в одно и то же время и зайца и кролика. В зоологии песцами называют животных из породы лисиц, но маленькие зверьки, о которых я говорю, ничего общего не имели с лисицами[18]. Очень возможно, что их называли совершенно неправильно в научном отношении, но этих зверьков в то время держали в очень многих помещичьих усадьбах то под печкою в людской, то в какой-нибудь полуразвалившейся постройке. Содержание их ничего не стоило: им бросали капустные листья, стручки гороха и бобов, дети рвали для них траву. Между тем из их прелестного легкого мягкого пуха помещицы вязали себе тамбурною иглой и вязальными спицами красивые платки, косынки, одеяла, перчатки кофточки и т. п.

«Господская» половина, называемая «панскими хоромами», отличалась в домах мелкопоместных дворян от людской только тем, что в ней не бегали ни куры, ни телята, ни песцы, но и здесь было много кошек и собак. Вместо лавок по стенам, ведер и лоханок в панских хоромах стояли диваны, столы, стулья, но мебель была допотопная, убогая, с оборванной обивкой, с изломанными спинками и ножками. Отсутствием чистоплотности и скученностью «господская» половина немногим разве уступала «людской». Как в домах более или менее состоятельных помещиков всегда ютились родственники и приживалки, так и у мелкопоместных дворян: кроме членов собственной семьи, во многих из них можно было встретить незамужних племянниц, престарелую сестру хозяина или хозяйки или дядюшку — отставного корнета, промотавшего свое состояние. Таким образом, у этих бедных дворян, обыкновенно терпевших большую нужду, на их иждивении и в их тесных помещениях жили и другие дворяне, их родственники, но еще более их обездоленные, которым уже совсем негде было преклонить свою голову.

Как и все тогдашние помещики, мелкопоместные дворяне ничего не делали, не занимались никакою работою. Этому мешала барская спесь, которая была еще более характерною чертою их, как и более зажиточных дворян. Они стыдились выполнять даже самые легкие работы в своих комнатах. Книг в их домах, кроме сонника и иногда календаря, не существовало, чтением никто не занимался, и свое безделье они разнообразили сплетнями, игрою в «дурачки» и «мельники» и поедом ели друг друга. Хозяева попрекали своих сожителей за свою жалкую хлеб-соль, а те, в свою очередь,— какими-то благодеяниями, оказанными им их отцами и дедами. Эти грубые, а часто и совершенно безграмотные люди постоянно повторяли фразы вроде следующих: «Я—столбовой дворянин!», «Это не позволяет мне мое дворянское достоинство!..». Однако это дворянское достоинство не мешало им браниться самым площадным образом.

Там, где мелкопоместные жили в близком соседстве один от другого, они вечно ссорились между собой, взводили друг на друга ужасающие обвинения, подавали друг на друга жалобы властям. Когда бы вы ни проходили по грязной улице, застроенной их домами, всегда раздавались их крики, угрозы друг другу, брань, слезы. К вечной, никогда не прекращавшейся грызне между соседями более всего поводов подавали потравы. При близком соседстве одного мелкопоместного с другим чуть не ежедневно случалось, что корова, лошадь или свинья заходила в чужое поле, луг или огород. Животных, осмелившихся посягнуть на чужое добро, били, калечили и загоняли в хлева. При этом немедленно загоралась перебранка, очень часто кончавшаяся потасовкою, а затем и тяжбою.

Много дрязг происходило и из-за собак: в каждом семействе держали собаку, а были и такие, у которых их было по нескольку; их плохо кормили, и голодные собаки то и дело таскали что-нибудь в чужом дворе, кусали детей. Впрочем, ссорились из-за всякого пустяка. Нередко среди улицы происходили жесточайшие драки: я сама была свидетельницей одной из них в 1855 году. Две соседки, особенно сильно враждовавшие между собой из-за детей, ошпарили кипятком одна другую. Обе они кричали так, что все соседи начали выбегать на улицу и ну бросать друг в друга камнями, обрубками, а затем сцепились и начали давать друг другу пинки, таскать за волосы, царапать лицо. Ужасающий крик, вопли, брань дерущихся и все усиливающийся лай собак привлекали на улицу все более народа. К двум враждовавшим сторонам прибежали их дети, родственники и крепостные, уже вооруженные дубинами, ухватами, сковородами. Драка сразу приняла свирепый характер,— это уже были два враждебных отряда. Они бросились молотить один другого дубинами, ухватами, сковородами; некоторые, сцепившись, таскали один другого за волосы, кусали. И вдруг вся эта дерущаяся масса людей стала представлять какой-то живой ворошившийся

клубок. Здесь и там валялись клоки вырванных волос, разорванные платки, упавшие без чувств женщины, мелькали лужи крови. Это побоище окончилось бы очень печально, если бы двое стариков из дворян не поторопили своих крепостных натаскать из колодца воды и не начали обливать ею сражающихся.

Мысль, что работа — позор для дворянина, удел только рабов, составляла единственный принцип, который непоколебимо проходил через всю жизнь мелкопоместных и передавался из поколения в поколение. Прямым последствием этого принципа было их убеждение, что крепостные слишком мало работают; они всем жаловались на это, находили, что сделать их более трудолюбивыми может только плеть и розга. Мелкопоместные завидовали своим более счастливым собратьям, и не только потому, что те независимы и материально обеспечены, но и потому, что последние всласть могли драть своих крепостных. «Какой вы счастливый, Михаил Петрович,— говорил однажды мелкопоместный богатому помещику, который рассказал о том, как он только что велел выпороть поголовно всех крестьян одной своей деревеньки,— выпорете этих идолов,— хоть душу отведете. А ведь у меня один уже «в бегах», осталось всего четверо, и пороть-то боюсь, чтобы все не разбежались...»

Громадное большинство зажиточных помещиков презрительно относилось к мелкопоместным. Это презрение вызывалось, конечно, прежде всего тем, что мелкопоместные были бедняки. В те времена богатство, хотя бы открыто нажитое взятками, ловким мошенничеством, вымогательством, вызывало всеобщее уважение и трепет перед богачом, как перед человеком сильным, с которым каждый должен считаться. Презирали мелкопоместных и за то, что внешность их была крайне жалкая, что они не могли и не умели импонировать кому бы то ни было. Мелкопоместные были еще менее образованы, чем остальные помещики, не умели они ни держать себя в гостиной, ни разговаривать в обществе, отличались

дикими, грубыми, а подчас и комичными манерами, одеты были в какие-то допотопные кафтаны. Иной богатый дворянин принимал у себя мелкопоместного лишь тогда, когда его одолевала тоска одиночества. Мелкопоместный входил в кабинет, садился на кончик стула, с которого вскакивал, когда являлся гость позначительнее его. Если же он этого не делал, хозяин совершенно просто замечал ему: «Что же ты, братец, точно гость расселся!..».

Когда бедные дворянчики в именины и другие торжественные дни приходили поздравлять своих более счастливых соседей, те в большинстве случаев не сажали их за общий стол, а приказывали им дать поесть в какой-нибудь боковушке или детской; посадить же обедать такого дворянина в людской никто не решался, да и сам он не позволил бы унизить себя до такой степени. А между тем даже фамилиями мелкопоместных богатые помещики пользовались, чтобы напомнить им об их ничтожестве, выразить свое полное презрение. Их жен звали только по батюшке: Марью Петровну — Петровной, Анну Ивановну — Ивановной, а фамилии их мужей давали повод для пошлых шуток, острот и зубоскальства. Мелкопоместного дворянина по фамилии Чижова все называли «Чижом», и, когда он входил, ему кричали: «А, Чиж, здравствуй!.. Садись! Ну, чижик, чижик, где ты был?». Мелкопоместного Стрекалова, занимавшегося за ничтожную мзду писанием прошений, жалобами, хлопотами в суде, прозвали «Стрикулистом». Его встречали в таком виде: «Ну, что, Стрикулист,— много рыбы выудил в мутной воде?». Решетовскому дали кличку «Решето»: «Да что с тобой разговаривать!.. Ведь недаром ты решетом прозываешься! Разве в твоей голове задержится что-нибудь?». Мелкопоместные всю жизнь ходили с этими прозвищами и кличками, и многие из зажиточных помещиков думали, что это их настоящие фамилии.

Конечно, и между мелкопоместными попадались люди, которые, несмотря на свою бедность, никому не

позволяли вышучивать себя, но такие не посещали богатых помещиков.

В то время редко кто из них отличался благородным самолюбием. У большинства хотя и были наготове слова о чести и достоинстве столбового дворянина, но их жизнь и поступки не соответствовали этому. Громадное большинство их объезжало богатых соседей, выпрашивая «сенца и овсеца», стремилось попасть к ним в торжественные дни именин и рождений, когда наезжало много гостей. Хотя мелкопоместные прекрасно знали, что в такие дни они не попадут за общий стол, что после обеда им придется сидеть где-нибудь в уголку гостиной, но соблазн приехать в такой день к богатым людям был для них очень велик. Мелкопоместные дворяне круглый год жили в тесных каморках с своими семьями. Коротая весь свой век в медвежьих уголках, куда не проникало никакое движение мысли, общаясь только с такими же умственно и нравственно убогими людьми, как они сами, разнообразя свое безделие лишь драками, ссорами и картами, они стремились хотя изредка посмотреть на других людей, узнать, что делается на белом свете, взглянуть на туалеты, отведать более вкусного кушанья, чем дома.

Богатые дворяне если и сажали иногда за общий стол мелкопоместных, то в большинстве случаев лишь тех из них, которые могли и умели играть роль шутов. Мало того: тот, кто хорошо выполнял эту роль, мог рассчитывать при «объезде» получить от помещика лишний четверик ржи и овса. К такому хозяин обращался так, как вожаки к ученому медведю. Когда за обедом нехватало материала для разговора (каждый хозяин мечтал, чтобы его гости долго вспоминали о том, как его именины прошли весело и шумно), он говорил мелкопоместному: «А ну-ка, Селезень (так звали мелкопоместного Селезнева), расскажи-ка нам, как ты с царем селедку ел...».

— А вот, ей-богу же, ел! — начинал свое повествование Селезнев. — И как все это чудно случилось! Живу

это я в Питере по делу, прохожу как-то мимо дворца, смотрю, а в *бель-этаже* (раздается всеобщий хохот гостей) у открытого окна стоит какой-то господин. Глянул я это на него, а у меня и ноги подкосились... Царь, да и только,— с полностью, как его на портретах изображают. Еще раз глянул, а он-то, царь-батюшка, меня ручкой манит. Что же мне было делать? Повернул к его подъезду... Везде солдаты стоят... «Так и так, мол, сам батюшка-царь изволил ручкой поманить... Быть-то мне теперь как же?» — «Самым что ни есть важным генералам все досконально доложить об этом надо...— отвечают мне.— А пока что входите в переднюю...» Вошел, да как глянул!.. И боже мой — ничего, что передняя, а вся в зеркалах. Ну, хорошо... Стою это я ни жив, ни мертв... Вдруг *камельдинер* (опять хохот) следующую дверь отворяет, а ко мне-то видимо-невидимо генералов в звездах приближается. А один из них, значит, самый нáбольший, говорит мне: «Видно, вы из самой что ни на есть глухой провинции? Разве можно так просто видеть государя императора? Всякий бы так захотел! Прежде, говорит, нужно испросить...». Вот уж тут запамятовал, какое-то мудреное слово обронил — не то «конференция», не то «аудиенция». Я ему почтительно поклонился. Слов нет, очень почтительно, но знаете, этак, с достоинством, как подобает русскому столбовому дворянину, значит, не очень-то низко: «Ваше высокое превосходительство! Знать ничего не знаю и ведать ничего не ведаю! Но ежели сам царь-батюшка изволили поманить меня собственной ручкой, как же должен я в таком случае поступить?». Завертелись мои генералы... зашушукались... Один-то и говорит: «Идите!». Пошел. Впереди-то меня, позади, по бокам—все генералы. Грудь-то у каждого из них звездами и орденами увешана. Ну, а насчет покоев, по которым проходили, так, боже мой, что там только такое: одна комната вся утыкана бриллиантами, другая вся в золоте... да у меня-то и в голове все замутилось,— под конец-то я уж и разобрать ничего не мог. Пришли. А царь-то встал с кресла да

так грозно окрикнул: «Какой такой человек будешь, откуда и зачем?» — «Так и так,— говорю,— ваше императорское величество... Селезнев! Смоленский столбовой дворянин...» — «А, это дело другое! — сказал царь.— Ну, садись... гостем будешь... завтракать вместе будем». И, господи боже мой, что тут только было! Ну, а уж селедка лучше всяких бламанжеев — так во рту и таяла».

Этот рассказ Селезнева я не раз слышала в детстве, а когда возвратилась домой через семь лет, уже после освобождения крестьян, опять услыхала его на именинах у одного помещика.

К нам в дом часто хаживала одна мелкопоместная дворянка, Макрина Емельяновна Прокофьева. Она жила совершенно отдельно от остальных мелкопоместных и была самой ближайшей нашей соседкой, в версте от нашего дома. В то время, когда мы знавали ее, ей было лет за сорок, но по виду ей можно было дать гораздо больше.

Проживала она в своей деревеньке с единственной своей дочерью Женею — девочкою лет четырнадцати-пятнадцати. Земли у Прокофьевых было очень мало, но, несмотря на их малоземелье и тяжелое материальное положение, у них был фруктовый сад, в то время сильно запущенный, но по количеству и разнообразию фруктовых деревьев и ягодных кустов считавшийся лучшим в нашей местности. Был у Прокофьевой и огород, и скотный двор с несколькими головами домашнего скота, и домашняя птица, и две-три лошаденки. Ее дом в шесть-семь комнат был разделен на две половины: одна из них, вероятно более ранней стройки, в то время, когда мы бывали у нее, почти совсем развалилась, и в ней держали картофель и какой-то хлам, а в жилой половине была кухня и две комнаты, в которых и ютились мать с дочерью. В этом доме, видимо, прежде жили лучше и с большими удобствами. В спальне стояли две огромные деревянные двуспальные кровати; на каждой из них могло легко поместиться несколько человек как вдоль, так и

поперек. Вместе с горою перин и подушек эти кровати представляли такое высокое ложе, что попасть на него можно было только с помощью табуретки. По всему видно было, что эти основательные кровати когда-то покоили две брачные пары, а теперь одна из них служила ложем для матери, другая — для дочери. Они занимали всю комнату, кроме маленького уголка, в котором стояла скамейка с простым глиняным кувшином и чашкою для умывания. В другой комнате были стулья и диван из карельской березы, но мебель эта уже давным-давно пришла в совершенную ветхость; по углам она была скреплена оловянными планочками, забитыми простыми гвоздями. Посреди комнаты стоял некрашеный стол, такой же, как у крестьян. К одной из стен был придвинут музыкальный инструмент — не то старинное фортепьяно, не то клавесины. Вероятно, в давнопрошедшие времена он был покрашен в темножелтый цвет, так как весь был в бурых пятнах различных оттенков. Его оригинальность состояла в том, что, когда летом порывы ветра врывались в открытые окна, его струны дребезжали и издавали какой-то хриплый звук, а в зимние морозы иногда раздавался такой треск, что все сидящие в комнате невольно вздрагивали.

В хозяйстве Макрины (так за глаза ее называли все, а многие и в глаза) более всего чувствовался недостаток в рабочих руках. У нее всего-на-все было двое крепостных — муж и жена, уже не молодые и бездетные: Терентий, которого звали Терешкой, и Евфимия — Фишка.

Хотя Макрина отдавала исполу скосить лужок около усадьбы и обработать небольшую полоску своей земли, но все-таки на руках Терешки и Фишки оставалось еще много работы. Оба они трудились не покладая рук, помогая друг другу во всем. Хотя сад не поддерживался как следует, тем не менее он отнимал у них много времени. Работою в нем никак нельзя было пренебрегать: сена и зернового хлеба, получаемых Макриною за свою землю, недостаточно было для того, чтобы удовле-

творить все нужды двух барынь, двух крепостных людей и домашних животных. Вишни, яблоки, груши, крыжовник, сливы и различные ягоды из своего сада Макрина продавала, но еще чаще выменивала у помещиков на рожь, ячмень, овес, сено и солому. Она снабжала их также ягодными кустами, за которыми к ней посылали иногда издалека.

Но, кроме сада, Терешка и Фишка должны были управляться и с огородом, и с домашнею скотиною, и с птицею. Но если бы Макрина с дочерью делали все сами в доме, ее двое крепостных, при их неутомимой деятельности, могли бы еще справиться с хозяйством; но дело в том, что барыня обременяла их и домашними услугами: Терешка был в одно и то же время кучером, рассыльным, столяром, печником, скотником и садовником. Что касается Фишки, то ее обязанности были просто неисчислимы: кроме работы с мужем в саду, огороде и на скотном, она доила коров, вела молочное хозяйство, была прачкою, судомойкою, кухаркою, горничною, и при этом еще ее то и дело отрывали от ее занятий.

Будучи совсем необразованною, даже малограмотною, Макрина была преисполнена дворянскою спесью, барством и гонором, столь свойственным мелкопоместным дворянам. При каждом своем слове, при каждом поступке она думала только об одном: как бы не уронить своего дворянского достоинства, как бы ее двое крепостных не посмели сказать что-нибудь ей или ее Женичке такое, что могло бы оскорбить их, как столбовых дворянок. Но ее крепостные, зная свое значение, не обращали на это ни малейшего внимания и ежедневно наносили чувствительные уколы ее самолюбию и гордости.

Они совсем не боялись своей помещицы, ни в грош не ставили ее, за глаза называли ее «чортовой куклой», а при обращении с нею грубили ей на каждом шагу, иначе не разговаривая, как в грубовато-фамильярном тоне. Все это приводило в бешенство Макрину.

— Фишка! — раздавался ее крик из окна комнаты,— отыщи барышнин клубок!

— Барышня! — было ей ответом:— ходи... ходи скорей коров доить, так я под твоим носом клубок тебе разыщу.

Этого Макрина не могла стерпеть и бежала на скотный, чтобы влепить пощечину грубиянке. Но та прекрасно знала все норовы, обычаи и подходы своей госпожи. Высокая, сильная и здоровая, она легко и спокойно отстраняла рукой свою помещицу, женщину толстенькую, кругленькую, крошечного роста, и говорила что-нибудь в таком роде: «Не... не... не трожь, зубы весь день сверлили, а ежли еще что,— завалюсь и не встану, усю работу сама справляй: небось, насидишься не емши, не пимши». Но у Макрины сердце расходилось: она бегала кругом Фишки, продолжая кричать на нее и топать ногами, осыпала ее ругательствами, а та в это время преспокойно продолжала начатое дело. Но вот Фишка нагнулась, чтобы поднять споткнувшегося цыпленка; барыня быстро подбежала к ней сзади и ударила ее кулаком в спину.

— Ну, ладно... Сорвала сердце и буде! — говорила Фишка, точно не она получила пинка.— Таперича, христа-ради, ходи ты у горницу... Чаво тут зря болтаешься, робить мешаешь?

Ее муж злил помещицу еще пуще. «Терешка! иди сейчас в горницу,— стол завалился, надо чинить!..» — «Эва на! Конь взопрел... надо живой рукой отпрягать, а ты к ей за пустым делом сломя голову беги!..» И он не трогался с места, продолжая распрягать лошадь. «Как ты смеешь со мной рассуждать?» — «Я же дело справляю... кончу, ну, значит, и приду с пустяками возиться...»

Если бы эти крепостные не стояли так твердо на своем, если бы, несмотря на ругань и угрозы, они не старались прежде всего покончить начатое дело по хозяйству, Макрина совсем погибла бы.

Членов моего семейства сильно интересовал вопрос,

каким образом Терешка и Фишка, которых довольно часто становой драл на конюшне за их дерзости помещице, нисколько не боялись ее. О причине этого матушка как-то стала расспрашивать станового, с семейством которого она водила дружбу и который очень недолго занимал свою должность в нашей местности. Он сначала уклонялся от объяснения, говоря, что «эта тайна должна умереть вместе с ним», но, наконец, не выдержал и под величайшим секретом объяснил ей курьезную роль, которую он играл в делах Макрины.

Однажды Макрина стала просить станового, чтобы он, когда это ей было нужно, порол двух ее крепостных. Он наотрез отказался от этого, говоря, что по долгу службы и без того обременен подобными занятиями. Когда возникало какое-нибудь дело о сопротивлении помещичьей власти, наезжал земский суд или становой, и производилась экзекуция, в обыкновенных же случаях помещики устраивали ее собственными средствами; но Макрина находила для себя это невозможным. «У меня и Фишку выпороть сил нехватает, а как же справиться мне с Терешкой? Он не задумается выкинуть какую-нибудь гадость! Ведь я столбовая дворянка!»

В виду того что в нашей местности в ту пору только у одной Макрины можно было достать всевозможные ягодные кусты и пользоваться фруктами, он предложил ей такую сделку: за порку одного из ее крепостных он должен получать ягодный куст по выбору или известное количество слив, вишен и яблок; когда же приходилось зараз пороть мужа и жену, вознаграждение удваивалось.

Нарочно к ней за поркою становой не ездил, но когда по делам службы ему приходилось проезжать мимо ее усадьбы, и он чувствовал потребность закусить, он останавливался у ее крыльца и кричал, чтобы Фишка скорее готовила ему яичницу, тащила творог и горлач (горшок) с молоком. Порке чаще всего подвергался Терешка, а если в то же время приходилось распра-

вляться и с Фишкою, то становой приказывал ее мужу являться первым на экзекуцию: Фишка должна была раньше приготовить ему все, что требовалось для закуски. Затем он при Макрине, которая при этом стояла на крыльце, расположенном против сарая, вталкивал в него Терешку. «Служба моя была собачья,— говорил становой,— пороть мне приходилось часто, но это не доставляло мне ни малейшего удовольствия. С чего мне, думаю, пороть людей m-me Макрины? Ведь, если вместо них ей дать другую пару крепостных, она бы давно по миру пошла. Вот я толкну, бывало, Терешку в сарай, припру дверь, только небольшую щелку оставлю, сам-то растянусь на сене, а Терешка рожу свою к щелке приложит и кричит благим матом: «Ой... ой... ой... ой-ей-ейшеньки... смертушка моя пришла!..». А я, лежато на сене, кричу на него да ругательски ругаю, как полагается при подобных случаях... Вот и вся порка!»

Такую же экзекуцию он производил и над Фишкой. Между прочим, становой признавался, что к этой оригинальной комедии он прибегал и потому, что как-никак, но ведь Терешка же должен был выкапывать ему кусты, которые полагались ему, как вознаграждение за его порку,— он и боялся, что, если по-настоящему будет производить над ним экзекуцию, тот и преподнесет ему кусты с порванными корнями, которые не приживутся, а Фишка, пожалуй, гнилых фруктов наложит, а потом и разбирайся с ними!.. К тому же Фишка и закуску ему приготовляла, и частенько вместо горлача молока, которое она обязана была ему подавать, ставила перед ним сливки. Едва ли бы она это делала, если бы он ее порол по-настоящему.

При этом становой передавал множество потешных инцидентов. Когда он однажды заехал для экзекуции, Макрина стала умолять его, чтобы он после порки заставил Терешку поцеловать ей руку, поблагодарить ее за науку и чтобы он, Терешка, пообещал ей, что не будет больше грубить. Становой охотно согласился на это и, когда вошел с Терешкой в сарай для обычной

экзекуции, то заявил ему о желании Макрины. «Не, барин, не пойду... Лучше отдери по-настоящему...» — «Как, говорю, не пойдешь! Ах ты такой-сякой!.. Это я тебя избаловал! Ты, кажется, забыл, что крепостной и, как прочие, обязан целовать руку своей помещицы...» Он отвечал на это, что у настоящей барыни он непрочь поцеловать руку. «А Макрина разве настоящая? Дурашка какая-то. Своей пользы а нинишеньки не смыслит! Ежели нам с женкой слухать ейных распоряженьев, так ей с дочкой жрать нечего буде... да и мы с голоду подохнем. А ежели мы с женкой будем с ей, как с настоящей барыней, проклаждаться, так она зачнет пуще дурить!.. Усе хозяйство на-нет сведет!»

«Конечно, его за эти рассуждения по-тогдашнему следовало бы отодрать, как сидорову козу, но не было времени возиться мне с ним, и хотя мне часто приходилось производить экзекуции, но я как-то всегда этим расстраивал себе нервы. Вышли мы с ним из сарая, а Макрина по обыкновению на крылечке стоит. Я оборачиваюсь к Терешке и кричу на него: «Пошел барыню за науку благодарить! Сейчас руку целуй!». А он ни с места. «А, так-то? Ну, пошел опять в сарай!» Опять проделали ту же комедию... Возвращаемся... А тут, спасибо, выручила сама Макрина. «Что же это,— говорит,— видно, он ваших розог не боится?.. Должно быть, вы ему лёгоньких всыпаете?» — «Что ж, говорю, извольте обревизовать! Ваша соседка после порки всегда ревизует спины крепостных!.. Правда, она не столбовая дворянка...[19]» — «Что вы, что вы! — в ужас приходит Макрина,— чтобы я да себя из-за хама так потеряла?»

Матушка в своем обращении с помещиками и их женами никого из них не выделяла за богатство, не имела привычки обращаться с богатыми более почетно, чем с бедняками, а издевательство над мелкопоместными ее возмущало до глубины души. Это отчасти можно объяснить тем, что она по нравственному и умственному развитию стояла выше многих окружающих ее помещиков и их жен, отчасти и тем, что по собственному

опыту она постигла всю превратность фортуны. Ей более всего импонировали люди с образованием, с природным умом и в то же время деловитые. К своей соседке Макрине она начала относиться так же вежливо, как и ко всем остальным, величала ее не иначе, как Макрина Емельяновна, провожала ее в переднюю и т. п. Но, когда матушка постигла все ее нравственное и умственное убожество, она сразу перешла с нею на «ты» и уже называла ее только по имени. Однажды Макрина пришла к нам во время обеда; няня вскочила с своего места, чтобы выйти из-за стола, как это она делала всегда, когда к нам приезжали гости. «Это еще что за фокусы? — закричала на нее матушка.— Мы с Макриной не очень большие помещицы! Сидишь за обедом со мной, авось и при Макрине тебе не грех посидеть».

Обладая типичными качествами ума и сердца своих мелкопоместных собратьев, Макрина в то же время сильно отличалась от них: она никогда не объезжала зажиточных помещиков с просьбой «овсеца и сенца» и не только не посещала их в дни торжественных обедов, но совсем не вела с ними знакомства. Правда, ее карафашка иногда останавливалась у крыльца того или другого помещика, но она приезжала к ним только по делам своего сада. Наш дом был исключением из этого правила, и нас, в конце концов, Макрина посещала очень часто, но, как потом оказалось, под влиянием своей дочери, в которой члены моей семьи пробуждали большой интерес и симпатию. Моя старшая сестра Нюта была ее ровесницею, и к тому же до нашего переселения в деревню Женичка не имела ни подруг, ни знакомых, почти никого не видела, кроме своей матери и крестьян.

— Как это ты, Макрина, ничему не учишь Женю? Ведь Терешка и Фишка не вечные: умрут же они когда-нибудь!.. Умрешь и ты раньше дочери,— что же тогда будет она делать? Ведь она даже едва читает по-русски и совсем не умеет писать! Вместо того, чтобы копить для нее сундук с тряпьем, ты могла бы дать ей

хотя скромное образование! При старании могла бы приспособить ее и для гувернантства.

— Нешто столбовой дворянке пристало по гувернанткам таскаться?..

— Я, милая моя, столбовая по мужу и по отцу. (Язвительный намек на то, что у Макрины в родстве не все столбовые дворяне.) А вот у меня Нюта обшивает всю семью, стряпает, прибирает, а Саша будет гувернанткой... И я буду гордиться тем, что мои дети — образованные люди, своим трудом семье помогают, сами хлеб себе добывают...

— Уж простите, Александра Степановна, что я осмелюсь вам сказать... Вы, конечно, ученая, а я неученая, а я все бы не хотела, чтобы суседи так меня высмеивали, как вас... Все просмеивают вас за то, что вы на свое дворянство плюете, а я никогда об этом не забываю и забывать не намерена.

— Ах, Макрина, Макрина! Вот эту-то барскую спесь ты и в Женю вбиваешь! А что нам с тобой эта дворянская честь, когда нечего есть? И зачем она для твоей Жени, когда ее от мужички не отличишь?

В эту минуту Женя, вся вспыхнув, вскочила с своего места, подбежала к матушке и, сконфуженно прижимая руки к груди, заговорила:

— Будьте столь добры, Александра Степановна, не гневайтесь на мою маменьку... Как они необразованные, так, значит, не могут по-настоящему вам ответить.

— Я не сержусь, Женюша. Мне только жалко тебя! Я все думаю, что ты будешь делать, когда ни матери, ни крепостных у тебя не останется,— ласково успокаивала ее матушка.— А тебе, Макрина, я вот что скажу: меня осуждают, говоришь ты,— очень возможно... Но что нам с тобой до других? Нам впору думать с тобой о том, как бы детей своих на ноги поставить, чтобы они, не получив от нас приданого, могли себе кусок хлеба добыть.

Женя опять вскочила с своего места, встала перед матушкой и со слезами, градом катящимися по ее худень-

ким щекам, поклонившись матушке в пояс, начала опять говорить:

— Вы все истинную правду говорите, Александра Степановна! Потому как я вас очень почитаю... так как вы очень ученая дама... будьте благодетельницею! Посоветуйте, что мне делать, как мне быть. Сама вижу, что маменька не на ту точку меня ставят... Вот я при них... при моей маменьке скажу вам: кажинный день я говорю им, что не надо Фишку и Терешку от работы отрывать, что я завсегда все сама могу сделать... Так они, маменька моя-с, ни боже мой этого не допускают! Из-за одного этого промеж нас кажинный день ссоры да покоры. С лаской им говорю: маменька миленькая, посмотрите на Нюточку: девицы они ученые, не мне чета, а все сами делают. Что нам с вами в том, что их суседи осуждают? Осуждают, а сами-то к ним на поклон бегут, а к нам с вами ни одна собака не заглядывает!

— Как ты смеешь супротив матери? Этого от тебя я еще не слыхивала, всегда была барышней приличной... Мать почитала, при чужих не срамила...

— Да разве, маменька, я из вашей воли выхожу? Разве я вам грубым словом когда поперечила? А как Александра Степановна изволят быть ко мне очень милостивы, то могу же я у них совета просить! Ведь я не малолетка,— нужно же мне о себе подумать! Разрази меня бог на этом месте, если я вашей смерти ищу! Я так этого боюсь, что не приведи бог! Только вы же сами подумайте, что я без вас буду делать! Из-за бедности ведь ни один помещик замуж меня не возьмет. А бедному чиновнику я ведь и в хозяйстве не помощница: ведь вы ни до чего касаться не позволяете. Пусть как Александра Степановна присоветуют, чтобы со мной все так и было!.. Не будьте вы, маменька миленькая, помехой моему счастью...

— Помехой тебе я ни в чем не буду, а забывать дворянское достоинство тебе не позволю.

Но Женя разошлась. Она то и дело срывалась с места, отвешивала глубокие поясные поклоны перед

матушкой и говорила, точно боясь, что она не найдет другого случая высказать свои мысли:

— Уж вы не оставляйте меня своим наставлением, Александра Степановна! Только в вашем доме я и свет-то увидела, и уж вы, Нюточка, не брезгуйте мною, что я не ученая!

Ее успокаивали с той и с другой стороны, придумывали, как устроить ее обучение; наконец матушка решила, что Нюта будет заниматься с Женею, но, в виду того что сестра почти целый день занята то с братом, то шитьем, то по хозяйству, Женя должна приходить к ней по вечерам, а днем только в праздники. Кроме того, матушка уговорила Макрину, чтобы она отпускала к нам Женю в те дни, когда священник занимался с моим братом Зарею. Хотя мой брат был на лет пять-шесть моложе Жени, но, конечно, он далеко опередил ее и в грамотности, и в арифметике, и в законе божием. Матушка бралась переговорить со священником о новой ученице, но настаивала, чтобы Макрина и от себя добавляла бы ему за лишний труд: то подарила бы в праздник пуд масла, то отправила бы ему иногда ягод, фруктов или что-нибудь из живности. Женя была в восторге, что будет учиться, и несколько раз вскакивала с своего места, чтобы поцеловать руку моей матери. Но вдруг она опять заволновалась и заерзала на стуле.

— Да что ты хочешь сказать, Женя?— спрашивали ее матушка и Нюта.

— Уж как бы мне хотелось... научиться хоть несколькими французским словам! Маменька-с все говорят мне — «дворянка да дворянка»! Так вот бы, значит, какое ни на есть отличие от мужички и было...

— Ну, милая моя,— отвечала ей матушка,— с радостью взялась бы тебя французскому языку учить, но времени у меня нехватает. Это уже летом, когда к нам Саша приедет. А теперь тебя хотя бы русской грамоте выучить.

— И глупая же ты какая! — проговорила Макрина.— Ведь французским-то словам я сама могу тебя научить.

Все в изумлении обратились в ее сторону.

— Что же вы так на меня смотрите? Будто не верите... Ведь покойный-то папенька мой очень многим французским словам меня научили! Вот, как перед богом, очень много этих слов я знавала! Конечно, теперь, поди, много забыла! А вот погодите-ка... припомню... Ну, вот: «коман-ву»... Ах ты, господи, а ведь и взаправду забыла!..

Но ответом на это был такой неудержимый, дружный хохот матушки, Нюты и даже Зари, что Макрина несколько оторопела, но не сдалась.

— Да уж вы, Александра Степановна, поди, полагаете, что я вроде как бы мужичка... Не хвастаюсь: мало учена, но все же покойный папенька кой-чему обучали, и даже такому, чтобы я, значит, могла гостей занимать. Хоть я музыке не обучалась, по нотам не понимаю, но с рук и с голоса батюшка нескольким песням меня научили... И многие очень даже одобряли.

— Что же, спой что-нибудь, пожалуйста,— просила ее матушка.

И мы все направлялись в зал, где стояло наше фортепьяно. Макрина торжественно уселась за него. Высоко и неуклюже поднимая и опуская пальцы рук на клавиши, жеманясь и до отчаянности смешно, хрипло и точно передразнивая кого-то, пропела «Черную шаль», «По улице мостовой», «Парничок»,— одним словом, несколько романсов и песен, которые были тогда в ходу у барышень. При первых же звуках ее голоса Заря стал так фыркать, что Нюта схватила его за руку и вытолкала в переднюю. Сама она смотрела в сторону и закрывалась платком, чтобы не выдать душившего ее хохота, а матушка, увидев красное, сконфуженное лицо Жени, отошла к окну и вся тряслась от смеха. Только одна Макрина была так увлечена и поглощена собственным пением, что ничего не видела и не слышала, что делалось вокруг. Когда, кончив весь свой репертуар, она обернулась к матушке со словами: «Все же хоть немножко да могу что-нибудь!.. А сколько

разов начинала я ее учить, да ведь она не хочет»,— говорила она, указывая на дочь.

В эту минуту матушка уже оправилась от душившего ее смеха и, подходя к певице, решительно заявила:

— Вот что, Макрина: если ты любишь дочку, не учи ты ее ни французским словам, ни этим песням.

— Да отчего же? Покойный папенька не могли меня дурному обучить!

— Видишь ли... может быть, сто лет назад это было и не смешно, а теперь, я прямо скажу, Женю твою за такое пение и за такой французский язык просто просмеют. Лучше в обществе молчать, чем такие фокусы выкидывать.

Мало-по-малу Женя сделалась членом нашей семьи: она только ночевала дома, да и то не всегда. Макрина очень огорчалась, но Женя в конце концов сумела заставить ее примириться с этим и продолжала заниматься очень усердно. Хотя ей и не удалось научиться французскому языку, но даже элементарное образование, которое она получала, чтение и обращение с более или менее образованными людьми так изменили ее манеру говорить и держать себя, что она уже через несколько месяцев была просто неузнаваема. Она полюбила членов моей семьи, как родных, а перед моею матерью просто благоговела.

Через несколько лет Макрина внезапно умерла. Это было в тот период жизни моей семьи, впрочем очень непродолжительный, когда моя мать жила совершенно одна, так как мы, ее дети, были в разных концах России. И вот в это-то время матушка стала жить с Женею. Они как-то отправились вместе в город, где в одном знакомом семействе Женя встретила Жукова — молодого чиновника, занимавшего очень скромное место,— и вышла за него замуж.

Семейство молодых Жуковых быстро увеличивалось, а жалованье отца семейства возрастало очень медленно. Эту семью поддерживало только то, что зимою Терешка

и Фишка, оставшиеся единственными хозяевами жалкой усадьбы Жени, отечески заботились о своей молодой барыне: зимою доставляли ей кое-какую провизию, а летом она переезжала с детьми в свою деревню и проводила в ней несколько месяцев. Но в год освобождения крестьян Терешка умер. Женя отдала за ничтожную аренду свой сад и крошечный кусок земли, выговорив себе право жить в своем доме летом, и взяла к себе в няньки Фишку, которою не могла нахвалиться,— такой она оказалась заботливой, преданной и любящей детей.

В двух верстах от нашего имения проживал в своей усадьбе мой родной дядя, брат покойного отца, Максим Григорьевич Цевловский, которого моя семья называла «дядя Макс». Он прославился своим отчаянным женоненавистничеством. Но он не всегда был таким: до печального инцидента, перевернувшего всю его жизнь и изменившего его характер, он имел большую склонность к щегольству и мотовству. Он постоянно жил в Петербурге и только летом, да и то ненадолго, приезжал в свое имение, отчасти чтобы отдохнуть от рассеянной жизни в столице, но прежде всего чтобы устроить свои дела по имению, отдать на сруб часть своего леса (в его имении было несколько превосходных лесов), продать хлеб и несколько человек крепостных,— одним словом, запастись деньгами.

По рассказам моей матери, трудно даже представить, с каким нетерпением в наших краях ожидали приезда Максима Григорьевича. В семействах, где были девушки-невесты, дома приводили в порядок, вешали на окна чистые занавески, а барышни обновляли свои туалеты. Хотя беспутное и разорительное хозяйничанье Максима Григорьевича было у всех на глазах, хотя он владел весьма небольшим имением, которое с каждым годом приходило все в больший упадок, а число крепостных душ постоянно уменьшалось, но барышни пускали в ход всевозможные хитрости и уловки, чтобы только женить его на себе, и их родители тоже были

непрочь породниться с блестящим, по внешности, человеком.

Мне говорили, что в то время, когда я еще не знала его, он имел весьма представительную наружность, был ловким танцором, прекрасно говорил по-французски, всегда одевался по моде. И вдруг этот светский лев безумно влюбился в Варю — крепостную одного помещика. Она была, однако, грамотной, с изящными манерами и, исполняя обязанности горничной при дочери помещика, кое-чему научилась у своей барышни. Максим Григорьевич купил Варю, увез ее в свой маленький деревенский домик, который к этому времени уже пришел в ветхость, и стал жить с нею, как с женою, обожал ее, выполнял все ее прихоти, хотя доходы его уже были более чем скромные, но не пожелал жениться на ней даже и тогда, когда у них родилась дочь. Единственно, чего могла добиться от него молодая женщина, это то, чтобы он дал ей и ее дочери волю, после чего она, однако, некоторое время еще прожила с Цевловским.

У них крайне редко бывали гости, а сами они совсем почти никуда не показывались, только Варя раза два в год, и всегда одна, ездила в имение своего прежнего помещика, где у нее были родные. И вдруг, однажды, Максим Григорьевич, уехав на неделю-другую в город, после своего возвращения домой не застал ни своей маленькой дочери, ни Вари. Письмо, которое она оставила ему, начиналось с упрека за то, что, несмотря на ее просьбу дать свое имя ей и дочери, он не сделал этого, следовательно, стыдился быть мужем крепостной. Из этого она делала вывод, что он никогда не любил ее. Вследствие этого, по ее словам, она и предпочла уйти к человеку, с которым будет повенчана уже в ту минуту, когда он прочтет эти строки.

Это так поразило дядюшку, что у него сделался удар. Правда, через некоторое время он несколько оправился, но встал с постели дряхлым стариком. Свое

негодование на бывшую любовницу он постоянно выражал моим родителям. Он негодовал более всего на то, что он, по его мнению, поступал так благородно с «тварью», а она заплатила ему вероломством. Свое благородство по отношению к ней он усматривал в том, что дал ей волю, что она была полной хозяйкой в его доме; но жениться на ней он не мог, так как не потерял еще головы настолько, чтобы сделать такой позорный для дворянского достоинства «мезальянс».

Однажды дядя прислал к матушке верхового с просьбою немедленно навестить его. Как только она вошла к нему, он приказал внести случайно найденный сундук; по словам прислуги, в нем хранились вещи Вари. Дядя просил матушку при нем перебирать и пересматривать все, что осталось после «твари». Матушке не удалось отговорить его от этого предприятия: замок по его приказанию был немедленно сломан, и он зорко следил за каждой мелочью, которую матушка вынимала.

В сундуке оказалось старое тряпье и среди него небольшая пачка писем теперешнего любовника или мужа Вари, который, видимо, никогда не прекращал с нею сношений и писал ей еще в первый год ее сожительства с дядею. В одном из писем «он» говорит, что верит в ее любовь к нему и понимает, что ее сожительство с «старым негодяем» было вызвано крайнею необходимостью, уверяет ее в неизменной любви и благодарит за то, что она, несмотря на предложение «старого хрыча» жениться на ней, отказалась от «этой чести». Это последнее уже, несомненно, было с ее стороны хвастовством и ложью.

Читая это письмо, рассказывала матушка, дядя от злобы просто рычал, как зверь, а затем с ним сделался припадок, во время которого судороги сводили его члены, перекашивали лицо и всего его било и ломало.

Совсем оправиться после нового припадка дядя уже не мог до самой смерти и никогда больше не выходил из дому. Он не всегда мог даже прохаживаться по

комнатам и бо́льшую часть дня проводил в кресле у окна.

После описанных событий Максим Григорьевич сделался отчаянным женоненавистником и, кроме моей матери, не дозволял переступать ни одной женщине порог своего дома. Нас, родных племянниц, он тоже долго не пускал к себе, но брата моего Зарю, который был в то же время и его крестником, он чрезвычайно любил и даже делал матушке сцены, что она редко отпускает его к нему.

Максим Григорьевич был до невероятности счастлив, когда к нему приезжал Заря, с которым он играл в «дурачки» и в лото, вел бесконечные разговоры о подлости женщин (моему брату в то время не было еще и десяти лет), и это помогало одряхлевшему и опустившемуся старику коротать время. Мой братишка тоже рвался к дяде: в такие дни он меньше занимался, а этим он особенно дорожил, мог рассуждать с ним, как взрослый со взрослым, и к тому же ел много сладкого, чего был лишен дома.

Мы, дети моей матери, считались единственными наследниками имения дяди, но Заря убеждал нас — сестер,— что мы не получим этого наследства, так как дядя ненавидит «бабье», и что только он один сделается его единственным наследником. Трепки матушки, когда ей удавалось перехватить подобные рассуждения, не помогли, и он продолжал переносить нам слова дяди, исполненные ненависти и презрения к женскому полу вообще.

Как были бы возмущены современные родители, если бы услышали, что их дети обсуждают, кто из них какое наследство получит, у кого оно будет больше и почему,— а в то время подобные разговоры были обыденным явлением среди помещичьих детей. При жалком умственном и нравственном воспитании, при отсутствии книг для детского чтения, такие рассуждения детей между собою были вполне естественны: они лишь повторяли то, что слышали от старших. И это, несо-

мненно, пятнало чистую детскую душу. Только могучая волна идей 60-х годов вытравила эту грязь из души людей, страстно увлекавшихся ими и отдавших себя на их служение. Так было и с моим братом Зарею: несмотря на его вечные рассуждения о наследстве, о разделе имения с старшим братом, он, когда пришел в возраст, оказался на редкость бескорыстным человеком.

Однажды дядя попросил матушку привезти к нему нас, его родных племянниц. При его женоненавистничестве это крайне ее удивило. Однако она не хотела расспрашивать его о причине такого внезапного желания, чтобы не раздражать больного старика,—высказала только сожаление, что он не увидит Саши. При этом она рассказала ему о ее страсти к учению, о ее тоске при мысли, что она будет лишена образования. Дядя возразил, что он удивляется, как матушка при своем здравом уме не может понять того, что, поддерживая в Саше ее стремление к учению, она совершает относительно ее великое преступление. Каждая женщина, по его мнению,—божеское проклятие: подла, низка, грязна по натуре, но женщина с образованием, да еще с умом,—уже настоящая язва для окружающих.

Хотя моей матери, несомненно, были противны подобные взгляды и рассуждения, но, по ее словам, не желая больного и несчастного старика предоставлять полному одиночеству и отсутствию какого бы то ни было развлечения, она объявила, что я с Нютою и нянею должны отправиться к дяде.

— Ах ты господи!..—говорила няня, в большом беспокойстве от предстоящего визита, когда мы уже подъезжали к дому дяди.—Ручку-то целуйте... ручку не забудьте...

Больше она уже, видимо, не могла придумать никаких других наставлений.

Но каково же было наше изумление, когда дядюшка встретил нас более чем радушно! Однако в первую минуту он меня неприятно поразил своим видом: это

был высохший живой скелет, с редкими волосами, с трясущейся головой и трясущимися руками, с глубокими морщинами по всему лицу; но что особенно производило отвратительное впечатление — это его застывшая саркастическая улыбка в углах его тонких губ. Только что мы успели поздороваться с ним, как лакей стал подавать кушанья. Няня хотела было встать за моим стулом, но он не допустил этого, говоря: «Сегодня у меня обед с дамами... Да ведь ты и дома сидишь с своими господами!..».

Няня, по обыкновению, начала говорить о том, как «его покойный братец, а ее благодетель, не по заслугам возвеличил ее...» Дядя заметил на это, что его брат Николай и его жена, должно быть, необыкновенные люди, так как могли счастливо прожить двадцать лет в супружестве и сумели добыть такую верную слугу, как няня.

Нам подавали много блюд, до которых дядя почти не дотрагивался; особенно обильно угощали нас сладким. Когда мы уже перестали жевать и грызть, лакей поставил на стол поднос, весь заваленный кусками материй и различными коробочками. Дядя, как нам потом рассказывали, уже давно скупал у странствующих торговцев все, что было получше. И вот теперь он засыпал подарками нас троих; при этом он внимательно смотрел то на меня, то на сестру. Няня и Нюта принимали подарки с благодарностью, но сдержанно, а я с каждым новым подношением приходила все в больший восторг: при каждом подарке я бросалась обнимать и целовать дядю, а получив кусок материи, подбегала то к сестре, то к няне и, захлебываясь от радости, говорила о том, какое у меня теперь будет красивенькое платье... Но вот дядя опять усадил нас за стол и пододвинул к Нюте футляр с золотыми серьгами, а ко мне коробку, в которой лежали разноцветные бусы, блестящие колечки (конечно, из самоварного золота), цветные ленты и т. п. Он приказал няне навесить на меня все подарки и подвести к зеркалу. Когда я уви-

дела себя в бусах и лентах, я пришла в неистовый восторг: скакала, визжала, то и дело бросалась целовать дядю.

Во второй наш визит обед был такой же обильный яствами и сладостями, но я ела кое-как, поджидая с нетерпением лакея с подносом, и удивлялась, что он так долго не несет подарки. Наконец я не выдержала и спросила об этом. Дядя расхохотался и отвечал, что теперь будут «кресты»: в то время так говорили, когда за обедом уже нечего было больше ожидать. Вероятно, я скорчила при этом постную физиономию, так как дядя, гладя меня по голове, спросил: «Ну, скажи-ка по правде — ведь, когда ты увидала дядю в первый раз, ты очень испугалась старого кощея, а ленточки да колечки заставили тебя позабыть, что у тебя дядя такое пугало?». Я простодушно отвечала: «Да... забыла... Очень были хорошие подарочки... А отчего сегодня не было?». Дядя начал так хохотать, что лакей и повар схватили кресло, на котором он сидел, и понесли его в спальню.

Матушка рассказывала, что, когда она приехала к нему после нашего второго посещения, он объявил ей, что, если и хотел видеть своих племянниц, то только для того, чтобы убедиться, такие ли мы подлые создания, как все женщины вообще. Он имел надежду, что природа пощадила нас от склонности, общей всем женщинам, так как мы — дети таких «необыкновенных людей» (это говорилось с ядовитой иронией), какими он считал наших родителей. Но, к сожалению, он убедился, что у нас уже заложены начала, свойственные всему женскому полу. Нюта, по его словам, уже научилась хитрить, фальшивить и умеет себя сдерживать, что же касается меня, то я откровенно проявила все задатки «продажной твари». Это так взбесило матушку, что она вскочила со стула, не прощаясь уехала домой и не приезжала к нему до тех пор, пока он не заболел.

Скоро после нашего последнего визита к дяде матушка узнала от священника, что он был у Максима

Григорьевича, чтобы подписать составленное им духовное завещание, по которому все свое состояние, впрочем более чем скромное (он еще при жизни продал почти весь лес на сруб, что составляло главную ценность его имения), он оставил моему брату Заре, назначив матушку опекуншею до его совершеннолетия.

После этого дядя Макс прожил еще года полтора, и его женоненавистничество все более росло: очень возможно, что оно уже являлось какой-нибудь формою психического расстройства. Его лакей и повар, безотлучно находившиеся при нем в комнатах, должны были докладывать ему обо всем, что делалось в деревне, что прежде совсем не занимало его. Они тотчас заметили, что барина более всего интересуют рассказы о том, как тот или другой из его крепостных «побил свою женку». Выслушав такое сообщение, Максим Григорьевич приказывал «ужо вечерком» позвать к себе драчуна, которого и вводили в его кабинет. Крестьянин со всеми подробностями передавал ему, как он «надысь оттаскал свою паскуду». Барин был счастлив до бесконечности, потирал от удовольствия руки, приказывал повторить те или другие подробности, серьезно вникая в каждую мелочь драки, смаковал то, что должно было возбуждать лишь стыд и отвращение, весело хохотал и, наконец, приказывал старосте выдать из амбара ржи или овса крепостному, избившему свою жену, провожая «героя» одним и тем же наставлением: «Да... бабу надо держать в ежовых рукавицах... Бабу надо бить смертным боем», что и без его советов во всей силе практиковалось тогда крестьянами.

В последний год своей жизни, совсем незадолго до своей кончины, дядя, специально для лета, устроил себе новое развлечение: он приказал слугам следить, чтобы ни одна баба не смела близко проходить мимо его дома. Если одна из них, свернув с дороги, делала круг и задами шла к избам, ее не трогали, но если она выказывала стремление пробраться к ним ближайшим путем, т. е. мимо господского дома,— ее хватали,

притаскивали под окно горницы и по обнаженному телу наносили удары плетью. В таком случае барин любовался этою экзекуциею из своего окна, приказывая открывать его настежь, когда это дозволяла погода. Если это была «чужая баба», которая за экзекуцию грозила пожаловаться на него своим господам, она получала несколькими ударами больше. Когда баба жаловалась, что чужой барин выпорол ее только за то, что она прошла мимо его дома, некоторых помещиков это только потешало, другие же, напротив, находили, что каждый из них может делать что ему угодно только с своими крепостными, но не имеет права распоряжаться чужими подданными, и подавали жалобы на Максима Григорьевича. Однако ему все как-то сходило с рук, пока из-за своих диких и пошлых причуд он не нарвался на громкий скандал.

В верстах пятнадцати от его поместья находилась усадьба, принадлежавшая трем сестрам, девицам Тончевым. Они жили вместе в своем ветхом домишке и слыли у одних помещиков под названием «трех граций», а более примитивные из них просто называли их «стервы-душечки». В то время, о котором я говорю, младшей из них было уже под сорок лет, а старшей за пятьдесят. Все три называли друг друга поэтическими уменьшительными именами: старшую Эмилию Васильевну — Милочкой, вторую Конкордию — Дия, а третью Евлалию — Ляля. По своей внешности все три девицы представляли полный контраст этим поэтическим именам: если бы на Милочку (т. е. на старшую Эмилию) надели солдатский мундир и шапку, никто не заподозрил бы, что это переряженная женщина,— такая она была высокая, сухопарая, жилистая, с плоскою грудью, с длинными руками и огромными ступнями ног, которые всегда были на виду, так как для хозяйственных удобств она, кроме праздничных дней, ходила в мужских сапогах и короткой юбке. Всему складу ее фигуры соответствовало и ее узкое, длинное, сухое лицо с выдавшимися скулами, ее грубые, мужиковатые манеры, ее громкий мужской

голос. Только густые черные волосы, заплетенные в косу, приколотую на затылке в виде огромной лепешки, с пробором напереди и с напусками на висках, были единственными женскими атрибутами этой особы. При этом она обыкновенно ходила с палкою в руке и в сопровождении огромной собаки, которая по ее приказанию бросалась на каждого, рвала одежду и жестоко кусала.

Вторая сестра — Дия (Конкордия) — имела более женский облик, но своею внешностью напоминала куклу домашнего производства, сделанную из ваты и тряпок,— такая она была пухлая, рыхлая, с расплывчатыми чертами лица. Особенно странное впечатление производили ее глаза и брови, которые, точно у куклы, как будто проведены были углем, а губы — красной краской. К тому же нос, лоб и щеки имели неестественно красный цвет, точно со всего лица была сорвана кожа (говорили, что это случилось у нее от простуды во время рожистого воспаления). Старшая сестра, Милочка, со всеми разговаривала резко, грубо и отрывочно, а Дия выражалась в приторно-сладком тоне, жеманясь и закатывая глаза; при этом голос у нее был скрипучий, как неподмазанное колесо. Один помещик, который не мог выносить ее голоса и ужимок, сказал ей однажды: «Да вы не Конкордия, а Дискордия».

Третья сестра, Ляля, может быть, и могла бы считаться недурненькой в давнопрошедшие времена, если бы не ее утиный нос, который доходил почти до края верхней губы. Во всяком случае она была в семье любимицею, особенно старшей сестры, которая считала ее красавицей, наряжала ее, баловала и не теряла еще надежды на ее замужество, вечно приготовляя ей приданое, из-за которого она мучила своих крепостных за пяльцами и ткацким станком. Так как соседи знали, что девицы Тончевы небогаты, то Эмилия Васильевна, желая заставить их говорить о приданом Ляли, показывала им, когда они появлялись у нее, вышитые для младшей сестры в пяльцах платья, юбки и т. п., вы-

двигала ее огромные сундуки, наполненные полотном и бельем.

Несмотря на давным-давно прошедшую молодость, Ляля продолжала наивничать, при виде каждого мужчины стреляла глазками, разыгрывая роль козочки, которая все еще хочет прыгать, шалить, забавляться. Эта «игривость» в возрасте, смежном со старостью, делала ее и комичной, и жалкой, но, как бы то ни было, она все же не приносила такого вреда своим крепостным, как ее старшие сестры.

Если бы в то время в нашей местности не существовало этих трех сестер, помещикам жилось бы куда скучнее. Бывало, чуть соберется несколько человек, и уже непременно разговор идет о «трех грациях»: один из них сообщает о скандале, только что приключившемся у них, другой — о том, как Милочка потребовала от такого-то помещика, чтобы тот женился на Ляле, потому что он скомпрометировал ее, а между тем обвиняемый сказал с нею лишь несколько слов; третий специализировался на том, что умел представлять в лицах всех трех сестер, прекрасно подражал их голосу и манерам,— к такому то и дело обращались с просьбою: «Ну, пожалуйста, представьте Милочку!.. А теперь Дию».

Хотя сестры Тончевы служили мишенью для острот и издевательств господ помещиков, что им было превосходно известно, но это ни в каком отношении не изменяло их образа жизни и привычек. За ними значилось 30—40 душ крестьян, но их число ежегодно сокращалось вследствие побегов. У крестьян, принадлежавших девицам Тончевым, была не только более тяжелая барщина, чем у других помещиков нашей местности, но когда у Милочки сено не было убрано, а выпадала хорошая погода, она и в «крестьянские дни» заставляла убирать свой собственный луг или поле. Кроме барщины, бабы несли более, чем где бы то ни было, тяжелые повинности и зимой и летом: каждая из них на приданое Ляли должна была приготовить

известное количество полотна и напрясть ниток изо льна и шерсти, вышить русским швом несколько полотенец и простынь, а летом доставить известное количество ягод и грибов, свежих и сухих,— одним словом, они так были заняты круглый год, что у них не оставалось времени для собственного хозяйства. При всем том две старшие сестры до невероятности любили побои и экзекуции: за самую ничтожную провинность староста, в их присутствии, должен был сечь провинившихся мужиков и баб, а обе они сами так часто били по щекам своих горничных и пяльщиц, что те нередко расхаживали со вспухшими щеками. В жалобах на своих помещиц крестьяне постоянно упоминали о том, что они не только разорены, но и «завшивели», так как бабы не имеют времени ни приготовить холста на рубаху, ни помыть ее. Разжалобить Милочку, заставить ее обратить внимание на «горе-горькую долюшку» своих крестьян не было ни малейшей возможности. Убедившись в этом, крестьяне стали пропадать «в бегах», проявлять непослушание сестрам, устраивать им скандалы. Однажды они поголовно наотрез отказались выйти на барскую работу не в барщинный день; власти посмотрели на это, как на бунт против помещицы, и их подвергли весьма суровой каре.

Как-то раннею осенью все три сестры возвращались домой с именин, часов в двенадцать ночи; они ехали в тарантасе с кучером на козлах. Было очень темно, а им приходилось версты четыре сделать лесом; когда они проехали с версту, они были окружены толпою неведомых людей: одни из них схватили под уздцы лошадей, другие стягивали кучера с козел, третьи вытаскивали из экипажа сестер. Кучера и Лялю перевязали, завязали им рот и оттащили в сторону, не дотронувшись до них пальцем за все время последовавшей расправы. Дию сильно выпороли, а старшую, предварительно сорвав с нее одежду, подвергли жестоким и позорным истязаниям. Узнать лица нападавших не было возможности, так как на их головах, насколько

могли рассмотреть сестры, когда те наклонялись над ними, были надеты мешки с дырками для глаз, а несколько слов, которые были ими произнесены, указывали на то, что у них за щеками наложены орехи или горох. После расправы нападавшие набросили на Милочку сорванную с нее одежду и оставили лежать на земле, а сами разбежались. Ошеломленные барышни не могли кричать. Наконец младшей как-то удалось избавиться от повязки, стягивавшей рот, и она начала звать на помощь. Долго ее крики оставались тщетными; наконец один помещик, возвращавшийся ночью домой с тех же именин, на которых присутствовали и сестры, проезжал поблизости места их «казни», услышал крик, и только вследствие этого несчастным не пришлось заночевать в лесу.

У Милочки оказался до такой степени глубокий обморок, что она пришла в сознание лишь на короткое время, уже в своей кровати, после чего она немедленно тяжело заболела. Несколько недель она лежала при смерти и, хотя все в уезде очень скоро узнали о происшествии, но, в виду того что сами сестры не заявляли о случившемся, местные власти не принимали никаких мер к обнаружению преступников, полагая, что пострадавшие из конфузливости желают потушить скандальное дело. Между тем это было не совсем так: Эмилия Васильевна, одна распоряжавшаяся и командовавшая всем и всеми, находилась в таком состоянии, что с нею нельзя было говорить о чем бы то ни было, а Дия не знала, без приказания сестры, как поступить в этом случае, так как привыкла делать только то, что указывала ей Милочка. Но, оправившись, старшая сестра пришла в ужас, что не было сделано заявления о случившемся, и, наоборот, решила дать делу как можно более громкую огласку. Она не только известила об этом местное начальство, но все три сестры решили предстать самолично перед уездным предводителем дворянства, а затем и перед губернатором. Рассказывали, что как только у одного из них Милочка доводила

свой рассказ до того места, как «разбойники» начали срывать с нее одежду, все три сестры вскакивали с своих мест, бросались друг другу в объятия и начинали рыдать.

И предводитель дворянства, и губернатор уговаривали сестер бросить это дело, ссылаясь на то, что уже много времени упущено, и следствию будет трудно открыть преступников; к тому же они находили, что скандальные подробности могут повредить их стыдливости (это была, конечно, ирония: Милочка давно прославилась своим бесстыдством); наконец, оба они советовали им, во избежание скандалов в будущем, изменить свое отношение к крестьянам, находившимся в крайне тяжелом материальном положении: по мнению того и другого, оно мало чем отличалось от положения крестьян в Бухонове при управлении немца, который бы не ушел от суда за свои беззакония, если бы не надумал бежать за границу. Хотя все это было высказано девицам крайне деликатно и в виде дружеского совета, но это так взбесило Милочку, что она и предводителю дворянства, и губернатору наговорила страшных дерзостей, угрожала им обоим тем, что найдет «управу и на них», что она подаст жалобу, в которой укажет на них, как на смутьянов и подстрекателей крестьян к бунтам и разбоям. Как бы то ни было, но дело «о злонамеренном нападении на сестер Тончевых и о жестоком избиении двух старших из них» началось, но, быть может потому, что Милочка успела вооружить против себя всех властей, следствие велось через пень-колоду; некоторые утверждали, что причиною этого было упущенное время, а также и то, что двое из ее крепостных, на которых падало подозрение, бежали. В конце концов преступники не были обнаружены.

Не прошло и нескольких месяцев, как у сестер сожгли новый дом, который был только что отстроен в одном из их фольварков. Барышни Тончевы уже собирались переезжать в новое помещение, когда получили известие о несчастии, весьма чувствительном для них

в материальном отношении. На этот раз улики были налицо: виновник преступления, как доказало следствие, бежал в ночь пожара и не был разыскан. Как эти несчастия, так и побеги крестьян и целый ряд других более мелких ущербов, наносимых им из мести, заставили их в конце концов волею-неволею несколько ограничить свое самодурство и утеснения своих подданных. Но уже одно то, что Милочка вынуждена была итти иногда на некоторые уступки, доводило ее до невыразимой ненависти к крестьянам и сделало ее на редкость злопыхательным существом. Это характерное качество приняло у нее ужасающие размеры во время освобождения крестьян, и все три сестры устроили мировым посредникам первого призыва громкий и неслыханный по своему бесстыдству скандал (см. ниже очерк «Захолустный уголок после крестьянской реформы»). Но теперь я хочу поговорить о скандале, который ей причинил «свой брат дворянин».

Милочка как-то ехала по проселочной дороге, близ имения моего дядюшки, когда у нее вдруг сломалось колесо. Она оставила на месте кучера с лошадьми, а сама побежала к дому дяди, чтобы просить его помощи в ее маленькой беде. Она, конечно, знала о его чудачествах и распоряжениях, но не могла представить себе, чтобы они могли касаться ее — столбовой дворянки и помещицы. Нужно заметить, что в случаях дорожных несчастий помещики считали своею обязанностью немедленно оказывать необходимую помощь: дороги того времени были так ужасны, что с каждым то и дело случались подобные неприятности.

Был летний день; дядя с Зарею сидели у открытого окна и оба сразу увидали Милочку с собакою, направлявшуюся к дому. У дяди, вероятно, тотчас же блеснула мысль о том, какое приятное развлечение может доставить ему предстоящее столкновение с Тончевой: он немедленно начал звать лакея и повара, приказывая им в ту же минуту притащить под окно Милочку и всыпать ей «горяченьких».

Нужно заметить, что еще в прошлый период жизни, когда дядя временно наезжал в наши палестины и был настоящим светским денди, он любил встречать у нас «сестер», чтобы всласть потешиться над ними. И вдруг теперь, когда он скучал и когда уже окончательно утратил способность критически относиться к своим поступкам, ему, должно быть, показалось, что сама судьба посылала ему приятный сюрприз в лице Тончевой. На его крик повар почему-то замешкался, но лакей со всех ног побежал навстречу барышне. Он уже схватил ее, но она так треснула его палкой, что тот невольно отшатнулся... В ту же минуту на помощь к нему подоспел повар, и оба они с неистовством набросились на Тончеву, подбодряемые криками барина: «Тащи ее!..» Но Милочка, поняв в чем дело, натравила собаку на обоих слуг. Пока они отбивались от нее, она успела выкрикнуть слова, которые ядовитой стрелой пронзили сердце старика: «Ах ты студень! Молодец Варька, что красавчика подцепила... Такой-то хрыч кому нужен!» — и, схватив собаку за ошейник, быстро пошла к своему экипажу. На ее счастье, в эту минуту ее крепостной проезжал мимо на телеге; она пересела в нее и отправилась к нам в Погорелое, приказав кучеру поджидать помощь, которую она вышлет. Когда она явилась к нам, моей матери не было дома; с самого порога начала она громко выкрикивать всю эту историю, так что мы все сбежались к ней при первом звуке ее голоса. Она угрожала судом и каторгой не только дяде, но и моей матери. Нюта заметила ей, что матушка — не защитница скандалов и что она не понимает, почему Эмилия Васильевна замешивает ее в эту историю.

Хотя у нас не было тогда телеграфа, но известие об этом происшествии быстро облетело все помещичьи усадьбы нашей захолустной местности и оживило обывателей. После этого скандала, в продолжение нескольких дней к нашему крыльцу то и дело подъезжали экипажи «соседей», которыми считались тогда даже семьи,

жившие в верстах пятнадцати от нас. К нам являлись помещицы с своими дочерьми, а к дяде — помещики. Помещицы по этому поводу рассуждали так: «Милочка, конечно, известная скандалистка, но и Максим Григорьевич не имел права оскорблять дворянку»... Одним словом, все наши «дамы» (из них по своим манерам и говору очень мало кто походил на особ, которых принято так называть) были возмущены поведением дяди и приезжали к сестрам выразить им свое сочувствие, а их мужья в это время издевались над ними в доме дяди: их остроты и смех раздавались все эти дни в его комнатах с утра до вечера.

Работа в продолжение целого дня, шум и толкотня по вечерам не оставляли матушке свободного часа, чтобы съездить проведать дядю и узнать от него, что он думает предпринять, чтобы потушить эту скверную историю. Тончевы, как мы узнали, уже строчили на него жалобу и делали приготовления, чтобы самолично отправиться по этому поводу к предводителю дворянства. Может быть, матушка прособиралась бы еще несколько дней, как вдруг перед ужином в столовую, как бомба, влетел Заря и с торжеством победителя, без всяких объяснений, закричал: «Ура! Отправлено, что влюблен!.. Она сейчас же к нам прибежит, а мы тут-то ее и прихлопнем!» — «Боже мой! — простонала матушка,— он в эту историю запутал даже ребенка! — И затем, обратившись к брату, она закричала: — Ах ты сквернавец!.. Разве ты смеешь вмешиваться в дела старших?».

Матушка в ту же минуту велела запрячь лошадей и помчалась к дяде. Но каково же было ее изумление, когда она застала «братца» не только в хорошем настроении духа, но помолодевшим и поздоровевшим, каким она его давно уже не видала!

— Поздравьте меня, сестрица: влюблен! Признание в любви уже отправлено.— И он хохотал, кашлял, фыркал, потирал руки от удовольствия.

— А потом, братец, что вы полагаете делать?

— Очень просто... Во время разгара нежных признаний, страстных объятий и поцелуев... розгачи... натурально розгачи...

Матушка уверяла его, что из этой новой затеи выйдет уже такой грандиозный скандал, что его собственное здоровье не выдержит всех сопряженных с ним неприятностей. Впрочем, она не очень беспокоилась относительно удачи этой новой дядюшкиной затеи, так как была убеждена, что Милочка уже не так глупа, чтобы поверить уверениям в любви старика, изможденного всевозможными болезнями, и после всего, что он проделал с нею. Дядя же настойчиво утверждал, что даже самая умная «баба», а не только такая, как Милка, дуреет от признания в любви и в том случае, когда оно не что иное, как издевательство. Он уверял, что как только она получит его письмо, все три сестры прилетят к нему «на крыльях любви» и будут лобзать его ноги, хотя он и «студень». Этот эпитет, видимо, задел его за живое.

Оказалось, что дядюшка лучше моей матери понимал всю ограниченность Милочки. Получив от него письмо, она немедленно приехала с ним к моей матери. В нем дядя объяснял ей свою грубость тем, что вспыльчив по натуре и что ему показалось, будто она хочет зайти не к нему, а только в его людскую. Это тем более оскорбило его, что он всегда уважал всех трех сестер, а в нее уже давно влюблен. Вот потому-то он и решил заставить ее притти к нему хотя силой. Он просит ее простить его за это, но он не мог совладать со страстью, которая в нем вспыхнула при ее появлении. Он клялся ей в любви, упоминал, что о своем желании жениться на ней много раз говорил покойному братцу и сестрице Александре Степановне, но что те уверяли его, что Эмилия Васильевна не пойдет за него замуж, так как посвятила себя всецело счастью своей младшей сестры. Все это заставило его с отчаяния взять в любовницы Варьку... Теперь же он имеет твердое намерение жениться на ее сестре Ляле, предлагает ей руку и сердце,

в надежде всегда видеть перед собой достойнейшую Эмилию Васильевну, просит ее быть по гроб его другом, благословить его брак с ее сестрою и приехать к нему для переговоров.

Прочитав это письмо, матушка очень сдержанно заметила Тончевой, что Максим Григорьевич никогда не говорил ни ей, ни ее покойному мужу о том, что он влюблен в нее, Милочку. Тем не менее это скромное замечание лишь раздражило Тончеву, и она стала намекать, что моя мать, конечно, не может желать брака Максима Григорьевича с кем бы то ни было, так как, если он умрет холостым, его имение перейдет к ее детям. Матушку не рассердил намек на ее корыстолюбие,— она старалась употребить все усилия, чтобы только расстроить поездку Милочки к дяде, а потому стала убеждать ее, чтобы она, раньше чем ехать к нему, посоветовалась бы хотя с Воиновой, к которой все три сестры относятся с доверием. И Милочка от нас отправилась к г-же Воиновой, но та пришла в ужас, что Тончева, несмотря на тяжелое оскорбление, нанесенное ей Цевловским, и на его письмо, представляющее сплошное издевательство над нею, еще колеблется, ехать ей к нему или не ехать. Слова Воиновой вначале как будто поколебали Милочку, но, уже прощаясь с нею, она заметила:

— Всем известно, как вы любите семейство Александры Степановны,— вот вы и желаете, чтобы имение Максима Григорьевича перешло к ее детям...

Вероятно, Милочка на другой же день явилась бы к дяде для переговоров относительно брака ее сестры, но сама судьба помешала разыграться этому последнему скандалу. В ту же ночь к матушке прискакал верховой с известием, что Максиму Григорьевичу очень плохо. Вероятно, слишком оживленные дни, которые он провел после своего скандала, шум и напряжение — все это потрясло его и без того слабый организм. После нового удара у него отнялась вся правая сторона тела, он более уже не вставал с постели и потерял способность к членораздельной речи. Матушка написала

Милочке о положении дяди и заявила, что, если она явится к нему и после этого, то не будет принята ею. Впрочем, дядя сам поторопился покончить со всеми житейскими осложнениями — он скончался через несколько недель.

Более всего я любила посещать усадьбу моего крестного отца, Сергея Петровича Т., который жил от нас верстах в семи. Его краткая биография такова: он был сын весьма зажиточных людей, получил светское образование и бо́льшую часть молодости провел за границей. После своего возвращения на родину он был выбран уездным предводителем дворянства, женился, но его жена умерла очень скоро, оставив на его руках двух дочерей. Хотя мой покойный отец был гораздо моложе Сергея Петровича, но они очень дружили между собой, и вот причина, почему он был моим крестным. Когда мы переселились в деревню, я от времени до времени посещала его в продолжение всей своей шестилетней деревенской жизни. Сергей Петрович был тогда семидесятилетним стариком и жил в своем поместье совершенно одиноко. Обе его дочери имели уже собственные семейства и при замужестве были выделены отцом. Их имения находились в другой губернии, управлялись особыми управляющими, и Сергей Петрович не вмешивался в их дела. То одна из дочерей с своими детьми, то другая приезжали к отцу и проводили у него лето. В таких случаях комнаты его дома открывали, а в остальное время они стояли запертыми, кроме тех, в которых жил старик. Впрочем, еще раз в году открывали комнаты, проветривали их и снимали с мебели чехлы,— это было перед 5 июнем, в день именин крестного, когда к нему наезжало множество помещиков с своими семьями. Но далеко не все гости проводили у него только этот торжественный день после именин: некоторые из них с своими детьми, гувернантками, горничными, кучерами и лошадьми оставались на неделю, а то и больше после именин. К старости, начав похварывать, крестный очень тяготился этими шумными

съездами, но ежегодное паломничество помещиков в его усадьбу вошло в обычай. Сам же он уже совсем не выезжал более, по его словам — только потому, что боялся внезапно умереть в чужом доме и тем причинить людям хлопоты и беспокойство.

Когда матушка отпускала меня с нянею к крестному, я не помнила себя от восторга. Мы обыкновенно отправлялись к обеду, т. е. к часу, а возвращались домой только вечером. Несмотря на то, что мы проводили у него часов восемь и что кроме него я никого не видела, время для меня пролетало незаметно, и я каждый раз чуть не плакала, когда приходилось возвращаться домой.

Как только мы открывали двери его дома, нас охватывали несказанно чудные ароматы духов, которыми пропитаны были мебель и каждый уголок его комнат. Недаром прислуга называла его «духовитым барином». У него была непобедимая страсть к духам. Зная ее, каждая из его дочерей присылала ему из столицы к именинам и к новому году какой-нибудь душистый подарок: то роскошный ящик с флаконами духов, то с гранеными бутылочками одеколона, изящную коробку с разнообразными мылами, сверточки с душистыми курительными свечками и ароматическими бумажками, прелестные саше. Все его белье, платье, вещи были сильно продушены: во всех шкапах и комодах лежали подушечки и красивые бумажные конвертики с сухими духами.

Несмотря на то, что в то время в помещичьих семьях обыкновенно держали громадный штат прислуги, редко можно было найти дом, который производил бы приятное впечатление своею опрятностью и уютом, но дом крестного представлял редкое исключение: у него все было красиво расставлено и блестело безукоризненною чистотою. Прислуживавшие ему люди, экономка и горничная, были чисто одеты, с здоровыми лицами и всегда весело и просто разговаривали с своим барином, которого очень любили. Когда, через несколько лет

после его смерти, я приехала в его усадьбу,— что было уже после освобождения крестьян,— его бывшие крепостные, у которых мне приходилось расспрашивать о нем, вспоминали его, как одного из самых милосердных помещиков в нашей местности, говорили, что сам он никого никогда не тронул пальцем, но так как он мало во что входил лично, то за его глазами его управляющий и староста сильно прижимали их, но все же у него жилось им лучше, чем где бы то ни было. Когда он окончательно переселился в деревню, он заботился о том, чтобы его крестьяне не нищенствовали, открывал для них свои амбары во время голодовок, налагал на крестьян менее обременительную барщину сравнительно с тою, которая существовала в наших краях.

— Добро пожаловать, дорогие гости! — радушно говорил крестный, увидав меня с нянею.— Что же вы так редко меня посещаете?

— Ах, батюшка Сергей Петрович! Вы так балуете Лизушу,— ведь она без ума от вас: спит и видит, как бы к вам отпустили... То и дело вспоминает вас!

— Да как нам не любить друг друга! Ведь у нас и вкусы-то сходятся: крестный духи любит, и крестница тоже, крестный голубками непрочь позабавиться, и крестница до них большая охотница... Большая охотница она и моими гробиками полюбоваться!

Зная, какою любовью и уважением пользуется у нас няня, крестный относился к ней, как к равноправному члену нашей семьи, любил рассуждать с нею, сажал ее за стол, и няня чувствовала себя у него как дома, говорила обо всем, как думала и понимала.

Крестный уже по внешнему виду резко выделялся между всеми нашими помещиками, которые у себя дома сидели в простых рубашках, в широких халатах, с длинным чубуком в руках, покуривая трубку. Но и эта нестеснительная одежда не отличалась аккуратностью: у одного нехватало пуговиц у рубашки и отрывалась голая грудь, у другого шнурки и кисти халата были оборваны, и он подвязывался какою-нибудь жениной

тесемкой, а то и веревочкой, у третьего все, что одето, было до невероятности грязно и засалено. Совсем иначе выглядел крестный: ждал он гостей или нет, был ли праздник или будний день, он всегда выходил в безукоризненном туалете, надушенный, с хорошо расчесанными волосами и бородой, с табакеркой в руках. Он был высокого роста и уже немного сутуловат; его длинная седая борода и длинные седые, несколько волнистые волосы, красивое доброе старческое лицо с удивительно ласкающими глазами внушали каждому симпатию и напоминали что-то библейское, вызывающее искреннее почтение. Среди людей свободных профессий теперь такие старики не редкость, но тогда он был единственный в своем роде, по крайней мере среди тех, кого я встречала.

Как только мы входили в его дом, я бросалась к нему с радостным криком, затем бежала ревизовать его комнаты. Меня особенно интересовала его спальня, и я прежде всего осматривала стол, приставленный к одной стороне умывальника, покрытый широким русским вышитым полотенцем: на нем стояло несколько хрустальных ящичков с разнообразными щетками и пилками для ногтей, а в хрустальных мыльницах лежали мыла разного цвета и аромата. Пересмотрю и перенюхаю каждый кусок мыла и бегу к крестному, сажусь около него и хватаю его золотую табакерку, усыпанную красивыми камешками; хотя она крепко закрыта, и я боялась открывать ее, чтобы не просыпать табаку, но от одного прикосновения к ней у меня потом руки долго пахли духами. На мой вопрос, почему у него так много кусков мыла, он отвечал, что утром моется мылом с менее крепкими духами и не нюхает табаку, потому что у него свежа голова, а к вечеру, когда уже утомится, употребляет табак, пропитанный крепкими духами, и такое же мыло. Когда его спрашивали, давно ли он имеет такое пристрастие к духам, он отвечал, что всегда любил духи, но в большом количестве начал употреблять их на старости лет, когда

совсем перестал пить вино, так что теперь только духи и нюхательный табак оживляют его.

Недолго посидим с ним, бывало, как уже в столовой накроют два круглых стола. Один из них заставлен закусками: солеными и маринованными грибками, различными маринадами из рыбы, холодною свининою, а посреди красуется огромный окорок и фаршированный поросенок, который, как живой, стоит на ножках, окруженный зеленью. На другом столе сервирован обед на три прибора. Крестный держал ученого повара, который не только прекрасно готовил, но и красиво убирал поданное. Няне и мне, не знавшим закусок перед обедом и употреблявшим самый простой деревенский стол домашней стряпухи, такой обед казался феноменальною роскошью, и, покончив с двумя кушаньями, мы уже ничего не могли есть. Хотя крестный мало ел, но у него всегда был прекрасный стол и на зиму делалось много заготовок: он любил, чтобы дом был «полною чашею». Все доходы с своего сравнительно небольшого, но хорошо устроенного имения он употреблял на свою жизнь, а так как он не кутил, то мог ни в чем себе не отказывать.

Обед кончался десертом, состоявшим из разнообразных варений, домашнего мармелада, из сушеных и свежих плодов, орехов, варенных в меду, а если было летнее время, то подавали и огурцы с медом, что являлось тогда обычным угощением помещиков в наших краях.

— Кушайте... пожалуйста, кушайте побольше... дорогие мои... Ну, а это «на дорожку»!..— говаривал он, откладывая на тарелки разную сухую снедь. Когда являлась экономка, она увязывала все это в особую салфетку, и выходил порядочный узел, который мы каждый раз увозили домой.

После десерта я просила крестного посмотреть его голубей. Он издавна был страстным любителем этих птиц. Во дворе у него было несколько голубятен, представлявших толстые столбы с ящиками сверху, с про-

резанными круглыми оконцами. Но голуби уже давно не жили в них, потому что крестный на старости лет не мог лазить по лестнице на голубятни и переселил своих любимцев в особо устроенную для этого избу, состоявшую из огромной комнаты. Посредине ее укреплено было толстое ветвистое дерево с ободранною корою, по которому бегали голуби. Ко всем стенам приделано было множество полочек, окруженных планочками,— это было помещение для их гнезд. В углу на полу, усыпанном песком, стояли ящики с зерном и корыта с водою. Все содержалось в величайшем порядке: за голубями ухаживала особая женщина.

В избе была тьма-тьмущая голубей всевозможных пород,— здесь совершался весь цикл земной жизни этих птиц: тут они ворковали и ухаживали друг за другом, вили свои гнезда, плодились и множились, в ссорах убивали друг друга насмерть. Всем им крестный предпочитал турманов и всегда любовался их грациозным кувырканием на лету.

Когда мы входили в избу, шум крыльев массы птиц и их воркование просто ошеломляли в первую минуту. Крестный опускался на скамейку и манил птиц к себе; они летели на его зов, садились на его плечи, голову, бегали по его коленям.

Из избы с голубями мы отправлялись в сад: он был небольшой, и для него крестный не держал садовника; под его собственным руководством и вместе с ним в нем работал парень, одно лето где-то помогавший в работах хорошему садовнику. Этот сад, с несколькими небольшими аллеями и с весьма ограниченным числом фруктовых деревьев, представлял сплошной цветник, но не редких цветов, а самых обыкновенных. Когда распускались цветы, он благоухал ароматами и поражал чудными куртинками прекрасно выращенных цветов и кустарников.

Из сада мы отправлялись смотреть гроба. Один из сараев, содержимый наиболее опрятно, был исключительно предназначен для помещения гробов. Крестный

так объяснил свое пристрастие к ним: когда ему было уже лет за пятьдесят, он однажды тяжко заболел и увидел сон, что внезапно умер. Столяр из его крепостных снял с него мерку, но, будучи пьян, потерял ее по дороге и забыл о гробе. Стояла страшная жара, и покойник стал так быстро разлагаться, что его родные дочери не могли подойти проститься с ним,— хотя он был мертвым, но чувствовал при этом ужасающую душевную муку. А когда затем принесли какой-то гроб, наскоро сколоченный, он оказался слишком коротким: его стали запихивать в него с таким усердием, что кости хрустели и ломались, и это причиняло ему адское страдание. Этот сон произвел на Сергея Петровича такое сильное впечатление, что он, по выздоровлении, решил приготовить для себя хороший гроб еще при жизни, для чего отправил столяра своей деревни учиться в Москву.

Как только тот сделался настоящим специалистом-гробовщиком, началось заготовление гробов, так как Сергей Петрович боялся ограничиться приготовлением для себя только одного гроба. И такая предусмотрительность, по его словам, оказалась вовсе не лишнею: одни из гробов через некоторое время дали трещины, другие — рассохлись, третьи — не нравились. И он раздаривал их тем из крепостных, у которых умирали близкие им люди. Вечно занятый этой мыслью, крестный начал постепенно менять материал и внешний вид гробов, чему помогали как различные обстоятельства, так и разнообразные явления деревенской жизни. Сначала он делал гробы исключительно сообразуясь с своею фигурою, т. е. узкие и длинные, так как он был человеком очень худощавым и высоким, принимая в расчет и то, что покойник перед смертью вытягивается и становится длиннее. Но вот однажды он узнал, что у одного худощавого человека перед смертью сделалась водянка, и после смерти он оказался чуть не вдвое толще, чем был при жизни, а про другого высокорослого человека — что продолжительная болезнь так источила его кости, что после смерти он стал ниже среднего роста.

Вследствие всех этих соображений Сергей Петрович стал заказывать гробы на различный рост и объем тела.

Во всех гробах лежало сухое сено, и Сергей Петрович, чтобы показать няне и мне, как после смерти ему будет ловко и покойно в них, ложился то в один, то в другой.

Однажды, когда мы подошли к сараю с гробами, мы нашли его замкнутым. Крестный попросил няню принести ключ с его письменного стола и с сердечным сокрушением рассказал нам, почему ему теперь приходится замыкать сарай. Как-то компания подкутивших молодых помещиков проезжала мимо его дома и решила заночевать у него. В виду того что время было за полночь, они не хотели беспокоить его: оставили лошадей и экипажи во дворе, под присмотром своих кучеров, а сами улеглись в сарае, в гробах, благо в них было сено. Сергей Петрович, ничего не подозревая, отправился утром в сарай. Вдруг из гробов поднимаются «помещичьи сынки» с всклокоченными волосами. В первую минуту он испугался, но затем сильно рассердился и в первый раз в жизни нарушил правило гостеприимства: не предложил гостям ни напиться у него чаю, ни закусить. «Подумайте, почтеннейшая,— говорил он, обращаясь к няне, до глубины души оскорбленный таким поведением молодых людей: — ничего святого нет! Наелись, напились, в грязных сапожищах, в одежде, пропитанной винными парами,— бух в гробы!.. Осквернили святыню моей души!..».

Когда после окончания курса, что было скоро после освобождения крестьян, я приехала к родным в деревню, меня потянуло в дом крестного. Его самого уже давно не было в живых, имение было продано новому владельцу, но я все-таки направилась по тропинке к саду. Я прекрасно уже понимала, что крестный, которого я так любила в детстве, хотя был человеком незлобивым, но в сущности был эгоистом, который весь конец своей жизни провел в холе своего

тела, в выполнении своих барских причуд, еще задолго до смерти чуть не набальзамировал себя духами и ароматическими эссенциями, но вместе с тем я прекрасно знала и все значение, все могущество помещичьей власти, которою он никогда не злоупотреблял, что было в то время большой редкостью. Добрая память о нем заставила сильно забиться мое сердце, когда я завидела ограду его сада. Но каково же было мое разочарование, когда, приблизившись к ней, вместо чудного цветочного ковра я увидела гряды с капустными кочнями, а на крылечке рассмотрела нескольких мужчин, одеждою и своим внешним видом напоминавших приказчиков и хохотавших во все горло; на столе перед ними красовалась целая батарея бутылок.

Если бы не существовало детей Воиновых, я бы не знала, что такое настоящая детская возня и игры, беготня, безудержный, беспричинный смех,— одним словом все то, что представляет главную основу для более или менее правильного физического, умственного и даже нравственного развития дитяти, единственное, что мешает засушивать детскую душу в самом нежном возрасте. Правда, няня иногда приводила ко мне для игры крестьянских ребят, но с ними у меня не выходило настоящего веселья. И вот это-то служило красноречивым показателем того, что крепостная среда, даже там, где она представляла наименее благоприятную почву для развития рабских чувств, везде и всюду имела лишь развращающее влияние. Хотя моя мать, как и громадное большинство ее современниц, не обладала ни малейшими элементарными понятиями о правильном воспитании детей, тем не менее, вследствие неожиданного разорения, она с энергиею, присущею ее необыкновенно деятельной натуре, делала все, чтобы вытравить в нас малейшую склонность к барству. Никто из нас, ее детей, никогда не слыхал окриков крепостным: «Как ты смеешь так говорить с барышнею?» или: «Разве не видишь, что барышня обронила?» и т. п. Напротив, когда матушка замечала в ком-нибудь из

нас хотя тень барства, она нападала на провинившегося не только запальчиво, но даже с каким-то ожесточением. В нашем доме крестьянские ребята, играя со мной, могли бы, кажется, забыть о том, что я «барышня», но этого не было и у нас, точно так же как и в других помещичьих семьях, члены которых никогда не забывали о своем дворянстве. Чуть, бывало, мы, дети, начнем кричать и бегать вперегонку по двору, по которому вечно сновали бабы и мужики, каждый из них, проходя мимо нас, считал своею священною обязанностью крикнуть крестьянскому ребенку, нечаянно задевшему меня: «Как ты смеешь, постреленок, барышню толкать?». А иная баба подбежит да и толкнет кулаком в спину или дернет за волосы провинившуюся передо мною девочку. Но и эти игры, устраивавшиеся в праздничные дни летом, прекращались зимою. «Как хотите, Марья Васильевна,— говорила горничная няне,— я крестьянским ребятам ни за что не позволю в хоромы к барышне бегать: грязными ножищами наследят... мне не разорваться,— все подтирать за такой оравой!..»

Только у Воиновых я могла вдоволь нарезвиться. Я крепко подружилась с их детьми: Олею восьми и Митею семи лет. Особенно полюбила я Митю: дружба с ним заставила меня забыть о моей ненависти к мальчикам вообще, которую я питала раньше. Воиновы жили верстах в четырех от нас, на другой стороне озера, и когда оно замерзало, нас нередко возили друг к другу. Летом мы виделись гораздо реже: матушка считала преступлением в это время года причинять ущерб работам, отрывая работников для забавы своих детей. Осенью и весною, когда приходилось объезжать озеро, ездить друг к другу мешали плохие дороги, а озеро было бурливо и опасно для переезда на лодке. Вот и случалось так, что в такое время года мы не видались иногда по месяцам и больше.

Когда дети Воиновых должны были в первый раз приехать к нам, меня крайне конфузило то, что у них

так много дорогих игрушек, а у меня совсем их не было. Няня, как и всегда, явилась моею спасительницею. Она принесла с чердака несколько ящиков с остатками театральных костюмов наших бывших артистов. Хотя все мало-мальски пригодное было давно утилизировано ею, а остальное представляло что-то вроде трухи, но она с Нютой принялась все разбирать, подкраивать, сметывать и мастерить.

Как только Воиновы приехали к нам, няня, моя сестра и их гувернантка Ольга Петровна начали наряжать нас, детей, в разные театральные костюмы: нам надевали короны из золоченой бумаги, юбочки из кисеи, и мы в этих нарядах бегали показываться старшим. Но, когда затем мы выбежали на двор, крестьяне, старые и малые, высыпали из избы и звали других посмотреть на нас, ощупывали руками наши наряды; мы поняли, что поразили их, и это доставило нам большое удовольствие.

Времяпровождение в доме Воиновых было более разнообразно, чем у нас: когда после беготни мы чуть не падали от усталости, нам приносили французские книги с картинками. Ольга Петровна начинала читать какой-нибудь рассказ по-французски, дети звонко хохотали, а я, ничего не понимая на этом языке, вспыхивала от смущения и на мои глаза навертывались слезы. Тогда Ольга Петровна сейчас же принималась объяснять прочитанное по-русски или приносила карты для игры в «дурачки», вытаскивала из ящика куклы, лото. Но все эти игры скоро заменены были сказками, и я сделалась настоящей специалисткой по этой части.

От няни, Саши и горничных я знала много сказок, и вот постепенно я стала кое-что изменять и присочинять к ним,— такие я уже считала сказками своего изобретения. Когда я в первый раз сказала своим маленьким слушателям о том, что я сама умею сочинять сказки, они были так поражены, что побежали рассказать об этом своей матери. Наталья Александровна и гувернантка сделали удивленные глаза и добились

того, что я, несмотря на свою из ряда вон выходящую конфузливость, в конце концов стала рассказывать сказки в их присутствии. Их похвалы и внимание детей поощряли меня к дальнейшему сочинительству; мне стало казаться, что этим я импонирую Воиновым: если они, рассуждала я, возвышаются передо мною знанием французского языка и своим богатством, то я во что бы то ни стало должна затмить их чем бы то ни было.

Сидя дома, я все думала теперь о том, как бы мне сочинить новую сказку, как бы еще более поразить моих приятелей. И вот я стала вводить в свои рассказы все более чертовщины, мертвечины, баснословных кровожадных уродов, людоедов, оборотней, несуществующих зверей — одним словом, всевозможных страшил. Затем всю эту чепуху я стала все более драматизировать и передавать в лицах. Свои сказки я рассказывала загробным голосом, то повышая его, то понижая, урчала, кричала, визжала, колотила палкою по полу, бегала на четвереньках, когда представляла животных. Митя и Оля так пристрастились к ним, что в конце концов мы при посещении друг друга только и занимались ими,— даже перестали бегать и играть. Чуть, бывало, они завидят меня, как сейчас же требуют, чтобы я им рассказывала. Митя с утра до ночи мог слушать мои сказки; когда в них особенно много появлялось чертовщины, я передавала их сугубо страшным голосом, и он дрожал, как осиновый лист. Я переставала рассказывать, но Митя со слезами умолял меня продолжать. Меня, однако, мучили его слезы, и я успокаивала его, говоря:

— Не бойся, Митя... я пропущу теперь все самое страшное...

— Нет, нет! Ничего не пропускай! Рассказывай пострашнее...

Эти сказки кончались обыкновенно тем, что мы все ревели. Старшие, вбежав в комнату и узнав, в чем дело, начинали хохотать. Вместо того чтобы пре-

кратить эти зловредные россказни, которые делали крайне нервного и болезненного мальчика еще более нервным, а во мне все более развивали мелкое самолюбие и уродливую фантазию, старшие поощряли меня, и я стала гордиться этой чепухой до такой степени, что рассказывала ее даже в присутствии моей матери.

— Помните мое слово,— говорила Наталья Александровна моей матери,— Лизуша будет у вас знаменитой актрисой... Конечно, актрис не принимают в порядочном обществе... но если уж очень знаменитая,— я ведь сама читала, таких даже ищут, заискивают в них.

— О, господи! — отвечала на это матушка,— при моей-то бедности куда мне разбирать, принимают их или не принимают в обществе... Если у девочки окажутся способности к театру, я даже ни минуты не задумаюсь,— отдам ее в актрисы... Лишь бы была честная да денег побольше добывала. Ни о чем, кроме этого, я и думать-то не хочу.

Когда Воинова не было дома, мы вбегали в его кабинет: кроме конторки, на которой лежали записные тетради хозяина, вся комната была уставлена большими и маленькими пяльцами. Воинов, головой и глазами напоминавший сову, а фигурой — обезьяну на задних лапах, жестокий до невероятности со своими крепостными, крики которых во время экзекуций то и дело раздавались из сарая, любил изящные рукоделья и сам великолепно вышивал цветным шелком шерстяные оборки для платьев своей жены, а также по канве ковры и полосы для сонеток. Мало того: он, видимо, обладал страстным темпераментом: несмотря на брачные узы, которые он носил уже более десяти лет, он не мог наглядеться на свою жену, не мог отвести глаз от нее. Но на своих детей он не обращал никакого внимания, не вмешивался ни в их воспитание, ни в домашнее хозяйство своей жены. Наталья Александровна, в свою очередь, совсем не входила в его распоряжения. Она вся отдалась своим детям, возилась с ними с утра до ночи, несмотря на то, что у нее была прекрасная

гувернантка. Кроме нашего семейства, она редко у кого бывала, а между тем это была еще молодая женщина, красивая, образованная, как, по крайней мере, это понималось в ту пору, с светскими манерами и с значительными материальными средствами.

Как странно было видеть ее вместе с ее мужем — человеком полуграмотным, косолапым мужланом, который говорил тоненьким дискантом, а главное, был на редкость уродливым человеком!

Наталья Александровна, всегда оживленная и разговорчивая в нашем доме, почти не разговаривала с мужем при гостях, а лишь отрывочно отвечала на его вопросы и изредка сама задавала их ему. Перед тем как ему ответить или спросить о чем-нибудь, она как-то выпрямлялась, и выражение ее доброго, симпатичного лица делалось вдруг холодным. Она называла его «вы», а он ее «ты» и «Наточка».

— Как могла она выйти за него замуж? — спрашивали матушку мои сестры.

У нас ходили по этому поводу столь противоречивые слухи, что их не стоит повторять, а Наталья Александровна никогда никому не рассказывала о своей жизни до замужества.

ГЛАВА V

Положение моей семьи

Отъезд няни на богомолье.— Местная Мессалина.— Ночь перед рекрутчиной.— Воровство в доме и вынужденные клятвы.— Обручение.

Наступила весна пятого года нашей жизни в деревне. Наша семья была теперь весьма малочисленна: моя мать, старшая сестра Нюта, я и няня,— вот и все население нашего большого деревенского дома. Мой брат Заря был определен в Аракчеевский корпус в Новгороде, Андрюша находился в дворянском полку (военное училище) в Петербурге [20], Саша — в пансионе.

Все домашние как-то начали замечать, что няня худеет изо дня в день. Матушка сильно обеспокоилась. Что было делать? Привезти из города доктора? Это считалось необыкновенным событием в деревне и стоило больших денег: лошадям приходилось делать четыре конца; следовательно, необходимо было освободить от работы как их, так и кучера по крайней мере дней на шесть. Лишая доктора практики в продолжение такого долгого времени, соответственно с этим следовало назначить ему и приличное вознаграждение. Несмотря

на свою крайнюю расчетливость, матушка так высоко ценила заслуги няни, что не побоялась бы расходов,— но как уговорить ее согласиться на это? Однако случай помог выйти из затруднения. В это самое время сильно заболела Воинова, и ее муж отправил лошадей за доктором в губернский город. Гувернантка Воиновых предложила матушке от имени Натальи Александровны воспользоваться этим случаем.

Как вспыхивали от смущения бледные щеки няни, когда матушка читала ей письмо Ольги Петровны! «О, господи! — повторяла она на все лады.— Такие настоящие барыни, как Александра Степановна и Наталья Александровна... можно сказать, первые в нашей округе... и вдруг думают о таком червяке, как я!» Она всегда была верна себе, моя святая, моя великая смиренница няня! Но матушка на эти слова страшно рассердилась на нее. «Ведь ты же прекрасно понимаешь, что, если какая беда стрясется с тобой,— дети мои погибнут и хозяйство прахом пойдет!..». И она повезла ее к доктору, вполне правильно объяснив ему причину болезни: «Измучилась она у нас заботами о детях!». Доктор не нашел у няни ничего серьезного, но посоветовал дать ей отпуск на два-три месяца для полного отдыха.

Мысль, что няня уедет на такое продолжительное время, приводила меня в отчаяние. В глубине души я сознавала, что должна подчиниться этому решению, но не умела справиться с собой. Когда я вспоминала предстоящую разлуку, я то плакала, то, сидя по целым часам на одном месте, даже не отвечала няне на ее вопросы. Матушка и Нюта усовещевали и бранили меня, но из этого ничего не выходило, и я тосковала все больше. Однажды во сне я начала так рыдать и кричать, что всполошила весь дом. Меня разбудили, и я увидела у моей постели матушку и няню. Мне дали напиться, и я успокоилась. Вероятно, няня подумала, что я уже заснула, так как сказала матушке: «Хоть режьте, я никуда не поеду!». Это решительное заявление няни так меня успокоило, что я опять вошла в прежнюю колею.

Но однажды утром няня поразила меня тем, что как-то сконфуженно отворачивала от меня свое лицо, руки ее дрожали и она неохотно разговаривала со мной. Вдруг в передней раздались голоса Воиновых, и я весело побежала к ним навстречу. Не прошло и получаса, как матушка безапелляционно объявила мне, что я должна сейчас же одеваться, так как отправляюсь в дом Воиновых вместе с ними,— и мне стали быстро-быстро подавать верхнюю одежду. Я поняла свой приговор и с криком бросилась к няне, но матушка сурово оттолкнула меня от нее, и она, утирая слезы, вышла из комнаты. Больше я не видала ее до самого ее возвращения.

Когда я приехала к Воиновым, хозяйка дома и ее гувернантка делали все, чтобы развлекать нас, детей: летние деревенские удовольствия сменялись одни другими, и я днем совсем не вспоминала ни о доме, ни даже о няне, но когда я лежала в постели, я долго не засыпала, и меня вдруг охватывала страшная тоска. И вот однажды я стала прислушиваться к разговору помещицы Ковригиной, которая вечером приехала к Наталье Александровне и разговаривала с нею в столовой, дверь из которой была приоткрыта в детскую.

Ковригина была вдовою, еще не старою и довольно красивою женщиною. Хотя доходы с ее небольшого имения были невелики, но так как у нее не было ни детей, ни родни, она могла жить безбедно. Но она, видимо, проживала гораздо больше, чем имела: зиму она проводила в губернском городе, где много выезжала, танцовала, наряжалась и, как говорили, кутила напропалую; в деревне же она убивала время зазывая к себе гостей.

Ковригина была своего рода Мессалиною в нашем захолустье; про нее ходило много рассказов. Когда по дороге показывался ее экипаж, более щегольской, чем у кого бы то ни было в нашей местности, дворовые в людской и гости в «господском доме», не стесняясь присутствием детей, рассказывали о ее разнообразных похождениях. Сколько в них было правды, я не знаю,

но, как факт общеизвестный, передавали, что она с помощью прислуживающего в доме казачка отравила своего мужа, а затем, чтобы купить молчание своего крепостного, сделалась его любовницей и совала ему деньги и подачки, что только увеличивало его требовательность и наглость. Она избавилась от него лишь вероломным образом, отправив его в воинское присутствие и забрив ему лоб. Тем не менее дело о внезапной кончине ее мужа все-таки возникло, и она употребила весь свой небольшой капитал и свои бриллианты на то, чтобы потушить его. Когда это ей удалось, она на довольно продолжительное время куда-то уехала из наших краев, но затем опять появилась в своей усадьбе и сразу начала вести беспутный образ жизни. Ее не принимали во многих помещичьих семьях, но не потому, что она запятнала себя уголовным преступлением и недобропорядочным поведением, а только из-за того, что находили ее неотразимой для мужа или сына. Ни один помещик не решался признаться в том, что посещает ее: они приезжали к ней не иначе, как оставив лошадей на постоялом дворе, находившемся в полутора верстах от ее дома, и являлись к ней пешком. Когда она в первый раз приехала к нам в Погорелое, матушка приняла ее очень любезно, но, проболтав с ней вечер, пришла к заключению, что Ковригина — «дурашка и пустельга», что на нее не стоит тратить времени, а потому не отдала ей визита и раз навсегда приказала няне, когда она будет приезжать к нам, говорить ей, что матушка только что уехала.

Когда Ковригина, разговаривая с Воиновой, вдруг произнесла мою фамилию, я стала прислушиваться.

«Все ее дети (т. е. моей матери),— говорила она,— несчастные, заброшенные создания, а сама она ледяная глыба. От отсутствия ее заботливости у нее уже сгорела одна дочь; да и все ее дети погибли бы в огне и помойных ямах, если бы не няня...»

Я не могла понять того, что все сказанное Ковригиною было с ее стороны местью за пренебрежительное

отношение к ней моей матери. Так как я страдала от ее холодности и была уязвлена в раннем детстве ее словами во время моей тяжелой болезни, то все слышанное мною снова пробудило в моей душе дурные чувства к матушке.

По возвращении домой я с особенной силой почувствовала весь ужас одиночества. Он был всего более чувствителен для меня, потому что в то лето у нас не гостили ни мои братья, ни сестра Саша. Она уже была в старших классах пансиона и получила на каникулы место в Черниговской губернии у зажиточных малорусских помещиков, где она обучала французскому языку и музыке их единственную дочь, воспитанницу того же пансиона. Хотя за этот труд сестре предложили невероятно жалкое вознаграждение, что-то вроде 10 или 12 рублей за все лето, но она письменно умоляла матушку не лишать ее «счастья быть полезной семье» и дозволить взять место. Матушка согласилась, и Саша впервые отправилась на место гувернантки, а осенью прислала ей все полученные ею деньги.

Здесь кстати будет упомянуть об оригинальном отношении моей матери к деньгам, получаемым моею сестрою за свой труд. Оно было совершенно таким же, как и у крестьян, когда те отправляют сына на заработки. Сестра Саша впоследствии много зарабатывала, конечно сравнительно с тем, что тогда вообще получали у нас женщины, но как свое первое вознаграждение, так и до конца своей жизни она все до последней копейки отдавала матери. Когда ей нужна была новая обувь, шляпа, платье или что другое, матушка требовала, чтобы Саша показала ей то, что она желает обновить. Иногда она находила, что башмаки ее дочери могут выдержать вторую починку, а платье еще не так истрепалось, чтобы его заменять другим,— и отказывала удовлетворить ее просьбу. Когда Саше приходилось письменно просить матушку разрешить ей удержать для себя несколько рублей из своего заработка, это делалось с подробным и точным обозначением того,

на что именно и сколько ей было нужно денег. В ответ на такую просьбу матушка обыкновенно посылала ей свой собственный список, в котором точно определяла, во что должно обойтись то или другое: вместо предполагаемой сестрой материи на ее новое платье по 60 коп. за аршин, она должна была по приказанию матери купить ее по 40 коп.; «что же касается ботинок,— стояло в одном из писем матушки к сестре, найденных мною в ее бумагах,— то и козловые башмаки в 1 руб. 50 коп. могут еще считаться щегольством для такой бедной девушки, как ты, а уж эти фокусы, чтобы покупать нонешние ботинки в 3 рубля, так ты это выкинь из головы. И с чего это у тебя вдруг такое фанфаронство? При твоем уме и благоразумии это просто даже непростительно!».

Но возвращаюсь к своему рассказу. Если бы в нашей семье не было страшного несчастья, случившегося с сестрою Ниною, погибшею от обжогов вследствие недосмотра, то матушка, по ее словам, давным-давно дала бы мне полную свободу ходить и бегать где угодно. Но это ужасное семейное событие заставило ее, несмотря на то, что я, во время отсутствия няни, была уже большою девочкой, поручить меня присмотру горничной Домны, которая должна была повсюду сопровождать меня, не спуская с меня глаз. Но это совсем не исполнялось, и Домна лишь изредка забегала посмотреть, где я нахожусь.

Наш дом стоял на горе, а внизу между ним и озером была сажалка, устроенная еще отцом. Когда в озере ловили рыбу и попадалась мелкая рыбешка, ее бросали в сажалку. Некоторые породы рыб прекрасно выносили воду сажалки, даже жирели в ней, тем более что им бросали хлебные крошки, червяков, рыбьи внутренности. Эту сажалку держали и при матушке, чтобы всегда иметь под руками живую рыбу. Даже живя у берега большого прекрасного озера, не всегда возможно было иметь к столу хорошую рыбу: то улов оказывался плохим, то попадалась исключительно мелкая рыба. А в

сажалку стоило опустить сачок, и из него выбирали то, что нужно, а остальное опять бросали в воду. Крестьянам ловить для себя рыбу из сажалки было строго запрещено. Нам, детям, дозволялось удить в ней рыбу удочкой. В первый же раз, когда я попробовала это делать без няни, я поскользнулась и упала в сажалку. Это не испугало меня: у берега было мелко, и я тотчас выкарабкалась на землю. Но Домна, увидав мое испачканное платье, пребольно стала обдергивать меня. До той поры я даже от матушки не испытала ничего подобного, а тут вдруг — «простая баба смеет меня, барышню!..» И я бросилась с жалобой к Нюте, которая постращала за это Домну тем, что, если она позволит себе еще что-нибудь в таком же роде, это будет доложено матушке. Переодевая меня, Домна осыпала меня градом упреков, называя «ябедницею» и «наушницею». Я и это побежала передать сестре; но та за это уже побранила меня, указывая на то, что она с Сашею часто замечают, что прислуга делает не так, как следует, но никогда не доводят этого до сведения матушки; при этом она прибавила: «Особенно няня не терпит тех, кто жалуется». Последнее замечание произвело на меня сильное впечатление: мысль, что няня может разлюбить меня, если я передам кому-нибудь о том, что мне сделали что-либо неприятное, так ужаснула меня, что я тут же дала себе слово никогда никому ни на что не жаловаться.

У нас готовился рекрутский набор. Всеобщей воинской повинности тогда не существовало; дворяне и купцы не обязаны были служить. Когда объявляли новый набор, помещики должны были доставить в рекрутское присутствие известное количество рекрут. Тот из крестьян, на кого падал жребий, отбывал солдатчину в продолжение 25 лет, а в случае какой-либо провинности и всю жизнь,— следовательно, его надолго, а то и навсегда, отрывали от своего гнезда и хозяйства, от своей деревни, от жены, матери и детей, от всех привычек, с которыми он сроднился, и бросали в среду,

еще более жестокую, чем была даже крепостническая среда того времени.

Не менее ужасно было и положение жены рекрута: когда мужа уводили «на чужедальнюю сторонушку», как об этом говорилось в народных песнях, его жене некуда было деться, и она волей-неволей оставалась в его семье. Какова даже в настоящее время жизнь молодухи, попавшей в семью свекра, в которой живут несколько его сыновей с своими женами и его незамужние дочери, можно видеть из талантливой драматической поэмы К. И. Фоломеева «Счастье»[21]. В ней реально, глубоко правдиво и в художественных образах изображена горе-горькая доля молодой женщины в доме свекра и свекрови. Но в своем произведении г. Фоломеев дает описание жизни современных крестьян, никогда не испытавших гнета крепостничества, нравы которых со времени освобождения должны были сильно смягчиться и очеловечиться под влиянием все усиливающейся грамотности, распространения гуманных идей и постепенного пробуждения от векового сна. Если в настоящее время положение «молодухи» в семье мужа так ужасно, как изображено в драме «Счастье», то можно себе представить, каково оно было в то отдаленное, жестокое крепостническое время, да еще тогда, когда муж, ее единственный защитник, уходил в солдаты. «Солдатка», как тотчас начинали называть ее, слезами и кровью омывала каждый кусок хлеба: изнемогая под бременем непосильного труда (на нее наваливали в семье самую тяжелую работу), изнывая от брани и упреков золовок, поедом евших ее, страдая от побоев свекрови и свекра, а нередко и от позорных преследований последнего, она бежала развлекаться на сторону, становилась пьяницей и вконец развращалась.

Вот почему такой ужас охватывал как того, кого сдавали в солдаты, так и его жену и его близких, вот почему тот, на которого падал тяжкий жребий быть солдатом, «удирал в беги», а случалось — и лишал себя жизни. Как те, у кого укрывались беглецы, так и самих

их жестоко карали. Вследствие этого редко находились охотники, решавшиеся прятать у себя беглецов, а потому последние чаще всего скрывались в лесах, канавах и в полуразвалившихся, заброшенных постройках. Когда наступало время рекрутского набора, не только женщины, но и мужчины, как господа, так и крепостные, не решались ходить в лес в одиночку.

Однажды, когда после рекрутского набора прошел с месяц и няня была уже дома, мы как-то гуляли с нею недалеко от нашего дома. Только что мы успели перейти мостик, переброшенный через овражек, как из-под него стало выползать и приподниматься какое-то страшное существо, которое в первую минуту даже трудно было признать за человека: оборванные лохмотья, которыми он был прикрыт, волосы на голове, лицо — все представляло какой-то громадный ком грязи. Во всей фигуре этого несчастного выделялись только глаза, бегающие из стороны в сторону, как у затравленного зверя, и рот, обрамленный гнойными струпьями. При нашем приближении он хотел заговорить, но издавал только гортанные звуки. Я так испугалась, что бросилась бежать, вскочила на крыльцо дома и села на ступеньки с сильно бьющимся сердцем. Когда через некоторое время пришла няня, слезы градом катились по ее щекам. Из ее разговора с матушкой я поняла, что это был беглый из имения, верст за тридцать от нас, что он хоронится от людей уже больше месяца, до ужаса оголодал и охолодал и теперь идет в город «заявиться», т. е. отдаться в руки властям. Няня умоляла матушку дать ему возможность «силушки набраться», чтобы до города дотащиться. Она получила разрешение взять из хозяйства все, что найдет необходимым, но матушка заявила няне, что она должна переговаривать с ним так, чтобы никто этого не заметил, иначе она будет в ответе за пристанодержательство.

Когда объявляли рекрутский набор, наши крестьяне, по своему приговору, назначали, кому быть рекрутом, и сами зорко наблюдали за тем, чтобы соблюдалась

очередь. И, несмотря на это, родственники кандидата в рекруты — его отец, жена, мать — приходили к матушке, падали перед нею на колени, говорили о несправедливости «мира», слезно молили ее не отдавать их сына в солдаты, указывали крестьянскую семью, которой легче будет перенести отсутствие лишнего работника. Но матушка отклоняла все подобные ходатайства, не желая вмешиваться в постановления мира (сельского общества). Многие помещики не следовали этому правилу и отдавали в рекруты крестьян, чем-нибудь провинившихся перед ними. Помещик, недовольный своим крепостным, нередко даже ранее рекрутского набора отправлял его в воинское присутствие и получал за него рекрутскую квитанцию [22], которую продавал обыкновенно за довольно высокую цену.

На того, кому предназначалось быть рекрутом, немедленно надевали ручные и ножные кандалы и сажали в особую избу. Это делали для того, чтобы помешать ему наложить на себя руки или бежать. С этою целью несколько человек крестьян садились с будущим рекрутом в избу и проводили с ним всю ночь, а на другой день, ранним утром, его отвозили в городское присутствие. В эту ночь сторожа не могли задремать ни на минуту: несмотря на то, что вновь назначенный в рекруты был в кандалах, они опасались, что он как-нибудь исчезнет с помощью своей родни. Да и возможно ли было им заснуть, когда вокруг избы, в которой стерегли несчастного, все время раздавались вой, плач, рыдания, причитания!.. Тот, кто имел несчастье хотя раз в жизни услышать эти раздирающие душу вопли, никогда не забывал их.

В тот раз, о котором я говорю, набор рекрут происходил во время няниного отсутствия. Я уже спала, как вдруг до меня донеслись ужасающие вопли. Я проснулась и начала звать Домну, но она не откликалась. Тогда я, ощупав ее постель и убедившись, что ее нет со мной, набросила на себя что попало под руку и выбежала во двор: дверь дома оказалась незапертою.

Чуть-чуть светало. Я пошла туда, откуда раздавались голоса, которые и привели меня к бане, вплотную окруженной народом. Из единственного ее маленького окошечка по временам вспыхивал огонь лучины и освещал то кого-нибудь из сидевших в бане, то одну, то другую группу снаружи. В одной из них стояло несколько крестьян, в другой на земле сидели молодые девушки, сестры рекрута; они выли и причитали: «Братец наш милый, на кого ты нас покинул, горемычных сиротинушек?..». В сторонке сидело двое стариков: мужик и баба — родители рекрута. Старик вглядывался в окно бани и сокрушенно покачивал головой, а по лицу его жены и по ее плечам капала вода: ее только что обливали, чтобы привести в чувство. Она не двигалась, точно вся застыла в неподвижной позе, глаза ее смотрели вперед как-то тупо, как может смотреть человек, уставший от страдания, выплакавший все свои слезы, потерявший в жизни всякую надежду. А подле нее молодая жена будущего солдата отчаянно убивалась: с растрепавшимися волосами, с лицом, распухшим от слез, она то кидалась с рыданием на землю, то ломала руки, то вскакивала на ноги и бросалась к двери бани. После долгих просьб впустить ее дверь, наконец, отворилась, и в ней показался староста Лука: «Что ж, молодка, ходи... на последях... Пущай и старики к сыну идут!..». За вошедшими проскользнула и я. В первую минуту на меня никто не обратил внимания. Я смотрела то на сторожей, сидевших по лавкам, то на молодую женщину, рыдавшую у ног мужа. Но вдруг Лука, заметив меня, всплеснул руками: «Барышня! да что вы?.. Ведь Домне-то здорово за вас влетит!..». Прибежала и Домна и потянула меня домой, бесцеремонно ругая меня за своеволие. Во мне опять вскипел дворянский гонор,— матушка не могла его вытравить: он внедрялся веками и всею совокупностью фактов крепостнической среды. Я пустилась в перебранку с «подлянкой», которая осмелилась так говорить со мною. Но она, не обращая внимания на меня, стащила с меня

платье; я опять очутилась в постели, а горничная снова убежала. Но вопли со двора раздались вдруг с такой силою, с такою болью сжали мне сердце, что я опять выбежала на крыльцо.

На этот раз я увидала уже запряженную телегу. Рекрут, в сопровождении сторожей, был во дворе; к нему подходили родственники, друг за другом, по степени родства, целовались с ним три раза то в одну, то в другую щеку, кланялись ему до земли; он отвечал им тем же и, отвесив последний земной поклон сразу всем присутствующим, сел в телегу, в которую вместе с ним влезли еще двое крестьян. В этой толпе я заметила и матушку. Плач, рыдания, вопли и причитания кругом так потрясли меня, что я бросилась к ней со слезами. Матушка была сильно взволнована и не обратила внимания на то, что я расхаживала тут в такое раннее время. Я приставала к ней с расспросами, зачем она отдает в солдаты Ваньку, которого все так жалеют. Из ее объяснений я поняла только одно: что рекрутский набор наносит большой ущерб ее хозяйству, и уже никак не она в нем повинна, а что есть кто-то повыше и кто требует этого.

Никто в доме долго не знал о моей ночной экспедиции,— и это понятно: крепостные, без крайней необходимости, никогда не подвергали горничную барскому гневу. Эта ужасающая сцена отдачи в рекруты много лет приходила мне на память, нередко смущала мой покой, заставляла меня ломать голову и расспрашивать у многих, кто же виновен в том, что у матери отнимают сына, у жены — мужа и отвозят в «чужедальную сторонушку».

Нянино отсутствие приближалось к концу, как вдруг однажды матушка получила приглашение от знакомых, живших от нас верстах в тридцати, приехать с Нютою к ним на именины. И обе они долго при мне совещались о том, принять ли им это приглашение или отказаться от него. Из этих разговоров я поняла, что матушка желает отправиться в гости, чтобы кое с кем

поговорить о делах и чтобы дать возможность Нюте, которая вечно сидит дома, рассеяться и познакомиться с обществом, а может быть и потанцовать. При этом обо мне никто из них и не вспомнил. На мой вопрос, отправляюсь ли я с ними, матушка как-то переконфузилась и ничего не ответила, а сестра взяла на себя роль старшей и, обращаясь ко мне, наставительно отчеканила: «Там нет детей... да тебя туда никто и не приглашает!..». Я расплакалась. Матушка подсела ко мне, ласково стала гладить по голове и утешать, но так как в ее словах все-таки не было обещания взять меня с собою, то они еще более усилили горечь и обиду. Мне так хотелось сказать ей в эту минуту много, много горьких вещей, но я не высказала их: я была уже приучена к известной сдержанности и к тому же не умела формулировать того, что просилось на язык.

И этот новый факт окончательно укрепил меня в мысли, что матушка совсем меня не любит, что в других семьях, например у Воиновых, мать гораздо более заботится о своих детях... Особенно возмущалась я тем, что меня оставляют дома одну с Домною, которую я не терпела, которая вечно оскорбляла меня, которой в доме никто не доверял. Чем больше я думала об этом, тем больше меня охватывал ужас остаться с нею вдвоем. «Я сгорю,— начала я всхлипывать,— как сгорела Нина!» И я горько и безутешно рыдала. Вероятно, чтобы успокоить меня, матушка позвала Домну и стала при мне строго приказывать, чтобы она не осмеливалась во время ее отсутствия оставлять меня одну хотя на минуту. Домна по обыкновению завопила: «Да лопни мои глаза... Да провались я сквозь землю... ежели я, значит, хоть на сикунд отлучусь...» Матушка заявила, что она возвратится через два дня, и распорядилась, чтобы я не выходила из дому в дурную погоду.

Как только перестал раздаваться звон колокольчиков отъезжавших, Домна немедленно втащила в детскую корзину с моими игрушками, представлявшими скорее пародию на них: тут были скляночки, баночки,

бумажные коробочки от лекарств, поломанные карандаши, тетрадки из желтой бумаги домашнего приготовления, рваные куклы из тряпок, камешки, обрубки дерева и тому подобный хлам. Меня очень удивило, что горничная желает запрятать меня в детскую, комнату с одним окном, выходящим во двор, совершенно мрачную в этот сырой день, а потому я немедленно перетащила в залу корзину с своими богатствами. Тогда она решительно заявила, что я должна оставаться до обеда в детской, так как она будет мыть полы в зале, и с сердцем потащила мою корзину обратно. Сознавая, что я вполне нахожусь в ее власти, я покорилась своей участи. Не имея ни игрушек (мой хлам не заслуживал этого названия), ни другого занятия, я села у окна и стала думать о своей горькой доле: «Почему маменька не отправила меня на это время к Воиновым, где я могла бы весело провести время с детьми? Куда ей думать обо мне! Ей жалко оторвать для меня от работы человека! Если после отъезда няни я провела у Воиновых первое время, то, вероятно, благодаря тому, что на этом настояла та же няня... Разве «она» (так мысленно я называла свою мать) думает обо мне!..». Эти мрачные мысли и ужас одиночества и заброшенности так мучительно больно сжимали мое сердце, что я бросилась на колени перед образами и начала горячо умолять бога, чтобы он заставил матушку любить меня, чтобы няня совсем выздоровела, чтобы она никогда более не уходила. Скрип закрываемой двери на черной лестнице заставил меня вскочить на ноги. «Как! — думала я,— неужели Домна оставляет меня во всем доме совершенно одну?» Чтобы убедиться в этом, я побежала осматривать комнаты. Оказалось, что она вовсе не собиралась мыть полы и действительно ушла из дому. «Зачем же это ей понадобилось выпроводить меня из парадных комнат?» Я возвратилась в детскую и стала смотреть в окно, напротив которого во дворе стоял сарай. Скоро из него вышла Домна в сопровождении Федора, ее мужа, и Фильки, еще молодого парня, ко-

торый прежде был у нас казачком. Поговорив между собой у двери сарая, они двинулись к черной лестнице нашего дома.

«Как, они все трое идут в дом? Зачем?» — и меня охватил смертельный ужас: никогда ни один крестьянин не смел входить в комнаты нашего дома, если у него не было крайней необходимости переговорить с матушкою, да и об этом еще должны были предварительно сказать няне и попросить ее доложить об этом «барыне». И вдруг теперь, когда все прекрасно знают, что наши уехали, к дому направляется сразу двое крестьян в сопровождении горничной!.. «Они, наверное, хотят убить меня!» — вдруг мелькнула у меня дикая мысль, и я вмиг выскочила из детской, вбежала в спальню матери (комнату подле столовой) и стала за дверь, захлопнув ее за собою. Мне казалось, что таким образом я устроила для себя надежную засаду... «Никто из них не догадается,— думалось мне,— что я нахожусь здесь, а если кто и войдет сюда, то открываемая дверь закроет меня в уголку от моих преследователей». Я считала себя в безопасности и, несколько успокоившись от первого испуга, приложила глаза к большой щели у ручки двери, желая наблюдать за тем, что люди собираются делать в столовой: топот их ног показывал мне, куда они направлялись. И вдруг я увидала, что Федор, Филька и Домна прямо подошли к шкафу, в котором хранился сахар, чай, баранки и т. п. Филька вынул из кармана несколько ключей и стал пробовать, который из них подойдет к замку, но ни один, видимо, не годился. Тогда Федор вынул из-за пазухи инструмент, подпилил им один из ключей и открыл шкаф. Но когда Филька с грохотом начал высыпать из жестянки колотый сахар в передник Домны, мне опять сделалось как-то жутко, я вскрикнула и полезла под кровать. Все трое бросились в мою комнату, и Домна за платье вытащила меня из-под кровати еле живую и хотела поставить на ноги, но я тряслась с головы до пят и, как пьяная, шаталась из стороны в сторону. Тогда Федор,

здоровенный и высокий крестьянин, схватил меня на руки и понес в гостиную к образу; за ним двинулись и остальные.

— Крестись, барышня! перед святою богородицею побожись, что не съябедничаешь, что ни единой душеньке не расскажешь, что видели твои глазыньки... Ну же, сказывай! Крестись! — с этими словами приставал ко мне то один, то другой из них. Я делала все, чтобы исполнить требование, но спазмы сжимали мне горло, я не могла произвести ни одного звука, приподнимала руку, чтобы перекреститься, но она падала сама собой. Все трое решили тогда, что я «дюже спужалась». Не выпуская меня из рук, Федор приказал Домне вылить мне на голову «кукшин водицы», и меня уложили на диван. Домна подложила мне под голову подушку, ласково гладила по голове, а остальные стояли тут же, уговаривая ничего не бояться: «Вот-те христос... пальцем не тронем...». Пошептавшись в сторонке между собою, они все трое вышли из гостиной. Не знаю, вынимали ли они что-нибудь из других комодов и шкафов, но я долго лежала одна, прислушиваясь к тому, как они хлопали дверями то одной, то другой комнаты, как раздавались их шаги. Когда они опять вошли ко мне, я уже сидела на диване. Они приказали мне стать на колени перед образом, у которого Домна тотчас же зажгла лампадку, и произносить за Федором клятву: «Даю клятву перед тобой, царица небесная, как и перед всеми, какие есть, святые угодники и святители, что я ни в жись ни словечком не обмолвлюсь ни маменьке, ни сестрицам, ни братцам, ни нянюшке Марье Васильевне и ни кому другому о том, что видела и что со мной без моей маменьки приключилось...». Я крестилась и, дрожа и глотая слезы, повторяла все, что мне приказывали. Когда я кончила клятву, Федор как-то бережно и заботливо усадил меня в кресло, затем все трое окружили меня и, точно состязаясь друг перед другом в придумывании страшных пугал, стали стращать меня за нарушение клятвы всем, что каждому из

них приходило в голову. Один угрожал чертями с страшнеющими хвостами, которые в аду заставят меня лизать раскаленную сковороду, другой — бабою-ягою, которая будет толочь меня в ступе, третий стращал, что снесет меня на погост к мертвецам, но тут я в ужасе вскочила, побежала в детскую и бросилась на кровать. Никто из них не последовал за мною, и я могла плакать сколько хотела.

Это событие потрясло весь мой организм: когда через некоторое время в мою комнату вошла Домна, она, видимо, испугалась, заметив, как меня трясет лихорадка, как стучат мои зубы. Она заботливо укрывала меня, ласково называя своей «ласточкой», «касаточкой», «звездочкой», но это лишь усиливало лихорадку. Тогда она призвала кухарку, и обе они долго стояли подле меня, расспрашивали, что у меня болит, но я упорно молчала, и они распоряжались мною, как хотели: вливали в рот освященную воду, наполняли ею свои рты и обрызгивали меня, растирали ноги, клали на голову мокрые тряпки. К ночи у меня явился жар: я то засыпала, то впадала в бессознательное состояние, но, когда приходила в себя, я все время видела перед собой испуганное лицо Домны, слышала ласковые эпитеты, которыми она осыпала меня. На другой день я чувствовала себя до такой степени разбитой, что не только не могла встать с постели, но и пошевельнуться. В таком же тяжелом, полусознательном состоянии я провела и вторую ночь, но на следующее утро почувствовала себя лучше, уснула и крепко проспала до самого вечера. Когда я проснулась, в комнате было уже темно; я спросила Домну, которая стояла подле, возвратились ли наши. Вместо ответа она стала целовать мои руки и умолять крепко держать данную мною клятву. В это время раздались звуки колокольчика. Домна вытерла мне лицо мокрым полотенцем и потащила с постели; одеваться мне не приходилось: я оба дня пролежала одетою.

Мне совсем не хотелось встречать возвратившихся, но пришлось уступить не то просьбам, не то требова-

ниям Домны, и я вошла в переднюю. Свет зажженной сальной свечи тускло освещал комнату, в которой матушка уже снимала с себя верхнюю одежду. Ей некогда было разговаривать со мной: в не закрытые еще двери передней уже входил староста по какому-то неотложному делу. Но когда подавали ужин, матушка заметила, что я ничего не ем, и обратилась с вопросами по этому поводу и ко мне, и к Домне, которая отвечала ей, что оба дня я жаловалась на голову.

— Что же ты молчишь? — дала матушка на меня сердитый окрик.— До сих пор изволишь дуться, что мы не взяли тебя с собою? — этим ограничились ее разговоры со мной, ее нежный материнский привет после двухдневного отсутствия.

Только что я успела одеться на другой день, как раздался крик: «Няня приехала!». Я бросилась к ней, но от волнения не могла выговорить ни слова, только давала ей целовать и обнимать меня.

— Сказывай же, Нюточка,— засыпала няня вопросами сестру,— была ли весточка от Шурочки, что поделывают Андрюша и Заря? Что они пишут, мои голубчики? — В то время как Нюта беспорядочно отвечала на ее вопросы, желая все сразу передать и поскорее познакомить ее со всеми нашими новостями, она то и дело обхватывала мою голову руками и осыпала меня поцелуями, внимательно заглядывая мне в глаза.—Господи! С нами крестная сила! Да что с тобой, Лизуша? Отчего ты так похудела и побледнела? Больна была, что ли?

Сестра отвечала, что я похудела оттого, что сильно тосковала по ней, да еще эти дни, вероятно, злилась на то, что матушка не взяла меня с собой в гости, куда меня никто не звал. Но тут возвратилась матушка, начались снова поцелуи, спешные расспросы, разговоры... «Однако,— заметила матушка, всматриваясь в няню,— если ты и поправилась, то очень мало...». Затем было приступлено к чтению детских писем, полученных во время няниного отсутствия.

Дурная погода не позволила матушке отправиться на луг после обеда, и мы весь день до вечера просидели вместе, слушая нянины рассказы о посещении киевских мощей и святынь, о дорожных приключениях во время путешествия в Киев.

В этот счастливый для меня день, когда наши наперерыв болтали между собой, я молча наслаждалась сознанием присутствия моей дорогой няни. Но когда после ужина мы остались с нею вдвоем, она вплотную приступила к расспросам о том, что было со мною со дня ее отъезда. Я охотно рассказывала ей о своем пребывании у Воиновых, не умолчала и о рассуждениях Ковригиной. Няня сейчас же в настоящем свете представила мне причину дурного отзыва этой особы о моей матери, чем отняла у меня возможность подкреплять мое неблагоприятное мнение о ней словами такой личности, как Ковригина. Если няне и не всегда удавалось парализовать мои дурные чувства к матери, то по крайней мере своими объяснениями она обыкновенно ослабляла их силу и остроту. «Сердчишко-то у тебя горячее,— говорила она, лаская меня,— а мамашенька-то у тебя деловитая, на ласку скупая, да и нет у нее времячка поболтать с тобою,— вот ты, как крючок, и прицепляешься к ней, во всем винишь ее...» И она начала настаивать, чтобы я сообщила ей обо всем, что еще было со мною в ее отсутствие. Не особенно охотно, но чистосердечно поведала я ей о том, как провела ночь перед отправкою рекрута в город. Изумилась и сильно огорчилась няня, что Домна «осмелилась» оставить меня ночью одну. Но уже дальнейшие рассказы я продолжала все более запинаясь, конфузясь и, наконец, начала уверять ее, что больше ничего не было со мною. Вероятно, я утверждала это очень неуверенно, так как няня сказала мне, что, верно, я успела за это время разлюбить ее, если не могу попрежнему говорить с нею откровенно. Я бросилась обнимать ее и уверять в противном, говоря, что если бы я все, все рассказала ей, она сама назвала бы меня «наушницею»...

— Не могу же я рассказывать всего: ведь за нарушенную клятву меня бог покарает!..

— Что, что ты говоришь? — в неописанном ужасе спрашивала няня, поняв, вероятно, в эту минуту, что со мной случилось что-то необычайное.— Как! с тебя брали даже клятву? — И она еще сильнее стала настаивать на том, чтобы я во всем созналась ей.

Воспоминания только что пережитого, ужас нарушить клятву, а не нарушив ее — возбудить отвращение к себе няни, привели меня в полное смятение: я бросилась в ее объятия и, судорожно вздрагивая, долго, долго рыдала на ее груди.

— Разве не тяжкий грех,— спрашивала я ее, когда несколько успокоилась,— нарушать клятву, которую человек дает перед образами, да еще при зажженной лампадочке?

Няня простыми и понятными примерами из жизни объяснила мне, что клятву можно брать только со взрослого, что нарушать ее действительно грешно, но что еще более ужасен грех того, кто берет какую бы то ни было клятву с ребенка. Такими клятвами, да еще при зажженной лампадочке, говорила она, можно напугать ребенка до родимчика и отправить его на тот свет, а убийцу невинного ребенка бог карает еще строже, чем убийцу взрослого человека.

Это облегчало мою задачу, и я готова была уже все открыть, как вдруг вспомнила, что если бог меня и не покарает за нарушение клятвы (я находила, что няне это, конечно, должно быть лучше известно, чем Домне и ее пособникам), но зато сами они могут мне отомстить; я не верила в бабу-ягу, но мысль быть брошенной на кладбище, среди мертвецов, леденила мою кровь.

Однако няня не нашла нужным дольше приставать ко мне: вероятно, измученная и моими слезами, и дорогою, она стала торопить меня раздеваться, говоря, что «утро вечера мудреней». Я была так утомлена, что сейчас же заснула, но пережитое тяжелое событие пред-

стало передо мной во сне во всем своем несказанном ужасе, и я начала бредить, плакать, кричать. Няня разбудила меня и, когда я пришла в себя, положила меня с собой в кровать и начала снова настаивать, чтобы я рассказала все, как было, уверяя, что она уже все знает,— я выдала ей в бреду свой секрет; она уверяла, что желает только от меня самой слышать все по порядку, что после этого у меня станет легко на душе, и я сладко засну.

Кстати замечу, что пережитые мною в раннем возрасте тяжелые приключения крепостнической эпохи, а также из ряду вон мое печальное положение в доме после смерти няни на всю жизнь оставили глубокий след в моем организме: при всяком волнении я во сне бредила, с кем-нибудь спорила и разговаривала, кричала и плакала,— одним словом, всегда дважды переживала все, что меня волновало.

Возможно, что из тогдашнего бреда няня ничего не поняла, кроме того, что со мной случилось что-то скверное, но она воспользовалась им, чтобы заставить меня признаться во всем. Взяв с нее слово, что она не будет считать меня «кляузницею» и «наушницею» и не разлюбит за это, как думала я со слов сестры Нюты, я передала ей все, что со мной случилось без нее. Когда я кончила, она точно забыла меня,— долго не отвечала на мои вопросы, а только с ужасом повторяла: «Боже мой, боже мой!». Когда я опять напомнила ей о себе, она начала говорить мне о том, что я совсем неправильно поняла Нюту насчет того, что она говорила мне о кляузах и наушничестве. «Когда прислуга грубит,— объясняла она,— или не очень аккуратно выполняет приказание, не следует из-за этого сердиться, а тем паче жаловаться старшим: устают люди, много у них работы, вот и нужно их пожалеть!.. Другое дело то, что было с тобой! Ты совершила большой грех перед матушкой, что утаила от нее о воровстве, скрыла преступление ее рабов,— ведь это уже заправское преступление, что они заставляли тебя произносить клятвы

перед образами да всячески стращали». Но она тут же успокоила меня, говоря, что бог простит меня за все потому, что я делала это «по детскому недомыслию» и что мне нечего бояться этих «воров»: они решительно ничем не могут мне отомстить, и строго приказала мне ни с кем более об этом не говорить; теперь все это она уже сама уладит так, как найдет необходимым. При этом она вдруг добавила, что мне давным-давно пора начинать учиться: «Сашу, как она говорила, бог одарил большим умом, но и через книги этого ума ей много прибыло. Ты ведь уже не маленькая,— должна понимать, какова у нас Саша: такая молоденькая, сама еще учится, а уж семье помогает... Вот как бог да книги вразумляют!.. Ну, и ты не лыком шита: поучишься наукам,— поумнеешь, поймешь, что надо скрывать, а чего нельзя... А то этак всякий тебя застращает до смертушки, либо до калечества».

На другой день было воскресенье; утром няня попросила матушку о дозволении ехать со мною в церковь, отслужить молебен перед началом моих занятий. Каждая мать, вероятно, была бы оскорблена тем, что полуграмотная няня напоминает ей, образованной женщине, о ее прямых обязанностях. Но матушка была далека даже от тени материнского самолюбия: она прекрасно сознавала, что вся ушла в хозяйство, делает много упущений в воспитании своих детей и сильно запоздала с моим обучением, а потому отвечала ей совершенно простодушно: «Ну, уж ты, суета-Егоровна! Не успела после дороги выспаться, а уже за хлопоты принялась!». Матушка с глубоким чувством признательности всегда вспоминала о няне и часто говаривала мне впоследствии: «Поверишь ли,— это был настоящий ангел-хранитель моих детей, просто какой-то гений заботливости: я все более входила в роль хозяина-мужчины, а она — в обязанности матери».

Когда мы одевались, чтобы ехать в церковь, в детскую вошла Домна и шутливо спросила няню, привезла ли она ей обещанный подарок. «Привезти-то при-

везла,— было ей ответом,— но не отдам его тебе... В плохом виде сдала ты мне барышню: и похудела она у тебя, и побледнела, а что хуже всего — кричит по ночам, бредит, целые разговоры разговаривает! Должно быть, чем-нибудь у тебя она до смерти напугалась...».

Домна не могла даже скрыть своего смущения и молча вышла из комнаты.

Несмотря на свою кротость, поразительную доброту и незлобивость относительно всех без исключения, как «господ», так и служащих, няня на этот раз, должно быть, твердо решила если не покарать Домну и ее сообщников за проделку со мной, то, по крайней мере, сильно припугнуть их. Когда мы возвратились из церкви, Домна накрывала на стол, а няня что-то приводила в порядок в шкафу. Вдруг она начала то отпирать, то запирать его на ключ и прочищать замок.

— А ведь тут кто-то пошалил! — проговорила она.— Скажи-ка, Домна, мужу, чтобы он сегодня позвал ко мне слесаря,— я ему другие замки закажу. Домашних-то воров я не боюсь,— у меня все на счету: на всякой провизии свою метку кладу, а новые замки хочу сделать, чтоб в соблазн не вводить.

— Выходит, Марья Васильевна, потопить меня порешили! Что ж, нашего брата не трудно загубить.

— Сама знаешь,— этого что-то со мной не бывало!.. А ведь я уж много лет с вами живу! Только и нечисти в доме не допущу!.. И ты лучше бы сама во всем повинилась... Барышня вот запирается, говорит, что с нею ничего не было, а сама во сне кричит на весь дом! Смотри, Домна: сегодня у ней проскочит одно словечко, завтра другое,— так все и обнаружится... Да и больно она похудела, извелась, точно от долгой болезни!.. Уж тут у вас было что-то неладное...

Домна ни перед кем «не повинилась», но долго ходила как опущенная в воду. Няня никому не говорила об инциденте со мной и открыла его только матушке перед своей кончиной, опасаясь, что без нее я опять попаду на руки той же горничной.

На другой день после молебна няня нашла, что я не могу приступить к занятиям, так как был понедельник — тяжелый день, и матушка вполне согласилась с нею. Зато на следующий день няня просила Нюту начать со мною заниматься и ежедневно проходить несколько букв и слогов, притом непременно в ее присутствии, чтобы и она, няня, могла присмотреться, как ребенка обучать следует, а затем просила матушку каждый вечер хотя минут десять посвящать мне, проверяя пройденное. Дабы сложный проект моего обучения был приемлем «начальством» и его не раздражало бы ее вмешательство, она всячески изворачивалась.

— Вот как по моему глупому разуму надо бы устроить это дельце. Нюточка обучит ее нескольким строчкам, а я сейчас же заставлю ее все это затверживать... Уж как к вам-то, матушка-барыня, мы явимся вечерком отчетец давать,— все на-зубок будем знать... Вот вы нас только и будете похваливать...

— Знаю, знаю,— говорила матушка, улыбаясь,— ведь все эти подходы ты устраиваешь, чтобы твоей любимице от меня как-нибудь наперстком в лоб не влетело! Что же, Нюта, нам с тобой приходится подчиниться предписанию нашего директора!

Няня ежедневно утром приводила меня к сестре, садилась подле и следила за каждым словом, за каждым замечанием моей учительницы. Она, вероятно, мало давала бы мне отдохнуть после учения, но в продолжение полутора часа моих занятий, во время которых она безотходно присутствовала, у нее накоплялось много дела по хозяйству, и, как только я кончала с сестрой, ей приходилось бежать, чтобы сделать то или другое распоряжение, выдавать провизию или исполнять какое-нибудь поручение. Но, окончив свои дела, она сейчас же засаживала меня за книгу.

Хотя при обучении грамоте тогда еще не существовало звукового метода, но меня и не учили уже, как это было раньше: «аз, буки, веди, глаголь», а просто назы-

вали буквы, но зато терзали сложными слогами. В азбуке, по которой меня обучали, 4—5 согласных нанизаны были на гласную в самом невозможном согласовании и сочетании, так например, «мргвы, ткпру, ждрву» и т. д. Разбирать и произносить эту невероятную чепуху было настоящею пыткою, и с меня обыкновенно пот катился градом при окончании чтения странички таких языколомных слогов. Если бы не мое желание доставить няне удовольствие, я бы так и застряла на этих слогах, что было со многими детьми наших соседей, которые остались безграмотными только потому, что не могли одолеть эту премудрость. Няня зорко подстерегала, когда матушка возвращалась домой, и немедленно тащила меня к ней для проверки пройденного. Но так как я почти наизусть зазубривала слоги и быстро читала их, то матушка всегда отпускала меня с миром.

Иногда няня после занятий тут же пускалась в рассуждения:

— Ведь как это трудно ребенку! Ну, зачем это язык-то ломают? Кажись бы, просто взяли да и написали какое-нибудь словечко, ну, к примеру, взять хоть бы «книга», либо «стол»... Вот ребенок начитал бы много таких слов и скорехонько выучился бы читать всякую книжку...

— Ну уж, милая моя, тот, кто книгу пишет, поумнее нас с тобой,— возражала ей матушка, не подозревая, что няня своим природным чутьем и здравым соображением была ближе к пониманию надлежащего метода первоначального обучения, чем она, более или менее образованная женщина.

Когда с великой надсадой и отвращением я покончила с распостылым для меня букварем, меня начали обучать письму, а для чтения дали «Священную историю» Анны Зонтаг[23]. Какое это было для меня блаженство! С трудом одолев несколько первых страниц этой книги, я начала читать довольно бегло. Няня приходила в восторг. В виду того что у нас в доме совсем

не было книг для детского чтения, да и вообще их тогда почти не существовало, я ежедневно должна была прочитать один рассказ из Анны Зонтаг и несколько страниц из Пушкина, но непременно все по порядку, что бы ни попадалось: будь то лирическое стихотворение, поэма, роман, повесть. Теперь я уже с удовольствием шла на урок, а матушка скоро объявила сестре, что нет нужды следить более за моим чтением. Мне было дозволено брать все книги, которые у нас были; но, кроме Пушкина и Анны Зонтаг, у нас были книги, в которых я не понимала ни слова, притом большинство из них на польском и французском языках. Зато Пушкина я перечитывала много, много раз и заучивала на память его стихотворения.

Наконец решено было расширить курс моего обучения: сестра должна была обучать меня арифметике, а матушка взялась за преподавание французского языка. Тут-то и началась для меня настоящая пытка. Матушке редко удавалось начать занятия раньше девяти часов вечера, т. е. после ужина, когда ее самое клонило ко сну. Вследствие этого она сделала распоряжение будить меня ночью в четыре часа. В этой антипедагогической, даже и для того времени, мере матушка оправдывалась тем, что, кроме лета, когда она вставала, как и крестьяне, с рассветом, в остальное время она должна быть на ногах к шести часам. Вот она и приказывала будить меня в четыре часа, чтобы, занявшись со мною часа два, поспеть во-время на работы. Другого свободного времени у нее не было.

Когда няня в первый же день, назначенный для урока французского языка, не могла добудиться меня, матушка, выведенная из терпения, что ей приходится так долго ждать, дернула меня за руку так, что я в ту же минуту соскочила на пол голыми ногами. При этом няня должна была вылить на мою голову кувшин воды и быстро вытирать меня. Я одевалась под аккомпанемент матушкиных речей в таком роде: «Разные там миндальности не для нас! Я тоже хочу поспать!.. Очень при-

ятно поутру набросить на себя пуховый пеньюарчик, прилечь на кушеточку и с серебряного подносика пить горячий кофеек со сливочками... Ну, да бог нас с тобой достатками обидел. Должна еще благодарить его за то, что есть кому поучить тебя хотя ночью».

С тех пор меня и в морозные, и в более теплые дни будили в четыре часа ночи и каждый раз окачивали холодной водой с головы до пят. После занятий мне не мешали поступать, как я желала,— ложиться опять спать или бодрствовать. Но заснуть я более уже не могла. Хотя в сущности я спала теперь немногим меньше, чем прежде, так как ложилась спать уже в девять часов вечера, но я целый день ходила совершенно сонная, измученная и несчастная. Конечно, одною из причин этого было напряженное бодрствование в такое время, когда ребенок должен спать, но еще более это зависело от характера преподавания. От того ли, что на уроках французского языка не присутствовала няня (при которой матушка несколько более сдерживала себя), от ее ли необыкновенно вспыльчивого характера, от отсутствия ли педагогических способностей, а может быть, причиною было и то, что она сама страдала из-за того, что должна мучить родное детище в столь неподходящее для преподавания время, но она всегда была со мной до невероятности нетерпелива. Эти занятия во всех отношениях приносили мне несравненно больше вреда, чем пользы, что заметила в конце концов и сама матушка и в чем откровенно сознавалась мне впоследствии.

После холодного обливания от меня требовали, чтобы я как можно скорее одевалась, но не для того, чтобы я быстро согрелась (правила элементарной гигиены почти никому не были тогда известны), а чтобы не заставлять матушку напрасно терять время. Вследствие этого все было на мне одето кое-как, и я дрожала и от холода, и от преждевременного пробуждения, и от страха предстоящих занятий. О прическе моей никто не думал: мои всклокоченные волосы падали как по-

пало. Чуть, бывало, во время урока я чего-нибудь не пойму или отвечу невпопад и невольным движением руки хочу отбросить назад упавший на лоб клок волос, как матушка предупреждает это движение, хватает меня за волосы с таким остервенением, что я издаю крики и вопли на весь дом. Она еще более выходит из себя, сильнее дергает меня, толкает со всей силы, осыпает градом колотушек. Иногда она приходила в такое раздражение, что кричала: «Пошла к другому столу, а то я выдеру все твои волосы!».

У матушки был, как утверждала няня, «отходчивый характер»: она ли делала кому-нибудь неприятность, или другие огорчали ее, она все скоро забывала. И теперь, возвращаясь домой, она попрежнему, как ни в чем не бывало, добродушно обращалась ко мне. Но на меня эти, не испытанные до тех пор, побои и трепки производили ужасающее впечатление. До этих несчастных занятий, кроме нескольких толчков от матушки, меня никто пальцем не трогал. Эти побои теперь вызывали во мне жестоко-неприязненное чувство к матери. Няня, которая так умела смягчать, а подчас и парализовать мои дурные чувства, теперь не могла иметь на меня никакого влияния: я не слушала, что она говорила мне по этому поводу, а чаще всего зажимала при этом уши и бросалась на постель выплакать свою обиду. Когда матушка входила в комнату, я выбегала или старалась куда-нибудь ускользнуть, чтобы избежать целования ее руки по утрам, а временами она не могла добиться от меня никакого ответа на свой вопрос.

Однажды матушка за уроком так сердилась на меня, так кричала и стучала кулаком, столько раз прибегала к трепке и колотушкам, что я, наконец, замолчала и не произносила ни слова. Тогда, взбешенная, она вскочила с своего места, и я уже не знаю, что она хотела со мною сделать, но в эту минуту распахнулась дверь, и няня с плачем повалилась ей в ноги.

— Матушка, дорогая, пожалейте вы свое родное детище! Может, бог и взаправду не наделил девочку

разумом насчет французского... Может, она и без него как-нибудь обойдется!

Матушка стала кричать на няню, упрекать ее за баловство, но я в это время успела выскочить за дверь.

— Деточка... милая...— начала няня, подходя ко мне,— не распаляй сердечка твоего злобой против матушки родимой! Смертный это грех, дитятко!..

Но я отшатнулась от нее с криком:

— Она не мать моя!.. Я ее ненавижу!

ГЛАВА VI

Замужество сестры и проигрыш брата

Савельевы.— Жених сестры.— Смерть няни.— Луковские — муж и жена.— Гувернантство Саши и ее побег.— Смерть Савельева.

Менее чем в версте от нашей деревни Погорелое находилась крайне жалкая усадьба мелкопоместных помещиков Савельевых — мужа и жены, двух древних стариков, давно выживших из ума. В их убогом домишке было всего две комнатюрки. Только летняя жара выгоняла стариков на воздух из комнат, в которых, по словам няни, ничего не было, кроме «смородины, духотины и срамотины». Так выражалась она потому, что в их домике стоял какой-то особенно отвратительный воздух, а на столах и стульях всегда оставался просыпанный табак и пепел из выколоченных трубок.

И муж и жена редко выпускали изо рта длинные чубуки. Когда Савельевы в жаркую погоду выходили из дому, они садились на лавочку у стены. «Девка» немедленно подавала каждому из них трубку с длинным чубуком, подставляла под него кирпич, и они начинали дымить. Посмотришь, бывало, на них, как они, греясь на припеке, сидят неподвижно в полном без-

молвии и равномерно, точно в такт, выпускают дым из своих ртов, и глазам не веришь, что это живые люди, а не заведенные машины.

По внешнему виду они удивительно походили друг на друга: оба высокие, с одутловатыми желтыми лицами, с морщинистыми мешками под глазами и с мешками еще больших размеров под подбородком. Если бы не дым, выходивший из их ртов в виде черной смрадной тучи, они походили бы на египетских мумий, которым придали сидячее положение. И зимою, в жарко натопленных комнатах, и в жаркий летний день — им всегда было холодно: во все времена года Савельева одета была в грязную ватную длинную кофту, а ее супруг — в истрепанный ватный халат; лысая голова его прикрывалась порыжевшею ермолкою. Хотя земли у них было значительно более, чем у многих мелкопоместных, и крепостных за ними числилось душ десять, но их хозяйство было более запущено, чем у кого бы то ни было в нашей местности. Сами Савельевы в хозяйство не входили, издавна предоставив его вести какому-то крестнику из крепостных, как говорили — побочному сыну хозяина.

У Савельевых был и законный сын, но еще в раннем возрасте отданный в корпус. В нашем захолустье помещики вполне были осведомлены относительно каждого родственника соседей, где бы тот ни проживал,— о его материальном и служебном положении. Это объяснялось тем, что, когда кто-нибудь из помещиков получал письмо от родных, он читал его соседям и знакомым — всем, кто навещал его, и содержание его моментально делалось достоянием всей округи. Относительно же молодого Савельева было известно только, что он служит в чине подполковника в одном из армейских полков в Петербурге. Вдруг до нас дошли слухи, что он вышел в отставку и скоро приедет к своим родителям.

Когда у нас ожидали приезда нового человека, о нем всегда шло много разговоров, толков и пересудов; если

он был холост, его заочно женили на той или другой дочери помещика. Барышня, никогда не видавшая человека, с которым ее уже брачными узами соединила молва, нередко серьезно мечтала об этом. Однако мечты молодой девушки и ее родителей очень часто разлетались в пух и прах. Относительно молодого Савельева говорили только, что едва ли кто из порядочных помещиков захочет породниться «с таким» голоштанником, как он, да еще отдать свою дочь в дом его родителей, живших мало чем лучше простых крестьян.

Когда однажды матушка возвратилась домой, няня доложила ей, что к нам пришел Савельев, которого она провела в столовую, так как уже подавали обед. Феофан Павлович Савельев был очень высокий, стройный брюнет, лет за тридцать пять, весьма прилично одетый, с правильными чертами лица, которое можно было бы назвать даже красивым, если бы его не портили глаза, бегавшие во все стороны и горевшие беспокойным огнем, а также сетка тонких кровавых жилок, выступавших особенно рельефно на его бледных щеках и висках. Когда к нему обращались с вопросом или когда он сам говорил, он не смотрел на своего собеседника, а опускал глаза, которые обыкновенно были полузакрыты веками и продолжали беспокойно метаться в разные стороны и мелькать из-за его длинных ресниц. На вопрос матушки, отчего он бросил службу и что собирается делать в нашей трущобе, он вдруг как-то сконфузился, суетливо заерзал на стуле и после неловкого молчания отвечал, что вышел в отставку вследствие плохого здоровья, что он по крайней мере с год проживет в деревне, займется своим крошечным имением, и так как он страстный охотник, то собирается развлекаться охотою.

Оправившись от первого смущения, он стал расспрашивать о хозяйстве. Матушка с сокрушением рассказывала о том, как много времени отнимает оно у нее, мешая ей заниматься даже с дочерью. При этом она не скрыла от него и того, как ей приходится для уроков

французского языка будить меня по ночам. Вдруг Савельев обратился к ней на чистом французском диалекте, и, когда они снова заговорили по-русски, я поняла, что он взялся за преподавание мне французского языка. Матушка несколько раз принималась благодарить его и, как человек практический, тотчас спросила об условиях. Он ответил, что будет приходить на урок ежедневно за полтора часа до нашего обеда и, если матушка ничего не имеет против этого, пусть позволит ему обедать у нас. «Старики», так выражался он о своих родителях, не придают никакого значения пище, едят какую-то бурду, а ему, при его слабом здоровье, необходимо питаться порядочно. Матушке очень понравилось такое простое объяснение, а вознаграждение, назначенное им, она нашла вполне для себя подходящим.

Мы уже пили кофе, когда матушке пришло в голову спросить его, каким образом он так прекрасно изучил французский язык,— ведь родителям его, вероятно, было не по средствам держать француженку. При этом вопросе Феофан Павлович совсем растерялся: не допив кофе, он вскочил со стула и в нервном возбуждении стал быстро шагать по комнате, не обращая внимания на то, что мы с удивлением посматривали на него. Через несколько минут молчания он, ни на кого не глядя, заговорил отрывочно: «Почему это может интересовать кого бы то ни было? Подлые интриги!.. Сплетни!..». Матушка с недоумением возражала ему, что она и представления не имеет о какой бы то ни было интриге относительно его, почему же он так обеспокоился ее простым естественным вопросом. Но он на это отвечал так отрывочно, что никто ничего не понял; при этом сам он продолжал все время быстро ходить по комнате, затем вдруг вышел из столовой и, ни с кем не простившись, исчез из дому.

Это поразило членов моей семьи: они долго сидели за столом, рассуждая о его странностях и вспоминая все, что им было сказано.

— А уж как хотите, барыня-матушка,— говорила няня,— хоть я о господах настоящего суждения иметь не могу и, как ваша раба, даже не смею... а все же вот что я вам доложу: ежели человек не может другому в глаза смотреть, плохо дело!.. Попомните мое слово, у него что-нибудь очень дурное на совести...

— Ну, уж ты скажешь! Если бы он сделал что-нибудь такое, так был бы под судом!.. А тебе как он понравился? — вдруг обратилась матушка к Нюте.— Ведь он очень красивый человек?

— Красивый? Он? — с ужасом переспросила сестра.— Да на него даже страшно смотреть!.. Так у него глаза бегают, и такие противные!

— Просто как у волка. Уж лучше бы он обличием был похуже, только бы настоящим человеком выглядел!..— рассуждала няня.

На другой день матушка возвратилась домой до моего урока, чтобы с рук на руки передать новому учителю его ученицу.

— Как я рада, Феофан Павлович, что вы замените меня! Должна вам сознаться, что я человек вспыльчивый,— вот дочке моей порядочно-таки доставалось от меня...

При этих словах Савельев вскочил со стула, стал шагать по комнате и заговорил как-то запальчиво:

— О, я тоже раздражительный и вспыльчивый человек! Но свою вспыльчивость и раздражительность я проявляю только с лицами, которые рады утопить меня в ложке воды... Что я им сделал,— не знаю, чего они хотят от меня,— тоже не знаю!.. Но они вечно строят мне козни, всегда пускают против меня сплетни и клеветы!..— И, по своему обыкновению, после этой реплики Савельев несколько помолчал, но затем, продолжая ходить, опять заговорил, уже успокоившись:— Но в вашем доме я чувствую себя в полной безопасности!.. Я проникся к вашей личности, Александра Степановна, и ко всему вашему семейству глубочайшим почтением... Что же касается уроков, то будьте покойны,— ваша де-

вочка не пострадает от моей вспыльчивости! Как учитель, я обладаю редким терпением.

— Какой вы чудак, Феофан Павлович! Вижу я вас только во второй раз, и вы уже во второй раз говорите мне о сплетнях и кознях, о которых я, даю вам честное слово, ничего не слыхала. В нашем захолустье перед приездом нового человека обыкновенно ходит множество слухов... Но о вас буквально никто ничего не рассказывал,— ни хорошего, ни худого...

Начались занятия, и относительно их, но только относительно их, Савельев строго держал свое слово и был чрезвычайно терпелив. Он не учил меня ни ненавистной для меня грамматике, ни спряжениям, а почти весь урок заставлял читать страницу за страницей, приказывая повторять за ним каждое слово до тех пор, пока я не произносила его вполне правильно; при этом он все переводил мне. Но к концу занятий он, видимо, утомлялся больше моего: на бледном лбу его выступал пот, щеки покрывались багровым румянцем, а руки сильно дрожали.

Следующие уроки у нас шли таким образом: первую половину урока он был очень внимателен, все объяснял и поправлял, затем все менее обращал внимания на мое чтение, не делал никаких замечаний и не переставая шагал по комнате с опущенной головою. Но, когда я прекращала чтение, он быстро поднимал голову и с удивлением спрашивал, почему я не продолжаю. Случалось и так: начав расхаживать по комнате, он выходил в переднюю, исчезал из дому задолго до конца урока и не возвращался даже к обеду, никого не предупредив об этом.

Матушку удивляли выходки и странности нового знакомого, но она осуждала его только за то, что он зачастую занимался со мною менее обещанного полутора часа. Но когда через несколько недель после начала его занятий со мною она заставила меня читать и переводить, она пришла в такой восторг от моих быстрых успехов, что горячо поблагодарила Савельева,

и с тех пор стала неизменно называть его чудаком, но дельным и добросовестным человеком, и уже не обращала ни малейшего внимания на его странности. Но он начал проявлять их и кое в чем другом: сестра Нюта, видимо, все более нравилась ему, но это у него выражалось только тем, что после обеда он нередко подсаживался к столу, за которым она работала, а чаще всего расхаживал в той же комнате до вечернего чая, иногда буквально не проронив с нею ни одного слова.

Я была очень довольна новым учителем: теперь никто не будил меня по ночам и мне не приходилось получать ни трепок, ни окриков. Новые уроки меня начинали даже занимать. Воиновы снабжали меня книгами для детей на французском языке, и все, чего я не понимала, мне охотно переводил Савельев; сам иногда рассказывал что-нибудь и тут же заставлял передавать слышанное по-французски.

Наступил великий пост. Однажды после обеда Савельев попросил у матушки дозволения переговорить с нею с глазу на глаз. Они вышли вместе в другую комнату, а мы с нянею отправились к Воиновым и возвратились домой только после ужина. Утомленная вознею с детьми, я немедленно легла в постель, няня сидя у стола, вязала свой чулок. Вдруг к нам вбежала Нюта и бросилась на колени перед нянею.

— Спасите меня, нянюшечка!.. Ты только одна можешь спасти!..— говорила она, рыдая, уткнув голову в ее колени.

— Как тебе не стыдно... Сейчас вставай! Барышня, и вдруг перед своей же рабой на колени!..— сердито ворчала няня, поднимая сестру и усаживая подле себя.— Что случилось? Что с тобой, детка родная?

Оказалось, что Феофан Павлович Савельев сделал ей предложение через матушку, которая хотя еще и не дала ему окончательного слова, но и не отвечала отказом, сказав ему, что ей необходимо об этом серьезно подумать и что он должен очень и очень повременить с ответом. Весь этот разговор матушка передала сестре,

не спросив ее даже о том, как она смотрит на этот брак,— следовательно, и при окончательном решении она будет руководиться только собственными соображениями.

— Горемычная моя деточка! — всплеснула руками пораженная няня.— И, боже мой, какое это будет для тебя несчастье! Отговаривать-то матушку я буду со всем моим старанием, только боюсь, деточка, что из этого никакого толку не выйдет! Видишь ли, касаточка, тут дело в том, что «он» мамашеньку прельстил тем, что хорошо Лизушу обучает!..

— Так неужели же маменька из-за сестриных уроков может загубить меня? Я не могу выйти за него! Не могу, не могу его видеть!

— Вот что я тебе присоветую, голубка моя... Хоть ты и кроткая девица, можно сказать вполне покорная дочка своей матушки, ни в жисть ты ей словечком не поперечила, но силушку свою в себе ты укрепи и завтра же утрешком пойди ты к мамашечке, да не с грубым словом, не с попреком,— храни тебя бог! — а на коленках моли ее не выдавать тебя замуж за немилого, моли, чтоб, значит, матушка дала ему полный отказ, чтоб он головой своей взбалмошной помыслить не посмел, что он такую кралю, да из первейшего семейства в округе подхватить может! И вот как ты начни: «Мамашенька мояродненькая!.. Больше у меня нет заступы, кроме бога и вас! Зачем такую молодую замуж хотите отдать за постылого взбалмошного человека, когда он вдвое старше меня? Разве я была вам в чем непокорна? Ежели вы, мамашенька дорогая моя, полагаете, что он вам в чем по хозяйству подмогой будет, так он и сам себя не понимает: непутевый какой-то, просто какая-то шалда-балда!..» Да... обо всем этом ты должна, Нюточка, упредить мамашеньку, чтобы и думка у нее об этом пропала.

Матушка на мольбы сестры отказать Савельеву отвечала, что она «далеко не в восторге от его предложения, но как для того, чтобы ему отказать, так и для

того, чтобы принять его предложение, ей необходимо еще серьезно подумать». — «Ведь при отказе,— прибавила она,— он, вероятно, сейчас бросит свои занятия».

Некоторое время после этого инцидента у нас опять все шло тихо и однообразно.

Но вот однажды ночью няня, уже и раньше страдавшая кашлем, вдруг так раскашлялась, что в нашу детскую вбежали матушка и Нюта. То одна, то другая из них бросала куски сахару в столовую ложку, обмазывая ее снаружи салом, растапливали сахар на зажженной свечке, и, когда он остывал, няня сосала эти доморощенные леденцы; поили ее нагретым молоком, мазали ей грудь свечным салом, что считалось в то время универсальным средством, наконец, укрыли ее теплыми одеялами. Но она успокоилась только под утро. С этого времени кашель не переставал ее мучить, а затем появилась лихорадка и поты, она стала быстро худеть и слабеть и, наконец, потеряла возможность даже вставать с постели.

Все усиливавшаяся болезнь няни так беспокоила матушку, что она написала бывшему нашему врачу, умоляя его приехать, и отправила за ним в город лошадей, строго-настрого запретив об этом сообщать няне. Однажды матушка взошла к ней в детскую и сказала ей, что наш знакомый доктор был призван к кому-то из соседей, заехал к нам проведать нас и что она просила его осмотреть ее.

Что сказал доктор относительно няни, я не слыхала, только позже я узнала, что у нее скоротечная чахотка, но, если бы я была поопытнее, я должна была бы понять жестокий приговор доктора уже из одного того, что матушка совсем переменилась: она редко когда выходила из дому даже по делам, и всякая работа вываливалась у нее из рук. Она то и дело сидела теперь без работы, чего с нею никогда не было прежде, или курила в своей комнате, беспрестанно забегая проведать няню. Однажды я застала ее в столовой перед образом. Я тоже бросилась на колени рядом

с нею, и она крепко меня обняла. «Будем молиться!» — сказала она мне, — и мы стали вместе, рыдая, выкрикивать одни и те же слова: «Боже, спаси няпечку, спаси нашу милую няню!». Но скоро после этого разговор сестры с матерью совершенно успокоил меня насчет болезни няни, а о вечной разлуке с нею я и не думала.

— Ведь у чахоточных, — говорила Нюта, — кровь горлом идет, а у няни она ни разу не показывалась. Я уверена, что доктор ошибся! И прошлой весной, перед отъездом на богомолье, она страшно худела и кашляла... Вот увидите, — наступит весна, и она опять поправится!

Наши кровати, т. е. нянину и мою, поставили в залу: доктор ли посоветовал сделать это, чтобы больной было легче дышать, или сама матушка придумала, но няня теперь постоянно лежала в этой комнате. У нас в то время никому не приходило в голову, что от чахоточного может быть зараза, да и матушка, вероятно, не решалась разлучить меня с няней.

Сидя подле нее целые дни, я рассказывала ей обо всем, что у нас происходило; между прочим, передала ей и разговор сестры с матушкою насчет ее здоровья. Она с грустью посмотрела на меня, погладила мою голову своею исхудалою рукой и вместо ответа повторила несколько раз:

— Ах, как бы хотелось еще разок взглянуть на Шурочку!

Как только узнала об этом матушка, так и решила во что бы то ни стало осуществить ее желание. Оставалось три недели до пасхи; на страстной и святой у Саши не было занятий, и она, по мнению матушки, могла еще опоздать и возвратиться в пансион только к экзаменам. Свое решение она не стала откладывать в долгий ящик: тотчас позвала старосту для совместного обсуждения о том, кого снарядить кучером для этой экспедиции, и на другой день с рассветом лошади уже выехали в Витебск за Сашею.

За последние два с половиною года, во время которых никто из нас не видел Сашу, она сильно изменилась: вместо худенького подростка, каким была она тогда, перед нами стояла молодая девушка, более высокого роста, чем старшая сестра. Долго мы все стояли, сгрудившись вокруг нее: кто удивлялся тому, что она так выросла, кто спрашивал ее, где она ночевала эту ночь. Давая нам такие же отрывочные ответы, Саша снова и снова принималась нас обнимать. Дуняша — горничная, которая жила с сестрою в пансионе,— стала по старшинству подходить к каждой из нас и целовать руку. Когда Саша выразила желание поскорее обнять няню, я побежала спросить ее, можно ли к ней войти.

Сестра горячо целовала лицо, глаза, лоб больной и, когда она попеременно начала целовать то одну, то другую ее руку, у нее нехватило даже сил протестовать. Все остальные тоже вошли и уселись подле кровати больной. Няня не произносила ни слова, только подносила пальцы к губам, показывая, что не может говорить, но она не спускала восторженных глаз с Саши и не выпускала ее рук из своих. Слезы не переставая текли из ее глаз. Несколько успокоившись, она погладила ее по лицу и тихо прошептала: «Поцелуй еще разок!». Скоро няня сделала знак, что хочет уснуть, и мы все вышли из комнаты.

С следующего дня няня стала быстро поправляться: у нее явился аппетит, она много спала днем и ночью, а кашель настолько ослабел, что, казалось, совсем не мучил ее более. Она не только сидела в кровати, обложенная подушками, но ежедневно вставала на час, другой. Хотя и теперь еще она говорила более слабым и глухим голосом, чем обыкновенно, но постоянно болтала с нами, шутила и смеялась,— только к вечеру ее несколько знобило. Когда я как-то сидела у нее с Сашею, она сказала сестре: «Мамашеньке не надо пускать тебя по гувернанткам!.. Теперь хлебушка-то хватит на всех вас! Ну, а богачество — бог с ним!». Затем, помолчав, она сняла медный крестик с своей шеи и, подавая

его сестре, сказала: «Поклянись мне, Шурочка, перед святым крестом, что ты в мою память никогда не оставишь Лизушу одну! Она еще маленькая,— ее нельзя оставлять на руках прислуги... Поклянись ты мне и в том, что и в науках дотянешь ее до себя, что, значит, всю свою силушку приложишь подготовить ее к учебе». Саша перекрестилась, поцеловала крест и сказала, что клянется свято исполнить все желания няни, но если матушка отправит ее в гувернантки, то она сочтет долгом повиноваться ей.

Улучшение здоровья няни пробудило во всех несбыточную надежду, что горе и на этот раз минует нас. Все в доме ободрились и повеселели... Бо́льшую часть времени мы проводили с больною. Савельев на наше счастье более не являлся к нам: как только отправили лошадей за Сашей, матушка объявила ему, что занятия со мною прекращаются и, вероятно, на довольно продолжительное время.

Матушка вошла как-то в залу, когда мы все сидели около няни; она держала в руках несколько исписанных почто́вых листиков. «Вот я тебе прочту письмо начальницы Сашиного пансиона»,— сказала она, обращаясь к няне. Саша бросилась из комнаты, но матушка велела ей остаться. Нужно заметить, что в то время дамы, имевшие претензию на образование, переписывались не иначе, как на французском языке.

Вот что переводила матушка:

«— Позвольте прежде всего выразить вам глубочайшую признательность, как от моего имени, так и от всего учительского персонала моего учебного заведения, за доверие, которое вы нам оказали, поручив воспитание вашей дочери учрежденному мною пансиону для воспитания благородных детей. Ваша дочь за все время своего пребывания в нем была гордостью моего пансиона, самой любимой, самой лучшей воспитанницею. По совести могу сказать, что и весь учительский персонал моего заведения приложил все старания, чтобы развить способности этой богато одаренной на-

туры, этой любознательной девушки, но, конечно, настолько, насколько это допускают правила пансиона благородных девиц. Не считаю справедливым всю заслугу ее блестящих успехов приписывать только пансиону: вы, как любящая мать и истинно образованная женщина, несомненно дали первый толчок развитию разнообразных способностей вашей дочери, щедро одаренной уже и от природы. Только вы, как родная мать, могли развить с таким уменьем ее милый, веселый нрав, ее необыкновенную сердечную доброту и любезную готовность услужить, помочь каждому в затруднении. Примите же, сударыня, наше высокое почтение...»

— Ну, я тут не при чем,— вскользь комментировала матушка письмо, не привыкшая принимать незаслуженных похвал.— Покойный отец возился с нею, ну, а доброту, нянюша, она заимствовала от тебя!.. С раннего детства твердила: «Хочу, чтобы меня все так любили, как нянюшечку».

И затем матушка продолжала:

«— Несмотря на богатые природные способности вашей дочери, мы в первый раз встречаемся в такой степени, как у нее, с прилежанием в обучении: она за год вперед доставала записки и учебники пансионерок классом ее старше и все выучивала заранее. При этом она находила время читать книги, серьезно упражняться в музыке и брать приватные уроки иностранных языков. Изумительно, как у нее хватало времени на все: она с полною готовностью помогала своим подругам и новеньким, плохо подготовленным детям. Эта черта характера снискала ей всеобщую любовь, скажу даже — обожание всех воспитанниц моего пансиона. Но на земле нет совершенств, и я не считаю возможным скрывать от вас и ее серьезных недостатков: несмотря на то, что она сделала блестящие успехи в науках, музыке и иностранных языках, чему, повторяю, мы содействовали всеми силами и что всегда поощряли, несмотря на то, что она в совершенстве изучила, как я ей уж много раз говорила, все то, что, при самых

строгих запросах, можно требовать от девушки дворянской семьи, она все еще недовольна всем этим и с непобедимым упорством стремится перейти границу знаний, дозволенных порядочной девушке дворянской семьи. С неослабленным упорством, с которым мы даже не в силах были бороться, пуская в ход всякую хитрость и недостойную ее ложь (верьте, сударыня, мне очень больно сказать вам это о нашей общей любимице) доставала она в городе какие-то записки и книги, совсем ненужные для девушки, изучала их по ночам, убегая в это время в дежурную комнату, которую она однажды чуть не спалила, забыв потушить свечу. Вот на эту-то страсть к наукам, похвальную в мужчине, но не в девушке благородной, дворянской семьи, а также на ее чрезмерную склонность к интересам и разговорам, не свойственным ее полу, за что девушка получает нелестное для себя прозвище «синего чулка», я нахожу необходимым, сударыня, и указать вам. Почтительнейше прошу вас обратить внимание на эту ее слабость, дабы она не помешала успехам дочери вашей в жизни и свете.

«Александрин может оставаться у вас хотя до половины мая: учительский персонал соглашается проэкзаменовать ее в два-три дня, но она во всяком случае должна еще приехать к нам. Мы все желаем ее видеть, проститься с нею, а родители детей, с которыми она так успешно занималась, желают выразить ей свою признательность. Мне передано для нее немало прелестных вещиц — маленькое приданое, которое мы и будем устраивать без нее, взяв для образца у вашей горничной некоторые ее вещи.

«Обстоятельства, как утверждает Александрин, вынуждают ее выбрать тяжелый жребий гувернантки, и это заставляет меня покорнейше просить вас, высокоуважаемая сударыня, иметь в виду то, что двери моего пансиона всегда будут широко открыты для нее: я с восторгом приму ее во всякое время, дам ей место учительницы и, несмотря на ее молодость, начну по-

степенно приучать ее быть у меня в качестве моей ближайшей помощницы и сотрудницы; слабое здоровье уже давно заставляет меня подумать об этом.

«Но я никогда не простила бы себе, если бы не сказала вам, вполне откровенно, что жалованье в пансионе учительницам и надзирательницам весьма скромное и что если даже я сильно увеличу его исключительно для вашей дочери (а это я обещаю вам сделать), оно все же будет ничтожно сравнительно с тем, что она может получить в качестве гувернантки в доме богатого помещика или какой-нибудь особы, занимающей высокий пост: превосходно владея иностранными языками и основательно зная музыку, ваша дочь может рассчитывать занять такое место».

Няня слушала чтение, приподнявшись с подушек и с таким благоговением, как слушают церковную службу: устремив глаза на образ, она то и дело крестилась дрожащею рукою, набожно наклоняя голову, проливая потоки слез. Как только она могла заговорить, она попросила матушку положить ей это письмо под подушку, чтобы заставлять Сашу почаще перечитывать его себе.

— Совсем не нужно Шурочке по гувернанткам путаться! — рассуждала няня. — Только б увидел ее какой ни на есть важнеющий генерал, либо даже первеющий принц, сейчас бы в нее влюбился!..

— Нет, нет, нянюша! — хохотала Саша, бросаясь на колени перед ее кроватью. — Корону мне, порфиру мне! На меньшем мириться не хочу!

— А что ты думаешь... Ты ведь цены себе не знаешь! А ежели бы даже сáм царь на тебя хоть глазком взглянул, с ума бы сошел от влюбленности...

— Ах, нянюша, нянюша! Зачем мне генералы и принцы, зачем мне богатство?

— Как зачем, деточка? Что ты! Разве по гувернанткам с молодых годов хорошо трепаться? У господа бога моего просить буду, чтобы ты самой себе госпожей была. Вот гувернантка Воиновых, Ольга Петровна...

Очень славная барышня, а позовет горничную, та сейчас и заворчит: «Не велика барыня, подождешь, сама сделаешь!..».

— А я и гувернантства не боюсь! Ведь вот же в прошлое лето уже испытала!.. И в пансионе меня стращали, когда я в Черниговскую губернию ехала... А как мне было хорошо! Откармливали, как на убой!.. Девочка ко мне привязалась, и старики за это просто души во мне не чаяли. Куда ни спросишься, всюду пускали нас вместе: и лошадей давали кататься, и малороссийскую свадьбу смотреть, и пляску и пение слушать, беспрестанно предлагали в гости съездить, не мешали мне и на фортепиано играть и читать... И чуть не каждый день благодарили за дочку,— сама не знаю, за что: ведь я только исполняла свою обязанность... И что ты думаешь, нянюша: просто умоляли меня приезжать к ним гостить каждое лето. И прислуга была такая ласковая, добрая... Право же, очень хорошо и на месте жить...

— Конечно,— сказала матушка,— Шурочка в каждом доме сумеет себя поставить...

— Нет, Шурочка, нет, матушка-барыня, не надо ей по местам трепаться! Не всегда и на такое место попадет!.. Молода она еще... Захочешь, деточка, своих радостей, своих утех!

— А разве там у меня не было своих радостей? Да когда я запечатывала мамашеньке свое жалованье в конверт,— так меня всю трясло от радости!.. А когда мне удастся, нянющечка, купить тебе пуховое платье, теплые-теплые, мягкие-мягкие сапожки...

— Ангел мой небесный! Все для других!.. Скажи ты мне, голубка, по совести: неужто так для себя ты ничего бы и не хотела?

— Как не хотела бы! Очень, очень многое хотела бы... Да все это нужно выкинуть из головы!... Хотела бы того, за что бранят меня в пансионе, того, за что осуждают девушек!

— Господи, боже мой! да ведь ты уже всему обучена!

— Азбуке выучилась, больше ничего не знаю!.. А вот учиться бы по-настоящему!.. Учиться так, как мужчины!.. Вот чего бы я хотела!

Нянино здоровье было в прекрасном состоянии всю страстную неделю. Как было у нас хорошо в это время: Шура рассказывала о разных событиях своей пансионской жизни и о лете, проведенном в Малороссии, матушка со всеми была ласкова, мы все убедились, что грозившая нам опасность миновала. В страстную пятницу матушка объявила нам, что никто из нас не поедет к заутрени в первый день воскресения христова, а что она уже написала священнику, чтобы тот с дьяконом и пономарем сейчас после службы приехал к нам. Матушка понимала, с каким восторгом мы проведем этот день безотходно подле няни и как ее порадует то, что она не совсем будет лишена пасхальной заутрени. Няня, по обыкновению, заметила, что она ничем не заслужила такого благодеяния: каждый кулич, каждую пасху, овечку, искусно сделанную из сливочного масла, жареного поросенка, кур и индеек, убранных розами домашнего изделия, яйца, выкрашенные луком, сандалом и цветными тряпками,— все несли мы показывать няне, которая делала свои замечания, давала наставления Нюте по хозяйственной части.

В субботу утром меня разбудил громкий разговор няни; подбежав к ней, я увидела, что она лежит с закрытыми глазами и что-то говорит, говорит без конца. Я стала звать ее, трогать за руку, но она продолжала бредить. Когда в комнату вбежали сестры с матушкой, они стали класть ей на голову мокрые тряпки с уксусом, но она продолжала бредить до вечера. Когда к ней вернулось сознание, она попросила матушку остаться с нею вдвоем.

— Ты несчастная! ты самая несчастная девочка! — вдруг закричала матушка, вбегая к нам, привлекая меня к себе и захлебываясь слезами.

Из беспорядочной передачи разговора ее с нянею я поняла только одно: что няня умирает, что она сейчас умрет,

И вдруг, вполне сознательно, как у совершенно взрослого человека, у меня явилась мысль, что это несчастие для меня ужаснее смерти родной матери, что с этой минуты я остаюсь уже круглой сиротой, что ряд самых непредвиденных ужасов немедленно обрушится на мою голову. Это предчувствие чего-то тяжкого не было результатом продолжительного обдумывания моей прошлой жизни: в эту минуту я не вспоминала даже еще недавно пережитого мною ужаса... Предчувствие какого-то страшного несчастия явилось сразу, как роковая, неотвратимая, непреодолимая, ничем непобедимая сила рока, предназначенного мне судьбою. Как это внезапное предчувствие, так и состояние, немедленно наступившее вслед за роковым известием, не вымышлено мною потом,— оно действительно было, и, может быть, потому, что с раннего детства, можно сказать с первого пробуждения сознания, я встретила в жизни много горя, пролила много слез. Детская радость, веселье, нежные ласки были крайне редкими гостями моего детства и исходили почти исключительно от одной няни. И вот я почувствовала, как какой-то ледяной ком у моего сердца все разрастался и разрастался; кровь в жилах, все мои члены совершенно оледенели и заморозили мои слезы. Как в ту минуту, когда я узнала, какое тяжкое горе разразится надо мной, так и в последующие дни я не пролила ни одной слезы, не издала ни одной жалобы; у меня ничего не болело, я все видела и понимала, но я ни на что не реагировала, и ряд домашних событий в это время хотя и входил в мое сознание, но исчезал так же быстро, редко зацепляясь за память. Было ли плодом моего непосредственного наблюдения то немногое, что я вспоминаю об этом событии, или оно сохранилось в моей памяти вследствие рассказов моих сестер,— этого я не знаю.

Когда вечером в страстную субботу няня пришла в полное сознание, оно уже не оставляло ее до предсмертной агонии. Она прощалась с нами, несколько раз

требовала от Саши подтвердить клятву, данную ей, не оставить меня, говорила, что очень бы хотела еще пожить с нами, чтобы и меня поставить на ноги, но что бог судил иначе. Все это она произносила медленно, тихо, подолгу останавливаясь на каждом слове или повторяя то же самое. Наконец она попросила положить ей на грудь какой-то из ее образков, вставить ей зажженную восковую свечку в руки и скрепить их белым платком. Когда это было исполнено, она долго шевелила губами, наконец произнесла совершенно внятно: «Благодарю тебя, господи боже мой, что ты свою недостойную рабу сподобил великого счастия умереть в тот день, когда ты воскрес из мертвых!». И она скончалась в тот час, когда во всех церквах пели «Христос воскресе», в тот час, когда, по поверью православного народа, умирают только святые, в тот час, в который она, вероятно, тоже мечтала умереть, но по своему великому смирению не считала себя достойною.

Небольшого роста, чрезвычайно худощавая и еще высохшая от предсмертной болезни, няня лежала в гробу, который ей немедленно прислал мой крестный, с несколькими толстыми восковыми свечами, такою маленькою и худенькою, точно девочка-подросток. Она вся была покрыта кисеей, тюлем и кружевами, которые были присланы ей Воиновою и Ольгою Петровной. Духовенство в светлых ризах пело «Христос воскресе». Из всех деревень старые и малые, мужчины, женщины с грудными младенцами и дети вальмя-валили к нашему дому, и все они обращались к усопшей с такими молитвами и просьбами, с какими простой люд обращается только к святым, и, конечно, не потому только, что она умерла в день воскресения христова, но потому, что она давно заслужила всеобщую любовь и полное признание своих необыкновенных душевных качеств. Я, приходившая в такой восторг, когда встречала проявление любви и почтения к няне, теперь была ко всему совершенно равнодушна. И в доме, когда шли

панихиды, и в церкви меня все сажали на стул и укрывали платками.

Прямо с кладбища m-me Воинова повезла меня с Сашею к себе. Вокруг кровати, в которую меня немедленно уложили, не было детей: около меня хлопотали Наталья Александровна и Ольга Петровна. Они ставили то бутылки с кипятком к моим ногам, то горчишники, то поили липовым цветом, то укрывали теплыми одеялами. А Саша, хватаясь за сердце, точно боясь, что оно разорвется от горя, все наклонялась надо мною и нежно повторяла: «Поплачь, поплачь, сестренка, тебе будет легче!». Но ничто не вызывало моих слез.

На другой день матушка навестила нас и заявила, что приехала за нами. Мысль, что меня непременно ожидает дома что-то страшное, что я найду нянину кровать пустою, что я никогда-никогда больше не увижу ее, вдруг охватила меня с такою силою, с такою болью пронзила все мое существо, что я в первый раз после этой жестокой для меня утраты стала метаться по кровати, и точно лед начал таять во мне. Я то рыдала, то как-то визжала, как на смерть раненное животное,— и мне стало легче. И, глядя на матушку в упор, я дерзко закричала: «Я не поеду домой! Без няни я ненавижу наш дом!». Матушка отшатнулась от меня при этих словах: она не привыкла слышать от своих дочерей отказа от повиновения какому бы то ни было ее приказанию, а тем более в такой возмутительной форме; постояв молча несколько минут, она, видимо, решила, что моя неслыханная дерзость — результат отчаяния и болезни, и начала меня успокаивать; говорила, что ей неловко столько хлопот причинять чужим людям. Ее просили меня оставить, и мы опять остались с Сашею у Воиновых.

Несмотря на первые числа апреля, дни стояли теплые; после обеда мы выходили на крыльцо. Всю закутанную, меня сажали в кресло, а на стульях кругом стола размещалось все семейство Воиновых. Саша рассказывала присутствующим свою жизнь в пансионе,

передавала вычитанные ею из книг рассказы для детей. Наталья Александровна то и дело повторяла: «Александра Степановна боится, что ваше пребывание у нас наделает нам много хлопот, а вы, Александрин, так оживляете нашу жизнь! Если бы вы только могли провести у нас все лето! Какое это было бы счастье для меня! какая польза для детей!».

Через несколько дней, когда мы садились за обед, к нам приехала матушка с Нютою. Самого Воинова все это время не было дома (по каким-то важным делам он далеко куда-то уехал). Матушка на этот раз сообщила несколько новых планов или, точнее сказать, решений, которые должны были в близком будущем произвести полный переворот в нашей жизни. Хотя все эти реформы касались нашей интимной, семейной жизни, она начала излагать их не только без всякого стеснения в присутствии взрослых и детей, но не обращая ни малейшего внимания на прислугу, служившую у стола.

Вот в чем должны были состоять эти преобразования: хотя Саша могла еще пожить дома, так как в пансионе обещали проэкзаменовать ее, когда бы она ни явилась, но матушка находила необходимым через два-три дня отправить ее в Витебск, чтобы она после экзамена могла скорее возвратиться домой. Вторая новость состояла в том, что матушка уже написала в Петербург письмо своим братьям, в котором она просит их употребить все усилия, чтобы ее младшую дочь (т. е. меня) приняли на казенный счет в какой-нибудь из институтов. Немедленное Сашино возвращение необходимо было для того, чтобы она не опоздала на свадьбу Нюты. При этой третьей неожиданной новости все невольно обратились в сторону сестры, но она сидела не произнося ни слова, совершенно подавленная. Тогда матушка прибавила, обращаясь к Наталье Александровне:

— Вы все расхваливаете моих дочерей, а между тем, как я им ни объясняю мое положение, они не понимают его. Воображают себя принцессами крови!..

— Ну, уж вы-то на них никоим образом не можете жаловаться! Ваши дочери на редкость образцовые девушки! Александрин блистательно кончает курс, без вашей помощи, без денежных затрат, без гувернанток изучила иностранные языки, владеет ими, как природная иностранка! Нюточка — чудная хозяйка, неутомимо работает, не выходит из вашего повиновения...

— Работает... Не выходит из повиновения!..— повторяла матушка иронически.— Дети не могут, не смеют, не должны выходить из повиновения родительской власти! Если бы из моих дочерей кто-нибудь настолечко (она указала на самый кончик своего мизинца) осмелился бы забыть это... О, я бы сумела заставить ее опомниться! — Затем матушка несколько смягчила свой тон.— Сами они видят, да и я им, кажется, достаточно вбиваю в голову, что у них нет ничего. Но тогда, когда это нужно твердо помнить, у них это как-то из головы вылетает! Изволите видеть, объявляю вот этой (она кивает головою в сторону Нюты), что Савельев к ней сватается... Что ж вы думаете? Вдруг начинает выбрасывать из себя всякие пустяки: «Боюсь!.. У него дикие глаза! Он страшный!.. Я так еще молода... Он стар для меня!..». А когда я на-днях объявляю ей, что этот брак для семьи крайне необходим, она изволила даже стращать меня: «Умру... брошусь в озеро... ненавижу его!..». Вот, видите ли, Наталья Александровна: когда на деле требуется выказать матери доверие и послушание, вот что я получаю... Но я, конечно, обращаю нуль внимания на всю эту ерунду! Как ты думаешь (матушка поворачивает голову в сторону Нюты), зачем существует закон, чтобы дети беспрекословно повиновались родителям? С благу-магу что ли его сочинили? Нет-с, извините-с, такой закон существует потому, что родители, как более опытные, несравненно лучше понимают пользу своих детей, чем они сами.

Причины своих неожиданных поступков и решений матушка иногда объясняла своим дочерям, но ни одна из них в ту пору не решалась критиковать их, разве

иногда, да и то лишь в чрезвычайных случаях, смиренно умоляя ее смягчить тот или другой ее приговор. При составлении нового плана жизни для нас матушка после смерти няни уже ни к кому не обращалась за советом: никем не ограничиваемая в самодержавии родительской власти, она заставляла нас неуклонно следовать всему, что она предписывала. При проведении в жизнь той или иной программы, начертанной ее властною волей, ее деспотическим характером, она никогда не имела в виду ни своей личной выгоды, ни своего покоя, а руководилась исключительно пользою ее детей, но очень часто понятою ею крайне односторонне. В своей жизни я встречала мало таких женщин, какою была моя мать, которая отдавала бы всю свою жизнь до последней капли крови самому тяжелому труду исключительно ради интересов детей, но, повторяю, эти интересы она понимала крайне своеобразно, а подчас даже нелепо. Вот, вероятно, потому-то, когда жизнь разбила все ее иллюзии, когда судьба злобно посмеялась над ее планами, которыми она думала осчастливить свою семью, когда даже тяжелый труд ее жизни не принес ни нравственного удовлетворения, ни отчасти даже и той материальной пользы ее детям, на которую она рассчитывала, когда рушились все ее надежды на личное счастье детей, она, уже будучи старою женщиной, с таким же самоотвержением стала служить идеалам 60-х годов, призывавшим к общественной деятельности, требовавшим жертв не во имя человека, как бы он ни был близок по крови, а во имя народа. В этот освободительный период русской жизни она уже горячо порицала насилие над чувствами кого бы то ни было; суровая к своим собственным детям, она удивительно нежно любила своих внуков. Да, когда я вспоминаю, как она изменилась под влиянием жизненных невзгод и освободительных идей, невольно приходится воскликнуть: «O tempora, o mores!».

Поразив присутствующих новостями, матушка начала сообщать подробности своих будущих планов. Во

все продолжение обеда она говорила почти одна. Она не сомневалась в том, что ее братьям, быстро взбирающимся вверх по иерархической лестнице, не составит большого труда определить ее младшую дочь в один из институтов. И относительно моего будущего, как и в остальном, у матушки все было обдумано до мельчайших подробностей. Ко вступительному экзамену я должна быть подготовлена не только хорошо, но блистательно, чтобы немедленно попасть в разряд самых первых учениц в институте, чтобы кончить курс с медалью, которая дает бедной девушке много преимуществ и надежду на прекрасное место,— необходимо привлечь внимание начальства и учительского персонала уже с первого шага. Приготовлять меня к учебному заведению будет Савельев. Свои педагогические способности он прекрасно проявил в преподавании французского языка. Займется он с ее младшею дочерью и другими предметами,— ведь времени свободного у него хоть отбавляй.

— Придется приспособить его и к хозяйству,— рассуждала она, ни на иоту не стесняясь в своих выражениях присутствием Нюты, уже почти его невесты.— Ему самому приятнее будет приносить пользу моей семье, хлеб которой он будет есть с женою.— Матушка подробно рассказала, как Савельев обрадовался, когда она намекнула ему о том, что он с женою будет жить у нее.— Я, конечно, не в восторге от этого брака,— наивно добавляла она: — гол, как сокол, все, что имеет,— гнилой домишко в две горницы, значит, и поместиться-то обоим молодым негде будет... Что же делать! Был бы только дельный человек! Уж куда нам о состоянии мечтать! Меня смущают только его странности! Но когда будет жить со мной,— я все эти глупости выбью у него из башки!.. Ах, глупышка, глупышка! — вдруг среди пространных своих рассуждений обратилась матушка к Нюте.— Чего это ты с таким отчаянием смотришь на все? Уж не думаешь ли ты, что твоя родная мать закабалит тебя с мужем? Сыграем свадьбу... Вы

отдохнете, можете как следует справить свой медовый месяц, а в это время с девочкой Саша будет заниматься!.. Конечно, после этого уже придется вам обоим серьезно взяться за дело!

Хотя браки по исключительному желанию родителей были обычным явлением, но едва ли даже и в то время многие руководились таким оригинальным соображением, как матушка.

Взгляды на брак и родительскую власть, высказанные ею, не вызвали никакого противоречия, но Воинова, знавшая по опыту, что значит жить с нелюбимым человеком, должно быть искренно жалела сестру: когда меня послали в гостиную что-то поискать, Наталья Александровна с заплаканными глазами крестила и целовала Нюту, рыдавшую на ее плече. Что она внушала ей, я не слыхала, но, конечно, не протест и борьбу с деспотизмом родительской власти, а, вероятно, на разные лады давала лишь советы покорности и смирения, которые все глубже и глубже погружали русских людей в тину рабства и отчаянного произвола как в семейной, так и в общественной жизни.

Желая свято сохранить завет няни, Саша упросила матушку оставить меня до ее возвращения из пансиона у Воиновых, на что с радостью получено было согласие. Таким образом я провела у них целый месяц, во время которого меня ни разу не навестила матушка, что крайне удивляло Наталью Александровну. Наконец за мной приехала Саша, только накануне возвратившаяся домой. В первый раз я видела ее в красивом туалете, в длинном платье, сшитом по моде, как у настоящей взрослой девушки, в изящной летней шляпе, в перчатках и с зонтиком в руках. Хотя я должна была ожидать, что она явится ко мне в красивом наряде (о туалетах, устраиваемых для нее пансионом, в нашей семье много говорили), но для меня было так ново видеть кого-нибудь из детей моей матери хорошо одетым, что я стояла пораженная перед нею и разглядывала ее с головы до ног.

Нас всех одевали более чем скромно: конечно, это прежде всего было результатом нашего плохого материального положения, но отчасти причиною этого была и излишняя деловитость матушки, которая не терпела тратить хотя несколько рублей на такие пустяки, как одежда. Каждая тряпка в нашем доме не только вычищалась, вымывалась и выворачивалась на все лады, но если низ платья оказывался уже никуда не годным, его обрезали и к нему пришивали, в виде отделки, спорок с какого-нибудь другого платья, обыкновенно иного цвета и иного качества материи. «Точно отделочка вышла!» — любовалась няня. Матушка, как огня боявшаяся, что кто-нибудь из нас хотя на минуту забудет о нашем невзрачном материальном положении, обыкновенно добавляла: «Ну, нам-то все эти отделочки и белендрясы, как корове седло!». Однако этот индиферентизм к туалету матушка не сумела внушить своим детям: они очень рано начали стыдиться своих убогих платьев, особенно когда являлись к Воиновым, где дети и взрослые всегда одеты были не только хорошо, но и со вкусом.

«Шурочка, моя прелестная Шурочка!» — думала я, разглядывая сестру еще издали, — и вдруг с радостным криком помчалась к ней навстречу. И теперь, после многих, многих десятков лет, когда я закрываю глаза и думаю о злосчастной судьбе моей горячо любимой сестры, я редко вижу ее такою, какою она была несколько позже, т. е. перед вечной разлукой со мной, когда она, еще совсем молодая девушка, уже выглядела совершенною старухой, с бледными, провалившимися щеками, со страдальческою улыбкой на выцветших губах, с безнадежною грустью во взоре своих умных глаз, в то время, как над ее головою пронеслось уже много житейских бурь, когда она вконец была измучена непосильной работой, пришла к полному разочарованию в надежде добиться чего-нибудь в жизни лично для себя. Она гораздо чаще представляется мне такою, какою явилась передо мной в тот памятный для

меня день, когда она только что кончила курс в пансионе,— во всем блеске молодости, в пышном расцвете юной весны, в рамке черных, как смоль, пышных локонов до пояса (модная прическа девиц того времени). Густой румянец ее полных щек резко оттенял белизну ее лица и высокого, благородного лба; в ее живых синих глазах светились радость и веселье, а ее розовые губы постоянно вздрагивали и только ждали случая, чтобы разразиться раскатистым смехом. Она не была красавицей, но ее миловидная стройная фигура, живой темперамент, живые синие глаза были чрезвычайно привлекательны и красноречиво говорили о жизни, молодости, весне и счастье.

Мы возвращались с сестрою в лодке. Когда она причалила к берегу, нас встретила Дуняша (горничная сестры, жившая с нею в пансионе) и быстро стала сообщать домашние новости. После отъезда Саши за мною приехал на побывку мой старший брат Андрей...

— Бравый кавалер, из себя красавец, от барышень проходу не будет,— докладывала она.— Барыня-то на него просто не наглядится! Что греха таить, любит-то она его больше всех своих детей!

Как только Саша узнала о приезде брата, она помчалась к дому, а я отстала от нее, чтобы узнать остальные новости. Матушка только что отправилась с Савельевым по делу в Бухоново.

— Видно, барыня решила приучать его к хозяйству... Да и что так-то ему без дела путаться?.. Может, оттого и дурит!.. Ну, да барыня-то его живо к рукам приберет!..

— Нюта все еще плачет?

— И, боже мой, как рекой разливается!

— А где же Домна?

— Как только барыня с похорон возвратились, так ее в тот же час на скотный сослали. За какую провинность,— барыня не изволили сказывать, а чтобы, значит, говорят, твоего духу в доме не было... Теперь

я одна буду у вас горничной... Уж всей моей душой буду вам потрафлять, чтоб, значит, вас не прогневить...

Когда я вошла в гостиную, где брат болтал с сестрами, он расцеловал меня, посадил к себе на колени, стал внимательно оглядывать и вдруг разразился смехом: «Да, Лизуша, ты одета по последней парижской картинке! Зачем же это так уродуют девочку? И в таком наряде она была в гостях, в богатом доме! Нюта! да и ты не лучше одета, а еще невеста... Ведь в порядочном петербургском доме в таком туалете ты не могла бы даже прислуживать за столом!» — И он стал смело говорить о том, что матушка, видимо, чудит больше прежнего, что она окончательно забыла, что ее дети — дворяне, и что лично его она страшно конфузит перед товарищами: за весь год его пребывания в дворянском полку в Петербурге он получил от нее лишь несколько жалких рублишек. Между тем у него много обязательных трат: в полку то и дело устраивается подписка, в которой волей-неволей должен участвовать каждый; он бывает на балах, что заставляет его покупать перчатки, давать лакеям на чаи в тех домах, которые он посещает. Как только матушка возвратится, он сегодня же затеет с нею по этому поводу серьезный разговор, укажет ей на свое унизительное положение в полку вследствие безденежья. Сестры возражали ему, что у матушки ничего нет, что она с утра до ночи бьется, как рыба об лед.

— Куда же деваются деньги от продажи разного домашнего хлама?.. Ну, например, масла, коров и другой дребедени? — спрашивал он.

Сестры отвечали ему, что небольшая часть денег остается на домашние потребности, что, несмотря на нашу чрезвычайно скромную жизнь, все же приходится покупать кое-что, но что бо́льшая часть денег идет на постройку и ремонт разных хозяйственных зданий, которые уже давно пришли в полный упадок: в нынешнем году отстроен заново скотный двор, а также хлева для овец и свиней.

— Как! — вскричал брат с бешенством,— всякие скоты... четвероногие животные... бараны, свиньи ей дороже нас, ее родных детей?

Сестры возражали ему, что если не будет скота, хозяйство пойдет прахом и самим нам есть нечего будет, но брат продолжал выкрикивать:

— Да поймите же вы, наконец... Это ведь прямо нелепость!.. Вы думаете только о будущем, а в настоящем — по-вашему, хоть околевай!.. Мне очень скоро решительно ничего не нужно будет от «нее»! Буду получать жалованье... Оно будет увеличиваться... «Ей» еще могу уделять! А уж вас, сестренок, я не позволю «ей» наряжать, как мещанок! Сам буду покупать и посылать вам туалеты! А то «она» и на моих деньгах, присланных для вас, будет устраивать экономию для улучшения хозяйства.

Как бы удивился Андрюша, если б тогда ему кто-нибудь шепнул о том, что, каково бы ни было его жалованье, он всегда будет страдать от недостатка средств, всегда будет нуждаться в помощи матери и до самой своей смерти своим безденежьем будет приводить в отчаяние всех нас, его близких!

Когда Андрюша высыпал все, что у него накопилось горького на душе, он стал иронизировать над предстоящим браком сестры. По его словам, он понял бы, если бы матушка выдавала свою дочь за богатого человека, чтобы поправить свои делишки: так делают все, и это натурально, «но выдавать дочь против ее желания, чтобы сделать будущего зятя своим приказчиком и учителем!.. Вот чудиха-то! Попомните мое слово: здорово «она» нарвется с ним! «Она» думает, что чужим человеком можно так же помыкать, как своими детьми и крепостными,— ну, покажет он «ей» себя!

Саша горячо начала умолять его исполнить одну ее просьбу.

— Господи боже мой! Кажется, ты думаешь, что я бревно бесчувственное! Я до смерти люблю всех

вас, сестренки! Я все рад для вас сделать! Говори же, в чем дело?

И действительно, несмотря на легкомыслие относительно материнских средств, которое Андрюша сохранил до преклонных лет, несмотря на то, что он нас, своих сестер, в этом отношении часто ставил в крайне тяжелое положение и доставлял нам много горя, он горячо любил нас, а мы просто обожали его. И это такое обычное явление в наших семьях! В России во все времена было много идеалистов, великих героев, отдавших свою жизнь за родину и общественные идеалы, но во все времена у нас шла величайшая путаница и неурядица в семейных отношениях. Англичанин, француз, немец, вообще культурный человек Западной Европы, если любит сестру, брата, отца, мать, то употребляет все усилия, чтобы оберегать их от страданий; у нас же в семейной жизни все выходит как-то навыворот: никто не причиняет так много горя друг другу, никто не наносит в самое сердце таких тяжелых ран, как люди, связанные между собою узами крови и чувством любви.

Саша убеждала брата, что если кто может теперь спасти Нюту от ненавистного брака, то только он один, так как матушка любит его более всех нас, и он должен явиться настоящим защитником и покровителем ее в этом случае. Пусть он поговорит об этом с матушкою, но он должен быть очень осторожен, чтобы как-нибудь не раздражить ее, ни под каким видом не упрекать ее за ее решение, доказывать ей лишь одно — что она может ошибиться в своих расчетах относительно Савельева.

Брат горячо принял к сердцу все сказанное ему и решил приставать к матушке с просьбою расстроить этот брак до тех пор, пока она при нем не откажет Савельеву, а если тот «расхорохорится за отказ, он будет уже иметь дело со мною».

Мы пришли в такой восторг от его слов, что бросились его обнимать, а Нюта целовала даже его руки.

— Ах, дурочки, дурочки,— повторял он, растроганный нашею благодарностью,— неужели вы думали, что я дам вас в обиду?

И как только матушка возвратилась домой, он понесся в ее спальню и моментально забыл о том, что ему при разговоре с нею необходима была вся его дипломатия как для ходатайства за сестру, так и для того, чтобы иметь возможность просить ее об увеличении суммы на его личные расходы. До-нельзя вспыльчивый и экспансивный, совершенно позабыв свои личные расчеты, он сразу стал укорять мать за нелепый брак, устраиваемый ею. И вот к нам уже доносится громкий негодующий крик матушки, а затем с шумом распахнулась дверь ее спальни и показался Андрюша, выталкиваемый ее властною рукой. Взбешенный, прибежал он к нам и бросился на стул. «Как с мальчишкой... чуть не дерется!» — начал было он, весь дрожа от гнева, но Саша зажала ему рот рукою и вместе с Нютою потянула его в переднюю, а оттуда в сад; я побежала за ними.

— Я взял отпуск на двадцать восемь дней... но ни дня не останусь дольше у вас! Нет, покорно благодарю!.. Какую волю взяла!

— Мамаша, наверно, выслушала бы тебя,— перебила его Саша,— если бы ты разговаривал с нею, как она к этому привыкла! Ведь она так любит тебя!

— Если любит, так уж совсем на особый лад! Смотрит, любуется, слезы катятся градом, то и дело повторяет: «весь в отца!» — а как только я стал говорить о том, что она родную дочь выдает замуж, как подкидыша, как падчерицу, за первого проходимца... за нищего... так она точно белены объелась.

— Что ты наделал, что ты наделал! — в ужасе восклицали сестры.

— Не я, а вы все это наделали!.. Нюта! если ты не тряпка, ты перед алтарем, во всеуслышание скажешь, что мать принуждает тебя к этому распостылому браку...

— Что ты, Андрюша, опомнись! Чтобы я опозорила матушку?

В эту минуту раздался звон колокольчика и бубенцов и к нашему крыльцу лихо подкатил щегольской экипаж, запряженный тройкой великолепных лошадей в богатой упряжи. С помощью лакея из него вышел прекрасно одетый полный человек лет за сорок, со светскими манерами, с проседью в густых черных вьющихся волосах, с неприятным выражением толстых губ, но в общем довольно красивый. Матушка уже стояла на крыльце, и мы тоже подошли к экипажу. Оказалось, что это Лунковский, один из богатейших помещиков соседнего уезда, живший от нас в 70—80 верстах, посещавший нас со своею женою еще при жизни нашего отца и в семействе которого раз или два была и матушка. Старшая дочь Лунковских воспитывалась в одном пансионе с Сашею, но была еще в младшем классе. В настоящее время Лунковский приезжал по делу к одному из наших соседей-помещиков и пожелал возобновить знакомство с нашим семейством. Через два дня, как он сообщил, день его именин; у него обед, собирается много гостей, и он приглашал матушку к себе со всею семьей. Он прибавил, что без Андрюши он завтра не уедет отсюда. Матушка отказалась за себя и дочерей, но сына с удовольствием отпустила к нему.

Когда Лунковский отправился с Андрюшей в комнату, приготовленную для них, матушка с Нютой пришли в детскую, где я спала тогда с Сашею. Сцена с сыном у нее, вероятно, уже вылетела из головы: она была в прекрасном настроении и сказала сестрам, что если они желают потанцовать, то она завтра же скажет Лунковскому, что отпустит их с Андрюшею, что это легко устроить уже потому, что у Саши есть нарядные платья и что одно из них можно как-нибудь приладить и для Нюты. Но обе мои сестры отказались наотрез. Саша заявила, что Лунковский ей очень не нравится, что о нем идет до того дурная молва, что когда он

просил начальницу пансиона порекомендовать ему гувернантку из кончивших у нее курс, она отказалась от этого под предлогом, что у нее нет в данную минуту подходящих девушек. Матушка тоже припоминала коечто нелестное о нем: по слухам, он кутежами сильно расстроил богатейшее имение своей жены, но еще чаще слышала она о том, что он большой «бабник».

На мой вопрос, что это значит, матушка закричала на меня, а потом сказала фразу, которую я обыкновенно слышала, когда старшие не умели или не хотели чего-нибудь объяснить детям: «Много будешь знать, скоро состаришься».

Хотя день свадьбы еще не был назначен, но матушка решила, что так как Саша дома, она должна заниматься со мною. Ей хотелось освободить Савельева от уроков, чтобы дать ему возможность поближе сойтись с своею невестою и самой начать приучать его к хозяйственным делам и почаще ездить с ним на деревенские работы.

Как хорошо, как приятно проводила я время с Сашею! Все письменные занятия со мной она перенесла на утро, а после обеда, если погода позволяла, мы отправлялись в сад: там заставляла она меня читать и рассказывала много для меня интересного. Меня особенно привлекало в ней то, что она держала себя со мной, как с подругой: с увлечением бегала в «перегонки» и даже рассуждала о браке Нюты. Она говорила, что ей так же, как и брату, кажется, что как только Феофан Павлович женится на сестре, так и перестанет давать мне уроки. Часто высказывалась она и относительно того, что ей очень бы не хотелось оставлять меня дома одну после замужества сестры. Толковое преподавание Саши и боязнь огорчать ее заставили меня безропотно учиться с нею по нескольку часов в день. Но и после уроков я не отходила от нее ни на минуту,— она нравилась мне все более и более. В совершенный восторг привела она меня, когда начала втягивать в маленькие домашние заговоры. Все они,

сколько помнится, были направлены против Феофана Павловича. Зная, как Нюта не любит оставаться с ним с глазу на глаз, мы с Сашею бежали к нему навстречу, когда он приближался к нашему дому, и говорили ему, что сестра ушла по хозяйству или что у нее болит голова, и таким образом избавляли ее иногда на целый день от присутствия жениха, который, однако, не получал еще на это звание официального разрешения. Саша задумала и более решительное предприятие, лишь бы расстроить этот злосчастный брак. Она нередко возобновляла со мною разговор о том, что я обязана вместе с нею на коленях умолять матушку отказать Савельеву в руке сестры и что мы должны продолжать эти просьбы даже и тогда, когда матушка будет нас выгонять, бранить и сердиться. В первый раз, когда мы привели в исполнение этот заговор, он сошел для нас благополучно, вероятно потому, что в эту минуту матушку раздражило какое-то новое чудачество ее будущего зятя, но возможно, что она не рассердилась и потому, что Саша была предназначена ею для осуществления ее самых пламенных надежд. Второе же наше ходатайство окончилось неожиданным для нас инцидентом, который делал дальнейшее наше вмешательство в судьбу сестры уже совершенно ненужным. Однажды с утра Нюта встала с постели с лицом, распухшим от слез; мы решили с Сашею вечером возобновить наше заступничество за нее. Когда матушка возвратилась с работ, мы отправились к ней в столовую и прикрыли за собою дверь, так как сестра перед этим легла отдохнуть в соседней комнате вследствие недомогания и хронической бессонницы. Когда мы бросились на колени перед матушкой, это так взорвало ее, что она стала кричать на весь дом. В ту же минуту дверь отворилась и вошла Нюта.

— Спасибо вам, сестрицы,— говорила она голосом, дрожавшим от волнения, обнимая и целуя нас,— не надо матушку больше беспокоить... Хоть и не выносит «его» моя душа, но что же делать,— видно такова моя

судьба! Ко мне сейчас во сне явилась покойная тетя Анфиса (наша дальняя родственница, настоятельница одного женского монастыря) и строго приказала не перечить матушке, так как сам господь предназначает «его» для меня.

Сон сестры, конечно, не имел для матушки ни малейшего значения, тем не менее она очень была рада такому благоприятному выходу из затруднительного для нее положения. Растроганная, со слезами обнимала и целовала она всех нас, а на другой день, рано утром, переговорив с Савельевым, отправилась с ним к священнику. Но тут явилась другая забота: срок отпуска Андрюши уже приходил к концу, а он, пробыв дома только сутки, не показывался более. Матушка письмом, отправленным с нарочным к Лунковскому, спрашивала его о сыне, но получила в ответ, что Андрюша, прогостив у него три дня, отправился к кому-то из своих знакомых.

Брат возвратился домой только утром накануне свадьбы, когда в доме шла невообразимая суматоха. Он был до такой степени смущен, поведение его было настолько странно, что это заметила даже матушка, не отличавшаяся наблюдательностью. На ее вопрос, где он «пропадал», он, совершенно переконфузившись, отвечал, что страдал адскою головною болью, которая заставляла его ездить по знакомым, чтобы рассеяться, но голова трещит до сих пор, а потому он сейчас же отправится на охоту, в надежде, что ему поможет свежий воздух. Матушка, приписывая его смущение тому, что он весь свой отпуск провел вне дома, не приставала к нему, тем более что была поглощена разнообразными хлопотами: много народу являлось к ней в этот день за ее распоряжениями, ей приходилось писать записки то одному, то другому, рассылать в разные стороны верховых. Хотя сестры тоже были заняты по горло, но они все-таки удосужились чуть не силою втащить брата в свою комнату. Но и им ничего не удалось добиться от него: хватаясь за голову, он в отчаянии

кидал фразы, вроде следующих: «Я пропащий! Я несчастный человек!». И, вырвавшись от них, он сейчас же убежал с ружьем, якобы на охоту. Вечером он возвратился поздно, когда мы уже разбрелись по своим комнатам, а на другой день была свадьба, и никто не думал о нем. Дня через два после нее ему пришлось уже ехать в Петербург.

После свадьбы комнаты нашего дома приняли несколько иной вид. Для молодых отведена была матушкина спальня; а из прежней столовой (подле этой комнаты) был устроен кабинет Феофана Павловича. На одной из его стен он развесил свои ружья и пистолеты, на другой — прибил большой ковер, на котором, по яркоголубому фону, была вышита пастушка в розовом платье, окруженная белыми овечками. Наша гостиная превращена была в общую столовую, а зала служила гостиной. Под свою спальню матушка взяла самую крошечную комнатюрку подле моей детской, в которой мы попрежнему помещались с Сашею.

И теперь, после свадьбы, как и прежде, матушка с утра выходила на полевые работы или уезжала в управляемые ею имения; мы с Сашею тоже продолжали прежний образ жизни. Никто из нас не входил в комнаты молодых, к дверям которых Савельев прибил крючки, и они теперь всегда были на запоре. Мы видели молодых только за обедом и ужином: в хорошую погоду они с утра уходили в лес, а в дождливые дни сидели на своей половине. Если у нас было какое-нибудь экстренное дело к сестре, мы должны были стучаться в дверь молодых, что было нововведением, так как прежде все двери были открыты. Всегда сдержанная, Нюта сделалась теперь совершенно замкнутою и апатичною; блеск молодости и выдающейся красоты быстро исчезал. Постепенно утрачивала она и свой нежный румянец; ее щеки побледнели, ее чудные голубые глаза сделались мутными и какими-то выцветшими. Но ее слез мы уже не видели, не слыхали от нее и каких бы то ни было жалоб на мужа; впрочем, о нем она

ничего не говорила, точно боялась произносить даже его имя. Савельев сидел за обедом молча, отвечал только на вопросы, да и то как-то отрывочно, а нередко и совсем невпопад. Мало-по-малу и мы стали реже заговаривать с ним. Он как будто этого не замечал, не обращая ни малейшего внимания ни на кого в доме, кроме своей жены. Ел он торопливо и с невероятною жадностью все, что бы ни было подано, а между блюдами, когда он не был занят едою, он поворачивался в сторону жены, и его бегающие глаза безостановочно скользили по ее лицу. Она тоже продолжала молчать, только еще ниже наклоняла голову над тарелкой. В такие минуты все чувствовали себя как-то неловко, и матушка сердито кричала: «Да несите же скорее остальное!».

С последним глотком Савельев вставал из-за стола и уходил в свою комнату; сестра спешила за ним. А если после его ухода она оставалась с нами на несколько минут, Савельев возвращался в столовую и прерывал ее словами: «Опять болтовня! Да иди же к себе!». При звуке его голоса Нюта вздрагивала, испуганно вскакивала с своего места и беспрекословно шла за ним.

Очень возможно, что всех этих перемен в сестре и мелочей в жизни молодых я бы сама и не заметила, но на Сашу теперь то и дело находила какая-то грусть: нередко она бросалась на траву и начинала плакать. Когда я умоляла ее объяснить мне причину ее слез, она говорила: «Посмотри, что делается с Нютою! Она тает, как свечка! Она несчастна! А мы даже не знаем, в чем дело! Господи, чем бы ей помочь?». То же говорила она и матушке, которая сама замечала, что что-то неладное творится с ее замужнею дочерью. Иногда за обедом матушка начинала вопросительно поглядывать то на нее, то на ее супруга, и крупные слезы катились из ее глаз. Несмотря на свой крайне вспыльчивый характер, она крепилась и молчала. И вот отчасти это молчание матушки, ради которого ей приходилось делать, конечно, невероятные усилия, презритель-

ные взгляды, которые она бросала на своего зятя, ее частые слезы при виде дочери, всеобщее молчание во время наших трапез или какой-нибудь вымученный разговор, присутствие за столом этого до невероятности странного и чужого для нас человека делали наши обеды для всех нас более тягостными и невыносимыми. Сдерживая себя в присутствии зятя, матушка отводила душу в нашей комнате, когда после ужина приходила к нам: тогда уже, не стесняясь ни мною, ни горничною, приготовлявшею к ночи постели, она ругала его на чем свет. Ее раздражало не только то, что он не дал счастья ее дочери, но вот уже прошел целый месяц после свадьбы, а он еще не принимается за работу, не предлагает ей своих услуг по хозяйству, решительно ничего не делает и смеет еще оттягивать Нюту от ее обычных обязанностей в доме. Саша при этом высказывала предположение, что он дурно обращается с женой и строго запрещает ей оставаться с нами. «Нюта прибегает к нам,— говорила она,— только тогда, когда ей необходимо что-нибудь примерить на кого-нибудь из нас, при этом она всегда страшно торопится и в ту же минуту бежит в свои комнаты».

Савельева все у нас как-то сразу возненавидели до невероятности, и эта ненависть к нему до поры до времени не имела оснований. Каков бы ни был Савельев, но прислуга никогда не слыхала от него ни одного грубого слова; его требования по отношению к ней были ограничены более, чем у кого бы то ни было из членов моей семьи; он никогда не выражал никому своего неудовольствия, ни с кем не разговаривал, разве буркнет горничной: «подай воды» или: «убирай комнаты». Вместо того чтобы каждую минуту звать к себе горничную, заставлять ее снимать с себя обувь, как это водилось в те времена почти у всех господ, он перед сном выставлял свое платье и сапоги в переднюю, и этим ограничивались почти все его отношения к служащим. Хотя он почти никого не знал в лицо, но все «бабы» в доме и даже на скотном дворе нена-

видели его от всего сердца. Такою же нелюбовью пользовался он и среди крестьян, с которыми он не имел ни малейшего дела. Когда мы с Сашею проходили мимо изб, кто бы нам ни встретился из крепостных,— мужики и особенно бабы старались свести разговор на Савельева: «Уж как Анна-то Миколаевна наша сохнет!» А бабы к этому еще добавляли: «Порченый он, барышничка, ей-богу, порченый! Уж как эфтих-то порченых Василевская Уфимья выправляет!..». Еще чаще пророчили они Савельеву, но, конечно, заглазно, гнев матушки: «Не сдобровать ему, окаянному! Барыня-то наша терпит, терпит пока что, а как ён в чем ей поперечит али усё только с ружейцом своим прохлаждаться буде да глазыньки барыне бездельем мозолить, она прикажет старосте в телегу его бросить, отошлет в евойное богатое поместье жиреть на своих харчах». Эту незаслуженную ненависть крестьян к Савельеву я могу объяснить себе лишь нравами и понятиями того времени: наши люди прекрасно знали о недовольстве «барыни» ее зятем, знали о бедности его родителей, и этого одного уже было достаточно для того, чтобы вызвать в рабских душах крестьян того времени презрение и ненависть к человеку.

Нюта, сидя с мужем в своей комнате, продолжала обшивать семью, хотя далеко не так усердно, как прежде. Что же касается домашнего хозяйства, то она им более почти не занималась. Каждый из нас понимал, что это было не по ее вине. Хотя честность горничной Дуняши, на руки которой перешло домашнее хозяйство, была вне всякого сомнения, но так как она была неопытною хозяйкой, то и вела его плохо и не экономно. Матушка по этому поводу как-то стала советоваться с Нютой после обеда, но вдруг появился Савельев и, обращаясь к жене, резко крикнул: «Мне надоела твоя болтовня! Иди сейчас к себе!». Сначала сдержанно, а потом совсем несдержанно матушка начала выливать на него злобу, накопившуюся в ее душе. Он долго молча шагал по комнате, но когда она несколько раз про-

кричала ему: «Когда же, наконец, кончится ваш медовый месяц? Когда вы приметесь за уроки с моею дочерью?.. Когда перестанете держать жену взаперти и дадите ей возможность хозяйничать?» — он остановился перед матушкою, его лицо передергивалось от нервных судорог, он, видимо, долго не мог произнести ни слова, наконец прошипел хриплым голосом: «Ни вашим подручным, ни приказчиком, ни учителем — быть не желаю! Жену свою делать портнихою и экономкою не позволю!»

— Так я вас вышвырну из своего дома!

— Извольте-с! Я уйду! Но... конечно, с женою.

Затем он быстро подошел к столу, дрожащими руками налил и выпил стакан воды, сел на диван и, обратив лицо в сторону матушки, вдруг закричал во все горло: «Жила! Кремень-баба! Выжига! Из родных детей выпила кровь!.. Теперь взялась за меня! Нет-с!». И вдруг, запрокинув голову за спинку дивана, он захохотал... Но, боже мой, как он захохотал! Его безумно-дикий, раскатистый смех с каким-то горловым высвистом, как мне казалось, потрясал стены нашего дома, был ужасающим громом перед жестокой грозой. С криком испуга бросилась я вон из комнаты; по моим пятам бежали матушка и Саша, и мы трое юркнули в детскую. Совершенно растерянные и подавленные, мы не произносили ни слова, только все крепче жались друг к другу, а звуки дикого, безумного хохота все еще продолжали доноситься к нам и, казалось, могли прекратиться только порвав нить жизни этого злого гения нашей семьи.

— Нюта, бедная, одна! — вдруг, точно очнувшись, вскричала Саша, вырываясь из объятий матушки, и побежала на помощь сестре.

Хохот, наконец, прекратился: из открытой двери нашей комнаты к нам доносился шум какой-то возни, но мы сидели молча, пока не вошла Саша. Она рассказала нам, что с Савельевым, повидимому, был сильный припадок (тогда каждую внезапную нервную болезнь

у взрослых называли припадком, а у детей — родимчиком), после чего он вдруг так ослабел, что не мог сам встать с дивана, но что теперь он несколько успокоился: Дуняша и Нюта отвели его в спальню.

Вот отрывок из дневника Саши по этому поводу:

«Ужасающий хохот Савельева будет долго раздаваться в моих ушах. Как он напоминает мне хохот другого человека, который я слышала с год тому назад! Когда однажды мы, пансионерки, отправились за город гулять с нашею учительницею, из открытого окна одного дома вдруг раздался такой же ужасающий хохот. Мы страшно испугались и пустились бежать. Учительница рассказала нам, что она знакома с хозяевами этого дома, что в нем живет сумасшедший с своею матерью, женою и детьми, что в его комнате безотлучно дежурят два здоровенных мужика, так как он пытается бегать по улицам нагишом и, если недосмотреть, бросается с ножом на своих близких. Феофан Павлович — странный до дикости человек, но не сумасшедший же он? Он ни на кого не бросается с ножом, не выскакивает голый на улицу, не говорит совершенной бессмыслицы, но он — человек, вполне лишенный моральных чувств... Как посмел он так опорочить мамашеньку, к которой все кругом относятся с величайшим почтением? Как дерзнул он при своей жене осыпать ее родную мать возмутительными эпитетами? О, если б я была мужчиной, я считала бы своим долгом вызвать его за это на дуэль! Как ужасно думать, что судьбу моей сестры, без любви с ее стороны, против ее воли, вручили этому ужасному человеку! Ведь нельзя же сказать, что Нюта согласилась на этот брак потому, что она видела во сне тетю Анфису, которая приказала ей не итти наперекор матушкиному желанию. Нет, нет и тысячу раз нет! Ей и привиделся этот сон только потому, что она, по кротости своего характера, находила невозможным продолжать противоречить матушке; она прекрасно поняла, что в конце концов матушка все-таки выдала бы ее замуж за Савельева.

«Мой незабвенный покойный отец был против того, чтобы силою заключать браки между крепостными,— и матушка считала своею обязанностью соблюдать этот завет. Почто же она нарушила его относительно своей родной дочери? Судьбу сестры она бросила на алтарь семейных интересов, но ведь и эти интересы должны же иметь свой предел! Ведь если их ставить превыше облаков ходячих, тогда во имя их следует задушить в себе всякую совесть, с легким сердцем убивать ближнего, воровать, торговать своею честью! Ведь это же ужасно, и такие расчеты возмутительны, даже... как мне это страшно написать... преступны, и мамашенька совершила над своею дочерью преступное насилие. И вот само провидение покарало ее за это,— ее расчеты не оправдались. Савельев, наподобие духа тьмы, как исчадие ада, как настоящая гадина преисподней, адскизлобно, ей в глаза высмеял ее расчеты... Всю ночь об этом продумала я и, несмотря на мое почтение, дочернюю преданность и привязанность к дорогой для меня матери, не могла унять, не могла заглушить крика моего возмущенного сердца... Оно, как маятник часов, тикало мне в уши: «Моя родная мать поступила со своею дочерью безжалостно, жестоко, преступно!». За мою мать я готова итти в огонь и в воду, беспрекословно, до последнего вздоха буду трудиться для нее и для семьи, но насиловать мои чувства, которые принадлежат только мне, только мне одной, я бы не позволила и ей, моей родимой матушке! Если бы я была на месте Нюты, я наотрез отказалась бы от навязанного мне брака, даже если бы матушка грозила мне своим проклятьем, грозила бы лишить меня своей материнской любви! Господи! Если ты всесильный, если правда то, что помимо твоей воли с нашей головы не может упасть и волоса, уйми ропот моего сердца, уничтожь во мне сомнения насчет твоего существования, дурные чувства к матушке и непочтительные мысли о ней! Если ты существуешь, облегчи страдания моей несчастной сестры! Ведь она же ни в чем неповинна!

«Вчера, когда мы сидели втроем после припадка Савельева (несчастная младшая сестренка ничего не видит, кроме самых неподходящих для ее возраста семейных сцен), к нам вошла Нюта.

«— Наконец-то и ты заглянула к нам! Почему ты точно избегаешь нас? Почему никогда не приходишь посидеть с нами? — Вот какими словами встретила ее матушка. Глаза сестры были сухи, но она имела вид совершенно измученный. Она еле выдавливала из себя слова: «В первый раз заснул,— вот и пришла. А то когда же? Ведь и по ночам он часто не спит... Куда пойду,— и он за мной...». С этими словами Нюта вдруг припала к матушкиному плечу и взяла ее за руку. «Если вы его выгоните... он и меня возьмет с собою... Ведь и теперь он меня тиранит... а тогда у него и всякий страх пропадет... Мамашенька! Не губите меня окончательно...». И она закрыла лицо руками, но не плакала, вероятно потому, что уже раньше выплакала все слезы.

«— Нюта, Нюта! Родная моя! Я!.. Я тебя загубила!— отчаянно рыдала матушка, прижимая сестру к своей груди.— Ведь выгнать-то я его хотела, чтобы избавить тебя от него.

«— Поздно!.. Он и под землею меня найдет».

Очень скоро после описанного происшествия на матушку обрушилась новая беда. Как-то с почты ей подали объемистый пакет; в нем было несколько почтовых листков, исписанных мелким почерком моего старшего брата Андрюши, и тут же вложено было другое запечатанное письмо. Как только матушка пробежала первую страницу, она с ужасом схватилась за голову. Она долго не могла отвечать на вопросы Саши, несколько раз вслух принималась читать злополучное письмо брата, но слезы душили ее, и она опять начинала рыдать.

Андрюша прежде всего умолял матушку простить его за то, что он во время своего отпуска так мало погостил дома. Он объяснял это тем, что, приехав к Лунковскому на именины, он на другой же день проиграл

ему 600 рублей. Отчаяние и страх огорчить мать заставили его не показываться ей на глаза.

«На коленях и миллион раз целуя драгоценные ручки», брат умолял матушку уплатить за него этот долг, так как он считал его «долгом чести». В противном случае Лунковский, по его словам, может написать его полковому начальству. А тогда,— восклицал брат,— «прощай военная служба, военная карьера, которая одна только дает мне надежду, даже больше — полную уверенность в том, что я в ближайшем будущем уже могу приходить на помощь моей семье». Оказывается, писал брат, «что г-н Лунковский — порядочный негодяй: кутила, мот, картежник, который не в первый раз вовлекает такого неопытного человека, как я, в игру с исключительною целью обыграть своего партнера».

Андрюша сообщал далее, что хотя о Лунковском он вынес представление как о человеке сомнительной нравственности, но что тот, видя его отчаяние, видимо, пожалел его, старался сделать все, чтобы облегчить его положение и рассеять мрачное настроение: он убедил брата не сообщать матушке тотчас о проигрыше, а написать по возвращении в Петербург, через месяц-другой; при этом он заявил ему, что в своем письме к матушке он предлагает легкий способ уплатить ему этот долг.

Письмо Лунковского, на нескольких почтовых листиках, с вытесненными инициалами и дворянскою короною, было написано красивым почерком. Несмотря на то, что оно пролежало у брата более месяца, оно сохраняло еще в себе тонкий аромат духов. Его содержание мне передала сестра, когда мы вечером ложились с нею спать, а если бы она этого и не сделала, я бы все-таки узнала, что в нем заключалось: много-много раз, как в этот, так и в последующие дни, обсуждали его при мне, останавливаясь на каждой фразе, критикуя каждое слово. К тому же оба письма, брата Андрея и Лунковского, я нашла в посмертных бумагах моей матери.

Большая часть письма Лунковского состояла из восторженных похвал по адресу Андрюши, который, по его словам, своими светскими манерами, своим уменьем держать себя в обществе, находчивостью, любезностью, остроумием, блестящей ловкостью и талантом вести прелестные petits jeux, своею грацией в танцах, доходящей до виртуозности, не только затмил все провинциальное общество, собравшееся у него на именинах, но, конечно, обратит на себя всеобщее внимание и в столице. Что же касается дам и их дочерей, они все оказались без ума от него. Лунковский уже заранее поздравлял матушку с успехами ее сына в свете и пророчил ему блестящую карьеру и блестящую партию. Что же касается главного, проигрыша брата, он только слегка упоминал о нем, называя проигрыш в 600 рублей «маленьким несчастием блестящего молодого человека». При этом он выражал уверенность, что матушка ни на минуту не подумает о нем, что он, при своем глубочайшем уважении к ней и ее покойному мужу, способен стеснить ее такими пустяками: она совсем может забыть об этом ничтожном долге и вспомнить о нем только тогда, когда у нее будут лишние деньги.

Но за подписью его имени и фамилии, в постскриптуме, следовала длинная приписка такого рода: «Я еще не успел запечатать письмо, как ко мне вошла моя жена и напомнила мне, что наша гувернантка, обучавшая моих дочерей языкам, должна оставить наш дом в первых числах сентября, а учительница музыки, взятая нами только на лето, уезжает к себе в конце августа. Нам бы хотелось взять особу, которая могла бы нести все эти обязанности. Как были бы мы счастливы, с какою материнскою ласкою и заботою отнеслась бы моя жена к m-lle Alexandrine, если бы она решилась взять на себя труд воспитательницы моих дочерей! M-lle Alexandrine может выполнять у нас и еще одну обязанность: моя жена в последние годы все более страдает глазами; она давно уже подумывает о том, чтобы иметь лектрису: но, будучи полькой, она

более всего любит читать польские книги, вследствие этого ей трудно найти для себя подходящую особу. В виду того что m-lle Alexandrine может прекрасно выполнять все три обязанности, я предлагаю ей за столь разнообразные труды 100 рублей в месяц и не считаю для себя эту плату слишком высокою: учительнице языков я платил 50 рублей, за музыку — 30 рублей, а 20 рублей жена будет платить за чтение и письма, которые она будет писать под ее диктовку. Мы были бы вам бесконечно признательны, если бы вы и ваша дочь могли принять наши кондиции. Во всяком случае, я буду просить вас дать ответ в последних числах августа, а если вы согласитесь на наши условия, мы будем ждать вашу дочь в первых числах сентября».

В первое время по получении этих писем матушка отчаянно плакала и осыпала градом ругательств то Андрюшу, то Лунковского. Этот долг действительно был крайне обременителен для нее. Хотя в то время долги отца были уже уплачены и хозяйство, сравнительно с прежним временем, шло прекрасно, но ничтожный доход, который получался с него, не всегда давал возможность сводить концы с концами. Как только матушке удавалось продать несколько пудов масла, двух-трех коров и телят, и получались оброки с крестьян, она клала эти деньги в особый конверт, который был весь исписан названиями предметов, необходимых в хозяйстве. Все собранные деньги уходили на эти покупки, и их еще нехватало. Откуда же было взять 600 рублей на уплату долга «этого негодяя», как в это время называла матушка своего любимого сына, который еще осмеливается писать ей, что он будет приходить на помощь семье. «Этого лоботряса, этого прохвоста она более не пустит к себе на глаза». И она, говоря о нем, давала ему самые бранные эпитеты с таким озлоблением, точно желала сейчас, сию минуту вырвать из своего сердца несчастную любовь к недостойному сыну. И матушка снова и снова поднимала вопрос о том, как он смел играть «по большой».

— Конечно,— рассуждала она,— трудно совсем не играть такому молокососу, когда старшие усаживают его за карточный стол... Но я же играю «по маленькой», никогда не проигрываю более 20—30 копеек, а он, изволите видеть, осмеливается сразу проиграть такой куш, с легким сердцем пускает семью чуть не по миру.

— Что же делать, мамашечка, я с сентября отправлюсь на место в пансион...

— Теперь уж какой пансион! Твоя начальница более щедра на похвалы, чем на жалованье! Ну, что она тебе предложит? Самое большее — каких-нибудь тридцать пять рублей в месяц, да приватными уроками ты выколотишь, пожалуй, рублей пятнадцать... При таких условиях, когда же мы из долга выпутаемся? Что же делать, Шурок? Хочешь не хочешь, придется взять место у Лунковского...

Это поразило Сашу: она долго молчала, затем дрожащим голосом стала говорить о том, что по разговорам в пансионе и даже по всему тому, что она слышала от дочери Лунковского, она знает, что у них не заживаются гувернантки, а начальница пансиона сама намекала ей, что причиною этого является возмутительное поведение хозяина дома относительно молодых девушек.

Матушка при этом то плакала, то обнимала сестру, но в конце концов стала говорить о месте у Лунковских как о деле решенном, успокаивая сестру тем, что она всюду сумеет себя поставить.

Когда мы ложились спать с Сашею, я юркнула на ее постель, и она, прижимая меня к себе, повторяла:

— Несчастные мы с тобой созданья! Няня правду говорила, что нет тяжелее судьбы девушки, которой приходится мыкаться по местам! А тебе опять придется жить одной с этим ужасным Савельевым!.. И опять ты все позабудешь, чему научилась!..

Саша была по натуре слишком деятельною и не могла долго предаваться грусти: две-три недели, которые ей оставалось провести дома, она употребила на

уроки со мною и настояла на том, чтобы ко мне, за неделю до ее отъезда, был приглашен преподавателем священник, просила его начать занятия при ней, много раз принималась упрашивать преданную ей Дуняшу никогда не оставлять меня одну, учить меня шитью и вязанью крючком, а с матушки взяла слово не будить меня по ночам для ученья и хотя по два раза в неделю заниматься со мною французским языком.

Саша уехала, и я опять одиноко бродила по комнатам дома. Семейные несчастья, тяжелые впечатления детства брали верх, постепенно вытравляя во мне детскую шаловливость и беззаботность, и рано прививали к моему характеру, от природы веселому и живому, мрачные взгляды и грустные мысли. Не привязанность к родному гнезду питала я, а какой-то суеверный страх к нему все более овладевал моею душою, и я стала мечтать об отъезде навсегда из-под родительского крова. На этот раз судьба благосклонно отнеслась к моим мечтам: вскоре после отъезда Саши получено было письмо от дяди, в котором он извещал, что определить меня куда-нибудь теперь — немыслимо, но, немного погодя, он подаст прошение, чтобы баллотировать меня для приема в институт; если же это не удастся, одно высокопоставленное лицо уже обещало ему устроить меня на свой счет в один из институтов.

Благодаря заботам Саши я проводила время не совсем бездельно. Дни уроков не были строго определены: иногда священник приезжал два и три дня подряд, но все утро до обеда я должна была сидеть в своей комнате, учить уроки или заниматься с учителем; остальное время, с двух часов до самого ужина, оказывалось у меня незанятым. Я уже была на положении взрослой девочки. Дуняша сидела со мною и учила кое-каким рукодельям только в тех случаях, когда она должна была шить, но бо́льшую часть времени она мыла белье или гладила на кухне, расположенной отдельно от дома, а я, без всякого дела, одиноко слонялась по комнатам или равнодушно перебирала свои

жалкие игрушки, которые не давали никакой работы ни для ума, ни для сердца, ни даже для рук. Савельев, проходя по комнате, в которой я копошилась, не обращал на меня ни малейшего внимания. За ним, как его тень, как верная собака, следовала Нюта, тоже не произнося ни единого звука, но если ей удавалось без окрика своего супруга настолько замедлить свои шаги, что он без нее выходил на крыльцо, она быстро подбегала ко мне и торопливо произносила что-нибудь в таком роде: «Ты все сидишь без дела? Вот я скроила платье для твоей куклы...» и совала мне лоскуток с иголкой и нитками. Но шитье скоро надоедало мне: я бросала работу и опять начинала слоняться от окна к окну, от стола к столу. Иногда от скуки я бросалась в постель и начинала горько рыдать.

Прошло уже около двух месяцев со времени отъезда Саши к Лунковским, а от нее не было никаких вестей. Но вот однажды ночью нас разбудила Дуняша своим криком: «Барышня приехали!», а за нею показалась и сестра со словами: «Мамашенька! Ведь я убежала!..».

Для такой молоденькой девушки, как Саша, пребывание в доме Лунковских было крайне опасным испытанием, рядом оскорбительных, гнусных преследований, а потому я заношу его, как и насильственный брак старшей сестры, в синодик тяжких прегрешений моей матери: Андрюша и Саша достаточно предупредили ее о том, что за человек был Лунковский; к тому же она была более или менее образованною женщиной и могла понимать такую элементарную мысль: аккуратно платить долги — обязанность каждого, но для матери еще более обязательно оберегать свою дочь, молодую девушку, от грязи и пошлости. Конечно, и для этого ее поступка можно найти много смягчающих вину обстоятельств: внезапный долг брата сильно ухудшил наше материальное положение; к тому же безустанная работа и забота матери о хозяйстве отнимали у нее все время, не давали ей возможности серьезно думать

о чем бы то ни было, и она придавала все менее цены остальным явлениям жизни.

В первое время Лунковский держал себя с сестрою вполне корректно, что же касается его жены, польки по происхождению, то она с первой минуты чрезвычайно понравилась Саше своим симпатичным, умным лицом, хотя та встретила ее не только сухо, но даже как-то враждебно. Работы на Сашу навалили так много, что она совсем не имела свободного времени: с тремя девочками (старшая дочь воспитывалась в пансионе) она занималась порознь всеми предметами и музыкой, так как они были различного возраста. Гуляли девочки тоже каждая отдельно, со старою бонною-немкою, единственною особою, жившею долго в доме: когда на прогулку шла одна из учениц, Саша занималась со следующею. За занятиями детей Марья Николаевна Лунковская следила чрезвычайно внимательно: она или сама сидела на уроке, или каждая девочка бежала к ней после занятий и пересказывала ей урок. Кроме нескольких минут отдыха после завтрака и обеда, занятия с детьми продолжались с десяти часов утра до семи часов вечера, когда Саша обязана была немедленно итти к m-me Лунковской — читать ей книги, писать письма под ее диктовку к управляющим и даже родственникам или проверять ее разнообразные счета. Эти занятия носили другой характер лишь по воскресеньям и праздникам, когда сестра должна была везти в церковь детей, а затем безотлучно находиться при них, гуляя с ними, играя и разговаривая на иностранных языках.

После нескольких недель жизни на новом месте m-me Лунковская просила Сашу ответить ей, как могла она, девушка столь образованная, согласиться поступить в гувернантки в ее дом при той дурной репутации, которою пользовался ее муж даже в том пансионе, где она воспитывалась, и в губернии — среди окрестных помещиков. Саша откровенно выяснила ей положение нашей семьи, полное разорение после смерти отца, рассказала ей, как матушке приходится трудиться, чтобы

иметь возможность существовать хотя очень скромно. Поощряемая вопросами, сестра вполне искренно передала ей даже свои пансионские мечты о том, как она, окончив курс, прежде чем взять место гувернантки, сначала займется с сестрою, чтобы подготовить ее ко вступлению в институт, а затем, когда придется взять место, упросит матушку разрешить ей удерживать из своего жалованья хотя несколько рублей в месяц, чтобы покупать младшей сестре книги, картинки, порадовать ее иногда хорошенькою куклой: ее сестра, как она сообщала обо мне, проводит свое детство чрезвычайно одиноко и печально, так как матушка почти не бывает дома. Но и этой мечте не суждено было осуществиться: «Брат проиграл такую огромную для нас сумму, как шестьсот рублей, и мне немедленно пришлось взять место именно у вас только потому, что ваш муж предложил сто рублей — вознаграждение, которое едва ли было возможно получить где бы то ни было. Все мое жалованье должно итти на уплату этого долга, и я не смею даже просить матушку о том, чтобы оставлять рубль-другой из моего жалованья на покупку книг и игрушек сестре».

Известие о выигрыше мужа не только поразило, но, по словам Саши, так скандализировало Марью Николаевну, что она долго не верила сказанному, все повторяя: «Как же муж мог играть по большой с вашим братом? Ведь он юнец, мальчик, вероятно совсем неопытен в игре? И они играли только один вечер!..».

После этого разговора Марья Николаевна сказала сестре, чтобы она не считала ее очень злою за ее суровый прием, что с ее стороны это было следствием недоразумения, что теперь она употребит все усилия удержать ее подольше в своем доме: по ее словам, она никогда еще не имела такой талантливой и добросовестной учительницы, и с величайшею радостью увеличит размер жалованья, чтобы мечты моей сестры относительно покупки книг и игрушек младшей сестре могли осуществиться. Но она не желает скрывать —

жить в ее доме для молодой, честной девушки очень тяжело: «Мой муж — неисправимый волокита... хотя вы русская, но так как по отцу вы — девушка польской крови, то я вам откровенно скажу, что величайшее несчастье для польки влюбиться в москаля: русские помещики — это совсем какие-то варвары, люди без морали и честных правил».

С этого времени отношение Марьи Николаевны к моей сестре совершенно изменилось: она стала к ней не только внимательна, но и матерински нежна, часто беседовала с нею, просила ее, чтобы она немедленно откровенно говорила ей о том, как только ее муж начнет «приставать» к ней и чтобы она сама, при первом его заигрывании, прямо заявила ему, что она обо всем расскажет его жене, советовала ей гулять с детьми только в саду и никуда не выходить далеко от дома..

Все это сестра выполняла в точности, но, как только Лунковский стал приставать к ней, его преследования делались день ото дня все наглее и назойливее: он преследовал ее не только в саду подле дома, но иногда и при собственных дочерях, а когда на минуту встречал ее в коридоре или в классной, бросался схватить ее. Она пускалась от него в бегство, и одну из таких сцен однажды застала его супруга.

В тот день, когда Саше пришлось бежать из дома Лунковских, был какой-то праздник, и она утром поехала с детьми в церковь. По дороге им попался Лунковский, который, видимо, поджидал их. Он приказал кучеру остановиться, сел в экипаж, подал сестре запечатанный конверт, якобы только что полученный от какой-то Сашиной родственницы для передачи ей. Она нечитанным положила письмо в карман, так как вынуждена была немедленно отвечать на разные вопросы Лунковского. Но он начал так держать себя с нею, что она решила выйти из экипажа. Он не допустил этого и возвратился домой пешком. Распечатав письмо, Саша нашла в нем признание в любви и гнусные предложения. Простояв в церкви очень недолго, она забрала

детей и отправилась домой. Когда она вошла в свою комнату, то заметила, что внутренний крючок ее двери был снят, а горничная без всякого стеснения объяснила ей, что это сделал сам барин.

Обо всем случившемся сестра немедленно рассказала г-же Лунковской, которая тотчас бросилась в кабинет мужа. Только тут, говорила Саша, она вполне поняла нежелание покойной няни, чтобы она «путалась по гувернанткам». Тяжелая, незаслуженная обида так возмутила, так потрясла ее, вызвала такую острую сердечную боль, что она сама не своя выскочила из дому, ни с кем не простившись, только схватив шляпу и накидку. Но, подходя к почтовой станции, в двух верстах от поместья Лунковских, она пришла в себя и с ужасом вспомнила, что с нею нет ни денег, ни вещей. Она решила, однако, ни под каким видом не перешагнуть более порога их дома. Неожиданный счастливый случай вывел ее из затруднения: у почтовой станции стояла простая тележка, в которую уже садилась женщина, знакомая нашей сестре и державшая лавочку в нашей волости. Она с величайшей готовностью взялась довезти Сашу до дома.

В этих разговорах мы просидели втроем до утра. Когда матушка спохватилась, что ей давно пора ехать по делам, мы с Сашею вошли в нашу детскую, бросились на кровать и в ту же минуту крепко заснули в объятиях друг друга.

Мы проснулись только перед обедом, и, когда вошли в столовую, наши уже садились за стол. На этот раз во время обеда то один, то другой крестьянин являлись с неотложным делом: их вводили в столовую, и распоряжения матушки мешали Саше отвечать на вопросы Нюты. Когда обед кончился, встали и молодые, чтобы, по обыкновению, уйти к себе, но Саша смело подошла к Савельеву и просила его оставить сестру с нами. Он, к нашему удивлению, охотно согласился на это, говоря, что в таком случае пойдет к «старикам», и ушел из дому, а матушка отправилась спать.

Когда мы уселись в столовой и Саша снова стала передавать все, что с нею случилось, Нюта с горечью сказала:

— Вот и твою чистую душу помоями облили! И всю-то жизнь, Шурок, тебе придется по чужим людям маяться, с утра до ночи в работе — хуже простой крестьянки!.. А ведь подружки твои, вероятно, на балы выезжают, катаются, веселятся, смеются... Только мы плачем да горе мыкаем...

Мы все сидели спиной к открытой двери и только тогда услыхали, что вошел Савельев, когда он прохрипел:

— Недостает только милой мамашечки, а то все сорочье гнездо было бы в сборе!

Вдруг Саша, как ужаленная, вскочила с своего места и, подбежав к нему и с гневом топая на него ногами, не замечая матери, которая только что вошла и стояла позади Савельева, скрытая его высокою фигурой, начала выкрикивать во все горло:

— Как вы смеете в нашем доме поносить нашу мать? Вас все здесь ненавидят за то, что вы замучили мою сестру! Мне стоит только пальцем шевельнуть, и все наши крестьяне прибегут сюда, свяжут вас и, если я захочу, бросят даже в озеро!..

Он, видимо, так был ошеломлен этой выходкой, так испугался неожиданного окрика сестры, что бормотал какие-то несвязные слова и стоял, как школьник, растерявшийся и струсивший перед своим начальником.

— Как вы смеете командовать в нашем доме, где хозяйка одна — моя мать! Как вы смеете запрещать вашей жене сидеть с ее родною матерью и сестрами! Нюта останется с нами; а вы — прочь отсюда... прочь сию минуту! — И резким жестом она указала ему на дверь.

А он, весь съежившись, с трясущимися челюстями, шатаясь, точно пьяный, побрел к указанной двери.

Я забыла эту сцену и не могла себе представить, чтобы на такую резкую выходку была способна наша

рассудительная, со всеми вежливая Саша, но ее дневник помог мне вспомнить эту сцену со всеми подробностями. Когда мы остались одни, матушка стала хвалить ее за то, что она дала отпор «наглому негодяю». Жену «наглого негодяя» не смущал этот эпитет, который матушка повторяла очень часто. Все были довольны, что хотя на короткое время отвоевали Ньюту, и, дружно болтая между собой, много раз обсуждали только что случившееся, удивляясь тому, что Савельев мог так испугаться Саши. Даже эта сцена, показавшая Савельева как человека совсем ненормального, который так струсил при смелом натиске на него, никого из наших не навела на мысль, что перед нами был психически больной субъект, даже, вероятно, в острой фазе психического расстройства. Таким признавался в то время только тот, кто выскакивал на улицу нагишом и ни с того, ни с сего нес какую-нибудь околесицу, в которой ничего не было, кроме набора слов без всякого смысла.

Только что матушка через несколько дней после возвращения Саши сделала распоряжение отправить человека за ее вещами, как нас поразил своею неожиданностью приезд Марьи Николаевны Лунковской. В то время она не производила уже впечатления красивой женщины: это была особа лет под сорок, среднего роста; более всего привлекали ее большие умные печальные серые глаза, тембр ее чудного голоса, который проникал в самое сердце,— так много было в нем милой ласки и задушевности. После первых приветствий она спросила обо мне; когда она наклонилась, я стала крепко целовать ее и обнимать.

— Да ты, кажется, сразу полюбила меня?

— Да... очень, очень...

— Ну, детка, мое сердце чуяло, что ты меня полюбишь... Горничная, внеси-ка сюда корзину!.. Вот это все тебе! — сказала она, когда Дуняша внесла огромную корзину. Обращаясь к моей матери, она произнесла по-французски:

— Пусть она займется игрушками,— при ребенке неудобно говорить то, что я хочу вам сказать...

Я уже знала настолько французский язык, что поняла эту фразу, и хотела возразить ей, что старшие всегда все говорят при мне, что я прекрасно понимаю то, что она хочет сказать, и решила уже дать доказательство своего понимания, крикнув: «Я ведь знаю, как ваш муж все лез целовать Сашу!». Но в эту минуту Саша повернула меня за плечи, повлекла в детскую и приказала Дуняше распаковывать корзину.

Когда я увидела на столе огромной величины куклу, книги в красивых переплетах, конфекты, я пришла в такое неистовство, так громко выкрикивала какие-то слова, что старшие вбежали в мою комнату. Долго после их ухода я пересматривала щедрые дары, так неожиданно свалившиеся на мою голову, и вдруг понеслась в залу, бросилась к Марии Николаевне и стала целовать ее руки.

Когда я ложилась спать, Саша сообщила мне следующее: с января Марья Николаевна отдает двух своих дочерей в пансион, в котором моя сестра только что кончила свое образование и где воспитывалась ее старшая дочь. Она просила Сашу, если та поступит туда в качестве учительницы, наблюдать за ее тремя дочерьми, все сообщать ей о них, давать им уроки музыки, объяснять им то, что их будет затруднять в учении, и в вознаграждение за это она предлагала ей 25 рублей в месяц.

Саша написала в пансион о своем желании поступить в него учительницею. Начальница пансиона не замедлила ответом: она просила Сашу приехать в январе. Кроме уроков по нескольким предметам, сестра по вечерам должна была еще нести какие-то обязанности по ведению пансиона,— и за все это ей было назначено 35 рублей в месяц. Таким образом, с деньгами Лунковской она могла иметь 60 рублей.

— Лунковская, конечно, очень милая особа,— говорила матушка,— но как же она не понимает, что муж

ее поступил подло, засадив мальчишку за карты и в один вечер обыграв его на шестьсот рублей! А если она этим искренно возмущается и вполне сознает всю гадость его поведения, она должна была бы заставить своего супруга похерить этот долг или из своих денег уплатить его ему... Нет, уж все эти богачи по одной колодке скроены!..

Да, моя мать тонко понимала весьма многие этические требования и очень часто даже действовала сообразно с ними,— недаром же она в конце концов приобрела глубочайшее уважение в своей местности. Но чрезвычайно многие обязанности относительно родных детей были ей совсем непонятны: в этой сфере все принципы ее покоились если не на началах Домостроя (они должны были сильно пошатнуться при двадцатилетнем сожительстве с таким образованным человеком, каким был мой отец), то во всяком случае на прочном фундаменте бесчеловечного произвола и деспотизма родительской власти крепостнической эпохи, а также и какого-то до комизма наивного простодушия. Ей и в голову не приходило в то время, что Саша совсем не виновата в легкомыслии своего брата, что не только несправедливо, но даже возмутительно бесчеловечно губить за его грехи родную дочь — девушку-ребенка. Дети обязаны помогать родителям,— это, конечно, прописная истина, но со стороны матери было слишком жестоко в такой степени пользоваться трудом своей дочери, в какой она позволила это себе делать для улучшения хозяйства, взваливая на плечи молоденькой девушки массу труда, не оставляя ей ни времени для чтения, что она так страстно любила, ни гроша денег из ее жалования на ее собственные удовольствия и на удовлетворение ее желаний.

Вот потому-то, что я знаю множество тяжких прегрешений за лучшими и образованнейшими людьми того времени, во мне возбуждают такое негодование писатели, которые в своих произведениях, выставляя хороших людей дореформенной эпохи, упорно подчер-

кивают мысль, что вот-де и в те суровые, крепостнические времена было не мало честных, гуманных натур и прекрасных личностей. Но разве кто-нибудь когда-нибудь оспаривал это? Дело в том, что яд и смрад крепостничества проникали в нравы, обычаи, во все сферы деятельности и мысли даже этих прекрасных людей, и они не могли додуматься часто до самых элементарных идей справедливости и зачастую совершали поступки, которых теперь не позволит себе человек, не отличающийся даже особенно чуткою нравственностью.

Днем отъезда Саши в пансион (на этот раз она прожила дома ноябрь и декабрь) было назначено воскресенье в первых числах января. Саша уехала рано утром, а мы с матушкою через несколько часов отправились к Воиновым. Вошло, наконец, в обычай, что тяжелые для меня дни я должна была проводить в этом семействе. Дуняше, после того как она подаст обед «молодым господам», дозволено было отправиться в гости. Поэтому она еще при нас передала Нюте ключи от чулана на случай, если без нее что-нибудь понадобится «стряпухе». Таким образом «супруги» оставались в этот день в доме совершенно одни.

Чтобы лучше выяснить по виду ничтожное происшествие, случившееся в этот день, но имевшее для моего семейства весьма печальные последствия, я должна упомянуть о том, что обе выходные двери нашего дома запирались на запор только на ночь, да и то далеко не всегда. Часть передней (с парадного крыльца) была отделена довольно высокою перегородкою, не доходившею до потолка, и представляла чулан. Внутри его прикреплены были полки для горшков, бутылок с водкой, наливками и настойками; тут же хранилось кое-что из сухой провизии. В этой передней, у стены с окном, стоял длинный деревянный сундук, называемый ларем и плотно упиравшийся одним концом в чулан.

Когда на этот раз мы возвращались домой и подъезжали к крыльцу нашего дома, нас встретила Дуняша,

сама только что возвратившаяся из гостей и не успевшая еще раздеться, за что матушка стала порядочно распекать ее, боясь, что ее позднее возвращение задержит нас с ужином. Мы вошли в переднюю, а горничная начала освобождать нас от верхней одежды и стряхивать с нее снег. Вдруг мы тут же, подле себя, услыхали не то шум, не то какую-то возню, и все трое сразу замолчали, остановились и стали прислушиваться. «А ведь это дворняжка забралась в чулан!» — решила Дуняша. Но матушке это казалось невозможным: собака должна была бы для этого прыгнуть более высоко, чем она могла. И действительно, от ларя до верхнего края перегородки было аршина два высоты. Дуняша побежала за ключами к Нюте, которая явилась на место происшествия, а следом за нею шел ее супруг. Отмыкая замок чулана, Нюта говорила, что сейчас после ухода Дуняши ей пришлось что-то выдать кухарке, но в чулане в то время все было в порядке. Каково же было наше изумление, когда его открыли: верхняя полка лежала на полу, а вместе с нею все, что на ней стояло: банки, склянки, горшки, бутылки,— все валялось разбитое вдребезги. Тут же на полу, среди разбитых черепков и стекла, стояли лужи пролитой жидкости и лежал Филька (парень, участвовавший в домашней краже, описанной выше) в глубоком сне или опьянении, с исцарапанными до крови лицом и руками, с кровавыми пятнами на одежде. На него кричали, топали ногами, дергали со всех сторон, но он не вставал, даже не просыпался, а только что-то мычал. Тогда отправлена была Дуняша позвать мужиков. В это время остальные высказывали различные предположения о том, каким образом Филька мог вскочить в чулан. Нюта указала на валявшийся табурет, говоря, что он, вероятно, поставил его на ларь и с него уже вскочил в него. Только что она успела это произнести, как ее супруг подошел к ней вплотную и остановил на ней свои бегавшие во все стороны зрачки,— его взгляд пылал в эту минуту невыразимою злобою.

— Он не мог прыгнуть с такой высоты! Понимаете?.. Не мог! Это, конечно, кто-нибудь другой, а скорее всего *другая* (последнее слово он подчеркнул с особенною ядовитостью) помогла ему в этом, а еще проще — впустила его в чулан и заперла, чтобы он наслаждался! — кричал он во все горло, задыхаясь от бешенства.

Никто еще не успел возразить ему, как в переднюю ввалилось несколько человек крестьян во главе со старостой, который заявил, что Филька сегодня уже из церкви возвратился пьяным и все шлялся около парадного крыльца.

Крестьяне принялись вытаскивать пьяного, а матушка гневно приказывала старосте втолковать «мерзавцу», что он будет так наказан, как до сих пор еще никто не был наказан из ее крепостных: она решила отправить его при первой возможности в воинское присутствие и получить за него рекрутскую квитанцию.

Во время этой кутерьмы никто не заметил, как из передней вышла «супружеская чета». Когда мы, гораздо позже обыкновенного, сели за стол, Нюта прислала сказать, что она уже легла и не хочет есть, а Феофан Павлович приказал принести ужин в свой кабинет.

Вдруг, далеко за полночь, когда мы уже спали, раздался выстрел, а за ним последовал пронзительный, нечеловеческий крик. Мы вскочили с постелей, ничего не понимая, матушка зажигала свечку, которая не загоралась, но в ту же минуту в нашу комнату вбежала Дуняша с зажженной свечкой в руках; обе они бросились в залу, куда и я, конечно, последовала за ними. Когда дверь была открыта, комната оказалась совершенно темной. При свете нашей свечи мы различили Нюту, лежавшую на полу мертвою или без чувств, которую силился поднять ее муж, а в нескольких шагах от них валялся пистолет.

— Убийца! Палач! — кричала матушка в исступлении, ринувшись на него с поднятыми кулаками.

Он бросился бежать в другую комнату, а матушка с Дуняшею подняли сестру, не подававшую признаков

жизни, понесли ее в нашу спальню и положили на кровать.

Трудно описать, в какое отчаяние пришла матушка: она бросалась на колени перед дочерью, рыдала, ломала руки, называла то себя, то «его» убийцей, давала сестре самые ласковые и нежные эпитеты, клялась отомстить за нее и сгноить «его» в тюрьме, заставляла ее нюхать спирт, мочила ей голову,— но ничто не помогало: сестра не шевелилась, и руки ее, как плети, свешивались с кровати. Были призваны на помощь все бабы, спавшие на кухне: они суетились, давали советы, жгли на свече полотняные тряпки, подносили их к носу сестры, совали ей пальцы в рот, щекотали под мышками, приподнимали ей то голову, то ноги, но все было тщетно. Наконец, после долгих усилий, сестра пошевелилась и открыла глаза.

Матушка проявила такую же бурную радость, как прежде отчаяние. Когда Нюта произнесла несколько слов, матушка приказала всем удалиться, кроме горничной. Одна из баб, уходя, громко сказала: «А наш-то супостат шляется себе по двору, и горюшка мало!». Дуняша отправлена была в спальню Нюты принести ее чистое белье и, возвратившись, подтвердила, что «барина» нет в комнатах.

Когда сестру переодевали, Дуняша указала на синяки и кровоподтеки на ее теле. Матушка снова пришла в отчаяние и стала допрашивать Нюту, что это означает, но та молчала. Когда ее уложили в постель, ее стала бить лихорадка, и горничная отправилась ставить самовар.

Матушка сидела у кровати больной, а я — за маленьким столом, подле окна. Вдруг ставня, закрывавшая окно со двора, со скрипом открылась, и в нем показалась страшная физиономия Савельева, с бегающими зрачками, без шапки, с всклокоченными волосами и бородой, запорошенными снегом. Я вскрикнула и отскочила от стола. Охваченная смертельным ужасом, захлебываясь слезами, я пронзительно кричала на весь дом, что в

окне стоял мертвец, точь-в-точь, как Феофан Павлович. Матушка тоже в ужасе подбежала к окну, и чуть забрезживший свет через открытую ставню обрисовывал фигуру Савельева, когда тот соскакивал с завалинки, запорошенной снегом.

Матушка бросилась на колени перед образом и в каком-то исступлении выкрикивала: «О, господи, она совсем еще дитя!.. За что караешь ее? Убей его, кровопийцу! Порази меня! Я, я одна виновата во всем!». Затем она села у кровати больной и, рыдая, покрывала поцелуями руки сестры. Я прижалась к матери, но, утомленная бессоницею и всеми перипетиями предыдущего дня и ночи, бросилась на постель, но не могла заснуть.

Когда напоили чаем сестру, матушка стала заклинать ее всем святым, умоляя рассказать, что означает ее обморок, этот выстрел и все эти кровоподтеки на ее теле, а также «его» выходка у чулана, наконец его странное подглядывание в наше окно. То, что передала сестра, было сказано ею с таким страданием, точно каждое слово ей приходилось вытягивать из себя клещами. Все это можно формулировать так: муж ревнует ее с самого момента ее замужества и с каждым днем все сильнее. Он ревнует ее к каждому крестьянину, который переступает порог нашего дома, к каждому парню, проходящему мимо окон, а уж тем более к помещикам, посещающим наш дом; ревнует ее, несмотря на то, что она, в буквальном смысле слова, не отходит от него, а когда она на несколько минут забегает к кому-нибудь из нас, то он стоит у открытой двери до тех пор, пока она не возвращается. Каждое ее движение, каждое слово возбуждают его подозрение: она складывает выкройку для платья куклы, сделанную ею для меня,— он немедленно перерывает весь сверток и грозно допрашивает, где записка, которую она будто бы только что сунула. На ее вопрос, о какой записке он говорит, он отвечает: «Нечего притворяться: сама знаешь!». В каждом ее поклоне даже с встречной бабой

он видит какой-то тайный уговор, грязный умысел с ее стороны. Что же касается сегодняшнего инцидента с Филькою, то он прямо заявил ей, что она находится в любовной связи с этим парнем. При этом Нюта высказала мысль, что если он сейчас осмелился открыть ставню даже в комнате матушки, это означает, что он подозревает ее в сводничестве и рассчитывал застать Фильку в этой комнате.

Сестра еще раньше намекала на то, что муж тиранит ее и бесстыдно издевается над нею... Когда она опять упомянула об этом, матушка умоляла ее объяснить ей, что это означает, но она отвечала, что не может этого сказать: у нее не поворачивается язык. То же было, по ее словам, и сегодня ночью, но ей удалось как-то увернуться от него, и она убежала в залу; он тотчас последовал за нею и выстрелил в нее, но промахнулся, вероятно вследствие темноты. Многое множество его злобных намеков и диких выходок сестра совсем не понимала прежде и начала понимать только в самое последнее время, но не мало такого, чего она не понимает еще и теперь...

Хотя матушка то и дело с ужасом повторяла: «Да ведь он сумасшедший!», но ей и в голову не приходило, что он действительно был таковым, и она тут же разражалась неистовым гневом на то, что он смеет подозревать в гнусностях даже ее, честную женщину, почтенную мать семейства!

Когда на другой день я проснулась уже в полдень, в моей комнате никого не было. Я отправилась к Дуняше, где узнала, что «его» нет дома, а матушка никуда не уезжала, так как Ньюта сильно расхворалась.

Вечером, когда я сидела в своей комнате, вдруг раздались такие нечеловеческие вопли и крики, что я бросилась в людскую. Там уже толпилось несколько баб для экстренной помощи и для побегушек, которые с полною готовностью пояснили мне все, что для меня было темно и непонятно в болезни сестры: ждут выкидыша, «а может еще и живенький родится,—ведь,

почитай, уже больше шести месяцев... «Поганец», должно, дюже ее заморил!.. Повитуху привезли, она уже орудует. Коли ничто не возьмет, прикажут попу царские ворота открыть».

Стон, вопли и раздирающие душу крики от времени до времени продолжали оглашать дом, то несколько стихая, то возобновляясь с новою силой. Вдруг я увидела Савельева, входящего в парадную дверь, и понеслась доложить об этом матушке. Когда на мой стук в дверь спальни сестры ко мне выбежала матушка, она не могла взять в толк, что я сообщаю ей. Наконец она быстро направилась вперед и, будучи, вероятно, еще под впечатлением пережитых ночных ужасов и тяжких страданий дочери, сразу стала кричать на Савельева. Я вошла за нею, но она изо всей силы толкнула меня к двери. Это было ново для меня: к сожалению, в детстве от меня ничего не было скрыто,— я знала все домашние тайны, у меня к ним развились не только интерес, но и болезненная любознательность. При отсутствии книг и подходящих занятий, при открытом обсуждении домашними семейных дел это было вполне естественно. Рассердившись на матушку за то, что она так грубо устраняет меня от интересных для меня переговоров, я с сердцем захлопнула за собою дверь, но не отходила от нее. Матушка запальчиво и резко перечисляла все вины зятя и выкрикивала даже то, о чем Нюта просила ее не проговориться ему. Она опять называла его палачом, кровопийцей, убийцей, проклинала за его «гнусную ревность», грозила, что за его выстрел, вызвавший преждевременные роды дочери, посадит его на цепь, сгноит в тюрьме, подаст на него жалобу предводителю дворянства и т. п., и т. п. Савельев не только не оправдывался, но не проронил ни одного звука,— вероятнее всего, он не слушал обвинений; все время расхаживая по комнате, он вдруг открыл дверь, у которой я стояла, так что мне невольно пришлось отскочить. Кстати замечу, что хотя на этот раз Савельев довольно равнодушно прослушал весь синодик

своих прегрешений, но иногда, когда матушка внезапно наскакивала на него и, глядя в упор, начинала крикливо бранить его, он сильно пугался. Не только в ту минуту, но много раз в тот период времени болезни сестры матушка не могла видеть Савельева без того, чтобы не начать кричать на него. Но и это нисколько не мешало ему снова и снова приниматься за свои «прокуратства», как у нас окрестили все его выходки. При этом Пюте жилось все хуже и хуже, вероятно потому, что его психическое расстройство постепенно принимало все более тяжелую форму.

После продолжительных мук сестра разрешилась от бремени мертворожденным; но и недели через две после этого она не могла приподнять головы и лежала, как пласт, без кровинки в лице, худая, как скелет. Савельев ни разу не навестил ее во время болезни и очень возможно, что забыл об ее существовании. Я думаю так потому, что в последний раз, когда он был у нас, он слышал вопли, крики и стоны своей жены, следовательно прекрасно знал об ее болезни, но не зашел ее навестить и все время оставался у своих родителей. Трудно было бы придумать более очевидное доказательство его сумасшествия. Но и это не просветило окружающих насчет истинного его положения. Когда Воинова приехала проведать сестру и пришла в совершенное изумление, что муж не посещает ее, матушка объясняла ей это его чудачеством, сумасбродством, дикостью и еще тем, что он в это время похоронил своего отца, но ведь наш дом находился меньше чем в версте от жилища его родителей, а он нередко предпринимал прогулку за десять верст и более.

Когда, наконец, Савельев пришел к нам, мы сидели около больной. Войдя в комнату, он подал руку матушке и мне, но не поздоровался с женою, не сказал ей ни слова, взял ружье из своего кабинета и, не раскрывая рта, в ту же минуту ушел из дому. Затем, снова переселившись к нам, он начал почти ежедневно посещать собственный дом, чтобы привести в порядок свое

миниатюрное хозяйство. Как он устраивал свои дела, никто его об этом не спрашивал; мы слыхали, что он сдал все хозяйство в аренду одному мещанину за несколько десятков рублей в год. Получив от распродажи имущества своего отца около сотни рублей и арендную плату за год вперед, он сравнительно с прежним разбогател, так как до тех пор не имел буквально ни гроша.

Наступила весна. Кашель Феофана Павловича, начавшийся еще гораздо раньше, сделался хроническим. Когда наступал пароксизм кашля, он по всем комнатам раздавался, как удары молота по наковальне, которые все учащались. Из горла его вылетали свисты и хрипы, он захлебывался, и минутами казалось, что вот-вот задохнется. После этого он совсем выбивался из сил и сидел весь потный, обессилевший, с зловещим румянцем на щеках, и этот убийственный кашель несколько стихал только после кровохарканья.

— Терпеть не могу притворяться,— говорила матушка Нюте,— у него ведь настоящая чахотка! Не протянет долго! Поскорей бы только...

Но кровохарканье прекращалось, и Савельеву становилось легче: в сопровождении жены он опять предпринимал дальние прогулки,— как и прежде, ни на шаг не отпуская ее от себя.

Вдруг он начал выказывать внимание ко мне. Он, который почти не разговаривал с домашними, заходил теперь в мою комнату или присаживался ко мне на крыльцо, рассматривал мои игрушки, расспрашивал меня о том, давно ли я получала письма от Саши, иногда заставлял прочитать по-французски, правда лишь в продолжение нескольких минут: для настоящих уроков у него, вероятно, уже нехватало терпения. Однажды он возвратился из лавки (верстах в трех от нас) с объемистым пакетом и, указывая мне на него, сказал, что все это гостинцы и что мы с ним начнем сейчас же уничтожать их.

Несмотря на свою редкую деловитость и здравый смысл, матушка отличалась необыкновенною доверчи-

востью, и не только к тем, кого она уважала и ценила, но и к людям весьма сомнительной нравственности. Эта простодушно-детская доверчивость, доходящая до наивности, была основною чертою ее характера, чем нередко злоупотребляли многие из окружающих. Откровенная, прямая даже до грубости, безукоризненно честная относительно всех, с кем сталкивала ее судьба, матушка брезгливо относилась ко всякой лжи, обману, подвохам и подхалимству и до гробовой доски осталась доверчивой, как ребенок. Когда человеку, обманувшему ее впервые, нужно было снова вызвать к себе ее доверие, он рассказывал ей какую-нибудь небылицу о том, почему он некорректно поступил с нею в первый раз, и при этом, чтобы уверить в правдивости своих слов и обещаний, клялся своею женою, детьми, всем для него святым, снимал образ, и опять обманывал. Уже будучи взрослыми, мы, ее дети, часто подсмеивались над этой чертой ее характера. Но в этом отношении она была неисправима. Это свойство не только было присуще ее натуре, но, как мне кажется, отчасти зависело и от ее суеверного страха пред грозною силою рока. Она обыкновенно оправдывалась перед нами тем, что на этот раз она должна была поверить таким клятвам: «Не может же человек быть совсем без совести, не может же он не бояться накликать на себя беду...».

Понятно, что матушка, не имея ни малейшего представления о психическом расстройстве Савельева, а следовательно не предполагая с его стороны и хитрости, столь присущей больным такого рода, не могла допустить какого бы то ни было злого умысла со стороны своего зятя по отношению ко мне, еще ребенку, который не сделал ему ничего дурного. Когда я сообщила матушке о внимании ко мне Феофана Павловича, о гостинцах, которые он мне приносил теперь от времени до времени, она искренно обрадовалась и сейчас же пожелала утилизировать это внимание на пользу моего образования. «Скажи ему, зачем он тратится на леденцы

и другие пустяки... Лучше проси его заставлять тебя болтать по-французски да почаще почитать с тобою...».

Нюта совершенно иначе относилась к этой перемене: когда она в отсутствие матушки забегала ко мне за чем-нибудь, она торопливо спрашивала, о чем он со мной только что говорил, и при этом прибавляла: «А ты все-таки старайся каждый раз улизнуть от него! Ни за что не поверю, что он спроста к тебе подъезжает!».

Но я недоумевала, зачем мне бегать от него: окружающие, как и я сама, считали меня взрослою девочкой, и мне казалось просто смешным выказывать ему страх, избегать его. Свои соображения и предостережения сестры я представила на суд матушки, и она вполне разделяла мой взгляд. «Феофан Павлович,— говорила она,— желает показать, что он не разговаривает со мною, потому что мы с ним крупно поговорили... У нас с ним свои счеты (меня всегда страшно смешило, когда матушка разговаривала со мной о чем-нибудь так, точно я ничего не видела, не слышала и не понимала, несмотря на то, что о всех домашних новостях сама же говорила при мне), а ты с ним всегда была вежлива,— вот он и хорош с тобою». Мне это показалось вполне убедительным, и я даже сама стала бегать к нему, когда меня одолевала скука. Но я не переставала удивляться одному: как только кто-нибудь проходил мимо наших окон, около которых мы с ним сиживали, он всегда спрашивал меня, как зовут проходивших, из какой они деревни, наши ли это крепостные или чужие, а затем тотчас же выходил из дому и становился на такое место, с которого он мог легко проследить, куда они направлялись. Заставая меня одиноко сидящею, он интересовался узнать, почему я не с Дуняшею. Я отвечала ему, что я уже большая и вовсе не желаю, чтобы со мною постоянно торчала горничная, кроме тех случаев, когда она должна учить меня шить. «Да и маменька,— говорила я,— теперь уже не позволяет отрывать ее, когда она гладит или стирает

белье в кухне». Он внимательно допрашивал, в какие дни это бывает, и, видимо, проверял себя, твердо ли их запомнил: «А где же Дуняша? Ее что-то не видно в девичьей! Ах да... ведь сегодня понедельник,— значит она стирает в кухне! Правда?». Причину подобных справок и маневров я поняла позже, а в ту пору я не придавала им никакого значения. Тем не менее, я очень скоро убедилась в том, что более всех его интересует Филька. После того как его, пьяного, вытащили из кладовой, он долго и сильно хворал. Одни объясняли это тем, что он с водкой проглотил осколок стекла от разбитой посуды, другие утверждали, что это приключилось с ним от страха перед «барыней». Хотя матушка и пригрозила забрить ему лоб, но пока не выполняла своей угрозы: когда он поправился, наступило лето, и ей жалко было лишиться работника в горячую летнюю пору.

Когда крестьяне возвращались летом с полевых работ обедать и отдыхать, Феофан Павлович стал посылать меня посмотреть, что делает Филька; при этом он предупреждал, чтобы я о парне ни у кого не расспрашивала, а старалась бы узнавать все сама. Хотя муж моей сестры и сдал свое имение в аренду, но продолжал часто уходить туда, вероятно с целью возвратиться домой внезапно и узнать, что поделывали в его отсутствие Филька и Нюта. Если я была одна в то время, когда он приходил домой, он сейчас же спрашивал меня о них. Мои донесения были крайне однообразны: Нюта безвыходно сидела в своей комнате или на минуту забегала ко мне, а Филька после обеда спал на сеновале. Но когда я однажды кончила свой обычный доклад, он запальчиво закричал: «Как ты смеешь лгать?», дернул меня за руку и толкнул к окну, выходившему во двор, где я увидала Фильку, запрягавшего лошадь. В то же самое время Нюта выходила с кухаркой из нежилой избы (где хранился разный хлам), крыльцо которой расположено было в том же дворе. Я оправдывалась тем, что сестра и Филька, вероятно,

только что вошли во двор, что не могу же я вечно бегать на сеновал смотреть за Филькой.

Как только я произнесла эти слова, он как клещами впился в мои плечи, повернул меня к себе и, остановив на минуту свои бегающие зрачки, стал смотреть на меня в упор таким взбешенным зверем, что меня начало всю трясти, а он, с расстановкой и повелительно, точно стараясь внедрить в мой мозг каждое сказанное им слово, излагал программу, которой я должна была держаться в его отсутствие. По его словам, я обязана была в таких случаях бросать все свои забавы и зорко наблюдать «за ними» (я прекрасно понимала, кого он подразумевал под этим), должна знать, кто приходил без него к моей сестре, что они говорили между собою, куда она отлучалась без него,— одним словом, делать формальные доносы. За утайку чего бы то ни было, за ложь, а также и за то, если я передам сказанное им кому бы то ни было, он грозил пороть меня до крови.

Я была ошеломлена его выходкой, грубым дерганьем меня и толчками и еще стояла там, где он меня оставил, когда он вышел и тотчас же возвратился в мою комнату со свертком. «Ешь гостинцы, но помни, что я тебе приказал»,— добавил он, бросив их на стол. Меня охватила такая злоба, что отшибло всякий страх, и, схватив пакет, я бросила его ему в лицо с криком: «Проклятый! Окаянный! Порченый!..». Одним словом, я выкрикивала ему прямо в лицо все прозвища, которые ему давали старшие. Пряники и леденцы рассыпались по полу, а он, схватив меня за плечи, изо всей силы грохнул на пол и стал колотить по чем попало. Я кричала сколько хватало сил. Тогда он на минуту остановился и, придерживая меня одной рукой, другою начал вынимать свой носовой платок. Не знаю, что он хотел сделать с ним: меня ли бить, сделав из него жгут, как это было в моде в то время, или заткнуть им мне рот, чтобы я не кричала, как он часто к этому прибегал впоследствии... Но в эту минуту открылась дверь, Нюта бро-

силась на помощь ко мне и, загораживая меня от него, кричала ему, что сюда сейчас придут люди, донесут обо всем матушке, которая немедленно прогонит его. Он злобно оттолкнул сестру, дал мне несколько пинков ногою и быстро вышел из комнаты, а за ним и Нюта.

Возмущенная до глубины души, я с нетерпением ожидала возвращения матушки, чтобы, рассказав ей обо всем, что я вынесла и выношу, осыпать ее градом упреков за то, что мне так скверно живется дома. Мое волнение и злоба к Савельеву еще не улеглись, когда вошла сестра. Обнажив перед ней мои руки и ноги, я указывала ей на ссадины и синяки, оставленные каблуками сапог ее мужа. Сестра бросилась обнимать меня, и ее слезы падали на мои руки и лицо. Вдруг она разразилась громкими проклятиями на свою тяжелую горе-горькую долю и на своего «хищного зверя», осыпая в то же время страшными упреками матушку, которая против воли выдала ее замуж за изверга, за негодяя, какого еще свет не создавал. Эти проклятия и упреки в устах Нюты, прославляемой у нас за кротость, эта откровенность со мною, более чем с кем бы то ни было в доме, делали ее для меня впервые близкой и родной, проливали в мою душу бальзам и несколько успокаивали меня. Мой план все рассказать матушке Нюта нашла не только бесполезным, но крайне вредным для всех нас и прежде всего для меня самой. Я этого не понимала уже потому, что покойная няня очень сердилась на меня за то, что я не довела до сведения матушки всего того, что со мною однажды случилось в ее отсутствие. Но сестра убедила меня в том, что инцидент с ее мужем совсем другое дело: за то, что со мной проделали тогда крепостные, матушка имела право строго наказать их. Стращали же они меня, по словам сестры, только потому, что я была тогда еще маленькой девочкой и не могла понять всей нелепости их угроз. Но ее муж не крепостной, а такой же дворянин, как и матушка, которая может его только выгнать из своего дома. Но тут я напомнила сестре,

что если матушка рассердится на него, то прикажет людям связать его и бросить в навозную телегу, как я это много раз слышала от крестьян, и что вот тогда-то я буду кидать в него палками и камнями, пока не проломлю ему голову.

Но Нюта отняла у меня всякую надежду на месть: она уверила меня, что муж ее уйдет при первом же приказании матушки, но непременно возьмет ее с собою в свой дом, где он будет тешиться над нею уже сколько душе его угодно, меня же он будет поджидать из-за каждого угла, чтобы здорово исколотить, да не постеснится при удобном случае и матушку пырнуть ножом. Сестра вполне убедила меня в том, что мне ничего не остается делать, как никогда ни при ком не проронить ни одного слова о его побоях, но тем не менее при всех говорить открыто, что я его ненавижу и боюсь, убегать и прятаться от него где попало. Она уверяла меня, что это легко будет удаваться мне, так как теперь он не только не может бегать, но и быстро ходить; к тому же он очень рассеян, плохо знает наши закоулки, и ему трудно будет находить меня.

Желание моей сестры заставить меня молчать о побоях, а впоследствии и об истязаниях, совершаемых надо мной ее супругом, было вполне понятно. Убедившись, что она до гробовой доски каторжною цепью скована с ненавистным для нее человеком, она, конечно, желала коротать свою каторгу по крайней мере в доме родной матери, а не у супруга, где она уже окончательно была бы предоставлена его полному произволу и должна была бы жить среди совершенно чужих для нее людей. Она правильно рассчитала, что если в доме кто-нибудь узнает о проделках со мною Савельева, то наверно донесет об этом матушке, а та уже сочтет своею священною обязанностью удалить его, несмотря и на то, что он возьмет с собою свою жену: погубив одну дочь, она не решится погубить и другую.

Для того чтобы я реже подвергалась побоям Савельева, Нюта то и дело забегала ко мне, шепталась со

мною, советовала, куда и когда убежать от него, предупреждала, как удобнее улизнуть из дому так, чтобы он этого не заметил. На вопросы Савельева, обращенные ко мне, что поделывают Филька и жена во время его отсутствия, она заклинала меня говорить только правду. В программе, которую она начертила мне для моего поведения, она, конечно, не предвидела многого и не была настолько нравственно и умственно развитою, чтобы понять, в какое опасное положение она ставила меня, заставляя скрывать от матери все то, что со мною проделывает ее супруг. Без ее вмешательства и поддержки я не могла бы долго переносить того ужаса, тех истязаний и пыток, которые я начала испытывать от Савельева, и, конечно, так или иначе все передала бы матушке. Не понимала сестра и того, что вечный страх, который я постоянно испытывала, мог гибельно отзываться на моем физическом и нравственном здоровье. Будучи сама крайне несчастною, она не могла ни наблюдать, ни раздумывать над тем, что я в какие-нибудь полгода из здоровой, краснощекой девочки превратилась в бледного, нервного ребенка, то и дело раздражавшегося, плакавшего и пуще прежнего бредившего по ночам.

Однако после первого столкновения с Савельевым злобу на него в моей душе как-то вытеснила новая перспектива пускать в ход решительно все, что мне было доступно,— хитрости, извороты, быстроту ног,— лишь бы не оставаться с ним наедине. С утра до ночи думала я об этом и сочиняла различные планы. Первые мои попытки в этом направлении увенчались блестящим успехом. Утром, до обеда, Савельев никогда не выходил из своей комнаты, может быть из опасения впутаться со мною в «историю», так как ко мне в это время мог притти священник, дни уроков которого не были точно назначены. Но как только матушка после обеденного отдыха уходила из дому, я начинала дрожать за свою безопасность и бежала куда глаза глядят. Если стояла дурная погода, я уходила к кому-нибудь из бли-

жайших соседей. Но когда я однажды у Макрины играла в карты с ее дочерью, та показала мне на приближающегося по дороге Савельева. Я выбежала на их двор, где Терешка рубил дрова. В это время как все наши крестьяне, так и соседи знали о моем страхе перед Савельевым, и решительно все — и свои, и чужие — старались приходить мне на помощь. Когда я подбежала к Терешке с просьбою спрятать меня, он немедленно втолкнул меня в сарай. Скоро появился Савельев и начал расспрашивать его, не видал ли он меня; он и его «барыни» отвечали, что я только что убежала от них. Нередко Савельев издали замечал меня у нашего скотного двора или недалеко от какой-нибудь избы нашего крепостного и кричал, чтобы я остановилась. Но я, чтобы замести след, разными обходами вбегала в избу, и баба или крестьянин, часто без слов понимая, в чем дело, хватали меня на руки, подымали на полати, набрасывали на меня первый попавшийся зипун и, когда Савельев входил, говорили ему, что они видели, как я, заметив его приближение, бросилась к лесу или в поле. Иногда он меня уже почти настигал, а я чуть не перед его носом проваливалась в канаву или колдобину и на четвереньках подползала к какому-нибудь кустарнику или под мостик. В дни удачи я входила торжествующая в столовую, где матушка с молодыми уже садилась за ужин, и при этом злорадно посматривала на Савельева. Лицо его тогда искажалось от гнева, а зрачки еще беспокойнее бегали во все стороны.

Матушка скоро узнала о том, что я избегаю Савельева, боюсь его, прячусь от него; мне пришлось ей объяснить перемену моих отношений к нему тем, что он сам изменился ко мне и с такою злобою смотрит на меня, точно хочет ударить. Матушка успокаивала меня, говоря, что если он посмеет тронуть меня пальцем, она прикажет крестьянам его выдрать, но я понимала теперь всю несостоятельность этих успокоений. Однажды он был так обозлен на меня за мой торжествующий вид и за то, что его поиски не привели ни

к чему, что, когда я пришла к ужину, он уже вскочил с своего места и двинулся ко мне, но на этот раз матушка заметила его искаженное злобою лицо и закричала на него во-время. Он сейчас же опомнился, уселся на свое место и только прохрипел: «Скверная девчонка!». После его ухода Нюта поторопилась объяснить матушке его выходку тем, что он до невероятности ревнует ее к Фильке, а потому особенно раздражается на всех, и умоляла удалить этого парня.

Матушка, наконец, решила поступиться своим интересом, лишь бы облегчить положение дочери. Она отправила Фильку в город к купцу (державшему трактир), который выплачивал за него какое-то ничтожное вознаграждение, а затем решено было отвести его в воинское присутствие, чтобы получить за него рекрутскую квитанцию.

Исчезновение Фильки с нашего горизонта не надолго успокоило Савельева: в отсутствие матушки до меня то и дело доносились взволнованные голоса наших молодых. Теперь не только Савельев кричал на жену, но я нередко слышала резкие окрики и грубую брань, которыми сестра осыпала своего супруга, между тем как еще недавно она не смела и пикнуть перед ним. Вероятно, ее терпению приходил конец, а может быть она нашла, что резкое и грубое отношение к нему легче его вразумляет. Как бы то ни было, но ее характер стал быстро меняться: сестра, прежде очень кроткая, теперь и матери все чаще позволяла себе грубо выкрикивать колкости. Пораженная этой переменой, матушка пробовала ее обрывать, бранить, кричать на нее, но ничто не действовало, и, вероятно, чувствуя свою вину перед дочерью, она в конце концов старалась пропускать мимо ушей ее дерзости, а то и разражалась слезами.

К Савельеву пришел однажды его собственный крепостной с известием, что его мать умирает, и он немедленно отправился с ним. Дома у нас никого не осталось кроме меня и сестры, которая вдруг пришла в какую-то ажитацию: бегала то на скотный двор, то в

деревню, то к ней приходили бабы, и они о чем-то шептались между собой. Это меня сильно заинтриговало, особенно тем, что когда я вошла в девичью, то застала Дуняшу с черным петухом в руках; тут же сидела незнакомая мне старуха с узелком и черным котом. Я отправилась к сестре и стала пытать ее; она в это время суетливо выдвигала ящики комода, вынимала белье и вещи своего мужа и откладывала их в сторону. Запретив говорить матушке обо всем, что я сейчас услышу и увижу (про мужа она ничего не упоминала), она сказала мне: «Все говорят, что Феофан Павлович «порченый»,— вот я и позвала ворожею, которая сумеет снять с него порчу». Когда она собрала вещи мужа, мы отправились с нею к «шептухе». Дуняша дала мне держать петуха, а сама побежала в кухню и возвратилась со сковородкой, на которой пылали горящие уголья. Ворожея поставила на лежанку сковороду и, бормоча какие-то заклинания, насыпала на уголья порошки и сушеные травы, а затем, положив на руки вещи Савельева, держала их над дымом и смрадом, распространяемым сушеною травою и порошками, потрескивавшими на угольях. После этого она схватила петуха, поднесла его задом к самой жаровне, отрезала кончик пера от хвоста и бросила на уголья, а его самого вышвырнула из окна тоже задом вперед. С котом был проделан тот же маневр, но в несколько иной форме: кончик его пушистого хвоста ворожея подожгла на угольях и, несмотря на то, что он мяукал, царапался и вырывался, крепко держала его в руках до тех пор, пока не отрезала ему запаленный кончик и не передала этот пушок сестре со словами: «По трошке всыпай в евойную еду»; затем точно так же, как и петуха, выбросила кота в окно задом вперед. Все свои манипуляции ворожея сопровождала бормотаньем каких-то неведомых для меня слов, которые она произносила то в рифмах, то в разрядку. Подобную ворожбу я видала не раз, но из всех нашептываний я часто потом повторяла про себя только заклинание (когда Феофан

Павлович приближался ко мне), которое ворожея несколько раз произносила, выбрасывая петуха: «Ворогу — присуха, глазу лихому — кривуха, бабью кручину по ветру развей, порчу на шесток занеси и в песке затопчи».

— Вон! Убирайтесь вон отсюда! — закричал Савельев, открывая дверь и вытягивая меня из девичьей.

На этот раз, однако, я не очень трепетала: пока он тянул меня по комнатам, я выкрикивала фразы в таком роде: «Вы теперь не порченый!.. Ворожея сняла с вас порчу!». Он не дал мне договорить, изо всей силы дернул меня за руку, которую крепко держал, и начал громко звать Нюту. Только что она успела отворить дверь, как он, не выпуская меня, подскочил к ней и поднял руку, чтобы ударить ее, но так как при своем огромном росте ему пришлось нагнуться к ней, она закатила ему здоровенную оплеуху и бросилась бежать. От неожиданного удара он точно остолбенел: стоял с минуту не двигаясь и тер себе щеку, но затем быстро принялся за меня, вынул из кармана носовой платок, крепко завязал мне рот и вытащил ремень и длинную веревку. Видно было, что он уже заранее заготовил для меня орудия пытки. Он отодвинул от стены длинный низкий стол (за которым в детстве занимались все мои братья и сестры), притянул меня к нему, сорвал одежду, прикрепил к столу и начал жарить ремнем. Я не могла кричать, а только мычала, он тоже силился что-то сказать, но вместо слов с его уст срывались какие-то дикие радостные звуки. Вбежав к нам, Нюта начала оттягивать его, дергала сзади, наконец забежала с другой стороны и прикрыла меня собою. Вместо меня он стегал теперь ее по голове и рукам. Но ей скоро удалось как-то вырваться, и она изо всей силы стала стучать в окно и кричать; только тогда он бросил меня и вышел из комнаты.

С того времени как я так страдала от сумасшедшего Савельева, прошло много десятков лет, а между тем до сих пор при воспоминании об этом мое сердце обли-

вается кровью, руки дрожат и слезы так застилают глаза, что я минутами совсем не могу писать!.. Боже, сколько горечи и отравы влил он в мое существование, сколько ядовитых семян бросил он в мою детскую душу, какое тлетворное влияние оказывал он на развитие моих душевных сил и способностей!

Когда наши отношения с ним ясно определились, я стала пылать к нему неутомимою ненавистью: мой ум, все мои желания и помышления, вся моя сообразительность были исключительно направлены на то, чтобы куда-нибудь улизнуть так, чтобы он меня не заметил, позлить его, обмануть, причинить ему вред, как можно больше вреда, такого жестокого, чтобы он, как мечтала я тогда, «извивался, как змей, корчился, как угорь на горячей сковороде, кричал и стонал бы от невыносимой боли». Ужаснее всего было то, что лишь только мои человеконенавистнические чувства к нему отвлекались чем-нибудь иным, тотчас же скрип его сапог, шум отворяемой им двери или его фигура, мелькавшая издали,— одним словом, все каждую минуту наводило меня на прежние злые мысли. Голова моя была полна планами и соображениями, как бы привести в исполнение мои злостные замыслы.

Заметив, что он часто заходил на сеновал (вероятно для того, чтобы изловить меня, а может быть и с целью разыскать воображаемых любовников своей жены), я наносила туда, в один из углов, камней и деревянных обрубков. Савельев совсем не понимал обычаев и условий деревенской жизни, а я была прекрасно знакома с ними и пользовалась этим. При его приближении я засяду, бывало, в угол сеновала, и как только он входит,— в ту же минуту вскарабкиваюсь под крышу, но так, что меня не видно, а слышен только шорох, производимый мною. Бревна в углах наших построек для сена клали друг на друга так, чтобы оставались концы, которые не спиливались изнутри для того, чтобы взбираться по ним как по лестнице. Савельев входит и начинает бить палкой по сену, кричит, чтобы выходил тот, кто пря-

чется, а я не подаю голоса. Тогда он выходит из сеновала и снаружи обходит всю постройку кругом. Нужно заметить, что крыша сеновала была укреплена только на углах, и от нее до бревенчатых стен оставалось значительное пустое пространство, чтобы сквозняк мог свободно просушивать сено. Взобравшись на самый верх, я хотя и утопала в сене, но все же могла пробираться, придерживаясь за стены внутри, и притом с тою разницею, что Савельев, обходя постройку снаружи, не видел меня, а я могла наблюдать за всеми его движениями; при этом я бросала ему на голову то камень, то обрубок. Но это не удовлетворяло меня потому, что и мало наносила ему вреда: камень обыкновенно лишь задевал его и вызывал злость и недоумение,— он не мог понять, кто швыряет в него. Тогда я надумала другое: за нашим двором была яма (колдобина, как у нас ее называли), куда скидывали всевозможные отбросы и выливали помои. Эту яму не всегда можно было обойти, чтобы попасть в поле, а потому через нее переброшена была доска. Когда Савельев уходил в поле, я знала, что он вернется тою же дорогою, а потому заменяла крепкую доску гнилою, надломленною, а чтобы скрыть свое вероломство, набрасывала на нее всякую дрянь и грязь. Когда под Савельевым подламывалась доска и он вылезал из колдобины весь выпачканный грязью, я торжествовала и злорадствовала, а когда мои козни не удавались, я приходила в отчаяние и плакала злыми-злыми слезами. Если бы злоба, питавшая мое сердце, не знала отдыха, если бы моему уродливому, ненормальному образу жизни не было положено конца, присутствие Савельева в нашем доме совершенно развратило бы меня и, может быть, даже толкнуло на какое-нибудь преступление или на самоубийство. Но иногда проходил месяц и два, а он все не мог изловить меня. К тому же, при нашей взаимной ненависти друг к другу и шансы на успех для него — напасть на меня, а для меня — улизнуть от него становились все более несоразмерными. Он хилел и ослабевал физически, я становилась

все хитрее, все изобретательнее. Но в полной безопасности я чувствовала себя лишь тогда, когда жестокий кашель и кровохарканье, общее недомогание и упадок сил приковывали его к постели; не боялась я его и тогда, когда он после болезни начинал оживать, бродил по комнате, еле передвигая ноги, или сидел в кресле гостиной с опущенной головой. В такие моменты он не обращал на меня ни малейшего внимания, даже тогда, когда я проходила близко от него. Но вот он несколько поправляется, уже расхаживает своею обычною нервною походкою, то и дело поворачивает во все стороны свою беспокойную голову, а затем начинает выбегать на дорогу, становится на свой обычный обсервационный пункт за изгородью палисадника и вытягивает свою длинную, исхудалую шею, чтобы посмотреть, куда направляются проходящие крестьяне,— это уже служило мне сигналом быть настороже. Обыкновенно, после первого же такого проявления воскресения Савельева из мертвых ко мне подбегала сестра и испуганным шопотом бросала одно слово: «Берегись!».

И с этой минуты начинались мои скитания: я исчезала из дому, бегая к соседям, а от них — в ближайшие избы крестьян или на скотный двор, пряталась от него по сеновалам и сараям, залезала в кустарники, канавы и ямы под наваленной хворостиной.

Нередко, однако, я упускала удобный момент спрятаться от него: мне казалось, что он не настолько окреп и запасся силами, чтобы напасть на меня и истязать меня,— не принимала надлежащих мер и попадалась ему в руки. Возможно и то, что иногда его вялая походка, его индиферентные взгляды на проходящих мимо нашего дома и на приходивших к нам служили для него маскою, чтобы обмануть меня и жену. Попадалась я в его руки и потому, что временами меня вдруг охватывало какое-то непреодолимое отвращение вести цыганский образ жизни, бегать по избам, по чужим людям и прятаться где попало; в таких случаях я, несмотря на предостережение сестры, несмотря на то, что для

меня самой были очевидны признаки уже пробуждавшихся в нем зверских вожделений, вдруг усаживалась за свой столик, принималась за чтение или куклу, успокаивая себя тем, что он еще плох.

Несколько позже я не отдавалась в его руки без борьбы. Я поняла, что когда он спрашивает меня о том, что делала Нюта в его отсутствие и кто приходил к нам в это время, ему было все равно, что бы я ему ни ответила,— дело кончалось одним и тем же: он осыпал меня ударами, привязывал к столу и сек до крови ремнем, который он теперь уже всегда носил в своем кармане. Вот потому-то, когда он заставал меня одну в то время, когда в доме никого не было кроме нас троих, я вскакивала со своего места, как только он отворял дверь, бросала в него книгами, склянками — всем, что было под руками,— бежала к двери, а когда он схватывал меня, я плевала на него, кусала его руки, кричала, пока он не завязывал мне рот.

Он не мог достаточно насладиться мучительством, которое он причинял мне; я думаю так потому, что он никогда не кончал экзекуции по собственной инициативе: хлопнувшая дверь, внезапный шум, стук или грохот телеги, проехавшей по двору (где бы Савельев ни застал меня, он всегда тащил меня на расправу в мою детскую, окно которой выходило во двор), а еще чаще крик Нюты: «Идут»!» — вот что заставляло его прекратить истязание надо мной и убраться во-свояси. Случалось и так, что Нюта вбегала в комнату не только с обычным криком, но и с палкою, которою изо всей силы ударяла его сзади; тогда он немедленно бросался за нею, а я, с неимоверными усилиями, уже самостоятельно распутывала веревки и сходила с своего эшафота, с своей Голгофы.

Да, для девочки моих лет это была настоящая Голгофа. Кровавые рубцы на теле не заживали иногда очень долго и заставляли меня сильно страдать от боли. Так как они нередко оказывались кровавыми и весьма заметными в субботу, т. е. в день, определен-

ный для бани, Нюта, чтобы скрыть следы преступлений своего мужа, объявляла матушке, что Дуняша не умеет промывать моих густых и вьющихся волос, а потому она сама будет мыть меня в бане. Этот новый демократический обычай мыться в бане без помощи прислуги Нюта ввела для себя очень скоро после своего замужества. Когда она в первый раз отправилась туда со мною без горничной, я поняла, почему ей это было необходимо: все тело ее тоже было в синяках, ссадинах и кровоподтеках. На мой вопрос, неужели и ее, как и меня, он бьет ремнем, она ответила, что прежде он бил ее чем попало, а в последнее время, когда она сама при его нападениях то замахнется на него, то треснет его палкой, то ударит его по щеке, он стал с нею осторожнее; зато ночью, когда она спит, он зачастую набрасывается на нее и начинает ее щипать. Когда она вскакивает с постели и делает вид, что бежит к матушке, угрожая ему рассказать ей об его побоях и поднять на ноги людей,— он не только прекращает истязание, но становится перед нею на колени и просит у нее прощения, но это не мешает ему нередко на другой же день проделывать с нею то же самое. Когда я услыхала это, у меня явилась к сестре страшная жалость, и я начала утешать ее тем, что он скоро умрет. Но она горько возразила: «Жди!.. Как же! Нет, милая моя, такое адское исчадие переживет всех! Раньше он меня с тобою вгонит в могилу, а потом уже сам околеет!».

Слова сестры произвели на меня ошеломляющее впечатление и усилили мою душевную тревогу: мой страх перед чем-то еще более ужасным, чем-то, что я уже испытывала, овладел мною всецело,— и я не находила себе места. Крайне тяжкое душевное состояние было результатом неосторожных слов сестры. Отсутствие самых элементарных понятий о том, что можно сказать при ребенке и чего нельзя, приносило детям много вреда. И это характерное свойство педагогов того времени особенно отражалось на мне. Прежде

я отдыхала душой и телом хотя в периоды болезни Савельева, а если она продолжалась долго, мой страх перед ним исчезал, и я спокойно играла в куклы или читала,— теперь и в такое сравнительно покойное для меня время мною овладела какая-то щемящая тоска и страх быть вконец замученною Савельевым.

Я серьезно спрашивала себя: «Если я умру от руки Савельева, буду ли я причислена к лику святых?». После долгих размышлений на эту тему я пришла к заключению, что и при погибели мученическою смертью, чтобы быть причисленною к лику святых, необходимо молиться богу, поститься и ходить в церковь,— и я стала усердно молиться. Религиозное настроение усиливалось еще тем, что после слов сестры я уже окончательно потеряла надежду на смерть Савельева. Меня окутывал какой-то мрак, невыносимая тяжесть давила мою грудь, я видела одни только ужасы и в настоящем, и в будущем: двух близких моему сердцу существ, которых я так горячо любила, которых считала своими ангелами-хранителями, не было со мною: моя дорогая няня была в могиле, моя любимая сестра Саша не приезжала домой даже на лето.

Вспоминая наставления покойной няни, я пришла к убеждению, что с моей стороны было большим грехом обращаться к богу только в те минуты, когда мне было что-нибудь от него нужно, и ждать немедленного исполнения моих желаний. Скоро дневная молитва перестала удовлетворять меня, и я мало-по-малу приучила себя просыпаться для нее по ночам. Эта ночная молитва в совершенной темноте, при абсолютной тишине, когда кроме меня все в доме спали, в двух шагах от матери, погруженной в глубокий сон, доставляла мне какое-то еще неведомое наслаждение. Порой я доходила до такого молитвенного экстаза, что не слыхала, как пробуждалась матушка, звала меня по нескольку раз, спрашивая, почему я плачу, что я шепчу, почему молюсь такое время. Я всегда отделывалась одним и тем же ответом, варьируемым на разные лады: «Скучно... Тоска!».

Когда после смерти отца Саша, будучи и гораздо старше меня и несравненно более меня умственно развитою, приходила в отчаяние при мысли, что она останется без образования, такие взрывы ее тоски матушка находила вполне законными. Но я в то время не проявляла никакого стремления, никакой страсти к учению. Матушка, будучи из рук вон плохою воспитательницею и еще более плохою и нетерпеливою учительницею, скорее могла отбить всякую охоту к учению, чем развить ее. Саше тоже не удавалось много сделать для моего умственного развития. Она занималась со мною периодически и каждый раз недолго, а потому должна была преследовать одну цель: чтобы отсутствие требуемой подготовки не помешало мне поступить в какое-нибудь учебное заведение. Вследствие этого она напирала преимущественно на формальную сторону обучения. Мне более всего была по душе шумная, веселая игра с детьми, а так как я лишь изредка могла пользоваться этим развлечением, то хотя и бралась за чтение по собственной инициативе, но с величайшею радостью меняла это занятие на шумную игру с детьми, если только представлялся к этому случай. Матушка знала это, а потому и считала мою тоску просто блажью. Вызвать меня на откровенность по этому поводу задушевною болтовнею и нежною ласкою было не в ее характере, и я все более замыкалась в себе. Развитию во мне откровенности мешало и то, что я каждый раз, когда со мною случалось что-нибудь экстраординарное, была вынуждена к молчанию, побуждаемая к этому чьими-нибудь угрозами.

И вот у меня, по натуре крайне экспансивной, тяжело страдавшей от того, что некому рассказать всего, что со мною случается, вдруг явилась возможность все без утайки высказывать богу. Я предпочла бы, чтобы доверенным лицом было живое существо — Саша или покойная няня, но их не было, и я, стоя ночью на коленях, шопотом жаловалась господу богу на истязания Савельева, просила его, чтобы он скорей прибрал его

к себе, а если это грешно, чтобы он сделал его добрым; если же мне суждено погибнуть от его руки, я молила бога, чтобы он, как и няню, причислил меня к лику святых (я не сомневалась, что она святая) и дозволил мне уже никогда более не расставаться с нею; просила я его и о том, чтобы матушка любила меня, чтобы Саша перестала гувернантствовать. Чем более я молилась, чем пламеннее была моя молитва, тем более горячих слез проливала я, тем сильнее охватывало меня какое-то еще неведомое наслаждение и облегчение. Каждый раз, кончив молитву, я чувствовала, точно тяжелый камень сваливался у меня с сердца. Вместе с этим я все чаще стала отпрашиваться по воскресеньям в церковь с Дуняшею и решила строго придерживаться постов. По этому поводу я кстати хочу сказать несколько слов, еще более характерно рисующих облик моей матери.

Через несколько лет после нашего переезда в деревню насмешки помещиков над матушкой за ее странности (они видели их в том, что, будучи дворянкой, она работала не покладая рук, что она, как настоящий управляющий, с утра до вечера следила за деревенскими работами, что она издевалась над бездепием соседей, не позволяла барствовать своим дочерям, заставляла родную дочь «трепаться» по гувернанткам, что она запрещала сечь своих крестьян и т. д.) заменились истинным почтением. В конце концов всегда так бывает: если человек, не обращая внимания на предрассудки, твердо и уверенно идет к намеченной цели,— он достигает ее. Правильная, трудолюбивая жизнь моей матери, заметное улучшение совершенно расстроенного хозяйства, гордый, независимый нрав и ее уважение к бедняку, как бы он ни был презираем окружающими, если только она находила в нем надлежащие качества ума и сердца,— все это создало в нашей местности большую популярность моей матери. Помещики, которые прежде подсмеивались над нею, теперь приезжали к ней за советом как к опытной хозяйке. Презирая дрязги, раз-

доры и тяжбы, которые постоянно вели между собой наши соседи, матушка при возникновении недоразумений с ними, несмотря на свою крайнюю расчетливость, то и дело поступалась своим личным интересом, лишь бы ни с кем не судиться и не тягаться. И соседи зачастую представляли на ее суд споры между собой, уверенные в ее беспристрастном решении. Становой всем ставил ее в пример, потому что от нее никогда не поступает жалоб на своих крестьян и никаких кляуз на соседей, что в ее усадьбе нет ни одного крестьянина «в бегах». Он, как и многие местные жители, называл ее «мудрейшею». Прозвища и сжатые характеристики, которыми матушка награждала помещиков и помещиц, наиболее плохих в нравственном отношении, подхватывались на лету и переходили от одних к другим.

Как-то прошел слух, что настоятель ближайшего к нам мужского монастыря, пользовавшийся особенно скандальною репутациею, объезжает всех помещиков по какому-то делу. Услужливые кумушки сейчас же доложили нам, что между соседями идет спор: одни говорят, что моя мать не примет настоятеля, другие — что она «здорово намылит ему голову за его позорную жизнь». Двое помещиков со своими женами, чтобы быть свидетелями этого свидания и затем разносить рассказы о нем по всему уезду, приехали к нам, точно невзначай, за несколько часов до приезда настоятеля. И когда, наконец, он вошел, матушка по светскому обычаю протянула ему руку, но он резко повернул ее ладонью вверх для благословения; она отдернула ее, но и тут ничего не сказала бы ему, если бы он промолчал. Но монах вспылил и наставительно стал отчитывать матушку за то, что она, будучи матерью многочисленного семейства и помещицею, подает дурной пример — не выполняет правил и обрядов православной церкви: не постится, редко бывает в церкви, не подходит под благословение пастырей церкви. Матушка сдержанно отвечала ему, что она не подошла под его благословение, чтобы он, при своей жизни, непозволи-

тельной даже для порядочного мирянина, а тем более для монаха, да еще настоятеля, не принял это за насмешку с ее стороны; что же касается ее собственных прегрешений по части внешних обрядов, то она надеется, что бог, по своему милосердию, не покарает ее за них слишком строго в виду ее честной жизни, полной труда.

Настоятель, услышав ответ, весь побагровел и, вставая, сурово произнес: «По какому праву вы решаетесь делать столь неприличествующий моему сану афронт?». При этом он холодно кивнул головой присутствующим, как бы отдавая общий поклон, перекрестился на образа и немедленно уехал, не объяснив причины своего посещения.

Священник нашего села (мой преподаватель), приходивший в восторг от поведения матушки с настоятелем, к которому он относился крайне враждебно, упрашивал ее особенно настойчиво после этого инцидента поститься и чаще посещать церковь. По его мнению, каждый порядочный христианин православной религии должен строго выполнять предписанные ею обязанности, а для моей матери это сугубо обязательно, иначе это будет вредить ее репутации и подорвет ее авторитет, имеющий благотворное влияние в нашей местности. Рассуждения матушки по этому поводу красноречиво показывали, что она совершенно не понимала всей глубины наивности своих взглядов на христианские обряды, и они сильно покоробили священника. Она дала ему слово выполнить его желание,— ведь это ей ничего не будет стоить: рыбы в сажалке у нас достаточно, говорила она, и чем ее есть когда попало, она раз навсегда прикажет подавать ее в постные дни; масла конопляного выжимается много, и не мало его даже задаром пропадает, а маку в огороде столько, что и девать некуда,— пусть в постные дни приготовляют из него молоко. Что же касается посещения церкви, то и это теперь устроить легче, чем прежде, когда у нее в хозяйстве было меньше лошадей: ей недурно от-

влечься от хозяйственных забот, да и младшей дочке она доставит этим удовольствие, так как она «оказывается богомолкой и до смерти любит стукаться лбом об пол».

Таким образом, постные кушанья у нас появились не только в посты, но и по средам и пятницам; в то же время подавали и скоромный стол,— каждый ел то, что хотел. Я была в восторге и стала держать строгий пост. Мое время проходило теперь в молитве, в затверживании бесчисленного количества молитв и в чтении книг о жизни святых, которыми батюшка снабжал меня.

В начале рождественского поста все стали обращать внимание на перемену, происшедшую во мне: я исхудала, побледнела, домашние часто заставали меня в моей комнате на коленях перед образами днем, а матушка — ночью. Она уговаривала меня при постных кушаньях пить молоко, за неповиновение угрожала даже запрещением есть постное, упросила священника серьезно поговорить со мною на эту тему, но я не меняла своего образа жизни.

Несмотря на физическую слабость и зимнее время года, что заставляло меня сидеть больше дома, Савельев все реже нападал на меня: он постепенно переставал выходить из своей комнаты, откуда уже более не раздавались ни его окрики на сестру, ни ее стоны,— все это служило для меня знаком того, что молитва моя услышана. Однажды рано утром Нюта вбежала в нашу спальню с известием, что ее мужу очень плохо и что он просит немедленно послать за доктором. За несколько дней перед этим мы случайно узнали, что к помещику-соседу, верстах в десяти от нас, только что приехал из Петербурга какой-то родственник, который был в то же время военным доктором. Когда отправили за ним лошадей, как-то вышло так, что фамилия Феофана Павловича не была произнесена при нем, и он знал только, что его требуют в наше семейство. Но когда доктора ввели к больному, они узнали друг друга и от

волнения не могли говорить в первую минуту. Доктор только после освидетельствования Савельева узнал о том, что он женат на моей сестре.

Оказалось, что приехавший к нам господин был военным врачом в том самом полку, где служил Савельев, и, еще за несколько лет до удаления со службы последнего, находил в нем психическое расстройство. Дикие выходки Савельева, по словам доктора, известны были всем, знавшим его, и проявлялись в том, что он иногда, без всякой видимой причины, избивал до полусмерти денщика, приходившего к нему по поручению от сослуживцев, исключительно из ревности к французской актрисе, с которою он жил несколько лет. Эта особа хотя и не верила в его сумасшествие, но вследствие его диких выходок и невероятной ревности дала ему прозвище «fou-long» (сумасшедший-длинный). Товарищи подхватили этот эпитет и называли его не иначе, как г. Фулонг. Так же неосновательна была, по словам доктора, ревность Фулонга к его сослуживцам, и они, опасаясь крайне неприятных столкновений с ним, совсем перестали его посещать. Власти были прекрасно осведомлены обо всем, что проделывал Савельев, но не обращали ни малейшего внимания на все «истории» отчасти потому, что он был исполнительным служакою, отчасти потому, что его сожительница имела большие связи и страстно его любила. Но в конце концов он так измучил ее сценами ревности и она была так испугана одною из них, во время которой он ранил ее, что она решила не жить с ним более в одном городе. Как только она выздоровела, она употребила все усилия, чтобы удалить его со службы: по ее ходатайству Савельев был подвергнут исследованию психиатров, признавших его психически больным, и уволен от службы по прошению, но ни о причинах его увольнения, ни о его болезни не было упомянуто в служебном формуляре. В настоящее время Феофан Павлович, по мнению доктора, имел вид человека, несравненно более расстроенного психически, чем в то

время, положение же его в данную минуту он находил безнадежным: у него чахотка в последнем градусе, и едва ли он протянет неделю-другую.

Неожиданно для всех Нюту привело в отчаяние сообщение доктора: обливаясь слезами, она заклинала его всем святым никому не рассказывать о сумасшествии мужа. По ее словам, она столько приняла мук от него при его жизни, неужели же и после его смерти на ней вечно будет лежать печать позора за то только, что она, не подозревая о его сумасшествии, вышла за него замуж, к тому же не по своей воле... Этот страх сестры будет понятен для каждого, кто вспомнит, что в те отдаленные времена семья, в которой был сумасшедший, скрывала это, как величайший для нее позор.

Доктор был крайне поражен тем, что у Савельева, прожившего с нами столько времени, никто не заподозрил психического расстройства.

Савельев прожил гораздо больше, чем предсказывал доктор, и умер лишь в феврале. Я прогостила у Воиновых последние дни его жизни и еще долго оставалась у них после его похорон. Когда я возвратилась домой, я узнала, что от петербургского дядюшки получено письмо, в котором он извещал, чтобы матушка в августе привозила меня в Петербург, и прислал программу, по которой меня следовало подготовить к вступительному экзамену в институт. Известие, что я скоро и навсегда уеду из дому, чрезвычайно обрадовало меня в первую минуту. Но когда я пораздумала, что до осени остается еще много времени, я опять затосковала. Хотя от Савельева я уже не могла ожидать никаких каверз, но мысль, что в родительском доме меня всегда будут преследовать те или другие напасти, давно твердо засела в моей голове.

Моя напряженная религиозность, прерванная в чужом доме прежде всего тем, что я была отвлечена от нее играми с детьми, теперь проявилась с новою силой. Однажды матушка, не зная, что я сижу в сле-

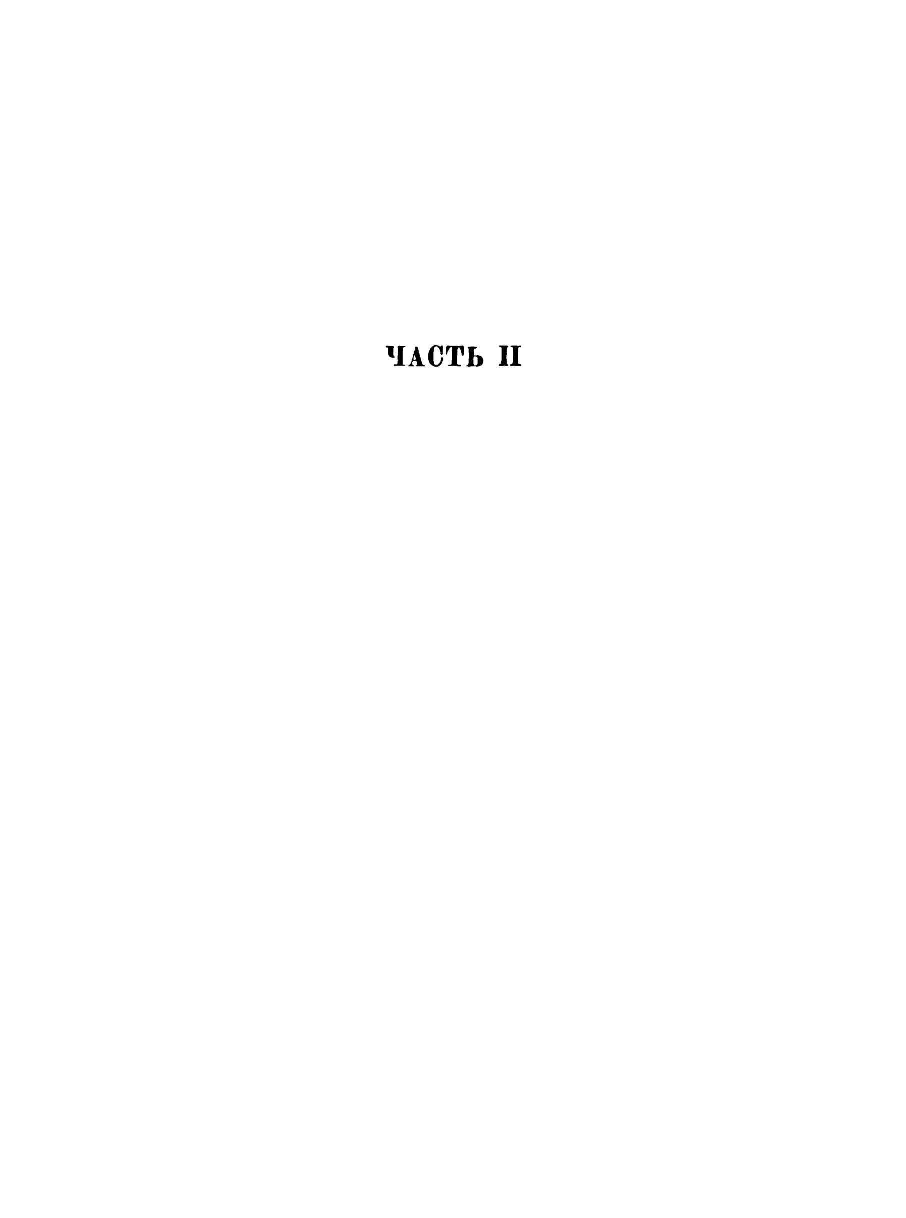
дующей от нее комнате, сказала сестре: «Ума не приложу, что мне делать с девочкой,— того и гляди из нее монахиня выйдет».

О монастыре я никогда не думала, но при этих словах моя фантазия разыгралась во-всю. Я удивлялась, как раньше мне не приходила в голову мысль посвятить себя богу: ведь таким образом я отмолила бы матушкины грехи, которые мне казались очень тяжкими по отношению ко мне, и избавилась бы от родительского крова. Когда я решилась высказать свою просьбу матушке о том, чтобы она поместила меня в монастырь, она начала так рыдать, что я тоже расплакалась. Слезы матери принесли мне утешение: ничто не могло заставить забиться мое сердце такою радостью и счастьем, как проявление ко мне горячих чувств матери,— к сожалению, она была крайне скупа на них. На другой день священник вместо урока все время убеждал меня в том, что девочки не могут делаться монахинями, а когда я кончу курс в институте и мое желание останется неизменным, никто не будет мешать мне его осуществить.

Но мои монастырские фантазии так же быстро исчезли, как и пришли. Мое сердце скоро было преисполнено радостною надеждой на свидание с Сашею: матушка прочитала мне свое письмо к ней, в котором она приказывала ей как можно скорее отказаться от всех занятий,— через недели две она пришлет за нею лошадей, чтобы она могла немедленно приступить к подготовлению меня по всем предметам институтской программы. Между прочим, она извещала ее и о том, что денег, которые она получила за ее занятия, а также и скопленных ею от хозяйства, хватит на поездку всех нас в Петербург.

Итак, мои ожидания новых несчастий на этот раз не сбылись: в марте стояли морозы, и наше озеро было покрыто крепким льдом; опасаясь новых фантазий с моей стороны, матушка часто начала посылать меня с Дуняшею к детям Воиновых, или они посещали нас.

Во второй половине апреля приехала Саша, и тут уже я сама решила, что при ней со мною не может произойти никаких несчастий. Я бодро начала готовиться к приемному экзамену, и, несмотря на усиленные занятия, мое здоровье стало быстро поправляться, и я все меньше предавалась молитве, а поститься совсем перестала, когда увидала, что Саша всегда ест скоромное.



ЧАСТЬ II

ГЛАВА VII

Дореформенный институт

Смольный монастырь.— Прием «новенских».— Начальница Леонтьева.— Ратманова.— Бегство Голембиовской.

Институт в прежнее время играл весьма крупную роль в жизни нашего общества. Институтки в качестве воспитательниц и учительниц, как своих, так и чужих детей, очень долго имели огромное влияние на умственное и нравственное развитие целого ряда поколений. Однако, несмотря на это, правдивое изображение института долго было немыслимо. В прежнее время в печати можно было говорить либо только о внешней стороне жизни в институте, либо восхвалять воспитание в нем. Это тем более странно, что цензура уже давно начала довольно снисходительно относиться к статьям, указывающим недостатки учебных заведений других ведомств. Но лишь только касались закрытых женских учебных заведений и в них указывались какие-нибудь несовершенства, такие статьи пропускали только в том случае, когда выражения: «классные дамы», «начальница», «инспектриса», «институтка» были заменены словами: «гувернантки», «мадам», «пансион», «пансионерка» и т. п.

В этом очерке я говорю исключительно о Смольном, этом древнейшем и самом огромном из всех подобных образовательных учреждений. Он долго служил образцом для устройства не только остальных институтов, но и многих пансионов и различных женских учебных заведений. Мне кажется, не безынтересно познакомиться с результатами воспитания в Смольном, в основу принципов которого его основателями (Екатериною II и Бецким) были положены передовые идеи Западной Европы [24].

В числе способов обучения устав этого воспитательного среднеучебного заведения требует «паче всего возбуждать в воспитываемых охоту к чтению книг, как для собственного увеселения, так и для происходящей от того пользы». Он вменяет в обязанность «вперять в них (детей) охоту к чтению» и ставит непременным условием иметь в заведении библиотеку. Кроме того, устав возлагает на воспитателей обязанность «возбуждать в детях охоту к трудолюбию, дабы они страшились праздности, как источника всякого зла и заблуждения». Он указывает на необходимость научить детей «соболезнованию о бедных, насчастливых и отвращение от всяких продерзостей». Мало того: для сохранения здоровья предписывается увеселять юношество «невинными забавами», чтобы искоренить все то, что «скукою, задумчивостью и прискорбием назваться может». Путем такого гуманного воспитания императрица Екатерина II думала создать в России *новую породу людей*.

Что эти мечты Екатерины II не могли осуществиться в ее царствование, когда Россия была погружена в беспросветный мрак невежества,— это понятно, но посмотрим, что представлял институт почти через сто лет после своего основания.

В одно ясное, солнечное, но холодное октябрьское утро я подъезжала с моею матерью к Александровской половине Смольного *, с тем, чтобы, вступив в него, оста-

* Смольный институт (основан в 1764 г.) до начала в нем нововведений, т. е. до 1860 г., состоял из двух учебных заведений;

ваться в нем до окончания курса. Но высокие монастырские стены, которые с этой минуты должны были изолировать меня на продолжительное время не только от родной семьи, но, так сказать, от всех впечатлений бытия, от свободы и приволья деревенского захолустья, откуда меня только что вывезли, не смущали меня. Матушка много рассказывала мне об институте, но, не желая, вероятно, волновать меня, недостаточно останавливалась на его монастырской замкнутости: все ее рассказы оканчивались обыкновенно тем, что у меня будет много-много подруг, что с ними мне будет очень весело. В детстве я страдала от недостатка общества сверстниц, и это известие приводило меня в восторг. Мое настроение было такое бодрое, что меня не смутил и величественный швейцар в красной ливрее, который распахнул перед нами двери института.

Не успели мы еще снять верхнюю одежду, как в переднюю вошли дама с девочкой приблизительно моего возраста. Как только мы привели себя в порядок, к нам подошла дежурная классная дама, m-lle Тюфяева, по внешности особа весьма антипатичная, очень

Общества благородных девиц, или Николаевской половины, и Александровского училища, или Александровской половины [25]. На Николаевскую половину принимали дочерей лиц, имеющих чин не ниже полковника или статского советника, и потомственных дворян; на Александровскую половину — дочерей лиц с чином штабс-капитана или титулярного советника до полковника или коллежского советника, а также детей протоиереев, священников, евангелических пасторов и дочерей дворян, внесенных в третью часть дворянской книги [26]. Оба эти огромные заведения состояли под главенством одной начальницы и одного инспектора. Лишь через сто лет после основания Смольного состоялось отделение Александровской половины от Николаевской, т. е. полное обособление одного института от другого. С этого времени Александровская половина Смольного получила особую начальницу и своего инспектора. Это разделение произошло по желанию императрицы Марии Александровны [27], обратившей внимание на неудобства совместного существования двух огромных институтов. Я описываю преимущественно воспитание на Александровской половине Смольного перед эпохой реформ и во время ее.

старая и полная, и заявила нам, что инспектриса, m-me Сент-Илер [28], не может нас принять в данную минуту: «Вы не только опоздали на три месяца привезти ваших дочерей, но и сегодня вас ожидали к девяти часам утра, как вы об этом писали. К этому времени приглашены были и экзаменаторы. Теперь одиннадцать часов, и учителя заняты...».

Моя матушка и m-me Голембиовская начали извиняться, но m-lle Тюфяева, не слушая их, попросила нас всех следовать за нею в приемную; при этом она не переставая ворчала на наших матерей, и ее однообразная воркотня раздавалась в огромных пустых коридорах как скрип неподмазанных колес.

Когда классная дама вышла из комнаты, мне захотелось поболтать с новою подругою, но это не удавалось: она стояла около своей матери, то прижимаясь к ней, то нервно хватая ее за руки, то припадая к ее плечу и жалобно выкрикивая: «Мама, мама!», а слезы так и лились из ее глаз.

Мать и дочь Голембиовские были чрезвычайно похожи друг на друга, но так, конечно, как может походить тридцатипятилетняя женщина на десятилетнюю девочку. Обе они были брюнетки, с большими черными глазами, бледные, худощавые, с подвижными лицами и правильными, красивыми чертами лица, обе одеты были в глубокий траур, т. е. в черные платья, обшитые белыми полосами, называемыми тогда плерезами.

Не получив поощрения со стороны моей будущей подруги Фанни для сближения с нею, я стала прислушиваться к разговору старших. Вот что я узнала. M-me Голембиовская была полька-католичка, как и ее муж, который умер несколько недель тому назад. Оставшись с дочерью Фанни без всяких средств, она переехала из провинции в Петербург и поселилась в семье своего родного брата, который зарабатывал хорошие средства, но имел большую семью. Г-жа Голембиовская занималась у него хозяйством и обучала его детей иностранным языкам, которые она хорошо знала. Ее брат вы-

хлопотал для Фанни, своей племянницы, стипендию у какого-то магната, которая и дала возможность поместить ее в институт.

Прозвонил колокол, и к нам вошли пепиньерка* и учитель русского языка: первая должна была заставить меня ответить молитвы и проэкзаменовать нас обеих из французского языка, а учитель — из русского. Экзамен был совершенно пустой и благополучно сошел для нас обеих. Через несколько минут m-lle Тюфяева повела нас, новеньких, одеваться в переднюю. Мы должны были явиться к начальнице вместе с нею и отправились по бесконечным холодным и длинным коридорам. Туда же обязаны были явиться и наши матери, но им приходилось сделать эту дорогу не коридорами, которыми ходили лишь люди, так или иначе прикосновенные к институту, а по улице, и войти к начальнице с подъезда Николаевской половины.

Мне так хотелось увидеть поскорее моих будущих подруг, что у меня моментально вылетел из головы грубый прием m-lle Тюфяевой; не обратила я внимания и на официальное выражение ее лица и непринужденно начала засыпать ее вопросами:

— Где же девочки, тетя?

— Я тебе не тетя! Ты должна называть классных дам — mademoiselle.

Сердитый окрик заставил меня замолчать. Но вот и приемная.

Начальница Смольного, Мария Павловна Леонтьева**, была в это время уже старухою, с обрюзгшими и от-

* Воспитанницы педагогического класса назывались пепиньерками. Кроме слушания лекций в институте, они должны были дежурить в кофейном, т. е. младшем, классе во время болезни классных дам и спрашивать в это время уроки у маленьких. Пепиньерки одевались лучше и красивее всех остальных воспитанниц: их форменное платье — серое с черным передником, с кисейною, а по праздникам и с кружевною пелеринкою. В праздничные дни они пользовались правом уезжать по очереди домой.

** Урожденная Шипова. Мария Павловна получила образование в Смольном. Вскоре после окончания ею курса императ-

висшими щеками, с совершенно выцветшими глазами, без выражения и мысли. Ее внешний вид красноречиво говорил о том, что она прожила свою долгую жизнь без глубоких дум, без борьбы, страданий и разочарований. Держала она себя чрезвычайно важно, как королева первостепенного государства, давая чувствовать каждому смертному, какую честь оказывает она ему, снисходя до разговора с ним.

Она, действительно, была немаловажною особой: начальница старейшего и самого большого из всех институтов России, она, и помимо этого, имела большое значение по своей прежней придворной службе, а также и вследствие покровительства, оказываемого ей последовательно тремя государынями; она имела право вести переписку с их величествами и при желании получать у них аудиенцию. К тому же Леонтьева имела огромные связи не только при нескольких царственных дворах, но и вела знакомство с высокопоставленными лицами светского и духовного звания. Своего значения она никогда не забывала: этому сильно помогали огромное население двух институтов и большой штат классных дам и всевозможных служащих той и другой половины Смольного, которые раболепно пресмыкались перед нею. Забыть о своем значении она не могла уже и потому, что была особою весьма невежественною, неумною от природы, а на старости лет почти выжившею из ума. От учащихся она прежде всего требовала смирения,

рица Мария Федоровна [29] назначила ее фрейлиной к своей дочери, великой княгине Екатерине Павловне [30], вышедшей впоследствии замуж за принца Георгия Ольденбургского [31]. Затем Мария Павловна Шипова вышла замуж за генерала Леонтьева, но когда ей было 45 лет, она овдовела и была пожалована императрицей Александрой Федоровной гофмейстериной ко двору своей дочери, великой княгини Марии Николаевны [32], бывшей замужем за герцогом Лейхтенбергским [33]. В 1839 г. Леонтьеву назначили начальницею в Смольный, где она прослужила тридцать шесть лет и умерла на своем посту восьмидесятидвухлетней старухой. Таким образом, сорок пять лет своей жизни Леонтьева провела в институте, из них девять лет как воспитанница, а тридцать шесть лет как его начальница.

послушания и точного выполнения предписанного этикета, а классные дамы, согласно ее инструкциям, должны были все свои педагогические способности направить на поддержание суровой дисциплины и на строгое наблюдение за тем, чтобы никакое влияние извне не проникало в стены института. Порядок и дух заведения строго поддерживались ею; перемен и нововведений она боялась, как огня, и ревниво охраняла неизменность институтского строя, установившегося испокон века. Нашею непосредственною начальницею была инспектриса, m-me Сент-Илер, которую мы называли «maman», но мы часто видели и нашу главную начальницу, Леонтьеву: ежедневно, по очереди, двое из каждого класса носили ей рапорт о больных, каждый большой праздник воспитанницы должны были являться в ее апартаменты с поздравлениями, она присутствовала на всех наших экзаменах, от времени до времени приходила на наши уроки или в столовую во время обеда, и, кроме всего этого, мы каждую субботу и воскресенье видели ее в церкви. За все время моего пребывания в институте я никогда не слыхала, чтобы она кому-нибудь из нас сказала ласковое, сердечное слово, задала бы вопрос, показывающий ее заботу о нас, чтобы она проявила хотя малейшее участие к больной, которая, как ей было известно из ежедневно подаваемых рапортов, пролежала в лазарете несколько месяцев в тяжелой болезни. Она посещала и лазарет, но разговаривала с воспитанницами не иначе, как строго официально. Являясь к нам на экзамены, Леонтьева никогда не интересовалась ни умственными способностями той или другой ученицы, ни отсутствием их у нее. Принимая от нас рапорты, она спрашивала, какое евангелие читали в церкви в последнее воскресенье или по поводу какого события установлен тот или другой праздник. На экзаменах она поправляла только произношение отдельных слов, и не потому, что оно было неправильно, а потому, что у нее было несколько излюбленных слов, произношением которых ей никто не мог угодить. Как бы воспитанница

ни произнесла «святый боже», «божественный», «тысяча», «человек», она сейчас заставляла ее повторять эти слова за собою. Когда мы отвешивали ей реверанс при ее появлении, она непременно замечала по-французски: «Вы должны делать глубже ваш реверанс!», а когда мы сидели, она каждый раз считала долгом сказать: «Держитесь прямо!».

В церкви мы стояли стройными рядами, но как только входила начальница, она начинала все перестраивать по-своему: воспитанниц маленького роста ставила в проходах, а более высоких — к клиросу, а другой же раз вытягивала на середину больших ростом, а маленьких выставляла у проходов, и так далее до бесконечности. Если на следующий раз дежурная дама ставила в церкви воспитанниц так, как угодно было начальнице поставить их в последний раз, та все-таки переставляла их по-своему. Этим и ограничивались все «материнские» заботы начальницы Леонтьевой относительно воспитанниц Александровской половины. Одним словом, нашею начальницею, без преувеличения можно сказать, была не женщина, а просто какой-то каменный истукан, даже в то рабское, крепостническое время, поражавшая всех своим бездушным, деревянным отношением к воспитанницам. Однако эта особа умела превосходно втирать очки кому следует. Ее письма и отчеты государыне дышат необыкновенною добротой к детям, снисхождением и всепрощением ее любвеобильного сердца. В 1851 г. Леонтьева пишет императрице: «Дети всегда послушны, за редкими исключениями, когда их волнует живость, простительная в их возрасте». Через несколько лет, возвращаясь после летнего отдыха из деревни, она пишет: «Велика моя радость снова увидеть мою милую, многочисленную семью!». («Статс-дама Мария Павловна Леонтьева. Составила З. Е. Мордвинова», стр. 85, 93).

По установившимся традициям и кодексу весьма своеобразной институтской морали, нередко, впрочем, не имевшей ничего общего с здравым смыслом, началь-

ница, несмотря на свой престарелый возраст, должна была иметь величественный вид, даже и в том случае, если природа не наделила ее для этого никакими данными. Для достижения этой цели Леонтьева прибегала к незамысловатым средствам: она всегда туго зашнуровывалась в корсет, ходила в форменном синем платье и в высоком модном чепце. Разговаривая с подчиненными, она смотрела не на них, а поверх их голов, до смешного растягивала каждое слово, все произносила необыкновенно торжественно, не давала возможности представлявшимся ей лицам вдаваться в какие бы то ни было объяснения, а тем более подробности, и допускала лишь лаконический ответ: «да» или «нет, ваше превосходительство», имела всегда крайне надменный вид и застывшую улыбку или, точнее сказать, гримасу на старческих губах, точно она проглотила что-нибудь горькое.

Когда мы, новенькие, в первый раз подходили к приемной начальницы, мы встретили наших матерей и вошли вместе с ними в сопровождении m-lle Тюфяевой. В огромной приемной, обставленной на казенный лад, у стены против входной двери сидела на диване начальница Леонтьева, а подле нее, на стуле, ее компаньонка Оленкина.

— Мама! Мама! — вдруг закричала Фанни, бросаясь в объятия матери. Этот крик раздался совершенным диссонансом среди гробовой тишины.

Начальница чуть-чуть приподняла голову, что для Оленкиной, видимо, послужило сигналом узнать фамилии новоприбывших, так как она быстро подошла к нашим матерям, а затем начала что-то шептать на ухо начальнице.

— Потрудитесь подойти! Сюда! Ближе! Я прежде всего попрошу вас покончить с этою сценой... Можете садиться! — И Леонтьева величественным жестом указала Голембиовской на стул против своего стола.

Фанни подбежала к матери и крепко вцепилась в ее юбку.

— Видите ли,— снова обратилась начальница к Голембиовской,— каких недисциплинированных, испорченных детей вручаете вы нам!

— Испорченных? — переспросила Голембиовская с изумлением, в своей провинциальной простоте не понимавшая ни величия начальницы, ни того, как с нею следует разговаривать. — Уверяю вас, сударыня, что моя Фанни послушная, ласковая, привязчивая девочка!.. А то вдруг «испорченная»! Как же это можно сказать, не зная ребенка!

В ту же минуту над ее стулом наклонилась компаньонка Оленкина и шопотом, который был слышен во всей комнате, произнесла, отчеканивая каждое слово:

— Должны называть начальницу — ваше превосходительство. Вы не имеете права так *вольно* разговаривать с ее превосходительством! Извольте это запомнить!

— Извините, ваше превосходительство,— заговорила переконфуженная Голембиовская.— Я вас назвала не по титулу... Я ведь провинциалка! Всех этих тонкостей не разумею... Все же о своей девочке опять скажу вам: золотое у нее сердечко! Будьте ей матерью, ваше превосходительство: она ведь у меня сиротка! — И слезы полились из глаз бедной женщины.

— Мне страшно, мама! — вдруг со слезами в голосе завопила ее дочь.

— Сударыня! Моя приемная не для семейных сцен! Извольте выйти в другую комнату с вашей дочерью и ждать классную даму.

Тогда к начальнице подошла моя мать и начала рекомендовать себя на французском языке, которым Голембиовская не сумела воспользоваться, хотя свободно говорила на нем. В то время знание французского языка облагораживало и возвышало каждого во мнении общества, тем более громадное значение оно имело в институте. Вероятно, вследствие этого начальница благосклонно кивнула ей головой, но когда моя мать выразила свое удовольствие по поводу того, что ее дочь принята на казенный счет и получит образование, ко-

торого она за отсутствием материальных средств не могла бы дать сама, Леонтьева возразила ей не без иронии: «Если бы вы понимали, какое это счастие для вашей дочери, вы могли бы в назначенное время доставить ее сюда!» — и, кивнув головой в сторону m-lle Тюфяевой, она показала этим, что аудиенция окончена.

Мы шли обратно так же, как и пришли: матери отдельно, мы — в сопровождении Тюфяевой. Общее молчание нарушалось на этот раз только всхлипываниями Фанни. Когда мы вошли в комнату, в которой экзаменовались, наши матери уже сидели в ней. Фанни не замедлила броситься со слезами в объятия своей матери. M-lle Тюфяева резко заметила:

— Прошу прекратить этот рев!.. Через несколько минут, когда я приду за девочками, мы уже сами позаботимся об этом, а теперь это еще ваша обязанность!

— Ах, милая m-lle Тюфяева,— с мольбой обратилась к ней Голембиовская,— скажите ей хоть одно ласковое словечко... хоть самое маленькое!.. Ведь у нее от всех этих приемов сердчишко, точно у пойманной птички, трепыхает...

— Трепыхает! Это еще что за выражение! «Молчать!» — вот что вы должны сказать вашей дочери! Вы своими телячьими нежностями и начальницу осмелились обеспокоить, а тут опять начинаете ту же историю! — И она направилась к двери.

— Покорись, дитятко! Перестань плакать, сердце мое! — покрывая дочь страстными поцелуями, приговаривала Голембиовская, не обращая внимания на то, что классная дама остановилась и смотрит на них.— Что же делать, дитятко! Тут уж, видно, и люди так же суровы, как эти каменные стены!

— А! — прошипела Тюфяева.— Я сейчас доложу инспектрисе, какие наставления вы даете вашей дочери!

Моя мать, испуганная за Голембиовскую и понимая, как это может повредить ее дочери, подбежала к Тюфяевой и начала умолять ее:

— Сжальтесь... Сжальтесь над несчастной женщиной! Она в таком нервном состоянии!

M-lle Тюфяева грубо отстранила мою мать рукой; в эту минуту Фанни вскрикнула и без чувств упала на пол. Тюфяева быстро вышла за дверь, а затем к нам вбежало несколько горничных и бесчувственную Фанни понесли в лазарет. За ними последовала и ее мать. Я наскоро простилась с моею матерью, и так как передо мной уже выросла Тюфяева, я отправилась за нею. Она привела меня на урок рисования. Я как-то машинально проделывала все, что мне приказывали, и очнулась от рассеянности только тогда, когда прозвонил колокол. Девочки задвигались и стали подбегать ко мне с вопросами.

— Молчать! Становиться по парам! — кричит классная дама Петрова и устанавливает воспитанниц по росту, пару за парой,— маленьких впереди, девочек более высокого роста — позади. То одна воспитанница выдвинется несколько вбок, то другая подастся вперед,— классная дама сейчас же равняет таких: немедленно подбегает к ним, одну толкает назад, ее соседку двигает вперед, кого ставит правее, некоторых дергает влево и, наконец, в строгом порядке ведет в столовую, выступая впереди своего отряда. По институтским правилам требовалось, чтобы воспитанницы, куда бы они ни отправлялись, выступали как солдаты, представляя стройную колонну, и двигались без шума. Если предводительница этой женской армии прибавит шагу,— и воспитанницы должны итти скорее, не расстраивая колонны; при этом они обязаны молчать; если одна из воспитанниц произносила хотя слово, такое преступление редко оставалось безнаказанным, особенно в кофейном классе.

Трудно представить, как много времени уходило на установку по парам. В столовую водили четыре раза в день (на утренний и вечерний чай, к обеду и завтраку), следовательно, туда и назад по парам строились восемь раз; то же делали, когда отправлялись на про-

гулку и возвращались после нее; таким образом тратили более часу времени, а по субботам и праздникам, когда приходилось отправляться в церковь, и еще того больше.

В то время, которое я описываю, начальство института уже не имело права давать волю рукам: оттрепать по щекам или избить чем попало по голове, высечь розгами, как это бывало раньше, в мое время не практиковалось даже и в младшем классе, но толчки, пинки, весьма чувствительное обдергивание со всех сторон, брань, бесчисленные наказания, особенно в младшем классе, были обычными педагогическими воздействиями.

К молчанию и безусловному повиновению институток приучали весьма систематично. Впрочем, на женщину в то время вообще смотрели как на существо, вполне подчиненное и подвластное родителям или мужу,— институт стремился подготовить ее к выполнению этого назначения, но чаще всего достигали совершенно противоположных результатов. От нас требовалось или молчание, или разговор полушопотом, и так в продолжение всего дня, кроме перемен между уроками, когда громкий разговор не вызывал ни окрика, ни кары. Наиболее суровые классные дамы ограничивали и суживали даже ничтожные привилегии «кофулек» (воспитанниц младшего класса), которым по праздничным дням, вечером, дозволялось бегать, играть и танцовать. Как только они поднимали шум и возню даже в такие дни, классные дамы кричали: «По местам! вы не умеете благопристойно держать себя!». Дети послушно садились на скамейки и, получая постоянно нагоняй за резвость, все реже предавались веселью.

Как ни была жива и шаловлива девочка при поступлении в институт, суровая дисциплина и вечная муштровка, которым она подвергалась, а также полное отсутствие участия и ласки быстро изменяли характер ребенка. Если девочка свыкалась с институтским режимом, а наклонность к шаловливости еще не совсем

пропадала в ней, ее неудержимо влекли к себе глупые и пошлые шалости.

Когда я в первый раз вошла в столовую, меня удивило огромное число наказанных: некоторые из них стояли в простенках, другие сидели «за черным столом», третьи были без передника, четвертые, вместо того чтобы сидеть у стола, стояли за скамейкой. Но мое любопытство особенно возбудили две девочки: у одной из них к плечу была приколота какая-то бумажка, у другой — чулок. Когда после пения молитвы мы уселись за завтрак, я больше уже не могла выносить молчания и стала расспрашивать соседку, можно ли разговаривать; та отвечала, что можно, но только тихонько. И меня с двух сторон шопотом начали просвещать насчет институтских дел. Когда у девочки приколота бумажка, это означает, что она возилась с нею во время урока; прикрепленный чулок показывал, что воспитанница или плохо заштопала его, или не сделала этого вовсе, «а за что наказаны старшие воспитанницы (белого класса) — нам, кофейным, неизвестно».

После завтрака нас повели в дортуар, где мы должны были надеть гарусные капоры и камлотовые салопчики, чтобы отправиться в сад на прогулку. Институтский туалет в дореформенный период отличался необыкновенным безобразием: только платья шили более или менее по фигуре, а верхнею одеждою и бельем воспитанницы должны были довольствоваться что кому попало. Нередко девочке весьма полной доставался салоп от худенькой, и она еле натягивала его на себя. Воспитанницы старших и младших классов, одетые в салопы допотопного фасона и в гарусные капоры, скорее походили на богадельных старушонок, чем на детей и молоденьких девушек.

Воспитанницы гуляли в саду по получасу, и притом только по мосткам, как всегда, по парам, под предводительством классной дамы и нередко под аккомпанемент ее воркотни и распеканий. Она находила для этого много поводов: то ей досаждал «дурацкий смех» кого-

нибудь из воспитанниц, то пилила она тех, которые отставали от других или чуть-чуть выходили из пары, то за то, что кто-нибудь на минуту соскакивал с мостков. Воспитанницы ненавидели эти прогулки и были бесконечно счастливы, когда их находчивость помогала им сослаться то на ту, то на другую несуществующую болезнь, чтобы избавить себя от этой неприятной повинности. Через полчаса после прогулки мы возвращались в том же порядке.

Меня, как новенькую, отправили к кастелянше, которая оказалась женщиною добрейшей души. Вообще нельзя сказать, чтобы в институте совсем не было хороших людей. Кроме нее, обе лазаретные дамы, а также и доктор были весьма добрые существа. Но замечательно, что все эти личности не играли ни малейшей роли в институте и только в экстренных случаях сталкивались с воспитанницами. К тому же все они жили своею особою жизнью, обособленно от институтского мира, что и давало им возможность сохранить душу живу.

— Что же ты так грустна, милая девочка? — ласково спросила меня кастелянша.

Это было первое ласковое слово, которое я услыхала в стенах института, и вместо ответа я припала к ее плечу и залилась слезами. Она дала мне выплакаться, напоила меня кофеем и усадила к столу.

— Жаль, что тебя не привезли к общему приему, тремя месяцами раньше; тебе было бы легче привыкать вместе с другими новенькими.

На мой вопрос, почему классные дамы такие сердитые, она отвечала:

— Потому что у них своих крошек не было. Запомни, детка: как можно меньше с ними разговаривай,— они и придираться меньше будут к тебе.

Доброе отношение милой женщины успокоило меня, и, примеривая то одно, то другое, я выражала свое удивление:

— Какая рубашка! Ведь она свалится с плеч! А эта у меня до полу доходит.

— Меньше нет: все белье шьется у нас по безобразным образцам. Зато в длинной рубашке теплее будет спать. Ночью у вас холодно: ваши одеяла ветром подбиты, спите вы без ночных кофт,— длинной рубашкой хоть ноги себе обмотаешь.

Наконец я превратилась в казенную воспитанницу. На мне надето было плохо сидевшее камлотовое платье коричневого цвета — символ младшего класса; оно было декольте и с короткими рукавами. На голые руки надевались белые рукавчики, подвязанные тесемками под рукавами платья; на голую шею накидывали уродливую пелеринку; белый передник с лифом, который застегивался сзади булавками, довершал костюм. Пелеринка, рукавчики, передник были из грубого белого холста и по праздникам заменялись коленкоровыми.

Форма чрезвычайно меняла наружность новенькой: даже грациозная миловидная девочка казалась в ней неуклюжей. Камлотовое платье было настолько коротко в младшем классе, что выставляло на показ жалкие кожаные башмаки, которые скорее можно было назвать туфлями или шлепанцами, и грубые белые нитяные чулки.

Пока новенькая не умела приноровиться к своему форменному наряду так, чтобы ее безобразные туфли не падали с ног, чтобы рукавчики не сползали, чтобы платье не расстегивалось позади, она ходила тяжело ступая и имела крайне неуклюжий вид. В первый раз на свидании с родными новенькая обыкновенно поражала их своею переменой, и они, не стесняясь, повторяли на все лады: «Какой смешной наряд! Как он тебя безобразит!». К тому же, этот наряд совсем не был приноровлен к условиям жизни: холщевая пелеринка, накинутая на плечи, не защищала от зимнего холода, когда термометр в классе показывал десять и даже девять градусов, а во время уроков приходилось сидеть с обнаженными плечами.

Не успела я еще переодеться в форменное платье, как в комнату кастелянши вошла пепиньерка с заме-

чательно симпатичным лицом и заявила, что поведет меня в приемную залу, где меня ожидает моя сестра.

Нужно заметить, что в Петербург со мною приехала не только матушка, но и обе мои сестры: старшая, Нюта, которая была уже вдовою, несмотря на свой девятнадцатилетний возраст, и Шура. Им очень хотелось присутствовать на моем приемном экзамене, но матушка побоялась, что это не будет дозволено институтским начальством. Однако Шурка не могла утерпеть, чтобы не посетить меня в тот же день.

Какой это был для меня приятный сюрприз! Когда я увидала Сашу, я бросилась в ее объятия. Горячие поцелуи и слезы сказали ей без слов о тяжелом впечатлении, произведенном на меня институтом.

— Дурная, дурная ты у меня девочка,— нежно журила она меня.— Чуть что нехорошо — тебя сейчас точно камнем придавит, а что получше, того ты не замечаешь! От матушки я уже знаю, что было у вас утром... Что же делать! Но не все же дурно? Я только что вошла сюда и сейчас же нашла, что и тут есть сердечные люди! Я ведь не рассчитывала, что мне удастся увидеть тебя сегодня: думаю — узнаю хотя от швейцара, что ты теперь поделываешь... Вхожу и встречаю ту прелестную молодую девушку — пепиньерку, которая тебя привела сюда, объясняю ей, что моя семья останется в Петербурге лишь полторы недели, прошу ее посоветовать мне, у кого бы похлопотать о возможности видеться с тобою ежедневно в это короткое время. Что же ты думаешь! Она потащила меня за собой и говорит: «Я поведу вас к инспектрисе, я ее родная дочь, и уверена, что она устроит для вас все, что возможно». И знаешь, я просто была очарована вашей инспектрисою! Хотя она сегодня совсем больна, но меня поразила ее красота, изящество, ее привлекательные манеры! Она позволила нам всем посещать тебя ежедневно в продолжение полутора недель.

Свидание с любимою сестрою совершенно изменило мое настроение: все тяжелое, что я испытала и пере-

чувствовала в тот день, исчезло без следа, и я отправилась в дортуар (спальню) уже к своей классной даме *. Нужно заметить, что, поступив в дортуар к той или другой даме, воспитанница вместе с нею переходила из одного класса в другой,— одним словом, была под ее руководством во все время своего воспитания. Так устроено было для того, чтобы классная дама могла хорошо изучить характеры вверенных ей тридцати, а то и более воспитанниц, привязаться к ним всею душой, сделаться для них истинною наставницею, руководительницею, матерью. Но при мне эти родственные узы проявлялись в одном: если воспитанница была накануне наказана не своею дамою, она обязана была заявить об этом на другой же день своей дортуарной даме. Узнав об этом, дама обыкновенно находила необходимым наказать во второй раз ту, которая была уже наказана накануне. Я поступила к классной даме m-lle Верховской, в то время когда в другом отделении классною дамою была Тюфяева.

— Покажи-ка, как тебя нарядили? — спросила меня m-lle Верховская.

— Башмаки с ног падают...— пожаловалась я.

— А ты еще крепче рассердись, тогда тебе уже наверное пришлют изящные ботинки,— мило пошутила m-lle Верховская.

* В дореформенное время воспитанницы Александровской половины делились на два класса: на младший (кофейный) и старший (белый) в зеленых платьях. В том и другом из них оставались по три года. Каждый класс делился на два отделения, а каждое отделение — на два дортуара; один из них находился под руководством одной, другой — под руководством другой классной дамы. Воспитанницы одного дортуара спали в одной спальне и были связаны между собою теснее, чем с подругами другого дортуара, хотя они и были с ним в одном отделении, сидели в одной общей классной комнате, учились у одних и тех же учителей. Так как в каждом отделении были по два дортуара, а следовательно, и по две классных дамы, то они дежурили в классе по очереди и одна из них в свободное время могла уезжать из института.

Воспитанницы, обрадованные веселым настроением своей дамы, громко засмеялись.

— Ах, тетечка,— вдруг закричала я, в восторге от того, что поступила к такой, как мне показалось, веселой и доброй даме,— какая вы добрая! какая вы красавица! — И я бросилась к ней на шею и расцеловала ее в губы.

Воспитанницы, поступившие в институт за три месяца до меня и уже успевшие освоиться с институтскими нравами, с ужасом наблюдали эту сцену. Поцеловать классной даме руку или плечо не только дозволялось, но считалось похвальною почтительностью, поцеловать же ее в губы было верхом неприличия и фамильярности; впрочем, это случалось только с новенькими, да и то в редких случаях.

— Ну, милейшая моя племянница, это, знаешь ли, чересчур нежно. Здесь это не принято,— отстраняя меня, сказала m-lle Верховская.— К тому же, ты должна всех классных дам называть «mademoiselle», а не «тетечка». Через неделю-другую, когда ты будешь уже не новенькая, а старенькая, ты должна будешь это твердо помнить.

Все это, однако, было сказано очень мило. Затем мы по очереди должны были подходить к ней и читать по-русски и по-французски. Наконец она ушла в свою комнату.

Когда мы остались одни, девочки окружили меня и стали закидывать вопросами. Но когда я выразила радость по поводу того, что поступила не к Тюфяевой, которая мне очень не понравилась, а к Верховской, воспитанницы потянули меня к двери дортуара, на противоположном конце которого находилась комната нашей дамы, говоря, что тут будет менее слышен наш разговор. Перебивая друг друга, они сообщили мне о том, что Верховская нередко поступает с ними еще хуже, чем Тюфяева. Но меня это не взволновало: я подумала, что девочки сами сильно шалили. А мне чего же бояться? Я собиралась быть очень прилежной и

послушной, чтобы по окончании курса получить золотую медаль, как я это обещала моей любимой сестре и матушке.

— А ты зачем подлизывалась? Зачем полезла целовать Верховскую в губы? — накинулась на меня одна из подруг, по фамилии Ратманова.

Я очень переконфузилась, не зная, что ответить. Но тут все девочки стали меня защищать, оправдывая мой поступок тем, что я новенькая, и просили меня показать им вещи, привезенные из дому. Меня схватили с обеих сторон за руки, и мы все вместе побежали к табурету, в ящике которого уже стояла моя шкатулка. Для удобства мы опустились на колени и начали вынимать из шкатулки различные сверточки: карандаши, вставочки для пера, перочинные ножички и другие классные принадлежности.

— Ну, это не интересно! — отрезала Ратманова. Это была худощавая, высокого роста девочка, с смеющимися глазами на выкате, портившими ее миловидное нервное подвижное лицо, придавая ему насмешливое, иногда даже наглое выражение.

— Почему же не интересно? — в обиде за меня перебила ее Ольхина, болезненная бледная девочка с синими глазами.— Ратмановой всегда нравится только то, что дорого стоит и нарядно!

— А ты любишь только гадость!.. Недаром ты постница и богомолка! — бросила ей Ратманова.

— Перестаньте браниться! Пусть новенькая покажет нам все, что у нее есть! — кричали со всех сторон.

Я сняла верхнее отделение своей шкатулки, которое кроме классных принадлежностей было занято конфетами с картинками. Каждой девочке я дала по конфетке и одну из них протянула Ратмановой.

— Я не нуждаюсь в такой дряни! — запальчиво закричала она, бросая назад поданное ей.— Если хочешь мне что-нибудь подарить, дай мне вот эту конфетку,— и она указала на самую лучшую. Но она так нравилась мне самой, что я сильно поколебалась и, чувствуя,

что краснею, в замешательстве наклонилась над шкатулкой.

— Ишь, жаднюга! — насмешливо воскликнула Ратманова.

— Нет, нет! Это я только так... Возьми! — и я испуганно подала ей то, что она просила. — А вот тут у меня такая прелесть, такая прелесть, — говорила я девочкам, окружавшим меня, и вынула со дна шкатулки большую коробку, наполненную мелкими стружками, среди которых симметрично разложены были птичьи яички. — Это яичко жаворонка... воробушка... голубиное... воронье...

— Вороньи яйца!.. Эко диво! Ах ты. деревенщина! — захохотала Ратманова и со всей силы ударила рукой по ящику, из которого вывалились и разбились все мои яички, мое сокровище, которое я берегла столько лет. Я отчаянно зарыдала.

— Какая ты злая, гадкая! — бросила Ольхина по адресу Ратмановой, которая нисколько не была сконфужена этими эпитетами. С торжествующей улыбкой на губах, точно после геройского подвига, направилась она в другой конец дортуара.

Мне не только жаль было крошечных яичек, к которым я всегда чувствовала нежность, но они дороги были мне и потому, что будили воспоминания о горячо любимой няне, с которою я собирала их в лесу, когда у нас рубили деревья, падавшие вниз с птичьими гнездами. К тому же меня неприятно поразила такая грубость, такая мальчишеская выходка в институте.

Маша Ратманова играла большую роль в нашей жизни, а потому я и хочу познакомить с нею, какою она была не только в младшем, но и в старшем классе. Ее мать овдовела, когда дочери было около года. Не имея никаких средств к жизни, она была рада, что представилась возможность поселиться с ребенком на бесплатной половине вдовьего дома Смольного. Жиличками этого учреждения были жены умерших офицеров, а также средней руки чиновников военного и гражданского ведомства. В громадном большинстве слу-

чаев это все были старые, необразованные женщины, которые, как собаки, с утра до вечера грызлись между собой, уличали друг друга бог знает в каких преступлениях и скандалах, подобранных, вероятно, от таких же жалких существ, какими они были сами. Таким образом, Маша Ратманова свое раннее детство провела среди бранчливых, пошлых старух, полувыживших из ума от непрекращающихся интриг, дрязг и ссор. После жизни во вдовьем доме, которая могла заложить в душу ребенка лишь дурные склонности и безнравственные привычки, она на девятом или десятом году жизни поступила в институт. Институтское воспитание того времени не могло благоприятно повлиять на кого бы то ни было, Ратманову же оно испортило еще более. Вечные окрики классных дам, наказания за всякое проявление живости, муштровка и суровая дисциплина все более ожесточали ее сердце, но не могли окончательно подавить живость этой на редкость подвижной натуры, остроумной и от природы весьма неглупой девочки. Она со страстью бросалась на игры и беготню по праздникам, но и это возбуждало неудовольствие классных дам. А между тем ее неугомонная натура требовала шума, крика, возни. И эту потребность она начала удовлетворять исподтишка, когда из класса на время уходила дежурная дама. Тогда из одного конца коридора в другой раздавались ее раскатистый хохот, крик, визг, перемежавшиеся фырканьем, слышался шум от ее беготни. Ее то и дело ловили на месте преступления, с нее срывали передник, толкали в угол, к доске, сыпалось на ее бесшабашную голову и множество других наказаний. Шаловливая, нервная, невоспитанная, резкая, невоздержанная на язык, обозленная до невероятности, Маша Ратманова стала грубить напропалую и получила, наконец, эпитет «отчаянной», который неотъемлемо остался за нею во все время институтского воспитания.

Она досаждала, однако, не только классным дамам, но и подругам, симпатиею которых тоже не пользова-

лась. Вечно изощряясь в школьничестве, она бросала в пюпитр одной мокрую тряпку и портила книгу или начисто переписанную тетрадь, другой потихоньку засовывала за лиф булавку или кусок жеваной бумаги. В старшем классе ее мальчишеские шалости сменились другими: во время урока она то и дело оборачивалась к воспитанницам, сидевшим сзади нее, делала гримасы или посредством мимики своего подвижного лица в комическом виде изображала учителя, классную даму, подругу. С таким же индиферентизмом и бессердечием она высмеивала не только комичные стороны, которые легко схватывала, но и физические недостатки подруг,— особенно высмеиванию подвергала она дурнушек. Еще более отталкивала от нее подруг ее привычка делать намеки на то, чего тогда не ведал еще никто. В разговоре или споре с товарками она вдруг произносила какое-нибудь слово или фразу, что-то показывала руками и как-то при этом особенно нагло фыркала в лицо, обзывая каждую дурой и тупицей. Я глубоко убеждена в том, что в то время никто из нас не понимал, в чем дело, но каждая инстинктивно чувствовала, что это, должно быть, что-нибудь скверное, постыдное, и здоровый инстинкт заставлял нас, несмотря на любопытство, столь присущее женскому полу, не приставать к ней с расспросами о том, что она хотела сказать тем или другим намеком или жестом.

Она была очень щедра, но и это проявляла довольно грубо: почти все свои гостинцы она раздавала подругам, исключая «парфеток». «Парфетками» институтки называли тех из своих подруг, к которым благоволили классные дамы за их послушание и отменное поведение, проявлявшееся нередко в наушничаньи на своих подруг. Маша Ратманова всеми силами своей души ненавидела этих «парфеток» и называла их не иначе, как «подлипалами», «подлизами», «подлянками», «мовешками» и т. п. Если она входила с гостинцами в то время когда воспитанницы сидели в дортуаре, она швыряла их кому на кровать, кому прямо в лицо. Смеялись и брали,

а тем, которые при этом благодарили ее за них, она высовывала язык или делала почтительный книксен с придачею отвратительной гримасы, а потому впоследствии уже никто не совался к ней с своею благодарностью. Однако мне пришелся не по душе этот способ угощения, и я каждый раз швыряла ей назад дары тем же способом, каким получала их. Это заставило ее переменить относительно меня способ угощения. Она начала засовывать для меня гостинцы куда попало: ложась в кровать, я иногда находила под подушкой то яблоко, то несколько леденцов.

Теперь таких субъектов, как Маша Ратманова, называют психопатками. И всею своею последующею жизнью она вполне доказала, что была таковою, но тогда этот термин еще не был изобретен. Тем не менее, подруги в душе считали ее вконец испорченной, но боялись высказывать это вслух, чтобы это не дошло до нее, и все старались держаться подальше от нее. Я бы прибавила еще, что ее общество приносило подругам гораздо больше вреда, чем пользы, если бы не одна редкая и замечательно хорошая черта ее характера: Маша Ратманова будила в нас общественные инстинкты, если можно так выразиться о нас, девочках, в то время совсем неразвитых.

За тяжелые провинности, с точки зрения классных дам, они наказывали тем, что запрещали воспитанницам разговаривать с провинившеюся. Ратманова первая начала возмущаться повиновением подруг такому нелепому распоряжению и, несмотря на строгое запрещение, начала разговаривать с наказанною, а затем нападать на тех, которые подчинялись этому требованию дам. Хотя она ни с кем из подруг не дружила особенно, но всю нежность своей души, все внимание проявляла к каждой наказанной, а тем более к той, которая особенно сильно дерзила классной даме. За наказанную она распиналась сколько хватало сил. Одна из наиболее распространенных кар в институте состояла в том, что нас заставляли стоять за обедом или завтраком. Есть стоя было очень

неудобно; к тому же, не только классные дамы, но и подруги высмеивали воспитанниц, которые ели во время такого наказания. Маша Ратманова, когда подросла, как ястреб начала следить за тем, чтобы воспитанница, наказанная таким образом, получала от соседок все кушанья, но так как суп при этом пропадал, то она, обращаясь к наказанной, говорила так, чтобы слова ее доходили до ушей классной дамы: «Отчего ты супа не ешь? Если бы было дозволено наказывать нас без еды, сколько бы народу у нас подохло от голоду!». Сильно нападала она на тех, которые издевались над подругами за еду во время наказания: она осыпала их градом бранных, грубых слов из своего собственного лексикона, который у нее был весьма обширен. В старшем классе она беспощадно казнила предательство: сплетниц и доносчиц она не только изводила неистовым издевательством, но неожиданно и исподтишка толкала их и щипала так жестоко, что у тех оставались надолго синяки на руках и шее. И это проделывала она вплоть до самого выпуска, когда уже была взрослою девушкой.

Если институт испортил такую богато одаренную натуру, с живым общественным инстинктом, с огромною энергией и жизнеспособностью, какою была Маша Ратманова, то других он губил и физически. Уже прошло более трех месяцев с тех пор, как Фанни Голембиовская поступила в институт, а между тем она не появлялась ни в классе, ни в дортуаре m-lle Верховской, воспитанницею которой числилась. Она продолжала оставаться в лазарете. Что была за болезнь, которою она страдала, мы не знали, но наш доктор объяснял ее тоскою.

Однажды утром, после звонка, на урок немецкого языка вошли инспектриса, а за нею и Голембиовская. Боже, как она изменилась за это время! Ее длинные, худенькие пальчики нервно теребили передник, ее длинная шея казалась ниточкой, скреплявшей грациозно посаженную головку, ее узкие плечи нервно передерги-

вались, щеки провалились, и ее большие глаза, казалось, сделались еще больше и растерянно бегали по сторонам. Немец спросил ее, выучила ли она заданный урок. Она отвечала, что не учила уроков во время болезни. Когда она бегло прочитала указанную ей страницу, учитель спросил, не говорит ли она по-немецки. Она отвечала утвердительно, и он заставил ее переводить, что она исполнила совершенно легко, заслужив 12 с плюсом и большую похвалу от учителя.

На уроке французского языка опять присутствовала m-me Сент-Илер. Француз тоже заставил Фанни читать и переводить, а затем попросил ее сказать на память какое-нибудь стихотворение или басню. Она начала декламировать стихотворение «Молитва», помещенное в то время во всех французских хрестоматиях. В ней ребенок обращается к богу, умоляя его продлить дни своей матери. Голос ее дрожал все сильнее, она произносила стихи с таким чувством и увлечением, как это обыкновенно не удается детям, а тем более в институте. Но вот в ее декламации послышались рыдающие звуки, она остановилась, не кончив фразы, точно спазма сдавила ей горло. Француз с изумлением посмотрел на инспектрису, а затем спросил Фанни, не может ли она написать что-нибудь, хотя какое-нибудь маленькое письмецо. Дрожащими руками девочка взяла мел и быстро написала несколько строк. Учитель громко прочитал написанное. Это оказалось письмо к матери, в котором Фанни умоляла ее взять из института, заявляя, что иначе она умрет. Должно быть, это было выражено очень трогательно,— у «maman» текли слезы по щекам. Француз, который, вероятно, с восторгом думал о том, какой козырь судьба посылает ему в руки в лице Фанни, и мечтал уже, как будет он гордиться ею при высоких посетителях, начал утешать ее, указывая на несообразность мысли о смерти в ее годы, пророчил ей блестящее окончание курса, первую награду и т. п. Когда Фанни возвращалась на свою скамейку, инспектриса, наклоняясь к ней, нежно сказала:

— Дитя мое! вы превосходно подготовлены! Что же нам делать, чтобы вы не тосковали?

После окончания урока мы строились в пары, чтобы итти в столовую, а Фанни шла в лазарет, где она в виду своего слабого здоровья должна была обедать, завтракать и даже проводить ночь. Мы в один голос кричали ей: «Первая, самая первая по классу!». Конфузливо улыбаясь, она с угловатыми манерами девочки-подростка торопливо пробиралась между парами.

Фанни менее чем кто-нибудь из нас должна была бы чувствовать ненормальные условия институтского существования: она спала в теплой комнате лазарета, питалась больничною пищею, которая была несравненно лучше общей, пила молоко, виделась с матерью по два раза в неделю, все в лазарете баловали ее и стали баловать еще более после ее блестящего дебюта в классе, когда инспектриса просила доктора, чтобы для нее было сделано все, что только возможно: она могла спать в лазарете до восьми часов утра, укрываться так, чтобы ей было тепло, доктор постоянно снабжал ее «девичьею кожею»,— любимое лакомство институток, которое было в большом запасе в нашей казенной аптеке [34].

Однако эти неслыханные для того времени привилегии, которыми она пользовалась, видимо мало утешали ее. Хотя окрики и брань классных дам были обыкновенно направлены не на нее, она все-таки при этом вздрагивала, бледнела и попрежнему имела удрученный вид. Ее хрупкое здоровье, нервная организация, до болезненности страстная привязанность к матери, нежное домашнее воспитание не могли дать ей энергии, силы и устойчивости для сопротивления окружающей грубости и солдатчине,— и она в полном смысле слова увядала, не успевши расцвесть. С подругами она мало сближалась и на их расспросы вяло, нехотя давала односложные ответы и только, болезненно пожимаясь, говаривала: «Как у вас холодно! Как у вас скверно!» — «Что ты все говоришь — у вас да у вас? У нас то же,

что и у тебя, госпожа принцесса-недотрога!..» — насмешливо глядя на нее, выпаливала Ратманова. «Злая, грубая!» — отвечала Фанни и заливалась слезами. Не могла она переносить холода и в классе, хотя и в этом отношении она пользовалась привилегиею не снимать пелеринку даже во время уроков. В продолжение нескольких недель, во время которых она приходила в класс, она редко когда учила заданный урок, а сидела на своей скамейке и всегда что-то писала в свободное время. Инспектриса, когда встречалась с нею, всегда ласково спрашивала ее о здоровье. Верховская, ее дортуарная дама, после ее блестящего дебюта в языках, тоже относилась к ней весьма любезно, но m-lle Тюфяевой, этой истинной злопыхательнице, было не по душе отношение к Фанни окружающих, и она то и дело ворчала на нее или кидала в ее сторону злобные взгляды. Однажды, когда та, по своему обыкновению, что-то писала, Тюфяева схватила исписанные ею листики и с этими трофеями поплелась к своему столику.

— Это что такое?

— Маме письмо.

— Это что за небылица! Какие могут быть у тебя письма к матери, когда ты видишь ее по два раза в неделю? А если к матери пишешь, то с кем же изволишь посылать их?

— Когда мама приходит, я и отдаю их ей сама.

Тюфяева отложила в сторону чулок, который она вечно вязала, надела очки и начала разбирать написанное.

— Как, ты изволишь переписываться по-польски? Я не только скажу об этом инспектрисе, но сама отнесу твои письма начальнице, попрошу ее объяснить мне, смеют ли воспитанницы писать своим родителям на языке, которого кроме полек никто здесь не понимает? смеют ли они отдавать письма родителям, не прочитанные предварительно классной дамой? С тех пор, как я служу, еще никого не баловали так, как тебя. А за что? Не за то ли, что ты лижешься с своею ма-

терью, которая, не успев переступить порог заведения, наделала всем массу неприятностей, даже начальнице; не за то ли, что она оставила здесь свое чадушко, которое только киснет, нюнит и в обморок падает?

Эта речь была прервана истерическими рыданиями Фанни.

— Дрянь! Плакса! — бросила в ее сторону Тюфяева и, точно после блистательно одержанной победы, победоносно вышла из класса.

Мы окружили Фанни, подавали ей воду, смачивали виски, но она так расстроилась от слез, что ее увели в лазарет.

Прошла неделя-другая, а Фанни все еще не показывались в классе. Как-то утром, когда мы только что встали, мы услыхали беготню в коридорах и стремглав бросились посмотреть, что такое случилось. Мимо нас сновали горничные, больничная прислуга, классные дамы.

— Не сметь выходить из дортуаров! — кричали нам, и мы, как мыши, прятались в свои норы.

В ту же минуту в наш дортуар вбежала пепиньерка и заявила m-lle Верховской, что инспектриса просит ее немедленно явиться к ней. Мы, кофульки, пожираемые любопытством, опять выбежали на «разведки». Когда мы загородили дорогу горничной, пробегавшей мимо нас, умоляя ее сказать нам, в чем дело, она остановилась и решительно произнесла: «Как же это возможно? Когда у нас происходит даже не такое важное, да и то нам запрещают вам рассказывать... А тут такое, такое!..» — и, растолкав нас, чтобы проложить себе дорогу, она быстро исчезла.

И в этом случае, как всегда, наше любопытство удовлетворила Ратманова. Она спустилась в нижний коридор к истопнику, который, как человек менее ответственный за несоблюдение институтских тайн, не устоял перед обещанным пятиалтынным и рассказал Ратмановой все без утайки. Тайна, которую от нас скрывали,— побег Фанни Голембиовской. Надев утренний капот, имевшийся у каждой воспитанницы для

вставания, и накинув на голову платок прислуги (она рассчитывала, что ее примут за горничную и подумают, что она бежит в лавочку), она рано утром выбежала из лазарета на улицу, но была поймана в нескольких саженях от институтского подъезда швейцаром, который узнал ее и немедленно водворил в лазарет.

Мы не успели опомниться от этого ошеломляющего известия, как к нам вошла пепиньерка и вместо Верховской повела нас в столовую, куда тотчас же вошла инспектриса и взволнованным голосом, не объясняя в чем дело, произнесла:

— Надеюсь, дети, что об этом печальном происшествии вы не будете разговаривать ни между собой, ни с своими родственниками.

— О чем нельзя разговаривать? Что такое произошло? — как только вышла инспектриса, начали спрашивать те из воспитанниц, которые не успели еще узнать институтской новости.

— Как, вы этого не знаете? — закричала Тюфяева — Ах вы фокусницы, скверклавки! Вас из грязных закоулков и трущоб подобрали сюда из милости, холили, лелеяли, а вы вот как отблагодарили ваших благодетельниц! Извольте зарубить себе на носу, чтобы с этой минуты вы не смели и близко подходить к лазарету, а тем более к комнате, в которой лежит эта тварь.

Несмотря на строгое запрещение разговаривать между собою о небывалом еще у нас инциденте, мы то и дело говорили о нем. «Отчаянные», как старших, так и младших классов, пускались на всевозможные предприятия, чтобы что-нибудь выведать об этом деле. Прячась за углами и колоннами, они подсматривали и подслушивали у дверей лазарета, наблюдали, кто в него входил и выходил, расспрашивали лазаретных служащих, не считавших нужным делать из этого тайну, и таким образом по нескольку раз в день, даже в лицах, передавали новости друг другу.

Как только Фанни привели в лазарет, ее уложили в постель. Она вся дрожала, как в лихорадке. Через

час-другой после этого к ее кровати уже подходили: инспектриса, m-lle Верховская, в качестве ее дортуарной дамы, начальница Леонтьева и m-lle Тюфяева, которая, как старейшая из классных дам, считала своею обязанностью совать нос во все дела. Когда Фанни увидала особу, которую она ненавидела, она вскрикнула и потеряла сознание. Леонтьева приказала позвать врача и привести ее в чувство. Но тут в комнату вошли, уже извещенные о событии, дядя девочки и ее мать, которая, рыдая, бросилась на колени перед постелью дочери. Наша начальница, со всеми разговаривавшая очень надменно, на этот раз вложила все высокомерие и презрение в свои слова и, торжественно протягивая руку по направлению к больной, произнесла: «Сию минуту прошу избавить меня от вашей позорной дочери!». Голембиовская, как ужаленная, вскочила с колен и, глядя в упор на начальницу, наговорила ей с три короба неприятных вещей, вроде того, что для ее дочери-ребенка нет никакого позора в том, что она, не стерпев институтской муштровки, выбежала из ворот, а для заведения действительно позорно, что из него приходится бегать. Что же касается того, чтобы она немедленно взяла свою дочь, находящуюся в глубоком обмороке, то этого она не сделает, пока врачи, приглашенные ею, не удостоверят ее в том, что это не представляет опасности для жизни ее ребенка. Начальница, как говорят, стояла в это время подняв глаза к небу, т. е. к потолку, как бы призывая бога в свидетели, что ей при ее высоком положении немыслимо отвечать на это что бы то ни было.

— Как вы смеете так говорить с нашею обожаемою начальницею?— вскричала m-lle Тюфяева, грозно подступая к Голембиовской.— Знаете ли вы, жалкая, несчастная женщина, что к нашей начальнице с благоговением относится даже вся царская фамилия?

Продолжение этой сцены прекратил доктор, который просил у начальницы дозволения сказать ей несколько слов с глазу на глаз. Повидимому, он заявил

ей, что девочку пока никак нельзя трогать с места, так как начальница в этот день уже не входила в комнату больной.

Фанни пришла в сознание не надолго: скоро у нее явился жар, а потом и бред, и она около месяца пролежала в лазарете. Ее мать неотступно сидела у ее постели. От времени до времени дверь комнаты больной открывалась, и в нее входила начальница, за которою неизменно следовали Верховская и Тюфяева,— им она предварительно давала знать о своем посещении. Фанни, уже перед этою болезнью сильно исхудавшая, теперь таяла, как свечка. У нашей инспектрисы, которая сама была любящею матерью, нередко текли слезы при виде несчастного ребенка. Но в таких случаях она хваталась за голову и жаловалась на нестерпимую мигрень, а m-lle Тюфяева при этом, с презрением глядя на нее, бросала несколько слов о вреде баловства. Малейшая ласка, всякое доброе слово, сказанное инспектрисою или какою-нибудь классною дамою воспитаннице, терзало сердце Тюфяевой, не знавшей ни жалости, ни пощады. Впоследствии, ближе познакомившись с характером инспектрисы, я была уверена, что она в то время болела душой за несчастную Фанни, преждевременно загубленную суровым институтским режимом, но по слабости своего характера она ничего не могла заметить m-lle Тюфяевой, наветов которой, видимо, она страшно боялась.

Как только в положении Фанни наступила перемена к лучшему, ее мать заявила тотчас же, что берет ее из института.

После этого происшествия не прошло и месяца, как в наш дортуар вошла пожилая дама, родственница Фанни, и просила возвратить ей шкатулку девочки, оставшуюся у нас. Она сообщила нам, что Фанни несколько дней тому назад скончалась от скоротечной чахотки.

ГЛАВА VIII

Жизнь институток

Суровая дисциплина.— Холод, голод и посты.— Преждевременное вставание.— Охлаждение к родителям.— Презрение к бедным родственникам.—Традиционное обожание и причины этого явления.— «Отчаянные» и их значение.— Произвол классных дам.

Теперь даже трудно себе представить, какую спартанскую жизнь мы вели, как неприветна, неуютна была окружающая нас обстановка. Особенно тяжело было ложиться спать. Холод, всюду преследовавший нас и к которому с таким трудом привыкали «новенькие», более всего давал себя чувствовать, когда нам приходилось раздеваться, чтобы ложиться в кровать. В рубашке с воротом, до того вырезанным, что она нередко сползала с плеч и сваливалась вниз, без ночной кофточки, которая допускалась только в экстренных случаях и по требованию врача, еле прикрытые от наготы и дрожа от холода, мы бросались в постель. Две простыни и легкое байковое одеяло с вытертым от старости ворсом мало защищали от холода спальни, в которой зимой под утро было не более восьми градусов. Жидкий матрац из мочалы, истертый несколькими поколениями, в не-

которых местах был так тонок, что железные прутья кровати причиняли боль, мешали уснуть и будили по ночам, когда приходилось повертываться с одного бока на другой.

В первую ночь я долго лежала без сна: холод насквозь пронизывал мои члены. Но вдруг меня осенила счастливая мысль: я развернула салоп, лежащий у моих ног, закуталась в него и уже начинала дремать, когда была разбужена m-lle Верховскою, обходившею дортуар.

— Для первого раза так и быть, оставь салоп,— сказала она,— но помни, что у нас это строго запрещено.

Как только утром, в шесть часов, раздавался звонок, дежурные начинали бегать от кровати к кровати, стягивали одеяла с девочек и кричали: «Вставайте! Торопитесь!».

Со многими суровыми условиями институтской жизни воспитанницы в конце концов осваивались, хотя с трудом, но к раннему вставанию редко кто привыкал. Каждый раз с утренним звонком раздавались стоны и жалобы воспитанниц. И действительно, мучительно было так рано подыматься с постели в окончательно остывшей спальне и зимой настолько еще темной, что приходилось зажигать лампу.

Вся институтская жизнь распределялась по звонку: звонок будил нас ото сна, по звонку шли к чаю, по звонку мы должны были рассаживаться по партам и ждать учителя, с звонком его урок оканчивался и начиналась рекреация, звонок извещал о необходимости итти в столовую,—одним словом, звонок определял все минуты жизни воспитанниц, служил указателем, что делать, что думать. Звонок и крик классной дамы: «По парам!» — вот что мы слышали с утра до вечера.

Хотя утренняя молитва происходила в семь часов,— следовательно, на наш туалет полагался целый час,— но этого времени едва хватало: институтки носили ни с чем не сообразную одежду, с которою лишь очень немногие умудрялись справиться самостоятельно. За-

стегнуть платье назади, заколоть булавками лиф передника, аккуратно подвязать рукавчики под рукава, заплести косы в две тугие косички (в младшем классе), подвесить их жгутами на затылке, пришпилить бант в самом центре,— на все это требовалась чужая помощь. Во многих семьях девочка к десяти годам усваивала полезную привычку одеваться и причесываться самостоятельно, но в институте в большинстве случаев она утрачивала ее. Особенно трудно было причесываться самой. Одна прическа существовала для младшего, другая—для старшего класса. Если волосы были непослушны, слишком густы и волнисты, то из них трудно было устроить гладкую прическу, и воспитанница наживала себе массу неприятностей, пока, наконец, с помощью подруги не умудрялась сделать то, что от нее требовали. Классные дамы утверждали, что за прической они особенно строго наблюдают, чтобы искоренять кокетство, но этим лишь развивали его. По вечерам, когда дама уходила в свою комнату, воспитанницы старшего класса изощрялись в изобретении причесок, без конца толкуя о том, какая из них кому идет. Институтское начальство никак не могло усвоить мысли, что девочка не может сделаться кокеткой только из-за того, что она причесывается по своему вкусу: если в ней с детства развивали интерес к чтению, она в свободное время будет с подругой разговаривать о прочитанном, а не о прическе.

Одуряющее однообразие институтской жизни, лишенной каких бы то ни было освежающих впечатлений, детских удовольствий и здорового веселья, нарушалось лишь три-четыре раза в год, но бо́льшая часть и этих развлечений была устроена так официально, что наводила лишь скуку. На масляной неделе воспитанниц возили кататься вокруг балаганов, но лишь в старшем классе, да и то не всех. Два раза в год устраивали балы, в рождество — елку, на счет воспитанниц, и, наконец, раз в год водили гулять в Таврический сад. К несчастью, на балах должны были присутствовать все воспитанницы без исключения, но тут они встречали

все тех же подруг и то же начальство и в продолжение трех часов танцовали исключительно между собой, как они выражались, «шерочка с машерочкой». Похохотать на таком балу, пошутить, устроить какой-нибудь комический танец было немыслимо: во весь вечер с них не спускали взора классные дамы, инспектриса и начальница, сидевшие на стульях, поставленных у стены в длинный ряд, обращенный лицом к танцующим. «Дурнушки» и девочки, бывшие не в фаворе у начальства, старались танцовать на другом конце зала, подальше от взоров классных дам. Эти балы, не нарушая томительной монотонности институтской жизни, вознаграждали за свою непроходимую скуку только тем, что воспитанницы получали по окончании их по два бутерброда с телятиной, несколько мармеладин и по одному пирожному.

Более любимым удовольствием была летом прогулка в Таврический сад. Хотя во время торжественного шествия туда из Смольного воспитанницы были окружены классными дамами, швейцаром и служителями, разгонявшими всех встречающихся по дороге, но все-таки эту прогулку воспитанницы любили уже потому, что они, хотя раз в год, в продолжение нескольких часов не видели своих высоких стен и у них перед глазами были аллеи и лужайки не своего сада. Кроме институтских служащих и подруг, институтки и здесь никого не встречали: в этот день посторонних изгоняли из Таврического сада.

Томительно-однообразная жизнь и отсутствие чего бы то ни было, что хотя несколько шевелило бы мысль, привлекало глаз, постепенно вливали в душу леденящий холод и замораживали ее. У будущих воспитательниц молодого поколения, которые должны были нести ему живое слово, совершенно была подавлена душевная жизнь и проявление самостоятельной воли и мысли. Всегда и всюду требовалась тишина, каждый час, каждая минута жизни распределялись пунктуально, по команде, по звонку. Результатом этого была развинченность нервов, что чаще всего сказывалось паническим,

безотчетным страхом, который иногда вдруг овладевал сразу всеми воспитанницами. Когда вечером, после молитвы, классная дама уходила к себе, мы, нередко уже раздетые, босые и в одних рубашках, кутаясь в одеяла, размещались на кроватях нескольких подруг и начинали болтать. Но о чем могли разговаривать существа, умственно неразвитые, изолированные от света и людей, лишенные какого бы то ни было подходящего чтения? Мы болтали о разных ужасах, привидениях, мертвецах и небывалых страшилах. При этом чуть где-нибудь скрипнет дверь, послышится какой-нибудь шум — и одна из воспитанниц моментально вскрикивала, а за нею все остальные с пронзительными криками и воплями, нередко в одних рубашках, бросались из дортуара и неслись по коридору. Вбегала классная дама, начинались расспросы, допросы, брань, толчки, пинки, и дело оканчивалось тем, что нескольких человек на другой день строго наказывали.

Таким образом, через сто лет после основания института совершенно был забыт устав, данный ему Екатериною II, в котором так много говорилось о том, чтобы для «целости здравия увеселять юношество невинными забавами», приучать к чтению и устраивать библиотеки, которых у нас не было и в помине. Совершенно противно уставу Екатерины II, все условия института были направлены к тому, чтобы не было нарушено однообразие закрытого заведения. Наше начальство находило это необходимым для того, чтобы воспитанницы сосредотачивали все свои помыслы на развитии нравственных способностей, чтобы приучить их довольствоваться скромною долею. Но достигали диаметрально противоположных результатов. Слишком рассеянная жизнь, несомненно, делает учащихся мало усидчивыми, заставляет их легкомысленно относиться к своим обязанностям: Но еще более вредное влияние оказывало убийственное однообразие: оно стирало все индивидуальные особенности, оригинальность и самобытность, притупляло способности ума и сердца, охла-

ждало живость впечатлений, губило в зародыше восприимчивость и наблюдательность.

Кроме раннего вставания и холода, воспитанниц удручал и голод, от которого они вечно страдали. Трудно представить, до чего малопитательна была наша пища. В завтрак нам давали маленький, тоненький ломтик черного хлеба, чуть-чуть смазанный маслом и посыпанный зеленым сыром,— этот крошечный бутерброд составлял первое кушанье. Иногда вместо зеленого сыра на хлебе лежал тонкий, как почтовый листик, кусок мяса, а на второе мы получали крошечную порцию молочной каши или макарон. Вот и весь завтрак. В обед — суп без говядины, на второе — небольшой кусочек поджаренной из супа говядины, на третье — драчена или пирожок с скромным вареньем из брусники, черники или клюквы. Эта пища, хотя и довольно редко дурного качества, была чрезвычайно малопитательна, потому что порции были до невероятности миниатюрны. Утром и вечером полагалась одна кружка чаю и половина французской булки. И в других институтах того времени, сколько мне приходилось слышать, тоже плохо кормили, но, по крайней мере, давали вволю черного хлеба, а у нас и этого не было. Понятно, что воспитанницы жестоко страдали от голода. Посты же окончательно изводили нас: миниатюрные порции, получаемые нами тогда, были еще менее питательны. Завтрак в посту обыкновенно состоял из шести маленьких картофелин (или из трех средней величины) с постным маслом, а на второе давали размазню с тем же маслом или габер-суп. В обед — суп с крупой, второе — отварная рыба, называвшаяся у нас «мертвечиной», или три-четыре пожаренных корюшки, а на третье — крошечный постный пирожок с брусничным вареньем.

Институт стремился сделать из своих питомиц великих постниц. Мы постились не только рождественский и великий посты, но каждую пятницу и среду. В это время воспитанницы чувствовали такой адский голод,

что ложились спать со слезами, долго стонали и плакали в постелях, не будучи в состоянии уснуть от холода и мучительного голода.

Этот голод в великом посту однажды довел до того, что более половины институток было отправлено в лазарет. Наш доктор заявил, наконец, что у него нет мест для больных, и прямо говорил, что все это от недостаточности питания. Зашумели об этом и в городе. Наряжена была, наконец, комиссия из докторов, которые признали, что болезнь воспитанниц вызывается недостаточностью пищи и изнурительностью постов. И последние были сокращены: в великом посту стали поститься лишь в продолжение трех недель, а в рождественском — не более двух, но по средам и пятницам постничали попрежнему.

Конечно, воспитанницам, имевшим родственников в Петербурге, приходилось меньше страдать от голода. Они просили приносить им не конфеты, а хлеб и съестное, и получали деньги, которые потихоньку (это было строго запрещено) хранили у себя.

Воспитанницы возвращаются в свой класс после обеда. «Богачихи», подкрепив себя пищею, полученною из дому, и заткнув уши пальцами, неистово долбят уроки. Голодные же бродят, как мухи в осенний день, решительно ничего не делают и слоняются из угла в угол или сидят кучками и разговаривают о том, как бы *промыслить* себе «кусок», у кого бы для этого призанять деньжонок. «Полякова будет сейчас брать десятый урок музыки, следовательно, мать принесла ей денег для расплаты,— вот мы к ней и подъедем»,— сообщает одна воспитанница другой, и обе стремглав бросаются к подруге. На просьбы дать взаймы Полякова отвечает отказом. Деньги, которые лежат в записной тетради, должны быть сегодня же вручены учительнице. Но ей доказывают, что ничего дурного не выйдет из того, если она извинится перед нею и скажет, что ее мать доставит деньги через несколько дней. Но Полякова наотрез отказывается исполнить просьбу под-

рут, указывая на то, что ее учительница музыки — особа крайне неделикатная и может пожаловаться дортуарной даме, которая будет считать своею обязанностью попросить ее мать быть впредь более аккуратною при расплате за уроки.

— Жадная, вот и все! Боишься, что деньги пропадут! Скупердяйка! Помни, что с этих пор никто иначе и называть тебя не будет!..— И просительницы убегают.

Полякова, встревоженная угрозой, летит за ними и дает им деньги.

— Голубчик Иван, сделай, что мы тебя попросим!— пристают воспитанницы к сторожу. Они разговаривают с ним стоя у двери, напряженно прислушиваясь к малейшему шороху.

— С просьбами-то вы умеете обращаться, а до сих пор еще не заплатили за хлеб!

— Мы с тобой, Иванушка, сегодня же рассчитаемся... Купи нам по этой записке...

— Нечего тут расписывать, не впервой с вами возиться... Опять та же колбаса, сушеные маковники, хлеб, булки... Прямо говорите, на сколько купить и сколько положите мне за беспокойство, а то вы скоро цену каждой покупке будете назначать. А ведь в здешних лавках за все берут втридорога: знают, что по секрету, ну и дерут.

Девочки передают деньги солдату и умоляют его положить покупку в нетопленную печку на том или другом коридоре.

— Пойду еще печки щупать! — грубо ворчит сторож.— Суну под лавку в нижнем коридоре — вот и вся недолга. Жрать захотите, всюду придете...

Нередко и бывало, что сторож сунет покупку под лавку в нижнем коридоре, куда ходить строго воспрещалось. Тогда добыть ее поручают «отчаянным», в награду за что их приглашают разделить трапезу.

Несмотря на то, что как казенные воспитанницы (поступившие по баллотировке на казенный счет), так

и своекоштные должны были получать от казны всё необходимое, каждой воспитаннице приходилось иметь ежегодно порядочную сумму денег для удовлетворения разнообразных нужд. Прежде всего необходимо было приобретать на свой счет все, что касалось туалета: гребенки, головные и зубные щетки, мыло, помаду, перчатки для балов,— эти предметы казна вовсе не выдавала нам. Но это было еще далеко не все. Мы не могли являться ни на балы, ни даже на уроки танцев в казенных башмаках,— выделывать в них антраша и пируэты не было физической возможности: наши «шлепанцы» то и дело сваливались с ног, а когда приходилось вытягивать носок, балетчица, в младших классах обучавшая нас танцам, замечала то одной, то другой, танцовавшей в казенных башмаках: «Да вы, кажется, вместо носка пятку вперед вывернули!». Она находила нужным постоянно делать подобные замечания, вероятно надеясь на то, что начальство обратит, наконец, внимание на башмаки воспитанниц, вынужденных пользоваться казенными. Несмотря на то, что эта ирония балетчицы повторялась очень часто, воспитанницы и классная дама каждый раз разражались смехом, а несчастный объект этой насмешки не знал, куда от стыда глаза девать.

Среди воспитанниц не было героинь, а между тем от них требовалось почти геройство или во всяком случае значительное мужество, для того чтобы не стыдиться бедности в то время, когда чуть не все русское общество, и особенно институтское, открыто презирало бедность. Так как институт не давал воспитанницам ни нравственного, ни умственного развития, а постепенно прививал лишь пошлые воззрения, то они к выпуску вполне укреплялись в мысли, что если бедность — не порок, то гораздо хуже всех пороков.

В старшем классе приходилось тратить особенно много денег. Прежде всего тут мы уже обязаны были носить корсет. Правда, воспитанницы имели право получать его от казны, и хотя он был, как и вся наша

одежда, непрактичен и сшит не по фигуре, но раз он был надет, начальство не придиралось. Но дело в том, что китовый ус в казенном корсете был заменяем то металлическими, то деревянными пластинками, до такой степени хрупкими, что они беспрестанно ломались и впивались в тело. Поносишь, бывало, такой корсет месяц-другой, и вся талия оказывается в ссадинах и ранках. Нестерпимая боль заставляет воспитанницу умолять родных дать ей денег на покупку собственного корсета. Может быть, вне института его можно было приобрести дешевле, но у нас он стоил от 6 до 8 рублей. Желавшие иметь собственный корсет должны были подчиняться общему правилу: заказывать его у корсетницы, которой начальство разрешало приезжать в институт снимать мерку. Выходило, что, по самому скромному расчету, каждой воспитаннице лично для своих потребностей нужно было ежегодно иметь по крайней мере рублей пятнадцать-семнадцать. Но и этою суммою мудрено было ограничиться: перед рождественскими праздниками воспитанницы устраивали вскладчину елку, перед пасхою необходимо было иметь деньги на покупку шелка, чтобы вышивать мячики, которыми христосовались вместо яиц со священником, дьяконом, с учителями, инспектрисою. Существовал обычай праздновать именины, т. е. угощать в этот день подруг и учителей, на что затрачивались сразу несколько рублей; было и множество других расходов,—избежать их было чрезвычайно мудрено. Конечно, более всего нужны были деньги на то, чтобы не голодать. Воспитанницам, деньги которых были на руках классных дам, дозволялось покупать булки и ничего другого из съестного; те же, которые сами хранили деньги, покупали все что хотели, но эти покупки обходились им втридорога.

В первый год после своего поступления в Смольный, когда мысль о доме еще жила в душе воспитанницы, когда нежные узы любви к родителям еще не ослабели, она вспоминала о домашних нуждах, о бедности своего семейства и употребляла все средства, чтобы сокращать

свои расходы, урезывать себя даже в существенных потребностях. Но более или менее продолжительное пребывание в институте, напоминавшем настоящий женский монастырь, изолированный от мира и людей, в который никогда не проникали ни человеческие стоны, ни человеческие страдания, заставлял ее все глубже погружаться в тину институтской жизни, все равнодушнее относиться ко всему остальному. Между родителями и дочерью-институткой мало-по-малу возникали недоразумения,— прежде всего, на почве материальной. Имея множество нужд, которых казна или вовсе не удовлетворяла или удовлетворяла крайне плохо, воспитанница то и дело обращалась к родителям с просьбою дать ей денег или купить то одно, то другое. Большинство родителей были люди небогатые и зачастую отказывались исполнять такую просьбу, а других возмущало то, что, отдав дочь на казенное иждивение, они должны были постоянно тратиться на нее. К тому же и дочка все менее утешала их: они замечали, что она теряет привычку к экономии, приобретенную в семье. Сначала она сама упрашивала их доставлять ей лишь то, что действительно было для нее крайне необходимо, а потом начинала требовать денег на подарки, просила принести ей то духи, то одеколон и, наконец, умоляла купить золотую цепочку, на которой она могла бы носить крест — единственное украшение, которое нам не было воспрещено. И родители, осаждаемые вечными просьбами, делавшимися все более настойчивыми и бессердечными, раздражались на свою дочь.

Вечно выпрашивать у родителей деньги нас заставляли не только необходимость или собственный каприз, но и классные дамы. M-lle Верховская была особой весьма изящной. Она любила красивые туалеты и тратила на них почти все свое жалованье. Даже в своем простом форменном синем платье она казалась несравненно более нарядной, чем все остальные ее товарки. Перед своими выездами она открывала дверь своей комнаты и, красивая, нарядная, улыбающаяся,

выходила к нам и спрашивала, как мы находим ее новое платье. Мы приходили в восторг от такого милого отношения и в ответ кричали ей: «королева», «божественная», «небесная»! Красивая и изящная всегда, она была особенно прекрасна в эти минуты своего «отлета» из института, когда она хотя на несколько часов оставляла ненавистные для нее стены монастыря, в котором жила по необходимости. Вероятно, вследствие любви ко всему изящному Верховская еще более других классных дам навязывала своим воспитанницам покупку всего дорогого, не считаясь со скудными средствами огромного большинства.

— Дети! Я еду в гостиный двор,— объявляет она.— Что кому нужно?

Одна просит купить мыла, другая — помаду, гребенку, перчатки, щетку. На ее вопрос, какое мыло купить, ей отвечают: «Самое простое, копеек в пятнадцать».

— Что тебе за охота мыться такою дрянью? Я за шестьдесят копеек куплю тебе превосходное мыло...

— Но ведь тогда у меня останется всего один рубль, а раньше как через три месяца мне не пришлют денег из деревни.

— Как хочешь. Я могу купить и в пятнадцать копеек. Если память меня не обманывает, таким мылом в прачечной белье моют. Ведь от него, пожалуй, салом несет.

— Тогда, пожалуйста, m-lle, купите такое, какое вы советуете,— спешит заявить воспитанница, опасаясь рассердить Верховскую своим упорством и заставить ее заподозрить себя в расчетливости.

Так бывало с маленькими воспитанницами, а в старшем классе они уже привыкали к дорогим туалетным принадлежностям и сами просили не покупать дешевых.

Там, где классные дамы не подбивали воспитанниц на покупку дорогих вещей, они вынуждали их тратиться на что-нибудь другое. Например, у одной классной дамы, Лопаревой, была страсть навязывать лотерейные билеты, чем она, вероятно, оказывала услугу кому-

нибудь из своих знакомых. Несмотря на то, что раздача их была сопряжена для нее с некоторыми неприятностями, она продолжала делать свое.

— Кто из вас возьмет лотерейный билет? Всего по четвертаку... Прехорошенькие вещицы на выигрыше: салфеточки, запонки, пряжки, подушки для булавок...

Все молчат.

— Долго я буду дожидаться? Павлухина, ты сколько берешь?

— Не знаю, право...

— Кто же знает, если ты не знаешь? Говори же, наконец...

— Один...

— Один? Да чего же ты боишься? Ведь если ты возьмешь даже четыре билета, у тебя все же останется еще два рубля!..

— Хорошо.

Лопарева немедленно записывала за Павлухиной четыре билета.

— А ты, Осипова, сколько берешь? Хотя у меня нет твоих денег, но я с удовольствием одолжу тебе до приезда твоего отца.

— Да как же мне просить у него денег на лотерею, когда он только что купил мне ботинки и перчатки! Он, наверно, откажется: скажет, что мне не нужны здесь ни запонки, ни салфетки, которые разыгрываются.

— Можешь сказать твоему отцу, что билеты эти берутся не для того, чтобы что-нибудь выгадать для себя, а чтобы помочь несчастному семейству. Если ваши родители не приучили вас дома к состраданию, то мы обязаны делать это.

После такого внушения билеты разбирались, хотя попрежнему весьма неохотно, но беспрекословно. Дело доходит до воспитанницы Петровой, одной из «отчаянных». M-lle Лопарева, не ожидавшая ничего хорошего для себя от этой воспитанницы, уже повернулась, чтобы уйти в свою комнату, но та сама подошла к ней и отчеканила:

— Денег для этих билетов я просить не буду... Моя мать не знает несчастного семейства, в пользу которого вы распродаете билеты... Нам и для собственной еды приходится то и дело клянчить деньги у родителей...

— Гадина! Пошла прочь!— вскричала Лопарева и изо всей силы хлопнула за собою дверь.

— Счастливая! Сумела отвязаться от проклятых билетов!— с завистью говорит Петровой одна подруга.— Как бы я хотела быть такою же отчаянной, как ты! Да вот не могу...

Дорого обходились нам и наши горничные; в каждом дортуаре служила одна из них. Она обязана была убирать не только нашу спальню, но и комнату классной дамы, а также служить как нам, так и ей. Она действительно убирала дортуар, но служила исключительно классной даме. Нужно заметить, что воспитанницы обязаны были сами убирать свои кровати и ящики табуретов. Если перед уходом в класс кто-нибудь из нас забывал это сделать или плохо выполнял эту обязанность, ее бранили и наказывали. Если горничная по уходе воспитанницы замечала беспорядок на ее кровати или в табурете, она старалась исправить эту небрежность, но только для той, которая покупала ее любезность; на беспорядок же у воспитанницы, от которой она мало получала, она нередко даже обращала внимание классной дамы. Несмотря на то, что каждая воспитанница дарила горничной деньги за ее услуги, дортуарная дама два раза в год (в пасху и рождество) делала сбор на покупку для нее подарка. Вследствие этого дортуарные горничные сравнительно с остальною прислугою института быстро наживались, что давало им возможность через несколько лет после вступления в эту должность выходить замуж. Тут уже воспитанницам предстояла трата более значительная, чем все предыдущие.

— Дети!— обратилась к нам однажды m-lle Верховская.— Дортуар m-lle Лопаревой сделал прекрас-

ное приданое своей горничной. Смотрите же и вы не ударьте в грязь лицом. Подумаем сообща, что кому из вас попросить у родителей для Даши. Ты, Маша, что собираешься сделать для нее?

— Полдюжины носовых платков...

— Прекрасно, но ведь это же пустяки! Мы вот как устроим это дело: пусть каждая из вас купит для нее какой-нибудь пустячок в приданое и что-нибудь существенное... Ольга! Твоя сестра имеет много вкуса: она сумела бы выбрать для нее простенькое, но хорошенькое подвенечное платье! Какой-нибудь недорогой шерстяной материи... Ну, а еще купи ей, например, чулки или что-нибудь в этом роде...

Между тем сестра этой воспитанницы не имела собственных денег; ее муж сам покупал для нее наряды, но таких интимных сторон жизни институтка уже никогда не передавала классной даме.

— А твоя мама, Аня? Я знаю... она не может много тратить! (Верховская намекала на то, что мать этой воспитанницы была бедна, так как она приходила в институт очень скромно одетой.) — При этом намеке воспитанница краснела от стыда.— Она может не покупать нашей невесте никакого пустячка, но пусть приобретет для нее только полдюжины готовых рубашек. Это не обойдется ей очень дорого!.. А ты что?

— Перчатки.

— Неужели только? Подумай сама, какое же составится приданое, если одна из вас подарит перчатки, другая — полдюжины носовых платков... Вам нечего скредничать: ведь вы собираете на Дашу в последний раз!

А между тем в нашем дортуаре уже вторая горничная выходила замуж, к тому же сборы на праздничный подарок происходили регулярно.

Некоторые воспитанницы тратили деньги и на подарки классной даме в день ее именин. За два, за три месяца она обыкновенно говорила горничной о том, что

ей хочется купить то или другое, но что она отложит эту покупку до той поры, пока скопит себе деньги. Иногда воспитанницы вскладчину покупали какой-нибудь подарок, иногда несколько воспитанниц дарили ей отдельно каждая. Только Верховская никогда не принимала подарков.

В одном из дортуаров две воспитанницы-сестры положили на стол своей классной дамы большой изящный ящик с чаем, обтянутый атласом и затканный выпуклыми китайскими фигурами.

— Кто из вас положил мне это? — спрашивала классная дама, входя в дортуар с ящиком в руках.

— Мы, mademoiselle,— отвечали обе сестры.

— Но кто же из вас? Ты или твоя сестра?— насмешливо улыбаясь, переспросила дама.

— Мы обе! — отвечали удивленные сестры. Подарок был сравнительно дорогой — несколько фунтов высокого сорта желтого чая,— но классная дама, вероятно, не подозревала его ценности, а может быть потому, что рассчитывала получить другое, она не постыдилась в упор поставить такой вопрос.

Охлаждению между родителями и дочерьми содействовал и весь строй институтской жизни. Нужно помнить, что в ту пору институт был совершенно закрытым заведением: воспитанниц не пускали к родным ни на лето, ни на праздники, и они мало-по-малу забывали обо всем, что делалось вне их стен. Все, что происходило не в институте, для институток становилось все более безразличным, даже странным,— их отчуждение от родителей и родного гнезда росло все быстрее. Скоро у них нехватало даже тем для разговора во время их свиданий. В приемные часы институтка сообщит родственникам о том, кого она «обожает», сколько раз в эту неделю она встретила «обожаемый предмет», не утаит и того, как она была наказана, за что на этих днях придиралась к ней «ведьма», какой балл она получила у учителя,— и материал для разговора исчерпан. Мало того: она замечает, что и эти новости,

для нее столь значительные, совсем не интересуют ее родных, а ее братья и кузены относятся к ним даже насмешливо. Это ее раздражает и мало-по-малу озлобляет против своих. Она старается все меньше знакомить их с событиями институтской жизни и иногда через минут десять после свидания совсем умолкает, а между тем ей приходится сидеть с родными в приемные дни часа два и более.

Расширение умственного кругозора учениц посредством преподавания могло бы еще поддерживать между родителями и их дочерьми интерес друг к другу, но в то время, которое я описываю, оно в России всюду было поставлено очень плохо, а в Смольном еще того хуже. Подходящего чтения, которое могло бы хотя несколько заинтересовать учениц, не существовало. Если и было несколько любительниц чтения (их вообще было крайне мало), то они читали плохие французские романы в оригинале, а еще чаще в безграмотных переводах.

Классные дамы — наше непосредственное и ближайшее начальство — не могли и не желали возбуждать в нас стремление к чтению. Сами крайне невежественные, они настойчиво проповедывали необходимость для молодых девушек усвоить лишь французский язык и хорошие манеры, а для нравственности — религию. «Остальное все,— как без стеснения выражалась m-lle Тюфяева,— пар и, как пар, быстро улетучится... Вот я, например, после окончания курса никогда не раскрывала книги, а, слава богу, ничего из этого дурного не вышло: могу смело сказать, начальство уважает меня».

В дореформенное время нас не обучали естественным наукам, и мы никогда ничего не читали по этим предметам. Да и могли ли они нас интересовать при нашей затворнической жизни? За все время воспитания мы никогда не видели ни цветов, ни животных, не могли наблюдать и явлений природы: сидим, бывало, в саду во время летних каникул, а чуть только тучи начинают

сгущаться,— нас немедленно ведут в дортуар или класс. Во время всей нашей затворнической жизни нам не удавалось видеть ни широкого горизонта, ни простора полей и лугов, ни гор, ни лесов, ни моря, ни рек и озер, ни восхода и заката солнца, ни бурана в степи, хотя мы и делали сочинения о всех этих явлениях природы. Те, у кого в детстве была развита любовь к природе, здесь совершенно утрачивали ее. Весьма естественно, что, окончив курс в институте, мы были вполне равнодушны к красотам природы. С утра до вечера мы видели перед собой лишь голые стены громадных дортуаров, коридоров, классов, всюду выкрашенные в один и тот же цвет. Все эти апартаменты производили на новенькую удручающее впечатление чего-то холодного, неуютного, что заставляло от страха замирать робкое детское сердце, о проходил год-другой,— и никто из нас не обращал на это внимания, никто не находил эту обстановку ни постылою, ни странною. Спрашивается: почему не могли окрасить стены каждого дортуара в особый цвет, обвести их сверху каким-нибудь цветным бордюром и тем придать спальне менее казенный вид? Кроме приемной залы, где были портреты царской фамилии, стены были повсюду совершенно голые. Почему не могли повесить на них портретов знаменитых писателей, олеографии с историческими сюжетами, пейзажи красивых местностей? Почему не дозволялось воспитанницам прикреплять к изголовью кроватей фотографии родителей и родственников, почему запрещено было ставить на подоконниках горшки с цветами, за которыми могли бы ухаживать воспитанницы? Все это хотя несколько скрашивало бы однообразие жизни, возбуждало бы человеческие чувства, хотя слабо поддерживало бы любовь к прекрасному.

Этот казарменный режим, вытравлявший любовь к родителям, привязанность к родному гнезду и другие человеческие чувства, клал особенно постыдный отпечаток на отношение воспитанниц к бедным родствен-

никам. Как краснели они, когда в приемные дни им приходилось садиться подле плохо одетых матерей и сестер! Как страдала институтка, когда в это время, нарочно, чтобы переконфузить ее еще более, к ним подходила дежурная классная дама и обращалась к ее родственнице с каким-нибудь вопросом на французском языке, которого та не знала. Конечно, в таких случаях классные дамы могли только бросать презрительно-насмешливые взгляды, но вслух редко решались выражать свое презрение. Однако, желая дать это почувствовать воспитаннице, они зачастую останавливали свое внимание на особах, являвшихся в институт в модном туалете. Провинится, бывало, в чем-нибудь воспитанница, имеющая богатых родных, и классная дама замечает: «Воображаю, как тяжело будет твоей достойной матушке узнать о твоем дурном поведении!». А между тем все достоинство этой матери, с которою классная дама никогда не сказала ни слова, состояло только в том, что та являлась в приемную в богатом туалете. Не мало было таких случаев: воспитанницу спрашивают, кто у нее был в последнее воскресенье. «Няня»,— отвечает та, и не только классной даме говорит она это, но и своим подругам, а между тем к ней приходила ее родная мать, но она была бедно одета, и институтка отреклась от родной матери. Вот как был велик ужас сознаться в бедности своих родителей! Ни с кем не разговаривая в институте о семье, если она не была богатою, воспитанница скоро забывала о своем тяжелом материальном положении и делалась все более чужою и далекою членам своей родной семьи. Матери, несколько лет не видавшие своих дочерей после их определения в институт, обыкновенно поражались нравственною переменою, происшедшею с ними за время разлуки.

Постепенно утрачивая естественные чувства, институтки сочиняли любовь искусственную, пародию, карикатуру на настоящую любовь, в которой не было ни крупицы истинного чувства. Я говорю о традиционном

институтском «обожании», до невероятности диком и нелепом. Институтки обожали учителей, священников, дьяконов, а в младших классах и воспитанниц старшего возраста. Встретит, бывало, «адоратриса» (так называли тех, кто кого-нибудь обожал) свой «предмет» и кричит ему: «adorable», «charmante», «divine», céleste», целует обожаемую в плечико, а если это учитель или священник, то уже без поцелуев, только кричит ему: «божественный», «чудный». Если адоратрису наказывают за то, что она для выражения своих чувств выдвинулась из пар или осмелилась громко кричать (классные дамы преследовали нас не за обожание, а лишь за нарушение порядка и тишины), она считает себя счастливою, сияет и имеет ликующий вид, ибо она страдает за свое «божество». Наиболее смелые из обожательниц бегали на нижний коридор, обливали шляпы и верхние платья своих предметов духами, одеколоном, отрезывали волосы от шубы и носили их в виде ладонок на груди. Некоторые воспитанницы вырезали перочинным ножом на руке инициалы обожаемого предмета, но таких мучениц, к счастью, было немного.

Мне так часто приходилось упоминать об «отчаянных», что я хочу сказать о них несколько слов. Как это ни странно, но «отчаянные» вследствие своего дерзкого поведения пользовались у нас некоторыми преимуществами. Хотя начальство их жестоко ненавидело, но в то время как классные дамы за ничтожные провинности награждали трепкой и пинками «кофулек», они несравненно более стеснялись с «отчаянными», особенно старшего класса, которые могли наговорить им много неподходящего; классные дамы называли это дерзостями, а бо̀льшая часть воспитанниц — «правдою». Эта «правда» роняла авторитет дам перед классом, и они многое спускали «отчаянным», только бы лишний раз не услышать их дерзкие речи.

Существование «отчаянных» приносило некоторую пользу и остальным воспитанницам: во-первых, боль-

шинство их защищало не только собственные интересы, но и интересы класса, вступаясь чаще всего за тех, которые были несправедливо наказаны. Можно смело сказать, что отчаянное поведение некоторых воспитанниц старшего класса, где они были уже более находчивыми, несколько ослабляло грубый произвол и самодурство классных дам.

Каким образом могли существовать отчаянные, когда начальство всегда могло выбросить их из института? Происходило это, вероятно, потому, что не так-то просто было уволить из института воспитанницу, которая была не по душе начальству. Когда начальница, осведомленная о дурном поведении той или другой воспитанницы, доносила об этом (еще в гораздо более ранние времена, чем те, которые я описываю) императрице Марии Федоровне, та не поощряла таких жалоб, а напротив — ставила их в величайшую вину не только классным дамам, но и начальнице. Даже гораздо позже, когда высшее заведывание институтом перешло к императрице Александре Федоровне, которая сравнительно с предшествующею государынею почти не занималась институтом, император Николай Павлович лично просил начальницу Леонтьеву оставить все порядки, весь строй и дух института, как это было при его матери, императрице Марии Федоровне. Однажды Леонтьева донесла императрице Александре Федоровне о том, что одну из воспитанниц следовало бы выключить за шалости. Императрицу это расстроило, тем более, что она в это время была больна. Узнав об этом, Николай Павлович был страшно взбешен, что таким сообщением потревожили его супругу во время ее болезни, и немедленно приказал передать Леонтьевой, чтобы она не смела расстраивать его супругу донесениями о таких пустяках, как школьные шалости институток, и еще раз строго подтвердил, чтобы она всецело руководствовалась правилами, введенными для институток его покойной матерью. После того Леонтьева, видимо, была более осторожна в своих донесениях: в ее

письмах к императрице Марии Александровне проглядывает уже другой характер. «Некоторые девушки слишком резвы, но это так естественно в их юном возрасте»— вот в каком тоне писала она новой императрице. Вероятно, императрица Мария Александровна тоже не выказывала желания легко выключать воспитанниц из института. За все время моего воспитания из института были уволены только две воспитанницы и два раза хотели уволить меня, но это не удалось ни в тот, ни в другой раз. Вообще выкинуть воспитанницу из института было не так-то легко, в чем я убедилась впоследствии по собственному опыту, и вот этим-то я объясняю существование у нас «отчаянных».

Нравственное воспитание у нас стояло на первом плане, а образование занимало последнее место; вследствие этого наши учителя не имели никакого значения в институте. Все воспитание было в руках классных дам, являвшихся нашими главными руководительницами и наставницами.

Дочь бедных родителей, окончив курс в институте, шла в гувернантки,—это было почти единственное средство заработка для женщины того времени. Она могла быть и учительницей в пансионе, но их было слишком мало, чтобы приютить всех желающих. Институт редко принимал в классные дамы очень молодых девушек, а потому им по окончании курса в институте волей-неволей приходилось начинать свою жизнь с гувернантства. Умственно и нравственно неразвитая,—все ее образование заключалось в долбне и в переписывании тетрадей,—белоручка по воспитанию и привычкам, она не могла заинтересовать детей своим преподаванием, не имела и практического такта для того, чтобы дать отпор тогдашним избалованным помещичьим детям. Положение гувернантки в крепостнический период было вообще самое печальное, а положение гувернантки-институтки вследствие полной неподготовленности к жизни было еще того хуже. Меняя одно место на другое, выпив до дна полную чашу

обид и унижений, девушка после нескольких лет гувернантства добивалась, наконец, места классной дамы, если только, конечно, во время своего институтского воспитания она сумела хорошо зарекомендовать себя перед начальством. За время гувернантства она не обновила своего умственного багажа, а только испортила характер и явилась на казенную службу уже особою озлобленной, с издерганными нервами, мелочною и придирчивою. Окруженная молодыми девушками, она не могла без зависти смотреть на молодые лица. В этом возрасте и она мечтала о счастье взаимной любви (других мечтаний в то время у молодой девушки не бывало), и они, как она, тоже, вероятно, рассчитывают выйти замуж за богатых и знатных, которые с обожанием будут склонять колени перед ними. Но ее мечты не осуществились, ее встретили в жизни лишь тяжелая зависимость и неволя... И с ними,— думала она,— будет то же, что и с нею, но они счастливее ее уже тем, что еще могут надеяться и мечтать!.. И новая классная дама сразу становилась с воспитанницами в официальные отношения, а затем делалась все более придирчивою и злою. Ее гувернантство не дало ей педагогической опытности, а если бы она и приобрела ее, то не могла бы применять ее в институте, где существовали особые правила и традиции для воспитания и где весь строй жизни был противоположен семейному.

В качестве классной дамы она продолжала свою жалкую жизнь, не скрашенную даже привязанностью воспитанниц, вверенных ее попечению. Через несколько лет своей службы она уже была на счету «старой девы», и, наконец, сама приходила к окончательному выводу, что жизнь ее обманула, что больше ей уже не на что рассчитывать, и, разочаровавшись во всем и во всех, она начинала думать только о своем покое. Вот почему классные дамы так ревниво охраняли мертвую неподвижность, вот почему они не допускали шума даже во время игр и забав. Невежественные, мелочные, придирчивые, многие из них были настоящими «фу-

риями» и «ведьмами», как их называли. В маленьких классах они грубо толкали девочек, чувствительно теребили их; со старшими было немыслимо позволять это себе, но зато их можно было наказывать за всякий пустяк: за недостаточно глубокий реверанс, за смех, за оборванный крючок платья, за спустившийся рукавчик, за прическу не по форме и т. д. до бесконечности.

К классной даме принято было обращаться *только* с просьбою: «Позвольте мне отправиться в музыкальную комнату для упражнений на фортепиано», «Позвольте мне выйти в коридор», но вступать с нею в простой, человеческий разговор считалось непозволительною фамильярностью. Самым обычным наказанием было сорвать передник, поставить к доске на несколько часов, что, обыкновенно, сильно мешало приготовлять уроки к следующему дню. Некоторые классные дамы, наказывая воспитанницу младшего класса, не позволяли ей плакать: резко отрывая носовой платок от глаз ребенка, они кричали: «Souffrez votre punition, souffrez». Этим достигали того, что дети скоро переставали стыдиться наказания, а в старшем классе к нему уже относились совершенно равнодушно, как к неизбежной повинности. Я не буду говорить особо о наказаниях, так как о них то и дело приходится упоминать в этом очерке, но не могу не сказать несколько слов об одном из них, тем более, что оно совершенно подрывало физические и нравственные силы девочек.

Известный детский ночной грех возбуждал к провинившейся бесчеловечное отношение со стороны всех без исключения окружающих. Это несчастие случалось с некоторыми воспитанницами обыкновенно лишь в первый год их поступления в институт, следовательно, когда им было 9 или 10 лет. В младшеем классе редко кто из девочек понимал позор доноса на подругу, и никто из них не умел разобраться в том, происходит ли несчастие с товаркой от дурной привычки или от болезни. Совершенно так же плохо были осведомлены на этот счет и классные дамы. Между тем те и другие

твердо усвоили понятие о том, как постыдно не соблюдать чистоплотных обычаев. Как только утром воспитанницы вставали и одна из них замечала, что у подруги не все обстоит благополучно, она объявляла об этом во всеуслышание. Провинившуюся осыпали бранью, кричали ей, что она опозорила дортуар, и звали классную даму, которая надевала провинившейся мокрую простыню поверх платья и завязывала ее на шее. В таком позорном наряде несчастную вели в столовую и во время чая ставили так, чтобы все взрослые и маленькие воспитанницы могли все время любоваться ею. Тут опять на несчастную сыпался град насмешек и издевательств, отовсюду раздавались вопросы, из какого дортуара эта особа. Во время урока несчастную избавляли от позорного трофея, но когда приходилось спускаться в столовую к завтраку и обеду, она опять была украшена им.

Этого несчастия воспитаннице никогда не удавалось скрыть от подруг, а между тем оно обыкновенно повторялось... Подруги, считая себя из-за нее окончательно опозоренными, все запальчивее выражали к ней ненависть и презрение, не называли ее иначе, как позорными эпитетами, толкали, щипали ее. Чтобы предупредить повторение этой слабости, воспитанницы каждый раз, когда кто-нибудь из них просыпался, считали своею священною обязанностью будить несчастную. В дортуаре было до 30 девочек, они то и дело просыпались ночью и совсем не давали спать злосчастному ребенку. Понятно, что при этих нападках несчастие с ребенком начинало быстро учащаться и в конце концов делалось хроническим явлением. Такие девочки являлись настоящими мученицами. В то время как бедную девочку чуть не сживали со света, никто никогда не обратился к доктору, чтобы узнать, не подвержена ли она какой-нибудь болезни, не следует ли ее лечить, вместо того чтобы карать с такою жестокостью. Одна девочка, испытывая подобные пытки, из здорового, краснощекого ребенка, каким она поступила в институт, через полгода

превратилась в хилое, желтолицее существо. В конце концов ее удалили из института. Когда через несколько месяцев после этого она приехала к нам навестить свою родную сестру, бывшую в старшем классе,— этот еще недавно затравленный зверек имел вид веселый и здоровый.

Грубость и брань классных дам, подстать всему солдатскому строю нашей жизни, отличались полною непринужденностью. Наши дамы, кроме немки, говорившей с нами по-немецки, обращались к нам не иначе, как по-французски. Они, несомненно, знали много бранных французских слов, но почему-то не удовлетворялись ими и, когда принимались нас бранить, употребляли оба языка, предпочитая даже русский. Может быть, это происходило оттого, что выразительною русскою бранью они надеялись сильнее запечатлеть в наших сердцах свой чистый, поэтический образ! Как бы то ни было, но некоторые бранные слова они произносили не иначе, как по-французски, другие не иначе, как по-русски. Вот наиболее часто повторяемые русские выражения и слова из их лексикона: «вас выдерут, как сидоровых коз», «негодница», «дурнда роговна», «колода», «дубина», «шлюха», «тварь», «остолопка»; из французских слов неизменно произносились: «brebis galeuse» (паршивая овца), «vile populace» (сволочь). Брань и наказания озлобляли одних, а к другим прививали отчаянность и бесшабашность, иных делали грубыми и резкими, а многих заставляли терять всякое самолюбие. И это естественно: там, где не действует убеждение, уже никак не может благотворно влиять наказание, в корне убивающее стыдливость.

Воспитание ограничивалось строгим надзором классных дам лишь за внешним видом и поведением учениц: они зорко наблюдали за тем, чтобы воспитанницы были одеты, кланялись, здоровались, отвечали на те или другие вопросы точь-в-точь так, как это было в институтских обычаях. За малейшее уклонение от общепринятого этикета классная дама могла карать по своему

усмотрению. В младшем классе она в то же время обязана была объяснять детям уроки, заставлять их читать и писать на трех языках. Но эту обязанность выполняли очень немногие, и притом обыкновенно крайне формально и небрежно. Так же мало внимания обращали они на то, кто как учится, обнаруживают ли ответы ученицы ее способности или показывают полное непонимание и тупость. По своему невежеству и отсутствию педагогических способностей, классные дамы не могли быть полезными кому бы то ни было, а тем более воспитанницам старшего возраста, с большинством которых у них были даже враждебные отношения. Надуть, обмануть, ловко провести классную даму, устроить ей какую-нибудь каверзу в старшем классе считалось настоящим геройством. Как бы жестоко ни обращалась классная дама с воспитанницами, выполняла она или нет свои обязанности, не превышала ли своей власти,— за этим никто не следил, даже инспектриса, хотя это было ее прямым долгом. Понятно, что воспитанницам некому было жаловаться на возмутительное обращение с ними классных дам.

M-lle Нечаева, дортуарная дама одного из отделений кофейного класса, всегда отличавшаяся необыкновенною неуравновешенностью своего характера, начала вдруг приходить все в большее нервное расстройство: то и дело немилосердно трепала кофулек, бросала в них книгами, беспрестанно ставила их на колени в угол, оставляя в таком положении по нескольку часов. Из ее дортуара вечно раздавались крики, стоны, слезы. Девочки приходили в класс и столовую с распухшими от слез глазами. Скоро к этому присоединились и новые выходки m-lle Нечаевой, от которых ее питомицам приходилось страдать еще тяжелее: по ночам она внезапно вбегала в дортуар с криком: «Вставайте!», хватала за руку спящих детей и заставляла их одеваться, а затем вопила пронзительным голосом: «На молитву! Господь прогневался на вас!». При этом она бросалась на колени, увлекая за собой и детей. В то же время

она сильно изменилась: исхудала, не ходила, а как-то суетливо бегала, громко разговаривала сама с собою; если кто-нибудь обращался к ней с замечанием, она подымала шум, возню, скандал. Начальство по этому поводу таинственно перешептывалось между собой, но никто ее не трогал и, вероятно, долго не тронул бы, если бы ее похождения ограничились лишь ее дортуаром; но они приняли более широкие размеры. Однажды, разбудив воспитанниц и не дав им времени одеться, Нечаева потащила их молиться в класс, добраться до которого приходилось через несколько коридоров. Армия босоногих девочек, из которых многие были в одних рубашках, с отчаянным криком и плачем бежала за нею. После молитвы в классе Нечаева отправилась с детьми в апартаменты инспектрисы. Но к этому времени m-me Сент-Илер уже успела приготовить все, чтобы отправить ее в сумасшедший дом. Инспектриса превосходно знала, что Нечаева уже несколько месяцев до этого происшествия по ночам будила детей и жестоко терзала их, но не ударила палец о палец, пока та не привела к ней ночью полуголых детей.

Прошло уже более полугода после моего вступления в институт, а я совсем еще не могла приспособиться к раннему вставанию, голоду и холоду. Я вечно тряслась от лихорадки, а временами так кашляла, что будила подруг по ночам, днем же мешала им слушать уроки. В то же время меня так одолевала сонливость, что я машинально исполняла приказания, была вялою и неразговорчивою. Классные дамы решили, что я послушная девочка, и выказывали ко мне даже внимание: как только я им попадалась на глаза, они всегда находили, что я больна, и посылали меня в лазарет.

В то время для измерения температуры тела не применяли термометра: лихорадку доктор определял по пульсу и ощупывая лоб своими руками. Проделав со мною все, что при этом полагалось, он говорил, обращаясь к надзирательнице: «Ее всегдашняя болезнь — лихорадка. Поспит, поест, обогреется,—и завтра же будет

здорова, а отправится в класс — опять то же будет... В помещичьих-то домах жарко топят, плотно кормят, тепло укрывают; натурально, что такие дети не могут выносить у нас температуры девять и восемь градусов».

И я блаженствовала. Мне нравилось даже то, что служащие в лазарете называли друг друга по именам, точно на воле. Не страдая более от холода и голода, я крепко засыпала и на другой день вставала здоровою. Мое благополучие продолжалось до тех пор, пока не приводили нескольких воспитанниц, страдавших таким же недомоганием. Я смотрела на них как на врагов, хотя понимала всю законность моего изгнания из лазарета, в который я то и дело возвращалась и где проводила не только дни, но недели и месяцы.

Единственным утешением и отдыхом от неприглядной институтской жизни служил лазарет. Весь его служащий персонал — доктор, надзирательница, лазаретная дама — были простые, добрые существа, стоявшие в стороне от институтских интриг; все они обращались с нами участливо и добропорядочно. Доктор прекрасно понимал, что причиною малокровия и лихорадок, которыми воспитанницы страдали в первый год своей институтской жизни, были скудное питание и суровая жизнь, и охотно держал в лазарете слабых здоровьем, а по выходе из него многим прописывал молоко или на некоторое время больничную пищу,— более он ничего не мог сделать. Лазарет, в котором воспитанницы могли выспаться вволю, где они отдыхали душой и телом, спасал многих из них от преждевременной гибели. В него шли охотно даже тогда, когда туда отправляли в наказание, что, впрочем, практиковалось у нас довольно редко и исключительно в старшем классе.

Несмотря на крайне неблагоприятные условия институтской жизни того времени, процент смертности среди воспитанниц был сравнительно ничтожен. По словам одного врача, серьезно занимавшегося исследованием причин этого явления, это происходило прежде всего от того, что при самом ничтожном заболевании

лихорадкою, головною болью, незначительным расстройством желудка воспитанниц немедленно отправляли в лазарет и укладывали в кровать,— таким образом, в самом начале заболевания мешали дальнейшему развитию болезни. Сильному распространению зараз и заболеваний препятствовали также чистота и опрятность хорошо вентилируемых помещений, регулярная жизнь и строго определенное время для сна и еды, что в сильной степени ослабляло возбужденное, нервное состояние воспитанниц. Но если процент смертности среди воспитанниц был сравнительно невелик, зато было чрезвычайно много болезненных, исхудалых, малокровных и нервных.

Возвращаясь из лазарета в класс, я уже через несколько часов чувствовала озноб и сонливость. Если это было в те часы, когда подруги готовили уроки к другому дню, я устраивала себе ложе между скамейками: несколько учебников, покрытых байковою косынкой, служили мне подушкой; я опускалась на пол к ногам подруг, которые усердно зубрили уроки; они бросали на меня свои платки, и я засыпала. Дежурная дама не могла заметить меня, а если невзначай вспоминала о моем существовании, то «сторожихи», у ног которых я лежала между скамейками, толкали меня, и я вскакивала как ни в чем не бывало. На вопрос классной дамы, откуда я взялась, я отвечала, что искала учебник.

Сонливость и лихорадка, от которых я страдала в первый год институтской жизни, вечное пребывание в лазарете, все более развивающаяся лень из рук вон плохо отражались на моих занятиях. Этому содействовал и обычай, крепко укоренившийся в нравах учителей: если воспитанница несколько раз плохо отвечала кому-нибудь из них, он переставал вызывать ее, и она могла оставить заботу о своем учении, уверенная, что он не потревожит ее в продолжение учебного сезона. За нерадение в учении и за плохие отметки никто с нас не взыскивал, никого не беспокоила мысль, что воспитанница бросила учиться.

Изо всего штата классных дам, старых дев, озлобленных ханжей, придирчивых и до крайности тупых, резко выделялась моя дортуарная дама m-lle Верховская. В ту пору, о которой я говорю, ей было лет двадцать пять — двадцать шесть. Она была не только самою умною и образованною между ними, но и самою красивою и молодою. Остальные дамы редко выезжали из института в свои свободные дни, ее же в такое время никогда не было дома,— у нее, видимо, было не мало знакомых семейств. Она не только много читала, но даже обстановка ее комнаты носила иной характер, чем у других: над ее столиками и на стенах висели красивые этажерки с книгами, стоял шкаф, наполненный книгами в красивых переплетах,— это были произведения классиков на русском и иностранных языках, которые она прекрасно знала и теоретически, и практически. Ее молодость, красота, превосходное знание языков, несравненно более высокий уровень образования, обстановка ее комнаты, даже ее простое форменное платье, изящно охватывавшее ее стройную высокую фигуру,— решительно все возбуждало к ней неутолимую зависть ее товарок. Они не только вечно сплетничали про нее, интриговали, делали ей какие-то намеки и бесцеремонно подглядывали за нею, когда кто-нибудь ее навещал, но наблюдали даже за ее отношениями к воспитанницам ее дортуара,— одним словом, делали ее жизнь просто невыносимою. Все это, видимо, страшно раздражало ее, чрезвычайно вредно отзывалось на ее уже от природы крайне неуравновешенном характере, испорченном институтским воспитанием и, как говорили мне впоследствии, ухаживаниями светских кавалеров, между тем как это существенно все же не меняло ее судьбы.

Только она одна считала своею обязанностью объяснять уроки воспитанницам своего дортуара, кое-что рассказывать им, заставлять их читать. К несчастью, ей не часто приходилось заниматься с детьми: в свободные дни она уезжала, а в дни дежурств иной раз

так погружалась в чтение, что не видела и не слышала, что делалось вокруг. Не приходилось ей часто заниматься и потому, что между нею и нами от времени до времени наступали крайне враждебные отношения, когда все без исключения, точно по уговору, употребляли все средства, чтобы держаться от нее в сторонке, и отказывались от занятий, придумывая ту или другую причину. M-lle Верховская, когда находилась в хорошем настроении, была доброю, милою, умною, даже обворожительною,— и становилась невозможною, когда на нее нападали периоды гнева и вспышек; тогда мы боялись ее больше всех классных дам. В такие периоды мы сидели в дортуаре так тихо, что не смели пошевельнуться, осторожно перевертывали страницы учебника, и у нас стояла гробовая тишина: никто не поверил бы тогда, что тут, в огромной спальне, сидит более тридцати девочек, и притом в свободное от уроков время.

Картина совершенно менялась, когда между нами и Верховскою царствовали мир и согласие. Воспитанницы так свободно, как ни в одном дортуаре, расхаживали тогда по своей огромной спальне, громко разговаривали между собой и от времени до времени раздавался даже веселый смех. Но вот одна из них подходит к запертой двери комнаты Верховской и кричит по-французски: «Пожалуйста, mademoiselle, расскажите нам что-нибудь или почитайте». К ней присоединяются и остальные подруги, и все то же самое на разные лады кричат ей в дверь, которая скоро открывается. Верховская появляется с милым, добрым выражением лица и садится читать «Записки Пиквикского клуба» или что-нибудь в этом роде и вместе с воспитанницами заливается громким смехом. Также любили мы слушать ее рассказы о том, что она видела в театре, или то, что ей удалось только что прочитать. Иногда эти чтения, которые мы обожали, это мирное отношение к нам Верховской продолжалось месяц-другой, и мы просто блаженствовали. Но вдруг все менялось, как по мановению волшебного жезла.

Был праздничный день, и мы после обеда пришли в дортуар. Верховская заявила нам, что будет читать, позвала всех в свою комнату, насыпала в передник каждой из нас по горсти орехов и сластей и приказала садиться тут же. Комнаты классных дам были невелики, и мы разместились не только на ее немногих стульях и диванчике, но и на полу. Прежде всего она начала передавать нам содержание одной комической сценки из балета. Пожевывая сласти и щелкая орехи, мы громко смеялись. Вдруг в комнату вваливается Тюфяева.

— Какая... можно сказать, умилительная картина! Вас тешит их обожание... Как вы еще молоды! А я так плюю, когда они меня обожают и когда ненавидят.

С первых слов этой дамы воспитанницы вскочили с своих мест.

— Кажется, я ничего не сделала недозволенного?

— Едва ли такое баловство дозволено у нас. Кроме вас, никто не позволяет себе таких фамильярностей с воспитанницами! Впрочем, я спрошу у инспектрисы: может быть, она это и одобрит...—И Тюфяева вышла из комнаты.

Верховская сделала вид, что это не произвело на нее никакого впечатления, взяла книгу и начала читать, но читала без выражения, и через несколько минут с деланным спокойствием заявила:

— Мне надо писать письма... Идите к себе...

Девочки вошли в дортуар и сгрудились в противоположном конце его, откуда их тихие разговоры не были слышны и Верховской. «Может быть, еще и сойдет!» — шептала одна из них. «Держи карман!.. Всем достанется на орехи за орехи!..»—острила Ратманова. «Знаете что? Станем на колени перед образом и произнесем двенадцать раз сряду: «помяни, господи, царя Давида и всю кротость его...» — предложила Ольхина. Это молитвенное воззвание, по мнению институток, должно было спасать от всяких напастей. Но на этот раз такое предложение вызвало только раздражение.

В дортуар вбежала пепиньерка и заявила Верховской, что m-me Сент-Илер зовет ее к себе. Она возвратилась, когда нас уже нужно было вести в столовую. После чая и молитвы, не разговаривая с нами, она быстро направилась в свою комнату и изо всей силы захлопнула дверь за собой. Мы рады были и тому, что она не оставалась с нами. Мы уже рассчитывали на то, что на этот раз, пожалуй, все пройдет благополучно. Однако на другой день она встала мрачнее тучи, объявила, что, несмотря на то, что это ее свободный день, она останется дома и будет с нами заниматься вечером.

Когда мы вошли в дортуар, она сухо проговорила, что обещала учителю французского языка заставить нас спрягать глаголы. Она была бледна, хваталась за голову, как от головной боли, и приказала нам садиться. Мы разместились на двух скамьях у стола, а она — у конца его, на стуле. Девочки, по ее приказанию, по очереди начали спрягать глаголы, но то и дело ошибались, как оттого, что плохо знали, так и оттого, что их пугал мрачный вид и расширенные зрачки Верховской. «Тупицы! Идиотки!» — злобно кидала она, причем одну воспитанницу так толкнула, что та стукнулась головой об стену, с другой сорвала передник и затем нескольких прогнала от себя толчками. Дошла очередь до меня. «Как? Как? Начинай снова! — топнув ногой, грозно закричала она на меня. Окрик Верховской заставил меня окончательно растеряться. «Ведь на-днях еще я заставляла тебя спрягать тот же глагол!.. Ты знала... Значит, теперь понадобились фокусы, надругательства!..» Она встала со стула и так рванула меня за руку, что я громко закричала от боли.

Зазвонил колокол. Она приказала всем, кроме меня, отправляться в класс, чтобы итти с другими в столовую, а меня толкнула в угол, пиная при этом ногами, надавила руками на плечи так, что я грохнулась на колени; после этого она сейчас же ушла к себе. Когда через несколько минут она вышла оттуда, ее щеки горели

багровым румянцем, глаза были налиты кровью, она схватила меня за плечи трясущимися от волнения руками, подняла с колен и начала срывать с меня передник и платье. При этом она осыпала меня обычною бранью классных дам на русском и французском языках, не щадя упреков и попреков за свои благодеяния: «Гадина!.. Проспала чуть не весь год!.. Я трудилась с нею, заставила ее догнать других!.. Вот и благодарность!.. Подлые, грязные душонки!». Ее руки так тряслись, что я вывернулась от нее и побежала с криком к двери. Она догнала меня, втянула в свою комнату, замкнула дверь и, вся трясясь, как осиновый лист, продолжала срывать принадлежности моего туалета, но от волнения это ей не удавалось, и она схватила уже заранее приготовленный жгут и ну осыпать меня ударами по лицу, плечам, голове. Вероятно, она сильно избила бы меня, но в эту минуту снизу послышался шум, означавший, что воспитанницы встают из-за стола. Верховская бросила жгут и вдруг сунула мне кружку с водой и полотенце, вероятно желая заставить меня вытереть лицо. Но я бросила кружку об пол с криком: «Я все скажу... родным напишу... не смеете драться!».

Когда воспитанницы вошли в спальню, я, рыдая, начала рассказывать им об истязании, только что совершонном надо мною. Чтобы Верховская могла слышать, я нарочно выкрикивала во все горло, но спазмы душили меня, и я бросала только отдельные слова. Наконец я сорвалась с своего места, подбежала к образу, упала на колени и, захлебываясь слезами, во всеуслышание произносила клятву перед богом о том, что с этой минуты я даю слово вечно быть «отчаянной», дерзить и грубить всем подлым дамам, а этой злюке, этой змее подколодной более всех, и призывала в свидетели подруг! При тогдашней моей умственной и нравственной неразвитости эта клятва долго терзала меня, и я не могла отделаться от нее даже будучи взрослой, несмотря на то, что выполнять ее для меня

было крайне тяжело, и в конце концов я уже начала сама сомневаться в том, следует ли мне быть ей верною.

Однако Верховская была настолько тактичною, что не давала мне повода дерзить ей. Она, конечно, слыхала мою клятву, знала по выражению моего лица, что я начала крайне враждебно относиться к ней, но она больше не обращала на меня ни малейшего внимания, перестала спрашивать у меня уроки, не заставляла меня читать, не подзывала к себе, старалась не произносить моего имени,—одним словом, совершенно оставила меня в покое. Но зато я начала дерзить m-lle Тюфяевой и другим классным дамам и скоро почти официально была причислена к разряду «отчаянных».

За громкий разговор Тюфяева тянет меня к доске; я не упускаю случая сказать ей что-нибудь в таком роде: «Вам не дозволено вырывать у нас рук».

— Будешь стоять у доски два часа!

— Я скажу завтра учителю, что вы не даете мне учиться.

— Сбегай на нижний коридор, попроси солдата купить мне хлеба,— обращается ко мне кто-нибудь из подруг. Если я указываю, что на площадке нижнего коридора только что проходила классная дама, мне обыкновенно возражают: «Какая же ты отчаянная, если не можешь сделать и этого?». Трясусь, бывало, от страха, но употребляю все усилия, чтобы не обнаружить его перед другими, и, проклиная свою злосчастную долю, пускаюсь в опасное предприятие из страха погубить свою репутацию «отчаянной». Мои похождения далеко не всегда увенчивались успехом, может быть потому, что быть «отчаянной» не было моим призванием: меня то и дело ловили на месте преступления и наказывали. Но я продолжала соблюдать неизменную стойкость и верность принципам «отчаянной», что навлекало на мою голову не только наказания, но и приносило мне душевные терзания. Тем не менее, все свои выходки и дерзости начальству я старалась делать с веселым лицом, желая показать, что мне все нипочем.

После описанного выше происшествия Верховская заметно становилась все более оживленною и веселою, все реже нападали на нее припадки вспыльчивости и гнева, да и они не проявлялись уже в столь острой форме. Однако и в наступившие теперь длинные периоды своих любезных отношений с воспитанницами она уже более не усаживала их в своей комнате и не оделяла сластями,—это, видимо, было запрещено ей тогда же инспектрисой. Теперь, когда она читала с воспитанницами, я уходила на другой конец дортуара и садилась на табурет, но она мне не делала никаких замечаний по этому поводу. Ее безоблачное настроение сделалось, наконец, обычным явлением, и она заявила нам, что выходит замуж и скоро навсегда оставляет институт.

ГЛАВА IX

Инспектриса, ее характер и значение

Как легко было классной даме оклеветать воспитанницу.— Последствия институтской конфузливости.— Посещение лазарета императором Александром II.

Кто был непосредственною начальницею Александровской половины Смольного? Кто управлял штатом служащих, начиная от классных дам и кончая горничными? Начальница Леонтьева была верховною главою двух институтов, но если бы она даже захотела, то не имела бы возможности вникать во все, что делалось в Александровском институте, тем более что она жила на Николаевской половине. Наша инспектриса, m-me Сент-Илер, которую мы называли «maman», по официальному своему положению была нашею прямою начальницею. Но Леонтьева была слишком властолюбива, чтобы выпустить что-нибудь из своих рук. Этому содействовала и полная бесхарактерность m-me Сент-Илер, оказавшейся марионеткою в руках начальницы. Леонтьева не довольствовалась тем, что давала тон и направление двум институтам и стояла на страже консервативных начал, но требовала, чтобы наша инспектриса докладывала ей о всякой мелочи, о шалостях и грубости

воспитанниц, об интригах классных дам, о каждом мало-мальски выходящем из общего уровня происшествии, о сомнительном, по ее понятиям, слове учителя,— решительно обо всем. При малейшем желании инспектрисы уклониться от навязанной ей роли старейшая из наших классных дам, Тюфяева, без церемонии угрожала ей тем, что она сейчас же обо всем донесет начальнице, и, не давая той опомниться, быстро приводила в исполнение свою угрозу. Но и при своем подчиненном положении инспектриса могла бы все-таки настоять на том, чтобы, например, эконом сокращал свои алчные аппетиты и не так быстро наживался на счет здоровья воспитанниц, могла бы она требовать и смены классной дамы, зарекомендовавшей себя возмутительным обращением с детьми. Одним словом, если бы она не могла сделаться вполне самостоятельною, на что ей давало право ее положение, но для чего нужно было обладать мужественным характером, все же она могла бы быть чем-нибудь полезною воспитанницам. Но m-me Сент-Илер ни в каком отношении не умела себя поставить как следует и приносила воспитанницам скорее вред, чем пользу. Этому не поверил бы тот, кто имел возможность лично узнать ее (но не в качестве инспектрисы),— такое производила она на всех чарующее впечатление. Умная и для своего времени весьма образованная, по натуре гуманная, миролюбивая, добрая, деликатная, даже сердечная и любящая детей, она сохранила и под старость какое-то элегантное изящество, следы поразительной красоты и представительности. Но как инспектриса она не умела дать отпора никому, не могла никого защитить и была в подчинении у своих же подчиненных, даже как-то боялась их всех. Это происходило не оттого только, что она лишена была твердой воли, но, видимо, и оттого, что она боялась потерять место инспектрисы, дававшее ей возможность существовать, содержать и воспитывать своих детей, которых она боготворила. Болезненной, вечно страдающей жестокими мигренями, ей также, видимо, сильно хоте-

лось тихо, покойно, без дрязг и историй доживать остаток своих дней.

M-me Сент-Илер была вполне осведомлена относительно всего, что у нас творилось. Иначе и быть не могло: она посещала классы и дортуары по нескольку раз в день, ежедневно встречалась с классными дамами, вечно враждовавшими между собой и доносившими ей друг на друга, а еще чаще на воспитанниц, и таким образом имела полное представление об их нравственном и умственном убожестве, но у нее нехватало мужества решительно запретить классной даме делать то или другое, указать кому-нибудь из них на ее поведение, предосудительное для воспитательницы. То одна, то другая из них прибегала к ней с жалобой на одну из воспитанниц. M-me Сент-Илер не входила в разбор дела, не доискивалась того, кто из них прав, кто виноват. Она немедленно звала к себе обвиняемую и мягко журила ее в таком роде: «Это нехорошо, дитя мое... Это меня огорчает!.. Надеюсь, что это больше не повторится!». Она была слишком умна и не могла думать, что вся ее обязанность инспектрисы, вся ее педагогическая мудрость должны были ограничиваться лишь подобными внушениями. Таким образом, m-me Сент-Илер, несмотря на свою личную, безусловную порядочность, мягкость и доброту, была особой с совершенно ничтожным характером. Вот потому-то грубость и произвол классных дам, особенно в младших классах, проявлялись при ней с такою жестокостью, как ни при какой другой инспектрисе.

Не было примера, чтобы самая отчаянная воспитанница когда-нибудь сказала «maman» какую-нибудь дерзость. Да она никогда и не вызывала на это: со всеми нами она обращалась в высшей степени вежливо и деликатно, а дежурным (две воспитанницы старшего класса по очереди сидели в ее комнатах в внеурочное время для разных поручений, например позвать к ней ту или другую классную даму или передать что-нибудь от ее имени) она выказывала лишь ласку и внимание.

Хотя она ни в одной области институтской жизни не приносила существенной пользы, но воспитанницы любили ее уже за одно то, что она представляла полную противоположность классным дамам; к тому же, будучи умственно неразвитыми, мы, особенно в младшем классе, как-то мало думали и разговаривали о том, кто виноват в нашем тяжелом положении.

Прием родственников происходил у нас два раза в неделю: по воскресеньям с часу до трех и по четвергам с шести до восьми часов вечера. Воспитанницы, ожидавшие родственников, расхаживали по парам вокруг зала, где сидели те из них, к которым уже пришли родные. Посреди залы прогуливались дежурные дамы и пробегали дежурные воспитанницы.

В первые годы моей институтской жизни меня посещал мой дядя с своею женою — единственные родственники, которые были у меня тогда в Петербурге. Эти посещения приводили меня в восторг. Материальное положение моей матери было крайне тяжелое в это время: четыре-пять рублей в год, которые она высылала мне, все без остатка уходили на удовлетворение главных моих потребностей, но их далеко нехватало даже на это, а о том, чтобы затратить хотя несколько копеек на увеличение моего скудного пищевого пайка, я не смела и думать. Но меня еще более угнетала мысль, что моя бедность заметна для всех, что на меня с презрением смотрят за это классные дамы. Даже в самую откровенную минуту с наиболее любимыми подругами я никогда ни единым словом не проговорилась о тяжелом материальном положении моей семьи. Посещение меня богатыми родственниками сильно помогало мне сбивать с толку окружающих насчет моего материального положения, но, конечно, потому только, что классные дамы и подруги судили о достатках людей по внешности, не имея представления об их взаимных отношениях. Мой дядя, важный генерал, грудь которого была украшена бриллиантовою звездой и орденами, и его жена, в модном туалете, приезжали ко мне в блестящей карете,

с лакеем на запятках, который в то время, когда они сидели у меня, стоял в нашей передней, нагруженный их верхним платьем. О, все это так импонировало в институте, производило такой фурор, что классные дамы не решались с улыбкой сожаления или презрения, как они это делали относительно некоторых моих подруг, высказывать мне замечания насчет моего дяди, а между тем он своим поведением то и дело нарушал институтские правила. Наши родственники в приемной должны были разговаривать с нами тихо или вполголоса, мой же дядя, будучи человеком в высшей степени экспансивным и смешливым, не только громко разговаривал со мной, но от времени до времени его неудержимый смех гулко прокатывался по всей зале.

— А это кто же такой? Да ведь это настоящая жаба! — вдруг вскрикивал он.

Я наклонялась к дядюшке и начинала объяснять ему, что это классная дама, что если это дойдет до ее ушей, мне сильно достанется от начальства.

— Начальство? Это твое начальство? — И дядюшка сейчас же менял тон. Хотя глаза его продолжали смеяться, но он строго говорил мне, грозя пальцем: — Смотри у меня, Элизэ!.. Начальство — уважать прежде всего! Чтобы никто о тебе дурного слова мне не сказал.

Однако это не мешало моему легкомысленному дядюшке сейчас же делать вслух новое, еще менее лестное замечание о какой-нибудь другой классной даме. Зато неизменно восторгался он внешностью нашей представительной, красивой инспектрисы и однажды, не будучи в силах совладать с своими чувствами, подошел к ней и с величайшей галантностью выразил ей свое глубочайшее уважение. Как бы то ни было, но в то время когда другим воспитанницам после посещения родственников классные дамы зачастую делали замечания, вроде следующих: «Извольте предупредить вашего брата, что у нас не принято разговаривать так громко; потрудитесь передать ему, что это крайне не-

прилично!..» — мне никто никогда ничего подобного не говорил.

Посещения дяди доставляли мне удовольствие не только потому, что он являлся ко мне в блеске военного величия и богатства, и не потому, что он приносил мне безделушки, вроде красивых альбомов, шкатулочек, дорогие конфеты, но и потому, что, будучи добрым человеком и прекрасным родственником, он был ко мне очень нежен, и я чувствовала всю искренность его привязанности. К тому же, в то время когда мои подруги жаловались на то, что их родственники не интересуются «институтскими историями», дядя подстрекал меня рассказывать их, и в такие минуты то и дело раздавался его раскатистый смех.

Когда шел второй год после того как я перешла в старший класс, дядя как-то письменно известил меня о том, что мой младший брат, окончив курс в провинциальном корпусе, переведен в петербургский дворянский полк, что теперь он будет часто посещать меня и в первый воскресный прием явится ко мне вместе с ним.

В тот день, когда я, ожидая родственников, вошла в залу, дядя уже направлялся ко мне, а сзади него следовал молодой человек,— я поняла, что это был мой младший брат Заря. Когда он поднял на меня глаза, я тотчас узнала его, хотя долго не видала, и к моему сердцу, окаменевшему в атмосфере казенщины, вдруг, неожиданно для меня самой, прилила теплая струйка крови, и я, забыв институтский этикет, со слезами бросилась в его объятия.

— Ты знаешь,— обратился дядя к брату, когда мы несколько успокоились после первых минут свидания,— они ведь здесь обожаниями занимаются... обожают даже сторожей, ламповщиков...

Превратившись в настоящую институтку, я, с институтским гонором и с институтскими понятиями о чести, энергично отрицала это обвинение, с наивною гордостью выставляя на вид, что у нас никто еще

никогда не обожал никого ниже дьякона, что все это могло быть в других институтах, но никак не у нас.

— Да это бесподобно! — хохотал дядя.— Чем же выражается у вас это обожание?

Я начала рассказывать о том, какие слова кричат обожаемым учителям, как им обливают пальто и шляпу духами, и при этом указала, что воспитанница, сидевшая в ту минуту близко от нас, обожает учителя рисования, что у него под носом пятно от табака, что он нюхает его, как только выходит из класса, а на лбу у него громадная грязная бородавка.

— Как, вы обожаете и безобразных, и старых, и даже неопрятных?

Я очень удивилась такому вопросу и объяснила, что кроме таких учителей у нас и нет почти других.

— Ну, а священнику как вы выражаете свое обожание?

— Адоратрисы в первый день пасхи вместо яиц дарят ему красиво вышитые шелками мячики, натирают духами губы, когда христосуются с ним...—При этом я сообщила, что одна воспитанница призналась священнику на исповеди, что она обожает его, как бога. Он рассердился на нее, сказал, что она превращает исповедь в забаву, и объявил, что лишает ее причастия. Она испугалась, что это узнают классные дамы, умоляла его простить ее и не выходила из исповедальни до тех пор, пока не выпросила у него прощения.

— Как это все нелепо, глупо и пошло! — вдруг произнес мой брат.

Дядя очень рассердился на него за эту ненужную с его стороны серьезность и просил его оставить в неприкосновенности мою наивность. Чтобы дискредитировать брата в моих глазах, дядя, хотя и шутливо, сообщил мне, что мой младший брат Заря и в подметки не годится старшему, Андрюше, который оказывается настоящим бравым офицером, лихим служакою, дамским кавалером, чудесным танцором, а потому, наверно, сделает блестящую военную карьеру. Что же

касается брата Зари, то, по словам дяди, он напрасно и числится-то военным, так как день и ночь корпит над книгами. Он тут же начал советовать ему перейти в военную академию, просил не навязывать мне книг, не «развивать меня», как это делают теперь многие молодые люди, и говорил, что это совсем не нужно девушке, что ее прозовут за это «синим чулком».

Я успокоила дядю, говоря, что не люблю читать, что наше начальство совсем не обращает внимания на наше учение, что оно следит только за нашим поведением.

— Хвалю ваше начальство! Очень хвалю! Действительно девушке нужна только нравственность...

Как только дядя распростился с нами и мы остались вдвоем с братом, он заметил, что для дочерей дяди, как для богатых девушек, может быть, и ничего не нужно более, как только заботиться о своей нравственности, но что мне, бедной девушке, очень не вредно подумывать о том, чтобы запастись знаниями.

Эти рассуждения брата мне напомнили внушения матери о бедности, которые она так часто любила делать нам, своим детям, о чем я в институте старалась забыть и уже почти достигла этого. И вдруг брат, который навестил меня в первый раз после долгой разлуки, напоминает мне об этом! Замечания брата как-то сразу охладили мое теплое, родственное чувство к нему, явившееся у меня при встрече с ним в первую минуту. На его вопрос, что мы проходим у преподавателя словесности, я с гордостью отвечала ему, что Лермонтов изложен у нас на восемнадцати страницах, а Пушкин даже на тридцати двух. Из ответов, которые я давала брату, он пришел к правильному заключению, что я не читала ни одного произведения наших классиков.

— Какой у вас дурацкий учитель литературы! Вы, видимо, и выучились здесь только обожанию!

Хотя я тяжело страдала от уклада институтской жизни и от всего его режима, но миазмы стоячего

институтского болота уже достаточно пропитали мой организм, и я считала низостью спустить брату его оскорбительное замечание об институте, которым я гордилась, несмотря ни на что, и об учителе, которого мы считали гениальным, а потому высокомерно возразила ему:

— Должно быть, не все такого мнения, как ты, о нашем институте, так как он всюду считается первоклассным в России!.. А наш преподаватель словесности и литературы Старов — знаменитый поэт, перед которым преклоняются даже такие дуры, как наши классные дамы.

— Такого знаменитого поэта в России нет, и классные дамы преклоняются перед ним только потому, что они дуры...

Это было уже слишком, и я вскочила, чтобы убежать от него не простившись. Но брат во-время схватил меня за руки. Он долго и нежно уговаривал меня, просил меня извинить его и в конце концов заявил, что я непременно должна заниматься чтением, что он будет носить мне книги. Я наотрез отказалась от этого предложения, говоря, что у нас столько переписки, столько обязательных занятий, что у меня нет свободной минуты. И, видя, что я все порываюсь уйти, брат переменил тему разговора. Он стал рассказывать мне о том, как матушка уже теперь мечтает приехать за мной в Петербург к моему выпуску, как она давно копит для этого деньги, откладывая по нескольку рублей в месяц.

— Такие жертвы! Зачем? — вдруг вырвалось у меня помимо воли.

— Как зачем? — с изумлением воскликнул брат.— Ты даже после долгой разлуки не желаешь увидеть родную мать?

— Конечно, я желаю видеть маменьку... Но если это так трудно для нее?.. Вероятно, дядя согласится взять меня к себе... Пожалуйста, уговорите ее не приезжать ко мне... Право же, это вовсе не нужно... Уверяю тебя, что я устроюсь...

Мой брат заподозрил, что я имею какие-нибудь веские причины отказываться от приезда матушки, начал ловко выспрашивать меня, и я откровенно высказалась по этому поводу. Я напомнила ему о том, что матушка не только не стыдилась бедности, но чуть не хвасталась ею... Здесь же на это иначе смотрят. Что же делать!.. Не все могут быть одинакового убеждения, не все находят, что бедность — такое счастье, которым можно хвастаться! Если матушка приедет брать меня из института, она, наверно, явится сюда в тех же платьях, которые у нее были пошиты еще тогда, когда она привозила меня. А ведь с тех пор моды совсем изменились!..

— Как ты думаешь,—обратилась я к брату,—очень мне приятно будет, когда ее станут высмеивать здесь за ее туалеты?

— Довольно! — вдруг произнес брат с страшным гневом, резко отодвигая свой стул.— Так вот чему тебя здесь научили! — Он весь побагровел и вышел, не простившись со мною.

Я не только не понимала всей глубины пошлости, сказанной мною, но и не умела хорошенько разобраться даже в том, за что на меня так рассердился мой брат; тем не менее, с каждым днем я все более и более страдала от разрыва с ним. Всю вину за эту ссору я сваливала на него. «Как это дико,—думала я:—он требует, чтобы все в институте придерживались такого же мнения, как наша матушка». Я нашла, что мои подруги были вполне справедливы, когда утверждали, что родственники и все живущие вне института никогда не могут вполне понять институтку. Но это открытие не доставило мне ни малейшего утешения, и сердце мучительно ныло при мысли, что самый близкий мне человек в Петербурге, мой родной брат, не будет более навещать меня.

Мое мрачное настроение усиливалось еще вследствие письма, полученного мною от любимой сестры Саши через брата в первое свидание с ним. Хотя воспитан-

ницы и их родственники обязаны были переписываться не иначе, как через классных дам, которые должны были перечитывать все отправляемые и получаемые ими письма, но громадное большинство пользовалось всяким случаем сообщаться между собою без всякого контроля.

До посещения меня моим братом я все реже и реже вспоминала о своем доме и о своих близких, но после ссоры с ним каждый раз, ложась в постель, я не могла отделаться от воспоминаний о прошлом. Мне приходили на память давно забытые, печальные события моего злосчастного детства или вырисовывалась то одна, то другая картина моего жалкого существования в институте: наказания классных дам с их воркотнею и грубою бранью, мои жестокие обязанности в качестве «отчаянной», муки раннего вставания, голода и холода. Память цеплялась за все самое мрачное в моей жизни, выдвигала лишь печальное.

С невыразимою тоскою и с обидой на судьбу я все сильнее начала чувствовать весь ужас своего одиночества, всю свою заброшенность, полную оторванность от всего близкого и родного. И, уткнувшись ночью в подушку, чтобы не разбудить подруг, я рыдала, рыдала без конца. «Что из того,— думала я,— что у меня много подруг: я не могу ни с кем из них говорить о своих домашних делах!». Боязнь, что кто-нибудь узнает о бедности моей семьи, мешала мне быть откровенной с кем-нибудь из них. Еще хуже обстояло дело по отношению к близким родным: я уже давно перестала отвечать на письма сестры Саши, а матери хотя писала, но по казенному образцу. Матушка особенно строго следила за тем, чтобы я извещала ее о получении денег, которые она посылала от четырех до пяти рублей в год. Такая сумма не могла удовлетворить мои насущные потребности, и это усиливало мое раздражение против нее. Я не умела беспристрастно обсудить свое положение, не была настолько умственно и нравственно развитою, чтобы критически отнестись к своему неблаговидному поведению относительно ма-

тери, и не видела необходимости заставить себя изменить свое отношение к ней. Я не только писала ей «казенные письма», но преподносила ей, как мне, вероятно, казалось тогда, чуть не настоящие отравленные стрелы, но что, в сущности, было просто грубостью и пошлостью. Я пересылала письма не через классных дам, а по почте, через родственниц моих подруг. Вот одно из них:

«Считаю своею обязанностью известить Вас, милая маменька, что я приобщилась св. тайн, а потому простила всех-всех моих врагов. Я буду просить Вас, милая маменька, не беспокоить себя присылкою мне четырех-пяти рублей в год: их не всегда хватает на покупку помады, мыла, гребенок, щеток, а тем более ботинок, чтобы заменить ими казенные, которые падают с ног во время уроков танцев. Не могу из денег, которые Вы мне присылаете, купить себе и перчатки для балов. На балы эти хожу не потому, что их обожаю, а потому, что требует начальство, а над старыми, разорванными перчатками, которые я беру у подруг, когда они их бросают, все издеваются. На 4 — 5 рублей, которые Вы мне посылаете, милая маменька, я не могу заказать себе и корсета, который стоит здесь 6 — 8 рублей, а хожу в казенном, от которого у меня остаются ссадины и раны. Чтобы иметь еще хотя несколько рублей кроме тех, которые вы мне посылаете, я за плату беру шить у подруг передники и пелеринки. Воспитанницы, которых матери любят, посылают деньги дочерям не только на все, что здесь необходимо, но и на шитье всего, что мы тут обязаны себе пошить. Такие воспитанницы все свое шитье отдают за плату горничным. Хотя мне очень стыдно быть вроде горничной, но я беру эту работу, и мне, как горничной, подруги платят за эту работу. Вы видите, милая маменька, что на Ваши четыре и даже пять рублей я ничего не могу сделать, что мне здесь нужно, а потому, пожалуйста, не присылайте мне ни этих Ваших четырех, ни даже пяти рублей».

Одно из подобных писем заканчивалось еще такой «адской иронией»:

«Всех своих добрых, чудных, милых наставниц, т. е. классных дам, я люблю от всего моего сердца и очень их уважаю, а одну из них, m-lle Тюфяеву, с которою Вы лично познакомились, когда отдавали меня в институт, я просто обожаю. В последние четыре месяца никто из родственников меня не навещал, но Вы не беспокойтесь, милая маменька,— я в этом совсем не нуждаюсь: мне очень здесь весело, чрезвычайно хорошо, я совершенно здорова, чего и Вам желаю».

Ни упреков, ни негодования от матушки за эти письма, чего я так жаждала в тайниках моей души, я не находила в ее ответах, а деньги она попрежнему высылала в том же объеме.

Вот письмо сестры Саши, которое не только взволновало меня, но и повергло в самое тяжелое душевное настроение и в первый раз заставило подумать кой о чем, хотя не надолго... Оно начиналось без обычного обращения:

«Только что перечитала твои письма к мамашечке. Очень благодарю тебя, что ты не отвечала ни на одно из моих писем. Если ты не желаешь или не умеешь писать по-человечески, я предпочитаю твое молчание. Твои письма, в которых нет ни чувства, ни правильной мысли, ни любви, ни даже простого сострадания и почтения к родной матери,— просто ужасны. Как, почему ты уже в четырнадцать лет успела сделаться таким нравственным уродом? Твоя деревянность, пошлая язвительность и непристойная грубость относительно матери меня возмутили до глубины души и привели в отчаяние и ужас. И что это за выражения: «Я здорова, чего и Вам желаю»? Так пишут только солдаты! Хотелось бы мне знать, кто твои враги, которых ты прощаешь столь великодушно? Как ты не краснеешь от стыда, выставляя матери на вид и подчеркивая, что она посылает тебе только четыре-пять рублей, что ты вынуждена шить за плату передники? Каждому, у кого

нет средств, приходится работать. Матушка в этом отношении первая подает пример своим детям. Ты пытаешься сказать, что тебе деньги нужны лишь на самое существенное, а она со смерти отца очень часто отказывает себе и в существенном. Опомнись, брось свой деревянный и пошло-язвительный тон, солдатчину и казенщину и пиши матери так, как она этого заслуживает своею неутомимою деятельностью на пользу своих детей.

«Родная моя девочка, дорогая моему сердцу сестренка! Заклинаю тебя всем, что еще осталось для тебя дорогого — памятью покойной нашей милой няни, твоею прошлою нежною привязанностью ко мне, воспоминание о которой до сих пор вызывает у меня слезы,— возьми себя в руки, постарайся расшевелить свой мозг, отогреть свое окоченевшее сердце добрыми воспоминаниями о близких тебе, проснись, моя дорогая, скажи откровенно, за что ты разлюбила меня, за что ты так безжалостно порвала со мною все отношения, что тебя так перевернуло в институте, отчего ты сделалась такою холодною, просто даже каменною, если судить по твоим письмам? Хотелось бы мне знать и то, как идут твои занятия, какими предметами ты особенно увлекаешься, какое чтение наиболее доставляет тебе удовольствия, о чем ты мечтаешь, что ты стремишься делать по окончании курса. Может быть, я задала тебе сразу слишком много вопросов, а между тем у меня остается все еще и еще, о чем бы хотелось тебя расспросить. Как ты прежде откровенно, чистосердечно болтала со мной обо всем, так и теперь без утайки, если только не разлюбила меня, расскажи о своем положении в институте, отвечай, как умеешь, на мои вопросы: будем думать сообща, как ослабить то тяжелое и горькое, что особенно тебя волнует».

Это письмо обожгло мое сердце и совершенно выбило из колеи. Прежде чем отправить ответ, я разорвала несколько писем к сестре и в первый раз почувствовала, что совсем не умею выражать своих мы-

слей, что они у меня какие-то спутанные, коротенькие, отрывочные.

«Обожаемая Шурочка!

«Обиднее всего для меня то, что ты считаешь меня нравственным уродом. Неужели ты думаешь, что я могла тебя разлюбить? Не писала тебе потому, что хотела написать все как есть, но не умею выражаться. Сама не знаю, что со мною происходит... Лучше расскажу тебе сказку, которую я про себя придумала, тогда, может быть, ты скорее поймешь, что со мною.

«Помнишь ли ты, дорогая Шурочка, когда ты бежала от Лунковских? — Когда мы легли с тобою спать, ты вдруг начала плакать, а я все приставала к тебе с расспросами, почему ты плачешь. Ты рассказала мне сказку: когда ты родилась, говорила ты, к твоей колыбели подошла фея, и так как она в тот день раздала новорожденным все свои лучшие дары — богатство, красоту, счастье, и у нее остались только слезы, то она и подарила их тебе. И к моей колыбели подошла фея, но не прекрасная красавица, а злая-презлая, и во все горло крикнула мне: «А ты будешь особой шиворот-навыворот!..». Предсказание злой феи сбылось: у меня решительно все выходит шиворот-навыворот. Ты говоришь: «Расшевели свой мозг, отогрей свое окоченевшее сердце», но если я постараюсь это сделать, у меня все выйдет наоборот. Как перед богом, говорю тебе правду: хочу сделать одно, а делаю другое. Разве я желала тебя и маменьку обманывать, когда обещала вам хорошо учиться и вести себя, а вышло наоборот.

«Ты называешь меня «нравственным уродом», но я не злюсь на тебя, — я это заслужила. Хотя твои слова страшно обидны для меня, но я попрежнему боготворю тебя, всегда помню, что ты была для меня настоящею родною матерью. Однако, несмотря на то, что я тебя обожаю и преклоняюсь перед тобой как перед божеством, я прошу тебя — не пиши мне писем. Один бог знает, как от этой моей просьбы у меня разрывается сердце, понимаю я и то, что это невежливо, даже гадко

с моей стороны, а все-таки прошу — не пиши. Без твоего письма мне как-то покойнее жилось, а теперь не знаю, куда деться, минутами сердце стучит, как молоток, в груди. Вот уже первый шиворот-навыворот: хочу, чтобы ты писала, люблю тебя, и — прошу не писать.

«Из всего, что я расскажу тебе, ты увидишь, что все у меня выходит шиворот-навыворот. Обещала хорошо учиться, а в кофейном классе так училась, что учителя перестали вызывать, а теперь, в старшем классе,— только немногим выше середины стою, да и то вывозят сочинения. Ты скажешь, что у меня память дурная, а я отвечу: «Не хуже, чем у других». Ты подумаешь, что я плохо понимаю, но ведь если бы я была тупицею, учитель литературы и француз не ставили бы мне за сочинения двенадцатибальную отметку, да еще иногда с крестом. Нет, уж у меня все шиворот-навыворот выходит. Не умею объяснить, что со мною происходит, а сочинения могу писать, да еще делаю их не только для себя, но и для всех последушек: так называют у нас последних в классе. Значит, не тупица я и не лентяйка... Но перед тобой, мой обожаемый Шурок, я должна откровенно все говорить,— так вот очень часто действительно можно сказать, что я настоящая тупица и что не учителя виноваты в том, что у меня какая-то пустота в голове. Наш учитель литературы — гениальный человек и дивный поэт; мы очень серьезно изучаем у него литературу. Читает он нам много отрывков из различных произведений... И если бы ты знала, как он божественно читает! Черты его лица тогда становятся вдохновенными, поэтичными! Он так увлекательно говорит о красоте, об идеале! Я слушаю его так внимательно, что боюсь проронить хотя одно его слово, всегда выучиваю заданные им уроки, почти всегда отвечаю у него на 12. Но вот он как-то попросил меня изложить урок своими словами,— напутала, прямо вышла у меня какая-то галиматья, вообще как-то у меня ничего не остается в голове от лекций даже такого гениального преподавателя, как Старов. Иногда мне

кажется, что все это происходит со мною из-за того, что меня вечно терзают голод и холод. Прости, что такому идеальному существу, как ты, я говорю о таком низменном, но что же мне делать, если голод и холод перед тем как ложиться спать просто разрывают мне все внутренности... Но, может быть, все это и не от этого? Тяжело, тяжело, сама не знаю отчего!

«А в поведении моем настоящий хаос: тут же мой *шиворот-навыворот* выступает во всем блеске! Моя дортуарная дама Верховская, еще в кофейном классе, в такой день, когда она на всех была ужасно зла, вдруг несправедливо набросилась на меня, избила меня, унизила до последней степени, истерзала своею злостью всю мою душу, и я за это перед образом и перед всеми воспитанницами поклялась сделаться «отчаянной». И до сих пор держу свою клятву: всем классным дамам говорю правду в глаза, а также дерзости, беру на себя опасные поручения. За это я на очень дурном счету у начальства, все классные дамы в голос кричат, что меня мало вышвырнуть из института. Ты понимаешь, Шурочка, что не могу же я перестать быть отчаянной: ведь я перед образом клялась, да и подруги заподозрят, что я хочу подлизываться к начальству... А если бы ты знала, как мне тяжело быть отчаянной, как я это ненавижу, но я это скрываю от подруг. Значит, уж моя судьба быть шиворот-навыворот! Шурочка, как тяжело, тяжело!

«Ты спрашиваешь, о чем я мечтаю? Только о том, чтобы ты хотя на один день, хотя на один час приехала ко мне. Я бы положила на твои колени свою голову, ты бы гладила мои волосы, а я плакала бы, плакала так, что мне сразу стало бы легче.

«Шурок, боготворимая, обожаемая сестра! Не прими за грубость, но прошу тебя—если ты не можешь посетить меня, не пиши мне больше: твои письма терзают меня, разрывают мне душу! Я гадкая, сама сознаю это, но на коленях умоляю тебя: прости меня, люби меня хотя немножко».

Когда через несколько недель после ссоры с братом Зарею мне сказали, что он пришел ко мне, я так обрадовалась, что в первую минуту не могла даже говорить с ним. Он не вспоминал о нашей размолвке, и на этот раз наше свидание прошло совершенно миролюбиво. Брат начал посещать меня почти каждую неделю. Я все более привязывалась к нему. Правда, от времени до времени меня бесили его насмешки над моими институтскими выражениями и взглядами, и у нас выходили маленькие стычки, но наши свидания никогда более не кончались формальною ссорою. Благодаря ему я менее сиротливо чувствовала себя в институте, и тяжелое настроение, особенно давившее меня одно время, несколько улеглось.

Однажды он заявил мне, что следующие две-три недели будет сильно занят и не может приходить ко мне. И вдруг, несмотря на это, в первое же воскресенье, когда уже оставалось не более получаса до окончания приема, воспитанницы закричали, что ко мне пришли. Сбежав с лестницы, я только что собиралась войти в залу, когда m-lle Тюфяева загородила мне дорогу.

— Кто пришел к тебе?—спросила она.

— Вероятно, дядя или брат, который ходил ко мне всю зиму.

— А еще ты никого не ждешь?

— Никого,— отвечала я и бросилась вперед, не замечая, что и она идет сзади по моим следам. Да это и трудно было заметить за массою публики у входа в залу, из которой уже многие выходили, простившись с своими родственницами. Не успела я сделать и нескольких шагов, как увидела своего младшего брата.

— Рекомендую тебе моего большого приятеля,— сказал он мне,— указывая глазами на стоявшего подле него красивого, стройного офицера.

Я отвесила ему реверанс.

— Этот молодой человек,— продолжал брат,— давно стремится познакомиться с тобою...

Ответом на это с моей стороны был опять реверанс.

— Я много слышал о строгих нравах вашего института,— заговорил офицер,— но мне так хотелось познакомиться с сестрой моего лучшего друга, и я под его покровительством решился проникнуть в ваш строгий монастырь.

Я опять отвесила ему чинный реверанс.

— Боже мой, сестренка, неужели ты не узнаешь меня, твоего старшего брата? Неужели я так изменился?

Мистификация кончилась, мы, наконец, расцеловались и уселись по местам.

Мой старший брат, совершенно неожиданно даже для себя, только утром в этот день приехал в Петербург, остановился у дяди, который дал свой экипаж, чтобы мои братья навестили меня. Они не могли пробыть у меня долго, так как должны были возвратить экипаж дяде, который ехал куда-то по спешному делу, а потому нам удалось очень мало посидеть вместе.

Как только после свидания с братьями я успела подняться в свой дортуар, передо мной выросла m-lle Тюфяева и, грозно указывая на меня трагическим жестом, закричала во все горло:

— Я всем вам строго запрещаю приближаться и разговаривать с этою грязною тварью! Она опозорила наше честное заведение!

— Как, я? — не понимая, в чем дело, пораженная ужасом и изумлением, спрашивала я только потому, что Тюфяева прямо указывала на меня.

— Ах ты фокусница! Нет, сударыня моя, ты прекрасно знаешь, что ты — настоящая чума института! Но теперь, слава богу, от тебя уже избавятся навсегда...— И, снова обращаясь к воспитанницам, она продолжала: — Она сама, понимаете, сама сказала мне (при этом ладонью руки она ударяла себя в грудь), что ждет своего дядю или брата, которых мы знаем. Я собственными ушами слышала (она подняла обе руки к ушам), как ее брат, указывая на приведенного им офицера, рекомендовал его как своего товарища, как этот офицер говорил ей, что он боялся проникнуть в наш строгий институт

и решился на это только при благосклонном покровительстве ее братца. А эта дрянь, действительно, сначала отвешивала ему только реверансы, а потом нашла это лишним и бросилась в его объятия... Сама видела, как они целовались взасос, как они несколько раз принимались целоваться!.. И все на моих глазах!.. Я, не отходя, наблюдала их! Почти все время стояла в нескольких шагах от них.

— Это ложь! Подлая ложь! Вначале я, действительно, не узнала старшего брата... Я не видала его более пяти лет... А когда узнала...

— Молчать, сволочь, паршивая овца, чума, зараза! — И она, как из рога изобилия, продолжала осыпать меня французскими и русскими ругательными словами, а от времени до времени подскакивала ко мне, топала на меня ногами и кричала:

— Я сейчас же доложу обо всем инспектрисе!..— и быстро вышла из дортуара.

В это время мы были уже в старшем классе, и никто из моих подруг не придал значения тому, что она только что запретила разговаривать со мной. Напротив, все окружили меня и начали обсуждать «событие». Ни одна воспитанница не усомнилась в том, что Тюфяева оклеветала меня: поцеловать чужого мужчину, да еще при официальной обстановке, а тем более в приемные часы, было просто немыслимо для кого бы то ни было. Как я, так и мои подруги были одинаково убеждены, что доносу Тюфяевой начальство хотя и не поверит, но очень обрадуется, как удобному предлогу вышвырнуть меня из института за мою «отчаянность».

— Несчастная! Как ты решилась на такой ужас? — вскричала инспектриса, входя в дортуар в сопровождении Тюфяевой.

— Это ложь, maman! Клянусь богом, это клевета! M-lle Тюфяева давно искала случая меня погубить! — рыдала я.

— Как ты осмеливаешься говорить это про твою почтенную наставницу?

В ту же минуту некоторые из моих подруг окружили m-me Сент-Илер и повторяли ей на все лады:

— Maman! Maman! Это был ее брат! Она его не узнала в первую минуту...

— Молчать! — дала окрик Тюфяева.— Видите ли, madame,— говорила она, обращаясь к инспектрисе и указывая на меня,— какое безнравственное влияние имеет она на свой дортуар! Они перебивают даже вас.

Но тут колокол позвонил к обеду. Это, вероятно, несколько облегчило неприятное положение нашей бесхарактерной maman. Уходя, она обернулась ко мне и произнесла:

— Когда ты обдумаешь свой ужасающий поступок и признаешь, как все это было ужасно с твоей стороны, ты можешь притти ко мне сознаться в этом, иначе я не хочу и разговаривать с тобой.

— Но я клянусь всем святым, maman, что это был мой родной брат! Я не могу сознаться в том, чего не делала,— говорила я, обливаясь слезами.

— А я перед образом клянусь вам, madame,— и Тюфяева повернулась в угол, где висел образ,— что все, что я сказала вам,— истинная правда: все это я видела собственными глазами, слышала собственными ушами. Увижу, madame, кому вы поверите: мне ли, беспорочно прослужившей здесь более 36 лет, или этой грязной девчонке, родной брат которой приводит к ней...

— О, m-lle Тюфяева! — торопилась перебить ее совершенно растерянная m-me Сент-Илер, хватая себя за голову и поспешно направляясь к себе.

Воспитанницы строились в пары. Когда я подошла к подруге, с которою должна была ходить в паре, Тюфяева подскочила ко мне и рванула меня за руку прочь от нее:

— Никогда не посмеешь больше ходить с другими! Всегда одна... и сзади всех... как настоящая зараза!

— Иуда! Клеветница! Клятвопреступница! Не сметь до меня дотрагиваться! — кричала я в исступлении, не помня себя от раздражения.

— Все, все это будет доложено начальнице! — шипела Тюфяева.

— Даже и то, чего нет! — громко хохотала Ратманова.

M-lle Тюфяева, желавшая изолировать меня от подруг, должно быть вследствие раздражения, забыла поместить меня за отдельным столом или, по крайней мере, поставить меня между колонн, что считалось для воспитанниц старшего класса одним из наиболее тяжелых наказаний, и я сидела на своем обычном месте. «Какой удар нанесет моей матери и сестре мое удаление из института! Да... для меня все теперь потеряно, но я, по крайней мере, должна защищать свою честь до последней капли крови!» — решила я. Но вот соседка под столом нажимает мою ногу и подсовывает записку под мой ломоть хлеба, но так, чтобы мне видно было написанное. Я читаю: «Тебя все равно на-днях выгонят отсюда, пожалуйста, очень тебя просим, надерзи, по крайней мере, так, чтобы стены трещали». Меня это бесит. Я злобно толкаю руку, которая протягивает мне уже новую записку. «Эгоистки! Вместо того чтобы пожалеть меня, невинно опозоренную на всю жизнь, они только думают о себе, мешают даже сообразить, что делать!»

Когда мы возвращались из столовой в класс (я одна позади всех) и проходили мимо узкого коридорчика, который вел в покои инспектрисы, Тюфяева пропустила всех перед собою и встала у самого входа в комнаты maman, точно желая преградить мне дорогу к ней. Этим она, сама того не подозревая, дала неожиданный толчок моей мысли. Когда я, усевшись на классную скамейку, начала вынимать из пюпитра книги, но не для того, чтобы учиться, а чтобы что-нибудь иметь перед собой, Тюфяева закричала мне: «Не утруждай себя ученьем!.. На-днях, моя драгоценная, тебя выгонят отсюда с позором!.. В свидетельстве будет прописано, за какие дела тебя выгнали... Ну, а теперь — сюда! Передник долой и стоять у доски до чаю!». Я беспрекословно исполнила ее приказание. Вдруг

среди гробовой тишины раздался голос Ратмановой: «Удивительно, как некоторые личности не могут достаточно утолить свою злобу!».

Тюфяева не пожелала принять этого изречения на свой счет, проскрипела на французском и русском языках еще несколько ругательств по моему адресу и победоносно вышла из класса пить кофе,— это означало, что мы, по крайней мере час, будем наслаждаться ее отсутствием. Я взяла мел и написала на классной доске: «Согласно вашему заявлению и благодаря вашей грязной клевете, я считаю себя уже уволенной из института, а потому и не нахожу нужным долее подвергать себя вашему тиранству».

— Молодец, молодец! — кричала Ратманова, бросаясь ко мне, схватила меня за талию и начала кружить в вальсе.

Я вырвалась от нее, надела передник и побежала к инспектрисе.

— Maman! — и я с воплем бросилась перед ней на колени.— Вы одна можете меня защитить! Умоляю, будьте мне родною матерью!

— Боже мой! Что же я могу сделать? Я просила m-lle Тюфяеву отложить эту историю хотя на несколько дней, подождать докладывать начальнице, но разве m-lle Тюфяева послушается кого-нибудь! Напротив, дитя мое, ты одна не только можешь помочь себе в этом деле, но и меня избавить от очень многих неприятностей!.. Если ты, при твоем строптивом нраве, бросишься на колени не передо мною, а перед m-lle Тюфяевой, будешь умолять ее простить тебя за все грубости и дерзости, которые ты ей делала, искренно пообещаешь ей исправиться, она тронется... Да, да, я уверена, она тронется твоим раскаянием...

Страшная душевная тревога, вызвавшая лихорадку, так что я минутами не могла попасть зуб на зуб, уже несколько часов удручала меня, а теперь еще новое предложение инспектрисы, столь унизительное, как мне казалось, для моего человеческого достоинства, возмутило меня до последней степени. Я как ужаленная

вскочила с колен. Это новое оскорбление притянуло к моему сердцу всю кровь организма, всю горечь жестоких обид, весь огонь негодования моего вспыльчивого и неуравновешенного темперамента. Я совсем забыла об обязательном этикете относительно инспектрисы и о своем бесправном, рабском положении; к тому же, меня не оставляла мысль, что мне нечего более терять, и я бесстрашно начала говорить все, что приходило мне в голову.

— Maman! Вы требуете, чтобы я просила прощения; но как просить прощения в том, в чем я не считаю себя виноватой? Вы советуете упасть на колени перед особой, которую презирают все воспитанницы без исключения, а я, кажется, еще больше других... Я скорее дам разрезать себя на куски, но этого не сделаю! Да и к чему? Вы говорите: «Проси прощения за грубости»,— но ведь в данную минуту m-lle Тюфяева обвиняет меня не за них. Вы даже сами не можете произнести того, за что она меня обвиняет, следовательно, сами не верите в справедливость ее обвинения. Я знаю, меня вышвырнут отсюда... M-lle Тюфяева повторяет мне это каждую минуту, но за такую клевету я отомщу всем, всем без исключения! Я даю клятву богу, что отдам всю свою жизнь на то, чтобы отомстить всем, всем... Мой дядя всегда может иметь аудиенцию у государя... Я через него подам просьбу государю... И дядя расскажет ему, как здесь, вместо того чтобы защищать молодых девушек, на них взводят небылицы и выгоняют с позором! — Инспектриса вздрогнула при этих словах и подняла на меня глаза, но я не могла остановиться, не могла замолчать.— И здесь нет никого, кто бы защищал нас!.. Даже вы... вы, maman, которую все считают умною и образованною, самою доброю,— даже вы не желаете меня защитить, хотя прекрасно знаете, что я ни в чем не виновата!..

Спазмы давили мне горло от рыданий, я не могла более говорить, опять бросилась на колени перед нею, опять повторила то же самое на разные лады. Инспек-

триса молчала — потому ли, что сознавала справедливость моих слов, или потому, что считала дерзостью все сказанное мною,— мои заплаканные глаза не могли видеть выражения ее лица, но ее дрожащие руки вдруг опустились на мою голову, и я инстинктивно поняла, что она не считает дерзостью сказанное мною. Я припала к ее коленям и стала целовать ее руки со стоном: «О, maman, maman!». Наступило молчание, прерываемое только моим судорожным всхлипыванием. Наконец она проговорила, продолжая гладить мои волосы своими дрожащими руками:

— А ведь я до сих пор совсем не знала тебя! Горячка, горячка! Ах, дитя, твой пылкий нрав, доходящий до исступления, много горя, много слез готовит тебе в будущем! Я понимаю, почему тебя так ненавидят классные дамы, почему произошла эта история именно с тобою, а не с кем другим... — Она положительно не могла назвать того, что произошло, и сама, вероятно, не соображала, что, говоря таким образом, она этим самым подтверждает, что не верит взведенной на меня клевете.—Видит бог, что при всем желании я решительно ничего не могу тут сделать!

Вдруг у меня блеснула счастливая мысль написать дяде и просить его объяснить m-me Сент-Илер, кто у меня был сегодня на приеме. Я высказала ей это, и она, подумав, отвечала, точно обрадовавшись:

— Что же, напиши!.. Да... да, конечно, напиши... Может быть, это будет самым лучшим исходом для всех нас!.. Я отправлю твое письмо с горничною на извозчике, но, конечно, только в том случае, если ты сумеешь написать это без каких бы то ни было неделикатных выражений по отношению к m-lle Тюфяевой.

Мое письмо было кратко и объективно: я сообщала дяде о посещении меня братьями и объясняла ему, как и почему явилось подозрение у m-lle Тюфяевой, что мой старший брат — совершенно посторонний для меня человек. Я умоляла дядю выяснить это дело сегодня же, так как m-lle Тюфяева заявила мне, что я

за прием чужого офицера, которого, к тому же, поцеловала, буду немедленно уволена из института.

Когда я дописывала последние строки, в комнату вошла m-me Сент-Илер.

— Видишь ли, мое дитя, как ты наивна! Ты воображаешь меня такой всесильной, а я даже не могла упросить m-lle Тюфяеву, чтобы она подождала с этой историей хотя до завтра. Она уже отправилась к начальнице.

Хотя инспектриса внимательно прочитала мое письмо, но не сделала никаких возражений и моментально запечатала его, дала горничной на извозчика и приказала ей, не теряя ни минуты, отвезти его и вернуться обратно с ответом.

Несколько успокоенная, я отправилась в дортуар, где подруги рассказали мне, как Тюфяева, возвратившись в класс, заметила, что меня не было у доски, как она несколько раз прочитала мое послание к ней и объявила, что она сейчас же отправляется к начальнице доложить обо всем происшедшем.

Когда воспитанницы ушли в столовую пить чай, я опять направилась к инспектрисе. Наконец возвратилась и горничная. Когда она, по ее словам, подъехала к подъезду квартиры, занимаемой моим дядею, он садился в карету, чтобы ехать куда-то. Он взял письмо и пошел с ним наверх к себе. Когда он опять вышел на подъезд, то приказал горничной передать инспектрисе о том, что он едет к начальнице, а затем явится к ней. При этом он закричал кучеру: «Гони!».

Я целую вечность, как мне показалось, бродила по коридору, поджидая дядю. Наконец я увидала, что он поднимается наверх.

— Это что за грязная история?— строго спросил он меня, точно я была в ней виновата.

— Дядюшечка, дорогой, пожалуйста, тише!.. Нас могут услышать...— и я быстро передала ему все, как было дело.

— Знаешь ли ты, глупая, что твои бабы могли меня скомпрометировать очень серьезно. Нет, этого я им не

спущу! — И, нагибаясь к моему уху, он прибавил: — Твоей начальнице я уже наступил на хвост... повизжит! Просто идол какой-то!.. Эту египетскую мумию в музей надо, а не двумя институтами управлять!..— И он начал хохотать так, что все его грузное тело сотрясалось.

Дядюшкин смех был услышан в комнатах инспектрисы, и к нам выскочила горничная, вероятно для того, чтобы посмотреть, кто пришел. Я потянула дядю за руку, и мы вошли. При нашем появлении maman поднялась и, протягивая руку дяде, начала говорить о том, как она рада, что он поторопился приехать. Вероятно, теперь выяснится этот прискорбный случай, который...

Дядя более привык командовать полком, кричать, распоряжаться, чем вести светскую беседу. К тому же, он был взбешен всем этим делом.

— Это не прискорбный случай, сударыня, а прямо, можно сказать... грязь! Я уже предупредил начальницу Леонтьеву, а теперь честь имею доложить вам, что буду считать долгом... священным долгом довести все это до государя императора. Моя жена — почтенная мать семейства, самое миролюбивое существо, но и она пришла в негодование, прочитав письмо племянницы. Она говорит, что порядочная воспитательница, заподозрив девочку в таком преступлении, не должна была обмолвиться ей об этом не единым словом, даже виду не показать, а обязана была моментально написать мне, дяде, и сообщить о подозрениях, закравшихся у нее, требовать у меня объяснения относительно молодых людей, посетивших девочку. Но г-жа Тюфяева поступила как раз наоборот: с места в карьер она набросилась на мою племянницу и начала уличать ее в преступлении. А знаете ли, сударыня, какие бы последствия могло иметь это дельце? Оно наделало бы много шуму в городе, меня оно обрызгало бы грязью, а ее женская честь была бы навек загублена!.. В царствование императрицы Елизаветы Петровны — мудрейшая была государыня! — такой особе, как г-жа Тюфяева, отрезали бы язык...

— Генерал, генерал, ваше превосходительство! У нас не принято при воспитанницах так отзываться об их воспитательницах!

Вдруг дядюшка быстро и сердито обратился в мою сторону и закричал на меня во все горло:

— Как ты смеешь, постреленок, тут торчать? Смей у меня не уважать начальство!

Я как ошпаренная выскочила в другую комнату, но ничего не потеряла из интересного для меня разговора. Голос дядюшки раздавался на всю квартиру.

— Но чем же я виновата в этой истории? Я умоляла m-lle Тюфяеву не докладывать о ней начальнице, по крайней мере, несколько дней, но все было напрасно...

— Вы, сударыня, могу вас уверить, вы во всем виноваты. Разве можно держать таких недостойных воспитательниц? Вы, начальница этого заведения, и вдруг позволяете подчиненной сесть себе на голову! Вы должны держать подчиненных в ежовых рукавицах, чтобы они и пикнуть не смели, а вы их распустили! Это большое преступление! Вы извините меня, сударыня, я простой русский солдат, много раз бывал под градом неприятельских пуль, верою и правдою служу моему обожаемому монарху и правду-матку привык резать в глаза... Правда, я человек горячего характера, но ведь эта история может взорвать хоть кого! — Но тут он начал смягчаться, подробно рассказал, как сегодня приехал мой старший брат, как он дал ему карету, чтобы тот вместе с своим младшим братом навестили меня, как они быстро возвратились и т. д.— Верьте, сударыня, я отношусь к вам с чувством глубочайшего уважения и обвиняю вас только в излишней слабости и попустительстве... Для меня несомненно, что все это произошло от вашей ангельской доброты.

Инспектриса, несмотря на свою слабохарактерность, все-таки не позволила бы наговорить всего того, что ей пришлось выслушать, но ее, как она мне сама сознавалась уже после моего выпуска, вынуждал к этому страх, что крутой и шумный генерал, чего доброго,

действительно доведет до сведения государя эту историю и что в таком случае она наделает много неприятностей институтскому начальству. Как только она могла прервать поток горячих речей моего дядюшки, она начала высказывать ему, что вполне понимает справедливость его негодования, и уже по тому, как он горячо принял к сердцу интересы своей племянницы, она видит, какою возвышенною, благородною душою он обладает.

Дядюшка не всегда мог устоять перед лестью. Он вскочил с своего места, протянул руку и с чувством произнес:

— Как же иначе? Моя племянница — дочь моей родной сестры, сирота, я единственный ее защитник и покровитель! Но вы сами, сударыня, как я уже тысячу раз говорил племяннице, чудная, святая женщина... она должна питать к вам только благоговение и восторг, а вот начальница Леонтьева... простите... того... н-да...

Инспектриса, видимо, до смерти перепугалась, что такой невоздержанный на язык человек, каким был мой дядя, может и относительно начальницы высказывать что-нибудь неподходящее здесь, где даже стены должны были слышать по отношению к ней лишь славословия, а потому живо перебила его:

— Я вас прошу, генерал, самый великодушный, самый лучший из всех генералов: не доводите этой истории до государя... Убедительно прошу вас об этом! Ну для чего вам это? Дайте же мне честное слово, что все это останется между нами.

— Мне самому приятнее миролюбиво покончить с этой историей. Но я дам вам честное слово не беспокоить ею государя только в том случае, если вы поручитесь мне, что г-жа Тюфяева за свою же вину не устроит ада бедной девочке.

— О, это я беру уже на себя! — воскликнула инспектриса.

Я ожидала, что при этом удобном случае она сообщит дяде о моем дурном поведении вообще, но она

тут, как и всегда, проявила доброту и не упомянула даже о моей «отчаянности». Вообще наша инспектриса бывала даже великодушна, если только обстоятельства в ее тяжелом положении не заставляли ее действовать вопреки ее природным склонностям.

Когда дядя попросил ее позвать меня, я моментально прошмыгнула через коридорчик на площадку к окну и приковала к нему свой взор, дабы удалить всякое подозрение насчет того, что я слышала разговор. Когда я вошла, дядя встал со стула, подошел ко мне и, грозно размахивая перед моим носом своими двумя пальцами, произнес с адскою суровостью наставление в виде целой речи, по обыкновению не заботясь в ней ни о последовательности, ни о логике, а нередко пренебрегая даже здравым смыслом.

— Я требую от тебя прежде всего полного и безусловного повиновения начальству. Ты должна любить его, уважать всем сердцем, всем помышлением, молиться ежедневно за него богу, точно так же, конечно, и за m-lle Тюфяеву. Как ты думаешь, зачем все это она сделала? Ей было приятно, что ли, поднять всю эту историю? Сделала она это, милый друг, для того, чтобы блюсти за твоей нравственностью! Но если в твою головенку когда-нибудь заползет дикое и пошлое желание на самом деле поцеловать чужого мужчину, в чем тебя заподозрила m-lle Тюфяева, потому что у тебя чортики бегают в глазах... берегись! Тогда... тебя не придется и исключать из института... О нет, я этого не допущу! Понимаешь ли ты... я этого никогда не допущу! (При этом он страшно расширил глаза.) Я в ту же минуту явлюсь сюда и своими руками... своими собственными руками оторву тебе голову... задушу... убью!

Все это он говорил уже с кровожадно-свирепым выражением лица, наглядно показывая руками все степени казни, которые я должна буду испытать.

Когда мы выходили с ним из коридорчика, какая-то фигура быстро промелькнула мимо нас и скрылась. Я догадалась, что то была Ратманова, подслушивавшая

и подглядывавшая за всем, что происходило у инспектрисы.

Я вошла в дортуар,— все уже были в постелях. Ратманова с хохотом высвободилась из-под одеяла, совершенно одетая, и забросала меня вопросами; остальные приподнялись с постелей и тоже торопили меня рассказывать им подробно и по порядку все, что было. Но я совсем не была расположена к болтовне и отвечала им вяло и неохотно, что удивляло подруг, находивших, что я должна была бы иметь торжествующий и ликующий вид. Испуг, державший меня столько часов в напряженном ожидании неминуемой беды, и сознание, что только счастливый случай помог мне выкарабкаться из нее в первый раз в жизни, во всем потрясающем ужасе показал мне все мое ничтожество перед грозной силой нашего начальства, которое завтра же может сделать со мною все, что угодно. Я бросилась в постель и, уткнувшись в подушку, горько рыдала. Вероятно, те же мысли пришли в голову и моим подругам: всхлипывание, сморкание и откашливание раздавались со всех сторон... Только Ратманова, менее всех поддававшаяся чувствительности, громко изрыгала самую отборную брань по адресу классных дам вообще и Тюфяевой в особенности.

На другой день инспектриса отправилась к начальнице. Как и что они при этом обсуждали, для нас осталось неизвестным; не узнали мы и того, о чем разговаривала инспектриса с Тюфяевой, которую она на этот раз продержала у себя очень долго, но, вероятно, последняя не получила для себя ничего утешительного: несколько дней после этого события ее физиономия выражала какую-то пришибленность, и она сидела в классе совсем тихо, безучастно относясь даже к тому, что воспитанницы шумели в неурочное время. Во всяком случае, роль добровольного полицейского, которую эта истинная злопыхательница исполняла так усердно, была временно приостановлена. Ко мне она совсем не придиралась более, даже не произносила моего имени.

Что же касается инспектрисы, то, вежливая и ласковая со всеми, она стала относиться ко мне с особенным вниманием. Однажды она заявила мне, что просит меня приходить к ней в послеобеденное время всегда, когда я буду свободна от уроков. В такие вечера она заставляла меня читать вслух Вальтер-Скотта во французском переводе, объясняла все для меня непонятное, расспрашивала о членах моей семьи. Эти два-три месяца, когда я по разу, по два в неделю приходила к ней по вечерам, были самым светлым воспоминанием во всей моей институтской жизни дореформенного периода. С материнским участием и лаской она как-то просила меня объяснить ей, почему до сих пор я была «отчаянной», почему только в самые последние недели на меня перестали жаловаться классные дамы.

— Мне кажется,— говорила она,— ты просто напускаешь на себя эту отчаянность!.. Я сама заставала тебя после твоих «отчаянных выходок», когда ты положительно имела вид d'une personne arrogante.

— Потому что я ни от кого не слыхала здесь доброго слова! Вы говорите, maman, что за последнее время на меня не жалуются... Когда я стала к вам приходить... вы так добры ко мне... я сама чувствую, что теперь злость моя начинает проходить...

M-me Сент-Илер громко рассмеялась, я сконфузилась, но не понимала всей наивности моего признания. Я не умела лучше сформулировать то, что как-то неопределенно бродило в моей голове. Только гораздо позже я могла бы ответить ей, что весь строй нашей жизни, с ее казенщиной и формализмом, представлял стоячее болото, которое могло выращивать только болотные растения. Не имея книг для чтения, ничего не извлекая из преподавания для развития ума, лишенные человеческого руководительства наставниц, воспитанницы не могли укрепляться в добрых чувствах,— у них росло лишь раздражение, развинчивались нервы, вырабатывались индиферентизм ко всему и рабские чувства или отчаянная грубость.

— Убедительно прошу тебя, мое дитя, попробуй быть менее дерзкой уверяю тебя, и классные дамы будут тогда к тебе более снисходительны.

Какою любовью, каким восторженным обожанием забилось мое сердце от этих непривычных для меня добрых слов!

— О, maman! Вы — святая! — вскричала я в исступленном восторге.— Я не стою поцеловать вашу руку,— и я в экстазе упала перед ней на колени и поцеловала край ее платья.

— Ах ты восторженная головушка! — кинула мне maman, и я, переконфуженная от сказанного, бросилась бежать из ее комнаты.

Вскоре после описанных происшествий все обстоятельства институтской жизни начали влиять на ослабление моей отчаянности, задора и воинственности. Этому прежде всего помогало то, что мы перешли в так называемый выпускной класс, где наши воспитательницы уже менее придирались и реже наказывали воспитанниц. Кроме того, «выпускные» пользовались некоторыми привилегиями: в послеобеденное время, до чая, классные дамы иногда уходили в свою комнату и оставляли нас одних в классе, а иной раз приказывали даже без них спускаться в столовую. Моему умиротворению содействовало и сердечное отношение ко мне инспектрисы, отсутствие придирок со стороны Тюфяевой, а главное — то, что инспектором классов к нам был назначен Ушинский; но о нем я буду говорить ниже.

Когда однажды я возвратилась от m-me Сент-Илер ранее обыкновенного, Ратманова встретила меня язвительными словами:

— Ты ловко обделываешь свои делишки! Ничего, что «отчаянная», а сумела приобрести благоволение инспектрисы!

Я была поражена и растерянно переводила глаза с одной подруги на другую.

— Хотя m-me Сент-Илер и начальство, но она чудная, святая женщина,— проговорила я наконец,— я не

считаю подлостью ее посещать! Она не из тех, которые выспрашивают о том, что делается в классе. Кажется, я еще никому из вас не навредила!

— Никто не обвиняет тебя в этом, никто не сомневается и в том, что инспектриса не станет у тебя выпытывать что бы то ни было, но не все придерживаются твоего мнения, что она святая женщина!.. Пожалуй, все, кого бы она пригласила к себе, стали бы к ней бегать... Но едва ли это следует делать! — так говорила Бринкен, бесспорно самая умная из всех моих подруг.

Эти слова смутили меня гораздо более, чем обвинение Ратмановой.

— Но почему же, почему? — растерянно спрашивали я ее.

— Просто потому,— отвечала она,— чем дальше от начальства, тем лучше...

— Чудная, святая женщина! — передразнивала меня Ратманова.— Мы голодаем, а эта чудная, святая женщина не может и слова сказать эконому, чтобы он не обкрадывал нас... Классные дамы жалуются на нас,— она всегда принимает их сторону, а не нашу... Давно ли она советовала тебе стать на колени перед Тюфяевой, превосходно сознавая, что та тебя оклеветала!..

Но тут кто-то из наших вбежал к нам и закричал:

— Чего вы не спускаетесь в столовую? Уже давно звонили... Будут попрекать, что вы без классной дамы и шагу не умеете ступить!

Все бросились в пары, и мы понеслись с лестницы. Я машинально бежала за другими, но про себя обдумывала только что происшедший разговор. «Да, они правы, тысячу раз правы! — твердила я себе.— Что сделала полезного для нас инспектриса? Только что не груба! А я уже и в восторг пришла от ее святости!» Но вдруг я оступилась и полетела вниз с лестницы; на одном из ее поворотов я задержалась было, но сзади бегом спускавшиеся воспитанницы нечаянно толкнули меня, и я уже без всяких задержек полетела

вниз, пока не упала на пол, недалеко от дверей столовой. Когда подруги подняли меня, я была в сознании, только сноп кровавых точек мелькал перед моими глазами. Я постояла с минуту и, не чувствуя никакой боли, вошла с другими в столовую. Скоро я совершенно успокоилась, а когда мы пришли в дортуар и улеглись спать, я тотчас уснула. Ночью я проснулась от боли в груди и от лихорадки, укрылась салопом, в надежде как-нибудь оправдаться перед дортуарной дамой, но меня никто не тревожил. Когда прозвонил колокол и наши начали вставать, я объявила им, что у меня кружится голова, и я не могу приподнять ее от подушки. Наконец мне удалось привстать, но приступ жестокой лихорадки так сковал мои члены, голова так кружилась, что я не могла шевельнуться. Мне помогали встать подруги; то одна, то другая из них указывала на то, что шея и грудь у меня распухли и покрылись кровоподтеками; они потолковали между собой по этому поводу и единогласно пришли к мысли, что при таком положении для меня немыслимо итти в лазарет: перед доктором придется обнажить грудь, и этим я не только опозорю себя, но и весь выпускной класс. Это обстоятельство, рассуждали они, должно заставить каждую порядочную девушку вынести всевозможные мучения скорее, чем итти в лазарет. То одна, то другая задавала мне вопрос — неужели у меня нехватит твердости характера вынести боль. Я, конечно, вполне разделяла мнение и взгляды моих подруг на вопросы чести, но не могла им отвечать как от головокружения, так и от смертельной обиды на них за то, что они могут сомневаться во мне по такому элементарному вопросу, как честь девушки. Я решила, что к такому дурному мнению обо мне они пришли только потому, что я посещала инспектрису. Все это я высказала им в отрывочных фразах, проливая потоки слез и от обиды, и еще более от мучительной боли в груди. Подруги успокаивали меня, просили не волноваться, чтобы сохранить силу мужественнее вынести несчастие,

ниспосланное мне судьбою. Когда я оделась с их помощью и зашаталась, они заботливо поддерживали меня со всех сторон, давали нюхать одеколон, смачивая виски. На этот раз забота обо мне подруг, не склонных вообще задумываться над несчастием друг друга, была поистине трогательна. Когда мы вошли в класс, они, посоветовавшись между собой, подошли к дежурной даме и просили ее позволить мне сидеть в пелеринке во время всех уроков. «У нее кашель,— говорили они ей,— но она не желает из-за таких пустяков итти в лазарет и пропускать урок». Та согласилась на это, но полотняная пелеринка мало защищала от холода, и я вся тряслась от лихорадки; тогда воспитанницы собрали платки, укутали ими мои ноги и колени, даже обмотали мои руки, советуя не поднимать их из-под пюпитра.

Я сидела и ходила, как автомат, но как только от боли у меня вырывался стон, подруги шаркали ногами и кашляли, чтобы заглушить его, умоляя меня воздержаться от стонов. У меня пропал аппетит, и они по-братски поделили мою порцию во время завтрака и обеда.

Когда на другой день я опять после бессонной ночи встала с постели с еще более значительною опухолью на шее и груди и двигалась с еще бо̀льшим трудом, они решили, что это произошло оттого, что я накануне ничего не ела и что они должны заставлять меня есть. Я понимала, что я в их власти, и не имела силы ни сопротивляться, ни говорить, а потому делала усилия и ела, как они этого требовали. Но, когда мы пришли в класс после обеда, меня стало так тошнить, что подруги насилу вытащили меня в коридор к крану, где можно было скрыть последствия тошноты, и принялись обливать холодной водой мою несчастную голову, горевшую как в огне. Всю последующую ночь то одна, то другая подруга подбегала к моей постели, укрывала меня, клала намоченное полотенце на мой горячий лоб, но мне становилось все хуже. На третий день утром

я заявила им, что не могу встать. Хотя то одна, то другая из них, осматривая меня, вскрикивала: «У нее еще более распухла грудь и посинела шея!» — тем не менее, было решено, что мне нужно встать и отправиться в класс. Общими усилиями они одевали и обували меня в постели, уговаривали не терять мужества, и это заставило меня встать, хотя и с их помощью. Но они сами убедились, что вести меня вниз по лестнице невозможно, а потому решили *скрыть* меня и, когда все отправятся в столовую, оставить при мне одну из подруг.

У нас не было обычая пересчитывать воспитанниц; к тому же, во время чая на столе не стояло приборов, а потому скрыть отсутствие одной-двух воспитанниц было не трудно. Когда наши возвратились в класс, моя сторожиха стащила меня туда же и усадила на скамейку, а другие подошли к дежурной даме просить ее о дозволении для меня сидеть на уроках в пелеринке. Но та отвечала, что так как с тою же просьбою они уже обращались к ней третьего дня, то она убеждена, что это какой-нибудь фокус, а потому и приказала мне подойти к ней. Я встала, но, сделав несколько шагов, упала без чувств.

Когда я пришла в сознание, я лежала в отдельной комнате лазарете, предназначенной для труднобольных. В ту минуту в ней толпилось несколько человек: инспектриса, лазаретная дама, сиделка и трое мужчин, из которых я узнала только одного—нашего доктора. Кто-то незнакомый мне, наклонившись надо мной, просил меня назвать мое имя, отчество и фамилию; я исполнила его желание, и только позже мне стало известно, что этот вопрос был задан с целью узнать, в порядке ли мои умственные способности. На его вопрос, сколько времени я нахожусь в лазарете, я отвечала «Часа два-три».

— Вы лежите в лазарете одиннадцать дней, пролежали все время в бреду, и вам только что сделана операция. Старайтесь подольше спать и есть.

Прошло уже около двух месяцев, как меня принесли в лазарет, а я была так слаба, что не могла сидеть и в постели. Тупое равнодушие овладело мною в такой степени, что мне не приходила даже в голову мысль о том позоре, которому я, по институтским понятиям, подвергала себя при ежедневных перевязках, когда доктора обнажали мою грудь; не терзалась я и беспокойством о том, как должны были краснеть за меня подруги. Кстати замечу, что, по тогдашнему способу лечения, мою рану не заживляли более двух месяцев, и я носила фонтанель. Но вот, наконец, когда однажды я почувствовала себя несколько бодрее, доктор, делавший операцию, сел у моей кровати и начал расспрашивать меня о том, почему я не тотчас после падения с лестницы явилась в лазарет. Когда он несколько раз повторил свой вопрос, я отвечала: «Просто так».

— Немыслимо, чтобы вы без серьезной причины решились выносить такие страдания!

— Я вам отвечу за нее, профессор... Я ведь знаю все их секреты! Хотя никто не сообщал мне, но я не сомневаюсь в том, что ее подруги и она сама считают позором обнажить грудь перед доктором,— вот милые подруженьки, вероятно, и уговаривали ее не ходить в лазарет.

— Однако этот институт — презловредное учреждение.— И, обращаясь ко мне, профессор добавил: — Понимаете ли вы, что из-за вашей пошлой конфузливости вы были на краю могилы?

Это меня жестоко возмутило. Когда доктор, проводив профессора, подошел ко мне, я со злостью сказала ему:

— Передайте вашему профессоришке, что, несмотря на его гениальность, он все-таки тупица, если не понимает того, что каждая порядочная девушка на моем месте поступила бы точно так же, как и я... Покорнейше прошу сказать ему также, чтобы он не смел более называть меня девочкой... Еще должна вам заявить, что перевязок я более не позволю делать... Вы

могли их делать до сих пор только потому, что я отупела во время болезни...

Несмотря на усовещивания инспектрисы, до сведения которой было немедленно доведено мое намерение, я оставалась твердой и непоколебимой. На другой день с одной стороны к моей кровати подошел наш доктор, с другой — профессор. В ту минуту когда я приподнялась, чтобы выразить им мое нежелание показать рану, один из них схватил меня за руки, а профессор спустил с плеч рубашку и стал разбинтовывать рану. Все это было сделано с такой быстротой, что я не успела сказать ни слова, а перевязка и очищение раны были сопряжены со смертельною болью, и у меня сразу вылетело из головы все, что я собиралась сказать.

Однажды вдруг распространилось известие, что государь уже на Николаевской половине. Ко мне вошла инспектриса и предупредила, что государь, вероятно, зайдет в это отделение, так как он всегда заходит к труднобольным, если только в лазарете нет эпидемии. При этом она учила меня, как я должна приветствовать его. Она приказала мне отвечать на вопросы государя, как можно лучше обдумывая каждое слово, и передала все то, что государь, по ее мнению, мог спросить меня.

Меня стали облекать в чистые одежды, кругом все торопливо вытирали и подчищали, хотя нужно отдать справедливость, что у нас не только в лазарете, но и в классах все блестело идеальной чистотой.

И император Александр II вошел в мою комнату в сопровождении инспектрисы, доктора и всего лазаретного персонала. Дрожащим голосом я произносила свое приветствие на французском языке. Государь подошел к моей постели, в виде поклона чуть-чуть наклонил голову и стоял, выпрямившись во весь рост. Он не задавал мне вопросов о моей болезни,— вероятно, доктор сообщил о ней, прежде чем он вошел ко мне, но спросил меня по-французски:

— Вы и теперь еще сильно страдаете?

— Теперь мне лучше, ваше императорское величество,— отвечала я.

— Что нужно, по мнению врачей, чтобы ускорить ее выздоровление? — спросил государь, обращаясь к доктору.

— Деревенский воздух, ваше императорское величество, мог бы укрепить ее расшатанное здоровье.

— Mademoiselle! — обратился ко мне государь.— Есть у вас родственники в Петербурге?

Я отвечала, что здесь живет мой родной дядя, Гонецкий.

— Вы можете отправиться к нему, как только врачи найдут это желательным, и оставаться у него до тех пор, пока совершенно не поправитесь, затем возвратитесь в институт и кончите ваше образование. А пока вы здесь, вы, может быть, хотели бы чего-нибудь сладкого?

Так как такой вопрос не был предвиден maman и я не получила по этому поводу никаких инструкций, то я простодушно отвечала:

— Я благодарю вас от всего сердца, ваше императорское величество, ко мне *здесь,* в лазарете (я нарочно подчеркнула слово здесь, чтобы государь узнал, что только в лазарете, но мой заряд пропал, конечно, даром), все очень добры, мне дают даже peau de la vierge.

Государь сдвинул брови:

— Что это такое peau de la vierge? Как вы называете это по-русски?

— Ваше императорское величество! Мы называем так «девичью кожу»...

— Ничего не понимаю. Что это значит?— и государь обратился к доктору.

— Род пастилы, ваше императорское величество, которую мы держим как лакомство для больных: она называется у институток «девичьей кожей».

— А когда вы захотите еще чего-нибудь, кроме «девичьей кожи»,— сказал государь, обращаясь ко мне и чуть-чуть улыбаясь углами губ,— вы можете об этом

заявить господину доктору. Вы все получите, что не повредит вашему здоровью.

Радостный, веселый, подбежал ко мне доктор после обхода всего лазарета и стал говорить о том, как милостив был ко мне государь, какой продолжительной беседы он меня удостоил, сколькими благодеяниями меня осыпал... Через неделю-другую меня отпустят домой, а теперь будут раскармливать: цыплята, вино — все будет к моим услугам...

— Да вы стоите этого! Как мило вы о нас отозвались... Конечно, вы нас выделили, чтобы сделать маленькую неприятность кое-кому. Но ведь этого никто кроме инспектрисы не заметил.

Вошла и инспектриса. Несмотря на ее обычный ласковый тон, я заметила, что она мною очень недовольна.

— Напрасно, совершенно напрасно ты утруждала государя такими длинными ответами и всякими пустяками!.. Задерживать государя таким вздором считается верхом неприличия!.. И эта «peau de la vierge» была так некстати!

Но я решила, что ее раздосадовало то, что я в разговоре с государем упомянула о хорошем отношении ко мне *только* лазаретных служащих.

ГЛАВА X

Результаты институтского воспитания и образования.

Религиозное воспитание.— Образцовая кухня.— Обучение рукоделию.— Изучение французского языка. — Дневники и стихотворения воспитанниц.

Наше воспитание отличалось строго религиозным характером. Начальница Леонтьева, если судить по ее донесениям императрице, была им очень довольна. Она писала ей: «Трогательное зрелище представляют молодые девушки, глубоко проникнутые религиозными идеями; они уносят их далеко от того света, в котором им предназначается жить и к которому они должны были бы чувствовать влечение уже вследствие своего юного возраста!..» (*Мордвинова.* «Статс-дама Мария Павловна Леонтьева», стр. 84).

Религиозное воспитание, получаемое нами, состояло как в теоретическом изучении обширного курса закона божия, так и в практическом применении к жизни предписаний православной религии, из которых на первом месте стояли строгое соблюдение постов и чрезвычайно частое посещение церкви. Что касается постов, то все условия нашей жизни лишали нас возможности строго их соблюдать. Хотя мы и получали

в это время постную пищу, но так как мы в такие дни особенно сильно испытывали муки голода, то, когда родственники приносили кому-нибудь из нас съестное, мы не могли разбирать, было ли то скоромное или постное, и с одинаковым наслаждением уничтожали и постный пирог с грибами, и курицу.

Во все воскресные и царские дни и в кануны их, а также в первую и страстную недели великого поста мы посещали церковь, нередко даже по два раза в день, а также и всю четвертую неделю этого поста, когда говели. Церковными службами нас так утомляли, что многие воспитанницы падали в церкви в обморок. Непосильное утомление заставляло многих употреблять все средства, чтобы избавиться от посещения церкви, но так как этого добивались решительно все, то между нами обыкновенно устанавливалась очередь (сразу не более трех-четырех в дортуаре), которая давала право заявить дежурной даме о том, что они не могут итти в церковь по причине зубной, головной или другой какой-нибудь боли. При большом количестве воспитанниц желанная очередь наступала редко, а потому многие решались симулировать дурноту, и некоторые воспитанницы делали это очень искусно. Во всем блеске этот талант проявлялся у девиц старшего класса, так как в нем уже более рельефно отражалось все дурное, привитое закрытым заведением.

Взрослые институтки удивительно ловко умели представлять обморок: задерживая дыхание, они бледнели, тряслись, вскрикивали, как будто внезапно теряли сознание, ловко падали на пол, даже с грохотом, не причинив себе ни малейшего вреда. Но были в этом отношении и совсем бесталанные: несмотря на обучение их этому искусству опытными подругами, они никак не могли усвоить его. Такие несчастные создания в известный момент богослужения вытягивали из кармана махорку, приобретенную у сторожа за дорогую цену, и засовывали ее за щеки. У них подымалась рвота, и их выводили из церкви.

В конце концов религиозное воспитание, получаемое в институте, содействовало только нравственной порче и полному индиферентизму к религии. К выпуску оставалось чрезвычайно мало девушек религиозных; даже те, которые с таким благоговением и трепетом приступали к причастию в первый год институтской жизни, перед последним причастием уже грызли шоколад, нередко делая это демонстративно и громко высмеивая религиозные обряды. Утрате религиозных чувств сильно помогало ханжество как начальницы Леонтьевой, так и всех классных дам; на языке у них всегда были слова: милосердный бог, всепрощение, любовь к ближнему, святая религия, но на деле никто из них не выказывал участия, христианского милосердия и любви к воспитанницам.

Точно так же и бо́льшая часть других правил и предписаний, положенных в основу институтского воспитания и обучения, давала лишь самые печальные результаты. Чтобы приготовиться к скромной доле, ожидавшей многих из нас в будущем, мы должны были уметь готовить кушанья, для чего существовала образцовая кухня. Девицы старшего класса, соблюдая очередь, по пяти-шести человек ходили учиться кулинарному искусству. В такие дни они не посещали даже уроков. К их приходу в кухне уже все было разложено на столе; кусок мяса, готовое тесто, картофель в чашке, несколько корешков зелени, перец, сахар. Одна из воспитанниц должна была рубить мясо для котлет, другая толочь сахар, третья — перец, следующая мыть и чистить картофель, раскатывать тесто и разрезать его для пирожков, мыть и крошить зелень. Все это делалось воспитанницами с величайшим наслаждением. Кухня служила для нас большим развлечением; к тому же она избавляла от скучных уроков и на несколько часов от полицейского надзора классных дам. Но такие кулинарные упражнения не могли, конечно, научить стряпне и были скорее карикатурою на нее. Воспитанницы так и не видели, как приготовляют тесто,

не знали, какая часть говядины лежит перед ними, не могли познакомиться и с тем, как жарят котлеты, для которых они рубили мясо. Кухарка смотрела на это, как на дозволенное барышням баловство, и сама ставила кушанья на плиту, опасаясь, чтобы они не обожгли себе рук или не испортили котлет; сама она возилась и около супа. Барышням она поручала толочь сахар, перец и все, что нужно было рубить и толочь, что те и производили в такт плясовой, а это заставляло смеяться и кухарку, и воспитанниц. Их веселому настроению содействовало и то, что обед, приготовленный «их руками», они имели право съесть сами, а он был несравненно вкуснее, питательнее и обильнее обычного.

Обучение рукоделию хотя и не носило столь комичного характера, как обучение кулинарному искусству, но тоже не достигало никакой цели и роковым образом отражалось на успехах в науках весьма многих воспитанниц. В институте было не мало девочек, которые уже при вступлении в него умели порядочно шить и знали несколько женских работ. На первом же уроке учительница рукоделия осведомлялась, кто к чему приучен был дома: необученным шить она давала обметывать швы, мотать мотки или выдергивать нитки из полотна, чтобы с их помощью разрезать его, учила их сшивать полотнища, но далее этого обучение не шло. Тех же воспитанниц, которые заявляли учительнице о том, что они любят вышивать ковры или шить гладью, немедленно присаживали за эти работы.

В институте всегда приходилось заготовлять большое число вышивок и прошивок для украшения всевозможных юбок, полотенец, накидок. Ковры шли как на подарки, так и на украшение церкви. Редко выпадал месяц в году, когда не требовалось окончить какого-нибудь сюрприза: то наступал день именин начальницы или кого-нибудь из высокопоставленных лиц, то годовые праздники, в которые также подносились подарки. Вследствие этого учительница страшно обременяла работою воспитанниц, имевших неосторожность выказать лю-

бовь к рукоделиям. Уроки рукоделия происходили раз в неделю, по полтора часа,— этого времени было крайне недостаточно, чтобы покончить со всеми работами. Воспитанницам, хорошо исполнявшим шитье гладью, раздавали на руки полосы различной материи, чтобы по вечерам, когда они должны были готовить уроки к следующему дню, они занимались вышиваньем. Ковры же вышивались на пяльцах, и учительница рукоделия просила классных дам отпускать воспитанниц вечером к ней в мастерскую. Нередко оказывалось, что и вечеров нехватало на окончание какого-нибудь подарка. Тогда учительница обращалась с просьбой к инспектрисе отпускать к ней воспитанниц даже во время урока. Если сюрприз предназначался высокопоставленному лицу, инспектриса находила невозможным отказать в такой просьбе, и несколько воспитанниц вследствие этого не посещали уроков неделями, а то и месяцами.

Превосходно исполненные ковры, на которых изображены были цветы, ландшафты, сцены из рыцарской и пастушеской жизни, приводили в такой восторг не посвященных в это искусство воспитанниц, что многие из них умоляли учительницу выучить их этой работе. Но та обыкновенно отвечала:

— Если вы испортите материал, я должна буду откупить его на свой счет!.. И когда мне возиться с вами! Вы жалуетесь, что я заваливаю работою ваших подруг... А посмотрите, когда я сама ложусь спать! Мне то и дело приходится по ночам оканчивать работу, которая будет поднесена в подарок от вашего имени...

Во время публичного выпускного экзамена в особых комнатах института устраивалась выставка работ учениц. Тут можно было видеть превосходно вышитые ковры, вышивки по батисту и цветной материи гладью, белой и разноцветной бумагой и шерстями, искусно исполненные цветы, а также белье, сшитое ручною строчкою. На стенах висели картины, написанные масляными красками и акварелью: здесь красовалась головка гречанки, там—девочка с козой, цветы. Хотя

все эти картины с художественной точки зрения были ниже всякой критики и оказывались плохими копиями, но и они исполнены были с помощью учителя рисования, который не только исправлял рисунок, но и рисовал в нем все более трудное; однако и на это способны были лишь очень немногие воспитанницы, а громадное большинство так и выходило из института не умея срисовать с рисунка даже простого стула, не говоря уже о рисовании с натуры: наглядный метод совершенно отсутствовал в обучении дореформенного времени. Что же касается рукоделия, то громадное большинство кончало курс выучившись одному или двум швам.

Знанию французского языка придавали громадное значение. На девочку, умевшую болтать на этом языке при своем вступлении в институт, смотрели с большим благоволением. Ей прощали многое такое, чего не прощали другим; находили ее умною и способною даже тогда, когда этого вовсе не было. На изучение этого языка во всех классах отводили наибольшее количество часов: в белом (старшем) классе изучали французскую литературу, писали письма и сочинения на этом языке. Классные дамы и все начальство говорило с нами по-французски. Между собою воспитанницы тоже обязаны были говорить на этом языке. Какое громадное значение уже издавна приписывали в институте французскому языку и до какого комизма доходила наивная вера в его могущество, видно из воспоминаний воспитанницы Патриотического института. Когда 14 декабря 1825 г. раздалась пальба из орудий, начальница Патриотического института обратилась к воспитанницам с такою речью: «Это господь бог наказывает вас, девицы, за ваши грехи. Самый главный и тяжкий грех ваш тот, что вы редко говорите по-французски и, точно кухарки, болтаете по-русски». «В страшном перепуге,— говорит автор воспоминаний,— мы вполне познавали весь ужас нашего грехопадения и на коленях перед иконами, с горькими слезами раскаяния, тогда же поклялись на-

чальнице вовсе не употреблять в разговоре русского языка. Наши заклятия были как бы услышаны: пальба внезапно стихла, мы успокоились, и долго после того в спальнях и залах Патриотического института не слышалось русского языка» («14 декабря 1825 года в Патриотическом институте» *С. А. Пелли*, «Русская старина» 1870 г., август). Я же описываю несравненно более поздний период времени — уже накануне реформы в Смольном. Но и в это время, как и прежде, институтки были просты до наивности и вследствие своего невежества очень суеверны, но в мое время нас никто, а тем более начальство, не могло запугать гневом божьим уже по одному тому, что даже религиозные девочки утрачивали в институте свою простодушную веру. Что же касается французского языка, то хотя изучению его у нас и придавали громадное значение, но так как в нас не выработали серьезного отношения к какому бы то ни было знанию, не научили уменью заниматься, не привили нам должной усидчивости и интереса к какому бы то ни было предмету, мы все обучение обращали в пустую формальность. Если до слуха классной дамы доходила русская речь воспитанницы, она кричала ей: «Как ты смеешь говорить по-русски?». Та отвечала: «Но я сказала comment dit-on en français». Классная дама удовлетворялась этим ответом, а та продолжала болтать по-русски. Разговоры с классными дамами и с более высшими начальственными лицами ограничивались каким-нибудь десятком-двумя официальных фраз (в это число входили всевозможные поздравления), которые заучивались воспитанницами в первый же год их вступления в институт. Вследствие этого институтки не могли поддерживать серьезного разговора на французском языке, не могли они и читать на этом языке серьезные книги,— впрочем, и по-русски они не могли ни вести серьезного разговора, ни читать серьезных книг, и русская речь воспитанниц не отличалась ни богатством слов, ни разнообразием выражений. Можно себе представить, какие успехи делали вос-

питанницы в других предметах, если изучение французского языка было столь неудовлетворительно.

Наше время было так распределено, что если бы преподавание в институте и было поставлено более правильно, у нас нехватало бы времени для серьезных занятий. Уроки в старших классах заканчивались в 5 часов, когда шли к обеду. После него до вечернего чая можно было готовить уроки, но один вечер в неделю уходил на танцы, один, а то и два вечера — на церковную службу перед праздничными днями, один — у некоторых на упражнение в пении, у других — на рукоделие; таким образом, оставалось в неделю всего два-три свободных вечера. В кофейном классе бо̀льшая часть времени тратилась на переписку: переписывали басни и рассказы, писали неправильные французские глаголы,— для всего этого существовали особые тетради. Если в одной из них оказывалось несколько чернильных пятен или несколько строк криво написанных, классные дамы заставляли девочку переписать всю тетрадь. В старших классах не обращали внимания на чистоту тетрадей, но девицы также убивали много времени на переписку: бо̀льшая часть учителей задавала им уроки не по учебникам, а по собственным запискам,— вот эти-то записки и приходилось переписывать. Из сказанного ясно, что на учение уроков у нас оставалось крайне мало времени, тем более, что в эти свободные вечера приходилось не только переписывать записки учителей, но и делать сочинения на русском и французском языках.

Как мало знаний выносили мы из преподавания, какими поразительными невеждами оканчивали курс, будет видно из следующего очерка; к сказанному же прибавлю только, что бо̀льшая часть наших учителей сами были людьми невежественными и никуда не годными педагогами. Даже по внешности, кроме француза, они представляли, точно на подбор, отовсюду набранных, отживших стариков, навсегда сданных в архив в эту, так сказать, учительскую богадельню Смольного.

Случалось,— впрочем, крайне редко,— что вследствие болезни или смерти тот или другой из престарелых педагогов выбывал из строя, и его место замещал еще не совсем старый человек, но после нескольких уроков такие учителя обыкновенно исчезали с нашего горизонта по неизвестной для нас причине. Один из них был удален после пяти или шести уроков только за то, что сказал:

— Девицы, вы передаете все в зубрежку и плохо рассказываете оттого, что ничего не читаете,— просите начальство снабдить вас книгами для чтения.

Поступив в институт в раннем детстве и во время всего своего пребывания в нем удаленная от природы и людей, институтка не имела ни малейшего представления о жизни. За высокие стены ее заколдованного замка не долетало ни одного человеческого стона, ни малейшего сведения не доходило до нее о каком-нибудь общественном движении и вообще решительно ничего не знала она о положении своей родины, о ее несчастьях и надеждах. Окончив курс в дореформенном институте, институтка вступала в жизнь с самыми дикими воззрениями, с самыми наивными предрассудками, с нелепыми требованиями от людей, с пошлыми и сентиментальными мечтами. Ее манили к себе роскошь, балы, выезды, туалеты, танцы, ухаживания блестящих кавалеров. Одним словом, она мечтала о том, о чем мечтали тогда все так называемые «кисейные барышни». Нужно, однако, заметить, что и русское общество того времени предъявляло девушке лишь эстетические требования. Наклонную к серьезному чтению и разговору называли «синим чулком» и жестоко высмеивали. Что же мудреного в том, что в институте, этом все более дряхлеющем и отживающем свой век учреждении, не следившем за новыми течениями в лучшей части современного общества, продолжали воспитывать в дворянском духе, развивая пристрастие к аристократическим нравам? Девушка того времени при домашнем воспитании, как бы оно плохо ни было, испытав в

семье материальную нужду и житейские невзгоды, все же могла скорее и легче понять все ничтожество, всю призрачность и эфемерность эстетических иллюзий, все неудобство применения их к практической жизни. Институтка же, наоборот, все время своего умственного и нравственного роста проводила в заточении, как сказочная царевна. Все, что требовалось для жизни: стол, платье, постель, комната, было к ее услугам; она оказывалась устраненною от каких бы то ни было забот. Откуда бралось все существенное для жизни, она не знала; не слыхала, чтобы и другие интересовались этими вопросами. Она не могла даже догадываться о том, какою тяжкою борьбою добывают люди свой насущный хлеб, совсем не была приготовлена к трудовой жизни.

Вот почему после окончания институтского курса бòльшая часть ее понятий были нелепы, ее страх безрассуден, отношение к обыденной жизни и ее явлениям подчас просто комично[35]. Она идет по улице, а с противоположной стороны, навстречу ей, приближается мастеровой под хмельком,— она с ужасом бросается в сторону; поползет по руке червяк, сядет насекомое,— она с визгом несется куда глаза глядят. Многие из воспитанниц после выпуска были убеждены в том, что, если кавалер приглашает во время бала на мазурку, это означает предварительное сватовство, за которым последует формальное предложение. Одна институтка, прождав напрасно в продолжение нескольких дней своего кавалера в бальной мазурке, была так скандализирована этим, что бросилась к своему брату-офицеру, умоляя его выйти на дуэль и стреляться с человеком, по ее мнению, опозорившим ее. Если родители институтки не соглашались выдать ее замуж за человека, сделавшего ей предложение, если он был даже известный негодяй, она воображала, что получивший отказ должен непременно застрелиться,— и на этой почве происходило немало комичных и трагичных инцидентов.

Институтка прежнего времени, покинув стены ее «alma mater», была конфузлива до дикости: самый

простой вопрос ставил ее втупик. Она не умела разобраться даже в том, смеются над нею или обращаются к ней серьезно, не знала, как отнестись к людям, заговорившим с нею, и бывало немало случаев, когда она срывалась с места и выбегала из комнаты только потому, что кто-то подходил к ней «очень страшный». От этого сплошного обмана всех чувств, от этой ребячьей наивности некоторые институтки не избавлялись до конца своих дней. Если от природы девушка была умна, если институтское воспитание не успело вытравить в ней всех ее душевных способностей, она энергично начинала перевоспитывать себя. Но прежде чем житейские обстоятельства переделывали ее настолько, что она становилась хотя несколько пригодною к жизни, ей приходилось сделать много ошибок, принести много вреда и себе, и другим. Если она выходила замуж за бедного человека и делалась матерью, она не умела ни ухаживать за детьми, ни найтись в затруднительном положении: для нее было немыслимо при ничтожных средствах устроить мало-мальски сносный обед, смастерить что-нибудь для ребенка из незатейливого материала,— она совершенно лишена была предприимчивости и находчивости в практической жизни.

Институтская жизнь дореформенного периода проходила в притупляющем однообразии монастырского заключения, без горя и радостей, без нежных ласк и сердечного участия, без житейской борьбы и волнений, без надежд и разумных стремлений. Все, точно нарочно, было приноровлено к тому, чтобы воспитать не человека, не мать, не хозяйку, а манекен, и во всяком случае слабое, беспомощное, бесполезное, беззащитное существо. Иначе и быть не могло: в институте девушка лишена была всего, что дает возможность выработать собственное суждение, наблюдательность, энергию, волю, характер, самостоятельное чувство. Несмотря на то, что в институте все было точно размерено и определено, все делалось по звонку и воспитанницы ни на одну минуту не оставались без надзора классных

дам,— они, в сущности, росли без всякого призора. Хотя классные дамы вечно наблюдали, чтобы воспитанницы разговаривали как можно меньше и тише, те научились болтать перед их носом, не шевеля губами, делать вещи, строго запрещенные. Не имея возможности ни с кем из старших побеседовать по-человечески, посоветоваться, хотя изредка слышать человеческие разговоры и споры, воспитанницы предоставлены были только самим себе. Но что могли позаимствовать друг у друга девушки, воспитанные при одинаково ненормальных условиях? Они прекрасно знали несложную психологию друг друга, понятия и даже слова, в которых они выражали свое суждение по поводу того или другого явления институтской жизни; все они употребляли в своих разговорах одни и те же выражения, когда их что-нибудь поражало, выкрикивали одни и те же восклицания. Их воззрения, понятия, мысли и способности развивались по одному шаблону, их поступки нередко вредны были для их здоровья и нравственности. Они ели всякую дрянь: куски грифеля, графит, угольки, мел, стягивались корсетом в рюмочку, а некоторые даже спали в корсетах, чтобы приобрести интересную бледность и тонкую талию,— никто их не останавливал, никто не объяснял им, какой вред они себе причиняют.

Грубость классных дам делала и институток грубыми существами: так же, как и их наставницы, они имели собственный лексикон бранных слов. Они то и дело ссорились между собой, и бранные слова сыпались, как горох из мешка. Громадному большинству была недоступна деликатность, бережное отношение к чувствам ближнего: соберутся вместе и пересчитывают красивых и безобразных подруг и тут же в лицо кричат им: «Ты первая по красоте в нашем классе! Ты первая по уродству! Ты вторая по идиотству!».

Начальство делало выставку решительно из всего,— все должно было иметь показную сторону. Перед приемом высоких посетителей на видные места поме-

щали красивых воспитанниц. Они же должны были в первых рядах танцовать перед ними на балах. Выпускные, публичные экзамены были пустою формальностью,— каждая знала, что̀ ей придется отвечать; сочинение писали заранее, учитель поправлял его, и оно зазубривалось слово в слово,— выученные наизусть сочинения задавали писать на публичных экзаменах. В конце концов жизнь для выставки, жизнь напоказ так въедалась в нравы воспитанниц, что они учились только для хорошей отметки, поступали хорошо только тогда, когда надеялись получить похвалу. Красивого наряда для выпуска требовали даже те, матери которых в отчаянии ломали руки, не зная, как справиться, чтобы устроить дочери мало-мальски сносный туалет для ее выхода, который сразу требовал огромных издержек.

О выпуске мечтали все — как те, которым предстояло блестеть на балах, так и те, которых ожидала трудовая дорога, но о ней никто не думал. И это естественно: чем ближе подвигалось время к выпуску, тем более утрачивали воспитанницы какое бы то ни было представление о действительной жизни. Многие из них имели род подвижного календаря: мелко написав на длинную ленту числа всех месяцев своего пребывания в институте, они отрезали истекшее число и торжественно провозглашали, сколько дней осталось до выпуска. Воспитанницы дореформенного института представляли себе жизнь не иначе, как усеянную розами. В институтских стенах им приходилось постоянно сдерживать себя, помнить кодекс правил, вечно слышать брань озлобленных старых дев, испытывать голод, холод, тяжесть раннего вставания,— и они мечтали, что в будущем их ждет золотая свобода, что они будут вставать поздно, делать что захотят, что окружающие будут относиться к ним с искреннею любовью. Что же удивительного в том, что весьма многим мечтательницам скоро пришлось сказать себе: «Жизнь, ты обманула меня!».

Дневники и стихотворения институток обнаруживали в авторах отсутствие серьезного содержания, мысли, творчества, фантазии, даже естественных сердечных чувств. К институтке прививали все искусственное: учителя французского языка восторгались, когда их ученицы декламировали стихи Корнеля и Расина замогильным голосом, с искусственным пафосом. Это создавало фальшивую атмосферу, прививало любовь к фразе. Не только в Смольном, но и во всех закрытых заведениях дореформенного периода истинные чувства девушек заглушались высокопарными фразами. Они были в моде, в ходу, сильно поощрялись и высшим, и низшим начальством, что еще более искажало природу воспитанниц. Вот что говорит А. В. Стерлигова в своих воспоминаниях о петербургском Екатерининском институте: «Одна из институток, узнав о смерти двух своих братьев, убитых на войне, составлявших притом единственную поддержку семьи, зарыдала, а все-таки сквозь слезы проговорила: «Слава богу, что они умерли за царя и отечество». Об этих словах было доведено до сведения императрицы, пожелавшей увидеть воспитанницу. Государыня сделала ей подарок, а отцу ее была назначена пенсия в 1000 рублей, которая после его смерти перешла к дочери». («Русский архив» 1898 г., № 4, «Воспоминания А. В. Стерлиговой о петербургском Екатерининском институте 1850—1856 годов».)

Я перечитала несколько институтских дневников и чаще всего встречала в них описание того, как автор дневника встретил «свое божество» или как был наказан классной дамой; иногда встречалось восторженное описание посещения института императрицею, бросившей свой носовой платок на память воспитанницам, которые немедленно разорвали его на мелкие лоскутки, зашивали их, как ладонки, и носили на шее.

То же самое находим и в поэтическом творчестве институток, выражавшемся преимущественно в писании стихов в альбомы подругам. При отсутствии мысли, наблюдательности и творчества они отличались еще

крайне неуклюжею рифмою, набором фраз и страшных слов, сопоставлением самых противоречивых понятий (например, «в моей крови горячей — жар холодный», «счастливое страданье»), а чаще всего наклонностью к сентиментальности, таинственному и загробному.

Порвав нравственную и родственную связь детей с родителями, сделав их чуждыми и далекими друг другу, дореформенный институт делил старое и молодое поколение на два враждебных лагеря. И в этом лежит одна из причин, почему у нас всегда «отцы и дети» так враждовали между собой. У институток отнимали все, что красит жизнь, все, что оживляет чувство, заставляет радостно трепетать юное сердце от чистого счастья и восторга. Сердца молодых девущек, столь податливых на откровенность, засушивались, черствели и рано научались ненавидеть.

Муштровка и дисциплина приводили воспитанниц к одному знаменателю, стирали индивидуальность, делали институток похожими друг на друга не только манерами, но, за небольшими исключениями, даже характерами и вкусами, вырабатывали из них созданий, «к добру и злу постыдно равнодушных», лишенных воли, энергии и прежде всего какой бы то ни было инициативы. Начальство сознательно стремилось обезличить их,— с такими ему легче было справляться, чем с «отчаянными». Их было сравнительно очень немного, этих «отчаянных»: ломая характер, ожесточая более, чем остальных, все же не могли стереть с них некоторой индивидуальности. «Отчаянных» классные дамы не переносили, но не выказывали ни малейшей симпатии и к остальным. «Дрянь на дряни и дрянью погоняет» — вот поговорка, которую мы всегда слышали, когда подымался шум в классе. Из всех воспитанниц они выделяли только «парфеток» (от французского слова «parfait» — совершенный). Несмотря на всю грубость и испорченность «отчаянных», между ними попадались благородные, иногда даже рыцарские натуры, а

парфетками являлись самые тупые в нравственном и умственном отношении. Эти до мозга костей испорченные девушки, с премудростью старых дев, целовали руки и плечи классным дамам, пожирали глазами начальство, стремглав бросались по его поручениям, и большинство их шпионило за подругами и доносило на них классным дамам.

Выше было сказано, что процент смертности в институте был сравнительно невелик, но и вполне здоровых среди воспитанниц было чрезвычайно мало. В 1859 г. инспектор по медицинской части петербургских учреждений императрицы Марии, лейб-медик Маркус [36], представил свой отчет государыне, в котором говорит, что весьма многие воспитанницы страдают «оскудением крови». Причину этого явления он видел в том, что институтки мало двигались на воздухе и плохо питались. Он заметил также не мало случаев искривления позвоночного столба, что происходило, по его мнению, от продолжительного сидения в согнутом положении при вышивании по канве и переписывании тетрадей.

Но почему же матери так стремились отдавать в институт своих дочерей? Неужели он так-таки ничего хорошего не вырабатывал в своих питомицах? В русском обществе придавали тогда огромное значение хорошим манерам. И действительно, институтки отличались ими. Но не начальство содействовало этому, а подруги. Многие девочки при своем вступлении были крайне неуклюжими: одна ходила переваливаясь с ноги на ногу, другая размахивала руками при ходьбе, закатывала глаза при разговоре, гримасничала. Когда воспитанница обращалась с вопросом к подруге, та отвечала ей, копируя в карикатуре ее манеры, причем весь класс покатывался со смеху. Иногда выстраивался целый отряд воспитанниц, дефилировавших перед злополучной девочкой, неимоверно топая ногами, выпячивая живот,— одним словом, представляя в комичном виде ее недостатки. Несчастная девочка сердилась, бра-

нилась, плакала, но постепенно отвыкала от усвоенных дурных привычек и скоро уже сама высмеивала других. Таким образом, воспитанницы самостоятельно вырабатывали в себе отвращение к дурным манерам, но, конечно, все это касалось внешней, одной только внешней, стороны.

Однако институт приносил и более существенную пользу. Эпоха крепостничества перед освобождением крестьян была временем, когда страсти, разнузданные продолжительным произволом, у весьма многих помещиков выражались отчаянным развратом, когда в помещичьих домах содержались целые гаремы крепостных девок, когда пиры сопровождались невообразимым разгулом, пьянством, драками, грубою бранью, когда из конюшен раздавались отчаянные крики засекаемых крестьян. Разлучая дочерей с подобными родителями, институт спасал их от нравственной гибели. Так было в дореформенное время.

Наконец и в институт, окаменевший в своей неподвижности, ворвался солнечный луч: в качестве инспектора классов к нам явился К. Д. Ушинский, этот величайший русский педагог-реформатор, а вместе с ним хлынула и волна новых идей, которые стали подтачивать допотопные институтские устои, даже изменять институтские нравы и обычаи.

ГЛАВА XI

Смольный во время реформ

Назначение Ушинского инспектором классов.— Его отношение к бывшим учителям.— Его преобразования и вступительная лекция.

В самом начале 1859 года разнеслась молва, что инспектором классов в Смольном, на Николаевской и Александровской половинах, назначен Константин Дмитриевич Ушинский [37]. Если бы кто-нибудь сказал нам тогда, что этому человеку суждено не только пошатнуть устои двух огромных институтов, незыблемо покоившиеся на основах безнравственной нравственности, ханжеской морали и рутинных схоластических приемов преподавания, и в корне изменить взгляды и мечты институток, мы, воспитанницы, ни за что не поверили бы этому. Перед появлением у нас Ушинского нам никто ничего не рассказывал о нем, а мы сами мало интересовались инспекторами вообще. Инспектор должен был наблюдать за преподаванием наших учителей, замещать их новыми, если кто-нибудь из них выбывал из строя, но это случалось лишь вследствие смерти или продолжительной болезни кого-либо из них, да и такие права его были скорее фиктивными. Наша всесильная началь-

ница Леонтьева давно забрала в обоих институтах всю власть в свои руки и всегда действовала по своему личному усмотрению: ни один учитель не мог проникнуть к нам или оставаться у нас, если он ей не нравился. Не имея ни малейшего представления о просвещенном абсолютизме, Леонтьева управляла двумя институтами, как монарх, не ограниченный никакими законами, по образцу восточных деспотов. Все отношения инспектора к воспитанницам состояли в том, что он от времени до времени посещал урок того или другого учителя и присутствовал на экзаменах.

Когда однажды у нас только что кончился какой-то урок и мы уже направились было к двери, чтобы выйти из класса, в него вбежал, буквально вбежал, среднего роста, худощавый брюнет, который, не обращая внимания на наши реверансы и нервно комкая свою шляпу в руках, вдруг начал выкрикивать: «Ведь вы же здесь специально изучаете нравственность, а не знаете, что портить чужую вещь духами или другою дрянью неделикатно!.. Не каждый выносит эти пошлости! Наконец, почем вы знаете... может быть, я настолько беден, что не имею возможности купить другую шляпу... Да куда вам думать о бедности! Не правда ли... ведь это, fi donc... совсем унизительно!». И с этими словами он выбежал из класса.

Мы были так ошеломлены, что стояли неподвижно. И было отчего: хотя классные дамы ежедневно осыпали нас бранью, упреками и намеками на что-то гнусное с нашей стороны, но от мужского персонала, от наших учителей и инспектора, мы никогда не слыхали грубого слова. Для этого не было ни малейшего повода. Наши учителя редко вызывали плохих учениц, а хорошие твердо учили свои уроки. Если воспитанница не знала урока, ей ставили плохую отметку, и этим ограничивались все неприятности между учителями и нами. Учителя и инспектор обращались со всеми весьма вежливо. Что же касается вступления нового инспектора в институт (это случалось крайне редко), то он,

обыкновенно, торжественно входил в класс в сопровождении инспектрисы. При этом она произносила по-французски: «Monsieur,— рекомендую: воспитанницы такого-то класса», а обращаясь к нам,—«mesdemoiselles: ваш новый инспектор». Мы чинно приподнимались со скамеек, кланялись и выслушивали несколько фраз нового инспектора, правда стереотипных, но в чрезвычайно вежливой форме, в которых высказывалась уверенность, что мы своими успехами заставим его всегда вспоминать о проведенном с нами времени как о самом приятном для него. Затем начинался урок, во время которого учитель вызывал самых лучших воспитанниц, а инспектор старался ободрить конфузившихся и в конце концов высказывал, как он удивлен нашими успехами и хорошею подготовкою. «А это что за инспектор? Не успел появиться,— и уже осмеливается орать на нас, взрослых девушек, как на базарных мужиков! Наконец, даже не мы это сделали! Вероятно, кто-нибудь из другого отделения... А если бы и мы? Неужели такое преступление облить шляпу духами? Мы всегда так делали, и порядочные мужчины были только польщены этим! Какой-то невоспитанный, некомильфотный!.. И как приличны с нами эти разговоры о бедности!..» — рассуждали мы. Но долго останавливаться над этим вопросом не пришлось: раздался колокол, призывавший нас на урок немецкого языка.

За солидным немцем, отрастившим себе порядочное брюшко и неторопливо приближавшимся к скамейкам, нервною и стремительною походкою вошел в класс Ушинский. Он поклонился, попросил воспитанниц, сидевших на последней скамейке, подойти к его столу и приказал одной из них открыть книгу, но не на том месте, где был заданный урок, а на несколько страниц вперед, и переводить. «Мы этого еще не учили...» — получил он в ответ. Но Ушинский заявил, что он желает знать, как воспитанницы переводят à livre ouvert. Из страницы, прочитанной каждою, одна могла перевести два-три слова, другая — несколько больше, а

третья решительно ничего не знала. Когда же он предложил передать по-русски своими словами только что прочитанное, ни одна из нас ничего не могла ответить, никто не понимал даже, о чем идет речь.

На вопрос, сделанный учителю, сколько у нас в неделю уроков немецкого языка и сколько лет мы учимся, он отвечал, что уже шестой год и что мы имеем по два урока в неделю. На это инспектор заметил:

— Вычитая каникулы и бесконечное число праздников, воспитанницы учатся, во всяком случае, не менее месяцев семи, следовательно. в году имеют, по крайней мере, пятьдесят шесть уроков... Ведь если бы они выучивали в каждый урок только несколько слов и на эти слова делали упражнения и переводы, то, подумайте сами, какой громадный запас слов они приобрели бы в двести восемьдесят ваших уроков! Между тем воспитанницы не понимают даже смысла прочитанного, хотя текст оригинала простой и легкий.

Учитель оправдывался тем, что вызваны были плохие ученицы, но еще более подчеркивал то, что в институте все внимание обращено на французский язык, что воспитанниц заставляют разговаривать по-немецки очень редко, да и то для проформы, и указывал на то, что сами они терпеть не могут немецкого языка.

Ушинский возражал, что для того, чтобы заставить воспитанниц полюбить немецкий язык, он, учитель, должен был отчасти читать, а отчасти сообщать им содержание лучших произведений Шиллера и Гете.

— О, господин инспектор! — насмешливо-добродушно отвечал немец.— Уверяю вас... хотя они и в старшем классе, но ничего, решительно ничего не поймут в сочинениях этих писателей и не заинтересуются ими.

На это Ушинский заметил, что только идиота может не заинтересовать гениальное произведение.

Так как учитель в свое оправдание указывал на то, что инспектором были вызваны плохие ученицы, Ушинский предложил ему вызвать самых лучших и на-

чал внимательно вслушиваться в их чтение. Когда одна из них начала бойко переводить, Ушинский заметил ей, что хотя она прекрасно понимает прочитанное, но по-русски выражается неправильно, и указывал ей, как нужно переводить то или другое немецкое выражение.

Когда мы поближе познакомились с Ушинским, мы заметили, что он так уходит в дело,— все равно, читал ли он лекцию или слушал наши ответы,— что не видел и не слышал, что происходило вокруг. Но когда что-нибудь внезапно нарушало тишину, он вздрагивал, резко делал замечание нарушителю ее, не обращая ни малейшего внимания, к кому оно относилось — к воспитаннице, учителю или к классной даме. Так было и в этом случае. Дежурная дама, m-lle Тюфяева, внезапно с шумом отодвинула свой стул, встала с своего места, подошла к скамейке и начала что-то вырывать из рук одной воспитанницы. Как только она скрипнула стулом,— Ушинский быстро поднял голову и стал пристально всматриваться в нее, точно не понимая в первую минуту, что его отвлекло от дела. Но когда у нее завязалась борьба с ученицей, он привстал с своего места и резко закричал: «Перестаньте же, наконец, шуметь! Кто вас просит сидеть в классе? Учитель сам обязан поддерживать порядок!». И сейчас же уселся как ни в чем не бывало, продолжая занятия. Тюфяева побледнела, но промолчала,— может быть, от неожиданности. С институтской точки зрения замечание Ушинского, как по форме, так и по существу, могло считаться возмутительною дерзостью. Наши инспектора и учителя разговаривали с классными дамами не иначе, как с величайшим почтением. Если же приходилось о чем-нибудь их попросить или сделать самое ничтожное замечание (то и другое случалось крайне редко), то они обращались к ним, наклонив голову и с приятною галантностью: «M-lle N, простите великодушно, если я решаюсь вас беспокоить...» и т. п. А новый инспектор только что показался, и уже смеет кричать на

нее, заслуженную классную даму, как на последнюю горничную! Между тем Ушинский, сделав ей такое неподходящее, по институтскому этикету, замечание, моментально забыл о ее существовании.

— Вы, кажется, немка? — спросил он у воспитанницы, которая только что переводила с немецкого на русский. Получив утвердительный ответ, он узнал и от двух других воспитанниц, прекрасно ответивших на все его вопросы, что они хотя и русские, но дома говорили больше по-немецки, чем на родном языке.

— А, вот что! Значит, эти первые ученицы знанием языка обязаны семейству, а не учебному заведению! — сказал Ушинский, обращаясь к учителю, поклонился и повернулся, чтобы уходить, но Тюфяева загородила ему дорогу.

— Позвольте вам заметить, милостивый государь, что мы дежурим в классе по воле нашего начальства... что мы... что я... я высоко чту мое начальство.

— Если вы уже обязаны здесь сидеть неизвестно зачем, то, по крайней мере, должны сидеть тихо, не скрипеть стулом, не шмыгать между скамейками, не вырывать бумаги у воспитанниц, не отвлекать их внимания от урока... Понимаете? — резко перебил ее Ушинский.

— Я, милостивый государь, служу здесь тридцать шесть лет... мне, милостивый государь, седьмой десяток... да-с, седьмой десяток... я не привыкла к такому обращению... Это все, все будет доложено кому следует.

— Если вы дежурите с такой определенной целью, то и исполняйте ваши священные обязанности!.. — С последними словами он вышел из класса.

Тюфяева возвратилась на свое место, но была так взволнована, что не брала даже чулка в руки, который она обыкновенно вязала; горько покачивая головой, она вдруг расплакалась и направилась к выходу. Воспитанницы в первый раз остались в классе с глазу на глаз с учителем. Все молчали. Наш немец что-то крепко призадумался, но это был один момент: он вдруг встре-

пенулся и, по заведенному порядку, начал вызывать учениц одну за другой. Ратманова, пользуясь отсутствием классной дамы, встала с своего места и, прикрывая рот и нос платком (указывая этим, что у нее кровь идет носом), смело вышла из класса, но не в ту дверь, в которую ей надлежало выйти для этого. Мы поняли, что она отправилась «на разведки». Нам тоже не сиделось: мы чувствовали сильнейшую потребность обсуждать происшедшее, а между тем приходилось ждать до звонка, мало того: необходимо было запастись терпением и на весь обед, так как в это время не очень-то удобно было болтать. Немец не обращал ни на что внимания, и мы то и дело оборачивались по сторонам: одна показывала другой на свою голову и вертела над нею рукою, выражая этим, что у нее бог знает что там творится, другая била себя в грудь и закатывала глаза,— это означало, что у нее разрывается сердце от муки из-за того, что приходится так долго молчать.

В столовую мы спустились без классной дамы. Когда мы шли по парам, Ратманова незаметно присоединилась к нам и сидела за обедом, загадочно улыбаясь. Подруги то и дело подталкивали ее соседок, умоляя их выспросить ее о том, что она успела узнать. «Удалось ли что-нибудь?» — спрашивали ее. Гордо подняв голову, она отвечала, что неудачи преследуют только трусих и идиоток.

Наступил конец и нашим страданиям. Когда мы возвратились в класс, Тюфяева, на наше счастье, ушла в свою комнату заливать горе кофеем. Сбившись в кучу, воспитанницы кричали, перебивая друг друга

— Это какой-то ужасающий злец!

— Просто невежа!

— Не конфузится сознаться, что у него денег нет даже на покупку шляпы!

— Неправда, и опять неправда! — смело выскочила на его защиту воспитанница Ивановская.— Ушинский... это, прежде всего, человек неземной красоты!

— Не ты ли облила его шляпу духами?

— Я не могла этого не сделать!.. Спускаюсь утром на нижний коридор и вдруг вижу — входит... Меня точно стрела пронзила! Я так была поражена его красотой!.. Дала ему пройти и сейчас же бросилась к вешалкам, облила его шляпу духами, вылила духи в карманы его пальто,— одним словом, весь флакончик опорожнила, благо он был под рукой.

Воспитанницы, однако, не одобрили поступка Ивановской. Хотя почти каждая из них делала то же самое, но в данном случае они ссылались на то, что стоило только взглянуть на Ушинского,— и каждая должна была бы понять, что он не оценит такого внимания. Хотя это суждение высказывалось post factum, но с ним все согласились, судили, рядили, и все-таки никто из нас не мог сообразить, почему Ушинский так обозлился только за то, что его одежду облили духами. Нашим учителям это, обыкновенно, нравилось: при встрече после этого они улыбались нам лишний раз. Особенно возмутило нас в Ушинском, как величайшая неблаговоспитанность с его стороны, что он осмелился кричать на нас, взрослых девиц, а также и то, как он разговаривал с m-lle Тюфяевой. Конечно, мы все были до невероятности счастливы, что он ее так «отбрил» и «унизил», но многие находили, что хотя она и классная дама, следовательно гнусное существо, но все же она дама вообще, а каждый образованный мужчина должен относиться к даме по-рыцарски, с утонченною любезностью и почтением.

— Он не только невоспитанный человек, но и форсун!

— Он не форсун, а хвастун!

— Верно, верно! Постарался блеснуть перед нами даже знанием таблицы умножения! Он воображает, что мы без него не сумеем помножить число недельных уроков на семь месяцев!

— А ведь ты бы не сумела! — вдруг зацепила одна другую.

Но на них моментально зашикали за то, что они своими глупостями мешают говорить о серьезных вещах.

— Он, наверно, прогонит нашего немца! — кричали некоторые.

— Ого, руки-то коротки! Не сегодня-завтра Леонтьева его самого вытурит отсюда!.

— Много вы понимаете! Он сам может вышвырнуть целую дюжину таких начальниц, как наша. Ушинский— это такая силища!.. Такая!.. Это просто что-то невероятное!..—говорила Ратманова.

— Какая там силища! Наглый человек — вот и все тут! — возражали некоторые.

— Разве вы можете оценить смелость, дерзость, силу, с которыми человек говорит правду в глаза? Классные дамы вам втемяшили в голову, что это дурно, вы презираете их, а сами повторяете за ними!.. Жалкие вы создания, даже просто, можно сказать, стадо баранов! — вдруг отрезала Ратманова.

Страшная буря негодования поднялась против нее, и, вероятно, окончилось бы тем, что многие жестоко перебранились бы между собой и, уже наверно, большая часть воспитанниц перестала бы разговаривать с нею на неделю-другую, но на этот раз все охвачены были новыми, не испытанным еще настроением: хотелось обсуждать происшедшее, узнать как можно более новостей об инспекторе. Сознавая, что Ратманова обладает хорошею памятью и, будучи весьма толковой и неглупой, умеет точно передавать слышанное, воспитанницы упрашивали друг друга прекратить перебранку и умоляли свою оскорбительницу рассказать все, что она узнала. В другое время Ратманова не упустила бы случая «поломаться», но в эту минуту ее охватило сильное желание говорить, ее всегдашнее стремление «пофигурять» (так мы определяли ее желание первенствовать) взяло, наконец, верх над остальными ее соображениями, и она передала следующее.

По выходе из класса она, прежде чем завернуть за угол коридора, заметила прогуливающихся и разго-

варивающих между собою инспектрису и Ушинского. За углом ей все было слышно, но первой части разговора она не застала. Она пришла, когда Ушинский рассказывал m-me Сент-Илер о своем столкновении с Тюфяевой, но, не зная ее фамилии, он так характеризовал ее:

— «Знаете, такая дряблая старушонка... хвастала тем, что высоко чтит начальство, что тридцать шесть лет служит здесь, что живет очень долго... Я хотел было сообщить ей, что слоны живут еще дольше, что продолжительность жизни ценится только тогда, когда она полезна ближним, да не стоило терять времени с этой скудоумной головой! Но так как она грозила донести своему начальству, то я и предупреждаю вас об этом». «Инспектриса, по мягкости своего характера, просила его о снисхождении к классным дамам, указывая на то, что некоторые из них, действительно, не блестят своим образованием, но где же взять образованных? Ушинский указывал, что если бы при приеме классных дам руководились правилом приглашать умственно развитых, а не особ, умеющих только «кадить всякой пошлости», то при старании, конечно, можно бы найти подходящих...

— «Кадить всякой пошлости!» «Кадить всякой пошлости!» Какое чудесное выражение! — подхватывали мы, ошеломленные столь новой для нас фразой.

— А что еще он сказал! — продолжала Ратманова. — «Нужно, — говорит, — создать иные условия для приема воспитательниц и *скорее выбросить весь теперешний старый хлам...*».

— Какой он умный! — всплеснули мы руками в восторженном изумлении.

— Не мешайте же слушать! — взывали другие, боясь проронить хотя слово Ратмановой, которая продолжала передавать его разговор с инспектрисой.

— «...выбросить старый хлам служащих, и сделать это как можно скорее необходимо уже потому, — говорил Ушинский, — что теперешние классные дамы при-

тупляют умственные способности воспитанниц и озлобляют их сердца».

— «Притупляют умственные способности и озлобляют сердца!» — повторили мы, как молитву, за Ратмановой. Вообще в Ушинском нас на первых порах поражали не только его ум и находчивость, но, кажется, более всего слова и выражения, так как кроме официальных, обыденных слов мы до тех пор ни от кого ничего подобного не слыхали.

— Инспектриса отвечала ему, что она, хотя и с большим трудом, может еще представить себе, что при приемах классных дам будут более, чем теперь, обращать внимание на их умственное развитие, но никогда — она за это ручается — ни одна начальница института не согласится на то, чтобы оставлять воспитанниц в классе с глазу на глаз с учителем. Это немыслимо уже потому, что идет вразрез со всем характером институтского воспитания, и такой обычай, по ее мнению, имеет основание: учитель во время урока занят своим делом, а классная дама обязана наблюдать, чтобы воспитанницы не занимались посторонним.

— «О, когда начнут занятия новые учителя, они сумеют настолько заинтересовать воспитанниц, что те сами не будут заниматься ничем посторонним...

— «Вы, кажется, твердо верите в то, что вам удастся создать идеальный институт?

— «На идеальный не рассчитываю, но если бы я не верил в то, что мне не удастся оздоровить это стоячее болото....

— Ах ты боже мой!.. Душка, Маша, неужели он так-таки и сказал: *стоячее болото?* Вот-то дерзкий! Ведь этими словами он унизил наш институт! Maman должна была его оборвать тотчас же. Ну, говори, говори, что же наша инспектриса?

— Ни гу-гу! Да разве он только это говорил! Он вот еще что загнул: «Я, говорит, до сих пор думал только о том, как бы получше поставить преподавание, но те немногие дни, которые я провел здесь, показали,

что мне придется вмешиваться и в некоторые стороны воспитания... Если не будут уничтожены многие безнравственные обычаи, развращающие воспитанниц, они будут мешать их правильному развитию».

«— Что же безнравственного вы нашли в наших обычаях?

«— Но разве не безнравственно заставлять учениц снимать пелеринки перед приходом учителя? Ведь в послеобеденное время я сам видел, что они сидят в пелеринках; значит, тут дело идет не о том, чтобы приучать к холодной температуре...

«На это maman весело расхохоталась.

«— Помилуйте, вы хотите не только перереформировать наш институт, но перереформировать всю жизнь женщины вообще, изменить даже все людские отношения! В таком случае вам придется восставать и против балов, на которые девушки являются декольтированными.

«Ушинский не уступал и тоже весело смеялся.

«— Ну, в бальные порядки я вмешиваться не собираюсь... Но согласитесь сами: ведь с обнаженными плечами на балы являются для того, чтобы ловить женихов. А класс для институтки должен быть храмом науки! И вдруг здесь с раннего возраста приучают девушек оголять себя!.. Всеми силами буду добиваться уничтожения этого неприличного обычая.

«Но тут колокол прервал их беседу, и m-me Сент-Илер от всего сердца пожелала ему перестроить институт на идеальных началах, хотя сильно сомневалась в удаче; он тоже задушевно пожелал ей всего лучшего. Характер их беседы не носил ничего официального: они называли друг друга по имени и отчеству, разговаривали просто и дружески».

Колокол призывал и нас к чаю, хотя души наши рвались обсуждать без конца небывалые новости. До сих пор никто, ничто и никогда не волновало нас так, как это первое появление у нас Ушинского. Так же оживленно болтали мы и после чаю, когда пришли в

дортуар, чтобы ложиться спать. Мы быстро разделись и, закутавшись в одеяла, разместились на нескольких кроватях. И на этот раз каждая спешила высказать свое мнение. Мы совсем не были подготовлены ни к самостоятельному мышлению, ни к критическому анализу. Мысли наши были какие-то коротенькие и несложные, высказывались отрывочно и непоследовательно. Наши чувства и выражения были не только стадными, но часто извращенными, язык наш страдал однообразием и бедностью выражения, запас слов был крайне невелик. Но как бы то ни было, наша мысль зашевелилась впервые, нас охватил какой-то вихрь вопросов, глаза у всех блестели, щеки пылали, сердца трепетали. Мы сидели и рассуждали далеко за полночь, бросаясь к кроватям при каждом шуме из комнаты классной дамы.

— Он просто отчаянный какой-то! — было мнением большинства. Однако, несмотря на отзывы, не совсем благоприятные для Ушинского, мы сразу, инстинктивно, почуяли в его личности что-то сильное, крупное и оригинальное. Эпитет отчаянного, который ему давали, польстил «отчаянным»: то одна, то другая обращала внимание подруг на то, что отчаянность уже вовсе не такой порок, как у нас принято думать. Вот он отчаянный, а между тем очень умный и, кажется, даже хороший: сейчас раскусил, что Тюфяева дрянь, а немец — плохой учитель. Но не все соглашались с этим определением: умные и хорошие люди, утверждали они, непременно в то же время люди благовоспитанные, а его насмешки над нами и разговор с Тюфяевой показывают его невоспитанность. Другие в число его преступлений заносили и то, что он осмелился назвать наш институт «стоячим болотом», а «всем известно, что это — первоклассное заведение». Более всего трепались в институте выражения: «все говорят» и «всем известно»,— они казались многим сильнейшим подтверждением сказанного.

— А что в нем хорошего, в этом вашем институте? — с лицом, пылающим гневом, выскочила Ратманова.—

Пусть говорит каждая все хорошее, что знает о нем!.. Разве то, что мы в нем ничему не научились, что мы холодали и голодали, как жалкие собаки, что нас всячески поносили классные дамы, что нашими воспитательницами были даже сумасшедшие, что мы ни в ком не находили защиты, что мы ни от кого не слыхали доброго слова? Ах, молчите, молчите вы, несчастные, с вашим первоклассным заведением, или, лучше сказать, с вашей первоклассною чушью и тупостью! — И действительно, все замолчали, сознавая справедливость ее слов.

— А все-таки он странный! Как это он не понимает, что ничего нет дурного в декольтировании? Это только красиво! Ведь если бы это было пошло и неприлично, то во дворцах и в аристократических домах на балах не являлись бы с голыми плечами? — Этот довод показался настолько веским и убедительным, что все присоединились к нему. Но тут же некоторые старались оправдать непонимание Ушинским таких простых вещей тем, что он, вероятно, очень ученый, сильно заучился, а потому и ничего не смыслит в жизни, особенно же в красоте.

— Небось, очень понял, что maman красива, а Тюфяева урод: он потому-то так и накричал на нее, а с красивою maman у него и дружеские разговоры.

— Не то, не то...— возражали ей.— Тюфяева — идиотка, а maman умна и умеет всех очаровать. Да он скоро и ее раскусит!.. Что-то будет завтра? Ах, если бы он подольше у нас остался! — восклицали воспитанницы, но тут же единогласно высказывали твердое убеждение, что ему у нас не сдобровать.

Через несколько дней после описанных событий Ушинский посетил урок русского языка учителя Соболевского [38], который преподавал во всех младших классах. Это был человек сухой, как скелет, длинный, как жердь, с низким лбом, с провалившимися щеками, с косыми глазами, с коротко подстриженными волосами, торчащими на голове, как у ежа. Самое неприятное в этом преподавателе было то, что он при своем чтении и объяснении брызгал слюною во все стороны, отчего

сильно страдали воспитанницы, близко к нему стоящие. Его урок делился на две части: первую половину времени он спрашивал заданную страницу из грамматики, требуя, чтобы ее отвечали слово в слово, ничего не пополняя, не изменяя и не сокращая в ней. Диктантом он никогда не занимался, как будто не имел даже представления, что это следует делать, и дети разучились бы писать, если бы он не задавал списывать и выучивать басню за басней Крылова.

Самая характерная часть урока наступала тогда, когда Соболевский приказывал отвечать басню. Он всегда был недоволен ответом и каждой вызванной им девочке показывал, как следует декламировать. Начиналось настоящее представление. Зверей он изображал в лицах: лису, согнувшись втрипогибели, до невероятности скашивая свои и без того косые глаза, слова произносил дискантом, а чтобы напомнить о ее хвосте, откидывал одну руку назад, помахивая ею сзади тетрадкой, свернутой в трубочку. Когда дело шло о слоне, он поднимался на носки, а длинный хобот должны были указывать три тетради, свернутые в трубочку и вложенные одна в другую. При этом, смотря по зверю, он то бегал и рычал, то, стоя на месте, передергивал плечами, оскаливал зубы.

Ушинский вошел на урок, как раз в ту минуту, когда Соболевский декламировал басню «Слон и моська». Когда он произнес слова: «Ну на него метаться, и лаять, и визжать и рваться», он старался все это драматизировать более, чем когда-нибудь. С изумлением смотрел на него Ушинский, не делая ни малейшего замечания, но, чтобы прекратить комедию, наконец сказал: «Я буду диктовать». Когда после этого он просмотрел несколько тетрадей, то заметил, что некоторые воспитанницы делают в словах больше ошибок, чем букв, кивнул головой и вышел.

Оба они встретились на нижнем коридоре, и Ушинский заметил:

— Вы, вероятно, слышали много похвал выразительному чтению, но у вас уже выходит целое пред-

ставление... Так кривляться даже как-то унизительно для достоинства учителя.

Соболевский и тут не понял, что эти слова — его приговор, и отвечал, что он с трепетом будет ожидать окончательного решения г. инспектора. Ушинский резко отвернулся от него и начал искать свои калоши. Соболевский нашел их и уже нагнулся, чтобы подать их ему, но Ушинский со злостью вырвал их у него и произнес с запальчивостью:

— Лакей на кафедре — уже совсем неподходящее дело!.. Это мое окончательное решение!

— «Лакей на кафедре!» «Лакей на кафедре!» — повторяла одна воспитанница другой.— Господи, какие у него все чудные выражения! Знаешь, душка, я сейчас сошью маленькую тетрадку и буду записывать все его выражения...

Мы с большим нетерпением ждали посещения Ушинским урока нашего учителя литературы и словесности Старова, который считался у нас лучшим преподавателем [39]. Мы тщательно готовили его уроки, а потому наперед праздновали победу.

Старов по натуре был человек порядочный, мягкий, добросердечный и обязательный. Он пользовался всеобщим расположением. В то время как мы считали минуты, когда окончится урок того или другого учителя, мы заслушивались Старова и каждый раз с нетерпением ожидали его урока. Мы проходили у него теорию прозы и поэзии, а также и литературу. Как у большинства других учителей, мы не имели и для его курса никакого учебника. Руководством для этого предмета нам служили листки, составляемые Старовым, которые мы, из любви к учителю, заучивали очень твердо и переписывали особенно изящно. Нужно сознаться, теория прозы и поэзии Старова была образцом самых нелепых определений, громких, напыщенных фраз, отрывочных сведений, не приведенных в систему. Но мы тогда не понимали этого и более других предметов любили учить уроки Старова, так как они были испещрены словами: «высокое», «пре-

красное», «эстетическое», «идеал», и отрывками из произведений в стихах и в прозе, которые Старов, по нашему мнению, читал нам в совершенстве. Читал он несколько гробовым голосом, сопровождая чтение классическими жестами, но нам это чрезвычайно нравилось. В стихотворениях нас увлекала музыка и мелодичность стиха, в прозе — возвышенные выражения, и хотя до смысла мы не додумывались и наш учитель не объяснял нам его, но все же это нас увлекало более, чем сухое заучивание грамматики. Отрывки из теории прозы и поэзии Старова нам очень мало давали и потому, что они были слишком отрывочны и служили пояснением мало для нас понятного определения какого-нибудь рода поэзии или прозы. Так же проходили мы у него и историю литературы. В его записках, в хронологическом порядке, были названы все произведения автора, с несколькими страницами объяснений при наиболее крупных из них. Сами мы никогда не читали ни одного произведения знаменитого русского писателя, а преподаватель знакомил нас с ним лишь в отрывках. Таким образом, мы не имели ни малейшего понятия ни о фабуле произведения, ни об идее, которая осуществлялась в том или другом художественном образе. Несмотря, однако, на все это, Старов был самым лучшим и даже единственно искренно любимым учителем. В то время когда остальные учителя держали себя с нами хотя и вежливо, но официально, он один неизменно относился к нам с самым теплым участием. К тому же он так возвеличивал, так идеализировал женщин вообще,— а это, конечно, не могло не льстить нам.

— Женщина,— слышали мы чуть не на каждой его лекции,— самое возвышенное, самое идеальное существо! Ей одной предназначено обновить мир, внести идеалы, уничтожить вражду, поселить любовь, внушить уважение... Только женщина, ее грация и прелесть, кротость и неземная доброта могут разогнать душевную тоску, тяжесть одиночества.

Мы, конечно, не имели ни малейшего представления, каким образом мы можем разгонять тоску одиночества, как мы будем обновлять мир и зачем его обновлять, ни малейшего понятия не имели мы и об идеалах, какие нам предназначено внести в мир, но все же из этих слов нам было ясно, что назначение женщины очень прекрасное, и мы весьма гордились этим.

Добрая натура Старова не выносила официальных отношений: встречая на коридоре толпу всегда поджидавших его девиц, он не только радушно со всеми раскланивался, но, замечая облачко на чьем-либо лице, нежно произносил: «Что затуманилась, зоренька ясная» или что-нибудь в этом роде, всегда с экстазом декламируя множество стихов и вне классов, и во время уроков.

— Ах, m-r Старов,— говорит ему одна воспитанница,— я сегодня буду наказана,— и она откровенно рассказывает ему, за что ей придется вынести наказание и кем оно назначено. Старов, как стрела, бросается к классной даме и, хватая ее за руки, со слезами на глазах, начинает ее умолять простить воспитанницу.

— Вы добрая, прекрасная, хорошая. Может ли в вашем сердце, в сердце такого благороднейшего существа, как женщина, жить злое чувство!.. Нет, это невозможно! Карать... казнить... и кого же?.. Такое юное, такое невинное существо!.. Возможно ли казнить юность за ее увлечения? Прощать, прощать — вот назначение женщины! Клянусь вам, прощающая женщина — это... это... ангел на небе! Нет, я не уйду отсюда! Я вымолю у вас прощение! Я стану перед вами на колени!

Опасаясь, что Старов приведет это в исполнение и польщенная прекрасными эпитетами, которые ей едва ли когда-нибудь приходилось слышать от мужчины, классная дама обыкновенно торопилась исполнить его желание. «Ах вы чудак! Добряк вы этакий! Ну, хорошо, хорошо, для вас я прощаю»,— и она немедленно подзывала провинившуюся воспитанницу и громогласно объявляла, что прощает ее для г. Старова... Все садились за урок в самом добром, мирном настроении.

Начальство смотрело на Старова как на очень вежливого человека, прекрасно учителя, прощало ему его экстаз и эксцентричные выходки и нисколько не мешало нам, воспитанницам, окружать его толпою в коридоре, так как отлично знало, что характер его разговоров и вне классов, и на уроках неизменно один и тот же. И действительно, Старов везде был одним и тем же незлобивым, восторженным человеком, легко приходившим в экстаз, повидимому часто даже без малейшего для этого повода. Вследствие своей ограниченности он как учитель не мог принести нам особенной пользы, но зато не сделал никому не только ни малейшего вреда, но и какой бы то ни было неприятности. Восторженность его положительно была беспредельна: когда знаменитый артист Ольридж давал в Петербурге свои представления и публика во время антракта вызывала его, Старов пробрался на театральные подмостки, бросился перед ним на колени и поцеловал его руку[40].

Итак, мы считали Старова не только симпатичнейшим из людей, но и замечательным преподавателем, и не находили ни малейшего пятнышка в его преподавании. Когда в первый раз после назначения Ушинского мы поджидали Старова на урок, мы вышли встретить его целой толпой. При его появлении мы тотчас начали рассказывать ему все «выходки» нового инспектора.

— Несомненно,— говорил Старов грустно и задумчиво,— такое лакейство со стороны Соболевского некрасиво... Но зачем же такая резкость тона, за что оскорблять! Он человек семейный, бедняк, неразвитой, конечно, но совсем не злой...

Когда мы сообщили ему, как Ушинский отнесся к нам за то, что мы облили его шляпу духами, он глубоко возмутился:

— Господи! И к такой, можно сказать, поэтической черте характера юных созданий приурочивать этот... грубый материализм! — И затем, несколько помолчав,

он добавил уже совсем печально: — Что же, девицы, может быть, и мне придется расстаться с вами!

— Ну, уж этому не бывать! — закричали мы в один голос. — Если он вас не сумеет оценить... он, значит, уж совсем невежда! Мы все тогда восстанем! Мы ни за что этого не допустим!

Старов обводил толпу институток восторженными глазами, которые без слов говорили: «прелестные создания», затем, раскачиваясь из стороны в сторону, как это всегда с ним бывало перед какой-нибудь наиболее восторженной импровизацией, он начал:

— Вы не знаете, что творится в мире! О, как прелестны вы вашим неведением! Не теряйте его, этого лучшего сокровища юного сердца!

Но мы перебили его, желая во что бы то ни стало с его помощью хотя несколько уяснить себе загадочный характер нового инспектора.

— M-r Старов, скажите нам, пожалуйста, ваше мнение об Ушинском... Вы сказали... грубый материализм... Что это означает? — приставали мы к нему.

— Полноте, зачем вам это?.. Я, наконец, совсем не знаю г. Ушинского. Слышал, конечно... Как бы это вам объяснить... Видите ли... В большом ходу теперь новые идеи... Конечно... многие из них заслуживают полнейшего уважения. Мне говорили, что Ушинский... в высшей степени образованный человек... Он, говорят, поклонник новых идей! Что ж! Нам, старикам, по правде сказать, и давно пора очищать место для новых людей, для новых идей!

Звонок прекратил наши расспросы, заставил нас опрометью бежать в класс. Мы не успели еще рассесться по скамейкам, как к нам вошла инспектриса, а за нею Ушинский. Он, к нашему удивлению, приветливо раскланялся со Старовым.

— Вам угодно будет экзаменовать девиц? — обратился Старов к Ушинскому.

— Нет! я буду вас просить продолжать ваши занятия.

Старов начал вызывать воспитанниц и спрашивать заданный урок о Пушкине. Вызванная воспитанница прекрасно отвечала.

— Очень твердо заучено...— заметил Ушинский.— Но вместо фразистых слов учебника (о ужас!—эти, как он называл, «фразистые слова учебника» были записки самого Старова) расскажите мне содержание «Евгения Онегина»!

Старов начал объясняться за воспитанницу. В классе не существует библиотеки. Свой единственный экземпляр он, Старов, не может нам оставлять, так как об одном и том же писателе в один и тот же день читает нередко в двух-трех заведениях.

— В таком случае я совсем не понимаю преподавания литературы! Вы обращались по этому поводу с запросом к администрации заведения?

— Дело здесь испокон века так ведется... Забота о библиотеке — не мое дело...

— Девицы, кто из вас читал «Мертвые души»? Потрудитесь встать...

Никто не двигался с места.

— Это невозможно! Вы, сударыня, читали? А вы? Но, может быть, что-нибудь другое читали из Гоголя? «Тараса Бульбу» знаете? Неужели и произведений Пушкина никто не читал? А Лермонтова, Грибоедова? Но это невозможно! Я просто этому не верю! Как! ни одна воспитанница, проходя курс русской литературы, не поинтересовалась прочесть ни одного наиболее капитального произведения!.. Да ведь это, знаете, что-то уже совсем баснословное! — Ушинский не получал ниоткуда никакого ответа и, все более горячась, обращался то к воспитанницам, то к учителю.— Но чем же набит ваш шкаф? — И с этими словами он подбежал к шкафу, который был наполнен тетрадями, грифельными досками и другими классными принадлежностями; две-три полки были уставлены произведениями Анны Зонтаг, евангелием и несколькими дюжинами разнообразных учебников. Пожимая плечами, нервно перелистывая

учебники, Ушинский, точно пораженный, несколько минут молча простоял у шкафа, затем быстро захлопнул его, подошел к столу и сел на свое место.— Что ж, потрудитесь продолжать занятия,— сказал он как-то вяло, обращаясь к Старову и вытирая платком пот, струившийся по его бледному лбу.

— Какие тут занятия! — обиженно процедил сквозь зубы Старов, однако вынул из портфеля один из томов Пушкина и начал читать стихотворение «Чернь», с каждой строчкой приходя все в больший экстаз. Последнее четверостишие:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,—
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...

он читал уже вскочив с места, с воспаленными глазами, голосом, прерывавшимся от волнения и выражавшим все ядовитое презрение, какое только могло накопиться в этой доброй душе ко всем поборникам материализма, не умеющим ни понимать, ни ценить небесных вождлений и поэтических восторгов.

— Но ведь воспитанницы незнакомы еще и с более капитальными произведениями Пушкина... — заметил Ушинский.— Впрочем, продолжайте... Вы, вероятно, будете теперь им это объяснять?

— Что же тут объяснять! Они отлично все понимают... У этих девушек весьма сильно развито художественное чутье...

— Ого, даже художественное чутье!.. А чем бы, кажется, оно могло быть развито при таких условиях,— сказал Ушинский, не скрывая иронии, и, вызвав одну из воспитанниц, он попросил ее передать стихотворение своими словами. Но ни эта девица, ни другая, ни третья ничего не могли рассказать, хотя все слушали с напряженным вниманием.

Тогда в дело вмешалась инспектриса. Она заявила Ушинскому, что Старов—замечательный преподаватель,

что воспитанницы чрезвычайно любят его предмет и много над ним работают, но в данную минуту они очень переконфузились и потому не могут отвечать.

— Может быть, может быть,— недоверчиво улыбаясь, отвечал Ушинский.— Попробуем объясниться письменно! Пусть одна из воспитанниц вслух раза два прочтет стихотворение, и затем, девицы, потрудитесь своими словами, письменно, изложить прочитанное.— И он вышел в коридор.

Наша письменная работа оказалась в высшей степени бестолковою: у одних она представляла шумиху напыщенных фраз, не имеющих между собою элементарной логической и грамматической связи, у других черни приписывалось то, что говорил поэт, и наоборот, и при этом у тех и у других не мало было крупных орфографических ошибок. К счастью для нас, звонок помешал Ушинскому читать вслух наши сочинения, и он взял их с собой.

Мы скоро пришли к убеждению, что новый инспектор не уволит нашего общего любимца Старова только в том случае, если мы выступим на его защиту. Мы предполагали, что, когда ученицы очень хвалят своего учителя, каждый обязан понимать, что при этом уже нельзя усомниться в его педагогических талантах. И мы решили защищать его до последней капли крови.

Нельзя сказать, чтобы мы не сознавали всей трудности задачи говорить с Ушинским, перед которым робеют и теряются даже учителя. Но нам казалось, что уклониться от этой обязанности было бы величайшею низостью.

Как плохо, однако, мы были вооружены для этого! Если между нами и были поэтессы, то ораторов, даже плохоньких, совсем не существовало. Мы наивно выражали наши детские мысли, не умели выделить главного от мелочей и при этом страшно конфузились всех, а тем более Ушинского. Но для любимого Старова никакая жертва не была тяжела. Мы условились между

собою, что одна из нас во всем блеске выставит необыкновенную доброту Старова, другая укажет на его таланты, видимо совсем неизвестные «господину инспектору».

Мы бросились к нему, как только он показался в коридоре.

— Monsieur Ушинский! — кричали мы, окружая его.

— Ах, пожалуйста, не называйте вы меня monsieur: чересчур официально! Константин Дмитриевич, да и все тут!..

Это неожиданное предложение так переконфузило нас, что мы забыли даже, о чем собирались с ним беседовать.

— Что же вы хотели сказать? Ради бога, не конфузьтесь. Останавливайте, спрашивайте меня обо всем, что вам угодно... И не очень сердитесь за мою резкость, за мой, может быть, не совсем вежливый тон... Работы у меня гибель, я всегда так тороплюсь: вот для скорости иногда и отхвачу приставочку к речи, которою можно было бы закруглить, смягчить то, что хочешь сказать... Ну, в чем же дело?

Мы толкали ту, которая должна была начинать, но она могла только проговорить:

— Вы недовольны Старовым! Ведь он же не виноват, что нам не дают книг! Вы его совсем не знаете!.. Он такой добрый!.. Просто даже чудный человек!

— Правда, правда: незлобивый, даже весьма недурной человек, но, к сожалению, этого еще очень мало для преподавателя...

— Вы, должно быть, не знаете, что он поэт! Даже очень знаменитый поэт! — лепетала Ивановская, обязанностью которой было выставить его таланты.

— Не знал... не знал, что такой поэт существует! Да еще знаменитый! Гм... подите же!.. Какие же такие его произведения? Он уже, конечно, познакомил вас с ними и, может быть, даже не в отрывках только?

Ивановская пролепетала, что у него есть чудное стихотворение «Молитва». Ушинский в конце концов

уломал ее продекламировать его, и она начала дрожащим голосом:

Как много песен погребальных
Еще ребенком я узнал,
И скорбный смысл их слов прощальных
Я часто юношей внимал.
Но никогда от дум печальных
Старов душой не унывал!
Создатель мира, царь всесильный,
Мне много, много подарил,
Когда веселостью обильной
Он трепет жизни домогильной
Во мне...

— Довольно... довольно! Это бог знает что такое! Ведь Старов уже много лет читает литературу в разных заведениях и мог бы понять, что в его стихотворении нет ни поэзии, ни мысли, ни чувства, ни образа. А он не стыдится показывать эту свою замогильную чепуху своим ученицам! Нет, воля ваша, это просто фразер и пустозвон!.. Не горюйте вы по нем... У меня в виду имеется для вас превосходный преподаватель. И если в учителе вы ищете доброты... по-моему и одного ума достаточно... так ваш будущий учитель в то же время и очень добрый человек.

— Чем же он лучше Старова? — спрашивали мы, удивляясь, что с Ушинским можно разговаривать.

— Да хотя бы тем, что он научит вас работать, заставит полюбить чтение, познакомит не только с названиями великих произведений, но с их содержанием и с идеями автора.

— А как его фамилия?

— Водовозов.

— Ну, уж одна фамилия чего стоит!—выпалила, расхохотавшись, одна из нас, неожиданно даже для себя самой.

— Вы ошибаетесь,— значительно возразил Ушинский, решительно не переносивший не только ни малейшей пошлости, но и глупой остроты.— Он будет пригоден и для того, чтобы научить вас понимать, что достойно смеха и что не заслуживает его.

Переконфуженные резким замечанием Ушинского и обозленные провалом, воспитанницы ввалились в класс, ругая на чем свет своих ораторш, не умевших защитить Старова, и перекоряясь между собой. Хотя при этом сильно доставалось и Ушинскому, которого мы честили эпитетом «непроходимой злюки», за то что он выгоняет даже добрых учителей, но когда несколько успокоились, то некоторые начали высказывать, что незачем-де было цитировать стихи Старова, которые, действительно, уже вовсе не так прекрасны, забывая о том, что еще недавно они так восторгались ими, что каждая переписывала их в свой альбомчик и знала наизусть. Это критическое отношение пошло и дальше: говорили, что хотя Старов и чудный человек и превосходно читает, но как-то от всех его лекций в голове ничего не остается.

На это Ратманова закричала во все горло: «Если бы сюда собрать всех мировых гениев прошлых, настоящих и будущих веков, все они вместе ни на иоту не просветили бы ваши дурацкие головы!». Поднялась страшная буря,— все набросились на Ратманову. На это, как сумасшедшая вбежала m-lle Лопарева: «Как вы смеете так орать? Хотя вы и выпускные, но в наказание будете стоять весь следующий урок». Она перед этим с кем-то разговаривала в коридоре, куда сейчас же и выбежала.

— Не смейте подчиняться этому! Преспокойно садитесь, когда войдет учитель...— кричали некоторые.

И действительно, когда в класс вошла Лопарева, а за нею учитель, мы, несмотря на наказание, преспокойно уселись на свои места. Это был первый протест, устроенный сообща всем классом без исключения. Лопарева густо покраснела от злости, но не решилась пикнуть, вероятно поняв по выражению наших лиц, что на этот раз мы скорее сделаем скандал, чем подчинимся требованию.

Хотя Ушинский некоторым учителям отказал при первом же посещении уроков, но бóльшая часть их

оставалась у нас до официального утверждения его учебной реформы.

Воспитанница старшего класса Аня Ивановская отправила однажды письмо к своему отцу через классную даму Тюфяеву, в котором она просила его прислать ей денег. Ответ получился через ту же даму, у которой была родственница, несколько знакомая с г. Ивановским; она приносила о нем разные сплетни m-lle Тюфяевой. Ивановский на этот раз отказывался исполнить просьбу дочери за неимением денег. Тюфяева, прочитав письмо и передавая его Ивановской при ее подругах, начала попрекать ее тем, что она научилась «нос задирать», а между тем у отца ее ничего нет; если же что и перепадает ему, то он предпочитает тратить деньги на театры, чем посылать их дочери. Из этого примера Тюфяева сделала общий вывод и начала обычную свою канитель на тему, что-де от них, классных дам, теперь требуют бог знает чего, даже каких-то нежностей с воспитанницами, которые для них совершенно чужие, а вот и отец родной, а нежностей к дочери и особых забот о ней не проявляет.

Зная необыкновенную вспыльчивость Ивановской, воспитанницы незаметно, но ловко выталкивали ее локтями в задние ряды, и она, наконец, выбежала в коридор. В эту минуту проходил Ушинский и с большим участием обратился к ней, упрашивая ее оказать ему маленькое доверие — сказать, почему она так грустна. Она объяснила ему, что воспитанницы обязаны переписываться с родителями не иначе, как через классных дам. Такое правило существует, и тут уже ничего не поделаешь, но она злится на себя за то, что не постаралась, как другие ее подруги, переслать свое письмо через их родственников. К тому же ее оскорбляет то, что m-lle Тюфяева воспользовалась письмом ее отца для того, чтобы попрекать ее теми сплетнями, которые она собирает о нем у своей родственницы, с умыслом искажает его слова, чтобы унижать ее и часами говорить свои опостылевшие проповеди.

Ушинский горячо поблагодарил Ивановскую за доверие и сказал, что оно поможет ему обратить внимание на эту сторону жизни институток, что он поговорит об этом с кем следует и будет стараться уничтожить этот обычай. И действительно, мы узнали, что Ушинский со всей энергией, присущей его страстному темпераменту, говорил с принцем Ольденбургским[41], а также и на разных совещаниях о том, что обычай контролировать письма воспитанниц подрывает основы семейных уз и приучает их хитрить, лгать и обманывать. Развивая в воспитанницах рабские чувства, он не дает начальству возможности достигать единственной цели, к которой оно при этом стремится, т. е. мешать воспитанницам передавать родителям что бы то ни было непочтительное о начальстве. Когда им необходимо снестись с родственниками так, чтобы этого никто не знал, они умеют обходить это правило. Воспитанница, раздраженная тем, что не может по душе говорить с своими родителями, в своем секретном письме отделает начальство так, как это ей не пришло бы в голову, если бы ей не мешали быть откровенной с ними всегда, когда она того пожелает.

Однако Ушинскому, несмотря на красноречивые доказательства вреда этого обычая, не удалось его уничтожить, но он сильно ослабил его: в либеральную эпоху его инспекторства некоторые классные дамы начали передавать воспитанницам письма не распечатывая их, другие распечатывали лишь для проформы. Но, конечно, оставались и такие, которые не меняли своего поведения в этом отношении.

Зато Ушинскому удалось настоять на том, чтобы воспитанницы во время уроков не сидели без пелеринок; достиг он уничтожения и еще несравненно более вредного обычая. До его вступления воспитанницы не имели права предлагать вопросов учителям. Ушинский настоял на том, чтобы они спрашивали у них не только то, чего не понимают, но чтобы вообще урок носил характер живых бесед. Однако большинство нововведе-

ний, которых Ушинский достиг путем тяжелой борьбы с консервативным до дикости начальством, погрязшим в рутине и предрассудках, были уничтожены тотчас же после того, когда он сложил с себя звание инспектора и оставил институт.

Прошло недели три со дня вступления Константина Дмитриевича в должность инспектора. Пока никаких реформ еще не было введено; несмотря на это, буквально каждая встреча с ним, каждое его слово, все, что мы слыхали о том, что он объяснял в других классах, было для нас откровением, поражало нас, давало нам огромный материал для споров и бесед между собой. Иной раз то или другое в его словах, казалось нам, противоречило тому, что он говорил перед этим. Но нередко все это вдруг выяснялось каким-нибудь одним его замечанием, а затем постепенно мы сами стали доходить до разгадки некоторых его слов и поступков. То, что мы не понимали самых элементарных вещей, было естественным последствием нашей оторванности от жизни, нашего монастырского воспитания.

С водворением Ушинского мы, как по мановению волшебного жезла, проснулись, ожили, заволновались и не могли наговориться друг с другом. Раздоры и пререкания между собой, даже отчаянные выходки против классных дам проявлялись теперь несравненно реже уже вследствие того, что мы были заняты другим. Еще так недавно наша жизнь протекала крайне однообразно, не давая нам никакого материала для живого общения между собой, и наши разговоры ограничивались рассказами друг другу о выходках классных дам и о наших мечтах подкузьмить так или иначе ту или другую из них. Теперь мы каждое слово и замечание Ушинского обсуждали со всех сторон и все более критически относились к прежним нашим взглядам. Мы постепенно примирились и с резкими выходками Ушинского, начиная мало-по-малу сознавать, что они, обыкновенно вызывались какою-нибудь глупостью с нашей стороны, Все искреннее и глубже проникались мы сознанием

того, что Ушинский приносит нам действительную пользу, что он стремится сделать нашу жизнь более человеческою и содержательною, чем это было раньше. Наши дикие, специфически-институтские взгляды незаметно сглаживались и заменялись воззрениями иного характера. Наш страх, что Ушинский будет уволен из института за то, что он с такою прямотою, смелостью и резкостью, не щадя мелкого самолюбия начальства, проводит свои взгляды и идеи, не только исчез, но заменился совершенно противоположным. Нам казалось уже, что такого человека, как Ушинский, никто не посмеет тронуть. Конечно, такое мнение говорило об отсутствии понимания жизни, но, как бы то ни было, наша вера во всемогущество Ушинского все росла и укреплялась слухами о нем. Мы знали, что его педагогическая и литературная деятельность, его блестящие успехи в Гатчинском институте, где он раньше был инспектором, обратили на него всеобщее внимание. Наши учителя, классные дамы, инспектриса открыто говорили о том (и это подтвердилось), что императрица Мария Александровна, желая поднять институтское образование, решилась ввести в нем многие реформы и сама указала министру народного просвещения Норову (члену совета института по учебной части [42]) на Ушинского как на желательного для этого человека. И для нас стало очевидным, почему Леонтьева до сих пор не уволила его. Мы твердо начали верить, что при энергии Ушинского реформы будут проведены, и безапелляционно решили, что он будет в институте таким же реформатором, каким был Петр Великий в России.

Как-то, когда до выпуска оставалось вместо несколько месяцев (тогда выпуски бывали в марте), ко мне подошел Ушинский и спросил:

— Не вы ли та воспитанница, которая вследствие падения с лестницы чуть не вдребезги разбила себе грудь и, испытывая жестокие боли, подвергая себя смертельной опасности, не пошла к доктору, опасаясь этим опозорить себя?

Я почувствовала в его вопросе иронию и молчала; подруги, стоявшие подле, подтвердили, что эта была именно я. Вдруг этот строгий, суровый человек, тонкие, крепко сжатые губы которого так редко улыбались, разразился громким, веселым смехом, а мне это показалось каким-то оскорбительным издевательством, и я повернулась, чтобы уйти даже без реверанса, что считалось у нас невежеством.

— Что же вы сердитесь? Кажется, даже обиделись?

— Каждая на моем месте поступила бы так же...

— Ну нет! Если даже у всех вас такие «идеальные убеждения», то все-таки редко кто мог бы выдержать характер до конца. Право же, вы оказались настоящей героиней! Если у такой девочки, как вы, такой характер, столько силы воли, она может употребить их на что-нибудь более полезное. Одним словом, я хочу предложить вам, вместо того чтобы уехать домой после выпуска, остаться еще здесь и поучиться в новом, седьмом классе, который я устраиваю для выпускных. Уверяю вас... почитаете, подумаете, поработаете головой и даже на такой вопрос, который мы только что обсуждали, будете смотреть иначе.

Видя мои колебания, он добавил, что если я соглашусь, то должна буду спросить разрешения родителей, но что для этого еще много времени впереди.

Ушинский явился первым светлым лучом в царстве институтского мрака, пошлости, невежества и застоя. Нужно, однако, иметь в виду и то, что во второй половине 50-х годов во всей России занималась заря новой жизни, являлись проблески наступающей эпохи возрождения. В обществе распространялись новые идеи, вырабатывались новые идеалы, пробуждалось отрицательное отношение к окружающим явлениям русской действительности. Оживление среди воспитанниц, наступившее вслед за назначением к нам Ушинского, усиливалось вследствие того, что прогрессивные идеи стали проникать и к нам, несмотря на наши высокие стены и на полную монастырскую замкнутость нашей жизни.

После непробудной спячки у нас вдруг зашевелился мозг, и мы стали обращаться к нашим родственникам с более живыми вопросами; поэтому каждый раз после приема родных одна из воспитанниц сообщала что-нибудь новенькое. Нечего и говорить о том, что все эти новые идеи в передаче институток и по форме и по содержанию носили характер не то наивный, не то комичный.

— Представьте, мой брат-студент утверждает, что скоро все люди, без исключения, будут равны между собой. Ведь это же значит, что никакой разницы не будет между генералами и солдатами, между крестьянами и высокопоставленными людьми! Все должны будут решительно все делать сами,— значит, даже люди знатные будут сами выносить грязную воду. Ведь, если это верно, значит, все на свете перевернется!

— А мой папа говорил, что у всех помещиков скоро отберут крестьян, что мужицкие дети будут учиться на одной скамейке с господскими, а мы — с нашими горничными...

— Мой дядя настаивает, чтобы после выпуска я сделалась учительницею и учила самых простых детей, а взрослым внушала мысль о том, что теперь стыдно мучить крестьян, что это даже очень гадко...

— Мой папа (он служит в министерстве) говорит, что человек должен гордиться бедностью,— это значит, что он ничего не накрал, а что бóльшая часть богачей богаты потому, что они наворовали на службе.

Все это мы обсуждали, обо всем вели бесконечные споры, судили-рядили вкось и вкривь, но хорошо было уже то, что у нас заработала голова.

Нашему оживлению и развитию помогало и то, что наш библиотечный шкаф, в котором никогда не было ни одной книги для чтения, наполнился номерами журнала «Рассвет» Кремпина[43] и другими книгами, пригодными для чтения юношества. Произведения русских классиков появились в нашей библиотеке несколько позже.

Внимательно осматривая в институте каждый уголок, Ушинский заметил одну, всегда запертую комнату. Наконец, она была открыта перед ним, эта таинственная дверь. Каково же было его удивление: он увидел огромную комнату, заставленную по стенам старинными шкафами, с огромной коллекцией животного царства, с прекрасными для того времени коллекциями минералов, драгоценные физические инструменты, разнообразные гербарии.

Императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна, получив от кого-то эти сокровища, подарили их институту, где их никогда не употребляли в дело, где никто не показывал их воспитанницам. В виду того что это были дары двух императриц, институтское начальство находило необходимым беречь их, т. е. крепко-накрепко запереть в большой отдельной комнате, о существовании которой, вероятно, уже давным-давно никто не вспоминал кроме сторожа, наблюдению которого они были поручены, но и тот, видимо, не очень затруднял себя заботами о них, так как не мало дорогих вещей оказалось испорченными молью.

Впоследствии Константин Дмитриевич не раз вспоминал при мне об этой находке, особенно приятно поразившей его. Считая необходимым ввести преподавание физики и естествознания вообще, он прекрасно знал, какое встретит затруднение: начальство, косо смотревшее на введение чего бы то ни было нового, сделало бы все, чтобы затормозить преподавание этих предметов. Под предлогом того, что на покупку физических инструментов, различных коллекций и моделей пришлось бы затратить значительную сумму, начальство могло отложить введение преподавания естествознания в долгий ящик. К тому же в институте уже многие поговаривали о том, что производить физические опыты немыслимо в классе, а особого помещения для этого не имелось. И вдруг мечта Ушинского осуществляется так неожиданно! Сравнительно небольшую

сумму, необходимую для ремонта испорченных вещей и на добавочные приобретения кое-чего, выдали без затруднения,— так поразил всех доклад Ушинского об его находке.

— Начальство увидало в этом чуть не перст божий, способствовавший мне в моих предприятиях,— смеясь рассказывал он об этом.

Для присмотра за кабинетом был приставлен особый сторож. Комната, еще недавно постоянно запертая, с большим удобством послужила для уроков физики: для опытов в ней все было под руками учителя.

Этот музей тоже внес в жизнь институток некоторое оживление.— Все видели вечно запертую комнату, однако никто не заинтересовался ею настолько, чтобы проникнуть в нее... Он один все смеет, все может, из всего извлекает пользу, обо всем думает»,— рассуждали мы, проникаясь все бо́льшим благоговением к Ушинскому, и после находки музея начали смотреть на него, как на что-то вроде мага и волшебника.

Мы то и дело бегали осматривать музей, но скоро это было строго запрещено. Вместе с Ушинским туда приходил посторонний человек, выносил оттуда порченые чучела животных и приносил их обратно в исправленном виде. Так как вход в кабинет был запрещен до приведения его в порядок, то мы еще сильнее стремились заглянуть в него. Однажды две воспитанницы нашего класса, увидав, что Ушинский только что вышел из музея, вбежали в него. Никого не заметив и рассматривая животных, расставленных временно на полу, одна из них, указывая подруге на зверька, утверждала, что то был соболь, другая настаивала на том, что это — куница. Вдруг из-за угла шкафа вышел молодой человек и проговорил:

— Ни то, ни другое, mesdemoiselles,— это только ласка... Мне говорили, что институтки не умеют отличить корову от лошади? Правда?

— Какая мерзость! — закричала ему в упор одна из воспитанниц.

— Мы непременно пожалуемся на вас Ушинскому!— бросила ему другая.

— Ах, барышни, барышни! Вы даже не понимаете, что жаловаться стыдно!..— со смехом возразил молодой человек, видимо нисколько не испуганный их угрозою.

Девицы как ошпаренные выскочили из музея и чуть не со слезами передавали подругам этот эпизод. Мы долго обсуждали сообща, как бы проучить «нахала». Нам казалось это необходимым, так как в этом случае была затронута наша корпоративная честь. Но мы пришли к убеждению, что это немыслимо. Ушинский, обыкновенно, уходил и приходил вместе с молодым человеком (оставлять постороннего у нас не допускалось), и на этот раз он вышел, вероятно, лишь на несколько минут; следовательно, всякая «история» с нашей стороны причинила бы большую неприятность Ушинскому, и он мог бы посмотреть на это с очень нелестной для нас стороны.

Это маленькое приключение имело большое влияние на мою личную судьбу. «Разве Ушинский не сдерживает порою улыбку, когда мы с ним разговариваем? Разве при наших рассуждениях с ним с его уст не срываются слова: «Как это странно, как это наивно!». А мой брат еще более бесцеремонно повторяет, когда я что-нибудь рассказываю ему об институтской жизни: «Как это глупо, как это пошло!». Да... над нами все издеваются, все смотрят на нас как на последних дур! Учиться, учиться надо!» — вот какие мысли обуревали теперь мою голову, вот что ясно и определенно сложилось теперь в моем уме.

В первый раз за всю мою институтскую жизнь я написала матери неказенное письмо: в нем я описывала появление у нас нового инспектора, оживление и волнение, которое нас всех охватило, предстоящие у нас реформы, устройство нового класса, в котором будут преподавать новые учителя, извещала ее о том, что Ушинский предложил мне остаться в нем, и просила на это ее разрешения; об этом я писала и моему дядюшке.

Начались выпускные экзамены; подготовление к ним и в то же время чтение только что доставленных нам книг, новые мысли, взгляды и вопросы, перегонявшие и сменявшие друг друга, образовали в моей голове невообразимый хаос. Вследствие своей наивности и невежества, я решила, что, наверное, существует такое руководство, которое может мне выяснить, чем и как было бы полезно заниматься, что мне следует читать раньше и что позже. Это заставило меня обратиться к одной подруге с просьбою, чтобы она попросила своего брата-студента снабдить меня таким руководством. Как она формулировала мое желание своему брату, я не знаю, но он прислал мне книгу Павского: «Филологические наблюдения над составом русского языка» [44].

Боже мой, сколько мучений вынесла я из-за этой книги! Я отнеслась к ней как к кладезю величайшей премудрости, твердо верила в то, что как только я ее осилю, передо мной выяснится все и в жизни, и в книгах. Но ужас охватил меня с первой же страницы. Я решительно ничего не понимала, перечитывала каждый период по многу раз, твердила наизусть, но в голове не прояснялось, а только затемнялось. Тогда я решила записывать в тетрадь непонятные для меня слова и выражения, рассчитывая на то, что объяснения Ушинского дадут мне ключ к уразумлению глубины премудрости Павского, но для этого я считала необходимым прочитать книгу до конца. Однако с каждой страницей я приходила все в большее отчаяние, и вместе с непонятными для меня фразами, выписываемыми из Павского, и вопросами по этому поводу я заносила и отчаянные вопли моего сердца о моем умственном убожестве.

В это время я получила от родных разрешение на продолжение образования. Как диаметрально противоположны были по своему содержанию письма дяди и матери! Дядя писал мне, что мое желание остаться в институте весьма удобно для него и для его жены: в виду того что моя мать не может взять меня к себе, я

должна была бы жить в его семействе, а он находит меня слишком молодою для того, чтобы вывозить в свет и на балы. Моя же мать выражала изумление, что я вдруг пожелала учиться и для этого решаюсь даже остаться в институте; она приписывала перемену, совершившуюся во мне, всецело влиянию Ушинского. «До сих пор,— прибавила она,— ты писала мне деревянные, официальные письма, глубоко огорчавшие меня. Если такая перемена могла произойти с тобой, которую я считала совсем окаменевшею, то это мог произвести только гениальный педагог». Она умоляла меня передать Ушинскому не только свое глубочайшее уважение, но и изумление, что он даже такой ленивой девочке, как я, мог внушить желание учиться. Она приказывала мне сказать от ее имени этому «необыкновенному человеку», что ее мечта о таком величайшем счастье, как продолжение моего образования, вероятно разлетится в прах. Она объясняла, что я была принята в институт по баллотировке, следовательно, имею право воспитываться на казенный счет только до выпуска; за остальное образование мое в институте ей пришлось бы, несомненно, платить, а для этого у нее нет никаких средств.

Хотя мне был очень неприятен конец письма, напоминавший о бедности, но я поняла, что скрывать это от Ушинского не имеет смысла. Моя мать была особа энергичная и, долго не получая от меня ответа, могла еще ярче изобразить ему свое тяжелое материальное положение. Вследствие этого я решила сама кое-что прочитать Ушинскому из письма матери, но никоим образом не доводить до его сведения ее похвалы о нем: мне казалось, что он мог принять их за ее желание «подлизаться» к нему. В то же время я собиралась поговорить с Ушинским и насчет книги Павского. Я решила напрямик высказать ему, что совсем не поняла содержания этой книги и что это, вероятно, заставит его отказать мне в приеме на новые курсы. Я находила, что скрывать это от него было бы не только наглым обманом, но и совершенно лишним: мои занятия, конечно,

скоро покажут ему отсутствие у меня умственных способностей. Как это ни странно, мне гораздо легче было сознаться в этом, чем в бедности, несмотря на то, что Ушинский так открыто издевался над теми, кто стыдился ее. Стыд за свою бедность исчез у нас позже всех других недостатков и диких взглядов, усвоенных в институте.

Стараясь поймать удобный момент для переговоров с инспектором, я расхаживала по коридору с письмом матери, с книгою Павского и с тетрадкой, в которой были отмечены непонятные для меня слова и выражения. Но когда мне посчастливилось встретить Ушинского, я переконфузилась и стала бессвязно бормотать, что не могу перейти во вновь устраиваемый им класс, потому что не понимаю Павского; к тому же, и казна не будет меня держать бесплатно после моего выпуска. Он не мог сразу понять мой бестолковый лепет. Продолжая объяснять ему свои недоразумения, я подала ему книгу, а сама начала пробегать по тетради вопросы, которые собиралась ему сделать, как вдруг услыхала с верхней площадки, что меня зовет к себе инспектриса. Я окончательно растерялась и в рассеянности сунула ему в руки письмо, книгу и тетрадь с просьбою, чтобы он сам прочитал. Когда через несколько минут я вспомнила, что письмо в руках Ушинского, что он узнает даже содержание моей тетради,— я пришла в отчаяние, но дело было сделано.

Возвращая мне Павского, Ушинский заметил, что на основании совсем неподходящего чтения нелепо приходить в отчаяние. «Прочел я и вашу тетрадочку... Что же... она в полном смысле полна «сердца горестных замет»! Это все трогательно!.. Ваши замечания еще более побуждают меня уговаривать вас остаться в институте, чтобы вы имели возможность серьезно поработать. Со всеми вашими недоразумениями можете обращаться ко мне. Только никогда не читайте книг, не посоветовавшись раньше со мною, а Павского, пожалуйста, не раскрывайте больше». Относительно платы

за будущее мое обучение в институте он добавил, что постарается все уладить.

Не прошло после этого и месяца, как он вошел в наш класс, вызвал меня и сказал: «Вы будете стипендиаткой экзарха Грузии, который уже отправил в контору вполне достаточную сумму на ваше образование». Я сделала обычный реверанс, не сказав ему ни слова признательности, не имея ни малейшего представления о том, как трудно вообще выхлопотать какую бы то ни было стипендию, а тем более такую значительную, какая была внесена за меня, сколько хлопот и трудов стоило Ушинскому ее добиться. Всю силу великодушия этого благороднейшего человека я поняла гораздо позже: продолжая знакомство с Ушинским и после выпуска из института, я лично была не раз свидетельницею того, как он не только приходил на помощь советом, но и доставал работу нуждающимся, выхлопатывал им стипендии, а за некоторых вносил деньги из своего кармана. В последнем случае он неизменно просил не называть его имени тем, кому он помогал.

Выпускные экзамены окончены, а вот и выпуск. Церковь переполнена народом. Мои подруги, не пожелавшие продолжать своего образования, в первый раз, как птички из клетки, вылетают на волю. Все они в пышных белых платьях, в белых кушаках, в белых перчатках. Недостает только крыльев, чтобы походить на ангелов. Теперь, когда институты сделались полузакрытыми интернатами, когда институтки, оставляя школьную скамью, имеют хотя какое-нибудь представление о жизни, они уже не могут испытывать при выпуске такого волнения, какое испытывали воспитанницы дореформенного периода. Некоторыми из них овладевал невообразимый страх за будущее, и они ожидали чего-то страшного сейчас, сию минуту, точно вот-вот их поведут на эшафот; другие твердо верили в какое-то сказочное счастье, которое сразу свалится на их головы, как только они переступят порог института. Каковы бы ни были их надежды, все они были крайне

взволнованы, и это отражалось на их лицах: у многих стояли в глазах слезы, щеки, даже у бледных воспитанниц, горели румянцем. Еще вчера, в неуклюжем форменном платье, девушка не отличалась особенною миловидностью, а сегодня, в рамке пышных белокурых или черных волос, она имела прелестный и грациозный вид. А я стояла тут же в своем форменном платье.

Безысходное отчаяние вдруг овладело мною. Мне сделалось невыразимо завидно и тяжело смотреть на подруг, навсегда оставлявших институт, а я меняла возможную свободу на прежнюю кабалу и неволю. «Счастливицы! — думала я. — Завтра их не разбудит ни свет ни заря проклятый колокол, вместо криков бранчливых дам их горячо прижмут к сердцу родные руки! Зачем, зачем я осталась? Ничего не выйдет из моего ученья, да и на что оно мне пригодится?» Я бросила взгляд на присутствующих в церкви: среди мужчин и пестро разодетых дам, родственников выпускных, резко выделялись стройные фигуры в белом, говорившие о чистоте, невинности и юной прелести. В углу я заметила серьезную фигуру Ушинского. У меня закипела злоба против него, как против человека, который уговорил меня остаться в институте. Чтобы не разрыдаться, я вышла из церкви, и в первый раз в жизни никто не обратил на это никакого внимания.

Когда я пришла в класс, он был совершенно пуст. Тоска одиночества, непоправимая ошибка, которую, как мне казалось, я сделала, добровольно оставшись в прежней тюрьме, письма матери и дяди в ответ на мою просьбу остаться — все представлялось мне теперь в новом, несравненно более мрачном свете, чем прежде. И я в отчаянии, упав лицом на пюпитр, рыдала, рыдала без конца. Вдруг я услыхала позади себя торопливые, нервные шаги Ушинского. Бежать уже было поздно, и я почувствовала, что если он со мной заговорит, я выскажу ему все в глаза. На его вопрос о том, что я делаю, я в первую минуту молчала, из боязни, что голос выдаст мои слезы.

— Чего вы вечно конфузитесь? — начал он, подвигая свой стул к моей скамейке и положив свой портфель на пюпитр.— Вы годитесь мне в дочери и могли бы без стеснения разговаривать со мною. Скажите-ка откровенно, ведь вам взгрустнулось потому, что не удалось сегодня, как подругам, надеть беленькое платьице и беленький кушачок? Пожалуйста, отвечайте откровенно; да не смущайтесь вы бога ради!

Я не только не намерена была смущаться, но почувствовала, что на меня напала даже «отчаянность», совсем исчезнувшая в последнее время. Я отвечала, что конфузиться не буду: все равно он всегда издевается над нами... Он ответил, что такое мнение крайне для него прискорбно, но он все-таки надеется, что это только недоразумение. И он начал говорить о том, что вследствие оторванности нашей от жизни наши взгляды и выражения нередко оказываются действительно странными, иногда даже комичными... Очень возможно, что как-нибудь, слушая нас, он улыбнулся, но он не предполагал с нашей стороны такой обидчивости, такого недоверия к нему. Издеваться над кем-нибудь из нас здравомыслящий человек не может: мы не виноваты в том, что нас здесь ничему путному не научили, что нам привили дикие понятия... Наконец, он спросил, что я делала до сих пор, как возвратилась из церкви, и получил в ответ, что ничего не делала. Он выразил удивление, как это можно целых два часа просидеть ничего не делая, даже без собеседника, говорил и о том, что человек, серьезно предполагающий работать, должен давать себе отчет в каждом проведенном часе.

Злое, мрачное настроение охватывало меня все сильнее. Мне казалось, что я своими заметками о Павском, а теперь и своими ответами достаточно унизила себя в его глазах, что теперь мне уже нечего терять в его мнении, и стала высыпать перед ним все, что думала перед его приходом. Он ошибается, говорила я ему, предполагая, что я взволновалась из-за того, что не могла надеть белое платье. Я несравненно более пуста,

чем он думает, и вовсе не желаю казаться лучше, чем есть. Так вот, я считаю своею обязанностью признаться ему, что прихожу в отчаяние от того, что согласилась остаться в институте продолжать учение, которое меня вовсе не привлекает, а нередко кажется даже постылым. Да и к чему это учение? В ученые лезть я не собираюсь, а «синим чулком» называться не хочу.

— Да чего это вы из кожи лезете показать мне всю вашу институтскую пустоту? Раз вы уже более откровенны, чем это даже требуется в данном случае, то скажите по правде: вы, вероятно, думаете всеми этими словами уязвить меня, причинить мне боль? А между тем вы одна будете в накладе, если уедете с такой пустой головой... Если вы решили не учиться, так вам, конечно, лучше просить родственников взять вас завтра же отсюда.

Этот ответ меня и переконфузил, и разобидел, и я, еле сдерживая рыдания, начала жаловаться ему на то, что теперь взять меня из института уже немыслимо. Моя мать не может приехать за мной, следовательно, я вынуждена буду жить в семье дяди, а он находит, что я слишком молода, чтобы вывозить меня на балы, точно я просила когда-нибудь его об этом. Несчастнее меня нет человека на свете! Моя мать, моя родная мать, вместо того чтобы выразить желание повидать меня, обнять родную дочь после долгой разлуки, только в восторг приходит от того, что я могу продолжать свое учение.

— Вы не имеете ни малейшего нравственного права так говорить о своей матéри! Это, знаете ли, даже совсем нехорошо с вашей стороны! Я читал ее письмо к вам и сам получил от нее недавно письмо (я узнала потом от матери, что она благодарила его за хлопоты о стипендии для меня) и нахожу, что она — на редкость разумная женщина: вместо жалких слов, поцелуев, объятий и всех этих дешевых сентиментов она горячо высказывает одно желание — чтобы ее дочь была образованной девушкой, чтобы она училась и трудилась.

Мое злобное настроение против Ушинского как-то сразу рассеялось, и мне вдруг страшно захотелось узнать, что он ответит на один мой вопрос.

— Когда вы прочли письмо моей матери... (Я вам отдала его по рассеянности.) Она так превозносит вас... вы могли подумать, что она к вам подлизывается...

Ушинский расхохотался.

— Ну, казните меня. Право же, немыслимо оставаться серьезным, слушая иногда, как вы выражаетесь! Уверяю вас, я не нашел, что ваша матушка подлизывается ко мне. Я уже говорил вам, что я лучшего мнения о ней по ее письмам, чем ее родная дочь. А вот за вашу заботу о моей нравственности,— ведь вы боитесь, чтобы похвалы не вскружили мне голову,— я приношу вам глубочайшую благодарность... Мне кажется, что тучи рассеялись, и теперь можно приступить к делу. Итак, решено, вы останетесь здесь, несмотря на ваше отчаяние! Так принимайтесь же за чтение! Я захватил для вас восьмой том Белинского и несколько томов Пушкина... Окажите мне маленькое доверие. Начинайте сейчас же читать «Евгения Онегина», а затем немедленно прочитайте критику Белинского на это произведение. Так читайте и остальные сочинения Пушкина. Я бы желал также, чтобы вы по этому поводу написали все, что вам придет в голову. Если вы добросовестно отнесетесь к моей просьбе, даю вам слово, что вашу досаду как рукой снимет.

Как мне было совестно всего того, что я наговорила Ушинскому! Мне так хотелось просить его простить меня за все мои глупости, но порыв отчаяния прошел, а вместе с этим улетучился и подъем смелости, когда я только и могла говорить все, что мне приходило в голову. Мною овладела обычная конфузливость, и я знала, что, если бы в эту минуту встретила Ушинского, я бы не решилась произнести ни одного слова. Мое волнение быстро улеглось уже потому, что мне удалось высказать все, что меня так смущало. Этому душевному умиротворению помогло и чувство благодарности и на-

дежда, что при Ушинском все в институте изменится к лучшему. Наконец-то и в этой казарме, думала я, появился человек, который действительно заботится о нас, с которым можно поговорить и посоветоваться, который, несмотря на мои пошлые выходки, не только не отвернулся от меня, но поспешил даже оказать новую услугу,— и при этих мыслях теплая струйка крови прилила к моему сердцу и согрела его. Что из того, что меня не интересует чтение, думала я: Ушинский сделал для меня все, что мог, и я оказалась бы неблагодарной, если бы не исполнила немедленно его желания.

Хотя вновь устроенный класс именовался теоретически-специальным, но это было не совсем точное название: кроме естествознания, физики и педагогики, в нем проходили курс наук по программе среднеучебных заведений, но в более расширенном виде, чем в нашем прежнем выпускном классе. К тому же из этого седьмого класса желающие могли переходить в специальный класс, где во второй год своего пребывания воспитанницы должны были обучать детей кофейного класса под руководством учителей. Воспитанницы, оставленные во вновь сформированном классе, в числе которых была и я, поступая на новые курсы, переходили, собственно, в седьмой класс, но в ту минуту он не мог так называться потому, что при прежнем делении не было шестого класса.

Относительно воспитанниц, очутившихся в совершенно новом положении, т. е. не вышедших из института по собственному желанию, не было установлено никаких правил: выпуск был в марте, а занятия в седьмом классе должны были начаться не ранее как через месяц, да и это не было еще точно определено. Какие классные дамы должны были руководить этими воспитанницами, что они должны были заставлять их делать до начала занятий, на это не было получено никаких инструкций. Классные дамы заявили, что они вовсе не желают торчать с нами, раз это не вменено им в обя-

занность. И действительно, они не обращали на нас ни малейшего внимания. «Пусть их околачиваются как знают»,— говорили они про нас, и мы в полном смысле слова околачивались: кто из нас сидел в классе, кто в дортуаре, кто отправлялся в лазарет.

Времени для чтения было много, и я последовала совету Ушинского. Чем более я читала, тем более увлекалась чтением. Я скоро поняла, что прежде меня не прельщало чтение классиков только потому, что оно было отрывочно, а объяснения Старова лишь сбивали с толку. В несколько дней я так пристрастилась к чтению, что институтский колокол, отрывавший меня от него, сделался моим злейшим врагом. Я забыла все на свете и читала, читала без конца, читала днем, захватывая и бо́льшую часть ночи. Чтение так поглотило меня, что когда однажды я столкнулась с maman, выразившей удивление, что я не посещаю ее теперь, когда у меня так много свободного времени, я поблагодарила ее и сказала ей о том, какую работу дал мне Ушинский. Несколько позже я очень пожалела, что легкомыслие, а может быть и некоторая потребность протеста, заставили меня при этом прибавить: «Как обидно, что нас прежде никто не заставлял читать произведения русских писателей!». Хотя я заметила, что maman както особенно сухо простилась со мной, но я уже несравненно меньше придавала значения всему тому, что происходило вокруг: вся погруженная в новый мир идей и случайно оторванная от чтения, я торопилась снова погрузиться в него. За обедами и завтраками я с восторгом передавала подругам, какие интересные вещи я читаю. Скоро все они точно так же набросились на чтение.

Узнал об этом Ушинский и немедленно прислал нам остальные тома Пушкина, Белинского и других русских писателей, кажется из своей библиотеки.

Мы с великим нетерпением ожидали лекций Ушинского, но так как занятия все еще не начинались, у нас явилась мысль просить его прочитать нам что-

нибудь. В то время, о котором я говорю, он особенно сильно был завален работою и разносторонними заботами, связанными с преобразованиями в институте. Несмотря на это, он с восторгом отнесся к нашей просьбе и заявил, что у него как раз теперь свободный час, и он сию минуту может приступить к чтению. Хотя в это время в классе сидело всего лишь несколько человек, он сказал, что прочтет вступительную лекцию в педагогику.

Он начал ее с того, что доказал всю пошлость, все ничтожество, весь вред, все нравственное убожество наших надежд и несбыточных стремлений к богатству, к нарядам, блестящим балам и светским развлечениям.

— Вы должны, вы обязаны,— говорил он,— зажечь в своем сердце не мечты о светской суете, на что так падки пустые, жалкие создания, а чистый пламень, неутолимую, неугасимую жажду к приобретению знаний и развить в себе, прежде всего, любовь к труду,— без этого жизнь ваша не будет ни достойной уважения, ни счастливой. Труд возвысит ваш ум, облагородит ваше сердце и наглядно покажет вам всю призрачность ваших мечтаний; он даст вам силу забывать горе, тяжелые утраты, лишения и невзгоды, чем так щедро усеян жизненный путь каждого человека; он доставит вам чистое наслаждение, нравственное удовлетворение и сознание, что вы не даром живете на свете. Все в жизни может обмануть, все мечты могут оказаться пустыми иллюзиями, только умственный труд, один он никогда никого не обманывает: отдаваясь ему, всегда приносишь пользу и себе, и другим. Постоянно расширяя умственный кругозор, он мало-по-малу будет открывать вам все новый и новый интерес к жизни, заставит все больше любить ее не ради эгоистических наслаждений и светских утех... Постоянный умственный труд разовьет в душе вашей чистейшую, возвышенную любовь к ближнему, а только такая любовь дает честное, благородное и истинное счастье. И этого может и должен добиваться каждый, если он

не фразер и не болтун, если у него не дряблая натуришка, если в груди его бьется человеческое сердце, способное любить не одного себя. Добиться этого величайшего на земле счастья может каждый, *следовательно, человека можно считать кузнецом своего счастья.*

От пламенного, восторженного апофеоза труда Ушинский перешел к определению, что такое материнская любовь и какою она должна быть. Любовь к своему детенышу заложена в сердце каждого животного: хищные звери — медведица, волчица — защищают его с опасностью для собственной жизни, нередко падая мертвыми в борьбе с врагом; они питают его собственной грудью, согревают собственным телом, бросают в нору сухую траву, листья, чтобы ему мягче было спать. Возможно ли, чтобы женщина, разумное существо, заботилась, как и зверь, *только* о физическом благосостоянии и сохранении жизни своего ребенка? Инстинктивно сознавая это, женщина к естественной заботе, вложенной в ее сердце матерью-природою, присоединила еще любовь, которую она считает человеческою, но в громадном большинстве случаев ее следует назвать кукольной, так как она является результатом мелкого тщеславия. Тут он привел в пример матерей, употребляющих все средства, чтобы красивее разодеть ребенка, сделать его миловиднее,— они играют с ним, как дитя с игрушкой. Уже с раннего возраста воспитатели должны развить в ребенке потребность к труду, привить ему стремление к образованию и самообразованию, а затем внушить ему мысль о его обязанности просвещать простой народ,— «ваших крепостных, так называемых ваших рабов, по милости которых вы находитесь здесь, получаете образование, существуете, веселитесь, ублажаете себя мечтами, а он, этот раб ваш, как машина, как вьючное животное, работает на вас не покладая рук, не допивая и не доедая, погруженный в мрак невежества и нищеты».

Теперь все эти мысли давным-давно вошли в общее сознание, всосались в плоть и кровь образованных лю-

дей, но тогда (1860 г.), накануне освобождения крестьян, они были новостью для русских женщин вообще, а тем более для нас, институток, до тех пор не слыхавших умного слова, зараженных пошлыми стремлениями, которые Ушинский разбивал так беспощадно.

Все, что я передаю о первой вступительной лекции Ушинского,— бледный, слабый конспект его речи, тогда же кратко набросанный мною и притом лишь в главных чертах.

Чтобы понять, какое потрясающее впечатление произвела на нас эта вступительная лекция, нужно иметь в виду не только то, что идеи, высказанные в ней, были совершенно новы для нас, но и то, что Ушинский высказывал их с пылкою страстью и выразительностью, с необыкновенною силою и блестящею эрудицией, которыми он так отличался. Что же мудреного в том, что эта речь огненными буквами запечатлелась в наших сердцах, что у всех нас во время ее текли по щекам слезы!

Вся внешность Ушинского сильно содействовала тому, чтобы его слова глубоко запали в душу. Худощавый, крайне нервный, он был выше среднего роста. Из-под его черных густых бровей дугою лихорадочно сверкали темнокарие глаза. Его выразительное, с тонкими чертами лицо, его прекрасно очерченный высокий лоб, говоривший о недюжинном уме, резко выделялся своею бледностью в рамке черных, как смоль, волос и черных бакенов кругом щек и подбородка, напоминавших короткую густую бороду. Его тонкие, бескровные губы, его суровый вид и проницательный взор, который, казалось, видит человека насквозь, красноречиво говорили о присутствии сильного характера и упорной воли. Мне кажется, если бы знаменитый русский художник В. М. Васнецов увидел Ушинского, он написал бы с него для какого-нибудь собора тип вдохновенного пророка-фанатика, глаза которого во время проповеди мечут искры, а лицо становится необыкновенно строгим и суровым. Тот, кто видал Ушинского хотя раз, навсегда

запоминал лицо этого человека, резко выделявшегося из толпы даже своею внешностью.

Много десятков лет прошло с тех пор, мой жизненный путь окончен, и я у двери гроба, но до сих пор не могу забыть пламенную речь этого великого учителя, которая впервые бросила человеческую искру в наши головы, заставила трепетать наши сердца человеческими чувствами, пробудила в нас благородные свойства души, которые без него должны были потухнуть. Одна эта лекция сделала для нас уже невозможным возврат к прежним взглядам, по крайней мере в области элементарных вопросов этики, а мы прослушали целый ряд его лекций, беседовали с ним по поводу различных жизненных явлений.

Дальнейшему изменению наших взглядов, совершенному перевороту в нашем умственном и нравственном миросозерцании содействовали и новые преподаватели. Тем не менее все шло от Ушинского и через него, он был наставником и руководителем не только для нас, но и для приглашенных им учителей, главным виновником нашего полного перерождения. Наша жизнь, если можно так выразиться, раскололась на две диаметрально противоположные части: на беспросветное, бессмысленное, жалкое прозябание до его вступления и на только что наступившую новую эру, полную живого интереса, стремлений к знанию, к мыслям и мечтам, облагораживающим душу. Постоянное чтение книг, выбором которых руководили опытные наставники, шевелило наш мозг и быстро расширяло наш умственный кругозор.

И теперь еще, каждый раз, когда мой взор встречает портрет Ушинского, этого великого педагога, я вспоминаю его вступительную лекцию: необыкновенное волнение и глубочайшая признательность охватывают мою душу, и мне так хочется преклонить колени перед светлым образом этого замечательного человека.

С благоговением сохраняя в наших сердцах память о заветах великого учителя, я должна сознаться, что

не все его ученицы могли сделаться «кузнецами своего счастья». От наших отцов и матерей, пропитанных вожделениями крепостнической эпохи и узко-эгоистическими принципами, мы не могли получить в наследство надлежащего закала для альтруистических устоев. Он утверждал, что высшее счастье человека состоит исключительно в служении народу, что личное счастье ничто: оно эфемерно, призрачно, часто не дает даже нравственного удовлетворения, а потому оно и должно быть принесено на алтарь служения народу. Выполнение такого сурового требования было не по силам большинству молодых существ, только что вступавших в жизнь, которых она опутывала всеми своими чарами, которых она так заманчиво, так властно манила испытать личное счастье.

ГЛАВА XII

Преобразования в институте

Деятельность Ушинского.— Отношение учащихся к новшествам.— Перемена взглядов воспитанниц.— Блестящий успех реформ.— Речь Ушинского по поводу освобождения крестьян.— Воскресные занятия с горничными.— Клевета и доносы.— Реакция.— Выход Ушинского в отставку.

Если я начну рассказывать о том, какое оживленное время переживали мы, когда к нам приглашены были новые преподаватели, читатель, конечно, придет к выводу, что Ушинский был талантливым педагогом, разумным реформатором и энергичным организатором, но это будет еще слабой оценкой его деятельности, и притом останется совсем невыясненным вопрос, как могла сложиться такая крупная сила, откуда он мог приобрести столь всестороннее образование, каким образом мог он стоять по своим педагогическим идеям, совсем незнакомым тогда русскому обществу, на одном уровне с величайшими педагогами западноевропейских культурных стран. Чтобы это понять, нужно познакомиться хотя с главными моментами его предшествующей деятельности.

В 1840 г. Ушинский поступил на юридический факультет Московского университета и, несмотря на то, что ему было тогда лишь шестнадцать лет, начал заниматься очень серьезно, но особенно увлекался он лекциями Грановского и Редкина, профессора энциклопедии законоведения и государственного права. Редкин прочел своим слушателям ряд блестящих лекций по истории философии права, которые произвели на Ушинского потрясающее впечатление, и он со всем пылом страсти отдался изучению философии[45].

Уже с самого вступления в университет Ушинский обратил на себя внимание как своих товарищей, так и профессоров. Обладая большим природным умом, остроумием, быстрым соображением и изумительною памятью, он не только легко усваивал основную мысль лекции, но и ее подробности. Те из его товарищей, которым плохо давались наиболее трудные философские и юридические теории, обращались к Ушинскому с просьбою излагать им эти лекции в популярной форме. Это очень рано приучило его к популяризации науки и оказало ему впоследствии, когда он окончательно сделался педагогом, огромную услугу.

В свободное от лекций время он весь уходил в чтение русских писателей и изучение французского и немецкого языков, которые он знал еще раньше, но не настолько основательно, чтобы легко читать иностранных классиков в подлиннике; этого он вполне достиг во время университетского курса.

Уже на университетской скамье Ушинский отличался полнейшею независимостью характера и привычкою высказывать откровенно свои убеждения, не обращая внимания на то, как это будет принято. Он был отъявленным врагом всякой пошлости, всякого заискивания и низкопоклонства и беспощадно казнил своими меткими сарказмами тех из товарищей, которые в виду приближающихся экзаменов ездили к профессорам с визитами и поздравлениями.

Ушинский много тратил времени на уроки, которые давал ради заработка. Лихорадочно-трудовая жизнь, полная научных и литературных интересов, послужила прекрасною школой для выработки твердого характера и сильной воли, уменья много и упорно работать.

Через два года после блистательного окончания университета, имея от роду всего лишь 22 года, Ушинский получил профессорскую кафедру в ярославском Демидовском лицее, где читал лекции энциклопедии законоведения, истории законодательств и финансового права и обратил на себя внимание не только как талантливый лектор, но и как человек с самостоятельными, оригинальными взглядами.

После четырех лет профессорства, т. е. в 1850 г., ему пришлось навсегда оставить лицей. То были тяжелые времена сурового николаевского режима, особенно подавлявшего преподавание в высших учебных заведениях. От преподавателей лицея потребовали, чтобы они представили подробные программы читаемых ими лекций, притом не только с распределением курсов всех предметов по дням и часам, но и с точным указанием того, что они намерены цитировать из того или другого автора. Ушинский же доказывал, что преподавание вообще, а тем более научное, «невозможно связывать такими формальностями», а потому и вышел из лицея.

Перебравшись в Петербург, Ушинский вынужден был сделаться чиновником министерства внутренних дел. Хотя эта служба вознаграждалась крайне скудно, но давала ему много досуга, и он, по обыкновению, с жаром принялся за работу. В это время он изучил английский язык, занимался английской литературой, продолжал прежние занятия по философии и юридическим наукам. Результатом этих занятий и изучения трех иностранных языков был целый ряд самостоятельных трудов, а также и компилятивных статей в «Современнике» и в «Библиотеке для чтения». Кроме журнальной работы, Ушинский принимал участие в

переводе политической экономии Милля[46]. Его труды обратили на себя внимание публики и критики, и за ним упрочилась репутация талантливого и образованного писателя.

В 1855 г. Ушинский был назначен преподавателем словесности и законоведения в Гатчинский сиротский институт, а затем и его инспектором. Здесь ему представилось огромное поле для применения своих педагогических способностей. Гатчинский институт состоял из учеников различных возрастов, начиная от детей, обучавшихся азбуке, и кончая высшими классами с курсом законоведения. Ушинский тут впервые понял, что педагогическая деятельность—его главное призвание. Этому более всего содействовало то, что, осматривая библиотеку, он наткнулся на два запечатанных шкафа с значительным собранием педагогических сочинений.

Как только эта библиотека оказалась в его распоряжении, он весь погрузился в изучение педагогической литературы. Наряду с теоретическим изучением педагогики, он приобрел опытность и в практике воспитательного дела: ему не только приходилось следить за преподаванием учителей, но он и сам обучал огромное количество юношей. Этим, однако, не ограничивалась его тогдашняя деятельность: он в то же время писал педагогические статьи и начал заниматься одним из главных своих трудов для первоначального обучения — «Детским миром», напечатанным несколько позже[47].

Таким образом, когда Ушинский в 1859 г. был приглашен инспектором в Смольный, он уже пользовался некоторою литературною известностью, обратил на себя внимание улучшениями, сделанными в учебной части Гатчинского института, и был на редкость основательно вооружен знаниями и педагогическим опытом.

Облеченный полным доверием императрицы Марии Александровны, пожелавшей не только оживить преподавание в институте, но и обновить устарелый учебный строй, Ушинский написал проект преобразования обоих институтов Смольного, утвержденный в

феврале 1860 года. По одному из его пунктов требовалось, чтобы воспитанниц переводили из класса в класс не раз в три года, как это было до тех пор, а каждый год. До нового проекта воспитанница, по окончании каждого трехлетнего курса, как бы плохо ни училась, все-таки переводилась в следующий, т. е. в старший, класс. При прежней системе и не могло быть иначе: невозможно было даже крайне плохую ученицу оставлять еще в младшем классе,— тогда бы ей пришлось шесть лет пробыть только в одном кофейном классе. Неизбежным следствием такого порядка вещей было то, что плохие ученицы, ничему не научившись в младшем классе, переходили без всяких элементарных знаний в старший класс, в котором они приобретали еще меньше знаний и выходили из института круглыми невеждами. По проекту Ушинского, курс учения на обеих половинах Смольного должен был продолжаться семь лет (до этого на Николаевской половине он продолжался девять, на Александровской — шесть лет). Преимущество семилетнего курса заключалось в том, что при ежегодных экзаменах и переходах из класса в класс это давало возможность малоуспешных воспитанниц оставлять еще на год в том же классе, чтобы они могли пройти то, что ими было упущено.

Учебные программы точно так же не только подвергались полному преобразованию, но введены были даже новые предметы, как, например, естествоведение и физика, которые должны были преподаваться не иначе, как с помощью моделей, чучел, рисунков, приборов, опытов. Я называю эти предметы новыми потому, что хотя в некоторых институтах их и преподавали, но большею частью на французском языке и притом без каких бы то ни было пособий и опытов,— одним словом, их преподавание скорее походило на пародию, на карикатуру, а не на преподавание естественно-научных предметов.

Серьезное внимание было обращено на языки и географию. Теперь, когда программы, выработанные

Ушинским, в своих основных чертах приняты во всех средних женских учебных заведениях, когда они вошли, можно сказать, в плоть и кровь преподавателей, они, конечно, никого не поразят своею новизною, но тогда они произвели полный переворот в учебном деле, и все высказываемое Ушинским по этому поводу, как в его статьях, так и в различных педагогических совещаниях, было новостью. Так как далеко не все намеченное Ушинским было принято и сохранилось в программах женских учебных заведений, то я и упомяну здесь кой о чем, что он считал существенным. Он находил необходимым сильно увеличить число уроков русского языка в младших классах: по его понятиям, учитель русского языка не должен ограничиваться преподаванием грамматики, а обязан давать ученицам ясное представление об окружающем, научить их рассуждать о знакомых предметах и правильно выражать свои мысли. Благодаря Ушинскому впервые заговорили о необходимости давать учащимся *право рассуждать и даже вменяли учителю в обязанность научить их этому*. Ушинский находил необходимым в среднем возрасте упражнять учениц в переводах с иностранных языков на русский, выбирая для этого очерки географического и исторического содержания. Он указывал, какой вред приносили прежние сочинения, в которых воспитанницы выставляли чувства, никогда не испытанные ими, или описывали явления природы, которых они никогда не наблюдали, либо высказывали мысли слишком сложные и отвлеченные для юного возраста. Переводы с иностранных языков Ушинский считал для воспитанниц младшего возраста наиболее полезным упражнением. Но он вовсе не рекомендовал избегать и сочинений, а указывал на необходимость того, чтобы ученицы передавали в них виденное, слышанное или прочувствованное ими.

Ушинский чрезвычайно порицал тогдашнее преподавание словесности: оно почти всюду начиналось с определения родов и видов литературных произведений.

Он указывал, что сначала необходимо изучать образцы каждого рода и вида этих произведений и уже на основании такого изучения составлять понятия о них. Возмущался он и преподаванием литературы, состоявшим из перечня имен писателей и краткого изложения их произведений. Он находил, что учитель обязан зорко следить за тем, чтобы ученица прочитывала целиком каждое классическое произведение и давала о нем подробный отчет то устно, то письменно; и только после этого, по его мнению, необходимо развивать критический взгляд на произведение, побуждая воспитанниц высказывать и собственное мнение. Он требовал также, чтобы их знакомили со всеми выдающимися произведениями не только русской, но и иностранной литературы.

Ушинский придавал огромное значение изучению иностранных языков, но находил мало толку в том, как оно до тех пор велось в институте. Практическое знание языков он считал делом второстепенной важности, а главное значение его видел в том, чтобы учащиеся могли свободно понимать и переводить прочитанное.

Учебные предметы распределены были по классам тоже совершенно иначе, чем прежде,— изменена была и продолжительность уроков: полуторачасовые уроки были заменены часовыми, с переменою в пятнадцать минут для отдыха, что было несравненно менее утомительно для слушательниц. В то время все вообще учебные программы чрезвычайно устарели, а программы женских среднеучебных заведений — тем более. Таким образом, Ушинский явился инициатором постановки как общей программы преподавания, так и распределения предметов по классам.

Ушинский находил, что поручить проведение реформ прежним учителям было немыслимо: сжившись с устарелыми методами преподавания и будучи в большинстве случаев людьми консервативными, они стали бы выполнять новые программы обучения на старый лад, чисто формально, и тогда его проект преобразо-

вания всего учебного дела, над которым он так много трудился, остался бы мертвою буквою. Он был глубоко прав. Его учебные программы (в главных основах) были приняты и в других институтах, но так как они применялись на практике большею частью прежними учителями (кроме вновь введенных предметов, для которых волей-неволей пришлось пригласить новых учителей), воспитанницы других институтов и не пережили той лучезарной поры умственного обновления и расцвета, которую переживали мы, институтки Смольного. Новые учебные программы у нас проводились в жизнь новыми учителями, выбранными Ушинским, под непосредственным наблюдением и руководством этого величайшего русского педагога. К тому же он сам, своими собственными лекциями, беседами, разговорами, даже своею личностью, преисполненною пламенною, кипучею страстью к общественной просветительной деятельности, производил полный переворот в нашем миросозерцании, поддерживал наше стремление к занятиям и наш необычайный умственный подъем.

Ушинский смотрел на выбор новых учителей, как на задачу чрезвычайно ответственную: от этого зависела вся будущность обновления преподавания. Тут необходимо было все предусмотреть, все предвидеть: новые преподаватели должны были не только знать свое дело и быть более или менее талантливыми педагогами, но должны были явиться истинными сотрудниками и товарищами Ушинского. Вместе с ним они должны были представлять одну семью, объединенную одними и теми же прогрессивными интересами, вполне ясно и отчетливо сознавать вред рутинного преподавания, выработать с помощью своего руководителя определенный взгляд на преподавание, соответствующий требованиям науки.

У Ушинского было много знакомых в учительской среде, но нужных для себя людей он искал всюду. Чтобы познакомиться с преподаванием как можно большего числа учителей, он усиленно посещал различные

лекции, слушал преподавание не только в среднеучебных заведениях, но и в элементарных школах. Так, он приехал однажды в Таврическую бесплатную школу, прослушал урок Косинского, подметил в нем опытность и талантливость в преподавании геометрии и пригласил его преподавателем в институт [48]. Не стесняясь ни летами, ни дипломами, ни социальным положением, Ушинский приглашал каждого учителя, у которого находил то, что ему было нужно. При своих основательных научных знаниях, при исключительной педагогической талантливости, при настойчивости характера, он отличался еще удивительным умением быстро разгадывать способности ближнего. Все это помогло ему найти действительно подходящих сотрудников. Из привлеченных им новых преподавателей назову лишь тех, которые так или иначе оставили след в общественной жизни, в преподавании или в литературе: Я. П. Пугачевский [49], преподаватель физики, П. П. Раевский [50], М. И. Семевский [51], Д. Д. Семенов [52], Л. Н. Модзалевский [53], В. И. Водовозов, О. Ф. Миллер [54], Г. С. Дестунис [55], молодой священник-академист Головин [56] и другие.

Объединив новых учителей в тесный дружеский кружок, всею душою преданный делу обновления преподавания, Ушинский устроил *учительские конференции*, чего никогда не существовало в стенах Смольного. На них обсуждалось применение новых программ и способов обучения и делалось это с главною целью установить единство преподавания во всех предметах. Здесь же Ушинский давал советы и делал замечания учителям относительно только что прослушанных им лекций и занятий в классе.

Объединение учителей и живая связь между ними и инспектором поддерживались и журфиксами, устроенными Ушинским у себя по четвергам, на которые у него кроме различных писателей собирался тот же учительский кружок [57]. Тут, в приятельской беседе, запросто, они передавали друг другу свои мнения о спо-

собностях учениц и их суждения по поводу изучаемых ими исторических личностей и героев классических произведений, толковали и спорили о литературных, научных и политических новостях.

Таким образом, Ушинский сделался истинным вождем, духовным отцом и руководителем новых учителей. Нет ничего мудреного в том, что они оказались на высоте своего положения. Характер их преподавания был действительно диаметрально противоположен существовавшему прежде в Смольном. Вместо отрывочных знаний, сухо изложенных отвлеченным или высокопарным слогом, получился живой систематический курс.

Ушинский рекомендовал ученицам записывать лекции за учителями. При новой системе преподавания избежать этого было довольно мудрено. Каждый учитель приносил с собою все, что было напечатано по его предмету наилучшего и популярного. Составляя лекцию того или другого учителя, слушательницы должны были пополнять ее прочитанным из указанных им книг. Так мы начали работать не только у преподавателя литературы В. И. Водовозова, но и у преподавателя географии Д. Д. Семенова, русской истории М. И. Семевского и у некоторых других. Если принять во внимание, что по каждому предмету воспитанницам приходилось чрезвычайно много читать и все прочитанное приводить в порядок, набрасывать конспекты и составлять лекции, то можно сказать без преувеличения, что при Ушинском мы работали совсем не поинститутски [58].

У нас шла до невероятности напряженная, лихорадочная работа. Каждую лекцию, по очереди, должны были составлять пять-шесть воспитанниц; остальные делали то же по другим предметам, а между тем в послеобеденное время каждой приходилось готовить еще уроки по двум, а то и по трем предметам. Вот почему большая часть девушек работала и по ночам. Самую лучшую работу учитель прочитывал в классе. Если воспитанница почему-нибудь не могла составить лекцию, она

заявляла об этом учителю и должна была заняться ею в следующий раз. Никто не заподазривал ее в лености: работали прежде всего потому, что явился живой интерес к знанию, охвативший все наши душевные силы, все наши помыслы, но нельзя, конечно, отрицать и того, что известную роль здесь играли и соревнование, и боязнь осрамиться перед новыми учителями.

Когда к пяти часам кончались занятия с учителями и после обеда возвращались в класс, мы немедленно принимались за работу. Классным дамам не приходилось бранить нас ни за шум, ни за беготню по коридорам: в классе стояла полная тишина, прерываемая только шелестом переворачиваемых страниц и скрипом перьев. Такая же напряженная деятельность продолжалась и после чая, когда мы приходили ложиться спать. Как только классная дама уходила в свою комнату, мы снимали передники и платья и, закутавшись в платки, свертывали свои салопчики, клали их на пол у кроватей и садились на них. На наших матрацах мы размещали книги и карандаши, укрепляли свечку в самодельный подсвечник из картона и принимались за дело. Хотя в дортуаре стоял большой стол и скамейки, но они помещались у того конца спальни, где находилась комната дамы; к тому же лампу гасили к десяти часам, и мы не имели права сидеть дольше. Если бы посторонний человек вошел ночью в дортуар, когда над кроватями торчали головы воспитанниц, склоненных над книгами, когда здесь и там уныло мерцали огоньки огарков, он мог бы подумать, что попал в какую-нибудь капеллу, где богомолки молятся у гробов с мощами.

Иметь свечку для ночи сделалось первою заботою. Наиболее услужливые из подруг каждый вечер разрезали перочинным ножом свою свечку на несколько частей и раздавали неимущим. Чуть, бывало, ночью раздастся шум из комнаты классной дамы,— мы моментально тушим огни и полураздетые бросаемся в кровать, под одеяло. Ни усовещивания классных дам, ни их брань за ночные бдения не могли уничтожить этого нового обычая.

Можно себе представить, как дико было классным дамам, получившим воспитание в том же институте и прослуживших в нем по многу лет, смотреть на все то новое, что делалось тогда в институте! Лекции некоторых учителей воспитанницы обращали в живую беседу с ними, беспрестанно вставали с своих мест, спрашивая их то о том, то о другом.

— Зачем понадобилось Лермонтову загрязнить образ поэтической Беллы («Герой нашего времени»)? Он не должен был представлять ее так, что ради любви к Печорину она готова отказаться от родины и веры? Нравственная обязанность человека всегда оставаться патриотом,— заявляет одна.

— Для любимого человека,— срывается с своего места другая,— можно все принести в жертву!

— Для такого, как Печорин, ничем не следует жертвовать: он бездушный эгоист... Таких, как он, следует выгонять из России!

— Но он самый привлекательный человек на свете!..

— Да побойтесь же вы бога, господин учитель! Неужто о таких вещах вам дозволено рассуждать с воспитанницами, совсем еще девочками? — в ужасе обращается дежурная дама к учителю литературы.

— Да... да... пожалуйста, не мешайте! Это прекрасно, что они высказывают все, что думают! — простодушно отвечает учитель литературы и, не вступая в дальнейшие пререкания с классной дамою, переходит к обсуждению высказанного. Правда, нередко высказывались мнения до невероятности детские, даже дикие, но иными они и не могли быть у воспитанниц закрытого заведения. Учителя не только терпеливо, но даже с интересом выслушивали и обсуждали все высказанное каждою из нас.

Однажды Ушинский пришел на урок Д. Д. Семенова и взял со стола тетрадь, в которой был написан очерк о Белоруссии, составленный одною из воспитанниц как по его лекции, так и по материалам, им доставленным. Ушинский отошел читать к окну, а Семенов вызывал

учениц и спрашивал их из только что у него пройденного. Ушинский от времени до времени прекращал чтение и прислушивался к бойким ответам учениц. Когда раздался звонок, мы окружили их обоих плотною стеною и начали живо болтать с ними, не обращая внимания на присутствие классной дамы.

— Я никогда не сомневался, что при новой системе преподавания вы будете делать успехи... Но вы превзошли мои самые смелые ожидания! Я знаю, какого труда это стоит вам без привычки к усидчивой работе!..— растроганно говорил Ушинский, тароватый на порицание, но очень скупой на похвалу.

Несмотря на работу, требующую большой затраты сил, мы не хворали. Правда, две воспитанницы из нашего класса сильно отставали от подруг, но одна из них всегда была болезненною и малокровною, а у другой — умственное развитие шло вперед вообще весьма медленно. Ее фамилия была Быстродумова, и уже в дореформенное время она получила кличку Тиходумовой. В высший класс она попала случайно: перед выпуском она умоляла Ушинского оставить ее в седьмом классе, но он не соглашался, ссылаясь на то, что хотя по отметкам она числится не из последних, но все же в высшем классе ей трудно будет учиться. Настойчивые мольбы Быстродумовой в конце концов заставили его исполнить ее просьбу.

Девочка употребляла всевозможные усилия, чтобы не отставать от подруг, но стала прихварывать, часто жаловалась на головную боль, по неделям лежала в лазарете. Ее ответы учителям и особенно письменные работы были сравнительно с другими довольно плохи. Но сила влияния Ушинского отразилась и на ней. Года через три после нашего окончательного выпуска Ушинский как-то приехал ко мне и рассказал следующее: гуляя по улице, он прочел на одной из вывесок «школа» и вошел в нее послушать урок, который уже начался. К нему вышла какая-то женщина, но он не спросил у нее фамилии учительницы, которая продолжала свою в

высшей степени оживленную беседу с ученицами. Когда окончился урок, учительница (это была Быстродумова) повернулась в сторону Ушинского и вскрикнула от удивления, затем бросилась к нему и разрыдалась.

На другой день он получил от нее письмо, в котором она говорила, что накануне была взволнована неожиданною встречей с ним и не могла высказать свою признательность за все то добро, которое он ей сделал. Между прочим, она писала, что если бы не его влияние, она после выпуска продолжала бы жить так же, как и вся молодежь в семьях ее родственников, мелких чиновников, где девушки ведут борьбу с родными не за право учиться, как в других современных семьях, а за право приобрести новую тряпку, чтобы пленить сердце чиновника и продолжать такое же постылое существование, какое они вели в родительском доме. «И меня ожидала та же участь: ведь институт до Вашего вступления в него не возбуждал более чистых стремлений»...

Но я забежала далеко вперед. Нравственный облик институток совершенно изменился. Сами мы не замечали в себе перемены, кроме того, конечно, что прежде некоторые из нас зубрили уроки, другие решительно ничего не делали, а теперь все работали серьезно, многие даже с страстным увлечением. Не так относились к этому наши родственники: то одна, то другая воспитанница сообщала подругам, что ее брат, отец или мать поражаются происшедшей с нею переменой, говорят, что она стала серьезнее мягче, благоразумнее. Их изумляло, между прочим, и то, что еще недавно их «институточка», не находившая темы для разговора с ними в часы свиданий, оживленно рассказывала им теперь о том, что она читает, забрасывая их вопросами, просила, вместо того чтобы купить ей духи, достать ей те или другие книги. Традиционное обожание исчезло как по мановению волшебного жезла: никто из воспитанниц не вырезал на руках перочинным ножом инициалов имени того или другого учителя, никто не выкрикивал

глупых слов обожания, никто не обливал их одежду духами. Даже Ивановская, проникнутая общим настроением, не высказывала более своих восторгов относительно «неземной красоты» Ушинского. Обожание казалось нам теперь уже чем-то пошлым и неуместным. Вместо него у нас явилась родственная, духовная связь с учителями и самое дружеское отношение к ним. Мы искали встречи с ними, чтобы поболтать, и бежали к ним в каждую перемену между уроками. В наиболее либеральный период нашей жизни некоторые из учителей приходили даже в сад побеседовать с нами, передавали нам содержание виденных ими в театре пьес, знакомили нас с игрою известных артистов, с явлениями общественной жизни и со стремлениями лучшей части общества. Конечно, все это было крайне отрывочно, но все же будило нашу мысль, усиливало интерес к духовной жизни.

Однажды веселая ватага воспитанниц, среди которой раздавались шутки и смех, прогуливалась в саду с учителем литературы, называя его по имени и отчеству, что прежде было немыслимо. Он также, обращаясь к ним, называл их по имени и отчеству. В эту минуту воспитанницы поровнялись с двумя классными дамами — Лопаревой и Тюфяевой, проходившими мимо с противоположной стороны.

— Боже, по именам называют! Скажите мне, скажите, что я ошиблась! — воскликнула m-lle Лопарева, склонная к сентиментальности, с ужасом хватая товарку за руку.

— Не ошиблись, моя милая, не ошиблись!.. Если они по канатам станут скакать с этими совратителями и со своим шалым инспектором, то и это меня уже больше не удивит...— отвечала Тюфяева.

Кратковременная эпоха реформ в Смольном была самым светлым воспоминанием нашей юности, нашей институтской жизни, только порою отравляемой злобным шипением классных дам, всеми силами души возненавидевших Ушинского и новых учителей.

Однажды императрица Мария Александровна посетила институт и долго разговаривала с Ушинским. Это убедило наше начальство в том, что государыня продолжает благосклонно относиться к нему. На первый же институтский бал после этого были приглашены Ушинский и все учителя,—этого никогда еще не бывало у нас и едва ли могло быть без ведома императрицы.

Все это лишь усиливало злобу классных дам; раздражало их и то, что наша инспектриса продолжала дружить с инспектором. Классные дамы, еще недавно игравшие в институте доминирующую роль, сразу потеряли свое значение; вследствие этого они крепче сплотились между собой, держались как-то особняком и за свое унижение мстили пока одной только фразой, которую они частенько повторяли, вкладывая в нее и озлобленные вопли своего сердца, и угрозы по нашему адресу, и все свои злорадные надежды на будущее: «Не долго, не долго это продлится!..».

Наступил 1861 год. Когда положение 19 февраля было обнародовано, у нас отслужили молебен. Через несколько часов после возвращения из церкви вошел Ушинский и заявил, что он желает объяснить нам значение этого великого акта. В блестящем популярном сжатом очерке он набросал картину жизни помещиков во время крепостного права, познакомил нас с тем, как они забавлялись, сменяя пиры охотами и другими барскими затеями, указал и на жестокость многих из них к своим крепостным. Считая позором трудиться, рассказывал он, помещики сами или через управляющих обременяли своих крестьян непосильным трудом, оставляя их влачить жалкую жизнь, полную жестоких лишений, погруженных в беспросветный мрак невежества и унизительного рабства. Заключительный аккорд этой блестящей речи состоял в том, что акт освобождения крестьян налагает на всех нас обязанность уплатить им хотя ничтожную часть нашего долга. За наше образование, за возможность жить безбедно, за блага, приобретенные на счет векового рабства масс, мы, чтобы искупить тяже-

лый грех многих поколений, должны отдать все свои силы на просвещение народа. «И каждый, у кого в груди не камень, а сердце, искренно откликнется на этот призыв!» По словам Ушинского, с этого момента все обязаны нести в народ свой труд, знания и таланты, а на русских женщин наступившая эпоха освобождения налагает еще особую обязанность — раскрепоститься от предрассудков, специально тяготеющих над ними. Еще не так давно у нас не находили нужным даже учить женщину грамоте, но и теперь в семьях людей образованных, там, где считают необходимым давать высшее образование сыну, дочь учат как попало и кой-чему. И все, даже сами женщины, находят такой порядок вещей нормальным. Быть наставницею молодого поколения — великая и благородная задача, но в то же время в высшей степени трудная и сложная. Выполнять ее с успехом женщина может только основательно вооружившись серьезными знаниями. Следовательно, женщины так же, как и мужчины, должны получать высшее образование. «Вы обязаны,— говорил он,— проникнуться стремлением к завоеванию права на высшее образование, сделать его целью своей жизни, вдохнуть это стремление в сердца ваших сестер и добиваться достижения этой цели до тех пор, пока двери университетов, академий и высших школ не распахнутся перед вами так же гостеприимно, как и перед мужчинами». Нужно помнить, что Ушинский говорил это еще в 1861 году[57].

Во время моего знакомства с Ушинским после выпуска, какие бы разговоры и споры он ни вел в кругу своих знакомых, мне никогда не приходилось слышать, чтобы он высказывал идеи социалистические или радикально-демократические: он всегда и всюду является лишь страстным поклонником, сторонником и пропагандистом просвещения вообще и распространения его среди простого народа в особенности, а также проповедником широкого образования женщин. Лишь в достижении женщиною высшего образования он видел альфу и омегу женского равноправия, его конечную цель и

предел. Такими взглядами на женский вопрос были проникнуты в то время лишь наиболее прогрессивные люди русской интеллигенции; сами женщины, даже и наиболее передовые из них, под равноправием подразумевали тогда одинаковое с мужчинами право на высшее образование, а также и право на самостоятельный заработок.

Недели через две после своей речи Ушинский сообщил, что у нас будет открыта школа грамоты для горничных и что воспитанницы седьмого класса, желающие обучать их, могут заниматься с ними по воскресным дням. Все с восторгом выразили желание учить.

В одно из воскресений, после молебна, на котором присутствовали все наши горничные, воспитанницы приступили к занятиям с ними. Ушинский подходил к каждой скамейке и внимательно прислушивался к преподаванию молодых учительниц, а по окончании занятий указывал промахи в их приемах обучения. Таким образом, новая воскресная школа приносила пользу и воспитанницам, и горничным.

Мне не раз приходилось слышать мнение, что Ушинский был главным вдохновителем идеи о необходимости нарушить замкнутость институтов, но это совершенно несправедливо. В 1858 году, когда он не был еще инспектором Смольного, уже появлялись статьи в журналах и подавались отчеты членами институтских советов, в которых, между прочим, подчеркивалось, что институтки совершенно утрачивают чувство семейной привязанности, указывалось на тяжелые последствия отчуждения детей от родителей, на непригодность институток к действительной жизни [60].

В отчетах инспекторов по медицинской части петербургских учреждений императрицы Марии [61] то и дело встречались указания на вред женских закрытых заведений для здоровья воспитанниц. Одним словом, со второй половины XIX столетия институтское затворничество начало повсеместно встречать неодобрение, и все большее число лиц высказывалось за необходимость,

хотя изредка, отпускать институток домой. Наконец, в 1862 году императрица Мария Александровна дала на это разрешение, но лишь в виде опыта в течение двух лет, а по прошествии этого времени было окончательно раз навсегда установлено правило отпускать домой воспитанниц на лето, а также на рождественские и пасхальные дни.

Нашу воскресную школу для горничных [62] скоро закрыли по неизвестной нам причине, но, будь мы поопытнее, мы поняли бы, что это было первым признаком наступившей в институте реакции. Очевидно, подул не тот ветер, который год тому назад принес нам освежающую струю чистого воздуха. И что-то странное началось у нас твориться.

По окончании классных занятий то одна дама, то другая забегала к своей товарке, отзывала ее в сторонку и оживленно перешептывалась с нею. Нередко обе они усаживались за столик и передавали друг другу новости с явным желанием, чтобы воспитанницы их слышали. «Этот gamin (уличный мальчишка), этот прохвост осмелился не отдать мне поклона»,— сообщала одна из них. Другая отвечала ей, что «этот негодяй» так нагло посмотрел на нее вчера, а m-lle Лопаревой он даже засмеялся в лицо, что же касается m-lle Носович, то он не извинился перед нею даже тогда, когда толкнул ее при встрече... Фамилию преступника дамы не называли, но мы догадывались, что дело идет о ком-нибудь из молодых учителей.

Несомненно, что все эти новости были пошлою выдумкою: классных дам возмущало не только то, что они постепенно утрачивали свое значение, но и то, что от новых учителей они не видели галантной предупредительности и расшаркивания перед ними, к чему они так привыкли при прежних учителях. Еще более возмущало их то, что когда во время урока одна из них начинала войну с воспитанницею, т. е. отнимала у нее какую-нибудь бумажонку, учитель прекращал чтение лекций и не произносил ни слова до тех пор, пока она не садилась

на свое место. Ушинский первый предъявил требование, чтобы в классе ни воспитанницы, ни классные дамы не нарушали тишины. После его столкновения с Тюфяевой никто из классных дам не осмеливался более мешать ему: с ним считались и его побаивались. Более или менее сдерживали они себя и во время занятий учителей во весь первый год. Но как только появились первые признаки реакции, классные дамы начали придираться к воспитанницам, имея в виду прежде всего раздражить этим учителей, а через них насолить Ушинскому. Они то и дело начали вставать с своих мест во время уроков и расхаживать между скамейками. Как только воспитанница передвигала машинально книгу или тетрадь, дама громко бранила ее за это, тянула к себе с пюпитра что попало, обдергивала ее якобы за небрежный туалет и т. п. Вражда раздувалась все сильнее и разделила, наконец, все население института на два лагеря: на одной стороне стояли преподаватели с Ушинским во главе и воспитанницы, а в противоположной партии — весь женский персонал начальства и двое учителей, оставшихся в институте от дореформенного времени. Конечно, и классные дамы успокоились бы в конце концов, во всяком случае менее утруждали бы себя выдумками, если бы начальница Леонтьева твердо решила претерпеть до конца нашествия Ушинского. Но решимости на это у нее хватило лишь на первое время, да и то потому только, что, с одной стороны, его реформы были санкционированы свыше, а с другой — она просто не поняла, что Ушинский был не из тех людей, которые вводят реформы только внешним образом, на показ. К тому же, Леонтьева не имела представления о том, что преобразования так глубоко коснутся внутреннего быта института. Когда она это поняла, она решила, что государыня, сама желавшая оживить умственную жизнь воспитанниц, не знала о том, как это перевернет вверх дном все устои института.

И вот на голову Ушинского мало-по-малу начинают сыпаться самые неожиданные неприятности. Классным

дамам стоило только заметить, что начальница недовольна инспектором, и у них явилась надежда, что не все еще потеряно, что старое можно вернуть, что новое долго не удержится... И они начали более, чем когда-нибудь, подлаживаться к Леонтьевой. Их примеру скоро последовала и наша бесхарактерная инспектриса, m-me Сент-Илер.

Однажды она заявила нам, что хотя во время уроков нам и дозволено обращаться к учителям с вопросами, но мы должны помнить, что имеем право спрашивать их только о том, чего не понимаем из предмета, преподаваемого каждым из них. Но так как ей сделалось известным, что мы слишком широко воспользовались этой свободой, с шумом, криком и гиком, доходящими до полной непристойности (чего никогда не бывало), окружаем наших учителей в перемену, перебивая их и друг друга, болтаем с ними о всяких пустяках — этого она не потерпит долее. Никоим образом не может она допустить и того, чтобы учителя приходили в сад вести с нами бесконечные беседы.

И так сразу был положен конец нашему живому общению с преподавателями. В классе водворилась полная тишина. Это было для нас крайне тяжелою, незаслуженною карою: мы продолжали усердно работать и читать, но «проклятые вопросы» осаждали наши головы, а поговорить о них теперь было не с кем. Тогда некоторые из нас начали прибегать к такой хитрости: подавая учителю составленную лекцию, мы в конце ее, а то и посреди излагали (в скобках) то, что нас интересовало. У учителя литературы в эти скобки мы включали вопросы о том, почему герой или героиня такой-то повести поступили так, а не иначе. У учителя истории,— возможен ли в настоящее время на престоле такой жестокий царь, каким был Иван Грозный? Был ли Павел сумасшедшим или нормальным человеком? Правда ли, что его убили? Можно ли Петра I называть великим только за то, что он производил крупные реформы, а между тем являлся палачом своих подданных?

Через много лет после выпуска, когда меня как-то посетил Д. Д. Семенов (бывший у нас учителем географии), он сказал, что только что случайно нашел между своими бумагами исписанный лист, который живо напомнил ему «период скобок» (т. е. время, когда мы сносились с учителями посредством скобок). Вот в это время одна воспитанница подала Семенову составленную ею лекцию о Малороссии, а в скобках обратилась к нему с курьезным вопросом, который он списал на память, так как лекцию должен был вернуть составительнице:

«На-днях мне дали для прочтения маленькую книжечку и сказали, что это стихотворения Михайлова. Но так как титульный лист был оторван, а на оберточной бумаге для безопасности от классной дамы было написано: «Перевод стихотворений Корнеля» (наше начальство считает его благонамеренным писателем), то я и не знаю, были ли стихотворения Михайлова оригинальными или переводными. Из них мне врезались в память две строчки:

Отчего под ношей крестной
Весь в крови влачится правый?

(Цитирую не по книге, а по памяти, но за смысл ручаюсь.) Вот в чем дело, многоуважаемый Дмитрий Дмитриевич! Если это стихотворение Михайлова переводное [63] и, следовательно, в этом двустишьи автор подразумевает жителей западных государств, то для меня оно понятно. Я недавно читала, что строй этих государств пришел в негодность; в одном месте книги было даже сказано: «гнилой Запад». Ведь не может же автор иметь в виду Россию после великого акта освобождения крестьян, когда прежним несчастным рабам дана свобода, когда, следовательно, все уже пользуются полной свободой и равенством? Не правда ли, такой ужас в России исчез с освобождением крестьян? Но если он существует и теперь, почему же все Вы, честные, добрые, великодушные наши преподаватели, не соединитесь вместе с великим нашим наставником и общими уси-

лиями не уничтожите это страшное зло в России? Как подло со стороны «ведьм», что они прекратили наши беседы со всеми Вами! Пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич, когда будете возвращать мне эту лекцию, ответьте мне на мой вопрос так, чтобы «ведьма» не могла заподозрить, что я спрашиваю Вас об этом в лекционной тетради».

— И вот как на грех,— рассказывал Семенов,— в один из четвергов я снес эту выписку Ушинскому. Преподаватели очень смеялись, когда я прочел им ее, а Ушинский, боже мой, я и сам был не рад, что познакомил его с содержанием этого курьеза! Он вскочил из-за стола и ну ходить по комнате в страшном волнении и говорил, говорил битых часа два, пока не раскашлялся и не разволновался так, что мы должны были разойтись по домам. Ушинского особенно возмущало то, что девочкам запрещают невинные беседы с учителями; это запрещение институтское начальство объясняло ему тем, что такие отношения с преподавателями будто бы лишают учениц женской скромности и комильфотности, но он был глубоко убежден, что, даже при тупости классных дам, они не могли этого думать и что тут был умысел иной. Он заметил, что если нас, учителей, и поражает наивная болтовня девочек, их до невероятности ребячливое миросозерцание, то его оно только радует: из этих «скобок» видно, что у воспитанниц уже являются мысли относительно общественной жизни, а еще недавно у них были на уме лишь «кавалергарда шпоры».

Получая составленную лекцию, заключающую самые разнородные вопросы в скобках, учителя прекрасно справлялись с своей новой задачей: они старались удовлетворить любознательность своих учениц, отвечая на их вопросы в безразличной форме.

Нас, воспитанниц, начала удивлять необычная суетливость нашей инспектрисы, которая к тому же все усиливалась: она то возвращалась от начальницы, то отправлялась к ней, то призывала к себе классных дам.

Однажды, в дежурство m-lle Тюфяевой, когда мы ждали преподавателя русской истории М. И. Семевского, к нам вошла maman. Мы встали с своих мест с обычным приветствием, а она голосом, срывающимся от нервного возбуждения, произнесла (по обыкновению, по-французски):

— Этот невоспитанный мальчишка, который должен к вам притти сию минуту (он в то время был одним из самых молодых), так непристойно-заносчиво держит себя здесь со всеми, что я считаю долгом проучить его за это. Теперь я выйду из класса, а как только он войдет, я возвращусь, пройду к противоположной двери в коридор, но когда я буду позади скамеек, m-lle Тюфяева, а за нею и все вы должны присоединиться ко мне, вставая со своих мест без всякого шума. Таким образом мы все выйдем из класса. Он останется один среди пустых стен! Может быть, хотя это образумит негодяя!

Почему этот скандал был устроен М. И. Семевскому, а не кому-нибудь другому из учителей, навсегда осталось неизвестным. Сам он категорически отрицал взводимые на него обвинения в том, что он при встрече с той или другой классной дамой толкал кого-нибудь из них, нагло и с издевательством смотрел им в глаза и т. п. При этом он совершенно справедливо указывал на то, что если бы что-нибудь подобное случилось с ним, то оскорбленная дама не стала бы ждать случая, а тут же подняла бы «историю», как это было при столкновении Ушинского с m-lle Тюфяевой.

К. Д. Ушинский уже после выпуска как-то спрашивал нескольких своих бывших учениц, чем они объясняют этот скандал, и те единогласно отвечали ему, что, по их мнению, он начат был с М. И. Семевского, как с самого молодого, и, наверно, устроен был бы и другим учителям, если бы он, Ушинский, тотчас и сразу не положил этому предела.

Что касается того, как могла инспектриса Сент-Илер, о которой Ушинский был такого хорошего мнения, не только играть главную роль в этой истории, но даже

взять в ней на себя инициативу, то это вытекало из всего характера нашей трусливой, безвольной maman. Когда у нас наступила реакция, Леонтьева всеми своими действиями обнаружила полную решимость выжить Ушинского из института; maman, по обыкновению, тотчас испугалась за свое положение и тогда уже открыто стала на сторону врагов Ушинского.

Однако вернемся к инциденту. Как только мягкосердечная maman, на этот раз с каким-то злорадством, объявила свое оригинальное распоряжение, прозвонил колокол. Она быстро вышла, а вслед за нею появился учитель. Он поклонился Тюфяевой, но она не отдала ему поклона; мы привстали, чтобы раскланяться с ним, но в эту минуту вошла инспектриса. Мы продолжали стоять, а учитель, уже успевший сесть, снова встал с своего места и поклонился инспектрисе, но та только выше подняла голову и величественно направилась к противоположной двери.

Однако не все произошло так, как было предписано: вышла m-lle Тюфяева, а за нею последовали и смущенные воспитанницы, но три из них продолжали сидеть в классе на своих местах: Ратманова, Саулова и я. Учитель как встал для поклона инспектрисе, так и продолжал стоять, растерянно оглядываясь по сторонам. Ни он, ни мы трое, оставшиеся в классе, не произносили ни звука. Наконец он сел и начал вынимать книги из портфеля, но затем быстро положил их обратно со словами: «При таких условиях я не могу читать!..», встал, раскланялся и вышел.

Весь этот инцидент продолжался несколько минут.

Вслед за уходом учителя в класс вошли все только что вышедшие из него. М-me Сент-Илер, бледная, со слезами, которые текли по щекам, обратилась к нам, оставшимся в классе, со словами, звучавшими гневом и возмущением:

— А вы трое, как осмелились вы поступить вопреки моему приказанию? За всю мою службу здесь еще не было примера, чтобы кто-нибудь позволил себе так

дерзко нанести мне оскорбление! И это за то, что кроме ласки и привета вы ничего не видели с моей стороны?.. Я не верила, когда все кругом говорили мне, что вы в конце концов и относительно меня запятнаете себя черною неблагодарностью!

— Простите, maman, простите! — вдруг бросилась к ней, рыдая, Саулова, очень чувствительная девушка, которая чрезвычайно быстро увлекалась и еще быстрее остывала в своем увлечении.— Я необдуманно поступила! Я не знала, maman, что это вас так огорчит! Вы лучшая, самая лучшая здесь!..

Инспектриса, ничего не отвечая и прикрывая глаза платком, молча направилась к себе, а Саулова бежала за ней, выкрикивая на все лады те же мольбы, и скоро получила прощение.

Вечером меня позвали к инспектрисе. Она начала с повторения уже сказанного, но так как я молчала, она вдруг спросила меня:

— Ты имеешь что-нибудь против меня лично? О, я могу смело задавать подобные вопросы... Я никому из вас не сделала зла! Напротив даже, всех вас, а особенно тебя, всегда защищала перед классными дамами!..

— Конечно, maman, я ничего не имею против вас! Даже не смею иметь!.. Уверяю вас, мне очень больно, что я вас огорчила!..

— Если бы это было так, то ты много раз могла бы сегодня же притти ко мне и попросить прощения.

— Я не могла... Это было против моих убеждений!

— Что?.. Повтори! — грозно настаивала она и, не дожидаясь ответа, разразилась искусственным смехом.— А, так вот чему вас научили новые учителя! Говорить высокопарные фразы!..

— Фразами, maman, называют слова, когда их повторяют без смысла. Вероятно, я понимаю, что значит убеждение, если решилась пострадать за него!

— Опомнись!.. Знаешь ли ты, что я в первый раз в этих стенах слышу такие слова!.. Ваши учителя исковеркали, изломали вас!

— Прежде здесь не произносили таких слов, потому что не имели ни взглядов, ни убеждений...

— Если ты будешь сыпать твои фразы в гостиной, над тобой будут издеваться как над последней дурой и фразеркой.

Конечно, свою скромную мысль мне следовало отстаивать попроще, да и говорить с инспектрисой об убеждениях было более чем наивно, но ведь нужно помнить, что мы были еще почти детьми: никому из нас в это время не было более 16-17 лет.

— Будь же любезна, объясни мне, какое отношение имеют твои возвышенные убеждения к моим распоряжениям?

— Вы приказали, maman, воспитанницам уйти с лекции, чтобы наказать учителя за его неблаговоспитанность. При нас все учителя раскланиваются с классными дамами, даже теперь, когда те перестали отвечать на их поклоны. С нами все они очень вежливы и усердно заботятся о нашем просвещении. За что же нам наказывать их? Это было бы низостью с нашей стороны. Следовательно, ваше приказание было против моего убеждения.

— Пошла вон отсюда, скверная, до мозга костей исковерканная девчонка!..

Но когда я сделала реверанс, чтобы удалиться, инспектриса гневно закричала:

— На-днях тебя уволят из института, и я буду настаивать на этом даже более, чем на удалении Ратмановой. Твое пребывание — настоящая зараза для твоих подруг. Тут уже и твой дядюшка не спасет тебя!

Хотя мне во время всей нотации очень хотелось, чтоб maman скорее кончила ее и я могла бы убежать в дортуар, но теперь я не могла уйти раньше, чем выскажу все, что подсказывали мне раздражение и обида.

— Мой дядюшка не обеспокоит вас более!.. Полтора года тому назад я валялась у ваших ног, целовала ваши руки, умоляя вас защитить меня от клеветы...

— О, конечно, конечно,— язвительно перебила она меня,— при твоих возвышенных убеждениях это для тебя теперь совсем унизительно!

— Совсем не то!.. Выключенная из института тогда, я не знала бы, что с собою делать! Теперь совсем другое: я так хочу учиться, так твердо решила самостоятельно зарабатывать свое существование, что нет такой силы на свете, которая бы задавила это желание! А вы говорите о гостиных, указываете, что там надо мною будут издеваться!.. Да я и не пойду в эти гостиные,— я хочу только учиться! И эти взгляды у нас явились под влиянием наших честных преподавателей, а вы требуете, чтобы я пошла на такую низость — устраивала им скандалы!..

— Ты, значит, милая моя, считаешь себя и Ратманову перлом создания, исключительно возвышенными натурами, а твоих подруг, которые не решились меня ослушаться, низкими тварями?..

— Нисколько! Ведь они это сделали только потому, что не успели опомниться, не успели сообразить, в чем тут дело! Я также, обыкновенно, делаю то, что делают другие: мы уже здесь так приучены...

— А вот чтобы ты не была чересчур сообразительной, ты будешь уволена, и даже через несколько дней...

— Сейчас же извещу об этом моих родных!..

— Не ты известишь их о твоем увольнении, а учреждение, в котором ты воспитываешься! А теперь ты снимешь передник и будешь ходить без него вплоть до твоего удаления! И в церкви будешь стоять без передника и отдельно от других...

— Все ваши приказания, maman, я исполню, но *этому церковному наказанию...* извините... я взрослая девушка... я не могу подчиниться! Теперь, когда цепи рабства пали, вы наказываете меня как последнюю рабыню! Вот ваше христианское милосердие!.. Выгонять из института — ваше право, но наказывать меня в церкви — не позволю! — Последние фразы я уже выкрикивала дерзко и запальчиво, быстро сделала реверанс

и повернулась, чтобы итти, когда она закричала: «С глаз долой!».

Для меня долго оставалось непонятным то, что инспектриса дала мне высказать кое-что, удостоила меня даже своими возражениями, правда ироническими, но, согласно с нашими правилами, ей следовало бы прогнать меня при первых же моих словах. Только гораздо позже я поняла, что она у меня же, в моей запальчивой путаной фразистой детской речи черпала аргументы для доказательства перед Ушинским негодности и безнравственности новых учителей и новой системы образования и воспитания.

Мне и в голову не приходило сомневаться в моем увольнении: это объявила мне не Тюфяева, а инспектриса, которая никогда не прибегала к подобным угрозам. Когда я вышла от инспектрисы в коридор и встретила воспитанниц, я просила их передать дежурной даме, что почувствовала себя дурно и вынуждена сию минуту отправиться в лазарет,— это было для меня единственным средством обдумать мое положение.

Ночью, лежа в лазаретной постели и перебирая в уме все происшедшее, я нашла, что задача избежать наказания в церкви, считавшегося самым позорным для выпускной воспитанницы, еще была одною из легких по сравнению с другими моими заботами. Прежде всего мне необходимо было известить дядю о моем увольнении. Я прекрасно знала, что он, столь энергично защитивший меня против явной клеветы Тюфяевой полтора года тому назад, в настоящем случае примет сторону инспектрисы. Он всегда стоял за беспрекословное подчинение воле начальства, а я осмелилась выказать неповиновение и к тому же не раскаялась в своем поступке,— все это не только должно было усугубить мою вину в его глазах, но показаться ему настоящим преступлением. От него я могла ожидать всего: при известии о моем удалении он мог немедленно явиться к инспектрисе и, когда та объяснит ему, в чем дело, потребовать от меня, взрослой девушки, чтобы я колено-

преклоненно просила у нее прощения. Эта мысль леденила кровь в моих жилах. Нет, ни за что не буду его извещать о моем удалении! К кому же обратиться? Моя мать жила в глухой деревне, очень далеко от Петербурга и, получив от меня известие, могла приехать за мной лишь через месяц-другой. Мне пришло в голову, что у меня остается единственная обязанность известить об этом Ушинского. Благодаря ему я получаю стипендию: он должен узнать о том, что меня исключают, чтобы немедленно передать ее другому лицу (относительно стипендий у меня было самое смутное представление). Известить обо всем Ушинского меня побуждала и боязнь, что начальство доведет эту историю до его сведения в искаженном виде. И я всю ночь обдумывала письмо к Ушинскому, и на другой же день засела за него. Я рассказала ему, как инспектриса приказала нам оставить класс, когда войдет учитель истории, объяснила ему причину, не дозволившую мне повиноваться ей, изложила и мой разговор с maman, не утаив от него и моих выражений, так возмутивших ее. Я писала ему, что не сомневаюсь в моем увольнении из института и в виду этого просила его руководить моими занятиями вне стен заведения.

В субботу вечером, перед тем как воспитанницам приходилось итти в церковь, ко мне забежала Ратманова с известием, что инспектриса продолжает каждый день ходить к начальнице и что, несмотря на это, никто из них не вспоминал о нас. Но я все-таки опасалась, что инспектриса вспомнит свою угрозу насчет церкви, и, чтобы избежать этого наказания, слегла в постель. Это оказалось совершенно лишним: прошло более недели, а между тем никто не напоминал мне о моем исключении из института, и я отправилась в класс как ни в чем не бывало. Ушинский, после отсутствия своего вследствие болезни, опять начал читать лекции. В первый же раз после своего прихода он долго сидел у инспектрисы, но о чем они толковали между собой, для нас осталось неизвестным.

Я несколько раз после этого встречалась с Ушинским — и одна, и в обществе подруг, — но он ни разу не дал мне заметить, что получил мое письмо. По внешнему виду он становился все более угрюмым и болезненным: его и без того бледные исхудалые щеки осунулись еще более, лоб пожелтел, глаза горели лихорадочным огнем. Мы не решались подходить ни к нему, ни к учителям, и никто из них не разговаривал с нами более.

Г-жа З. Э. Мордвинова в своем биографическом очерке «Статс-дама М. П. Леонтьева» возмущается тем, что биографы Ушинского приписывают расстройство его здоровья неприятностям, клеветам и доносам, испытанным им в Смольном. Хотя биографы, говорит она, не называют фамилии Леонтьевой, но прежде всего имеют в виду именно ее, как особу, облеченную наибольшею властью в Смольном. Желая опровергнуть это и показать, что Леонтьева сочувствовала всему благородному и прекрасному, а следовательно и реформам Ушинского, она старается доказать это, поместив в своей книге два подлинных письма (Леонтьевой и Ушинского), извлеченных из архивов, из которых видно, что в 1858 г. Леонтьева через Делянова (бывшего тогда членом совета женских учебных заведений и попечителем Петербургского учебного округа[64]) предлагала Ушинскому занять должность инспектора в Смольном и что он на это согласился. Но эти письма не доказывают того, что желает доказать г-жа Мордвинова. Очень возможно, что Леонтьева предложила Ушинскому инспекторство уже тогда, когда узнала об этом мнение императрицы и Норова, которым биографы и приписывают назначение Ушинского, ссылаясь при этом на его собственные слова[65]. Но если бы даже Леонтьева и совершенно самостоятельно выразила желание иметь инспектором Ушинского, то это еще совсем не говорит о ее сочувствии к нему, тем более, что в то время она ни разу не видала его.

Нужно заметить, что за несколько месяцев до приглашения Ушинского умер инспектор Смольного Ти-

маев[66], а на его место члены совета* предложили принять на испытание Полевого, сына писателя, очень молодого человека, который весьма не понравился Леонтьевой[67]. Желая как можно скорее избавиться от него, она предлагала нескольким лицам занять должность инспектора, но дело не налаживалось, и уже тогда она через Делянова обратилась к Ушинскому, который в то время был инспектором Гатчинского института. Что же касается утверждения г-жи Мордвиновой, что Леонтьева не мешала проведению реформ в учебном деле, то это верно лишь в известной степени. Конечно, довольно мудрено было начальнице препятствовать их введению, когда они официально были утверждены свыше. Но, будучи особой до мозга костей дико консервативной, Леонтьева не могла индиферентно смотреть на какие бы то ни было перемены, а особенно когда заметила, что они в корне подтачивают нравы и обычаи института. Правда, она допустила беседы учениц с учителями во время уроков, но как только они приняли живой характер, этому был положен конец. Точно так же и в остальных реформах она старалась вытравить все живое.

Что же касается личности Ушинского, то как только Леонтьева поняла его характер, она начала делать все, чтобы отравить ему существование. Как она, так и классные дамы не могли сразу проявить ненависть, которую они почувствовали к нему: благосклонное отношение к нему императрицы заставляло их до поры до времени весьма дипломатично обращаться с ним. Да и сам Ушинский был не из тех, которых можно было легко и просто затереть. И вот потому-то, желая до-

* Смольный находился под коллективным управлением 3 лиц: 1) начальницы, которой вверен был надзор за нравственным и физическим воспитанием двух институтов, 2) члена по учебной части, следившего за образованием. и 3) члена по хозяйственной части, наблюдавшего за правильным расходованием сумм. Все члены совета назначались высочайшею властью и двое из них — из высших сановников государства.

саждать и мстить ему, они пока травили учителей. Да и могли ли не только сочувствовать друг другу, но мало-мальски переваривать один другого эти две личности — Леонтьева и Ушинский, столь различные между собой по своему характеру, понятиям и воззрениям? Леонтьева — осколок старины глубокой, особа с допотопными традициями и взглядами, с манерами, до комизма чопорными, с придворным высокомерием, с ханжеской моралью, требующая от каждого полного подчинения своему авторитету и подобострастного поклонения перед каждым своим словом, и он, Ушинский,— представитель новой жизни, носитель новых, прогрессивных идей, с энергией страстной натуры проводящий их в жизнь, до мозга костей демократ по своим убеждениям, считавший пошлостью и фокусами всякий этикет, всем сердцем ненавидящий формализм и рутину, в чем бы они ни проявлялись! Такие же диаметрально противоположные цели преследовали обе эти личности и в воспитании: она, упорно стремившаяся к тому, чтобы воспитанниц двух огромных институтов привести к одному знаменателю, он — горячий защитник свободной мысли и индивидуального развития. У них была только одна черта, общая друг другу,— властолюбие, но, конечно, она лишь усиливала их взаимную ненависть и вражду. Нервный и болезненно-раздражительный, Ушинский, человек во всеоружии знаний, прекрасно знавший себе цену, не мог вынести препятствий при своем быстром шествии вперед по пути прогресса и новшеств и наносил удары своим врагам, не обращая ни малейшего внимания на их служебное положение. Властолюбивая Леонтьева, от которой до сих пор исходило все, что делалось в институте, которой всегда и во всем принадлежала власть и инициатива, не смела более вмешиваться в учебное дело. И прежде оно находилось в ведении инспектора, но, несмотря на это, она по своему произволу выбрасывала из заведения каждого учителя, который ей не нравился. Теперь же в выбор учителей она совсем не могла вмешиваться. Уже одним этим она была

уязвлена в своем самовластии и самодержавии. К тому же, Ушинский отличался еще одною чертой характера, совершенно не переносной для институтского начальства: наблюдательный, остроумный, находчивый, резкий и прямой, с презрением относившийся к пошлости, он решительно не мог удержаться от сарказмов, а институтское начальство, по своему невежеству, представляло для этого широкое поле.

В то время, о котором я говорю, Ушинский уже пользовался большою известностью в обществе: его остроумные замечания, меткие выражения и характерные эпитеты о женском персонале Смольного ходили по городу и нередко оттуда переносились через наши стены. Как отравленные стрелы, вонзались они в сердца нашего высшего и низшего начальства и все бо́льшую ненависть возбуждали к Ушинскому. Преданные ему друзья-учителя предостерегали его, говоря, что этим он создает себе особенно много врагов, которых и без того у него достаточно вследствие его реформаторской деятельности.

Наконец начальство почувствовало, что настало время не только косвенно задевать Ушинского, нападая на учителей, и начало распускать лично о нем всевозможные клеветы. Мы, воспитанницы, слышали об обвинениях, сыпавшихся на него, но они доходили до нас в такой неопределенной форме, что мы не могли составить себе ни малейшего представления о борьбе, которую ему пришлось вынести.

Уже после выпуска, когда он однажды посетил меня, я в присутствии нескольких его знакомых просила рассказать нам, в чем обвиняло его институтское начальство и почему ему так скоро пришлось оставить институт. Константин Дмитриевич начал свой рассказ довольно спокойно, но скоро пришел в крайне нервное возбуждение, а через несколько минут бросал уже отрывочные фразы и, наконец, со словами: «Не могу!» совсем умолк. С тех пор я боялась беспокоить его тою же просьбою.

Вот что я могла узнать по этому поводу отчасти от него самого, а также и от близких к нему учителей, которым он тоже кое-что сообщал об этом.

Когда он понял, что классные дамы стараются своими «фокусами и мелочною пошлостью» раздражать учителей, он убедительно просил их не обращать на это ни малейшего внимания. И они, действительно, твердо держались данного ему слова. Но вот однажды М. И. Семевский пришел рассказать ему об описанном выше инциденте с ним. Ушинский взглянул на это как на простое недоразумение. Он смотрел на инспектрису как на единственную образованную, умную и порядочную женщину в нашем институте; к тому же, она всегда выражала сочувствие его реформам. Правда, в беседах с ним она соглашалась далеко не со всеми его взглядами на воспитание, но тем более Ушинский верил в искренность ее сочувствия. Когда он узнал о скандале, устроенном ею М. И. Семевскому, он не мог допустить, чтобы инспектриса без всякой причины могла ошельмовать человека, и решил, что, вероятно, она вынуждена была спешно увести куда-нибудь воспитанниц. Но когда через несколько дней получено было мое письмо, он понял, что ошибся. Он отправился к инспектрисе и заявил ей, что если она еще раз, не проверив надлежащим образом обвинений классных дам относительно учителей, найдет необходимым нанести кому-нибудь из них оскорбление и тем лишит воспитанниц лекции, он немедленно же оставит институт.

Вероятно, инспектриса, переговорив об этом с начальницею, не нашла возможным тотчас же довести свое дело до конца; вследствие этого и меня с Ратмановой решено было оставить в покое, но свою борьбу с Ушинским они не прекратили. Хотя в одном из писем к императрице, скоро после введения учебной реформы, Леонтьева хорошо аттестует ей Ушинского и новых учителей, но, вероятно, это нужно было по ее соображениям, тем более, что высшие власти находили

тогда реформы Ушинского необходимыми; а затем настали другие времена. В наиболее острый период раздоров между начальницей и Ушинским, что происходило в конце третьего и последнего года его инспекторства, начальница все чаще намекала ему на то, что избранные им учителя оказались людьми невоспитанными. Но этим она не ограничилась и начала задавать ему вопросы, то под личиною добродушия, то не скрывая иронии, что учителя, может быть, и введены были им с целью пропагандировать опасные и вредные идеи. Еще чаще она упрекала его за то, что он, по ее словам, подкапывается под устои морального институтского воспитания, стараясь выбросить за борт, как ненужный хлам, всю женственность, скромность и другие особенности, составляющие главный фундамент воспитания молодой девушки. Она не говорила прямо, чтó она подразумевала под этим обвинением, и Ушинский объяснял его только тем, что лекции учителей после реформы приняли характер дружеских бесед между ними и ученицами,— других преступлений он за собою не знал. Раздражало начальницу и то, что Ушинский открыто стремился к уничтожению власти классных дам. По этому поводу она объяснялась более определенно и говорила ему, что святое значение классной дамы как воспитательницы он решил свести на роль простого сторожа и привратника. Этих «уважаемых» наставниц, по ее словам, он, Ушинский, обрывал, обращался с ними надменно и тем ронял их авторитет перед воспитанницами. Ушинский отрицал надменность в обращении с ними, но настаивал на том, что их педагогическая система приносит воспитанницам огромный вред, и указывал на злоупотребления ими своею властью. Сильно уязвляло самолюбие Леонтьевой также и то, что Ушинский осмелился ломать и переделывать на свой лад не только учебные программы, для чего он, по ее словам, был призван, но и обычаи и нравы, установившиеся в институте, забывая, что нравственное воспитание поручено ей, одной только

ей, как члену совета и как начальнице, утвержденной императрицею.

Были и недоразумения, начавшиеся с момента введения реформ, но тогда они смягчались уступчивостью с той или с другой стороны, впоследствии же они сильно обострились. Когда учебные программы были утверждены, учениц пришлось распределять по классам: лучшие из них были назначены в седьмой, высший класс, а следующих за ними, весьма значительную группу воспитанниц, Ушинский не находил возможным оставить в институте, так как они оказывались не только совершенно невежественными по всем предметам пройденного курса, но между ними находилось не мало безграмотных, даже плохо читавших по-русски. Начальница настаивала на том, чтобы Ушинский все-таки оставил их в институте, а он находил, что им волею-неволею приходится явиться жертвами до невероятности неудовлетворительной системы прежнего преподавания. Он доказывал, что эти девушки, несомненно, могли бы еще многому научиться, но только в том случае, если бы их образование и умственное развитие начато было с обучения первоначальной грамоте и предметам элементарного курса младшего класса. Между тем вследствие их возраста он не имеет права посадить их в младший класс, а может устроить для них лишь особую параллель седьмого класса. Если в ней будут читать даже сокращенный курс и, насколько возможно, популярный, то, по мнению Ушинского, и из этого для этих воспитанниц не будет никакой пользы. Они не только ничего не усвоили за все время своего воспитания, но, не работая головой в продолжение всего юного возраста, притупили свои способности и не будут в состоянии воспользоваться даже упрощенным курсом. Однако Леонтьева настояла на том, чтобы для них был устроен параллельный класс.

Предсказание Ушинского сбылось: воспитанницы этого класса плохо учились (как это ни странно, их называли «вдовами», и эта кличка так и осталась за

ними). Перед их выпуском опять возникли пререкания между Леонтьевой и Ушинским, но теперь уже более острого характера, так как к этому времени их отношения ухудшились. Леонтьева настаивала на том, чтобы воспитанницам, учившимся в параллельном отделении, были выданы аттестаты; Ушинский наотрез отказался это сделать. Он находил, что аттестаты могут вводить в заблуждение родителей, которые часто только на основании их приглашают девушек в качестве преподавательниц. И воспитанницам параллельного отделения были выданы лишь свидетельства с обозначением успехов по каждому предмету, большею частью весьма плохих.

Последним моментом борьбы между этими двумя лицами было следующее: после окончания выпускных экзаменов, в начале марта 1862 года, императрица Мария Александровна приехала в Смольный, на Николаевскую половину, раздавать награды. Ушинский по списку вызывал каждую воспитанницу, которой государыня вручала награду. Когда это торжество окончилось, Ушинский, по институтскому этикету, должен был моментально раскланяться с государыней и быстро отойти в сторону, уступив свое место начальнице. Но он не имел об этом ни малейшего понятия и продолжал стоять на своем месте. Государыня заговорила с ним и в то же время отправилась приветствовать воспитанниц, выстроенных по классам. Ушинский следовал за ней, отвечая на ее вопросы. Для людей, не посвященных в нравы института, в этом не было ничего особенного: императрица подходит к воспитанницам то одной, то другой группы, произносит слова приветствия, а когда идет далее, продолжает разговор с инспектором. Но институтское начальство находило, что честь сопровождать императрицу принадлежит только начальнице. Леонтьева дрожала от волнения, а классные дамы, усматривая в поведении Ушинского величайшее оскорбление, нагло нанесенное их начальнице, подошли к членам совета, присутствовавшим здесь, и просили их

довести до сведения императрицы о «наглой проделке» Ушинского. Выпускные воспитанницы Николаевской половины, стоявшие поблизости и слышавшие весь разговор, были им возмущены, толпой двинулись к любимому инспектору и при государыне выразили ему свою благодарность за его труды и заботы о них. Государыня обратила на это внимание и сказала, что ее трогают добрые чувства воспитанниц к людям, потрудившимся на их пользу.

После этого положение Ушинского в институте сделалось невыносимым: на него не только посыпались клеветнические обвинения, но полетели даже доносы, на которые ему пришлось давать официальные объяснения. Пунктов обвинения оказалось так много, что на составление оправдания потребовалось почти двое суток, которые Ушинский провел лишь изредка вставая с места. Когда он кончил работу, кровь хлынула у него горлом, а на следующий день он встал с постели страшно поседевшим. В конце того же марта 1862 года, ровно через три года после своего вступления в должность инспектора, Ушинский подал прошение об увольнении его от службы в Смольном [68]. Вместе с ним, кроме двух-трех, вышли и все преподаватели, введенные им.

Несправедливо было бы утверждать, что вечные дрязги, недоразумения, бессмысленные клеветы и доносы институтского начальства были единственными причинами, погубившими здоровье Ушинского: оно было слабо у него с юных лет, но несомненно, что из ряда вон тяжелая борьба, которую ему пришлось вести во все три года его инспекторства в связи с необыкновенно напряженною деятельностью, дала сильный толчок развитию болезни легких, которою он страдал во все время своей последующей короткой жизни. Тяжелая утрата Ушинским сына в 1870 году была другим роковым ударом в его жизни, и он умер в том же году от воспаления легких, всего лишь сорока семи лет от роду.

Моя задача состояла в том, чтобы показать, какой переворот произвел Ушинский в Смольном, в этом в то время совершенно отжившем учебно-воспитательном учреждении, и выяснить его влияние на учениц. Я хотела представить эту сторону деятельности великого русского педагога, потому что она была лишь намечена его биографами, но совсем не описана, а я могла это сделать как одна из его учениц, испытавшая на себе всю силу его влияния, и как свидетельница его преобразований в институте. Я не пишу биографии Ушинского, не останавливаюсь и на той стороне его деятельности, которою он преимущественно стяжал громкую славу, т. е. на его замечательных литературных трудах на пользу семьи и школы, но буду указывать и в некоторых последующих очерках на те стороны его характера, которые выяснились для меня еще более при дальнейшем моем знакомстве с ним уже вне институтских стен.

ГЛАВА XIII

Выход из института

В первых числах февраля 1862 года я должна была сдать в институте последний экзамен. За неделю до него приехала в Петербург моя мать. Я умоляла ее взять меня из института в тот день и час, когда окончится мой последний экзамен, не ожидая официального выпуска. От последнего экзамена до формального выпуска должно было пройти более месяца, и, сидя в институтских стенах без всякого дела, я бы напрасно потеряла много времени. Должна сознаться, что хотя я действительно рвалась к занятиям, но все же на первом плане тут умысел был другой. Мне казалось, что если меня возьмут домой тотчас после последнего экзамена, это будет блистательным протестом против начальства и наглядно покажет ему, что я сидела последние полтора года в ненавистном для меня институте только ради нового преподавания. О желании сделать из моего ускоренного выхода протест и тем уязвить моих врагов в самое сердце я не говорила матери.

Экзамен окончился в двенадцать часов утра. Воспитанницы отправились завтракать, а я бросилась в дортуар, где меня уже поджидала матушка со свертками и картонками. Возвратившись из столовой, несколько

подруг прибежали к нам и начали помогать мне одеваться, сопровождая свои услуги болтовней, шутками, звонким смехом, примеривая на себя то одно, то другое из моего туалета. Окруженная толпою молодых девушек, моя мать с восторгом наблюдала их оживленные лица и обнимала то одну, то другую из них.

Прежде всего мы отправились прощаться к инспектрисе. После инцидента на лекции истории Сент-Илер, кроме официальных замечаний, ни разу не разговаривала со мной, и я делала все, чтобы не попадаться ей на глаза. И вот после долгого промежутка холодных отношений нам пришлось, наконец, столкнуться с нею, чтобы распрощаться навсегда. Радушно поздоровавшись с матушкою, она прижала меня к своей груди со словами: «Конец всем недоразумениям. Я всех вас горячо любила! И ты когда-нибудь вспомнишь меня с добрым чувством!». При этом она высказала мне самые лучшие пожелания, просила навещать ее и сама обещала посетить нас. Мою мать, видевшую нашу «maman» в первый раз, но знавшую ее не только по моим, но и по дядюшкиным рассказам, она просто очаровала. Когда мы вышли от нее, она все повторяла: «Нет человека без греха! А все-таки она обворожительная женщина!».

Как только мы спустились вниз, швейцар доложил нам, что инспектор просит нас зайти к нему в приемный зал. Последние дни я обдумывала все, о чем хотела говорить с ним в этот знаменательный для меня день. Я собиралась сказать ему, что буду с благоговением вспоминать о нем, укажу ему, какое громадное значение он имел для нас, его учениц. Но меня охватил ужас при мысли, что если я сию минуту и не прощаюсь с ним окончательно, то через месяца два-три, когда мне придется уехать из Петербурга, навсегда потеряю его, и я мысленно повторяла себе, что вместе с ним потухнет для меня весь свет, что я останусь навсегда без руководителя и поддержки. У меня так забилось сердце, когда я вошла в залу, где расхаживал

Ушинский, что я забыла все, что собиралась ему сказать, да у меня и нехватило бы смелости произнести перед ним такую речь. Увидев его, я так сконфузилась, что забыла даже отрекомендовать мою мать и стояла посреди комнаты с опущенной головой, делая усилия, чтобы не разрыдаться, а слезы градом катились из моих глаз.

Ушинский молча остановился передо мною, положил руку на мое плечо и с отеческою лаской заговорил:

— Ну вот, ну вот... (Его всегда смущали слезы.) А я ведь приказал скорее позвать вас сюда, думал, что вы носитесь теперь всюду с видом победительницы! Боялся, что устроите скандал, какой-нибудь протест! Ну что же, еще не успели?

Слезы душили меня, и, не будучи в силах отвечать, я лишь отрицательно покачала головой.

— И прекрасно! Какие там счеты! — И, видя, что я все еще взволнована, он обратился к матушке, которая начала горячо благодарить его за все, что он сделал для меня.

— Вы знаете,— говорил он мне,— что я никого из моих учениц не оставлю в покое. На какой конец света вы бы ни заехали, вы должны давать мне отчет о своем времяпрепровождении, о своих занятиях. Ведь вас нужно держать в ежовых рукавицах!

Моя мать тоже шутливо возразила ему, что со мною можно теперь обойтись и без этого, что я сама только и рвусь к занятиям.

— Вы не очень-то полагайтесь на ее слова: она особа увлекающаяся! Правда, в последнее время она серьезно занималась,—ну, а услышит звон шпор (он знал, что до отъезда в провинцию я буду жить в военной среде), и вся уйдет в звуки вальса!.. Жаль, очень жаль, что она не может жить среди людей трудящихся! Тогда я не боялся бы за нее! Ну, да я вам не дам погрузиться с головой в ваши оборочки и фалборочки! Через недельки две-три непременно нагряну к вам, узнаю, что вы путного сделали за это время. Вы не ду-

майте, что я враг веселья, напротив даже, но развлечения могут быть только после труда!

И он, попрежнему обращаясь то ко мне, то к моей матери, говорил о том, как необходимо развивать в себе вкус к здоровым удовольствиям: советовал ходить в театр на пьесы Островского, но перед каждым представлением прочитывать пьесу, которую придется смотреть, а если есть возможность, и критический ее разбор, указывал на необходимость посещать публичные лекции, особенно лекции Костомарова [69], с тем же условием, т. е. чтобы до нее подготовиться к ее слушанию.

— Видите ли, я все толкую о развлечениях, но ведь кроме них должны же вы подумать и о каком-нибудь серьезном умственном труде. Когда я к вам приеду, я привезу вам список книг, и мы сообща решим, над чем вам следует поработать во время вашего пребывания в Петербурге. Но рука об руку с серьезной умственной работой и здоровыми развлечениями вы должны выбрать еще какую-нибудь воскресную школу, чтобы обучать детей грамоте и посещать лучшие элементарные школы, прислушиваться к преподаванию хороших учителей. Я вам привезу рекомендательные письма и укажу, в какие из школ вам полезнее проникнуть. Вы со всеми уже простились здесь? — вдруг спросил он, протягивая мне руку на прощанье.

Я отвечала, что мы должны явиться еще к начальнице, которая дала нам знать об этом через инспектрису.

Ушинский пристально посмотрел на меня своими проницательными глазами и строго добавил:

— Надеюсь, вы не унизите себя на прощанье какою-нибудь неуместною выходкой?

Каждое слово Ушинского было для всех нас, его учениц, законом, нарушить который никто бы не решился. Но, если бы он и не предупредил меня о том, что я должна держать себя с начальницею в границах предписанного почтения, я сама уже решила, что не пророню у нее ни звука.

Однако, несмотря на то, что я строго выдержала обет молчания и была нема, как рыба, визит наш к ней окончился весьма печально. Как только мы были введены в приемный покой начальницы, мы подошли с матерью к столу, за которым она сидела, чуть-чуть кивнув нам головой в знак официального приветствия. Она тотчас начала говорить о том, как радо институтское начальство, что оно на месяца полтора раньше положенного срока избавляется от присутствия в институте моей особы. Все это она произносила, обращаясь к моей матери и, по своему обыкновению, медленно отчеканивая слова, желая точно молотом вбить их в ее голову, но та все выслушивала молча. Я уже начинала надеяться, что все сойдет благополучно, как вдруг Леонтьева, попрежнему обращаясь только к моей матери, начала припоминать, как она выразилась, «грязную историю с братьями вашей дочери, в которой такую недостойную роль играл ваш брат, а ее дядюшка, с виду почтенный генерал, наделавший всем нам массу неприятностей».

Тут уже вспыльчивая по натуре матушка не стерпела и, прервав разглагольствования начальницы, запальчиво заговорила о том, что только институтское начальство могло сделать что-то грязное из простого свидания ее сыновей с их родною сестрою. Что же касается ее брата, то она, начальница Леонтьева, должна быть ему еще бесконечно признательна за то, что он не довел эту историю до сведения государя. Матушка прибавила еще, что она решительно не понимает, «зачем ее превосходительству понадобилось вспомнить об этой во всех отношениях выясненной истории, в которой кругом виновато было институтское начальство, поверившее клеветническому доносу классной дамы. Вероятно, ее превосходительство,— смело добавила матушка,— вспоминает эту историю потому, что она, ее превосходительство, привыкла говорить *только* с подчиненными, не смеющими возражать ей, что же касается ее, Александры Степановны Цевловской, то она не подчиненная

ей, а потому и не желает выслушивать клевет, признанных за таковые даже институтским начальством, а что это было именно так, как она говорит, видно уже из того, что инспектриса просила ее брата не доводить эту историю до государя».

Такого потока горячей речи моей матери начальница не в силах была остановить. Величественно поднявшись с дивана, она протянутой рукой гневно указала моей матери на дверь. Но та повернулась к ней спиной только тогда, когда договорила последнее слово.

Мы спускались уже по лестнице, когда, вся запыхавшись, нас нагнала Оленкина (dame de compagnie Леонтьевой). Она протягивала мне какую-то книгу и с ужасом лепетала: «Какие неслыханные дерзости вы осмелились наговорить начальнице! И все-таки ее превосходительство так ангельски добра, так бесконечно снисходительна, что приказала передать вам евангелие. Она надеется, что эта священная книга...» Но я заметила, что моя мать еще не остыла, порывается что-то возражать, и, схватив книгу, потянула матушку за собой.

Мы быстро спустились вниз, тронулись в путь, и я навсегда оставила стены «alma mater», чтобы вступить на новую, совсем неизвестную мне дорогу жизни, к которой я была совершенно не подготовлена институтским воспитанием.

КОММЕНТАРИИ

[1] Фамилия Гонецких обычно пишется через *а*, а не через *о*, как она записана в общем гербовнике Российской империи (кн. 6). Писать свою фамилию через *а* начал еще дед Е. Н. Водовозовой, но и позднее некоторые члены его рода подписывались через *о*. Так пишет эту фамилию всегда и Е. Н. Водовозова. Вслед за нею мы придерживаемся такой же транскрипции.

[2] Мать Е. Н. Водовозовой, Александра Степановна, родилась в 1813 году. Ее отец, Степан Михайлович Гонецкий, происходил из дворян Смоленской губернии, служил в лейб-гвардии Семеновском полку и в 1790 г. принимал участие в войне со шведами, находясь в то время с русскими войсками в Финляндии. В 1802 г., после смерти своего отца, С. М. Гонецкий вышел в отставку и в целях ведения хозяйства поселился в своем имении, находившемся в Духовщинском уезде Смоленской губернии, у Соловьева Перевоза. В 1809 г. он женился на дочери помещицы Эсмонд, от брака с которой имел троих детей: Александру Степановну и двух сыновей, Ивана и Николая, сведения о которых даны в следующем примечании. Кроме имения в Духовщинском уезде, С. М. Гонецкому принадлежало еще село Бухоново в Поречском уезде той же губернии.

[3] Иван Степанович *Гонецкий* (1810—1887) гг.) — видный боевой генерал русской армии. В 1828 г., по окончании 1-го кадетского корпуса в Петербурге, он поступил на службу в лейб-гвардии Финляндский полк. В 1836 г. участвовал в боях с горцами на Кубани и на Черноморской береговой линии. В 1855 г. был произведен в генерал-майоры и назначен командиром Финляндского полка. В 1863 г. Гонецкий во главе своего

полка отправился на усмирение польского восстания, участвовал в боях с повстанцами в Виленской и Гродненской губерниях и в апреле 1863 г. нанес поражение соединенным отрядам Сигизмунда Сераковского (с которым Гонецкий был лично знаком по Петербургу) и Колышки, взяв при этом обоих предводителей отрядов в плен. В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. Гонецкий командовал гренадерским корпусом и принимал участие в осаде Плевны. 28 ноября 1877 г. на корпус Гонецкого обрушился удар пытавшегося прорваться из Плевны во главе своих войск турецкого главнокомандующего Османа-паши. Несмотря на полученную им контузию головы, Гонецкий не оставил командования корпусом, перешел в наступление и вынудил Османа-пашу к сдаче вместе со всеми его войсками. В 1878 г. Гонецкий был произведен в генерал-адъютанты и назначен членом военного совета, а с мая 1881 г. по день смерти состоял комендантом Петропавловской крепости. В книге *И. П. Корнилова,* Воспоминания о польском мятеже 1863 г. в Северо-Западном крае (по рассказам генерал-адъютанта Гонецкого), Спб. 1900 г., приведены записанные Корниловым воспоминания Гонецкого о его участии в борьбе с польскими повстанцами.

Николай Степанович *Гонецкий* (1815—1904 гг.)—видный генерал русской армии. В 1853—1856 гг., командуя полком, участвовал в военных действиях на азиатском театре войны. Во время польского восстания 1863 г. он был начальником отряда войск, боровшегося с повстанцами в Поневежском и Вилькомирском, а затем в Ковенском и Мариампольском уездах. В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. он командовал 7-м армейским корпусом, охранявшим Черноморское побережье. Позднее занимал ряд видных военных должностей, в 1886—1895 гг. состоял командующим войсками Виленского военного округа, в 1895 г. был назначен членом Государственного совета. По своим военным талантам Н. С. Гонецкий значительно уступал своему старшему брату. Генерал П. А. Черевин в своих воспоминаниях о польском восстании 1863 г., отзываясь о Н. С. Гонецком как о „молодце“, характеризует Н. С. Гонецкого как человека „нерешительного и робкого“ и указывает на неправильность и нецелесообразность отдаваемых им военных распоряжений. (*П. А. Черевин,* Воспоминания. 1863—1865, Кострома 1920 г., стр. 6).

[4] Убийства помещиков крестьянами были весьма частыми явлениями в крепостной России. Обычно эти убийства вызывались желанием крестьян отомстить своим владельцам за притеснения, издевательства и эксплоатацию, которым они подвергались со стороны помещиков. С 1835 по 1854 г. было убито крестьянами 144 помещика и 29 управляющих помещичьими имениями; покушений на убийство за то же время было 75 случаев.

[5] Смоленская губерния была присоединена окончательно к Московскому государству в середине XVII века. До этого она продолжительное время находилась под властью Польши. Вследствие этого смоленское дворянство сильно ополячилось. Еще в XVIII веке большинство дворян говорило с сильным польским акцентом и часто носило польские национальные костюмы. Писали смоленские дворяне в это время латинским шрифтом и предпочитали отдавать детей в польские школы. (*М. Богословский,* Смоленское шляхетство в XVIII веке, „Журн. Министерства Народного просвещения“ 1899 г., № 3, стр. 27—28).

[6] По Венскому конгрессу 1815 г. Польша была разделена между Россией, Австрией и Пруссией. 8(20) июня 1815 года Александр I опубликовал манифест о создании Польского королевства. В этом манифесте было обещано выработать для Польши особую конституцию, которая была обнародована в декабре того же года. Она признавала русскую часть Польши государством, соединенным навсегда с Россией династической унией. Русский император одновременно являлся и польским королем. Законодательная власть принадлежала королю и народному представительству, состоявшему из двух палат. Народное представительство было лишено законодательной инициативы; оно имело право рассматривать лишь те вопросы, которые будут предложены ему на разрешение от имени короля.

[7] Первоначально „маетностями“ назывались земли, которыми смоленские шляхтичи обладали при польском владычестве и которыми они и после присоединения Смоленщины к Московскому государству продолжали владеть без всяких ограничений права собственности на них. „Маетностям“ противопоставлялись поместья, т. е. земли, пожалованные смоленским дворянам „за службу“ московскими царями на общих основаниях с дворянством других губерний. Впоследствии оба эти вида землевладения утратили свои особенности, и термин „маетности“ потерял специфическое значение.

[8] Ассигнациями назывались бумажные деньги, введенные ввиду недостатка металлической монеты при Екатерине II в 1768 году. Вскоре курс на ассигнации стал падать,—особенно после того, как правительство прекратило размен их на серебро. Ассигнации просуществовали до 1851 года. Цена их в разных местах и в разное время сильно колебалась. В 1839 г. правительство установило твердый курс для ассигнаций, приравняв 3 руб. 50 коп. ассигнациями к 1 руб. серебром.

[9] *Телелешиться, телелякать* — болтать, беседовать.

[10] Холерная эпидемия была занесена в Россию из Персии в 1847 году. К концу этого года она охватила весь юг России, а к весне 1848 г. распространилась по всей стране. О размерах этой эпидемии можно судить по следующим цифрам: в Московской губернии в течение года заболело холерой 59 000 человек, а умерло 27 917; в Петербурге заболело 32 326, а умер-

ло 16 509; по всей же России заболело 1 742 439, а умерло 690 150. Это была наиболее сильная эпидемия холеры в XIX столетии. То усиливаясь, то ослабевая, она продержалась до 1862 года. В самом же начале—к лету 1848 г.—из России она перекинулась и в Западную Европу, а вслед за тем в другие части света. О впечатлении, произведенном холерой в 1848 г. на русское общество, см. *Н. Барсуков,* Жизнь и труды М. П. Погодина. т. IX, Спб. 1895 г., стр. 225—228 и 319—326.

[11] Такое лечение холеры было довольно широко распространенным в то время. Наблюдающиеся при заболевании холерой охлаждение больного и судороги мышц объясняли отсутствием крови на периферии тела и скоплением ее в кишках больного. Чтобы оживить подобных больных, ускорить их кровообращение и привлечь кровь к поверхности тела, больных обычно растирали суконками, щетками, водкой с камфорой и т. п., ставили горчичники к икрам, обкладывали тело грелками и сосудами с теплой водой, на живот клали припарки из овса, льняного семени, клали больных в горячие ванны, прибавляли иногда в воду горчицу и т. д.

[12] В конце 1861 г. в Смоленске было открыто Мариинское женское училище 1-го разряда (а не гимназия, как сообщает автор). Александра Николаевна Цевловская занимала в этом училище с самого открытия его должность помощницы начальницы.

[13] Трехдневная барщина была установлена при Павле I указом 5 апреля 1797 года. Однако на практике этот указ выполнялся далеко не всегда, тем более что никакого наказания за нарушение его помещиками установлено не было. Нередко помещики заставляли своих крепостных работать на барщине по четыре и даже по пять и шесть дней в неделю, оставляя им на работу для себя только воскресные дни. Бывали и такие случаи, что помещики заставляли крестьян сначала закончить господские полевые работы и только после этого приниматься за свои.

[14] Для сравнения можно привести следующий факт: в 1853 г. Черкасское окружное судное управление продавало с публичных торгов „крестьянскую девку" сорока девяти лет. По публикации о торгах, напечатанной в „Донских Войсковых Ведомостях", эта „девка" для начала торгов была оценена в 41 руб. серебром („Русский Архив" 1871 г., т. IV, стр. 594—595).

[15] Во второй четверти XIX века вследствие падения цен на хлеб на мировом рынке помещичье хозяйство переживало глубокий и затяжной кризис. Под его влиянием быстро росла задолженность дворянского землевладения и происходило разорение наиболее слабых в экономическом отношении слоев дворянства. К середине XIX столетия дворянство отнюдь не представляло собою однородного целого. Наряду с малочисленной крупнопоместной верхушкой и многочисленным средним

дворянством, находившим в своих поместьях достаточное материальное обеспечение, выделяется еще более многочисленная группа дворян, хозяйства которых с трудом пропитывают, а часто и совсем недостаточны для пропитания своих владельцев с их семьями. По статистическим данным, относящимся к 1834 г., число мелкопоместных дворян (владевших менее чем сотней „крепостных душ“) достигало без малого сорока трех тысяч, что составляло почти 68% всего дворянского сословия (*А. И. Васильчиков,* Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах. Спб. 1876 г., т. I, стр. 468). После 1834 г. число мелкопоместных дворян продолжало увеличиваться. К общим причинам, вызывавшим обеднение дворянства, в Смоленской губернии присоединялись местные. Благосостояние помещичьего хозяйства в этой губернии было подорвано войной 1812 г. и рядом сильных неурожаев, среди которых особенно выделялся по своим размерам и по неблагоприятным для помещичьего хозяйства последствиям неурожай 1822 года. В 1849 г. смоленские дворяне во всеподданнейшей записке Николаю I писали: „Почти все помещичьи имения заложены в кредитных установлениях и обременены частными долгами. Причины такой запутанности имений независимы от помещиков“ (*И. В. Майнов,* Смоленские дворяне и обязанные крестьяне 1846—1849 гг., „Русская Старина“ 1873 г., № 12, стр. 917—918).

16 *Кросны*—местное название ткацких станков.

17 *Зыбки*—местное название люлек, колыбелей.

18 *Песцы*—в данном случае долгошерстные кролики.

19 *Столбовыми* назывались дворяне старинных родов, в отличие от вновь пожалованных дворянским званием семей.

20 *Дворянский полк* — военное учебное заведение в Петербурге, организованное в 1807 г. и имевшее своею задачею подготовку офицерского состава для армии. В 1855 г. Дворянский полк был переименован в Константиновский кадетский корпус, а в 1894 г. преобразован в Константиновское артиллерийское училище.

21 Поэма К. Н. Фоломеева „Счастье“ была издана отдельной книгой в Петербурге в 1905 году.

22 Во время существования рекрутской повинности закон допускал в целях замены личного отбывания этой повинности наем охотников-добровольцев. Нанимать их могли как общества крестьян и мещан, так и частные лица. С сороковых годов частный наем охотников был заменен казенным. Желающие поступить на военную службу за установленную плату являлись в рекрутское присутствие, которое на каждого нанявшегося передавало местной казенной палате зачетную рекрутскую квитанцию. Эти квитанции казенная палата пускала в продажу. Купивший квитанцию мог при наборе представить ее как лично за себя, так и за всякое другое лицо, которое он

хотел освободить от рекрутской повинности. Зачетная квитанция стоила 485 рублей. Такой порядок просуществовал до 1874 г., когда была введена всеобщая воинская повинность.

[23] Анна Петровна *Зонтаг* (1875—1864 гг.), урожденная Юшкова—автор многочисленных книг для детей и переводчица. Составленная ею „Священная история для детей, выбранная из ветхого и нового завета" получила широкое распространение и выдержала девять изданий.

[24] Иван Иванович *Бецкой* (1704—1795 гг.)—видный деятель эпохи Екатерины II в области народного образования. Восприняв педагогические идеи Локка и Руссо и приспособив их к условиям русской жизни того времени, Бецкой ставил задачею учебных учреждений воспитание „новой породы" людей, приноровленных к потребностям „просвещенного абсолютизма". По планам Бецкого в России было открыто несколько учебных заведений, в том числе Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт).

[25] В 1744 г. в Петербурге был основан Воскресенский Смольный монастырь, просуществовавший до 1868 года. Монастырь этот помещался в Смольном дворце, принадлежавшем императрице Елизавете Петровне. В 1764 г. в здании этого монастыря было открыто организованное по проекту Бецкого Воспитательное общество благородных девиц (впоследствии Николаевская половина). В следующем году под управлением начальницы этого Воспитательного общества было учреждено женское мещанское училище с сокращенной программой преподавания. В 1842 г. это училище было переименовано в Александровское, и с тех пор в него начали принимать только дочерей дворян, приобревших дворянское звание службою, штаб- и обер-офицеров и духовенства различных вероисповеданий. Об истории Смольного имеется значительная литература, главным образом официального характера. Подробный указатель ее см. в книге *Н. П. Черепнина,* Императорское воспитательное общество благородных девиц, 3 т., П. 1914—1915 годы.

[26] В каждой губернии велась дворянским депутатским собранием родословная книга, разделенная на шесть частей: в первую часть вносились дворянские роды, пожалованные в это звание монархом, во вторую—роды дворянства, приобретенного на военной службе, в третью—роды дворянства, приобретенного на гражданской службе или через пожалование орденом, в четвертую—дворянские роды, вышедшие из иностранных государств и принявшие русское подданство, в пятую—титулованные роды и в шестую—роды, могущие доказать свою принадлежность к дворянству в течение ста лет до издания в 1785 г. жалованной грамоты дворянству Екатериной II. Практического значения это деление дворянства на разряды не имело, за исключением того, что в некоторые привилегиро-

ванные учебные заведения (Пажеский корпус, Александровский лицей и Училище правоведения) принимались только дети лиц, внесенных в пятую и шестую части родословной книги.

[27] *Мария Александровна* (1824—1880 гг.)—императрица, жена Александра II, урожденная принцесса Гессенская. Под влиянием неудачно сложившейся семейной жизни Мария Александровна много занималась благотворительностью и женским образованием, особенно после смерти в 1860 г. императрицы Александры Федоровны, когда Мария Александровна стала во главе так называемых „учреждений ведомства императрицы Марии“.

[28] Аделаида Карловна *Сент-Илер,* урожденная Гилло, была женою Карла-Александра Сент-Илера (1786—1842 гг.), офицера наполеоновской армии, взятого в 1812 г. в плен и оставшегося после войны в России. Ее муж работал в качестве преподавателя французского языка в Смольном институте, Царскосельском лицее и других учебных заведениях. Им было составлено несколько учебников французского языка. После смерти мужа Сент-Илер поступила в Александровское училище Смольного института в качестве помощницы инспектрисы. В 1848—1865 гг. она была инспектрисой этого училища. По свидетельству ее сына, известного педагога и переводчика „Жизни животных“ Брема, К. К. Сент-Илера, „она была прекрасно образована, отлично знала французский и немецкий языки и преподавала нам (своим детям) все учебные предметы“. *К. К. Сент-Илер,* Воспоминания казенного пансионера о 3-й петербургской гимназии (1845—1852 гг.), „Русская Школа“ 1898 г., № 4, стр. 31.

[29] *Мария Федоровна* (1759—1828 гг.) — императрица, жена Павла I, урожденная принцесса Вюртембергская; в 1796 г. ей было поручено „начальствовать над Воспитательным обществом благородных девиц“, впоследствии же в ее руках сосредоточилось заведывание всеми женскими учебными заведениями.

[30] *Екатерина Павловна* (1788—1819 гг.)—великая княгиня, любимая сестра Александра I и приятельница Карамзина. Имела большое влияние на своего брата, который часто пользовался ее советами в политических делах. Была замужем за принцем Г. Ольденбургским. Овдовев, в 1816 г. вышла вторично замуж за вюртембергского короля Вильгельма.

[31] Принц Петр-Фридрих-Георг *Ольденбургский* (1784—1812 гг.)—один из представителей германского владетельного дома, переселившегося в Россию, был женат на сестре Александра I Екатерине Павловне; в 1809—1812 гг. состоял тверским, новгородским и ярославским генерал-губернатором.

[32] *Александра Федоровна* (1798—1860 гг.)—императрица, жена Николая I, дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III. С 1828 г. к ней перешло управление женскими учебными заведениями. Мария Николаевна (1819—1876 гг.) — дочь импера-

тора Николая I; участвовала в управлении женскими учебными заведениями; в ее непосредственном заведывании находился Патриотический институт в Петербурге. Была замужем за герцогом М. Лейхтенбергским.

[33] Герцог Максимилиан-Евгений-Иосиф-Наполеон *Лейхтенбергский* (1817—1852 гг.)—муж дочери Николая I Марии Николаевны. Состоял президентом Академии художеств и главнозаведующим Горным институтом.

[34] *Девичья кожа* (pasta altheae)—уваренное тесто из сахара, белка и духов, напоминающее пастилу.

[35] Рассказ Е. Н. Водовозовой об умственной неразвитости институток и их полном незнакомстве с жизнью подтверждается сообщениями, которые можно найти в воспоминаниях и дневниках многих ее современниц. Воспитанница Смольного С. И. Лаврентьева пишет:

„Все годы затворничества (а для некоторых поступивших в младший класс они были девятью годами) не пускали не только на каникулы, но и на один день пускали домой исключительно по причине смерти кого-нибудь из ближайших родственников. Неудивительно, что при такой замкнутости институтки очень мало были знакомы с действительною жизнью, создавая себе совершенно превратное понятие о жизни вообще, а часто и о своей семейной; тем более, что некоторые родители, преимущественно родительницы, не желали познакомить своих дочерей с прозой жизни, оставляя их в блаженном неведении, с тем чтобы после выпуска прямо с облаков спуститься часто в самый неказистый мир! При таких условиях немудрено,—добавляет Лаврентьева,—что окончившие курс смолянки производили порой впечатление „полудиких субъектов“ (*С. И. Лаврентьева,* Пережитое. Из воспоминаний, Спб. 1914 г., стр. 27). Насколько нелепы и дики были представления институток, можно судить по эпизоду, происшедшему в Павловском институте во время Крымской войны (1854—1856 гг.). Среди воспитанниц этого института распространился слух, что турецкий султан требует как условие прекращения войны, чтобы русский царь дал ему в султанши одну из павловских институток. Институтки не только серьезно поверили в справедливость этого слуха, но и открыто называли одну из воспитанниц, предназначенную якобы для отправки в султанский гарем. Ее подруги очень жалели ее, но тем не менее упрашивали согласиться на эту жертву, ибо все равно царь будет принужден для спасения России исполнить требование султана (*Е. Лихачева,* Материалы для истории женского образования в России. 1856—1880. Спб. 1901 г., стр. 441). Обильный и очень яркий по содержанию материал для ознакомления с психологией и степенью умственного развития институток дореформенной эпохи дает статья *В. И. Водовозова,* „Секретные воспоминания пансионерки, напечатанная в №№ 3, 8 и 9 „Отече-

ственных Записок" за 1863 год. Эта статья основана на подлинных дневниках, записках и альбомах институток, которые, очевидно, были получены ее автором от его жены, Е. Н. Водовозовой. Не исключена возможность, что эта статья была написана ею самою и только подписана фамилией мужа или же ими обоими.

„Что же касается меня,—пишет одна из окончивших институт,—то я... должна была снова приобретать все потерянные мною способности, все пять чувств человеческих: зрение, слух, осязание и пр. Я действительно не видела, не слышала, не чувствовала, как бы следовало здоровому человеку. Иду я через дорогу, а сажен за десять едет карета: мне уж кажется, что лошади кидаются прямо мне на голову. Вот на платье у меня сидит какая-то страшная, рогатая букашка,—а это не букашка, это—клочок шерсти! Где-нибудь далеко на дворе разговаривают, а мне чудится, что к нам в комнату зашли чужие люди. Хватаю я свой боа, и в испуге отскакиваю, принимая его за живого зверя. По тротуару, среди уличного шума, я ходила, как по узенькой, зыбкой дощечке... От всех этих обманов чувств я понемногу себя избавила: некоторые из пансионерок остались такими и на всю жизнь" („Отечественные Записки" 1863 г., № 9, стр. 130).

Другая из бывших институток рассказывает:

„По выходе из института меня повезли на визит в один дом. В зале сидели какие-то офицеры; я тоже сидела, вытянувшись, как в классе, и алела, как зарево, при каждом вопросе. Мне всего досаднее было видеть, что многих это тешило. Вдруг хозяйка, прощаясь с одним коротким знакомым, сказала: „Будьте добры, если случится по дороге, купите мне помады". Услышав это, я не могла выносить более. Пот градом посыпался у меня с лица: я закрыла рукою глаза и выбежала из комнаты. Все переполошились, решили, что я больна, и таки-заставили меня лечь в постель. А мне знаете что представилось? В одну секунду я сообразила, что помаду употребляют для волос, а волосы чешут, когда встают с постели, а когда встают с постели, то бывают в дезабилье... вот срам-то!" (№ 3, стр. 222).

36 Михаил Антонович *Маркус* (1790—1865 гг.)—лейб-медик.

37 Ушинский приступил к исполнению обязанностей инспектора классов Смольного с 10 февраля 1859 г. (*Н. П. Черепнин*, Императорское общество благородных девиц, т. II, П. 1915 г., стр. 275).

38 Дмитрий Петрович *Соболевский* преподавал в Александровском училище русский язык с 1851 по 1860 год.

39 Николай Дмитриевич *Старов* преподавал в Александровском училище словесность с 1854 по 1860 год. С отзывом о нем Е. Н. Водовозовой интересно сопоставить характеристику его, данную другой его ученицей, Е. Ф. Юнге, кото-

рая в своих воспоминаниях говорит о нем следующее: „Николай Дмитриевич Старов, поклонник Грановского, Белинского и Герцена, был большой идеалист и мечтатель, но вместе с тем удивительно живой человек. Большой шутник и весельчак, он хранил в душе постоянное недовольство собой и горячую скорбь о страданиях человечества; эта нотка делала его симпатичным. Он был до бесконечности впечатлителен, страшно увлекался, меры ни в чем не было у этого человека: он постоянно переходил из одной крайности в другую, неистовый восторг сменялся у него таким же негодованием, безумное веселье—отчаянием... Несмотря на свой ум и начитанность, он был настолько необуздан, что заносился в своих речах иногда до абсурдов, но всегда был вполне искренен и потому имел влияние па окружающих, особенно на молодые умы, и влияние, во всяком случае, хорошее. Много умственной пищи, много различных познаний приобрела я от Николая Дмитриевича, хотя, надо правду сказать, в весьма хаотическом состоянии... Старов читал мне все: Белинского, Шекспира и Гервинуса, Домострой, Тредьяковского и Герцена, все с собственными комментариями, с горячими дифирамбами и фимиамами... Он широкой струей вливал в мою душу и идеализм сороковых годов, и либерализм пятидесятых“ (*Е. Ф Юнге,* Воспоминания, изд. „Сфинкс“, стр. 145—147). Этот отзыв о Старове в значительной мере подтверждается воспоминаниями В. И. Семевского, знавшего Старова по его преподаванию во 2-м кадетском корпусе. Отмечая, что Старов был „крайне восторженным и добрейшим человеком“, Семевский пишет: „Либерализм шестидесятых годов до такой степени отразился на его преподавании, что он решился читать в классе, правда, „специальном“, даже запрещенные сочинения“ (*В. И Семевский,* Автобиографические наброски, „Голос Минувшего“ 1917 г., № 9—10, стр. 12). Из этого видно, что Старова, несмотря на все недостатки его системы преподавания, нельзя ставить на одну доску с другими учителями дореформенного Смольного института.

[40] Айра *Ольридж* (1810—1867 гг.)—негр из Соединенных штатов, знаменитый драматический актер. В Россию Ольридж приезжал несколько раз и с большим успехом выступал в Петербурге и в ряде провинциальных городов. Рассказ Е. Н. Водовозовой относится к его гастролям в 1858 году. Эпизод со Старовым передан ею не вполне точно. Ученица Старова Е. Ф. Юнге, присутствовавшая при этом эпизоде, рассказывает в своих воспоминаниях: „Мы... отправились всей компанией смотреть его (Ольриджа) в „Отелло“ и пришли в такой неописуемый восторг, что после спектакля все поехали в гостиницу, где он остановился, и дождались его там. Боже мой, что там было! Старов целовал ему руки, „его благородные черные руки“. Я, вся дрожащая от волнения и конфуза,

не успевала переводить все, что говорили и восклицали окружающие... Выходило что-то крайне нелепое, но хорошее, и все были растроганы" (*Е. Ф. Юнг*, „Воспоминания. 1843—1860 гг., изд. „Сфинкс", стр. 107).

[41] Принц Петр Георгиевич *Ольденбургский* (1812—1881 гг.) с 1860 г. управлял ведомством учреждений императрицы Марии.

[42] Авраам Сергеевич *Норов* (1795—1869 гг.)—государственный деятель; с 1850 г. был товарищем министра, а с 1854 по 1858 г.—министр народного просвещения. По словам современника, Норов „никаких изменений в своем ведомстве не делал, а плыл лишь по течению, служа при Николае самой необузданной реакции, а при Александре II подчиняясь новым веяниям и бессильно выпуская из рук вожжи" (*А. А. Пеликан*, Во второй половине XIX века, „Голос Минувшего" 1904 г., № 3, стр. 196). В бытность Норова министром, в эпоху правительственного либерализма первых лет царствования Александра II, Норову пришлось отменить ряд мер, стеснявших доступ молодежи в высшие учебные заведения и усиливавших правительственный надзор за университетским преподаванием и режимом, в проведении которых он в качестве товарища министра народного просвещения принимал участие при Николае I.

[43] „*Рассвет*"—журнал, выходивший в Петербурге в 1859—1862 годах. Задача этого журнала ясно определялась его подзаголовком: „Журнал наук, искусств и литературы для взрослых девиц". Редактором и издателем „Рассвета" был молодой артиллерийский офицер Валериан Андреевич Кремпин. Его журнал был первым в России органом печати, предназначавшимся специально для женщин. В этом отношении „Рассвет" был явлением, весьма характерным для эпохи шестидесятых годов, когда в России впервые был поставлен во всей остроте „женский вопрос" и когда в передовых журналах началась проповедь права женщин на труд и на образование. В объявлении об издании „Рассвета" Кремпин писал: „В наш век мнение, что женщины—существа низшие в сравнении с мужчинами, должно считаться чистым анахронизмом. Женщина одинаково, как и мужчина, способна к развитию умственных сил, но только способ развития ее должен иметь особенный оттенок, более приличный нежной организации и тонким нравственным чувствам. Обязанности женщины к обществу так же велики, как и мужчины. Назначение ее—быть матерью и воспитательницею юного поколения". Однако в России женское образование встречает весьма серьезные препятствия, заключающиеся в отсутствии подходящих учебников и книг, доступных для чтения девиц. „Каждый добросовестный воспитатель испытал трудности выбора книг для чтения девицам, и потому журнал, специально назначенный для этого чтения

и отличающийся вместе с тем серьезностью направления, есть в настоящее время непременная потребность. Убедясь в этой необходимости, мы предприняли издание, которое будет заключать в себе статьи, как литературные, так и научного содержания, изложенные соответственно своему назначению с увлекательною живостью, интересом и всевозможным избежанием сухости и имеющие целью развивать в девицах наклонности к добру, любовь к истине и пробуждать в них стремление к умственному развитию" („Журнал Министерства Народного Просвещения" 1858 г., № 9, отд. VII, стр. 168—174). Кремпин был человеком с ограниченными денежными средствами; платить больших авторских гонораров он не мог; поэтому сотрудниками его журнала были исключительно молодые начинающие писатели. На страницах „Рассвета" началась литературная деятельность многих известных впоследствии писателей: Д. И. Писарева, А. М. Скабичевского, Н. К. Михайловского, В. Я. Стоюнина, М. Д. Хмырева, К. А. Скальковского и др. Сам Кремпин был человеком совершенно случайным в литературе. Его литературное наследство исчерпывается несколькими заметками и статейкой о Державине. После прекращения „Рассвета" Кремпин поступил в акцизное ведомство, где и прослужил до самой смерти, в 1889 г. О „Рассвете" см. у *Н. К. Михайловского*, Литературные воспоминания и современная смута, т. I, Спб. 1900 г., стр. 6—8, и у *А. М. Скабичевского*, Литературные воспоминания, М.—Л. 1928 г., стр. 131—133, 172—175 и 239—240.

44 Герасим Петрович *Павский* (1787—1863 гг.) — священник филолог и гебраист, преподаватель еврейского языка в Петербургской духовной академии. В 1826 г. Павский был назначен законоучителем к будущему императору Александру II, но вскоре отстранен от преподавания по доносу московского митрополита Филарета, обвинявшего Павского в „неправоверии". В 1841 г. Павский находился под следствием в связи с тем, что в литографированном студентами академии переводе библии на русский язык, сделанном ими под руководством Павского, были обнаружены расхождения с переводом, принятым церковью, что, по мнению обвинителей Павского, доказывало его „неправоверие". Павскому пришлось дать подписку в верности учению православной церкви. Книга „Филологические наблюдения над составом русского языка", изданная Павским в 3 томах в 1841—1842 гг. и переизданная в 1850 г., наряду с некоторыми верными и ценными фактическими наблюдениями содержала в себе много наивных и ошибочных гипотез и дилетантских объяснений.

45 В то время студенты юридического факультета были обязаны слушать курс всеобщей истории, который читался им Г. Н. Грановским. Петр Георгиевич *Редкин* (1808—1891 гг.)— известный юрист. В 1835—1848 гг. Редкин читал в Москов-

ском университете курсы энциклопедии права и государственного права. С 1863 по 1873 г. Редкин был профессором Петербургского университета и одно время его ректором. С 1882 г.—член Государственного совета. В московский период своей преподавательской деятельности Редкин был убежденным сторонником философии Гегеля. В своих лекциях он проводил гегелевские взгляды на право и государство. Впоследствии, в Петербурге, Редкин стал склоняться к позитивизму. Лекции талантливого Редкина производили большое впечатление на слушателей. Товарищ Ушинского по университету, его ближайший друг Ю. Рехневский в некрологе Ушинского писал: „Никто из тогдашних преподавателей не производил на нас такого глубокого впечатления, как профессор энциклопедии законоведения и государственного права П. Г. Редкин. В его чтениях было именно то, что могло увлечь молодых людей,—был юношеский жар и глубокое убеждение. Он умел возбудить в своих учениках любовь к науке, потому что сам искренно, можно сказать—страстно, любил науку, хотя эта любовь вовсе не была у него любовью науки для науки; это собственно была любовь науки для человечества, ибо Петр Георгиевич искренно верил и заставил нас верить, что наука и цивилизация могут и должны побороть всякое зло на земле, что они водворят свободу и мир и осчастливят людей! В сороковых годах такие идеалистические взгляды были еще возможны. Чтения Петра Георгиевича, всегда увлекательные, переходили иногда в восторженные импровизации, которые производили на слушателей потрясающее действие. Эти лекции привлекали множество слушателей, не только юристов всех курсов, но даже медиков и математиков, и часто случалось, что студенты других факультетов, прослушав одну лекцию Петра Георгиевича, переходили на юридический факультет единственно затем, чтобы иметь возможность постоянно слушать его лекции. Чтения Петра Георгиевича имели для юристов особенное значение: в то время философия в университетах вовсе не преподавалась, и не будь Петра Георгиевича, то для студентов философские знания оставались бы совершенно чуждыми... Лекции Петра Георгиевича имели решительное влияние на умственное развитие Ушинского и на дальнейшее направление его занятий; они впервые ознакомили его с философскими науками и возбудили к ним любовь, и если впоследствии Ушинский всякому занимавшему его явлению старался отыскать философское основание и во всех своих трудах строго следовал философским началам, то этим он преимущественно обязан Петру Георгиевичу“ (*Ю. Рехневский,* К. Д. Ушинский, „Вестник Европы“ 1871 г., № 2, стр. 884—885). Этот отзыв о лекциях Редкина и о значении их для слушателей подтверждается другим его учеником, Б. Н. Чичериным, который, однако, указывает, что философские взгляды Редкина не отличались

глубиной, что он „не всегда умел ясно выразить отвлеченную мысль и нередко впадал в крайний формализм" (*Б. Н. Чичерин*, Воспоминания. Москва сороковых годов, М. 1929 г., стр. 36—39).

[46] В „Современнике" Ушинский сотрудничал в 1852—1854 годах. Одно время он составлял для этого журнала отдел иностранных известий. В 1854 г. он явился к А. В. Старчевскому, бывшему в то время редактором „Библиотеки для чтения", и заявил: „Я пришел предложить вам мои услуги; я работаю в „Современнике" но не сочувствую его направлению. Я среди редакции—чужой... Прежде всего я не сочувствую людям, составляющим кружок „Современника", а потом многому, что печатается в журнале. Я вижу, что я здесь не на своем месте, и решил бросить „Современник" (*А. Старчевский*, Мои воспоминания о К. Д. Ушинском, „Народная Школа" 1885 г., № 1, стр. 37). Старчевский принял предложение Ушинского, который сделался весьма деятельным сотрудником „Библиотеки для чтения". Он вел в этом журнале отдел иностранных известий, фельетон и обзор русских журналов. Кроме того, печатал в нем отдельные статьи и переводил для него иностранные романы. Когда редактирование „Библиотеки для чтения" перешло к Дружинину, Ушинский прекратил сотрудничество в этом журнале.

Хотя участие Ушинского в переводе трактата Милля о политической экономии подтверждаются его биографом (см. *М. Л. Песковский*, К. Д. Ушинский. Его жизнь и педагогическая деятельность. Спб. 1892 г., стр. 27), тем не менее факт этот более чем сомнителен. Перевод Милля печатался в „Современнике" с примечаниями Н. Г. Чернышевского. Ушинский же после 1854 г. не имел никакого отношения к этому журналу и был в политическом отношении весьма далек от Чернышевского и его друзей.

[47] „Детский Мир" Ушинского вышел в 1861 г. и в один год выдержал три издания; впоследствии этот учебник неоднократно переиздавался.

[48] Барон Михаил Иосифович *Косинский* (1839—1883 гг.)— известный педагог-математик. В 1858 г., когда Косинский был еще офицером инженерных войск, он совместно с несколькими другими молодыми офицерами устроил так называемую Таврическую школу, ставившую своею задачею приготовлять к поступлению в гимназию мальчиков, родители которых не обладали достаточными средствами, чтобы нанимать своим детям учителей. Преподавание в этой школе было бесплатным. В качестве преподавателей в ней работали исключительно сами ее основатели; посторонних учителей, по найму, в ней не было. Первоначально школа функционировала негласно; с февраля же 1859 г. она, с разрешения подлежащих властей, была открыта официально. Одновременно с этим программа пре-

подавания в ней была расширена: учеников стали готовить к поступлению не только в первый, но и в третий и четвертый классы гимназии. Таврическая школа была одним из первых проявлений развившегося в то время в либеральных и радикальных кругах русского общества стремления делиться своими знаниями с беднейшими классами общества, которое вскоре так ярко проявилось в повсеместной организации так называемых воскресных школ. Косинский был приглашен Ушинским в Смольный и преподавал там арифметику и географию.

[49] Яков Павлович *Пугачевский* (ум. в 1896 г.) по окончании Петербургского университета преподавал естественные науки в Гатчинском институте, где сблизился с Ушинским. В Смольном институте преподавал физику и естествознание с 1860 по 1872 г. и с 1875 по 1886 год.

[50] Николай Иванович *Раевский* (1835—1898 гг.) — педагог и автор ряда руководств по географии, ботанике и зоологии. По окончании в 1856 г. Петербургского университета поступил преподавателем во 2-й кадетский корпус. Впоследствии был директором реального училища в Пскове, директором учительского института в Оренбурге, главным инспектором училищ Восточной Сибири, директором народных училищ Петербургской губернии и директором 2-го реального училища в Петербурге. Подробнее о нем см. в статьях *Д. Д. Семенова* в № 1 „Вестника Воспитания" за 1899 г., стр. 164—167, и *К. Сент-Илера* в № 10 „Естествознания и Географии" за 1898 год.

[51] Михаил Иванович *Семевский* (1837—1892 гг.) — редактор и издатель журнала „Русская Старина", автор многих работ по русской истории. Образование Семевский получил в Дворянском полку. С 1856 г. он начал печатать статьи, главным образом, исторического характера, в различных журналах. Как историка Семевского интересовала больше всего бытовая и придворная история. С 1870 г. Семевский начал издавать „Русскую Старину". В Смольном Семевский преподавал историю. Его характеристику Е. Н. Водовозова дает в помещенной во II томе статье о его брате—В. И. Семевском.

[52] Дмитрий Дмитриевич *Семенов* (1834—1902 гг.) — педагог-географ. По окончании в 1852 г. Витебской гимназии состоял преподавателем в еврейском училище в Вильне. В 1858 г. сдал экзамены при Петербургском университете и поступил преподавателем географии в 1-ю гимназию в Петербурге. В Смольном преподавал географию и русский язык в младших классах. Впоследствии в течение четырнадцати лет был директором учительской семинарии на Кубани, а затем с 1883 г. работал в комиссии по народному образованию при Петербургской городской думе. Семенов был горячим последователем педагогических идей К. Д. Ушинского. Его перу принадлежит большое количество статей по географии, истории, педагогике и др.

Он сотрудничал в „Отечественных Записках“ Краевского, в „Северном Вестнике“ „Мире Божьем“, газетах „Голос“ и „Новости“ и во многих педагогических журналах. В течение трех лет он был редактором журнала „Детское Чтение“. Подробно о нем см. в статье *Я. Гуревича* в № 4 „Русской Школы“ за 1902 г. и в книге *К. Ельницкого*, Русские педагоги второй половины XIX столетия, Спб. 1904 г., стр. 152—153. О своей совместной с Ушинским работе в Смольном Д. Д. Семенов подробно рассказал в воспоминаниях „Из пережитого“, напечатанных в №№ 1 и 2 „Русской Школы“ за 1895 год.

[53] Лев Николаевич *Модзалевский* (1837—1896 гг.) — педагог-словесник, преподававший в Смольном при Ушинском русский язык и словесность. В 1867 г. он был приглашен для наблюдения за преподаванием детям великого князя Михаила Николаевича и вместе с его семьей переселился на Кавказ, наместником которого в то время был великий князь. В 1876—1889 гг. он работал в Тифлисе в качестве директора женской гимназии, а затем инспектора Кавказского учебного округа. С 1889 г. Модзалевский состоял инспектором Мариинского института для глухонемых. Модзалевский перевел на русский язык сочинения Амоса Коменского и сам много писал по вопросам педагогики. Наиболее ценным его сочинением является „Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времен“, выдержавший три издания. О работе Модзалевского в Смольном совместно с Ушинским см. *Л. Н. Модзалевский,* Из педагогической автобиографии, Спб. 1889 г.

[54] Орест Федорович *Миллер* (1833—1889 гг.) — историк русской литературы, с 1863 г. доцент, а с 1870 г. профессор Петербургского университета. В 1887 г. Миллер был вынужден выйти в отставку вследствие того, что одну из своих лекций он посвятил только что умершему М. Н. Каткову и в ней резко отрицательно отозвался о стремлении Каткова „свести Россию с пути освобождения ее народных и общественных сил“. По своим общественно-политическим взглядам Миллер был близок к славянофильству.

[55] Гавриил Спиридонович *Дестунис* (1818—1895 гг.) — профессор греческой словесности Петербургского университета.

[56] Василий Васильевич *Головин* (ум. в 1871 г.) — священник, в 1853 г. окончил Петербургскую духовную академию.

[57] По четвергам у Ушинского собирались его сослуживцы по Смольному и сотрудники „Журнала Министерства Народного Просвещения“, редактором которого Ушинский состоял в 1860—1861 годах. На этих вечерах, по словам их участника, „за чашкой чая толковали и спорили о новостях тогдашней литературы, о современных государственных реформах, одушевляющим образом действовавших особенно на хозяина, да и на всех его гостей; но больше всего говорили, конечно, о смолянских делах, о программах и методах, о разных педа-

гогических вопросах и системах, которыми в то время интересовалось вообще все образованное русское общество. На этих же четвергах читались и обсуждались статьи для „Журнала Министерства Народного Просвещения“ (*Д. Д. Семенов*, Деятельность К. Д. Ушинского в Смольном институте, сборник „Памяти К. Д. Ушинского“, Спб. 1896 г., стр. 99).

58 „Появление инспектора и новых учителей,—пишет одна из смолянок того времени,—их преподавание, а также их обращение с ученицами, не начальническое, а дружеское, произвело на воспитанниц, не избалованных вниманием взрослых, такое впечатление, как будто в темном и душном помещении вдруг отворили наглухо закрытые окна и впустили туда широкую струю света и воздуха; заключенные зашевелились и заговорили не по правилам, а как кому вздумалось, и радовались своей свободе. Но когда они увидали, что инспектор, обращаясь к их уму и совести и всячески стараясь возбудить в них самолюбие, строго преследует лень и небрежность, то поняли, что за свет и воздух надо пожертвовать покоем. Тогда способные и деятельные ученицы с радостью принялись читать и работать, а слабые и ленивые, продолжая кое-как схватывать слова и фразы из каждого урока, старались по возможности скрыться от глаз инспектора, чтобы неумение их справиться с делом не было видно“ (*Н. П. Черепнин,* Императорское воспитательное общество благородных девиц. Исторический очерк, т. II, П. 1915 г., стр. 312).

59 С отношением К. Д. Ушинского к крестьянской реформе 1861 г., которую он расценивал, подобно всем буржуазным либералам, как „великую реформу“, открывающую перед Россией широкую дорогу к „светлому будущему“, можно познакомиться по его статье „5 марта 1861 года“. Статья эта была опубликована в № 3 „Журнала Министерства Народного Просвещения“ за 1861 г.; перепечатана в „Собрании педагогических сочинений“ К. Д. Ушинского, изд. 2-е, Спб. 1905 г., стр. 170—175.

60 Вопрос о необходимости отказа от системы „закрытого воспитания“ девушек и о повсеместном учреждении для них открытых школ был впервые поставлен во всеподданнейшей записке министра народного просвещения А. С. Норова от 5 марта 1856 года. В конце того же года известный педагог А. Чумиков подал аналогичную записку императрице; тогда же, по предложению министерства народного просвещения, им был составлен проект устава женских открытых заведений. Первое в России женское училище для приходящих, доступное девушкам всех сословий, было открыто в августе 1857 г. в Костроме по частной инициативе и на частные средства. В 1858 г. в качестве горячего пропагандиста „открытого“ женского воспитания выступил Н. А. Вышнеградский. В издававшемся им журнале „Русский Педагогический Вест-

ник" был помещен ряд статей, в которых доказывались преимущества „открытого" воспитания перед „закрытым". Эти статьи и имеет в виду Е. Н. Водовозова. Подробнее о переходе к „открытому" женскому воспитанию см. в книге *Е. Лихачевой*, Материалы для истории женского образования в России. 1856—1880, Спб. 1901 г., стр. 1—36.

[61] „Ведомством учреждений императрицы Марии, состоящих под непосредственным их императорских величеств покровительством", называлось учреждение, в заведывании которого находились женские учебные заведения, воспитательные дома и ряд других благотворительных заведений. Такое название этого учреждения было дано ему в 1854 г. в память жены Павла I, Марии Федоровны, принявшей на себя в 1796 г. заведывание Воспитательным обществом благородных девиц, а позднее и другими женскими учебными учреждениями.

[62] Мысль об учреждении в Смольном воскресной школы, в которой служащим института преподавалась бы грамота, принадлежала Ушинскому. Леонтьева дала на это согласие. В роли преподавательниц в этой школе выступали воспитанницы Смольного, которые с большой охотой приступили к этому делу (*З. Е. Мордвинова*, Статс-дама М. П. Леонтьева, Спб. 1902 г., стр. 200—201).

[63] Цитируемое в тексте стихотворение действительно принадлежит М. И. Михайлову и является переводом из Гейне („Брось свои иносказанья").

[64] Иван Давыдович *Делянов* (1818—1897 гг.),—впоследствии, в эпоху реакции при Александре III, министр народного просвещения,—во время, описываемое автором (с 1858 по 1866 г. с небольшим перерывом в 1861—1862 гг.), состоял попечителем Петербургского учебного округа и одновременно состоял членом совета учреждений ведомства императрицы Марии. Подробнее о Делянове см. в примечаниях ко II тому.

[65] Ушинский был назначен в Смольный по рекомендации А. В. Никитенко. Что касается Леонтьевой, то она выдвигала ряд иных кандидатов на должность инспектора классов: проф. С. С. Куторгу и др., но они не были назначены (*Н. П. Черепнин*, Императорское воспитательное общество благородных девиц", т. II, П. 1915 г., стр. 85—87). Письмо Леонтьевой к Ушинскому, на которое ссылается Мордвинова, относится к декабрю 1858 г., т. е. ко времени, когда вопрос о назначении Ушинского, повидимому, был уже предрешен. По получении согласия Ушинского Леонтьева 31 декабря подала императрице доклад о назначении Ушинского инспектором классов (*З. Мордвинова*, Статс-дама М. П. Леонтьева, стр. 180—182).

[66] Матвей Максимович *Тимаев* служил в Смольном институте с 1823 г., сперва в качестве преподавателя русской истории и словесности, а затем инспектора классов. В 1811 г. Тимаев был командирован из Педагогического института на три года

за границу „для узнавания разных методов воспитания“. Занимался в Англии (у знаменитого Ланкастера), во Франции и Швейцарии у Песталоцци. По возвращении в Россию преподавал в Учительском институте, в Артиллерийском училище, в Павловском институте, в Главном педагогическом институте и других учебных заведениях. В тридцатых и сороковых годах преподавал историю дочерям императора Николая I. Восторженные отзывы о нем, как о преподавателе и о красноречивом ораторе, прозванном Демосфеном, см. в т. I „Записок старой смолянки“ *В. И. Быковой,* Спб. 1898 г. Тимаев был автором ряда учебников по словесности, грамматике, истории и географии, приноровленных для „женских учебных заведений“. Его учебник „Краткое изложение русской истории“, изданный в 1858 г., встретил чрезвычайно суровый отзыв со стороны Н. А. Добролюбова, который, отметив „бестолковость“ и „невежество“ автора учебника, пришел к выводу, что Тимаев „не умеет писать сколько-нибудь сносно“ и „говорит ложь о предметах, которых не понимает“ (*Н. А. Добролюбов.* Полное собрание сочинений, под ред. М. К. Лемке, т. III, стр. 203—204 и 467—472). О Тимаеве см. *К. Свенск*, Воспоминание о М. М. Тимаеве, „Журнал для воспитания“ 1859 г., № 1, стр. 18—37.

[67] Владимир Николаевич *Полевой* окончил в 1848 г. Петербургский университет. В 1855 г. получил степень магистра юридических наук и состоял старшим преподавателем русской словесности и юридических наук в Гатчинском сиротском институте. В 1858 г. издавал журнал „Шехерезада“. В мае 1858 г. он был назначен инспектором классов Смольного. Полевой получил это назначение против желания М. П. Леонтьевой, которая скоро „лично удостоверилась в совершенной невозможности оказать ему требуемое званием инспектора классов доверие“. Такое мнение Леонтьевой сложилось и вследствие молодости Полевого, и неудачно прочитанной им пробной лекции, и растерянности, которую он обнаружил на первых же порах. Леонтьева неоднократно просила об увольнении Полевого, и в октябре 1858 г. ей удалось добиться того, что Полевой был отчислен от должности (*Н. П. Черепнин,* Императорское воспитательное общество благородных девиц, т. II, П. 1915 г., стр. 84—85; *З. С. Мордвинова,* Статс-дама М. П. Леонтьева, Спб. 1902 г., стр. 171—177; *В. И. Быкова,* Записки старой смолянки, т. I, Спб. 1898 г., стр. 429—430).

[68] „Деятельность К. Д. Ушинского в Смольном в области воспитания,—пишет официальный историк Смольного Н. П. Черепнин („Императорское воспитательное общество благородных девиц“, т. II, П. 1915 г., стр. 319—320),—не только не встретила сочувствия М. П. Леонтьевой и содействия с ее стороны, но и нашла в ее лице убежденного противника. Смолянка времени императрицы Марии Федоровны, выросшая

и воспитанная в условиях строжайшего интерната, в течение более двадцати лет управлявшая Смольным на тех же началах, М. П. Леонтьева не могла отказаться от всего, чему верила всю жизнь и служила. Не препятствуя К. Д. Ушинскому в его учебных реформах, в некоторых отношениях даже содействуя ему при этом, М. П. Леонтьева в попытках К. Д. Ушинского к преобразованиям в области воспитания увидела нарушение своих прав, вторжение в область, принадлежавшую исключительно ей, и, как натура сильная и властная, не могла уступить своих прав... Она восставала, главным образом, потому, что не допускала возможности вмешательства инспектора классов в область воспитания... Отказаться от того исключительного влияния в Смольном, какое принадлежало ей, М. П. Леонтьева не могла. За это влияние она начала борьбу с Ушинским... Зная характер и взгляды М. П. Леонтьевой, можно почти с полной несомненностью предполагать, что рано или поздно Ушинский был бы поставлен в необходимость или подчиниться ей и не вмешиваться в область воспитания, ограничив свою деятельность в Смольном исключительно учебной частью, или оставить Смольный". Прошение об отставке, мотивированное расстроенным здоровьем, требующим лечения за границей, было подано Ушинским 22 марта 1862 года. По этому прошению он был причислен к IV отделению собственной его величества канцелярии и получил заграничный отпуск с поручением ознакомиться с постановкой учебного дела в различных государствах Европы. Поводом для подачи Ушинским прошения об отставке послужил донос, о котором упоминает Е. Н. Водовозова. „Дело кончилось тем,—пишет Н. Черепнин, которому широко были открыты архивы Смольного и IV отделения собственной его величества канцелярии,—что на Ушинского был сделан донос, в котором его обвиняли в неверии и политической неблагонадежности. Для доноса не было никаких оснований... Донос был сообщен К. Д. Ушинскому, и он без труда доказал всю его несостоятельность и лживость. Но самый факт доноса произвел на Ушинского потрясающее впечатление. Педагог-идеалист, он счел для себя невозможным оставаться на службе и работать в заведении, среди служащих которого нашлись люди, способные на такой поступок... К. Д. Ушинский подал прошение об освобождении его от должности инспектора Смольного... М. П. Леонтьева не имела никакого отношения к доносу на Ушинского. Весь склад души и убеждения М. П. Леонтьевой устраняют возможность каких-либо подозрений в этом. Прямая и правдивая, она могла бы итти против К. Д. Ушинского только открыто" (*Н. П. Черепнин*, Названное сочинение, т. II, стр. 320—321). Не названным Черепниным, как и другими историками Смольного и биографами Ушинского, автором доноса на Ушинского был один из преподавателей Смольного института—священник

Гречулевич. Что касается Леонтьевой, то возможно, что она и не была осведомлена о доносе. Однако большая доля вины в уходе Ушинского лежит на ней. По всем вероятиям, Гречулевич не рискнул бы подать донос, если бы не знал об отношении Леонтьевой к Ушинскому и не рассчитывал на ее сочувствие, а возможно и поддержку.

[69] В 1861 г. после студенческих волнений Петербургский университет был закрыт. Тогда среди студентов возникла мысль устроить чтение публичных лекций, которые могли бы хотя отчасти заменить им университетское преподавание. К чтению лекций были привлечены как профессора университета, так и некоторые другие популярные среди молодежи лица. Лекции читались в городской думе. Они пользовались большим успехом. Помимо студентов, их посещало много посторонней публики. Особенно много слушателей собиралось на лекции Н. И. Костомарова. Однако чтение лекций продолжалось недолго. В начале марта 1862 г. был выслан из Петербурга за речь по поводу приближающейся тысячелетней годовщины России проф. П. В. Павлов, пользовавшийся большой популярностью среди студенчества. В виде протеста против его высылки студенты решили прекратить чтение лекций. Костомаров отказался подчиниться этому решению. Тогда на ближайшей его лекции студенты устроили шумную обструкцию.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Редактор В. И. Невский
Художественная редакция
М. П. Сокольников
Литерат.-технич. наблюдение
А. Н. Плавильщиков
Тех. ред. И. А. Подсухин
Наблюдение на производстве
М. И. Козлов

* * *

Сдана в набор I. VII. 1933
Подписана к печати I. XI. 1933
Тир. 5300. Уп. Главл. Б-24113
Зак. тип. 6954. Ас. 52. Инд.
А-2. Авт. л. $40\frac{3}{4}$. П. л. $41\frac{1}{4}$ +
+ 1 вкл. Бум. 83 × 110 $\frac{1}{32}$
Типогр. зн. на 1 бум. л. 124032

* * *

Отпечатано на ф-ке книги «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.

Цена Р. 10.00

Переплет Р. 2.00